



Нам, приученным к искусству-отражению, пора переучиваться: искусство - не отражение, а создание своего, доселе не бывшего мира, углубление, достигаемое отстранением, уходом, изоляцией, сосредоточением, отказом, экзистированием. Не от мира к сознанию - от сознания в недра мира. Не изображение вещей - живописание идей.

Юрий КУВАЛДИН

Издательство
"Книжный Сад"
Москва 2006

Юрий Кувалдин

3

Собрание сочинений в десяти томах

Юрий Кувалдин



Том 3

АКАДЕМИЯ РЕЦЕПТУАЛИЗМА

ЮРИЙ
КУВАЛДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ
3

Издательство
Книжный сад
Москва
2006

ББК 84 Р7

К 88

Издание осуществляется
под наблюдением Президента Академии Рецептуализма
академика Юрия Кувалдина

Общая редакция и составление Юрия Кувалдина

Редакционная коллегия:

Ю. А. Кувалдин (главный редактор, академик),
Н. П. Краснова (академик), Слава Лён (академик),
Э. А. Сокольский (академик),
А. Ю. Трифонов (заместитель главного редактора, академик)

Оформление художника
Александра Трифонова

*На обложке воспроизводится картина художника Александра Трифонова "Домино", х. м.
60 х 50, 2004 г.*

ISBN 5-85676-113-8 (Т. 3)

ISBN 5-85676-111-1

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2006

ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ

роман

Посвящается Фазилю Искандеру

Лакей при московской гостинице “Славянский Базар”,
Николай Чикильдеев, заболел.
У него онемели ноги и изменилась походка,
так что однажды, идя по коридору,
он споткнулся и упал...

А. П. Чехов

I

Фелицын провел свое детство в комнате, в которой квартировал Чикильдеев. А упал лакей в том месте, где узкая пыльная подвальная лестница выходила на первый этаж и где неоднократно падал взъерошенный Фелицын, когда бегал по этажам с ребятами, играя в казаков-разбойников. Там порожек такой был.

Однажды Фелицын просидел почти целый час на пятнистой, скользкой бухте удава, не подозревая об этом. Когда он кому-нибудь рассказывал про сидение на удаве, то ему не верили. Верили больше в то, как этот удав проглотил черно-бурую лису, которая за час до этого полакомилась горластым рябым петухом...

Нет, Фелицын не жил в зверинце. Все это происходило в подвале дома № 17 по улице 25 Октября. Иначе говоря, в бывшем “Славянском базаре”...

Инженер Фелицын, сухощавый человек с впалыми щеками, в очках, с короткими русыми, какими-то непокорными волосами, торчащими, как колючки на репье, во все стороны, хотя утром волосы зачесывались влажной расческой назад, сидел, облокотившись, за столом и с грустью припоминал “Славянский базар”, потягивался и вновь принимался перелистывать годовой отчет. Хорошо было в отделе: никто не стоял над душой, не лез с умными советами, не трепал нервы. А почему? А потому, что Федор Григорьевич Микуло в больнице!

За окнами виднелись желтые старомосковские особняки, снежные крыши, как будто их укрыли чистыми накрахмаленными простынями. От этого будничным, тоскливым денек казался светлым. Переулки тонули в сугробах. Был виден переплет церковных окон, где стекла запотели от дыханий. А снег все кружился, медля в воздухе, падал, как будто сыпалась из огромного сита мука на мельнице вечности. Прекрасны в такие снежные дни улочки, переулки, площадки, дворы, тупики старой Москвы. Прекрасен их тихий, пряничный вид, навевающий мысли о теплых уютных комнатках с абажурами и этажерками, с приятным гулким перезвоном настенных часов. Беспричинная радость влетает в сердце от этих упоительных картин, дополняемых черной фигурой памятника, виднеющегося за белоколонным домиком в дали бульвара. Белая шапка, белые плечи делают памятник легким, воздушным, и кажется, он вот-вот закачается, оживет и взлетит над прекрасным архитектурным ансамблем, за вычетом безликих башен кооперативов начальства, втиснутых без учета вкусов коренных москвичей, своевольно, как уродливые протезы, в самое сердце Москвы...

Дело было послеобеденное, и Фелицын подумывал о том, чтобы уйти пораньше. Он собирался на футбол, могло не достаться билета.

Но все рухнуло, когда в третьем часу Фелицын с раздражением узнал, что нужно “сгонять”, как сказал по телефону Федор Григорьевич Микуло, начальник отдела, удививший полтора месяца назад в больницу с инсультом, но и оттуда дававший указания, - “сгонять” (это за 120 км!) с кем-нибудь из котельщиков на ТЭЦ, чтобы внедрение шло этим годом. Для плана. В общем, дела бумажные: визы, печати...

Фелицын представил себе на том конце провода низенького и толстого Федора Григорьевича Микуло. И в свои 70 лет Мику-

ло выглядел на пятьдесят, говорил на повышенных тонах, уверенно, и буравил волевым взглядом маленьких пуговок глаз Фелицына. Этой властной уверенностью Микуло подавлял его, даже тогда, когда Фелицын замечал слабину в тезисах Микуло и, преодолевая подавленность, критиковал эти тезисы. На что Микуло, нервно отбросив детскими пальцами косую челку черных, без проседи, волос набок, разгоряченно требовал: “Ваши предложения?!”

К своему удивлению, Федор Григорьевич Микуло слышал и предложения, причем довольно дельные. Микуло, сопя раздутыми ноздрями мясистого носа, смотрел на этого худощавого, колючего человека в уродливых очках, за которыми блестели карие - себе на уме - глаза, и сам терялся, понимая, что явно недооценивает Фелицына. Виду, конечно, не подавал. Он надувал и без того толстые румяные щеки и приговаривал: “Це було, це було...” А Фелицын, чтобы не видеть злой улыбки на круглом с маленьким лбом лице начальника, снимал очки, все расплывалось, и продолжал медленно, упрямо, смакуя слова, выкладывать предложения, будто делал это с хладнокровным злорадством, подтрунивая над остальными отдельцами, которые не могли и помыслить подобного выступления против самодержавного Микуло.

Микуло выпячивал пуговицы въедливых глаз, вставал и, вскинув руку с сухими короткими пальцами, которые не вязались со всей его полной, приплюснутой фигурой, перебивал тонким, с надрывом, голосом Фелицына, чтобы самому не терять преимущества, и, выбрасывая в стороны раскоряченные столбы ног, прохаживался туда-сюда, пытаясь затем сцепить руки за спиной, но бочкообразная ожиревшая поясница не позволяла этого сделать.

А Фелицын, кляня себя за несдержанность, садился, опускал глаза и потихоньку розовел. В эти минуты у него начинало трястись все тело, как при ознобе...

Итак, Игорь Дмитриевич Фелицын, тридцатидевятилетний инженер отдела турбогенераторов, и инженер из котельного отдела, шестидесятилетний Владилен Серафимович Кашкин, красивый седые волосы хной, выехали на станцию, где по настоянию Микуло внедрялась одна из разработок КБ, в котором они трудились.

Фелицын, разумеется, ехал против воли.

Он хмуро стискивал зубы и поглядывал на дряблое, в сетке морщин, но в то же время породистое, как раньше говорили, лицо Кашкина, которому, казалось, было все равно: приедут они или нет. Кашкин часто курил, гасил окурки о спичечный коробок и задумчиво смотрел в окно на голый, припорошенный снегом лес, на дорогу, иногда улыбался, говорил что-то не подходящее ни ко времени, ни к обстановке, например:

- Материя саморазвилась в лице человека до осознания самого себя. Далее техносфера, оторвавшись от материи природной, начинает познавать и воссоздавать себя... Ну и что? Мы такие же жалкие, как миллион лет назад...

- Э-э-э... Любопытно, - говорил Фелицын, растягивая свое обычное "э-э-э", и машинально бросал взгляд на часы.

Однообразно урчал мотор с едва слышным металлическим пезвоном: видно, клапаны были плохо отрегулированы. Кашкин замолчал на некоторое время, почесывал желтым от табака указательным пальцем с толстым, неровно остриженным ногтем густые с проседью брови, нависавшие на глаза.

Фелицын думал, что человек похож чем-то на работающий без звука телевизор. Подойдешь, покрутишь ручку звука - и пожалуйста: "Материя саморазвилась..." Можешь слушать, а можешь выключить. Но человек - не телевизор, человек включается без посторонней помощи, когда ему вздумается. В поездках всегда люди говорят о чем-то постороннем, хоть о женщинах, хоть о Боге, лишь бы время скоротать.

Фелицын распахнул куртку на синтетическом меху, новую, недавно купленную женой, покосился на Кашкина, на его рыжие волосы, в которых просматривались белые корни. Глаза Кашкина поблескивали. Стало быть, в нем продолжают беззвучно звучать какие-то мысли.

За окнами шел густой снег, выбеливая дорогу, деревья, дома. Шофер ехал медленно. Он был одет в черный тулуп, от которого крепко пахло овчиной.

Однажды, когда шофер обернулся, чтобы что-то сказать, Фелицын заметил во рту его золотой зуб. Фелицын подумал о том, что внешние признаки богатства нравятся людям недалекоим.

На семидесятом километре что-то застучало сзади, автобус накренился и его повело влево.

- Зарекался не садиться на чужой машина! - сквозь зубы процедил шофер, ударяя ладонями о руль.

Он заглушил мотор. За окнами сильно мело. В щелях окон и дверей посвистывал ветер.

- Не отчаивайтесь, - успокаивающе произнес Кашкин, надел серую барашковую с проплешинами папаху и взялся за никелированную ручку двери.

Шофер стоял возле автобуса и почесывал затылок.

- Вы куда? - спросил Фелицын нервно у Кашкина, полагая, что шофер умышленно тянет время.

- Помогу колесо сменить, - простодушно сказал Кашкин и открыл дверь.

Ветер швырнул в салон снег.

Фелицын прошелестел курткой, лениво вышел следом за Кашкиным.

Шофер уже подставлял ржавый костыль домкрата у пробитого колеса. Кашкин неумело вытаскивал из задней двери "РАФа" запаску. Фелицын отстранил его, не спеша поставил колесо вертикально и, придерживая ладонями с двух сторон, сбросил его на землю. Колесо прыгнуло, как мяч, Фелицын подкатил его к шоферу.

В низине за обочиной из-под снега торчали, покачиваясь с шелестом, сухие желтые стебли болотной травы. Прогромыхал по дороге дизельный тягач, на платформе которого покоился облепленный снегом бульдозер.

- Вы бы перчатки надели, - сказал Фелицын, видя, как покраснели до синевы руки Кашкина, сложенные лодочкой.

Тот прикурил, выпустил струйку дыма и сказал:

- Никогда не носил перчаток. Рукам полезно померзнуть.

Фелицын вскинул на него колючие брови и недоуменно пожал плечами. Шофер оперся на накидной ключ, но гайка, словно приваренная к шпильке, не шла.

- А ну позвольте, я разомнусь! - сказал Кашкин, выщелкивая непогасшую сигарету в снег. На покатых, обвислых плечах длинноногого драпового пальто, какие носили в пятидесятые годы, налипли снежные погоны. Нагнуться Кашкину мешало брюшко. Но он попытался провернуть гайку. Папаха сбилась на быстро вспотевший лоб. Облачка частого дыхания вились над головой.

- Владлен Степаныч, дайте я! - сказал Фелицын, чтобы ускорить дело, и схватился за ключ.

Кашкин выпрямился, глубоко вздохнув, сказал:

- Я - Владилен Серафимович... Владилен - от Владимир Ильич Ленин, ну а Серафим - от... - он потряс совсем уже синей кистью руки над головой, - от Серафима крылатого!

Кашкин вынул из кармана грязный тряпичный комок носового платка и зычно высморкался, поковыряв затем в обеих ноздрях мизинцем.

Когда поехали, Фелицын с неприязнью посмотрел на Кашкина и подумал, что они с ним еще ни разу не коснулись цели поездки, то есть не поговорили о своей работе. Фелицын извлек из папки бумаги, принялся их перелистывать. Он вспомнил и об упорном подпятнике, и о циркуляции водорода в генераторе, и о крыльчатке... Но тут же вдруг заметил, что сейчас ему неинтересно говорить о работе.

Обернувшись к Кашкину, который склонился к приподнятой ноге, чтобы завязать шнурок на потрескавшемся стоптанном полуботинке, Фелицын спросил:

- Турбинами внутреннего сгорания не занимаетесь?

Кашкин начал затягивать шнурок, но, видимо, приложил большее, чем требовалось, усилие, и шнурок лопнул. Кашкин повертел обрывок в руке и с сожалением бросил его на ступеньку у выхода.

- Нет, - сказал он. От нагибания прилила кровь к лицу. - Моя стихия - пар!

Фелицын сунул бумаги в папку. Шофер через зеркальце заднего вида заметил, что Кашкин мучился со шнурком. Шофер, не отводя глаз от дороги, покопался за спинкой сиденья свободной рукой, вытянул связку концов и бросил ее Кашкину.

- Благодарствую! - сказал тот. - Как вас, уважаемый, зовут?

Шофер вполоборота повернулся и сказал:

- Зинэтула.

Кашкин сосредоточенно принялся налаживать из темных нитей концов шнурок. Тяжело дышал и одновременно говорил:

- Над древним очагом вился пар, пока вол тянул соху. Дребезжала крышка Котла. Так эта крышка тысячелетия дребезжала, выпуская пар на свободу. - Кашкин принялся вздевать самодельный шнурок в отверстия снятого с ноги полуботинка. Фелицын заме-

тил дырку на пятке носка. - Вился пар, пока хозяин не догадался, что котел можно поставить на колеса, запрячь в телегу. Пар выпер поршень, толкнул рычаг. Паровоз с шипением двинул грузы и людей. Но этот железный вол превратился в прожорливого монстра. Пар послал людей в шахты - рыть уголь, запер в стенах заводов, заляпал небо сажей. Заскрежетало железо, задвигалось, заглушило живую речь людей. Царь природы - человек - превратился в смазчика колес!

Фелицын едва заметно улыбнулся, вообразил, как пар толкает лопатки турбины, положил ногу на ногу и взглянул в окно. Сумерки нависали над белым полем. Снежные вихри то вздымались, то падали. Вдали мелькнул огонек в каком-то домике. Фелицыну почему-то подумалось, что там уютно, на столе стоит фарфоровый чайник с красным петухом на боку и Фелицын пьет чай с кусковым сахаром вприкуску... Промчалась, обогнав автобус, черная "Волга", зыркнув на Фелицына малиновыми глазами габаритов.

Шофер свернул с шоссе и по дороге, которой давно не касались снегоочистительные машины, поехал по грязно-желтому снежному месиву в сторону огней, мерцавших в мутной дали. Автобус закачался на ледяных колдобинах. Шофер Зинэтула обернулся и спросил:

- Почему у нас столько людей сидят за столами, получают жалованье, а ничего не делают?

Кашкин зашелся нутряным, тяжелым кашлем, глубоко вздохнул и сказал:

- Да потому, что у нас много мыслителей... Каждый ничего не делающий - мыслитель! В том числе и я. Для жалованья и расходимся по конторам... Работа скучна. А кто виноват? Пар! Цивилизация втравила. Ну что ж. Втравила так втравила. Надуем и цивилизацию. За столами подумаем о своем в мировом масштабе!

Быстро темнело. Кашкин затянулся сигаретой, а когда выдохнул, то Фелицыну показалось, что сизый дым легкими завитками потянулся из волосатых ноздрей, из ушей, на которых тоже виднелась седая поросль.

Лицо Зинэтулы, когда он повернулся, расплылось в улыбке.

- Правильно говоришь! - высоким своим голосом заключил он. - Злятся люди друг на друга. Один другому - "ты бездельник"! А тот думает, что другой бездельник... Они думают! Я вот еду с ва-

ми, прислушиваюсь и думаю. Спросил любого водителя, он думать любит. Смотришь на дорогу и думаешь...

- О чем же вы, Занилаба...

- Зи-нэ-ту-ла, - по слогам поправил шофер.

- О чем же вы, Зинэ-тула, думали всю дорогу? - спросил Кашкин, привстал, расстегнул пальто и, приподняв полу пиджака, подтянул спадающие потертые брюки. Эта потертость отчетливо была видна в ярком свете мигающих фар встречной машины.

Шофер некоторое время молчал, затем задумчиво заговорил:

- В голове разные картины бывают. Вот вы сказали, что смазчик колес. Я подумал о себе маленьком, о вас маленьком, о всех людях, таких маленьких, что жалко всех стало. Мать увидел. Зеленую степь увидел. Я скачу на лошади без седла. Тихо в степи! Вот когда хорошо. Маленький был, без забот. Теперь я тоже маленький, если смазчик колес, но с заботами. Дочку замуж выдавать надо. Деньги надо. Свадьба играть надо. Жених хороший. Ваш, русский, а не пьет! Помолчали.

- Чего это нам встречный мигал? - спросил Фелицын.

II

Красный фонарь освещал щит с надписью: "Объезд".

- Это куда же объезд! - вскричал Фелицын, проклиная Микуло, поездку, пургу и все на свете.

У железнодорожного переезда натужно рокотал бульдозер. В свете расплывчатых синих огней ходили с лопатами рабочие в оранжевых жилетках, надетых поверх телогреек. Настил переезда был разобран и кучей свален в стороне. Путеукладчик, гремя железом, опускал на насыпь новые звенья пути. Справа, на железнодорожном узле, перекликались тоскливо маневровые тепловозы.

Фелицын вышел из автобуса.

Ветер стихал. Косо падал жидкий снег. Вдалеке, за железной дорогой, обозначился клоч чистого вечернего темно-лилового неба.

Редко такие прекрасные перемены в небе увидишь над городом, где больше смотришь вниз, чтобы не покалечить себе ноги на

льду (вдруг куда-то исчезли дворники!), да по сторонам, но не вверх.

Что сверху увидишь?

Там нет ни магазинов, ни стадионов, ни тепла, ни телевизоров! Там одни холодные звезды, там только бездна, кажущаяся нам огромным и величественным куполом, будто бы имеющим начало и конец.

Внезапное, пронзительное чувство малости своей, беззащитности охватывает тебя, въедается в самое сердце, когда смотришь в эту бездну с какого-нибудь полустанка, подобного тому, где теперь копошились люди и пыхла созданная ими техника, казавшаяся в сравнении с величием неба такой же маленькой, игрушечной.

Различные уровни сравнения, макро- и микрокосмы издревле влекли к себе человека, он душой бесстрашно возносился к звездам и устремлялся в крохи, атомы вещества, преодолевая тяжесть телесной оболочки, сокрушая карликовых великанов, которые свою ничтожность возвеличивали в беспримерных монументах, желая посредством сопромата и математики, забыв, что масштаб не служит аргументом в пользу доброты и величия души, укрупнить свою трусливую и от этого злобную, подозрительную натуру, укрупнить до уровня трехметрового сапога, которым затаптывалась в грязь мечта о крыльях духа, и каких-то бетонных лавок вместо плеч, на которых обязательно должны присутствовать знаки различия, иначе кто скажет, что этот колосс самый главный в пределах видимости!

Но небо, темно-лиловое небо не интересуется всей этой чепухой, небо возбуждает наши чувства, чтобы приблизить нас к пониманию красоты, величия и бессмертия доброты мира, переливающего плоть и дух из одних сосудов в другие.

Великолепно было расчищающееся небо над переездом, и Фелицын почувствовал это, почувствовал мгновенно, не переводя чувства на язык разума, а лишь вздрогнул как-то, как вздрагивал в детстве от предчувствия радости.

Но на переезде властвовало не небо, а люди.

И они преградили путь "РАФу", который и так безнадежно опаздывал на ТЭЦ. Поэтому Фелицын бессильно вздохнул и влез в автобус.

В объезд нужно было сделать еще километров 20.

- Э-э-э... Пойдемте! - сказал Фелицын, подражая властности Микуло, и сумрачно взглянул на Кашкина.

Кашкин послушно вышел из автобуса и тут же принялся закуривать. В свете спички один глаз его показался Фелицыну больше другого и черным, как бычий.

- Ждите здесь! - бросил, сверкнув очками, Фелицын Зинэтуле и с Кашкиным пошел через насыпь мимо бульдозера, перешагивая через рельсы, серебристыми нитками утекавшие в ночь, по шпалам в сторону железнодорожного узла.

На путях стояло несколько составов. Черные, закопченные цистерны с мазутом или нефтью напоминали подрезанные с концов гаванские сигары на колесах. В товарных открытых вагонах виднелись доски, бревна, ящики и, как всегда, как на любой станции, - уголь. Пахло пережженным торфом.

Фелицын шел быстро. Кашкин с трудом поспевал за ним, спотыкался о шпалы, поправлял барашковую папаху, дымил сигаретой, кашлял, сморкался в снег. Обогнув последний состав, Фелицын различил за редким подлеском впереди огромные серые цилиндрические башни, расширяющиеся книзу, градирен станции, над которыми витал пар. Тонкие, по сравнению с этими башнями, полосатые, как задранные шлагбаумы, трубы котельной еще выше возносили в небо едкие дымы.

Фелицын ускорял шаг, срезал углы, протаптывая тропинки в неглубоком снегу, сжимал под мышкой папку с бумагами и крыл про себя на чем свет стоит Федора Григорьевича Микуло. Фелицыну казалось, что Микуло даже из могилы будет давать указания.

- Вот попался же начальник! - воскликнул Фелицын, нащупал в кармане яблоко, сунутое случайно утром дома, и с хрустом откусил половину.

- Найдите другую работу, - сказал Кашкин. - Найдите, если начальник не устраивает.

Фелицын от этого точного и простого совета на мгновение остановился. Обернулся.

- Ваша рекомендация, Владлен Серафимович, - с каким-то шипением сказал Фелицын, - напоминает мне, совет человеку, который жалуется, что жизнь заела, - застрелиться! Ну куда я в сорок лет пойду!

По белому проулку мимо деревянных домишек с палисадниками они шли натопанной дорожкой к подлеску. Сухие высокие

зонтики пижмы со снежными нашлепками торчали по сторонам. Дорожка теперь петляла по низине и градирен ТЭЦ почти что не было видно.

- Я говорю не о новой работе, - продолжил Фелицын, - я говорю о таких типах, как Микуло! Они готовы построить всех нас в шеренгу и заставить маршировать!

Кашкин на ходу нагнулся, подхватил рукой горсть снега, поднес его к губам, понюхал и принялся есть.

- Утрируете, - сказал мягко Кашкин и сплюнул. Снег показался ему горьким. - Дело не в Микуло, а в вас. У вас равные шансы. Будь вы человеком более сильным, чем он, вы бы подчинили его себе. Все человечество живет на этом подчинении. Все, кроме таких, как ваш покорный слуга!

- Ничего себе! - воскликнул и покачал головой Фелицын.

- Я добродушен, Игорь Дмитриевич, поэтому людей стараюсь воспринимать снисходительно. Я вот тоже иду с вами по этой снежной тропе, а не чувствую, что на меня кто-то давит, кто-то толкает меня. Мне все интересно. И этот подлесок, и даже дым станции на горизонте... Вы думаете только о настоящем, не принимая во внимание преломление прошлого на будущее...

- Бросьте болтать! - грубо оборвал его Фелицын. - В конце концов это надоедает. Ну ладно в дороге, куда ни шло, можно потрепаться...

Кашкин, не перечая, замолчал. А ему хотелось продолжить мысль и вывести ее на то, что человек заблуждается, когда думает, что внешняя смена обстоятельств придаст этому человеку новую энергию. Энергия исходит из глубин самого человека и образуется в нем бессознательно...

- Микуло только входит в отдел, как все смолкают и утыкаются носами в свои бумаги. А вы... - махнул рукой Фелицын и увидел толстое лицо с мясистым носом, с вдавленной переносицей, с раздутыми ноздрями, с круглыми маленькими блестящими глазами, ввалившимися в глазницы.

Федор Григорьевич Микуло приучил отделцев приходиться на работу за пятнадцать минут, с тех пор как внизу, на вахте, директор установил турникеты. Точно такие же турникеты, как в метро.

Утром у Фелицына создавалось впечатление, что внутри дореволюционного из красного кирпича здания КБ медом намазано.

Два турникета, две узких щели. Не хочешь идти сам, внесут спешащие сзади. В две струи проталкиваются. А ровно в восемь тридцать зелено-петличный вахтер с какой-то садистской радостью жмет кнопку - и металлические, обтянутые резиной скобы бьют по ногам опаздывающих, отсекая их от проскочивших. Скобы отсекают премиальные.

Вахтер, сняв черную шапку и смахнув ладонью пот с бритого под ноль черепа, так внутренне дивился этому обстоятельству, что иногда шалил с кем-нибудь показавшимся в щели дверей, делал путь открытым, тот бросался в турникет, а вахтер жал кнопку, стучали скобы, “зверь” был пойман.

Однако спустя полчаса после начала рабочего дня турникеты отключались, вахтер шел пить чай и уже не следил за входящими и выходящими.

Федор Григорьевич Микуло появлялся в отделе, пискляво здоровался, бросал взгляды на многочисленные столы и чертежные доски, пока шел проходом враскоряку, потому что толстые ляжки не позволяли сдвинуть ноги, садился за свой стол и несколько минут сидел молча, высоко подняв голову, и глядел в окно. Оттого что Микуло был низким, голова его казалась огромной.

Стараясь заработать все возможные деньги, дома он сидел до полуночи. Переиначивал отдельские отчеты в книги, статьи, брошюры. Микуло греб под себя уверенно, без страхов и колебаний. Вышестоящие начальники были либо земляками, либо друзьями земляков и, если кто-нибудь осмеливался подавать голос против Микуло, начальники просто не реагировали или отделялись обещаниями разобраться. За долгие десятилетия земляки и друзья земляков так спаялись, так спелись, так запутали дело, так раздули штаты, что разобраться - кто же на кого работает: КБ. на турбины или турбины на КБ, - было невозможно.

Иногда смотришь на какую-нибудь примитивно сделанную железку и не подозреваешь, что вокруг этой железки крутится целый сонм ученых, конструкторов, инженеров из НИИ, КБ, вузов, техникумов, главков, трестов, что к этой железке присосалось несколько тысяч “специалистов”, постоянно требующих к себе внимания и повышения зарплаты.

Но скажи об этом Федору Григорьевичу Микуло, он посчитает тебя врагом науки. Он всю жизнь положил на составление отчетов, на чертежи и схемы, на книги, статьи, брошюры, на алгоритмы

расчетов, а в последнее время - на математическое моделирование на ЭВМ. Против машины не попрешь!

Как не попрешь и против упрямства самого Микуло. Это был человек такого редкого, фантастического упрямства, что даже жена Татьяна Евграфовна иногда теряла самообладание и называла мужа "упрямым ослом". Микуло выдавал ежедневно на хозяйство жене три рубля. Можно было уговаривать, умолять, Микуло оставался непреклонным. Жалованье свое он переводил на сберкнижку, как и многочисленные вознаграждения за книги, статьи, брошюры и другую халтуру.

Подчиненных Микуло подбирал под стать себе. То в большинстве своем были семейные женщины, успевавшие за рабочий день обойти все магазины и связать по носку, на что Микуло смотрел сквозь пальцы, лишь бы с утра были как штык. Фелицына Микуло держал как своего рода пожарную команду специалистов на случай квалифицированных проверок и инспекций со стороны.

Но ни одного возражения или предложения Фелицына Микуло сразу не принимал, он стоял упрямо на своем. Потом, когда суть спора забывалась, Микуло выдавал предложения Фелицына за свои...

После вечерней работы Микуло долго не мог заснуть. Для успокоения открывал историка Соловьева и прорабатывал вглубь время Ивана Калиты.

Но сейчас, утром, ощущения недосыпа не было. Микуло подумал о себе, что он стареет. Вспомнил мать, которая дожила до девяноста лет с ним в Москве. В последнее время мать постоянно жаловалась: "Никак, Хведя, задремать не могу..."

Утром Микуло сел в майке и в трусах на кухне, наложил черную повязку на руку выше локтя, покачал резиновую грушу - измерил давление, съел горсть таблеток и позавтракал двумя тарелками гречневой каши с маслом, прихватив вилкой пару больших кусков консервированной ветчины и небольшой маринованный пупырчатый огурец - произведение жены Татьяны Евграфовны.

Просчитав про себя до пятидесяти, чтобы сердце после ходьбы успокоилось, Микуло резко обернулся и вскричал...

Но что вскричал Микуло, Фелицын не расслышал, потому что Кашкин выругался, когда поскользнулся и упал. Фелицын подал ему руку и заметил в глазах Кашкина страдальческое выражение.

Поднявшись, Кашкин тут же принялся закуривать.

- Да что вы все курите! - возмутился Фелицын, понимая, что они опоздали.

- А я не затягиваюсь, - сказал Кашкин добродушно.

Пришли на ТЭЦ. Дежурный инженер, пожилой мужчина с мучнисто-серой кожей лица, посматривал изредка на приборы и передвигал шахматные фигуры - играл с дежурным монтером. За стеной глухо гудели турбины.

Едва заметно вибрировал пол. Фелицын протирал запотевшие очки платком и щурился от яркого света. Кашкин устался на обшарпанную шахматную доску и тут же начал давать советы, как ходить. Его красноватое, с синими прожилками морщинистое лицо казалось усталым. Отсутствие руководства Кашкина не волновало...

Фелицын с Кашкиным вышли на улицу и немало были удивлены, увидев свой зеленый "РАФ". Оказалось, что темпы путеукладчика были таковы, что вскоре, как они ушли, Зинэтула первым проскочил восстановленный переезд.

Эта поездка Фелицыну начинала сильно не нравиться. Время подпирало настолько, что в "Олимпийском" футболисты уже выбежали на разминку, летают белые мячи, а он тут исполняет чью-то чужую волю. Фелицын недовольно шмыгнул носом.

Теперь они ехали к Дому туриста.

- Посплю хоть спокойно. А вы двойную оплату сделаете, - сказал Зинэтула. - Тесно живу. С жена тесно спать! - И открыто улыбнулся.

Фелицын подумал о странных суждениях шофера и вдруг вспомнил, что он сам живет в стесненных условиях.

Проехали по тускло освещенной широкой улице мимо облупившейся церкви без купола, мимо желтых двухэтажных барачков, выехали на площадь, где по правую руку стояло древнее приземистое здание торговых рядов с нишами и арками, а по левую - новое трехэтажное, из стекла и бетона, здание райкома. За ним притулился купеческий лабаз почты и телефона. Фелицын сбегал позвонить. Сунул пятнашку в автомат. Услышал голос жены. Объяснил.

- Что еще скажешь? - услышал он злой голос Ольги. - Можешь совсем не приходить... А придешь, так не забудь принести справку!

Фелицын в сердцах выругался и повесил трубку.

Какой-то высокий, неуклюжий человек в огромной лисьей шапке с торчащими вверх незавязанными наушниками кричал что-то басом в соседней кабине и стучал согнутыми пальцами по серой коробке таксофона, как по чьей-то голове, вдальбывая прописные истины.

Фелицын хлопнул дверью и вышел к машине. Переехали заснеженный мостик с изогнутыми чугунными перилами. На откосе Фелицын заметил перевернутые вверх днищами лодки, припорошенные снегом. Слева потянулся длинный зеленый забор и, как только он убежал назад, выкатилась из темноты им навстречу высокая изба с резными наличниками на окнах.

У входа в калитку покачивался фонарь. Бревна избы были выкрашены в темно-бордовый цвет. Кашкин ладонью погладил бревна и поцокал восхищенно языком. Поднялись по ступенькам на крыльцо, сбили снег с ног, вошли в двойные двери. Пахло уютом и теплом. Направо был большой холл с креслами. У широкого окна за барьером сидела дежурная - полная пожилая женщина с тоскливым лицом. И урчал домовито цветной телевизор.

Заполнили карточки постояльцев. У Кашкина, правда, с собой не оказалось паспорта, но ему так поверили.

На стене за спиной дежурной была нарисована замкнутая полоса дороги с разбросанными по ней плоскими условными церквями и названиями городов Золотого кольца.

Фелицын собрал карточки, мельком заметил, что Кашкин живет в Старокоюшенном переулке, и передал их женщине.

Оглядели комнату с тремя кроватями, гравюру под стеклом на стене, на которой изображалась колокольня затопленной возле Калязина церкви.

- Плоды трудов наших! - иронично воскликнул Кашкин, деловито заглядывая в тумбочку у своей кровати.

Фелицын усмехнулся, разжигая в себе радостное чувство, с которым он через полчаса усядется перед телевизором смотреть футбол.

Кашкин сложил руки на груди, сказал:

- Моря, образованные плотинами станций, попортили нервы местным жителям! Залили веками складывавшиеся поселения, леса, погосты. Прощались, проклиная всех и вся! Но забывали при этом, что вся предшествующая история зиждилась на прощаниях.

Только родился человек, а уже распостился с утробой матери! И пошли чередой прощания, и все прощаемся, прощаемся, плачем, прощаемся...

Зинэтула присел на край кровати. Скрипнула сетка.

- Хорошо бы ужин пожевать, - сказал он миротворно.

Пошли. Фелицын под диктовку дежурной отворил ворота. Зинэтула загнал во двор автобус, пыхнув на стоявших выхлопным газом. На другой стороне улицы, наискосок от избы, располагалась столовая в таком же точно доме, удивился Фелицын, - пятиэтажном, панельном, облицованном мелкой красно-белой плиткой, - в каком жил и он сам. Трудно было поверить, что кто-то сейчас ходит по такой же, как и у него, то есть у жены (Фелицын был прописан у родителей), маленькой, тесной двухкомнатной квартирке с микроскопической кухней, с проходной комнатой, с тесным туалетом и с издевательской ванной, в которой двоим людям не разойтись. В столовой пахло хлоркой и кислой капустой. Капуста и оказалась в рыбных щах, которые Фелицын откалзался есть.

- Мне... э-э-э... антрекот, - сказал он раздатчице в грязном фартуке.

Она уперла руки в боки и выдохотала:

- Мы и слов-то таких не знаем!

Пришлось брать две порции манной каши и стакан молока. Зинэтула с Кашкиным не отказались от рыбных щей. Фелицына поразило, когда они ели, что Кашкин брал кусок рыбы из тарелки пальцами, окуная их в жидкость. Потом эти пальцы облизывал.

- Хорошие щи! - хвалил Кашкин, краснел, втягивал в себя влагу ноздрей, облизывал губы и чмокал.

Зинэтула ел неторопливо, без всякого настроения, а так, как будто он каждый божий день ест такую пищу. Черные волосы Зинэтулы, прямые и жесткие, с четкими бороздками от расчески, были зачесаны назад.

По заляпанному рыбьей шелухой полу гуляла облезлая, видно, лишайная кошка с одним глазом. Другой или вытек, или не открывался. В углу какие-то два мужика в ватниках сидели за столом в шапках, гремели стаканами и, толкая друг друга в грудь, хлестко бранились. Когда выходили, Зинэтула сказал им:

- Нехороший человек! Под указ вас надо садить!

III

Только Фелицын сел в кресло у телевизора, как свет погас. Пока глаза привыкали к темноте, ничего нельзя было разобрать, кроме серого квадрата окна. Фелицын снял очки и, сводя пальцы к переносице, потер глаза.

- У нас это бывает, - сказала дежурная и захлопала дверцами шкафчика.

За спиной Фелицына зашелся кашлем Кашкин. Чиркнула спичка, осветив скошенные к носу глаза и румяные щеки дежурной. Зажглась керосиновая лампа.

Пузатый стеклянный колпак, надетый на лампу, сделал свечение ярким.

- Возьмите к себе в комнату, - сказала дежурная.

Фелицын, выходя из себя, раздраженно взглянул на нее, сказал:

- Ну и ну!

Он сдерживал в себе кипение, чтобы не сказать какую-нибудь грубость. Весь день шел под знаком футбольного матча - и вдруг! Хотелось либо разбить телевизор, либо... Что либо? Проклинать Микуло!

Фелицын взял лампу и, почему-то стыдясь своей злости, вместе с Кашкиным и Зинэтулой пошел в комнату. На полу от их фигур двигались длинные тени.

Фелицын и Кашкин сидели на стульях у стола молча. Зинэтула проскрипел сеткой кровати, лег поверх одеяла. Каждый думал о своем.

Пламя лампы горело ровно. Золотистый круг отпечтался на дощатом потолке. Этот свет, напоивший замкнутое пространство комнаты, оградившей приезжих от бездны потолком и стенами, напоминал Фелицыну театральные свет, когда только что поднялся занавес и на сцене появился старик с лампой.

Почему старик? Да по вольному разумению Фелицына, потому что только старики знают прекрасные, хватающие за душу истории, в которых хоть и присутствует вымысел, но все - правда. Ста-

рец держит в костлявых руках лампу, сам превращается в свет, и вот - он уже на потолке, смотрит глазом лукавым и подмигивает.

И уже золотой круг расширяется до необъятности - и видятся в нем все те же звездочки, какие, однажды узрев в небесах, помнишь вечно, носишь их в своей душе, в воображении своем, как ходит с тобой незримо мудрый старец и шепчет ночами чудные истории, которые воплощаются в сны, разворачивающиеся в таком бесконечном и непостижимом разнообразии, что даже во сне, отстранившись ото сна, дивишься ярким образам и цветным пейзажам, дивишься до того, что, плюнув на условности, взмахиваешь вдруг неизвестно откуда появившимися крыльями и, на собственный страх и риск, взлетаешь, и летишь.

И слышишь, как тихо колыхается воздух (как вода, когда топишь в ней лопасти весел и гребешь), как этот воздух оmyвает твоё безмятежное тело, вздувает пузырьком рубашку на спине, ты оглядываешься, чувствуя, как безумно стучит твоё сердце, и видишь золотой круг солнца, постепенно сужающийся, пока ты не различаешь, что это всего-навсего отраженный свет керосиновой лампы на потолке, а глаз старца - темный сучок в доске. Пламя горело ровно.

Кашкин снял пиджак, бросил его на свою кровать в углу, ослабил галстук, скрученный трубочкой и, сунув сигарету в рот, склонился к лампе прикуривать. Рубашка на нем была жеваная.

- Не курите в комнате! - одернул его Фелицын. - Нам же спать здесь!

Кашкин смущенно затушил горящий конец сигареты пальцами, подул на них и сунул окурочок в нагрудный карман рубашки.

Фелицын цыкнул зубом, встал, вышел в коридор. На барьере перед дежурной горела еще одна керосиновая лампа. Женщина что-то писала в толстой амбарной книге. В свете лампы она походила на переписчицу древних актов.

- Есть надежда? - спросил Фелицын.

- Звонила. На линии что-то произошло. Сгорело, видать, что-то. Может, до утра, - сказала та и вновь принялась писать.

Фелицын вернулся в комнату. Остановился перед окном. Виднелся угол избы и автобус. От снега на улице было светлее, чем в помещении.

- Вы ложись на кровать, - услышал он голос Зинэтулы. - Не надо психовать. Футбол можно смотреть, а можно не смотреть.

- Как можно не смотреть, когда судьба клуба решается! - сказал с чувством Фелицын, не сдержавшись.

Кашкин шевельнулся за столом и, не отводя блестящих глаз от лампы, тихо произнес:

- Одни бегают, другие смотрят, третьи спят. А все находятся в равных условиях, - умрем и ничего не останется...

Фелицын вновь цыкнул зубом, и мелкая дрожь забила его от волнения, пальцы похолодели, кожа сделалась гусиной.

- К чему это вы говорите?! - раздраженно крикнул он. - Это всем известно... Дайте чего-нибудь новенького! - Фелицын последовал совету Зинэтулы и лег на кровать.

- Новенького? - усмехнулся Кашкин. - Что ж может быть новее того, что мы сидим в какой-то дыре с керосиновой лампой! Все новое - в нас самих, в наших душах. Остальное - все старое, друг мой!

В этом "друг мой" Фелицын услышал некую снисходительность.

- Вы лучше скажите: почему света нет? - спросил Фелицын.

- Сами знаете. Может быть, блокировка слабая, может быть, "ноль" на каком-нибудь столбе потерялся... Мало ли!

- А я привык к темноте, - сказал Зинэтула мягким голосом и шевельнулся на кровати. - В темноте стоишь и думаешь. Давно я рота охраны служил. Стою на вышке - далеко степь смотришь. Зимой в тулупе стою, в валенках стою. Воротник поднимаю, стою. Карабин в угол ставлю, стою. Долго держать карабин тяжело. Два часа на вышке стою. Потом иду караулка. Два часа спать. Два часа бодро. И опять на вышку. На вышке стоишь, думаешь, а сам как будто дома...

Фелицын слушал и смотрел на желтое пятно на потолке. Кашкин не отводил глаз от лампы.

- Наказание получил за эту думу. Убежал преступник один в мое дежурство. Губвахта меня сажают. Преступника разыскивать. Объявляют в розыск. Прибегает раз женщина в зону. Плачет женщина, слезами прямо умывается. Говорила, у нее преступник на чердаке живет. Пошли наши. Взяли преступника. Я конвоиром попал преступника вести к следователю. Втолкну преступника в комнату, сам за дверью с карабином стою. Слушаю. Следователь кричит. Преступник молчит. Следователь кидает в него табурет. Преступник рассказывает. Говорит нахально

преступник. Сам тощий, бородка рыжий, жидкий, глаза вваленные. Нечистый какой-то. Говорит. Следовательно кричит, почему ребенка убил, за что ребенка преступник убил?! Тот нахально говорит, как он убивал годовалый ребенка той женщины. Когда женщина шла на работу, он из ребенка шприцем кровь откачивал. Потом пил. Здоровым хотел быть. Ребенок синел. Преступник каждый день откачивал кровь. Через месяц ребенок умирай. Я стою за дверью, и темно в глазах моих сделалось. Ах, думаю, собака твоя мать! Кровосос! Когда выходил преступник в коридор, я не мог смотреть на него. Веду его. На улицу вышли. Я пальцем курок щупай и дуло ему в спину, толкаю. Два шага толкаю, потом курок нажимаю. И все! Потом сказал, попытка бегства. Меня не наказывай. Меня в другую часть отправляй. Самолеты охраняй.

Зинэтула замолк и вздохнул.

У Фелицына похолодел нос. Кашкин дрожащим голосом спросил:

- Давно это было?

- Давно. Пятидесятый год. А все из головы не выходит. Какая люди есть негодная! Давил бы собственными руками! - голос Зинэтулы дрогнул.

Наступило молчание. Немного погодя Кашкин поднялся, упала большая тень на стену, где висел эстамп с затопленной колокольней. Кашкин сдавленно закашлялся, согнувшись, взялся за грудь, потом выпрямился и прошелся по комнате. Когда он закрывал лампу, то тень росла и ложилась к самому потолку.

Тишина и шаги Кашкина понемногу успокаивали Фелицына. И полутемная комната, и мутно-серое окно, идвигающаяся по стене тень напоминали почему-то давно ушедшее и, казалось, никогда не бывшее детство со страшными рассказами о черной перчатке, об отрезанной говорящей голове и еще о чем-то таинственном.

Когда Кашкин проходил мимо кровати, до Фелицына доносился запах прокуреного и несвежего белья. Спина удалялась к двери, а потом, в свете лампы, всплывало из потемок лицо с особенно отчетливо видными седыми мохнатыми бровями, резко поблескивающими глазами и тенями на скулах и подбородке.

Кашкин вновь закашлялся, но уже не сдержанно, а громко, натужно.

Откашлявшись, сказал:

- Не могу без курева... Пойду покурю. - Он открыл дверь. Она тихо скрипнула. Он вышел.

В углу коридора Кашкин увидел большой эмалированный титан. Из крана его капала в подставленную кастрюльку горячая вода: льбу-пльба-тли...

Кашкин смотрел на капли, на титан, на барьер с керосиновой лампой, где сидела и дремала дежурная, на широкое окно, за которым были видны белые деревья, забор, такой же белый, и курил. Ему нестерпимо жалко сделалось и себя, и Зинэтулу, и Фелицына, и эту подремывающую женщину. Чтобы отделаться от этого жалостного чувства, он поднес горящую сигарету под кран, капля с шипением загасила ее. Кашкин подошел к дежурной, легким покашливанием разбудил и спросил, не найдется ли у нее заварки.

Женщина встала, вышла из-за барьера, взяла лампу и, шаркая по полу войлочными тапками, исчезла за одной из дверей в конце коридора. Спустя малое время, она вынесла открытую, смятую пачку чая, протянула Кашкину.

- Забыл постоялец какой-то, видать. - Она прошла за барьер, широко зевнула и, облокотившись на стол, подперла голову кулаками.

Нашелся и чайник. Кашкин принялся заваривать чай, а сам все думал про себя о чем-то. Он любил рассуждать в одиночестве, в тишине, и теперь он рассуждал, пытаясь понять того кровососа, но какие бы веские оправдания он ни прикидывал, оправданий не находилось. Мысли путались, хотелось остановиться на какой-то понятной, глубокой мысли о жизни, о ее существовании и неразгаданности.

Чай заварился, но не было сахара. Кашкин опять вкрадчиво покашлял и обратился к дежурной. Та зевнула, прикрывая большой рот кулаком, и сказала, что дали бы рубль, она целую пачку сахара бы отдала. Кашкин покопался в карманах, вынул вместе с носовым платком (платку у него лежали месяцами по всем карманам) зеленую мятую трешку, положил на барьер и, приятно улыбнувшись, попросил к сахару добавить что-нибудь съестное и оправдался тем, что в столовой они не наелись. Женщина оживилась, цапнула трешку, встала и принялась действовать. Имея большой опыт работы в Доме туриста, она держала всякий харч про запас.

...Фелицын смотрел в потолок и думал, что Кашкин вытягивает, наверно, уже третью сигарету.

- Вы спите?

- Нет, - отозвался Зинэтула.

- А вы знаете... э-э-э... я в детстве на удаве сидел, - задумчиво произнес Фелицын и увидел "Славянский базар", арку подворотни с двойными толстыми колоннами по бокам. Вернее полуколоннами, которые выступали как бы из стены дома.

В руках рабочих были такие специальные зубила с заостренными волнистыми рабочими концами, которые позволяли делать обрабатываемую поверхность шероховатой. Рабочие лазали по лесам, закрывавшим эти полуколонны, и стучали по зубилам молотками. Игорь Фелицын возвращался из школы и задержался у колонн, засмотрелся на работу реставраторов. Из-под зубил летела каменная крошка, хрустела под ногами. Полуколонны становились белыми, как сахар, до которого в детстве был охоч Фелицын.

- Мам, дай асальку! - просил он в два года. "Асальком" он называл сахар.

И так ему приятно было вспоминать теперь это слово, что он сначала не расслышал вопроса Зинэтулы.

Тот повторил:

- А удав не ядовитый?

- Нет. Он заглатывает.

- Змеев не люблю! - сказал твердо Зинэтула.

- Это первое, я... э-э-э... Первое, что я помню из своего детства, - сказал, подумав, Фелицын и продолжил: - Мне, наверно, тогда два года было. Потом уж мама всем рассказывала. Вот в памяти моей отложилось. А случилось это так. Я ни на шаг не отходил от мамы. Как говорится, за юбку держался. Мама пошла на кухню. Знаете, такая большая общая кухня у нас была, с кафельным желтым полом, как в "Центральных" банях, куда я с папой каждое воскресенье ходил мыться. Мы вошли в кухню, и, как мама потом рассказывала, меня заворожил седебородый, в длинном красном халате, подпоясанном золотистым кушаком, в берете и с искривленной трубкой в зубах старик. Он стоял у своей конфорки (надо сказать, что на кухне было четыре плиты и у каждого была своя конфорка или две конфорки, в зависимости от семьи, и не дай бог, чтобы занять чужую конфорку - скандал был

неминуем), он, этот странный, пестрый старик - представляете, как он мог приковать своим видом внимание ребенка, которому только необычное и подавай! - так вот, старик стоял у плиты и варил ядовито-вонючий столярный клей. Но мне, разумеется, тогда было невдомек, что он там варит, меня восхитили (насколько могут восхитить двухлетнего малыша) его одежды, трубка и то, что, как только он увидел меня, подмигнул мне своим большим, каким-то вспыхнувшим, изумрудно-желтым глазом... Э-э-э... Я, наверное, засмеялся и совершенно машинально, как я теперь понимаю, стал канючить, ни к кому не обращаясь, а так, чтобы только воздух сотрясать: "Хосю асальку, хосю асальку, асальку!" - и ножкой в пинетке топал.

"А вот пойдем, я тебя угощу", - сказал старец и, выключив конфорку, взял тряпкой банку с клеем. "Да что вы, Аристарх Иванович! - сказала мама. - Он просто так канючит, он сыт". - "Я ему кое-что покажу, - сказал Аристарх Иванович. - Маленький подарочек сделаю".

И, ухватив меня за руку, склонившись, повел меня с кухни.

Мы вошли в его комнату. Что уж я увидел тогда, не знаю. Но по рассказам мамы восстанавливаю. Какие-то деревянные застекленные ширмы в восточном духе, какие-то причудливые вазы на полу, покрытом ковром, какие-то золотые с вытянутыми горлами кувшины. Мне же запомнился огромный, как трон, стул с высокой спинкой, на которой сидел зеленый с красным хохолком попугай, как я узнал впоследствии, говорящий.

Аристарх Иванович тут начал глотать красные, как для настольного тенниса размером, шарики. И глотал их бесконечно. А я пятился от изумления, пятился, пока наконец не уселся на что-то мягкое у плотного занавеса - синего с серебряными длиннокопечными звездами.

Я сидел с открытым ртом, виднелись мои два передних нижних молочных зуба (сужу по фотографии тех лет). Перестав глотать шарики, Аристарх Иванович вскочил, как юноша, на диван с овальной спинкой и снял со стены шагу. И вы, наверное, догадываетесь, он эту шагу на моих глазах, запрокинув голову, запихнул до рукоятки себе в рот!

Да, очень важно сказать об освещении в его комнате. Я не видел источников света. Но свет струился, казалось мне, отовсюду. Не прямой свет, к которому мы привыкли, а какой-то ненавязчиво

рассеянный, и всюду разный: там голубой, там зеленый... Э-э-э... Аристарх Иванович взял из застекленного, посудного шкафчика, резного, с мелкими точечками от жучков-древоточцев по витым окладам дверец, взял какую-то склянку и из горлышка ее, когда старик чем-то хрустнул в руке, вырвалось высокое пламя, голубое с красным хвостиком.

Конечно, конечно, он стал глотать огонь. И свет в комнате, казалось, мерк, когда он сглатывал огонь и отстранял от себя склянку с помертвевшим горлом. Огонь был у старика в животе, думал я, не дыша. Аристарх Иванович надувал щеки, сжимал губы в бантик и выдувал длинное и тонкое пламя, которое тут же оживляло горло склянки и над ним вздымался огненный смерч с шипением.

Затем старик помахал руками и протянул мне холодную коробочку с медными отливами по углам, с кнопкой на боку. Старик нажал кнопку, крышка с музыкой, шедшей изнутри, поднялась, и выскочил рогатый чертик, высунул красный язык, и коробочка захлопнулась.

Тут я почувствовал, что то, на чем я сидел, зашевелилось, я вскочил и увидел зеленовато-желтую голову, увидел леденцовые глаза, увидел щель рта...

Дверь скрипнула, на пороге показался Кашкин с чайником и глубокой тарелкой.

- Теперь мы перекусим с большим удовольствием, - сказал он, ставя на стол чайник. В тарелке были бутерброды с ноздреватым сыром, две золотистые копченые ставриды, круглое печенье и несколько карамелек.

Фелицын поднялся с кровати, подошел к столу, пожал плечами, как бы недоумевая и не понимая, откуда мог возникнуть этот ужин, так как все это время, пока говорил, мысленно представлял себе Кашкина с сигаретой в зубах. Посмотрев на тарелку, Фелицын почему-то вспомнил Миколо.

Не любил Фелицын встречаться с Федором Григорьевичем Миколо в столовой КБ. Но если уж встречался, неся свой поднос с порцией второго и компотом, то увильнуть от властного взгляда начальника не мог. Федор Григорьевич командовал: "Тюпайся швидче!" (шевелись живей)- и принимался занудно о чем-нибудь говорить, так что у Фелицына пропадал аппетит. А Федор Григорьевич часто-часто работал ложкой или вилкой,

как будто у него кто-нибудь собирался отбирать его борщ, две котлеты с картофельным пюре, три салата из квашеной капусты и пару стаканов компота. Челюсти его работали столь быстро, что казалось, это трапезничает какой-то автомат по переработке пищи. Ел Федор Григорьевич грязно, по круглому сальному подбородку текли струйки щей, падали на стол кусочки котлеты и картошки, к пухлым щекам прилипали крошки хлеба, которого он съедал кусков пять-шесть, рассуждая при этом о бережном отношении к хлебу, о том, что хлеб всему основа и что из хлеба делают сухари, печенье, вермишель, макароны, рожки, бисквиты и прочее. Говорил он это, вставляя украинские слова и целые выражения, с таким видом, как будто делал очередное открытие...

Зинэтула сел к столу. От рассказа Фелицына в душе его зажегся какой-то незнакомый огонек. Теплый, ласкающий душу. Хотелось говорить, слушать, смотреть на неяркий свет керосиновой лампы, жаловаться на жизнь и одновременно хвалить ее.

- Эх! - воскликнул Зинэтула со вздохом.

Фелицын ждал, что тот продолжит после этого "эх" говорить, но Зинэтула придвинул к себе стакан с чаем, звякнул ложечкой, взял бутерброд. и принялся есть. Зажегся свет.

IV

Хемингуэй ходил на корриду. Фелицын - на футбол.

На первых весенних играх скамейки трибун пахли краской. Фелицын болел за ЦСКА. Синие трусы и красные футболки вызвали в нем трепет.

Тысячи людей, озабоченные одной мыслью - чтобы их команда выиграла, сидят на трибунах с видом знатоков. В футболе разбираются все. Фелицын же в последнее время стал замечать, что меньше и меньше разбирается в нем.

Раньше у каждого храма был свой юродивый. У футбольных команд тоже есть или были таковые. Фелицын помнит Машку, растрепанную женщину с испитым лицом, в детском коротком пальто,

с дерматиновой хозяйственной сумкой, висящей на согнутой руке. Машка во время игры никогда не сидела. Она ходила в проходах по ступеням с таким задорным видом, как будто этот миг был для нее самым счастливым в жизни.

Машка была при ЦСКА. Спеша на футбол, перебирая в голове различные варианты исхода встречи, каждый болельщик ЦСКА нутром предчувствовал встречу с Машкой. Если ее не было на трибунах, то праздник игры оказывался не полным.

- Чего это Машки не видать? - сокрушался какой-нибудь красноносый дядя Вася между прочим.

Фелицын крутил головой, поправлял указательным пальцем очки и высматривал тощую фигуру. И вот где-то уже вскочили со своих мест, по трибуне прокатился рокот: "Машка, Машка..." Завертелись головы в кепках-букле, прозванных "аэродромами", оживились взгляды. Даже игроки, казалось, приостанавливали игру и взглядывали на трибуну. Защитник, понимая, в чем дело, с ухмылкой подтягивал трусы и думал, что теперь-то они не продуют.

Каждый хотел поговорить с Машкой. Каждый ее называл так. Машка! Но когда выкрикивал что-нибудь в ее адрес, обращался вежливо: "Маша" или "Марусь".

- Маша, ну как у нас сегодня дела?

Машка на мгновение жеманно замирала, выхватывала огненным взором спросившего и пронзительно-высоким с хрипотцой голосом кричала, что сегодня "не светит", что такого-то игрока "отдали" в Ростов доучиваться, что такого-то полузащитника "сломали" в Киеве, что за таким-то гоняются "покупатели", что пока игрокам платят тайно деньги, а не официально, дела не будет, что они нигде не работают, только к кассе на завод, как "Торпедо", приезжают или, как ЦСКА, еще надбавку за погоны получают, что любительским спортом давно не пахнет, что врут, изоврались, переврались все кругом, что если они любители, то, стало быть, спортивная самодеятельность, как художественная, не имеют права выступать за деньги, а нам дурят головы и продают билеты, что футболисты-сопляки имеют таким воровским способом машины, квартиры, а играют из рук вон плохо, что ЦСКА - грабитель с большой дороги, забирает, если призывной возраст, любого к себе, а тот из-под палки играть не хочет, что тренерам нужно в тряпочное домино учиться играть...

По трибунам волнами расходился одобрителный гул.

“Оратор римский говорил средь бурь гражданских...”

Фелицын не однажды уже слышал из уст Машки это “тряпочное домино”, но никак не мог понять смысла этого выражения. Домино, да еще тряпочное! Но зачем все понимать?!

Если какой-нибудь провинциал сержант милиции брал ее за локоть, на котором болталась пустая сумка, то немедленная реакция болельщиков со свистом и улюлюканием вгоняла сержанта в краску. Машка накидывала на голову косынку и печально отворачивалась. На других трибунах думали, что там что-то произошло - может быть, подрались.

Машка - это чемпионство ЦСКА в 1970 году.

Всю кухню клуба знала Машка изнутри. Она была ходячим справочным бюро. Она и предсказала за много лет, что ЦСКА неминуемо вылетит в первую лигу. Когда она это говорила, то Фелицын впервые услышал от нее:

“Конюшня!”

Прозвище это, скорее всего, было выдуманно Машкой. Она не любила стадности. И казалось, противопоставляла себя трибунам. Машка - и тысячи болельщиков.

Индивидуальность, доведенная до помешательства. Выделение из толпы ненормальностью.

Фелицын сидел у телевизора, припоминал пророческие слова Машки о первой лиге, сокрушенно качал головой и вздыхал. “Конюшня” проигрывала “Даугаве” в матче второго круга переходного турнира за право выступать в высшей лиге.

Футбол был памятью детства. Футбол был вехой в жизни. Первый футбольный матч, увиденный на стадионе в Лужниках, стал прощальным со “Славянским базаром”.

Двор, парадный подъезд с лепным потолком, широкие лестничные клетки, длинные коридоры, подвалы - все оставалось в прошлом. Тогда хотелось плакать и в то же время говорить. Говорить, преодолевая возбуждение, о только что виденном, о впервые в жизни виденном живом футболе, о гудящих трибунах, о развевающихся спортивных стягах, о запахе краски, о белой разметке поля, о прыжках и кульбитах Бориса Разинского, о штрафных ударах, о синих трусах и красных футболках...

Фелицын, ошеломленный зрелищем, не помнил, как дошел от Дзержинки до двора. Он увидел себя уже во дворе. Ощутил то

свое состояние. Было 30 апреля 1958 года. ЦСКА - "Динамо" (Москва) - 0 : 0. Боевая ничья, как любил говорить Вадим Синявский. Игорь Фелицын стоял с Сережей Зайцевым у подворотни маленького двора и говорил, и говорил. На асфальт упал квадрат света от окна. За занавесками виднелся матерчатый абажур с кистями. Фелицын восхищенно говорил об игре, а Сережа перебивал его: "Твои уехали. Грузовик нагрузили. На новую квартиру!" В глазах Сережи вспыхивала зависть к этой новой квартире.

Само понятие - новая квартира - казалось непонятным. Вся жизнь здесь, во дворе "Славянского базара", - и вдруг! Куда? Зачем?

Футбол. Грузовик уехал. Сестра Вера у Ольги ждет.

Ольга - бойкая, с короткой стрижкой девушка - подруга старшей сестры Веры. Они одноклассницы. Заканчивают десятый класс. Ольга живет в доме 13, рядом с "проходнушкой" на Охотный ряд. Нужно выйти из двора, свернуть направо, пройти мимо зеленого архивного института... Но Игорю Фелицыну хочется поступить иначе.

Он срывается с места и бежит не к арке выхода, а в глубь двора, мимо гаражей, к флигелю, сворачивает налево в задний двор и вдоль бордовой стены бежит в конец его. Там, в тупике, на кирпичной перегородке нарисована огромная звезда красной масляной краской. Каждый луч звезды разделен надвое. Одна половина темнее другой. Издалека пятиконечная звезда кажется выпуклой. Ее рисовал Фелицын.

Не глядя под ноги, он вставляет ботинок в известный уступ бойницы, цепляется руками за кирпичи и взбирается на стену. Вниз смотреть страшно. Вниз - не на задний двор, а на проезд у "Метрополя". Фелицын идет по китайской стене.

Его возвышает над городом китай-городская стена.

- Мы не китайцы, но живем в Китай-городе! - говорил наставительно Аристарх Иванович, угощая Фелицына китайскими земляными орехами.

Фелицын неделю ходит без пальто. Ходить без пальто и без шапки - праздник. С завистью смотрел Фелицын на тех ребят, которые с первой капелью щеголяли без пальто.

На Охотном ряду гудела "Победы" - такси, маленькие, как божьи коровки. Фелицын шел по зубчатой стене, сердце замирало от высоты и от только что виденного футбола...

На матч ЦСКА - "Черноморец" он ходил с сыном, и все бы шло ничего, если бы... Поспорил с одним типом насчет несбалансированности линий ЦСКА и помянул изящную, умную игру "Спартака". Спорил, а сам все приглядывался к рыхлому лицу того типа. Что-то всплывало в памяти.

Потом подавленно притих, спросил неуверенно:

- Вы, случаем, не Мареев?

- Нет! - бросил тот. - Если болеешь за "Спартак", то нечего сюда ходить!

Фелицын тогда повеселел, что тип - не Мареев его детства, начал что-то объяснять сыну о бесполезности разыгрывания угловых ударов, чем злоупотребляли армейцы, постоянно теряя мяч.

Но Мареев не выходил из головы. Мареев.

Когда он говорил, то причмокивал толстой нижней губой. Не было бы Мареева - не было бы прощального со "Славянским базаром" футбола...

Мареев впился цепкими пальцами в шею Фелицына и сдавил ее. Фелицын даже не побледнел. Он устал бледнеть при виде Мареева. Тот чмокнул губой и не спеша, разжав пальцы, обхватил рукой шею Фелицына, зажал ее под мышкой и, склоняя к земле, стал душить. Очки упали. Душил Мареев спокойно, хладнокровно. И не для забавы, и не для насилия. А просто.

Но в душе Игоря Фелицына клокотал протест. Внутренний протест без внешнего сопротивления. Он знал, что, как только Мареев уложит его на лопатки, душение кончится.

- Отпусти, - слабо просил Фелицын.

- На-кась!

Потом Фелицын вставал, поднимал и надевал очки, отряхивал солдатского фасона серую (шерстяную, потому что были еще фиолетовые хлопчатобумажные, как будто учеников делили на бедных и богатых) школьную форму, надевал армейско-школьную фуражку и, опустив руки по швам, плакал. Он думал, что очки скрывают его слезы. Он всхлипывал, и голова его вздрагивала, как вздрагивает голова голубя при ходьбе.

- Сво-о-олочь! - дрожащим фальцетом выдавливал Фелицын.

Мареев сжимал кулак и с улыбкой медленно подносил его к скуле Фелицына, легко касался ее и выпрямлял руку, как рычаг, так что Фелицын выворачивал подбородок чуть ли не за плечо, но не сходил с места.

Завернув челюсть жертвы за спину, Мареев вцеплялся пальцами, как клещами, в бицепс выше локтя Фелицына и сдавливал. Фелицын страдальчески косился на губастого Мареева и вновь выдавливал:

- Сво-о-олочь...

- На-кась! - ответил Мареев и легонько бил в живот согнутым коленом.

Состояние полной пассивности, подчинения. Когда жертва была готова, Мареев вяло начинал, причмокивая толстой губой, говорить о задуманном на день и тонкой струйкой плевался сквозь зубы, стараясь угодить на ботинки Фелицына.

- Иди-ка, Сыч, домой и через десять минут выноси восемь рубчигов, - говорил он, не глядя на Фелицына. Он прозвал Фелицына Сычом, потому что в своих очках с круглыми стеклами, взъерошенными серо-русскими волосами Фелицын и вправду походил на сыча.

- Где-э я их во-о-озьму, - продолжал вздрагивать Фелицын.

- На-кась! - Легкий удар в живот кулаком.

Мама привезла неделю назад новый шкаф с зеркалом. Он стоял посреди комнаты, делая ее тесной. Таких шкафов в "Славянском базаре" не знали. Соседки ходили смотреть.

- Хорош! - говорили они и всплескивали руками.

- Нам тоже обещают у Савеловского, - задумчиво говорила сухонькая Дарья, дворничиха, жившая в конце подвального коридора, и вздыхала.

Все обитатели "Славянского базара" ходили в каких-то не случившихся с ними доселе мечтах о новых квартирах.

- Что это с тобой? - спросила мама.- Весь в слезах...

- Упал... с лестницы.

Почему он не говорил о Марееве?

С лестницы, правда, можно было упасть. Крутая лестница в подвал с истертыми ступенями. Разболтанная дверь внизу. Мрачный сводчатый коридор. Общий туалет при входе. О нем следует сказать особо, хотя как-то не принято у нас говорить на подобные темы. А ведь именно нам, русским, нужно об этом говорить, потому что мы эти помещения презираем. В подвале туалет отгорожен от коридора дощатой глухой перегородкой, и то, что происходило внутри, было слышно снаружи, поэтому жильцы у двери не ожидали, а дернув ручку и убедившись, что заня-

то, сворачивали на кухню или возвращались к себе в комнату, прыгая с ноги на ногу. Никому не было дела до того, что там вечная грязь, мрак, поросший мохом кирпичный бастион, на который неизвестно как взбирались пожилые люди, ржавые мокрые трубы, сломанный бачок, капли от испарений на облупившемся потолке и исцарапанных стенах. Складывалось впечатление, что, зайдя туда, как на казнь, однажды, человек больше не воспользуется его услугами. Такую же неприглядную картину можно наблюдать и в наши дни во многих общественных туалетах, где наряду с аммиачной вонью, забиваемой хлоркой, до слез проедающей глаза, еще можно “полюбоваться” деяниями стенописцев... Вот уж поистине где уместна фраза: “После меня - хоть потоп!” Фраза эта, подозреваю, сказана в одном из наших сортиров.

Миновав это презренное место, Игорь перепрыгнул три ступеньки вниз - в собственно коридор. Справа - кухня. Напротив - комната тети Дуси Байковой. Потом комната Аристарха Ивановича и его жены Евгении Ивановны. За ней - комната Фелицына.

- Мама, мне восемь рублей надо.
- Дак все деньги на переезд уходят.
- Мне надо!
- Мало что!

Игорь не стал есть. Погладил рыбу из голубого стекла на этажерке и вышел.

Обреченно пошел по подвалу. Навстречу из амбразуры туалета показался Аристарх Иванович, за его спиной грозно прорычал спусковой бачок и засвистели трубы.

- Вы мне восемь рублен не одолжите? - Это не Игорь спросил, а голос, который появился против воли.

Аристарх Иванович нашел восемь рублей...

Фелицын смотрел в телевизор и думал, как много значили тогда для него те восемь рублей (80 коп. на нынешние деньги).

- Я вам отдам.

Угнетенный этим ненужным прошением, этими действиями под чужую дудку, Игорь вышел во двор. Мареев сидел на каменном барьере у спуска в подвал и грыз семечки.

- На, - сказал Игорь и протянул деньги. Мареев лениво вытащил из кармана взрослый бумажник и показал Фелицыну десятирублевую бумажку.

- Это ты для себя доставал, - сказал Мареев и взял пятерку с трешкой из рук Фелицына. - Гоняй пока во дворе и жди меня!

Игорь пожал плечами, сунул руки в карманы и проводил печальным взглядом Мареева до ворот. Пошел к заднему двору. Нана сидела на крыльце флигеля, играла с котенком.

- У меня лишай был, - сказал Игорь грустно и сел рядом.

Нана - красивая голубоглазая девочка с золотистыми волосами, заплетенными в две косы, - училась, как и Игорь, в четвертом классе. Иногда на этом крыльце появлялся венский стул, потерянный, с облупившимся лаком. Стул ставился для пожилой женщины в мужском синем пиджаке, надетом поверх коричневого в горошек платья, в белой косынке, с лицом, устремленным в одну точку. Веки ее глаз неплотно смыкались, и в эти щелочки выглядывали мутноватые белки.

После встреч с женщиной Игорь мчался домой и долго смотрелся в большое зеркало, обрамленное резной рамой. Он видел сквозь линзы очков свои глаза, резко очерченные зрачки и дивился, что, оказывается, возможно жить без этих чудесно устроенных глаз.

Игорь закрывал глаза, как будто играл в жмурки с Наной, и представлял, что бы он делал, как бы мог жить без смотрения. Все его детское существо сжималось от страха при этих представлениях, потому что без глаз жить невозможно, как же он без глаз разглядит мох, такой зеленый и такой бархатистый на китайской стене заднего двора, как же среди многих людей узнает своих родителей и дедушку.

А слепая женщина изо дня в день, пугая и притягивая, доказывала: "Можно все-таки без глаз. Можно, сынок, и так можно жить. Человек и не такой еще бывает - и без ног, и без рук, и лишенный слуха и голоса, а не одних глаз. Живут и всего сразу лишенные люди". - "Да как же живут? - удивлялся Игорь. - Как же можно так жить сразу без всего?" - "Вот так и можно, - будто молчаливо отвечала слепая. - Жить, и все!"...

- Вы шкаф купили? - спросила Нана, дернув носиком.

- Купили. - Игорь не смотрел на Нану. В последнее время он замечал в себе изменение: раньше он спокойно играл с Наной в дочки-матери, теперь даже говорить с ней стало нелегко.

- Давай котенка в подъезд отнесем! - сказала она. В подъезде было темно. Котенок мяукнул и забился под лестницу. Нана вы-

прямилась у стены. Игорь опустил глаза и, сделав вид, что у него развязался шнурок, нагнулся. Нана хихикнула. Игорь исподлобья взглянул на нее. Она очень изменилась в последнее время. Появились бугорки груди. Глаза глядели взросло, в них был блеск.

- Котенок мяучит, - сказал Игорь.

- Подойди ко мне!

Игорь подошел, словно его толкнул в спину Мареев.

- На! - Она протянула ему скомканую записку и выбежала из подъезда.

Игорь развернул записку и прочитал: "Я тебя люблю! Нана". Кровь прилила к лицу.

Он оглянулся. Спрятал записку в карман. И продолжал стоять в подъезде. Ноги не слушались. Мяукнул котенок. Игорь взял его и вышел во двор. Нана выглядывала из-за угла заднего двора.

В заднем дворе никого не было. В начале его под навесом стояли помойные баки. За ними был выступ гаражей. Нана стояла там. Она смотрела на Игоря, взгляд ее притягивал.

Он шел.

Губы ее вытянулись, отчего стали заметнее ямочки на щеках, и прижались к его губам.

Но Мареев уже грозно смотрел в спину.

- Жених и невеста! На-кась! - Он вскинул руку с двумя синими билетами на футбол.

Мареев насильно заразил футболом. С того дня Фелицын стал собирать футбольные календари, программки, билеты, чертил таблицы, погружался в стихию футбола.

Мареев внушил любовь к ЦДКА.

И Фелицын заучивал наизусть историю клуба, послевоенные взлеты команды "лейтенантов" во главе с Григорием Федотовым!

...Тут Фелицын сорвался с кресла, чем напугал Зинэтулу, и подпрыгнул. Кашкин, сидевший возле Зинэтулы, втянул от неожиданности голову в плечи. Нападающий ЦСКА Штромбергер сравнял счет.

- Есть шансы, есть шансы! - потирал руки Фелицын.

А в пятьдесят восьмом году команда называлась ЦСК МО.

- За эскимо болеет! - дразнили мальчишки Фелицына.

С первыми звуками программы "Время" свет вновь погас.

V

Зинэтула подкрутил фитиль лампы, чтобы она не коптила. Пахло керосином. Этот запах нравился Зинэтуле. Бывало, в детстве, брал скрипучую тачку об одном деревянном колесе, ставил на нее два жестяных ржавых бака и шел за семь верст в керосинную лавку, помещавшуюся в одноэтажном кирпичном домике с зеленой крышей у древнего каменного моста, целого лишь наполовину - другая половина рухнула, когда по мосту прогромыхал гусеничный трактор.

Только трактор миновал мост, как хрустнуло что-то и глухо обвалилось. Зинэтула тогда стоял в очереди за керосином. Обернулся, а полмоста уж нет. Обнажилась щербатая кладка, ровно срезанная, как ножом...

Сама лавка была как будто облита керосином - кирпичи потемнели и лоснились, а вокруг лавки - ни травинки, пропитанная керосином земля.

Внутри лавки были огромные железные бочки, из которых по шлангу лился в бидоны, бутылки, баки белый жирный керосин. В лавке все казалось приближенным к технике, все железное, прочное, чего не было в деревне... Всю жизнь, считай, шоферит Зинэтула, а вот не приелся ему запах нефтепродуктов: ни бензина, ни керосина...

- Отчего у вас в Москве людей много-много? - спросил Зинэтула.

- Оттого что снег идет! - усмехнулся Кашкин и спросил: - Зинэтула, вы разве не москвич? Работаете же в Москве...

Зинэтула сидел у стола и смотрел на лампу. Его скуластое лицо с узкими глазами было спокойно.

- Если каждый считает себя москвичом, а вчера прописку в милиции делай, то такой не москвич, - сказал он. - Москвич, когда бабка и дед родились в Москве!

- Что ж вас занесло в Москву, каким ветром? - спросил Кашкин, наливая себе чаю.

Фелицын лег на кровать, заложил руки за голову.

- Мать моя умирай в деревне. Жена бросай все, пока я в армии служу, в Москву к тетке поезжай. Тетка дворником ее устраивай. Пропуску оформляй...

Зинэтула демобилизовался осенью 1951 года. От станции до своего села шел пешком. Осень пожимала руку зиме. Земля промерзла, грязь превратилась в кочки. Дорога спускалась в овраг. Раньше пугали, что в этом овраге грабили купцов. Темнело. И вдруг Зинэтула увидел, что за кустами кто-то шевелится.

- Стой! - услышал он пронзительный оклик.

Из кустов вышла женщина. Она дрожала от холода, куталась в большой дырявый платок. Больше на женщине ничего не было. Она поджимала, как цапля, босые ноги. Глаза под темными бровями молили о сочувствии. Зинэтула был в бушлате, скатка через плечо. В вещевом мешке лежала форма х/б, отрез габардина на костюм, две пары портянок, кусок серого мыла, одеколон "Шипр" и две селедки, завернутые в газету. И селедки, и "Шипр" были куплены на станции на последние гроши.

Женщина приехала на полutorке с городским шофером покупать картошку. На обратном пути в этом овраге шофер остановил машину и стал насильничать. Раздел догола, думал, что на холод не побегит.

Она вырвалась из кабины и так закричала, что шофер испугался, нажал на стартер и был таков. Она увидела, что на взгорке валялся ее платок, который тот зверь бросил в окно.

Женщина, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении молодой, когда рассказывала, то дрожала, и было слышно, как стучали ее зубы. Когда она отбросила платок и подняла руки, чтобы надеть гимнастерку, Зинэтула увидел крепкую грудь, отвернулся, поджав губы.

Мать Зинэтулы умерла в прошлом году. Он приезжал на похороны. Сам пеленал покойную белой тканью. Жене наказывал ждать, работать, ничего не выдумывать.

Теперь Зинэтула думал о женщине и не знал, куда ее определить на ночлег. Ожидать в такую пору попутной машины или лошади было глупо.

Подул резкий, холодный ветер, как только они вышли из оврага. На ноги женщина намотала портянки. Шла бесшумно и продолжала всхлипывать. Изредка смотрела на Зинэтулу и тогда улыбалась.

Ни дома, ни сарая не оказалось. Разобрали на дрова. Юсуп, сошед, к которому он постучался, сказал, что жена продала дом и уехала в Москву. Юсуп поглаживал короткие рыжие усики, удивленно смотрел за спину Зинэтулы на женщину в солдатской форме.

Зинэтула попросился на ночлег вместе с ней. Юсуп не пустил, сказал, что совестно своей жены, да и места нет, дети и те на полу спят, тесно. Посоветовал идти на край села к Ирбулатову, старику.

Ирбулатова Зинэтула не любил за скупость. Но делать было нечего. Все кругом семейные, кроме Ирбулатова. Ирбулатов ездил по русским селам на ржавом велосипеде фирмы “Дукс” и купал по дешевке самовары, которые продавал в пять раз дороже в городе коллекционеру, опередившему своей расторопностью почитателей икон, лаптей и самоваров лет на десять. Зимой Ирбулатов никуда не выезжал, топил железную печь углем, который привозил под осень с разъезда на лошади.

Ирбулатов просил пять рублей за ночлег, тряс беленькой бородкой и щурился. Лет ему было немного, но он выглядел стариком. Зинэтула одарил его селедками и “Шипром”. Ирбулатов бросил тюфяк за печкой и задул огонь. Зинэтула постелил поверх тюфяка раскатанную шинель, лег, не снимая сапог, на спину. Лежал и слушал. Ирбулатов где-то в темноте ворочался. Женщина неслышно легла рядом. Они долго лежали молча, не могли заснуть. Пахло кислятиной и раздавленными клопами. Одного клопа Зинэтула поймал и раздавил прямо на лбу.

Женщина повернулась к нему лицом и, всхлипнув, положила руку на грудь Зинэтулы.

Утром, прежде чем уйти, он выменял у Ирбулатова за брючный ремень старые ботинки. Женщина обулась, и они пошли. На земле лежал иней.

К вечеру добрались до ее села. Зинэтула помыл сапоги в луже, разбив солнце, отражавшееся на льду, каблуком. Старик сидел на высокой кровати, свесив жилистые ноги. Старуха охала на лавке. В свете коптилки было видно, как копошились на полу, засыпая, дети. Взрослые храпели за перегородкой. Было душно, едко пахло потом.

Зинэтула щелкнул каблуками сапог и сказал, что он хочет жениться. Старуха заплакала. Проснулась мать. Толкнула мужа. Тот

разлепил глаза и зевнул. Встал, почесал голый волосатый пупок и сказал, что давно пора старшей замуж...

Два месяца Зинэтула зарабатывал деньги на станции. Разгружал уголь. В день отъезда, утром, он сидел на берегу Волги с новой женой и грустно смотрел на грязную, серую воду.

Река ему казалась такой же непонятной, как жизнь. Куда и зачем бегут воды жизни? Не для того же он родился, чтобы страдать! Воде проще, думал Зинэтула, вода не страдает. Течет себе куда-то и Зинэтулу может унести, если броситься в эту воду.

Вдруг он ощутил в себе это страстное желание - броситься, прямо все тело подмывало, будто кто-то засел в него и подталкивал: "Давай-давай!" Хорошо, что рядом сидела женщина. Он взглянул на нее, и причуда броситься пропала.

Зинэтула встал, поднял камень и швырнул с силой в воду. Вода равнодушно поглотила камень, как будто и не было его. Зинэтула подошел к остову догнивающей лодки. Ударил каблуком в борт. Отвалился кусок доски. Зинэтула, оглянувшись на женщину, улыбнулся и бросил доску в воду.

Доска на мгновение утонула, но тут же вынырнула, развернулась и поплыла.

Зинэтула посмотрел вслед доске и подумал, что он так же где-нибудь бы всплыл на поверхность. Он отмахнулся от этой черной думы. Если уж равняться с рекой, то нужно проплыть свое расстояние, указанное судьбой. И неизвестно, всегда ли будет плохо. Течет река в хмурый день, вода в ней серая, у берегов пенится. Но выглянет солнце, скользнет по голубой глади, и подумаешь тогда: до чего же хороша река, до чего же хороша жизнь! И страдал не напрасно, потому что - догадался Зинэтула - страдать значит жить!

В Москве на Казанском вокзале сунулся в справочное бюро. Нашел и тетку, и жену на Палихе. Когда шел, думал, что выцарапает глаза бывшей за самоуправство. Но увидел рябое, жалкое лицо и смягчился. Сказал, что он женился на другой и привел ее показать. Бывшая облегченно вздохнула и кликнула из-за шкафа Рината, своего сожителя, который в Москве второй год работал маляром в военной академии.

Никаких разводов не требовалось. Паспортов в сельской жизни ни у Зинэтулы, ни у бывшей не было, а стало быть, некуда было ставить лиловые штампы. Ринат, беззаботный человек с плоским

лицом и красными глазами - видно, болел конъюнктивитом, - посоветовал подаваться в маляры, бывшая - в дворники.

Зинэтула поблагодарил за совет, но поступил иначе. Поехал с новой женой в Домодедово, где жил Бузукин, армейский приятель, работавший шофером. Полный, с бабьим лицом, с лысой головой, с широкой мягкой и потной ладонью, Бузукин приютил в своей избе Зинэтулу с женой, а потом помогал перебираться в барак, где молодоженам выделили семиметровую комнату. Зинэтулу приняли автослесарем.

Однажды он держал в руках свой зеленый паспорт и дивился этой книжице. Через некоторое время так же дивилась жена, ставшая истопницей в котельной. К Новому году Зинэтула сдал на водительские права 3-го класса и сел на грузовик.

Время от времени заходил пьяный Георгий Семенович Бузукин, жаловался на жизнь, рассказывал анекдоты про баб, говорил, икая, что нашел у себя в машине под сиденьем дохлую крысу с водочной пробкой в зубах, и бил себя кулаком в грудь. Жена вздыхала и ждала, когда Бузукин кончит трепаться и уйдет с горизонта, потому что ей хотелось лечь с мужем спать. Она любила Зинэтулу. Бывшая жена так не любила его.

Когда Бузукин в тот вечер ушел, забыв шапку, она сказала Зинэтуле, что у них будет ребенок. Он положил руку ей на грудь и слушал молча, как ровно бьется ее сердце.

Утром она сливала ему воду из ведра на руки. Он умывался и смотрел в желтое зеркальце с отбитым углом на свое усталое лицо. Ему не верилось, что вскоре он будет отцом.

В комнатке было чисто. Пахло геранью. Жена любила стирать и гладить. На столе стоял тяжелый чугунный утюг с дырочками, из которых шел дымок. Утюг работал на углях.

Когда Зинэтула ушел, прихватив шапку Бузукина, на автобазу, жена уснула. На работу ей нужно было идти в ночь. Утюг раскалился. Загорелась скатерть, загорелись доски самодельного стола...

От жены даже косточек не осталось. Зинэтула долго сидел на пне перед пепелищем и без слез вздрагивал. Если жизнь - страдание, то нужно было терпеть. Смутные чувства одолевали его, и он вспоминал плывущую по реке доску.

Как-то ездил с грузом в Москву на "Красную розу". Пока разгружался, узнал от грузчиков, что в Хамовниках, в гараж, требует-

ся шофер. Главный инженер, человек с лошадиной челюстью, в кожаном пальто до пят, по фамилии Карп, оценил взглядом Зинэтулу, как бы испытывая на прочность, и взял.

Зинэтула заехал на Палиху к бывшей жене. За советом. Та в испуге прикрыла рот ладонью и долго плакала. На третий день нашла ему невесту, семнадцатилетнюю татарочку из дворничих. Он усадил ее в кабину и повез в Домодедово, устроил истопницей на место сгоревшей и получил такую же тесную комнату в другом бараке.

Когда Зинэтула целовал молодку, глаза его были печальны и он не верил в то, что она настоящая. Ей же казалось, что он не любит ее, и тосковала. Она еще была неопытна и не научилась понимать мужчин.

Но время шло, она привыкала.

Часто она вспоминала свой поселок Коктебель у моря, дом из грубых белых камней с красной черепичной крышей, пахучую полынь на холмах и вздыхала.

Еще она вспоминала товарный вагон, в который однажды грузили ее с матерью и бабкой и повезли через степи, горы и тайгу на Дальний Восток...

На работу Зинэтула ездил на поезде. В тот день поздним вечером он возвращался в гараж из Зарайска, куда возил кирпич, "ЗИС-150" с прицепом громыхал уже по булыжной мостовой у въезда в гараж. Зинэтулу остановил Карп. Вспрыгнул на подножку (Карп уже собирался домой) и сказал, чтобы Зинэтула переночевал в гараже, потому что утром рано нужно было выезжать по особому наряду.

Зинэтула не возражал. Отцепил прицеп у забора, поставил машину, слив воду (ночью еще было холодно), и пошел спать в каптерку механика.

Утром поехал по безлюдной Пироговке в центр. С Охотного ряда свернул в горку под арку Третьяковских ворот Китай-города, выехал на Никольскую. Поставил машину поперек улицы, как указал военный, и подал задом к стене зеленого дома, похожего на бескупольную церковь. Другой грузовик встал перед ним. Перегородили улицу.

Зинэтула взглянул через окно кабины назад, на церковное здание, освещенное желтым светом уличных ламп, на солнечные часы над козырьком подъезда...

Зинэтула уснул в кабине. Ему снилась горящая жена, он вскрикивал во сне и хотел броситься в огонь...

VI

Резко постучали в окно. Фелицын от неожиданности замер. За окном маячила лисья шапка с торчащими наушниками. Человек вяло жестикулировал, показывая, чтобы кто-нибудь пошел к входной двери открыть.

Дежурная спала за столом, подложив под голову маленькую подушку-думку. Фелицын вытащил швабру из ручки двери. Человечек постучал ногами о порожек, неспешно вошел.

- Спасибо, - сказал он.

Дежурная приподняла голову и легла на другую щеку.

- Вы тоже здесь остановились? - спросил Фелицын, узнавая в высокой, неповоротливой фигуре того человека, который звонил по телефону на почте.

- Да. Завтра последнее выступление - и еду дальше. Аккомпаниатор, интересно, не приходил еще? - спросил он низким голосом, ни к кому не обращаясь, перегнулся через барьер и взял из ячейки ключ с железным брелком от своей комнаты.

Пришелец заинтересовал Фелицына.

- Вы артист?

- Певец, - сказал тот, медленно направляясь к своей комнате. От него пахло снегом.

Фелицын проводил певца удивленным взглядом и, закрыв дверь на швабру, вернулся к себе. Кашкин сидел у стола, покручивал колесико керосиновой лампы, делая ее свечение то совсем тусклым, то ярким, как свет электрической лампочки.

- Артиста впустил, - сказал Фелицын и, подумав, налил себе остывшего чая. - Разогреть бы, - кивнул он на чайник.

- Надо титан пощупать, - сказал Кашкин и спросил: - Это тот, в мохнатой шапке, артист? - И сам себе ответил: - Похож на артиста своей птичьей шапкой.

Фелицыну понравилось сравнение шапки с птицей. Он представил, как шапка, взмахнув широкими наушниками, взмывает

вверх с головы артиста. Фелицын вышел в коридор, потрогал ладонью титан. Тот был еще горячий.

В уличную дверь постучали. На сей раз дежурная быстро отреагировала, тряхнула головой, пробуждаясь, и встала. На щеке отпечаталась красная складка от подушки. Дежурной снилось, как она молодая пошла в лес за грибами и заблудилась, долго блуждала, пока не набрела на землянку, в которой лежал мертвый солдат с зеленым лицом, она взгляделась и, вскрикнув, узнала мужа, тот шевельнул желтыми губами, изо рта полезли земляные черви вместе с шепотом: "Это я. Пока полежу, потом встану, как Лазарь из гроба..." Муж погиб на войне. Но раз сказал, что восстанет, то, может быть, живой, живет где-нибудь с другой, в страхе подумала дежурная и, покачивая широкими бедрами, пошла к двери, вытащила швабру из дверной ручки и впустила маленького человека с плоским и смуглым восточным лицом.

Фелицын догадался, что это аккомпаниатор. В руках того была сетка с апельсинами.

- Благодарю покорно! - поклонился он и чинно прошел к своей комнате. На нем была, как и на певце, лисья шапка. Одет он был в короткую серую дубленку, джинсы, заправленные в сапоги на молнии.

То, что в доме стоял полумрак и горела керосиновая лампа, ни певца, ни аккомпаниатора не удивило. Фелицын понял, что живут они здесь не первый день и ко всему привыкли.

Насыпав на дно ополоснутого чайника заварки и залив ее кипятком из титана, Фелицын увидел певца, выходящего из комнаты. Там был свет. Стало быть, и у них горит лампа. Певец был с чайником. Фелицын уступил ему место у титана, взглянул на слабо отражавшую свет лампы большую глянцевую карту железных дорог страны, висевшую на стене сбоку от титана, взял чайник и собрался уходить. Певец спросил:

- Надолго пожаловали?

- Случай на одну ночь завел. Приехали на ТЭЦ с большим опозданием, никого из начальства не застали, - сказал Фелицын, оставиваясь.

Длинные волосы артиста лежали на плечах, касаясь ворота толстого свитера.

- Любопытный город, - сказал он. - Никто не поет!

- Странно.

- Очень странно. Причем когда-то эти места славились песнями.

- Слушать приходят?

- Полный зал. Даже рты раскрывают.

- Любопытно.

- Но в какой-то летаргической апатии слушают.

- Летаргической?

- Увы! - Развел руками певец.

- Не до песен, значит.

- Может быть, может быть... Но ведь это ненормально. Люди как будто сторонятся друг друга, не собираются, как прежде, не беседуют, не поют, не читают стихов...

- Это есть, - сказал Фелицын. - Раньше у нас пели. Жили в самом центре. Жильцы во двор выходили, садились за длинный дощатый стол. Знаете, ножки такие крест-накрест. Сначала играли в дурака, потом женщины судачили о чем-нибудь, потом кто-то из них затягивал чуть слышно песню. Небольшой двор. Вечер. Поют.

Певец наполнил чайник, накрыл его крышкой.

- Догадываюсь, что пели не коренные москвичи...

- Действительно, - согласился Фелицын и вспомнил, что ни папа, ни Аристарх Иванович, ни жена его, ни мама Наны, ни родители Сережи Зайцева на посиделки не выходили.

Во двор выходили Лавровы, мама Фелицына, Мареевы... Выходили, одним словом, недавние москвичи, уроженцы рязанских, вологодских, владимирских, курских деревень, волею судеб сведенные в Москве, в "Славянском базаре".

Монтер Андрианов, с рыжим кудрявым мочалом волос, повесил лампочку под железным абажуром у входа в подвал, где ставился стол для посиделок.

Сын монтера, Юра, ровесник Игоря Фелицына, помогал отцу разматывать провод, от которого пахло канцелярским клеем, и горделиво смотрел на Игоря, который тоже хотел помочь.

- Ты в стоёнку отойди, - говорил с отцовской интонацией картавый Юра. - Тут ток!

Пели протяжно, разногласно, без аккомпанемента, и казалось, если зажмурить глаза, что пели где-то за рекой на лугу, вороша деревянными граблями расстеленное ковром душистое сено.

- У меня такое впечатление, - сказал певец, - что москвичи, да и все городские, смотрят на песню как на что-то далекое, им не

принадлежащее... Песня понимается ими как звучащая с диска, из кассетника, с экрана телевизора... Только в деревнях еще поют, но и та песня умирает...

Фелицын, что-то вспомнив, сказал:

- Мы, наверное, с вами не совсем правы... И коренные москвичи поют, но иначе... Помню, к деду приходил давнишний приятель с гитарой. Перебирал струны, пел мягким голосом: "В молодые годы много света, и воронья ночь светла..." Дедушка тихо и грустно подпевал. А когда-то в том доме звучал рояль. Откинут крышку, как черное крыло, бабушка сядет и заиграет. Сольное пение, конечно, было, но как пели!

- О, это так! - согласился певец. - Но я не о камерном пении. Я о той песне, которая поется после тяжелой работы, народной песне...

- А интеллигенция не народ? - спросил Фелицын.

- Народ, конечно, но...

- Спели бы нам что-нибудь! - вырвалось у Фелицына.

- У нас завтра концерт, приходите.

- Завтра уезжаем.

Певец задумался. Он думал о том, что изо дня в день приходится готовиться к выступлениям, переезжать с места на место, хлопотать о престижных гастрольях, сводить из-за малой зарплаты концы с концами... Жизнь казалась ему каким-то замкнутым кругом, и ему было приятно поговорить с посторонним в этом Доме туриста, чтобы отвлечься от круговерти. Он мог бы отказать, сославшись на усталость и на то, что репертуар набил оскомину, что, в конце концов, не может петь по желанию каждого встречного-поперечного. Но этот мрачноватый человек в очках с аляповатой оправой, как будто ее специально делали, чтобы исказить лицо, случайно оказавшийся рядом, показался ему симпатичным, понимающим искусство, поэтому певец, глядя на ежик волос Фелицына, сказал:

- Ну, тогда что-нибудь придумаем, как перекусим.

Фелицын вошел в комнату, поставил чайник на стол.

- Сейчас будет концерт! - сообщил он.

Кашкин хотел что-то спросить, но кашель опередил это желание. Зинэтула взял чайник и налил себе чаю.

- Это тот в шапке концерт? - спросил он. Через некоторое время в дверь постучали. Вошел певец. За ним следом - маленький

черноволосый аккомпаниатор с аккордеоном. Важностью своей он напоминал Фелицыну дрессированную болонку. В дверь заглянула дежурная. Смущенно посмотрела на певца, заморгала глазами и застыла на пороге. Кашкин покрутил колесико лампы, чтобы стало светлее. Аккомпаниатор был в синем пиджаке с блестящими пуговицами и большим золотым вензелем на нагрудном кармане.

- Свет плохой для концерта, - сказал Зинэтула, придвигая гостям стулья.

- Вчера то же самое было, - сказал высоким тенорком аккомпаниатор, сел на стул, поднял аккордеон на колени с таким видом, как будто тянул кого-то за волосы, и накиннул широкие ремни на плечи. Маленькие, тонкие пальцы, совсем детские, как у Микуло, подумал Фелицын, пробежали по клавишам. Певец низким голосом запел:

Много песен слышал я в родной стороне,
В них про радость, про горе мне пели;
Но из песен одна в память врезалась мне -
Это песня рабочей артели...

Кашкин стоял у стены, заложив руки за спину. Как только певец вступил, Кашкин стесненно опустил глаза и смотрел неподвижно, как будто хотел этим остановившимся взглядом пробуровать пол.

Фелицын поглядывал на аккордеониста, на его разбитную, даже развязную манеру игры, обнаруживая в этом какую-то плохо скрытую подделку под сельского удальца. Фелицын отводил взгляд в сторону и тогда уже не чувствовал этой подделки, потому что инструмент звучал сносно.

Зинэтула непосредственно, с нескрываемым удивлением и умилением смотрел на певца, как будто Зинэтула только что очнулся от обморока (такое восхищение было в его глазах), смотрит и ничего не понимает.

Фелицын вновь посмотрел на аккордеониста. Чем-то он напоминал эстрадного артиста Ван-Зэн-Вея, который часто захаживал к Аристарху Ивановичу. У Аристарха Ивановича была небольшая мастерская под лестницей, где он клеил реквизит. Игорь считался в этой мастерской за своего, входил без стука,

уходил не прощаясь, потому что потом вновь приходил. В руках у Игоря были то молоток, то отвертка, то нож... Глядя на Аристарха Ивановича, он принимался что-нибудь мастерить. Так он сколотил себе ящик для игрушек в четыре года. Так он еще раньше просил у Аристарха Ивановича “каляшек и бушанку” (карандаш и бумагу), устраивался на полу, рисовал, а затем пытался склеить из разрисованной бумаги какую-нибудь объемную фигуру.

Ван-Зэн-Вей выходил на сцену в широких шелковых брюках, в мягких кожаных туфлях с острыми, загнутыми кверху носами, обнаженный по пояс, разбежался и прыгал в кольцо, унизированное острыми ножами. Это кольцо делал Аристарх Иванович. Кольцо было такое тесное, а воткнутые в него остриями внутрь ножи такие острые, что сердце замирало, когда непонятно как Ван-Зэн-Вей пролетал рыбкой сквозь него.

Только песня кончилась, как аккордеонист с какой-то кокетливой гримасой вновь заиграл, а певец грянул:

Перевоз Дуня держала,
Держала, держала,
Перевозчика наняла,
Наняла, наняла.
В роще калина,
Темно, не видно,
Соловушки не поют...

Певец пел правильно, но что-то холодное было в этом пении, что-то академическое, с позой. Сколько таких певцов разъезжает по стране, бранит судьбу и не понимающих в искусстве обывателей. Хотелось, чтобы певец где-нибудь сфальшивил или, наконец, забыв текст, промурлыкал. Нет. Он обладал четкой дикцией, каждый звук был понятен, каждая нота - верно схвачена, но не хватало чего-то, не хватало.

Чего?

Поди скажи! Можно в технику пения заложить ошибки, запланировать фрагментарную фальшивость, но все равно она будет заметна, будут видны швы, будет ощутим подход к исполнению, то есть обнаружится, как ее ни скрывай, кухня. То-то и плохо, что ныне кухня видна и даже кичатся ею.

Фелицын думал об этом, и ему стало неудобно за артистов, за себя, что он вот сидит и слушает, но не может вслух сказать правду артистам. Он не знаток певческого искусства: скажет, а его засмеют, профессионально докажут несостоятельность критики.

Между тем бас повел другую песню:

Меж высоких хлебов затерялся
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

В этом металлически бесстрастном пении слышался какой-то укор и Фелицыну, и Кашкину, и Зинэтуле, и дежурной, которая стояла на пороге, что, мол, смотрите, как надо петь! Вы тут забыли свои песни, так мы вам их напомним. И особенно была неприятна манера держаться маленького, с тяжелыми темными веками, закрывающими и без того узкие глаза, аккордеониста, думающего наверняка о себе как о звезде эстрады, виртуозе, которому позволено с высоты своего ничтожного роста надменно смотреть на презираемую им публику.

На счастье, после этой песни Кашкин закашлялся так громко, что возникла пауза, а Фелицын некстати потянулся и бестактно зевнул.

Концерт был закончен.

VII

Горел электрический свет под красным абажуром. Давно наступило утро. Но об этом можно догадаться, лишь взглянув высоко вверх, на узкую полоску окна подвала. Игорь маялся. Он ждал дедушку. Несколько раз, подсвечивая себе самодельным фонариком, заглядывал под стол, где стоял фанерный ящик с надписью: "Ящи ди грушнае", что означало: "ящик для игрушек". Надпись была сделана три года назад, когда Игорю было четыре года.

Походив по комнате, Игорь забрался на табурет у стены и включил радио. Черная круглая бумажная тарелка с металлическим диаметром и какими-то винтиками в центре едва заметно вздрогнула, и из нее опять заиграла музыка. Эта музыка звучала несколько дней, и казалось, никогда она не прекратится, будет звучать всегда.

Игорь слез с табурета и вновь принялся расхаживать по комнате. Потрогал блестящие шишечки на кровати, несколько раз останавливался у папиного письменного стола, листал толстые книжки, от которых пахло шоколадными конфетами, постоял у этажерки с Вериными учебниками, взглянул на голубую стеклянную рыбу-вазу. Вера ушла в школу. А Игорю идти только через год. Семь лет ему исполнится в декабре, поэтому, сказали, что его в этом году не возьмут.

В дверь постучали. Игорь думал, что дедушка пришел, и радостно побежал открывать. Но на пороге стоял Сережа Лавров, сын дворничихи Дарьи. Он был бледный, худой мальчик с вялыми движениями. Ему, по-видимому, тоже было скучно от музыки одному.

Посмотрели у Сережи диафильмы. Аппарат грелся быстро, над ним в ярком облачке света плавали пылинки, как снег в воздухе. Комната Сережи была еще меньше Игоревой и походила на денник для коня, который Игорь видел в деревне, куда и в это лето собирался с мамой.

Мама “ушла в больницу”, как сказал папа, “за братиком”. Уже известно, что она там с братиком Константином. Игорь вернулся к себе в комнату и стал представлять Константина. Игорь решил, что сначала он покажет ему игрушки, а потом поведет на задний двор, к нище под китайской стеной, где был клочок земли. Там Игорь сделал секрет, закрыл стеклом и присыпал песком.

Из черной тарелки радио продолжала звучать грустная музыка...

Как он тогда не догадался, что дедушка не мог прийти потому, что улицы везде были перегорожены машинами. Но это сейчас Фелицын так рассуждал. В то время было не до рассуждений.

Дедушка жил за Охотным рядом в переулке, в двухэтажном желтом особняке с белыми колоннами. Игорь часто бывал у него. У дедушки была прямая спина, длинная шея с высоко посаженной головой. Утром он тщательно приводил себя в порядок, даже ногти пилочкой подпиливал, как будто собирался куда-нибудь в гос-

ти. Весь какой-то чистый, светящийся, он сидел на стуле с красной бархатной спинкой за большим квадратным столом и пил из золоченой чашечки кофе. Потом надевал зеленовато-коричневый френч с большими карманами, светло-серое габардиновое пальто, широкополую фетровую шляпу, брал трость с медным набалдашником и шел прогуливаться по тихому переулку. Иногда он кормил голубей.

Игорь часто заставлял его гуляющим. Дедушка радовался, что внук не забывает его, и начинал говорить, видя в Игоре взрослого, достойного собеседника:

- Вчера ездил в Донской монастырь для прогулки. Некоторые памятники, которые я видел, когда мне было 10-13 лет, еще стоят. Мне нравится аллея, которая ведет к малому собору. Большой собор до сих пор не открыт, только в галерее да под собором открыты помещения с различными видами по архитектуре. Так как вход бесплатный, то я посетил этот музей. С интересом остановился только на макете Сухаревой башни и колокольни Троицкой лавры.

Подходил к бывшему Донскому духовному училищу. Мысленно рисовал себя мальчиком, идущим около училища или выходящим из него. Двери, окна, решетки все те же. Липа тоже растет, но она так стара, что конец ей близок. Пройдя на троллейбус, оглянулся в ту сторону, где когда-то стоял домик-общежитие на 20 мальчиков, среди коих был и я.

Бывало, идем попарно, впереди собачка Шарик, сзади дядька Филипп. Подходим к колокольне. А в ней было помещение смотрителя. Иногда он выглядывал из окна. Мы подтягивались, чтобы не получить замечания. Входим, раздеваемся. Звонок. Спешим в класс. Начинаются уроки. И у многих тревожная мысль: как бы не схватить по греческому двойку.

Преподаватель по греческому был ужасно строгий, и даже больше - беспощадный. Наставит двоек штук десять - журнал подмышку и уходит как ни в чем бывало. Его все боялись и не любили. А он требовал одного - знания и не церемонился в двойках и единицах.

Дедушка останавливался, передыхал и спрашивал:

- Как твои успехи в школе?

- Да тип один замучил! - восклицал Игорь и рассказывал о Мареewe.

Дедушка оборачивался к своему дому, вскидывал трость, указывая ею на окна, и говорил:

- Смотри, какой красивый дом. Его построил бабушкин дед. Твой отец, а мой сын Дмитрий, родился здесь. Не помню, чтобы у нас кто-то скандалил. Бабушка твоя, Калерия Николаевна, устраивала театральные вечера. Лучшие актеры здесь бывали... А вот как твой Мареев и здесь индивид есть. Напротив моей двери живет.

Когда он напивается пьяным, то стучит кулаком в мою дверь и кричит, что добьет меня, потому что я говорю не как он. Грозится. Но в последнее время все меньше и меньше занимается этим. Потому что я его стал опережать. Как вижу, что он трезв, подхожу к нему. Он глаза опускает и стоит смирно. Я ему выговариваю, что культуру, конечно, можно уничтожить силой, можно порушить храмы, запретить книги, не учиться. Но жить одной волей человек не может. Ему скоро наскучивает животное обличье. Хамство ни к чему хорошему не приводит.

Говорю ему, а он краснеть начинает. Поэтому и тебе советую опережать Мареева. Он изучил тебя, знает, что ты боишься его и никогда первый не придешь. А ты приди и заговаривай его. Только он поднимет руку, а ты ему расскажи что-нибудь интересное. Культура любое невежество и хамство победит, если культурой правильно пользоваться, то есть с опережением.

Когда приходили в комнатку дедушки, Игорь принимался разглядывать фотографии в резных рамках на стене у стола. Он каждый раз их разглядывал. Вот в автомобиле "Руссобалт" сидит молодая бабушка со своим папой. Вот бабушкин дедушка во фраке и в цилиндре стоит за спинкой венского стула, на котором сидит прабабушка в длинном платье, закрывающем туфли...

Дедушка рассказывал об отце Калерии Николаевны. Он состоял членом Русского химического общества, где в марте 1869 года первое сообщение о новой системе элементов за больного Д. И. Менделеева сделал Н. А. Меншуткин, с которым прадедушка вместе учился. Прадедушка был инженером на стекольной фабрике.

Дедушка говорил:

- Стекольное дело очень интересное - ... что кремний считается царем мертвой природы, так как без кремния почти нет горных пород, что кристалл горного хрусталя был найден на Урале весом в полтонны, что стекловарение с использованием кремнезема из-

вестно было за три века до рождества Христова, что в России первый стекольный завод начал производить стекло в 1635 году, что "Полтавская баталия", сделанная Ломоносовым из цветного стекла (мозаика), - русского производства, что цветное стекло в то время начали изготавливать по рецептам Ломоносова, что благодаря соединениям кремния человеку удается познавать микромир (микроскопы) и макромир (телескопы), а также изготовить фото- и киноаппараты, благодаря которым и можно видеть на фотографиях прадедушку и прабабушку.

- А почему ж мой папа не стал стекольным инженером? - спросил задумчиво Игорь. Рассказ о чудесном кремнии, а попросту - речном желтом песке, в который так любил играть Игорь, заинтересовал его.

Дедушка потрогал мочку уха, на которой вились белые волосики, сказал:

- Ну, тут все лежит рядом. Ведь химия близка и к электричеству. - И принялся говорить о том, что протоны и электроны осуществляют движение, развитие и изменение, что электрон - источник тепла, света, электроэнергии, цветов радуги, что благодаря электрону идут химические реакции...

У Игоря уже был самодельный карманный фонарик, который он смастерил вместе с папой. Была лишь батарейка и лампочка, остальное делали сами. Прежде всего изготовили линзу из автомобильной лампочки. Папа шилом разрушил и счистил черный заполнитель с цоколя. Концом шила выколочил держатель, и получилась колба. Подвесили колбу на нитке к этажерке и налили в бывшую лампочку нитроклея, который папа сделал сам, растворив в ацетоне до полного насыщения фотопленку без эмульсии. Когда нитроклей затвердел, в колбе образовалась плоско-выпуклая линза. Чтобы линза хорошо отражала, Игорь обложил наружную поверхность колбы серебристой фольгой от шоколадки... Ну а футляр фонарика и выключатель было сделать проще простого...

Игорь продолжал рассматривать фотографии на стене. Он любил сидеть у дедушки за большим столом и рассматривать фотографии. Люди на них были живые, и странно было знать, что их уже нет. Может быть, все-таки они где-нибудь живут?

Дедушка налил чаю и придвинул чашку к Игорю.

- Мне семьдесят лет. Другими словами, жизнь прошла, и остались какие-то объедки. Старики должны быть начеку. То есть шут-

ки, говоря образно, в таком возрасте неуместны. Старик должен быть доволен той степенью жизненной энергии и здоровья, которую удалось сохранить, он должен примириться со своей старостью и заботиться о сохранении и экономной трате своих сил. Старик должен по возможности развлекать себя, окружая молодежью и участвуя в беседе, не требующей умственных напряжений. Как раз я так и поступаю. Молодым людям я говорю: не мечтайте и не ждите чего-то от жизни. Живите днем, своим делом и будьте довольны. Не исключена возможность, что вся жизнь - шутка... Как бывает шуткой первый поцелуй, то есть что-то случайное, непредвиденное и летучее. А ведь мы в жизни это летучее принимаем за нечто реальное и остаемся в дураках!

- А приятно все же, когда тебя целует девчонка, которая тебе нравится! - сказал Игорь.

Эта беседа происходила через неделю после переезда на новую квартиру. Игорь доучивался в старой школе и жил у дедушки.

Говорили - новая квартира. Но под квартирой подразумевалась довольно просторная комната в общей квартире на три семьи. Конечно, комната светлая, на втором этаже. На стенах обои, а не мрачная масляная краска, как в подвале. Конечно, мама рада и папа доволен, но... Игорь весь был в старом дворе, в "Славянском базаре", в своей комнате с высоченным потолком, с оранжевым шелковым абажуром, с черной тарелкой радио...

Сейчас Фелицын думал, что ребенок живет, не анализируя свою жизнь, не копаясь в мелочах и в своих ощущениях, он живет свободно, без предрассудков, воспринимая окружающее так, как будто это окружающее единственно возможно для него и неповторимо. Родись ребенок в тюремной камере, он, наверное, и камеру воспримет радостно, будет играть кандалами, а когда родителей выпустят на свободу, он будет долго тосковать по дому родному. И, даже научившись анализировать и сопоставлять, будет вопреки здравому смыслу думать, что в детстве все было гораздо лучше.

В молодые годы много света,
И вороная ночь светла...

Да, он ходил по дощатому полу, крашенному коричневой краской, и не понимал, почему не приходит дедушка. Вместо дедушки

прибежала сестра Вера, швырнула портфель на диван и восторженно заговорила, что улицу перегородили машины, грузовики “ЗИСы”, что люди толпятся, что уроки в школе отменили, а она с Ольгой потолпилась и вернулась поесть и переодеться.

Игорь накинул пальто, схватил шапку и побежал на улицу. Мальчишек во дворе не было видно. Ворота во двор - огромные, чугунные, решетчатые, крашенные черной блестящей краской - были закрыты на висячий замок, но щель между створками позволяла (так и Вера, наверно, пролезла или через парадное прошла?) выйти на улицу. Между людьми, толкаясь, а то и между ног шестилетний Фелицын добрался до машин. Люди кругом что-то говорили, гудели. Игорь хотел юркнуть под “ЗИС-150”, стоявший вплотную задним бортом к стене архивного института, но щекастый милиционер погрозил черным пальцем в перчатке.

VIII

Фелицын смотрел на фасад дома. Высокая арка подворотни, над нею несколько небольших окошек. И на самой крыше - белая витая каменная ваза между двумя полуарками. Фелицын поймал себя на том, что любит вазой. Он стоял на противоположной стороне у магазина химических реактивов и удивленно, новыми глазами разглядывал эту архитектурную деталь.

От ворот направо и налево вытянулись два крыла дома. Их недавно подновили: бледно-зеленый цвет самих стен и белый - колонн, наличников, уступов арок, карнизов над окошками мезонинов...

На другой день после футбола, где встретился похожий на Мареева тип, Фелицын заезжал в “Детский мир”, чтобы купить к своему дню рождения подарки сыну и жене. В свой день рождения он любил дарить подарки, или “отдарки”, как он их называл. Выйдя из магазина, Фелицын машинально собирался нырнуть в метро, но внезапно в нем вспыхнуло желание зайти во двор детства, он обернулся и увидел на противоположной стороне заснеженный памятник первопечатнику Ивану Федорову, разрисованный терем

ворот Третьяковского проезда, угловую бордовую крепостную башню Китай-города.

Шел мокрый снег. Прохожие месили серые сугробы. Раньше каждый участок вылизывался дворниками. Фелицын вспомнил маленькую, остроносую Дарью со скребком в руках и подумал, что за московскую прописку стоило чистить асфальт. По подземному переходу он перешел на другую сторону, взглянул на Ивана Федорова как на друга детства, потому что у памятника в сквере часто гулял с мамой. Перед Третьяковскими воротами остановился, хотел свернуть сразу на Никольскую, но передумал. Ему захотелось посмотреть зубчатую стену со стороны “Метрополя”, снизу.

Между “Метрополем” и красной башней были сваренные из железных прутьев черные ворота. К счастью, они оказались открытыми. Только что заехал трейлер, накатав колеи в снегу. По колее Фелицын прошел в узкий проезд. Высоко вверху за стеной виднелся его дом. Сейчас Фелицыну стало страшно, оттого что он представил себя маленьким на стене. Как он не боялся ходить по ней, даже бегать?

Он смотрел на зубчатую стену Китай-города, Великого посада, и к нему мало-помалу приходили мысли о том, что теперь он отделен от места своего рождения этой стеной, что какие-то другие люди, ничего общего не имеющие ни с Китай-городом, ни со “Славянским базаром”, люди, которым нет дела до чувственного сживания с камнем, хозяйничают там...

Вдали стена сворачивала вправо. Виднелся тыл архивного института. Там Игорь шел по стене в дом 13, где ждала его сестра Вера, чтобы ехать на новую квартиру.

Фелицын вздохнул и пошел мимо подземных туалетов к Третьяковскому проезду. Поднявшись по ступеням, он миновал пешеходную арочку. Проезд круто поднимался к Никольской. Запахло родным двором. В него можно было заглянуть, не выходя на Никольскую. Фелицын свернул направо, в прямоугольную подворотню. В рыхлом снегу была натоптана тропинка. Скребок дворника и здесь давно не звенел. Узкий дворик. Чужой дворик. Но и он ведет к дому № 17. Слева полукруглый тыл ресторана. В тупике - железные ворота. Через них виден двор детства. Внутренность крепостной башни, стена, отсюда кажущаяся низкой. Фелицын вдруг захотел перелезть через ворота, он огляделся, поставил портфель в снег,

увидел пустую деревянную бочку, подкатил ее к воротам и поставил на попа.

Только он хотел полезть, появился человек в телогрейке с окурком в зубах.

- На кой черт бочку взял! Иди отседова!

- Извините. - Фелицын смущенно взял портфель и вышел со двора в Третьяковский проезд.

Свернул на Никольскую. Фасады, вход в ресторан "Славянский базар". Мокрый желтый снег на краю узкого тротуара, у бортовых камней, между машинами, избравшими себе здесь место стоянки. Ни одной машины в детстве здесь подолгу не стояло. И паломничества людей не было. И ресторана не было. Была закрытая столовая для "высокого начальства", как говорили обитатели "Славянского базара". А у Сережи Зайцева форточка из закутка комнаты смотрела с птичьего полета в эту столовую. Сережа жил на третьем этаже.

Пол в его комнате был паркетный. Старые широкие паркетины, натертые пахучей желтой мастикой. На этом полу Игорь играл с Сережей в пластилиновые автомобили. Чтобы колеса хорошо скользили по паркету, к ним прилеплялись обломанные спички. Но не ради автомобилей бегал к нему Игорь. А ради форточки. Форточки без окна. Одна небольшая форточка в стене.

Придвигался табурет, точно такой же, как и у Игоря (этими табуретами снабжал жителей "Славянского базара" столяр и плотник Лавров, муж Дарьи, он сам их мастерил в подвале маленького двора), сначала на него залезал хозяин и принимал свою порцию бумажных голубей, которые до этого были заготовлены. Сережа открывал форточку и швырял всю порцию. Бумажные птицы разлетались по огромному залу, парили под потолком. Сережа сразу же закрывал форточку.

- Подождем! - восклицал он восторженно. - А то я котенка туда бросил вчера...

- Котенка жалко! - испуганно сказал Игорь.

- Чего жалеть, - почему-то шепотом сказал Сережа. - У него хвост оторвался и вата из бока торчала.

- А-а, - успокоился Игорь.

Наступила его очередь пускать голубей. Он, затаив дыхание, открывал форточку, просовывал в нее голову и смотрел вниз. Слышался звон посуды, гул обедающих. Маленькие человечки си-

дели за белыми столами. Играли бликами в свете люстр хрустальные фужеры. Игорь пускал голубей по одному. Пустит и смотрит. Голубь делает в воздухе петлю, клюет носом, пока не опускается где-нибудь в проходе под столом.

Игорю казалось странным, что обедающие так увлечены яствами и не замечают голубей. Во всяком случае никто из них не поднимал головы к потолку. Игорь выпускал всех птиц, последний раз заглядывал вниз, сердце от высоты замирало. Он трусливо закрыл форточку и говорил Сереже:

- Никто и не смотрит! Сережа почесывал стриженный затылок.

- Они индеек лопают, куда им до голубей! Кирпич надо бросить, тогда посмотрят! - подводил итог Сережа.

К входу столовой, к самым дверям, задрапированным с внутренней стороны белыми оборонными шторками, подкатывали в те времена черные "ЗИМы" и "ЗИСы - сто десяты". А то и пешком подходили начальники пониже рангом со стороны Лубянки и Новой площади...

Фелицын подумал о том, что почти все, что ныне открыто, во времена его детства было закрыто для простых посетителей. Даже Кремль.

Сходить в Кремль для многих было таким же недостижимым делом, как посмотреть телевизор. В пятьдесят третьем году в "Славянском базаре" ни у кого не было телевизоров. А в Кремле бывали лишь единицы. Повезло и Игорю, да и то по большой случайности. И все благодаря дедушке.

Потом дедушка говорил папе: "Самым важным событием за истекшее время было посещение Оружейной палаты. Главное - надо было протащить с собой Игоря. Пришли мы с ним к Боровицким воротам. Было очень холодно. Он озяб, и я его тискал, чтобы как-нибудь согреть. Вскоре подошли бывшие мои сослуживцы. Впускали в калитку, пробитую около ворот, конечно, по списку. Когда входили, то предъявляли паспорта. Я сказал про Игоря, что это мой внук. Военные госбезопасности любезно пропустили его, и я им был весьма благодарен. Пришли в Оружейную, разделись, затем пошли смотреть. Трудно рассказать, что мы видели. Очень много всяких вещей. Их надо рассматривать с чувством, с толком... Видели троны, кареты, оружие, костюмы, драгоценные вещи... По совету старого сослуживца, я глядел в зеркало Петра Первого. В это зеркало взирал Петр, ну и мы тоже. Потеха. Под ко-

нец у меня даже разболелась голова. Вернулись домой очарованные всем виденным...”

Папа мрачно смотрел на дедушку...

Из-под арки “Славянского базара” выехал грузовик-фургон, привозивший продукты для ресторана. Поколебавшись, Фелицын решил зайти во двор. Перешел между машинами на ту сторону, зачерпнув в луже полный ботинок холодной воды. Снег облепил его шапку, пальто. Глаза его были грустны. Снег налипал на стены домов, на машины, на прохожих, бесконечной чередой идущих в сторону ГУМа.

Слева от арки двора был широкий парадный подъезд, который в детстве Фелицын называл просто “парадное”.

- Пойдем через парадное!

Двери застеклены, в глубине виднеется коридор. Нужно дойти по нему до конца, до лестницы, спуститься на первый этаж, а там - лестница в подвал.

Фелицын остановился у парадного и недоуменно прочел черную вывеску: “Редакция газеты “Лесная промышленность”. Было чему подивиться - в “Славянском базаре”, на центральной улице Москвы, где ни единого деревца - “Лесная промышленность”! А почему не “Тихоокеанский вестник”? С какой стати эта “Лесная промышленность” забралась к самому Кремлю? Может быть, последние елки спиливать?! Кто, когда, у кого спрашивал, чтобы эту “Лесную промышленность” здесь, в “Славянском базаре”, размещать? Нет, у москвичей не спрашивают. Делают втихаря. Представляют, “Лесная промышленность” на Никольской! Вдумайтесь только в это язвительное название - “Лесная промышленность”! Не “Московская жизнь”, не “Архивная газета”, не “Русская старина”, а какая-то “Лесная промышленность”!

Дерзко.

Да ей место не ближе чем за 101 км от Москвы, и то от кольцевой автодороги, а не от “Славянского базара”! Место ей в лесу, где звенят пилы и стучат топоры...

Вообще занятые названия можно встретить в центре - каких там только нет! И все рвуся ближе к древностям, к истории, чтобы... эту историю затоптать. Походите по нашему славному центру, почитайте таблички. Уверяю, получите истинное удовольствие! Так думал Фелицын, унимая в душе негодование на “Лесную промышленность”.

Он вошел под арку, и сразу стало тихо. Справа - дверь в парикмахерскую, в которой все свое детство стригся Игорь. В подворотне снега не было, крутой спуск во двор был сух.

Еще от ворот Фелицын увидел воздушный двухэтажный переход из левого корпуса в правый, под ним - спуск в подвал. Дверь туда была открыта, из подвала вышли два человека с какими-то толстыми папками в руках. Фелицын, чтобы не привлекать к себе внимание, сделал вид, что идет в маленький двор, который располагался слева. Миновав арку, Фелицын увидел серые ворота во двор архивного института, посмотрел направо, на окна первого этажа. Одно окно привлекло его особое внимание. Здесь когда-то жила Нана.

Сейчас в окне был свет и никаких занавесок. Свет резкий, дневной. В комнате стояли полированные канцелярские шкафы и ходил человек в сером костюме - наверно, "лесник". И так странно было видеть этого строгого человека, разгуливающего запросто по комнате, где жила Нана, что Фелицыну хотелось крикнуть, чтобы он убирался поближе к своей промышленности. Человек заметил Фелицына, остановился. Фелицын отвел взгляд, сгорбил спину и вышел в большой двор.

Там никого не было. Фелицын подошел к подвальным окнам, едва выглядывающим из глубоких ям, на которых лежали решетки. Лишь на угловой яме решетки не было. Однажды ночью кто-то утащил великолепную чугунную с завитками решетку, еще в то время, когда эта яма была Игоревой. Комната Фелицына. А у Аристарха Ивановича решетка сохранилась, потому что он сразу же после войны зацементировал ее, предвидя хищение.

Как они жили! Как они могли жить в этой чудовищной яме, в этом подземелье, куда и просто спуститься сейчас было боязно! Ниже покойников жили, на трехметровой глубине! Стены сырели, выступали капли, струйками стекали на пол, краска отваливалась пластами, клопы пешком ходили по полу из комнаты в комнату, клопы - мужественные насекомые - переносили дустовые атаки. Наверно, они этот дуст ели!

Монтер Андрианов еженедельно ловил в подвале крыс на самодельную мышеловку.

К тете Дусе Байковой ходил маленький мужичок, и однажды он бежал в одном нижнем белье с болтающимися тесемками на кальсонах по коридору в сторону лестницы, ведущей на первый этаж,

по которой ходил в свою бытность лакей Чикильдеев, бежал в панике от участкового, который застукал его у тети Дуси второй раз и собирался “упрятать в тюрьму” за нарушение паспортного режима.

Столяр Лавров ходил в баню раз в месяц, поэтому от него пахло козлом, да еще с примесью сивушных масел. Утром Лавров “лакировался” политурой, отстаивая ее в тазу с солью. Однажды Дарья, истошно взвопив на весь подвал, что ее мужик травиться надумал, позвала на помощь отца Игоря. Тот увидел таз и глубоко-мысленно сказал, что свойства некоторых химических веществ таковы, что они не могут причинить быстротечного вреда организму. В данном случае мы видим обыкновенную политуру, которую ваш супруг грамотно разделяет со спиртовой основой. Другое дело - ядовитые спирты. “Помню, на фронте видел, как танкисты прицепили к танку цистерну со спиртом, подвезли к лесочку, где наш аэродром был. Напились. Утром не увидели неба. Слепли. Некоторые умерли...”

Дарья взмахнула кулачком, вскричала:

- Да что вы все грамоту свою суете! По-человечьему сказать не можешь?!

...Над входом в подвал нависал воздушный переход. Штука-турка во многих местах обвалилась - виднелись крест-накрест сплетенные рейки. По этому переходу еще Гуров к даме, у которой была собачка, ходил. Так вот, этот переход перегородили, получились комнатки, как купе в железнодорожных вагонах. В одной такой комнатке жил тихий пионер-шахматист Семушкин, поклонник Ботвинника. С Семушкиным Игорь учился в одном классе. У Семушкина была очень толстая мама, такая толстая, что однажды ее раздели догола и пустили на нее пиваок, чтобы она сделалась потоньше. Фелицын видел бесформенную белую гору с черными скользкими извивающимися тельцами и продолжал играть с Семушкиным в шахматы. Почему запомнились эти пиваки - неизвестно.

Костик, брат Игоря, в два года развел костер на заднем дворе в нише китайской стены. У Костика выгорело сзади старенькое, залатанное, еще Игоревое, пальто и уже дымились шаровары, когда его увидел Игорь, шедший из школы. Была оттепель, снег таял и оседал. Костик весело шел навстречу, ничего не замечая, с чумазым щекастым лицом и дымился. Как маленький паровоз -

идет, шаркая подшитыми валенками, и дымится. Игорь стал хлопать его по заднице, чтобы затушить пальто, но вата разгоралась, искры летели во все стороны. Игорь поднял хохочущего, будто его щекотали, Костю и усадил в лужу. Легкое шипение - и делу конец!

Вера славилась тем, что - ввиду отсутствия обнов - могла одно и то же платье перешивать на руках по десяти раз, и всегда оно выглядело как новое. Так, во всяком случае, казалось Игорю...

Дверь в подвал была по-прежнему открыта. Фелицын нерешительно (а вдруг да кто прогонит!) заглянул туда. Какие-то доски, битое стекло, бумажные мешки из-под цемента валялись на ступенях вдоль стены. Крутая лестница вниз. Тишина. Фелицын спустился в подвал. Пахло сыростью, погребом. Взглянул направо, где когда-то находился сортир. Пусто. Светит слабая лампочка, стены выкрашены бурой краской. Фелицын остановился на площадке и со страхом повернул голову в сторону длинного коридора. Холодный цементный пол, отполированный подошвами за многие годы. Высокий, как и прежде, сводчатый потолок, как в подземельях замков, с нависающими выступами арок. Коричневые глухие двери справа и слева. Родное и чужое одновременно.

Фелицын подумал о том, что ребенок, росший в центре Москвы, дышавший стоячим воздухом каменного двора, подобен растению, искривленному, бледному, с зелеными оттенками: такое можно увидеть, отвалив придорожный камень, под которым это - неприятного вида - растение нашло свою обитель. Виновато ли оно, что судьба назначила ему жизнь под придавившим его камнем, нет ли, но болезненное растение, испытав на себе все невзгоды произрастания, продолжает сражаться за жизнь, смиряется с нею, приспосабливается, быть может, и не ратуя за лучшие условия и даже, возможно, считая эту свою жизнь вполне сносной, если не единственно возможной...

И он был тем ребенком...

Можно было пройти по темному коридору, дернуть ручку двери своей комнаты, но Фелицына словно кто-то держал. Смущение овладело им, он бесшумно покинул подвал. По двору шли те двое, которые выходили из подвала, и громко о чем-то говорили. Фелицын позавидовал их смелости. У них нет чувства родства. Для них здесь все чужое.

Фелицын направился в глубь двора с видом человека, которому нужно было попасть в учреждение, располагающееся в заднем флигеле, где когда-то сидела на стуле слепая женщина в мужском пиджаке. На флигеле висела черная стеклянная табличка, на которой поблескивали золотые угловатые буквы названия какого-то “объединенного комитета работников...”.

Зубцы крепостной башни были все те же, но боязно было идти по заснеженной круглой площадке. Однажды Игорь здесь провалился в подземелье. Видимо, в древние времена внизу что-то помещалось, потом засыпали землей и замостили.

Кирпичный сарай у поворота в задний двор. Кладка неровная, какой она запомнилась с детства. Здесь из-за угла выглядывала Нана. Но заднего двора - узкого и длинного - уже не было. Вплотную к стене встали железные огромные сараи. В задний двор можно было заглянуть лишь сразу же за подвалом. Во времена детства здесь стоял двухэтажный дом, его недавно сломали. Но и в заднем дворе все было новым: две толстые серебристые трубы вытянулись вдоль китайской стены. Нет и торцевой стены, на которой Игорь рисовал пятиконечную звезду.

Двор чужой, и связывает с ним только память. Фелицын огляделся. Везде не прибрано, бездомно валяются доски, изогнутые железные балки, ржавая проволока, бочки из-под строительных материалов. Никто не чистит двор, никто не ухаживает. Не слышно детских голосов. Зато выходит “Лесная промышленность”!

IX

- Пойти, что ль, мотор прогреть? - проговорил Зинэтула, почесывая в затылке.

- На улице тепло, - сказал Кашкин.

- Когда пурга стихай, то жди мороза! - наставительно сказал Зинэтула и сел на кровати. - Прогреть никогда не жаль.

- Ну да, бензин дешевый! - усмехнулся Фелицын, наблюдая, как Зинэтула надевает свой овчинный полушубок.

- Бензин дорогой, но мотор дороже... Еще войлок там есть, накрою движок войлоком.

Кашкин вынул из маленького кармана брюк наручные часы без ремешка, взглянул на желтый циферблат.

- Десяти еще нет, а кажется, что вечность прошла!- воскликнул он.

- Пойти ли нам прогуляться перед сном? - спросил Фелицын неопределенно.

- Пойти, - сказал Кашкин.

Они оделись и вышли в холл. Дежурная по-прежнему дремала за столом. Лампа возле нее коптила. Видимо, керосин кончался. Из комнаты артистов слышался приглушенный разговор.

Фелицын вытащил швабру из ручки двери. Вышли во двор. Кашкин молча прошелся вдоль забора, приподнял шапку, задумчиво погладил ладонью затылок. Фелицын взглянул на небо. Слабо светились звезды между дымчатыми облаками. Фелицын судорожно пожал плечами, почувствовав спиной холод после теплого помещения.

Зинэтула деловито влез в машину. Стартер натужно завращал коленвал, но мотор первое время не схватывал. После нескольких щелчков включения стартера двигатель наконец-то заработал.

Кашкин обошел дом с внутренней стороны. Каркнула ворона на высоком дереве. Окно гастролеров светилось: слабый луч от лампы тянулся вверх, к потолку. Кашкин увидел певца и движущую тень от него. Аккордеонист, как шаман, сидел за столом и держал на ладони апельсиновый лотос. Наверно, аккордеонист только что надрезал оранжевую кожуру ножом и отделил лепестки. Так очищали апельсины в дешевых кафе, чтобы как-то украсить стол, а потом напиться за этим столом до поросячьего визга и хрюкать этими апельсинами. Но маленькому восточному шаману-аккордеонисту этот апельсиновый лотос казался произведением искусства, так он заворуженно смотрел на лепестки. Ему, видимо, слышались мужские голоса, внезапно и грозно взмывавшие хорovým распеваем, потому что вдруг шаман повел головой к потолку, а затем бросил взгляд на окно, увидел Кашкина, смутился, оборвал лепестки и впился крепкими зубами в мякоть апельсина, желтые капельки брызнули на стол, струйки сока потекли по подбородку. Кашкин подумал о подмене, обмане, о том, что настоящий лотос нельзя съесть, как нельзя подделаться под настоящую русскую песню. И ему стало жалко этого маленького шамана, блуждающего по чужой стра-

не, забывшего обычаи и культуру своего корейского или казахского народа.

Снег похрустывал под ногами. Стало быть, действительно подмораживало. В такой же зимний вечер, в декабре 1952 года, умерла мама Владилена Кашкина. Владиду, как называла сына мама, шел уже двадцать восьмой год. Мама отошла в вечность. Со времени смерти ее отца, Владикина дедушки, в 1946 году она не раз говорила, что вот скоро придется умирать. Чувствовала что-то. В праздники за столом тоже нет-нет скажет о смерти. Отец Владика, невысокий человек с зарубцованной темной впадиной над левой бровью, строгий и в то же время сентиментальный, чокаясь с нею, говорил: “Что ты, Мария Петровна, Маруся, с какой стати, эт-то, умирать - еще рано!” - как будто он знал наперед, кому и когда нужно умирать.

Так шел год за годом. И надо же было Марии Петровне вместо домработницы, не одевшись, спускаться по лестнице во двор, чтобы поточить ножи у точильщика. Тут смерть взмахнула косою. Три недели болезни - и все кончено! А ведь только 10 декабря она была у соседей по лестничной клетке в гостях, пела: “Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою...”

Часов в десять вечера, на петербургский манер, пили кофе. Мария Петровна, глядя куда-то мимо всех необыкновенно большими зелеными глазами, кое-что рассказывала из своей жизни. “Когда я была молодая, я была озорная, - говорила она, - еще в гимназии вертела начальством. А как пела!” Действительно, это была женщина с характером. Ладить с ней подчас было трудно.

Читать она любила или классиков, или авторов типа Дюма. Так, она с удовольствием читала Бенуа. Ей нравилось, когда герои романа из хорошей среды, а также описания балов и вечеров.

Надо прямо сказать, со смерти своего отца здоровье ее сильно ухудшилось.

В двадцатом году она возвратилась из Парижа, куда последовала девятнадцатилетней девушкой за любовником, близким Временному правительству человеком. Князя П., ее отца, бывшего действительного тайного советника, выслали из Петрограда в город Н. Мария Петровна поехала к нему, так как в Петрограде жить стало негде, и до двадцать четвертого года посвящала себя исключительно заботам о его здоровье и поискам средств к существованию. Недостаток этих средств и

скука - вот два полюса, между которыми она качалась как маятник.

В 1924 году в нее влюбился Серафим Кашкин и, несмотря на знатное происхождение Марии Петровны, вступил с нею в брак, который она называла браком по расчету. Когда Мария Петровна вошла в его аскетический кабинет, в котором, кроме стола, двух табуретов и железного шкафа, ничего не было, вошла, безнадежно глядя на хозяина кабинета, чтобы просить о смягчении участи отца, судьба Серафима Кашкина, облаченного в командирскую форму без знаков различия, была решена. Он впервые в жизни видел столь прекрасное лицо с утонченными чертами.

Прежде Мария Петровна разъезжала в автомобиле, жила в собственном доме отца на Английской набережной в Петербурге или - летом - в Введенском. Только с наступлением холодов перебирались в Петербург. Вступив в брак с Серафимом Герасимовичем Кашкиным, уроженцем Екатеринославской губернии, Мария Петровна сменила ватник на шубку, валенки на полусапожки, пуховый простонародный платок на шляпку с вуалью, отороченную горностаем.

Серафим Кашкин падал в буквальном смысле слова на колени перед красотой Марии Петровны, и в конце 1939 года сумел данной ему властью выволить из города Н., самолично съездив туда и решив все формальности на месте, и прописать в своей московской квартире простого гражданина П., тестя провинциала.

Мария Петровна стала искать развлечений и охотно ездила с мужем по гостям. Бывало, просят ее что-нибудь спеть. Она не отказывалась. Поерзает на кресле, сосредоточится - и по комнате понесется чудесный голос. Пела она в таких случаях почти одно и то же: "Не забуду я ночи той темной".

Многим гостям становилось смешно, что жена такого ответственного работника, как Серафим Герасимович Кашкин, поет про любовь, про слияние в поцелуе, про ощущение счастья. Конечно, ей хлопали. Она была очень довольна.

Однако после вечеринок Серафим Герасимович, смущаясь, сбивчиво делал ей замечания, чтобы она меньше выказывала свою знатность, которая давно упала в цене, и не забывала, кто ее муж и в каком доме она живет.

Но все уже знали из коллег Кашкина, что есть такой уголок, куда можно прийти посидеть (в “уголке” - квартире из трех больших комнат), выпить и закусить, поговорить о чем-нибудь смешном. Здесь не молчал тяжелый черный телефон.

А Марии Петровне только скажи, что сегодня будут гости, как она мигом молодела и принималась за хлопоты. Любила устраивать блины. Сама пекла на плите в кухне. Сметаны было вдоволь. Прочим простым москвичам достать ее не удавалось, в масленицу сметану брали нарасхват. Хотя Серафим Герасимович все получал на службе и отправлял с шофером в Староконоушенный переулок к высокому серому дому, тем не менее, Мария Петровна сама ради прогулок кое-что прикупала. Так сумела взять красной икры в бывшем распределителе ГПУ на Кузнецком мосту. Там же купила несколько порций заливной осетрины.

За столом всех угощает: “А вы поешьте, очень вкусно”. Радущия и гостеприимства хоть отбавляй. Мария Петровна налегала на водочку и вскоре замолкала, пропуская то, что ей говорили, мимо ушей. Она прикрывала глаза, и черные ресницы казались очень пушистыми и длинными. Но зато если было что-нибудь смешное, то смеялась молодо. Любила хвастаться молоджавостью, хорошими волосами - почти без седины.

Мария Петровна никогда не могла запомнить, кто где работает и на какой должности. Всякий ей был важен не как служака, а как человек. Много своих интересов она подчинила своему любимцу Владу и поэтому к его знакомым относилась особенно внимательно.

Она была очень подвижная. В Кунцеве была у них с мужем дача. Отдыхать на даче не любила. Все, бывало, разговаривает и особенно насторожена к обеду. Если обед без выпивки, то глаза ее тухли, говорила, что пора на прогулку. А однажды после такого “кислого” обеда, распрощавшись, взяла автомобиль Серафима Герасимовича и велела везти ее в ресторан, где выпивка должна была быть непременно.

Серафим Герасимович не пил ни капли, дорожил доверием земляка, с которым и в городе Н. служил, с которым и в Москву был переведен, с которым год от года, особенно после войны, поднимался все выше, как нитка за иголкой.

Но за столом он сам с удовольствием сидел и увлеченно слушал жену. Мария Петровна часто смешила общество своими рас-

сказами примерно такого рода: “Вхожу в трамвай. Вдруг встает господин Н. и уступает место. Я в недоумении. А он как бы в ответ: “Вы же Мария Петровна, дочь Петра Арсеньевича!”

Или возьмет и расскажет анекдот: “Мадам Коти сообщила своему любовнику, что ее муж уехал по делам и, следовательно, можно устроить “сеанс”. Но - увы! - господин Коти неожиданно вернулся. Нужно было спрятать любовника. Тогда мадам Коти поместила его в шкаф, в котором находились образцы духов и пахучих масел. На другой день господин Коти уехал, а мадам поспешила открывать шкаф. Любовник вылез из шкафа близким к обмороку. Он был бледен и тяжело дышал.

“Что с вами?”

“Мне дурно”.

“Может, вам дать понюхать нашатырного спирта? Ну чего вам дать понюхать?”

“Кусочек говна”, - ответил любовник совершенно ослабевшим голосом”.

Иногда Мария Петровна догадывалась, что над ней иронизируют, дружески, конечно, тогда она пристально вглядывалась в собеседника и сидела, настороженно прислушиваясь к разговору. Кровной для нее обидой было, если где-нибудь случалась вечеринка, а ее не пригласили или пригласили без Владика. Она могла на подобное приглашение бросить телефонную трубку и не разговаривать месяцами.

Несмотря на домашнюю прислугу, в квартире почти всегда был беспорядок. Серафим Герасимович, кроме сапог, не признавал другой обуви. Переодеваться сразу по приезде не любил, ходил по квартире, мрачно смотрел в пол, затем садился, открывал том Ленина и долго за полночь читал. Это означало, что-либо ему самому, либо земляку грозит какая-то неприятность.

Летом - всюду мухи. Странно, Мария Петровна как бы ничего не замечала. Ей требовалась помощь более энергичная, чем домработница, но этой помощи не было. Владик по дому ничего не делал. И это было ошибкой с его стороны. Находясь иногда без домашней работницы, она все делала сама и очень уставала.

Воспаление легких у нее бывало не раз, но она все-таки выздоравливала, а теперь болезнь пала уже на ослабевший организм. И он не совладал...

Кашкин смотрел на Фелицына, который выносил из дома деревянную стремянку, а сам вспоминал, как он гулял с мамой на бульваре. Мостовые и тротуары тогда так заледенели, что троллейбусы и автобусы не могли двигаться, а пешеходы шли, держась друг за друга. Рассказывали, что многие падали, ломая руки и ноги. Во всяком случае, несомненно, что падение причиняло ушибы. Шестилетний Владик, выйдя на тротуар, упал, но не ушибся. Мама так и стояла у дверей, ждала, когда вызванный по телефону дворник посылет тротуар песком.

Какой-то прохожий с покупками под мышкой поскользнулся, баранки разлетелись по сторонам. Владик громко рассмеялся. Мария Петровна укоризненно взглянула на него, тот затих, а сама, балансируя руками, подошла к прохожему и принялась помогать ему.

Мария Петровна прохаживалась по бульвару, сунув руки в меховую муфту. Иногда она забывала, что гуляет не одна. Однажды осенью она задремала на скамейке. Ее усыпило мерное падение листьев на дорожку. Мимо, по мостовой, проходил военный оркестр. Звучал марш. Марии Петровне снился бал.

Владик пристроился возле оркестра и промаршировал до Тверского бульвара. Мария Петровна проснулась. Нет ее мальчика. Бросилась искать. А Владика уже ведет милиционер. Владик расплакался, что потерял маму.

- Он весь в меня! - сказала она милиционеру. - Обожает музыку.

Серафиму Герасимовичу предлагали похоронить Марию Петровну на Новодевичьем кладбище. Но там требовалась кремация. Покойная была против сожжения и как-то сказала Владике, что если ее сожгут, то она будет каждую ночь ему являться. Поэтому решили хоронить ее на Дорогомиловском кладбище.

Земляк Серафима Герасимовича распорядился, чтобы на гроб возложили венок из живых цветов с надписью. Такой же венок возложил и Серафим Герасимович. В общем, покойницу похоронили достойным образом...

Серафим Герасимович плакал навзрыд, и его еле оторвали от гроба...

Кашкин услышал, как треснула нижняя перекладина стремянки. Нога Фелицына утонула в снегу.

- Что вы желаете сделать? - спросил Кашкин. Фелицын высоко поднял ногу, чтобы попасть на вторую перекладину лестницы. Кашкин пособил. Фелицын полез к входным роликам.

- Давеча вы помянули про “ноль”, - сказал Фелицын. - Я подумал, что не мешало бы в самом деле этот “ноль” посмотреть. Как вы думаете, Владилен Серафимович?

Кашкин улыбнулся мечтательно и сказал:

- Думай не думай, а вы уже у проводов.

Зинэтула продолжал прогревать мотор. От его шума вибрировали со звоном стекла в окнах дома.

Фелицын сунул перчатки за пазуху и принялся разматывать изоляционную ленту в том месте, где уличные провода соединялись с выходящими из дома.

Кашкин вновь вспомнил маму. Он часто бывал с нею на Яузском бульваре у одной знакомой, которая...

- Вспомнил занятную штуку, - сказал он вслух и засмеялся.

Фелицын, продолжая разматывать изоляцию, посмотрел вниз.

- У одной старушки на Яузском было тридцать... представляете? - тридцать черепах! Маленьких и больших. Все они обитали в комнате, везде лазали, в том числе и по кровати. Каждая черепаха имела кличку и на нее откликалась. Если у черепахи был не в порядке желудок, то она становилась вялой и не ползала. Тогда ей из пипетки ставили клизму. По очищению желудка черепахи опять делались жизнерадостными. Бывал у них и насморк!

Фелицын улыбнулся широко и бессмысленно, глядя сверху на барашковую папаху Кашкина. Так улыбаются дети, когда им неожиданно преподносят игрушку, о которой они грезили во сне и наяву.

- Что черепахи! Я сидел на удаве!

- Вот как! - удивился Кашкин.

- Сидел. Недавно заходил в старый двор и поразился его заброшенности. Какой-то Арбат прихорошили, а самый центр, самое сердце, Китай-город, Великий посад в запущенном состоянии. Фасады подмалевали и...

- Малевать фасады и заборы - это в нашем духе! - вставил Кашкин. - А светильники на Арбате отвратительные. Холодный, мертвый свет. Так и хочется, глядя на них, надеть черные очки, чтобы не ослепнуть.

Фелицын осторожно, чтобы не дернуло током, зачистил оголенный конец провода лезвием ножа.

- Ведь это не просто дом какой-то, а “Славянский базар”!
- Вы в “Славянском базаре” жили?
- Ну да.

Х

- Дедушка, расскажи мне, как ты ходил в школу, - просил Игорь, чтобы оттянуть время приготовления уроков.

Дедушка, Павел Львович Фелицын, нарезал мелкими ломтиками сосиску острым длинным ножом с тяжелой серебряной ручкой.

- Мурзик должен скоро прийти. Нужно покормить котомфеича!

Блюдец с сосиской выставлялось в форточку на специальную полочку между рамами. Мурзик оказывался тут как тут. Вспрыгивал со двора на железный отлив, с него на форточку и принимался жадно есть. Это был лобастый, крупный, черно-белый кот.

Дедушка надевал поверх белой сорочки френч, подходил к огромному старинному шкафу, отворял дверцу - пахло нафталином, - брал с верхней полки одежную щетку и сосредоточенно водил ею по плечам, рукавам и полам френча, как будто собирался в театр. Затем дедушка внимательно рассматривал себя, скашивая глаза, в большое, от пола до потолка, зеркало с зеленоватыми разводами по углам.

- В свое время я поступил в городское училище, - сказал он, трогая длинными белыми пальцами с синими вздутыми жилками мочку уха. - Было это так...

Он застегивал френч на все пуговицы и садился на стул с красной бархатной спинкой к столу. В глазах дедушки - бледно-голубых - вспыхивали огоньки.

- Училище помещалось на Садово-Кудринской, между женской гимназией и реальным училищем. Меня насилу приняли, так как не хватало трех месяцев до нормы. Купили мне вместо ранца синюю сумку на рынке. На сумке был нарисован лев. Мне это очень понравилось. Во-первых, лев - царь зверей и этим уже внушает к себе уважение, во-вторых, моего отца, а твоего прадедушку, звали

Лев Дмитриевич, он был бородатый, и иногда у него был такой же добродушный вид, как у льва. В самом деле, посмотри на льва в зоологическом саду. Если он сыт и выспался, то сидит с добродушным видом, поглядывая на публику. Трудно поверить, что этот зверь может в один миг тебя растерзать.

- У нас монтер Андрианов похож на льва, - сказал Игорь.

- Это отец того мальчика, который тебе лицо исцарапал?

- Он, - сказал Игорь и глубоко вздохнул, вспомнив, как Юра ни с того ни с сего выставлял когти, как львенок, и вцеплялся ими в лицо. Юра не мог терпеть, когда Игорь заходил в мастерскую-клетушку, отгороженную дощатой стеной, крашенной зеленой краской, в той части подвального коридора, где начиналась узкая лестница на первый этаж. Мастерская была как раз напротив этой лестницы. В мастерской все было необыкновенно, начиная с большой трофейной лампы-переноски, которую включал сам Юра, и кончая тяжелым мотором-динамо, который стоял на полу и на котором можно было сидеть.

- Ну так вот, - продолжил дедушка. - В первый день ученья меня повела в школу мама. Проходя мимо каждой церкви, я крестился. Я не знал, что такое "учиться", но где-то в глубине души чувствовал, что это какая-то беда. Пришли мы раньше всех. В школе никого не было. Нас встретил дядька-гардеробщик. Мама сдала меня ему и пошла домой. Дядька повел меня в первый класс. Мы прошли две комнаты. Я удивился, что они большие. Стены были увешаны картинами из русской истории и Закона Божия. Но вот и первый класс. Я сел за парту по своему выбору. Дядька ушел. Я остался один. Все оглядывал стены. Много было картин с изображением Христа. Тут я понял, что началась какая-то новая жизнь. Вдруг поднялся в соседних комнатах шум. Это постепенно наполнялись ребятами классы. Но вот и наша комната полна ребят. Я сижу ни жив ни мертв. Что-то будет дальше? Прозвенел звонок. Вошла учительница. Волосы взбиты и завиты. Длинная цепочка с часами. Пахнет духами. Лицо напудрено. Кое-где прыщики. Что она говорила - ничего не помню. На большой перемене съел завтрак, который мне вдоволь был. Во втором классе, рядом с нами, была драка: третьеклассники дрались с второклассниками. В самый разгар появился, словно из-под земли, старший учитель, начальник школы, по виду похожий на поэта Некрасова, а по прозвищу Козел. "Это что такое? Иванов - на час, Петров - на час..."

Это значило, что после уроков им придется сидеть в школе целый час и только тогда можно идти домой. Видел законоучителя - священника Парийского. Он проходил мимо меня. Я поклонился, а он улыбнулся, прищурился и сказал: "А, касатик! Ну вот, будешь учиться... Очень хорошо",- и прошел в учительскую. Не помню, как кончился первый день ученья. На душе было очень тоскливо. Я вдруг почувствовал, что учиться - это значит мучиться. А зачем надо мучиться - я не знал.

В таком настроении я возвращался домой. На углу Поварской и Борисоглебского переулка меня уже поджидала мама. Увидев ее, я очень обрадовался и прослезился. Так началось мое ученье. Учился я старательно, но способности у меня были слабые, я не сразу все понимал. Очень мучился над решением задач-головоломок. В то время в подвале нашего дома занимал комнату инвалид турецкой войны Коренюк. Он имел Георгия 4-й степени. Очень часто рассказывал про Плевну. На стенах у него в комнате висели картины из турецкой войны. Я с удовольствием их разглядывал и гордился тем, что русские бьют турок, хотя бы их была целая туча. У него был сын Сергей. Учился он в Строгановском училище и недурно рисовал. Затем была старшая дочь - Дуня, и младшая, совсем маленькая - Шура. Так вот Сергей и Дуня помогали мне по арифметике. Отставал я еще по диктанту. Никак не мог понять хитроумных правил правописания. Очень хорошо учился по Закону Божию. Мне нравилось, что есть Бог, разные святые люди, что надо исполнять заповеди - и все в жизни будет хорошо. Но вот наступал диктант - и получалось ужасно скверно. У меня в тетрадке было больше, чем у всех, ошибок. В таких случаях учительница вызывала меня полным именем: "Павел Львович - на середину класса!" - и томительно долго разбирала мои ошибки. Весь класс грохотал от смеха, а я стоял, сжавшись, ничего не понимая, и думал, как бы скорей домой, - там тишина и спокойствие и можно жить без всяких знаков препинания и без буквы "ять".

В драках я участия не принимал. С виду был худеньким мальчиком. Водили меня к доктору по детским болезням Абрамову. Он посмотрел и сказал: "Куриная грудь. Катайся на лодке и расправляй грудь". Чудак! Какая там лодка - я дальше своего двора и улицы и носу не показывал. Отец, по-видимому подметив, что мне ученье дается туго, повез меня в Сергиев Посад. Как известно, Сергей преподобный плохо учился - и молился, чтобы Бог

ему помог. И вот однажды, когда он был на лужайке и присматривал за лошадьми, из лесу вышел схимник и причастил его. С тех пор Сергей стал хорошо учиться. Поэтому слабых учеников водили на поклонение его мощам. Как прошла эта поездка, я не помню. Купил мне там отец разных душеспасительных картинок. Я их с удовольствием разглядывал и долго хранил у себя. Особенно мне нравилось изображение Сергея, кормящего медведя. Я всей душой поверил, что святых или хороших людей даже звери не трогают и чувствуют к ним почтение. Впоследствии юношей с удовольствием слушал в церкви слова из одного псалма: “На аспида и василиска наступиши и попрещи льва и змия”. Вот что значит веровать в Бога! - думал я. Правильно поэтому Бог говорит: “Верующий в меня не посрамится”. Таким образом, в детстве у меня был уклон в этику и религию, а к положительным наукам вкуса не было. Поездка в лавру мне не помогла. Я все так же хромал по диктанту. Все же я добрался до третьего класса. Но проучился в нем до Рождества. И как-то в большую перемену меня повели обратно во второй класс и посадили на заднюю парту. И все это из-за проклятых грамматики и синтаксиса! С удовольствием занимался я чистописанием. Я как-то сразу понял, что надо писать разборчиво и красиво, любил рисование и пение. Из книг читал по преимуществу популярные рассказы из русской истории. Святослав, Олег, Игорь, Владимир Мономах, Александр Невский, Петр I, Суворов возбуждали во мне живейший интерес. Любил я рисовать лошадей. Играл и в оловянных солдатиков. Как-то даже купил себе фарфоровую куклу копеек за двадцать. Укладывал ее спать...

Так как я был худой, а голова была у меня большая, то меня прозвали “Головастик”.

- И совсем не большая у тебя голова, а нормальная, даже красивая! - воскликнул Игорь.

Дедушка улыбнулся и продолжил:

- В драках, повторяю, участия не принимал, но все-таки мне как-то ни за что закатали синяк в лоб. Я не знал, что делать. Кто-то посоветовал приложить или медный пяточок или бляху от ремня. Я так и сделал. По-видимому, это помогло, так как дома относительно синяка разговора не было.

Дедушка потрогал воротник белой сорочки. Этих сорочек у него было множество. Их стирала мама Игоря. Она набирала у де-

душки полный узел и несла в “Славянский базар”. Потом эти сорочки развевались на веревках в заднем дворе. Если была зима, то сорочки делались каменными и стучали Друг об друга рукавами, как будто начинали драку.

Игорь прохаживался по комнате, смотрел на полку с книгами, взгляд его останавливался на собрании сочинений Толстого.

- И всего Толстого ты прочитал? Дедушка задумчиво смотрел на старые корешки книг.

- Я отлично помню, - говорил он, - как однажды в “Русском слове” появилась коротенькая заметка, озаглавленная примерно так: “Уход Льва Толстого”. В ту пору я, напичканный богословием и философией, увлекался Толстым. Мне было ясно, что казенное православие не выдерживает критики, что неизбежна “революция” в религии, и Толстой, по-моему, расчищал для нее путь. При этом многое в учении Толстого - например, его теория непротивления злу - мне казалось странным. Сообщение об уходе Толстого меня глубоко взволновало. Я любил Толстого за его беспокойство душевное, за внутреннюю духовную работу над собой. Каждый человек любит свой дом. Толстой прожил в Ясной Поляне десятки лет, навсегда обессмертил ее, и вдруг - уход! В темную октябрьскую ночь он встал с кровати, постучал в дверь дочери Александры Львовны и сказал: “Я ухожу!” И это в восемьдесят три года! Прощай, насиженное место, где жили отцы и деды, где столько было пережито - впереди новое, неизвестное и страшное.

В этот период времени я был в Сергиевом Посаде. Получив сообщение от одного студента о смерти Толстого, я побежал на вокзал. По дороге, на мосту, около блинных рядов, упал, фуражка слетела с головы. Примчался на вокзал. Купил газету - кажется, “Русские ведомости”. В газете кратко сообщалось, что сегодня утром умер Толстой. Мне было невыразимо грустно...

Каждый день я покупал газеты, выходил на линию железной дороги и там читал. Я не был толстовцем, но чувствовал, что из жизни ушел громадный человек, мудрец - по-видимому, последний мыслитель, который ко всем явлениям подходил с нравственной точки зрения, невзирая ни на что. В то время я интересовался вопросом, есть ли общеобязательные нормы жизни, есть ли этика, или можно жить как угодно.

Толстой порой убеждал меня в том, что вся сущность жизни именно и состоит в нравственности и этим именно человек или

оправдается или осудится. Без морального закона - все ничто, сколь ни было бы оно величественно, умно и красиво.

Жизненный горизонт мой был небольшой. Пока я только лишь учился, сначала на Кудринской, потом в Донском училище, и вот теперь в духовной академии Троице-Сергиевой лавры. Потому взгляд Толстого, что человеку для жизни достаточно три аршина земли, мне пришелся по душе. У меня создалось возвышенное представление о человеке, каждый человек мне казался сложным и большим. По своему телу, по внешности человек ничто, ибо достаточно какого-нибудь щелчка - и он умрет, но вот внутренний человек, его мысли, чувства, героизм, духовная красота - в этом и есть суть человека, его могущество. Я знал, что Толстой не оригинален, все это сказано и до него, но он силой своего гения вновь в век электричества и пара поставил этот вопрос и по-своему доказал. Уход Толстого я мыслил себе как последнее доказательство, что не хлебом одним жив человек, а есть нечто высшее. Мысли же о том, что для жизни прежде всего нужен хлеб, иначе человек погибнет, мне в голову не приходило. К жизни я подходил метафизически, считая ее чем-то очень хорошим, людей не знал и, наконец, сам еще учился, ел готовый хлеб и о том, как зарабатывается копейка, не ведал. Мне казалось, что жить очень легко, ибо люди расположены друг к другу, и стоит только быть хорошим человеком, как все пойдет по маслу. Где-то в глубине сознания были и иные мысли, и сам я жил как и все - правда, никого не обижая и ни к чему не стремясь, - но что люди должны быть хорошие, и что жить нужно в мире, и что это в нашей власти, и что это - самое главное, - в это я уверовал раз и навсегда. В этой вере главную роль и сыграл Лев Толстой. Дерево этой веры росло в моей душе и без него, но он выполнил роль садовника, вовремя его обвязав и укрепив, подставив шест.

XI

Быть участником поисков потерявшегося "ноля" Фелицыну уже однажды приходилось. То было на даче его начальника Федора Григорьевича Микуло, куда Фелицын каждое лето вы-

нужден был приезжать для отчета и получения указаний. Микуло и в отпуске продолжал зарабатывать деньги, невзирая ни на что.

Все на даче строилось или самим Микуло, или его сыном Левой. Причем последнее время работал руками только Лева, а Федор Григорьевич стоял подле и руководил. Щекастое лицо с мясистым, вдавленным в переносице носом, с раздутыми ноздрями, с маленькими круглыми блестящими глазами выражало неудовольствие.

- Львенок, ты не так делаешь! - раздраженно бросал Федор Григорьевич, видя, что сын на глазок размечает доски, заготавливаемые для стола.

Столбы старого стола, что был вкопан за домом с северной стороны на узком пятачке среди кустов сирени, сгнили. Столешница тоже пришла в негодность. Решено было сделать новый стол.

- Отстань, пап! - огрызнулся тридцатипятилетний Лева, продолжая делать по-своему.

Федор Григорьевич зло стискивал зубы, которые недавно все оптом вставил. Рот его теперь явно не соответствовал возрасту: зубы белизной и ровностью выглядели на двадцать лет. Федор Григорьевич был одет в короткую комбинированную куртку, какие носили в послевоенные годы: коричневые наплечники с острым клином на спине между лопаток, серый низ и накладные карманы, короткая латунная молния. На ногах его были тяжелые черные ботинки. На голове - берет с пупырышком.

Федор Григорьевич напирал необъятным животом на Леву и говорил сквозь стиснутые зубы:

- Львенок, так не делают! Оставь и следуй за мной в дом. Нельзя же на глазок делать!

Федор Григорьевич, раскорячась, боком, иначе ноги не уместались на узкой дорожке, не спеша шествовал в дом, за ним, понурив голову, следовал по пояс раздетый, загорелый и потный Лева. Лева хотелось лечь в гамак, помечтать или вздремнуть.

На террасе Федор Григорьевич расстилал на столе чертеж, выполненный самолично по всем правилам начертательной геометрии с соблюдением ГОСТа, и тыкал маленьким пальцем с нежным ногтем в линии.

- Ну зачем мне сдался твой чертеж! - начинал тихо беситься Лева. - Что я, стола, что ли, никогда не видел!

Федор Григорьевич властно указывал ему на стул. Лева потянувшись и невидящим взглядом утыкался в простыню чертежа, где были даны виды сбоку, сверху и в разрезе.

- Феденька! - окликала мужа из комнаты Татьяна Евграфовна.
- Дай ты Львеночку отдохнуть, он же устал на работе.

- Помолчи, Тата! - бросал гортанно в ответ Федор Григорьевич и продолжал вдальбивать Леве порядок изготовления стола.

Лева понимал, что сопротивление бесполезно, хватал чертеж и выбегал на участок. По врытым плашмя в землю бортовым камням, образующим прямую ровную дорожку вдоль забора до туалета и мастерской, Лева, конвоируемый отцом, шел с видом пойманного в силки перепела. Бросал чертеж на траву у парника и визгливо спрашивал:

- Этот размер каким делать?

- Таким, каким дан на чертеже.

Лева вбегал в мастерскую, зажимал доску в тиски, вынимал карандаш из-за уха, раскидывал складной железный метр, размечал точно по чертежу и принимался за рубанок, потом подбегал к циркулярной пиле.

- Ну, а ты не хотел! - говорил, надувая щеки, Федор Григорьевич, поглаживая готовую доску.

Лева косился на отца с таким видом, как будто говорил, что ему на все наплевать, лишь бы скорее кончился отпуск и он смог уехать в Москву.

Лева был однажды женат, но развелся. Сейчас он женился второй раз, но по всему было видно, что он опять промахнулся. От первого брака у него был шестилетний сын Антон, который в это время бегал по улице, играя в войну с мальчишками. Антон не признавал и не слушался дедушку. Утром Федор Григорьевич пожелал сфотографироваться с внуком. Лева стоял с фотоаппаратом, а Антон говорил, что со "старым хрычом" сниматься не будет. Тогда Федор Григорьевич, искривив толстые губы, побелел, схватил своей маленькой рукой Антона за волосы и приподнял. Клок волос остался в руке Федора Григорьевича. Лева в отчаянии швырнул фотоаппарат в отца, но не попал. Антон визжал так пронзительно, что соседи подумали, что его посадили на раскаленную сковородку.

К учению Лева был равнодушен, как равнодушен человек ко всему, что ему прививают силой. В детстве Федор Григорьевич

привязывал его к стулу и раскрывал книгу, чтобы сын читал. Перед поступлением в институт Федор Григорьевич проработал с Левою всю программу. Сын поступил, но после первого же семестра был отчислен, женился и ушел жить к жене, дочери советника одного из наших посольств в Скандинавии. Первый месяц, который принято называть медовым. Лева действительно вкусил меда. Но не прошло и полугодя, как он вернулся к отцу и заявил, что совершил ошибку. Федор Григорьевич требовал возобновления учебы в институте. Лева готов был делать все что угодно, только не учиться. Поэтому он вскоре женился второй раз, думая, что навсегда уходит от тирана-отца. Вторая жена оказалась практической женщиной. Ее каждодневный разговор начинался словами: “Дай мне денег”. В конце концов Лева плюнул и, хотя у него деньги водились, вернулся. Федор Григорьевич, казалось, рукой махнул на сына и попытался переменить тактику общения с ним. Теперь он называл его “Львенокком” и спрашивал:

- Как ты думаешь?..

Когда к человеку так обращаются, то, стало быть, в нем предполагают, пусть в малой степени, наличие мозгов. Лева это понравилось, и он добродушно отвечал:

- Не знаю. - И задумчиво смотрел по сторонам. За изготовлением садового стола Фелицын и застал Леву.

Тот бросился радостно навстречу Фелицыну, расценивая его визит как спасение от подневольного труда.

- Как дела, старик? - спрашивал Лева, отшвыривая в траву оструганную доску и вставляя сигарету в рот, на который нависали густые усы, стекающие по бокам до самого подбородка.

Фелицын пожимал Левину руку, улыбался хорошему дню, теплу, лету.

- В трудах и заботах! - усмехался он, кивая на свой портфель, в котором лежали папки с последними отдельскими делами.

- Как вы с ним там работаете! - удивлялся Лева, сплевывая на дорожку. - Приехал покупать, позагорать, а он с чертежами тут! Давай, мол, пиши. Да я в последние дни так напахался, что руки не поднимаются! Четыре машины сделал!

Лева работал автослесарем на техцентре по обслуживанию “Жигулей”. Фраза “четыре машины сделал” значила, что эти машины были слева.

Из помидорного парника, обтянутого прозрачной, сверкающей на солнце пленкой, появилась Татьяна Евграфовна.

- А, Игорь Дмитрич пожаловал. Здрасьте, здрастьте!

Фелицын поклонился этой миловидной, нестареющей женщине и тут же был приглашен ею в парник на осмотр помидоров. Крепкие пахучие кусты ровными рядами росли на черной, без единого сорняка земле. Было душно и влажно. Строго на одном и том же расстоянии от штамба растений воткнуты колышки, к которым подвязаны кусты. Бледно-зеленые, с розовыми боками помидоры сорта "белый налив" свисали с кустов, опираясь на специально подставленные рогатинки. И здесь чувствовался расчет Федора Григорьевича.

Микуло все, прежде чем делать, рассчитывал. Например, теплоемкость засыпной печи, которая отапливала большую и маленькую комнаты дачного дома, определялась на ЭВМ, для чего составлялась программа. Словом, как положено по науке.

Воля Федора Григорьевича распространялась на окружающих подобно радиоволнам...

Фелицыну вспомнилась китайская стена, по которой он шел в дом 13 к Ольге, где ждала его сестра Вера, вспомнился новый дом из серого силикатного кирпича в 13-м проезде Марьиной рощи, где предстояло теперь жить, вспомнились обитатели этого нового дома. Среди них - братья Головановы, пятнадцатилетние близнецы, угловатые, здоровые, с квадратными челюстями, в надвинутых на глаза ремесленных фуражках с черными козырьками. Эти братья завоевывали себе авторитет во дворе, а потом и в Марьиной роще пудовыми кулаками с зажатыми в них свинцовыми битами. Они молча подошли однажды к Игорю, попросили снять очки, один подсел сзади, другой ударил в бровь. Так же молча они ушли. У Игоря было легкое сотрясение мозга, плавали голубые круги перед глазами и до вечера тошнило.

Эти братья - двуногие существа - прокладывали себе дорогу в жизни силой, они жили по законам стаи, где вожака можно определить по поднятому хвосту и не всегда идущим первым. Так же терялись в пестрой кодле братья Головановы, но в решающий момент они выходили вперед и работали кулаками с удовольствием, вдохновенно. Не пренебрегали они и велосипедными цепями. Марреев по сравнению с ними был добряк.

Расчищенная мускулатурой дорога вела этих двуногих к глухим железным воротам, к сторожевой вышке и колючей проволоке.

Но некоторые двуногие, используя тот же принцип жизнеутверждения, но без прямого рукоприкладства, обзаведясь свидетельствами и дипломами, минуя зоны, шли в начальники. К их числу Фелицын причислял своего начальника Федора Григорьевича Микуло.

Уроженец города Немирова, славного тем, что там проездом останавливался Бальзак, Федор Григорьевич Микуло неколебимо уверовал в силу воли.

- Воля решает все! - наставлял его отец, судебный пристав, и заставлял Федю снимать штаны и сек его ошкуренными ивовыми прутьями каждый понедельник, определяя количество ударов по записной тетради, в которую заносились все провинности и шалости сына за неделю. Отец Микуло ходил в черном, со стоячим воротничком, семинарском мундире с гербовыми пуговицами. Густые волосы обрамляли плоский голый череп, и казалось, что отец ходил в парике, потому что у него морщилась кожа лысины.

Стараясь как можно меньше ударов получать по понедельникам, Федя Микуло собирал свою волю в кулак, чтобы не соблазниться на какую-нибудь мальчишескую проказу. Он тоже был одет в черное, к одежде относился бережно, потому что и порча одежды вносилась отцом в реестр наказаний. Когда нога Феде достигла тридцать девятого размера и перестала расти, отец, уже подслеповатый старик, извлек из сундука свои кожаные добротные ботинки и вручил сыну.

В этих ботинках ходил Микуло более сорока лет и именно в них его застал на даче Фелицын.

Федор Григорьевич Микуло уверовал в силу приказа и единоначалия, как в аксиому, не подлежащую проверке. И само время усиливало эту веру. Микуло в армии не служил, был лишь на военных сборах перед окончанием Харьковского политехнического института, но армейская жилка в нем была изначально, природна, доведенная отцом, как доводится на заводе деталь шлифовщиком, до эталона.

Всех людей Микуло делил до поры до времени на две большие категории: дисциплинированных и недисциплинированных. Первым нужно было давать лишь четкие указания, со вторыми же

предстояла долгая возня. Эти вторые иногда не выполняли распоряжений, считая, что болтовня и начитанность что-то решают в жизни. Способности, талант Федор Григорьевич отвергал, относил их к понятиям метафизическим, хотя эту метафизику никогда не изучал и не знал, что это такое.

Но к концу пятидесятых годов с Микуло что-то произошло. Он вдруг стал читать историка Соловьева, пытаясь найти там ответ на вопрос, почему, условно говоря, недисциплинированные постоянно находятся во вражде с дисциплинированными. Но ответа не находил, потому что в чистом виде ни тех, ни других не встречалось на страницах истории. Да и в отделе КБ к семидесятым годам стали появляться сотрудники, подобно Фелицыну, которые признавали и способности, и талант, и дисциплину. Только какую-то странную дисциплину, якобы идущую изнутри.

Этой схоластики Микуло не понимал и не принимал. Что такое дисциплина? - размышлял Микуло, это пирамида; наверху начальник, у него подчиненные внизу по степени важности. Вот и все! О чем тут говорить! Поэтому и в Москву он стремился и попал в нее, потому что в Москве - вершина пирамиды. Какую-нибудь другую фигуру - например, круг или круглый стол совета отдела - Микуло представить не мог. Пока Микуло в этом разбирался, молодые "плели" за спиной "сети заговора", о чем регулярно информировал Сергей Михайлович Ипполитов, потертый человек с редкими желтыми волосами, с кроличьим лицом, с левой рукой-протезом в черной перчатке, ходивший на службу, как в тридцатые годы, в сатиновых широких нарукавниках, сборенных резинками. Прикажи Ипполитову два возводить в тринадцатую степень в первом квартале, Ипполитов ежедневно старательно, положи протез черной перчаткой на край бумаги, чтобы не ерзала по столу, в течение всех восьми рабочих часов будет возводить, записывая свои размышления: "Далее следует сказать, что алгоритмический анализ суммы квадратов... Вникая глубже, можно заключить... В результате альфа единицы получит выражение..." Уж чем-чем, а научной тавтологией Ипполитов владел в совершенстве! К концу квартала Ипполитов будет скалить кроличьи зубы, смотреть красными от усталости глазами на машинистку, которая не успеет перестучать его пухлый труд. Правда, дней шесть в месяц Ипполитов отходил от науки, он священнодействовал над разграфленной ведомостью уплаты партийных взносов.

Он ставил перед собой чернильницу-непроливашку, вооружался ручкой-вставкой с металлическим трехкопеечным пером и каллиграфически вписывал фамилии, суммы заработной платы и размер взноса плательщика. Перед Микуло он вставал почтительно, слегка склоняя голову, с едва прикрытой желтыми волосами лысиной.

...Обычно после обеда Микуло не выпускал семью из-за стола и начинал что-нибудь бесконечно долго рассказывать или занудно читать вслух, отбрасывая косую челку со лба. Все разговоры Микуло сводились к давно известному, к набору банальностей, вычитанных из газет и справочников. Но это известное он подавал с таким видом, как будто без него об этом никто не знал и никогда не узнает. Когда он говорил, то круглое лицо его делалось жестким, глаза поедали собеседника, а слова вылетали с такой поспешностью, как будто Федор Григорьевич опасался, что не успеет договорить и его перебьют. Эта нервическая манера говорить раздражала собеседников, и они хотели поскорее отделаться от Федора Григорьевича, а он это воспринимал как незнание собеседником проблемы, как недалекость и просто неумение мыслить. Когда он начинал торопливо и властно говорить, все затихали, чувствуя неловкость, и опускали глаза. А Федор Григорьевич говорил, что нужно работать и что трудом жив человек, что Москва находится севернее Рима, поэтому в Москве холоднее, чем в Риме, что птицы потому летают, что есть воздух, а рыбы плавают потому, что у них жабры и пузырь.

Затем Федор Григорьевич открывал заложенную страницу журнала "Наука и жизнь" и читал, торопливо и громко, сглатывая окончания слов, отмеченное заранее. Все должны были внимательно слушать. Федор Григорьевич солировал, приходил в азарт и очень бывал недоволен, если кто-либо его перебивал. На сей раз его перебил Фелицын, извлекая из портфеля отдельные труды.

Вопреки указанию Микуло, Фелицын в одной из разработок пошел иным путем. Шелестя страницами, обнаружив отступление от задуманного, Микуло грозно спросил:

- Это что еще за самодеятельность?! Фелицын едва заметно покраснел от тона начальника, но принялся подробно объяснять ход своих рассуждений. Только после въедливой проверки Микуло

улыбнулся и задорно произнес, обращаясь к Татьяне Евграфовне, которая в этот момент входила на террасу с секатором и букетом белых, резко пахнущих флоксов:

- А я что говорил! Талантливый, черт подери, Игорь человек! - И толстым фломастером перечеркнул фелицынский расчет.

Фелицына от ярости бросило в дрожь, а Федор Григорьевич внятно, чеканя слова, говорил:

- Твой расчет ясен, лаконичен. Но я уже сам сделал такой вариант.

Микуло соврал и не дрогнул.

- Это вам, Игорь Дмитрич! - сказала Татьяна Евграфовна, протягивая букет Фелицыну.

Татьяна Евграфовна всю жизнь вела домашнее хозяйство и внимание ее сосредоточивалось на устройстве домашнего очага, на ублажении капризов Федора Григорьевича и Левы.

Лева в это время мыл новые "Жигули" под навесом у ворот. Он смачивал тряпку в ведре и резко водил ею по капоту машины. То, что Федор Григорьевич денно и ночью зарабатывал своими постоянными приработками как консультант, как член комиссии, как автор книг, брошюр и другой халтуры. Лева с лихвой перекрывал без высшего образования на техцентре.

- Сильный ест вкусного! - говорил Лева и надрывно смеялся.

Лева рассуждал, что в наше время можно учиться лишь в одном институте - в Плехановском, а работать - только в сфере обслуживания.

Но, что странно, в этих рассуждениях Фелицын не замечал цинизма, потому что Лева говорил это беззлобно, как взрослый ребенок.

Казалось еще, что Фелицын из жалости к себе не смеется над окружающими.

Лева был высок, приятен физически, нравился женщинам, смотрел на жизнь вполне реалистически, не уносясь в мечтах в розовые выси.

Руки у него были по-настоящему золотые. Автомобили он любил, как ребенок любит свои игрушки. Заказчиков у него было столько, что он иногда не вылезал с работы, ночуя в машинах.

- Что-то света нет! - сказала Татьяна Евграфовна, включив плитку, чтобы согреть чайник. Газом на даче она пользовалась экономно.

Федор Григорьевич, проговорив: “Щоб твои вороги мовчали!”, нашел в нужном месте черную отверточку-пробник с лампочкой в рукоятке. Щиток счетчика был открыт. Каждый контакт был “жив” - лампочка желто вспыхивала. Тем не менее света не было.

- Що то вже, як у москаля в голови дуля! - вскричал Федор Григорьевич, не понимая в чем дело.

- Энергетики! - шутливо сказал Лева, затягивая ремень на новых джинсах (“фирме”, как говорил он). Волосы Левы были влажны и аккуратно зачесаны набок. - Пробник ничего не покажет! Нужна контролька, потому что “ноль” пропавший все равно будет на пробник давать свечение...

Лева сбегал в мастерскую, где каждый инструмент, каждая заклепка знали свое место, расписанное в амбарной книге Федором Григорьевичем, нашел патрон с лампочкой и двумя концами провода, и доказал, что “ноль” не “фурычит”...

Опередив Леву, Фелицын по лестнице забрался к вводной коробке, зачистил контакты, после чего раздался радостный крик из дома Татьяны Евграфовны:

- Есть свет!

XII

Если прислушаться к внутренним размышлениям Фелицына, то покажется, что все его подавляют, помыкают им, требуют чего-то. Ему и жена Ольга кажется деспотичной, властной особой. И тогда, в 1958 году, шагая по китайской стене в дом 13, разве знал Фелицын, что Ольга, с лисьим лицом, зелеными глазами, коротко стриженная, маленькая, плотная, станет его женой? Та Ольга, которая в то время казалась двенадцатилетнему Фелицыну недостижимо прекрасной взрослой девушкой.

Фелицыну почему-то нравились женщины, которые были старше него. В них он подозревал если не ум, то во всяком случае некую жизненную мудрость.

Теперь же он опустил руки, разочаровавшись и в этом. Он видел перед собой обыкновенную вздорную женщину, с обыкновен-

ными потребностями, но не проклинал тот день, когда женился на ней, потому что в Ольге что-то все-таки было.

Фелицын и Ольга часто ссорились, говорили друг другу колкости пообиднее, чтобы за живое задеть. Первое время Фелицына задевало, когда его кляли за маленькую зарплату, за жизненную пассивность, за угрюмость, за то, что он не желает входить в круг знакомств Микуло.

Фелицын сначала пытался философствовать, смягчать обстановку примерно такими монологами:

- Великая Россия! Жалок твой удел, если все старания свелись к тому, что мы на крохотных кухнях с пеной у рта проклинаяем друг друга за маленькую зарплату, мелко мстим друг другу, ненавидим только за то, что мы есть, что мы еще живем! Мы перечеркнули все мечты предков о счастливых временах, далеких временах. Вот они, эти счастливые времена, мы живем в них! И что же мы видим? Мы видим тупоумных Микуло, для которых не было истории, мы видим страдания домохозяйек по поводу вареной колбасы! Зачем жили великие поэты и философы, если все их труды идут прахом перед животной стихией двуногих, не желающих ни мыслить, ни совершенствоваться, ни становиться свободными, называющих интеллигенцию пеной...

- Замолчи!

- Вот ответ современной женщины...

Один раз после выяснения отношений Фелицын даже ушел, не возвращался месяца два, думая, что с Наной ему будет лучше. С Наной он и до встречи с Ольгой встречался. Но тоска овладевала им у Наны.

В ее комнате все было вылизано, все сверкало. И это почему-то раздражало Фелицына. В застекленном книжном шкафу сучали толстые, не нужные Нане альбомы по искусству в гляцевых переплетах и все 200 томов пестрой БВЛ. Не останавливаясь кружились пластинки на импортном проигрывателе. На полочках, тумбочках - вазочки, фигурки, шкатулки, безделушки и бесчисленные светильники в виде бра, настольных ламп, ночников... И все это - не по необходимости, а для какого-то показного уюта, будучности. Уходя на работу, Нана поливала комнату духами.

Нана успела побывать замужем и потеряла веру в мужчин. В ней была какая-то апатия к жизни, хотя она по-прежнему выглядела привлекательно и нравилась мужчинам. Вся она была изне-

женная, подолгу просиживала у зеркала, любясь своим красивым лицом.

Любовь для нее была не страстью, а какой-то обязанностью. Она послушно подходила к Фелицыну, потягивалась, как кошка, и ждала его ласк.

Утром она спрашивала, что он хочет поесть, педантично исполняла требуемое, садилась возле Фелицына и смотрела, как он завтракает.

Она почти что ничего не говорила, а если говорила, то каким-то убитым голосом, от которого становилось не по себе. Восковая роза.

Фелицын задавал себе вопрос: “А умна ли она?” - и тут же вспоминал энергичную, уверенную в себе Ольгу, которая знала, что нужно делать, куда идти, приказывала, распоряжалась.

И Фелицын понял, что он такой человек, которому нужна сильная женщина.

Понял и пожалел себя.

Когда он уходил, Нана сидела у открытой двери балкона, нежная кожа лица блестела от крема, одета Нана была в голубой пеньюар, и большие глаза ее были такими же голубыми и наивными, как этот пеньюар.

Она смотрела на Фелицына со щемящей тоской и не могла сосредоточиться ни на одной понятной мысли. Лишь слабо мелькала догадка, что красота, которой наделила ее природа, обманчива, что к этой красоте нужно еще что-то добавить, а что - она не знала.

Ей было безразлично, что будет завтра.

Когда Фелицын вернулся к Ольге, она спросила:

- Справку принес?

- Какую? - удивился он.

- От врача! - взвизгнула Ольга и неделю не подпускала его к себе.

Но с годами он привык к ее властности и все меньше и меньше реагировал на провокационные выпады...

Будучи студентом 4 курса МЭИ, он как-то с сестрой Верой, у которой уже росла дочка, поехал к Ольге на день рождения. У Ольги была отдельная однокомнатная квартира в Черемушках и плотный, упитанный пятилетний Сережа, который не выговаривал сразу несколько букв, так что разобрать, что он говорил, было невозможно.

Гости шумели, прыгали в поту под магнитофон, пока не испарились все до одного. Даже сестра Вера исчезла, не попрощавшись. Фелицын выпил больше, чем требовалось, и комната Ольга оказалась ему раем. Он даже не помнил, с каким выражением лица Ольга ложилась рядом с ним.

Он лишь запомнил, что у нее ужасно нежная кожа. Утром побаливала голова. На столе записка: "Отведи, пож., Сережу в сад. Поешь. Помой посуду. Приходи в 6, а то у меня нет ключа. Целую - Оля".

- Так-так, - пробормотал Фелицын и остался жить. У родителей хоть и была теперь двухкомнатная квартира, но Константин, беспечальный юноша, вырос - и стало тесно. У Кости не было комплекса подавленности, как у Фелицына, и он спокойно распозлся по всей комнате. Гитара, диски - в общем, полный набор молодого человека нашего времени. Фелицын старался приходить домой поздно, чтобы сразу лечь спать, а утром - в институт.

Так он столкнулся с проблемой своего угла. И вот - Ольга. Бывший муж ее, рыжий, веснушчатый капитан войск связи, был, по-видимому, наделен интеллектом барабанщика, в чем и преуспел. Он солировал на ударных в Доме офицеров, куда после работы в своей конторе бегал по вечерам. У него была тяжелая челюсть и глуповатый взгляд, что, впрочем, передалось сыну Сереже. Ольга рассказывала, что бывший муж вставал ночью и гремел кастрюлей - ел прямо из нее холодный суп. Он ощущал постоянный голод.

Если Фелицын лежал, Ольга кричала, чего он лежит, если он сидел за столом со своими обоснованиями ненужности собственного КБ, она кричала, что он бездарен, потому что другие уже кандидаты, доктора или директора, если ходил - говорила "сядь", если сидел - "встань", если самостоятельно шел в магазин - "не ходи", если не хотел идти - "сходи"! И так далее.

Сама же Ольга часто любила садиться в кресло, поджав под себя ноги в прозрачных чулках, маленькие ножки, которые когда-то страстно целовал Фелицын, а теперь смотрел равнодушно, так вот, Ольга садилась в кресло, прикрывала голубые от теней веки и сидела так часа три-четыре, в одной позе.

"Эклога вторая", - говорил тихо Фелицын, неизвестно почему называя эту эйфорию жены эклогой.

Ольга сидела в кресле, и неопределенные картины витали перед ее взором. Она любила мечтать и думала, что все самое лучшее в жизни еще впереди.

Входил зачумленный от голода Сережа, двадцатидвухлетний рослый, полный, стодесятикилограммовый ребенок, с отвисшей челюстью и постоянно открытым ртом, нечесаный, небритый, усталый и подпрыгивающий. У Сережи было плоскостопие, и он ходил на пальцах, отчего они так развились вширь, что сорок шестой размер едва подходил и обувь на нем сгорала за месяц. Сережа, ясно, во всем этом не был виноват. Наследственность. А в ней - некая природная заторможенность, нечувствительность.

Он, сглатывая слюну, шел на кухню, и в эти минуты на него было боязно смотреть. Фелицын сидел в маленькой комнате и сжимал виски руками. На кухню после Сережи можно было не выходить. Он съедал все, что там было, бросал, не помыв, вилки-ложки, входил в большую комнату, надевал огромные, как чашки, наушники, включал "систему", единственный за все время "разлуки" подарок папаши-капитана, ложился на диван и лежал так до полуночи, а то и далее, одновременно лениво листая институтские учебники.

Ни одного упрека в адрес сына Ольга не отпускала. Ей он казался, конечно, самым умным на свете. Менее умным был сын от Фелицына - Павел. Павел был ловким, но замкнутым, нервным, пугливым мальчиком. Аппетита у него никогда не было, и он часто говорил, отодвигая тарелку: "Я такое не ем". Он ютился где-нибудь в углу и играл. Играл он преимущественно в то, что в этот день видел. Были с папой на футболе, Павел играл в футбол пластмассовыми зверюшками. Держа зверюшку в руке, он гонял шарик, передавал другой зверюшке. Был в театре - играл в театр... Заходил разговор о папиной работе, расспрашивал об электричестве и играл в Парижскую выставку 1891 года, где впервые демонстрировалась электрическая лампочка. Электрический свет пришел в мир из России. "Русский свет" - так называли иностранные газеты первые "электрические свечи" Яблочкова, освещавшие лучшие гостиницы, улицы и парки крупнейших городов Европы, Павел прилеплял вертикально к полу пластилином карандаши, протягивал тонкую медную проволоку, присоединял к батарейке и подвешивал на "столбы" лампочки от карманного фонарика. Под "столбами" расставлял экспонаты: автомобили, сборные пласт-

массовые домики, Эйфелеву башню из “Конструктора”... Павел выключал свет в комнате, и... Парижская выставка начинала работать. Посетители - оловянные солдатики - осматривали экспозицию...

Он учился уже в четвертом классе, но мало читал. Любил смотреть телевизор и выпускать собственные газеты. У него были: “Звериная жизнь”, “Лесные ведомости”, “Бамбошкины новости” и др. Писал он газеты с орфографическими ошибками, иногда смешно перевирая слова. Но все у него в газетах было: передовицы, хроника, культура, спорт, “из жизни животных”. Еще в первом классе он написал в “Звериной жизни” - “гуминет”, что означало “бегемот”...

Ольга воспринимала игру ребенка всерьез, била его по затылку за ошибки и кричала так громко, что у нее вздувались жилы на лбу и садился голос. Павел с испуганными, бегающими глазами сжимался и уходил в маленькую комнату к папе.

Папа в отчаянье за неуравновешенность жены гладил сына по голове и говорил: “Не показывай ты ей свои газеты, не зли ее, если она не понимает”. И через силу, для педагогики, добавлял: “Она неплохая женщина, но вздорная, и с этим нужно мириться”.

По утрам Сережа кашлял - громко, надрывно, до тошноты, хрипло, как старик, пока не выпивал чаю. У него был бронхит. Но он курил “Беломор”.

Съев еду и накурив, Сережа покидал кухню. Ольга заглядывала в маленькую комнату, выкрикивала:

- Давай-ка, Сыч, обед готовить! - В минуты раздражения она называла мужа Сычом. - Я не знаю, что делать с мясом.

- Съешь его сырым, - огрызался Фелицын беззлобно.

- Не остри. Подмел бы пол!

- Как иногда не хочется жить!

- Правда?

- А где-то жизнь прекрасна...

- Помолчи!

- Как жизнь была прекрасна двести лет назад...

- Неужели? - Ольга стояла в дверях и притопывала ногой.

- Да. Разве ты не знала? - удивленно смотрел на нее Фелицын.

- Нет.

- Мы живем, двигаясь в прошлое.

- Ого! - На лице Ольги появлялась улыбка.

- Куликовской битвы еще не было.
- Как мясо приготовить? - уходила от темы Ольга.
- В прошлом все мы встретимся. Есть тогда не будем.
- Тебе лишь бы ничего не делать!
- Хотелось бы делать то, что любишь.
- А мне не хотелось бы?
- Твои фиалки завяли, - сказал Фелицын, указывая на цветы на подоконнике.

- Не лезь не в свое дело. Их редко нужно поливать.
- Зачем люди едят?
- Я понимаю, что тебе не хочется готовить...
- В молодые годы много света и вороная ночь светла...
- Иди готовь!
- Иногда мне кажется, что люди созданы только для обмена веществ. Богу потребовалось зачем-то переваривать эти вещества, и он придумал человека. Поселил в одной квартире всех людей, и они скандалят в этой квартире - Земле. Поедят, попьют - и в могилу. Другим жилплощадь уступают. Почему, зачем? Через сто лет никого из нас не будет. Черви земляные съедят нас. Что от нас останется? Посочувствуют ли нам потомки? Мельтешим, спорим, отравляем друг другу жизнь, а она так мгновенна - семьдесят оборотов вокруг солнца, а то и того меньше, - и в яму! Мы все усовершенствуем, заводы строим, станции, а результат для всех один и тот же - смерть! И никто из живущих никогда серьезно о ней не говорит, как будто это его не касается! Стихия правит миром. Почему я родился? Ведь могло же меня не быть! Не было бы, а станции работали. Без меня вращались бы генераторы... Ты не задумывалась об этом?

- О чем?
- Ну о том, что без тебя бы все было теперь, как и с тобой. То есть мы абсолютно не меняем картину мира и не можем поменять...

- Заткнись! Иди мясо готовь! Это в воскресенье. В будни указания поступали по телефону:

- Свари кальмаров. В морозилке! - И бряк трубкой. Каждый день записки: "Купи, пож., хлеба, масла и сахару".

Откуда в ней этот армейски-казарменный метод управления? Родилась Ольга в 1941 году. Но и на нее время успело наложить отпечаток. Как все хотят друг другом командовать, отдавать рас-

поряжения, просто не позволять человеку побыть самим собою. Друг из друга чего-то лепят, стараются.

- Что ты все тухнешь дома! - восклицает Ольга и выталкивает Фелицына на лыжах.

Ему хочется поработать, посидеть одному, но он подчиняется, идет на лыжах. Где-то у одинокой заснеженной ели он останавливается, ему что-то приходит в голову, он говорит:

- Проходи, я здесь постою. - Он снимает очки. Карие глаза с расширенными зрачками кажутся огромными.

И стоит, и смотрит на размытый заснеженный ельник, на белое туманное поле за ним, на двоящиеся башенные краны новостройки, и ему кажется, что он еще не жил на свете, что за него кто-то другой жил, а он только что съехал с горы, соединенной с небом, и смотрит, любуется увиденным.

Он догоняет Ольгу, раскрасневшуюся, в заиндевевшей вязаной шапочке, в плотно облегающем фигуру лыжном костюме, и ему хочется почему-то поцеловать ее. Он тянется к ее губам своими губами, но она отворачивается, смеется:

- Что это с тобой?

- Лучше бы ты... э-э-э... промолчала! - говорит он и едет мимо...

Сереза иногда говорит Ольге:

- Сколько мне еще мучиться с вами! Покупай мне квартиру!

Фелицыну делается больно от его наглости. У него никогда бы язык не повернулся сказать такое отцу.

Ольга отвечает:

- Сереза, ты думаешь, нам весело с тобой жить? Ты не приносишь ни копейки, я тебя обуваю, одеваю, кормлю, а тебе все мало! Да такого, как ты, обжору, ни одна жена не вытерпит! Если бы у нас были средства, мы бы себе с Игорем и Павликом купили квартиру, а не тебе!

В этом она права.

Сереза не обижается. Он тоже понимает, что слишком заманулся, но этот Игорь - как он до сих пор называет Фелицына, хотя тот вдвое старше его - надоел до чертиков. И чего он приходит сюда? Жили бы одни. Да и этого Павла бы не было. Уже голос подает, называет Сергея "хриплом"! Мать можно бы было задвинуть в маленькую комнату и балдеть с ребятами под диски. Но тут Сереза вспоминает, что двухкомнатную

квартиру получили лишь благодаря Павлу, благодаря тому, что он родился.

Сереза воспринимал Ольгу как старуху, которой необязателен мужчина.

Ольге было тяжело, как она говорила, кормить троих мужчин. Каждый день она носила полную сумку с продуктами, которых до вечера следующего дня не хватало.

Павел любил оставаться дома один или с папой. Папа не приставал к нему, доверял самостоятельно делать уроки. Павел не чувствовал никакого давления со стороны папы. Папа приходил с работы, кормил сына, садился за письменный стол и принимался за работу...

Днем Микуло барабанил короткими пальцами по толстой ляжке и приказывал, чтобы работа была исполнена к пятнице, и записывал, чтобы не забыть, указание в амбарную книгу, которую таскал всегда с собой в портфеле, дабы кто посторонний не заглянул в нее.

Фелицыну он бросал самый сложный раздел и в то же время самый интересный, так что Фелицын брался, в общем, за работу охотно.

В назначенное время Микуло получал требуемое, тонким голосом бормотал: “Щоб твои вороги мовчали”, - и всовывал раздел в собственную книгу.

Книга должна быть толстой, очень толстой. Ничего маленького Микуло не признавал. В свое время он клокотал от восторга, как вулкан, когда раскрывал перед собой карту страны и твердо перечеркивал карандашом реки в тех местах, где, по мысли Микуло, должны были встать огромные плотины станций. Не оставалось ни одной более или менее крупной реки без ГЭС.

Все ему виделось гигантским. Микуло радовался, когда в старой Москве ломали какой-нибудь очередной дом или, पुще того, церковь...

Микуло и в голову не приходило, что новые масштабы градостроительства с шарахнутым в небо железобетоном можно было применять где-нибудь на пустырях, как в свое время поступил Петр I, а не в Москве, глумясь над ее историей.

Когда переименовывали какую-нибудь столичную улицу, Фелицын возмущался, а Микуло, посмеиваясь, восхищенно толковал о правильно снесенной старой библиотеке на Тургеневской пло-

щади, о Новокировском проспекте, недалеко от которого он сам жил.

Угловатые мускулистые фигуры с отбойными молотками приводили Микуло в трепет, когда он их созерцал на тяжеловесном здании против тыла ЦСУ.

Но с некоторых пор Микуло стал замечать, что какие-то силы стали мешать осуществлению грандиозных планов реконструкции столицы, что появились какие-то общества охраны памятников, что какие-то юнцы в выходные дни ездят по монастырям и церквям Москвы на реставрационные работы, что начатые проспекты не дошли до Кремля, что Василий Блаженный так и стоит, хотя его давно должны были взорвать... И во всем Микуло видел происки таких типов, как Фелицын, этой пены, этих болтунов. Они, они ноют о старой Москве, о традициях, о культуре!

В 1944 году Микуло был впервые поражен - поражен уступке ленинградцам, когда по их требованию были воскрешены названия: Невский проспект, Марсово поле...

- Так ради чего все затевалось! - восклицал Микуло. - Щоб за мое ж жито, та мене и побито!

Фелицын удивлялся однолинейности мышления этого начальника, полагающего, что за жизнь одного поколения можно уничтожить тысячелетнюю культуру...

Пока Фелицын работал, Павел играл. Потом они занимались. И уроки с папой делались быстро и весело, и читалось хорошо, потому что сначала папа читал, а потом, увлекшись, продолжал Павел.

Ольга поступала иначе. Она сажала Павла и кричала:

- Как ты сидишь!

Уже после этих слов Павлу становилось неинтересно делать уроки, сами собой возникали ошибки. По английскому языку он получил две двойки подряд. Ольга посадила его рядом и заставила читать. Павлу читать не хотелось, потому что в это время шел мультфильм. Папа бы разрешил сначала посмотреть его, а потом сделать английский. Но мама сказала:

- Я буду ломать этот характер!

Фелицын слышал ее режущий крик и зажимал уши. Ему хотелось выбежать в большую комнату, взять Павла за руки и привести к себе, спасти его, но Фелицын сдерживал себя.

- Ты не сломаешь меня! - вдруг услышал Фелицын протест Павла, за чем последовал звонкий подзатыльник и началась возня.

Фелицын не выдержал и вышел из маленькой комнаты. Ольга в ярости, отчего лицо ее еще больше походило на лисье, выкручивала руки Павлу, который, выставив их вперед, оборонялся, чтобы мама не била его по голове. Глаза у Павла были злые, мужские. Фелицын, сдерживая себя по-прежнему, решительно подошел, встал между сцепившимися и как можно спокойнее сказал:

- Связался черт с младенцем! - И кивнул Павлу на маленькую комнату. Тот понимающе взял со стола учебник английского языка и вышел.

Ольга взмахнула ладошкой и вlepила пощечину Фелицыну. С оглушающим визгом вскричала:

- Ты против матери ребенка настраиваешь! Я тебе покажу, бездарь, тряпка! Я тебе покажу, убирайся к своим родичам, тухни с ними в обнимку!

Фелицын и здесь сдержал себя, надел пальто и шапку и вышел на улицу. Он зашел в молочный магазин, купил молока и масла, прогулялся по улице, пока совсем не успокоился.

Фелицын думал о перепадах настроения, о том, что любой человек живет этим настроением, что как не может быть всегда хорошо, точно так не может быть всегда плохо. А что касается счастья, то его просто не существует. Оно - лишь в нашем воображении, и по большей части где-то в прошлом или в будущем, но только не сейчас. Давно-давно, потом-потом!

Вернувшись домой, он увидел мир и покой. Павел сидел возле Ольги на диване, и они смотрели какой-то журнал, кажется "Тайм", с иллюстрациями.

Фелицын счастливо вздохнул и поблагодарил себя за то, что сумел сдержаться. А это значило - еще один седой волос в голове. Фелицын зашел в ванную, посмотрел на себя в зеркало: бледное лицо, усталые глаза под круглыми линзами очков и седые волосы.

Сыч!

Ольга накрыла на стол и подала самодельный пирог. Он был румян и сдобен, с вишневым вареньем. Фелицын пил чай, ел пирог и говорил с Ольгой и Павлом (Сережа куда-то, как всегда вечером, ушел) о том, что ему очень бы хотелось видеть свою семью в мире и согласии.

- Ты прав, - сказала Ольга. - В тебе что-то есть.
- В тебе тоже...
- Пап, давай в шахматы...
- Давай!

XIII

Быстро идут дни. Личная жизнь наполнена всякими заботами - служебными и домашними. Во все вторгается случай и перевертывает события вверх дном. Многое неприятное сегодня через несколько дней становится сносным, прочное - непрочным, легкое - трудным, возможное - невозможным и наоборот. Словом, жизнь ежедневно играет своими радостями и безобразиями, мы с головой погружаемся в то и другое, не зная, что из этого получится.

По случаю возвращения отца Марии Петровны 30 ноября 1939 года из города Н. сформировали стол. Серафим Герасимович Кашкин был в этот раз против роскошеств. Домработница Люся, симпатичная девушка - правда, с несколько длинноватым носом и с большим родимым пятном над верхней губой, - купила в кооперативе маринованных грибов. Затем было несколько селедочек, сделали также салат. Люся его прекрасно делает. Из капусты и колбасы соорудили селянку, кроме того, колбаса была еще нарезана ломтиками. Ужасно скромно! Эту скромность несколько скрасила жаренная в сметане рыба - лещ.

Пятнадцатилетний Владик с интересом наблюдал, как семидесятитрехлетний Петр Арсеньевич, благообразный старик с белым хохолком на голове - новый дедушка, - объедал каждую косточку. Петр Арсеньевич с аппетитом съел две головы леща. Мария Петровна с грустной улыбкой нет-нет да и взглядывала на отца и думала, откуда у него такая страсть к голове - будь то рыба, будь то поросенок (поросенок помнился с детства)?

По радио сообщили, что наши войска перешли финскую границу. Ставили прогнозы, во сколько дней раскатаем белофиннов.

- По словам летчиков, отправлявшихся на фронт, вполне достаточно будет десяти дней! - заявил Владик, любивший выражаться определенно.

Настроение у всех было приподнятое. Владик заметил, что дедушка Петр Арсеньевич несколько раз ел с ножа. Во время пения Марии Петровны он сидел в зеленом будуарном кресле с позолоченными ножками и не переставая тряс левой ногой. Держал он себя просто, как будто и не Петр Арсеньевич. Тонкие губы, но с горбинкой, белый высокий лоб. Петр Арсеньевич выпил, кажется, три стопки шампанского. Кроме этого он попробовал чашечку настоящего кофе.

Петру Арсеньевичу показалось странным, что такой ответственный человек, как Серафим Герасимович, сохранил к нему свое внимание, несмотря на орден и на разные удобства жизни, а ведь некоторым известность и почет кружат голову, и они зазнаются.

Петр Арсеньевич лично над всеми поставил крест, так как чувствовал, что и по возрасту, и по карману не может представлять какого-либо интереса для тех лиц, которые на его глазах быстро продвигаются вперед.

Стряхнув с себя этот груз знакомств, Петр Арсеньевич почувствовал себя свободным, а раньше, в ссылке, старался произвести положительное впечатление, а главное - беспокоился, как кого-либо не задеть и не обидеть. Он как бы разгадал людей - они думают только о себе. Ну и Петр Арсеньевич стал думать о себе.

Здоровье его неважно, но он держится молодцом. Некоторые родственные связи, конечно, до поры до времени надо поддерживать, ибо один в поле не воин.

Вечером сыграл с Владиком и дочьрью в преферанс и выиграл пять рублей.

Двадцать лет Петр Арсеньевич провел в городе Н. и мог о себе сказать, что он жив, - и больше ничего!

А ведь могло бы быть иначе.

Ходил Петр Арсеньевич неуверенно, ноги плохо слушались, поэтому на прогулки и в книжные магазины его сопровождал Владик.

Петр Арсеньевич любил подолгу полоскаться в ванной, радуясь горячей воде, которую вечность не видел. Он тщательно брился, по три раза намыливая щеки, и водил опасной бритвой сначала вниз, "по шерсти", а потом "против шерсти". Смыв под теплой струей пену, он с улыбкой гладил тыльной стороной ладони лоснящиеся щеки, впалые и дряблые.

Владик уже знал любимую скамью дедушки на бульваре. Над этой скамьей нависали ветви липы и всегда была тень. Дедушка медленно, придерживаемый Владиком, опускался на сиденье с видом, будто боялся провалиться. Лицо его было напряжено. Но, прочно сев и откинувшись к белой реечной спинке, дедушка улыбался, надевал пенсне и раскрывал на коленях книгу.

По газонам ходить воспрещалось, но Владик пренебрегал этим. Он задумчиво, сунув руки в карманы, склонялся под каждым кустом, каждым деревом в поисках жуков. Он собирал коллекцию. Для этой цели у него с собой были пустые спичечные коробки. У черной невысокой чугунной ограды бульвара Владик нашел смоляную жужелицу, безбоязненно ухватил жука пальцами и сунул в коробок.

Воробьи стайками перелетали с куста на куст.

Владик оглянулся на скамейку, где сидел дедушка, и увидел возле него хромого, с палкой, вспотевшего человека в соломенной шляпе. Из бумажного кулька в авоське торчал огромный скользкий рыбий хвост. Владик подошел.

Человек снял шляпу и склонил седую с залысынами голову.

- Ваше высокопревосходительство, Петр Арсеньевич, неужто не помните меня?!

Дедушка снял пенсне и держал его двумя пальцами перед собой, как прозрачную бабочку. В глазах Петра Арсеньевича застыло выражение чего-то далекого, призрачного. Наконец он оживился и воскликнул негромко:

- Ах ты Боже мой, Никифор!

Тот расплылся в улыбке и часто заморгал глазами.

- Точно так-с, ваше высокопревосходительство...

- Не конфузьясь, - сказал дедушка и махнул рукой. - Присядь подле меня, Никифор... Садись...

Никифор мял в руке шляпу, косился на рыбий хвост, шаркал ногами в летних сандалиях и выглядел так, как будто первый раз, как младенец, поставлен на ноги, чтобы сделать первый шаг. Мало-помалу придя в себя, он опустился на скамью, вытянув хромую ногу.

- Чем ты жив? - деликатно спросил князь. - Где служишь?

Никифор не отводил взгляда от князя, до сих пор не веря, что тот сидит рядом с ним.

- Жив помаленьку, ваше высокопревосходительство... Вот в ногу на гражданской ранило...

- Да не называй меня так! Что ты, Никифор, Бог с тобой! Зови меня Петром Арсеньевичем, и довольно! - Он взглянул на Владика, который от этого диалога притих, как будто смотрел в театре, пьесу из дворянской жизни. - Кстати, прошу любить и жаловать, - кивнул князь на Владика, - мой внук Владилен Серафимович, школьник.

Никифор привстал и поклонился Владиду. Тот смущенно опустил глаза на этикетку спичечного коробка. За спиной проезжали, сигналив, машины. Прогромыхал трамвай-сцепка.

- Где ж ты служишь? - повторил свой вопрос князь.

- В банях, ваше высоко... Петр Арсеньевич... В Сандунах. Бельишком заведую... Ну, кому простыню, кому полотенчик...

- А что ж гостиница?

- Дак "Славянский базар" давно не гостиница, Петр Арсеньевич! Жилой дом. Там я живу с женой и дочерью... Помните тот корпус, что окнами на китайскую стену выходил, где вас однажды с батюшкой вашим поселили, а вы недовольны-с были?

- Что-то, кажется, припоминаю...

- Ну так вот, там я живу. На третьем этаже... Тесно, но что делать... В Москве с продуктами благополучно, - он кивнул на хвост рыбы-судака. - В деревне туговато...

- Но, в конце концов, надо полагать, дело наладится.

- Точно так-с, ваше высокопревосходительство...

- Никифор! - одернул князь.

- Виноват-с, Петр Арсеньич... Привычка... Каждый год по три, а то и чаще, разов принимал вас... Как же! - Никифор улыбнулся, что-то вспомнив, и на его тучном лице совсем исчезли в этой улыбке глаза. - Старшая дочь с мужем получила комнату на Калужской улице. Муж у нее военный, в академии служит. Комната им досталась с такими мучениями... Даже говорить об этом неприятно, эх!

- Что же делать, Никифор, - сказал князь, вздохнув. - Терпением жив человек. Как-нибудь все уладится.

Петр Арсеньевич опустил глаза в книгу и надел пенсне. Никифор осторожно, чтобы не помешать князю, поднялся и стоял со шляпой в руке, пока Петр Арсеньевич не поднял на него глаз.

- Разрешите идти?

- Да что ж ты меня спрашиваешь! Иди, разумеется, - сказал князь и потом добавил: - Кланяйся супруге и дочери... А супруга работает?

- Точно так-с... Там же, в "Славянском базаре", в столовой посуду моет...

- Ну ступай...

- Доброго здоровья вам, Петр Арсеньевич! - искренне воскликнул тот и, прихватив свою рыбу, попятился, отошел метров десять, затем нерешительно надел шляпу, покачал головой и пошел, опираясь на палку, в глубь аллеи.

Владик, все это время молчавший, спросил:

- Что он все кланялся? Даже неудобно как-то...

- Такой человек. Привык. - Петр Арсеньевич отвлекся от книги. - Коридорный из "Славянского базара". По делам мне неоднократно приходилось бывать в Москве. Любым другим гостиницам я предпочитал "Славянский базар". Спокойная была гостиница. По вечерам можно было работать. Никифор был внимателен ко мне. По первому требованию являлся, с легкостью и быстротой выполнял любое поручение. Я не любил спускаться в ресторан. Ужинал в номере. Никифор по моему желанию приносил требуемое и сервировал стол. Меньше целкового я ему никогда не давал...

Петр Арсеньевич взглянул в даль бульвара, где скрывалась фигурка Никифора, и сказал:

- В Москве я бывал еще в детстве, со своим отцом. Я помню, что на Спасских воротах в Кремле висела какая-то икона и проходящие должны были снимать шапку. Идем мы в Спасские ворота, а отец забыл шапку снять. Два каких-то молодца подлетают, смотрят на него и говорят: "Мы тебе, старому черту, шапку вместе с головой сорвем..."

Петр Арсеньевич надел пенсне и вновь углубился в книгу.

К чему он это рассказал, Владик не понял.

- Он старенький тогда был? - спросил Владик.

- Отец мой?.. В годах... Родился Арсений Александрович в 1831 году. Любил жить и философствовать в деревне, в Введенском. Помню дом наш на взгорке, липовую аллею, колодец с журавлем, старый вяз у флигеля... О даровании хлеба насущного на худых землях крестьяне в умилении сердца и преклонив колена просили, когда на полях показывалась первая зелень всходов. И я

видел, как луговские крестьяне размашисто, во всю трудовую грудь, накладывали крестные знамена и отвешивали поясные поклоны.

Звонко, с восторгом разливались мужичьи и бабьи голоса, поющие молебен. Но в то же время кто мог поручиться за то, что не вырвались бы толпой бойкие бабы, не сбили бы священника с ног и не начали бы катать его по зеленым, а сами кувыркаться рядом - пожалуй, даже и с приговором: "Нивка, нивка, отдай твой силку, пусть уродится долог колос, как у нашего батюшки попа волос!" Арсений Александрович шел по обочине. Вдали, на дороге, показался бегущий навстречу человек, размахивая руками, перепрыгивая лужи, оскальзываясь на глине, но не падая, быстро приближаясь к Арсению Александровичу. Человек этот был без шапки, и по свободной от волос голове, по торчащим в стороны усам Арсений Александрович признал управляющего именем Цвея, немца.

Подбежав, тот остановился в дорожной жиже. Овчинный тулупчик его, забрызганный грязью, был нараспашку, черный шарф свисал до самых колен, на лбу выступили крупные капельки пота. Сдерживая дыхание, Цвей выпалил, что Арсения Александровича требуют, приехали издалека, по специальному делу. Выслушав сбивчивую корявую речь запыхавшегося немца, Арсений Александрович быстрым шагом направился к дому, не разбирая дороги, разбрызгивая сапогами лужи. Цвей едва поспевал за ним, двигаясь вприпрыжку.

Как оказалось, в Введенское прибыл фельдъегерь и, ничего не объясняя, предложил следовать.

Арсений Александрович, изумленный, но не потерявший равновесия духа, собрался, надел городское платье - черный сюртук, черную же под него рубашку-косоворотку, коричневые брюки, фетровую шляпу, хотя еще было прохладно, и мягкие кожаные сапоги.

Успокоил жену Веру Петровну, попрощался с Бог весть откуда узнавшими об отъезде мужиками.

Те, почувствовав что-то неладное, сняв шапки, низко кланялись Арсению Александровичу, приговаривая: "Мы уж того, лучше с тобой, барин, вернемся. На что нам вольница-то..."

Арсений Александрович с сожалением думал о несознательно-сти мужиков, которую нужно искоренять.

И, садясь в фельдъегерскую карету, сказал им тихим, но ровным и уверенным голосом, чтобы они, в конце концов, перестали кланяться.

Арсений Александрович сел в угол просторной четырехместной кареты, вытянул ноги к переднему месту. Карета тронулась. Вера Петровна, поджав губы и побледнев, помахивала ему белым платочком. Мужики топтались на месте, не решаясь разойтись.

Фельдъегерь - глазастый человек с рыжей щеткой усов, беспрерывно цыкающий сквозь зуб, - велел гнать. Он всю дорогу спал, но даже во сне не забывал прицыкнуть зубом...

Ехали долго. Вот уже приблизился северный город, а Арсений Александрович все сидел в своем углу и, посматривая в окно, прикидывал в уме, зачем он понадобился. Хотя была середина апреля, казалось, весны в этом северном краю не будет: стояли морозы, завывали волками ветра. Но Арсений Александрович не обращал внимания на холод, хотя думы сковывались в летаргическом просторе равнинной местности.

Холодило не тело, а душу, тучами ползли невеселые мысли, скребло на сердце. Бывает так, что будто бы бело вокруг, но на деле - серо, даже пепельно - ни просвета, ни клочка голубенького: небо словно потолок, как будто разостлали имперскую шинель на все это неизмеримое пространство. И деревьев не видно - марево сгущающееся, погружающееся в ночь, и нет и не будет лета, а если и будет, то мелькнет зеленым видением, только откроешь глаза, ан нет - пожалуйста в сани да с горки прокатиться. На все стороны трещит, трезвонит ледяной улей и пахнет погребом. Свищет ветер, свищет и уняться не может...

В северном городе река вскрылась гораздо позднее обычного. Весь март тянули холодные ветры с моря, загоняя даже привычных к непогоде горожан в теплые, натопленные помещения.

В глубине дворца в одной из комнат сидел за бумагами государь император Александр Николаевич. Изредка он поднимал глаза на окно и задумывался. В припадке меланхолии он напоминал эпизоды своего детства. А оно, как известно, протекало при малоблагоприятной обстановке.

Одним из первых сознательных впечатлений была тревога 14 декабря, когда Николай Павлович вынес его на руках к солдатам, окружившим дворец.

Подрастая, он слышал вокруг себя толки об опасном, но быстро подавленном восстании.

“В настоящем же главное заключается в том, - думал Александр II, - чтобы ближе сойтись с народом, лучше узнать его стремления и требования, заручиться его доверием, ближе подойти к нему и тогда повести дело реформ. Ведь общественный застой ведет к недовольству, а то и к волнениям”. Вот и третьего дня он прочитал донесение, которое принес Ланской, о крестьянских волнениях в уезде, где находилось Введенское.

Нужно заметить, что Александр Николаевич отличался тонкостью натуры и чувствительностью. Едва ли будет ошибкой предположить, что пожелания, которыми Василий Андреевич Жуковский напутствовал его при рождении, не прошли бесследно. О них постоянно должно было ему напоминать общение с его наставником.

Во всяком случае, одну черту характера - чувствительность - Жуковский, несомненно, передал своему питомцу. Даже в счастливые минуты замечались в нем следы грусти.

Министр внутренних дел Ланской, назначенный им вместо Бибикова, однажды не на шутку рассердил его заявлением, что государь доверил ему ненарушимо охранять права, венценосными предками дарованные дворянству.

После этого действительно трудно говорилось Александру II перед дворянством о существующем порядке владения душами, который не может оставаться неизменным.

Помещики забеспокоились: что бы эта речь значила?

А Арсений Александрович воспринял высказывание монарха вполне спокойно, полагая, что, пока каждый помещик не даст вольной своим крестьянам, дело не пойдет. Арсений Александрович желал что-нибудь предпринять для своих крестьян. Он по просьбе уже вольноотпущенных продал им землю по сорок рублей за десятину. Мужики не знали, как и благодарить своего барина.

По округе пошли толки. В некоторых местах крестьяне заволновались, собирались миром и шли к помещикам просить вольную с землей.

Привезенный фельдъегерем Арсений Александрович прохаживался в нижней приемной дворца, путался в догадках и ожидал, когда его пригласят.

Блестящий штучный пол поскрипывал под мягкими сапогами Арсения Александровича. Отворилась дверь, и появился скороход, предложивший Арсению Александровичу идти. Он увлек князя, и с ним то мчался вверх по мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой, так что Арсений Александрович едва успевал за красной ливрейной спиной и за лоснящимися синими чулками, то неся по длинным коридорам, резвым жестом указывая дальнейшую дорогу.

Преодолев анфилады комнат, они оказались в верхней зале, обитой зеленым шелком, с тяжелыми, в тон обивке, портьерами на окнах и дверях.

Дверей было несколько, в какую идти, Арсений Александрович не знал.

Скороход куда-то исчез.

Государю доложили, что князь Арсений Александрович доставлен. Император подошел к столу, взял бумагу и еще раз пробежал глазами строчки, в которых говорилось, что его, вероятно, вводят в заблуждение относительно любви народа к самодержавию, что, встречая государя, народ бежит за ним с криками “ура!”, но это не выражение преданности ему, а скорее толпа любопытных. Чаще же люди, которых он принимает за выразителей народной любви, не что иное, как подстроенная толпа холуев, состоящая из переодетых агентов сыскной полиции...

Император с улыбкой положил бумагу на стол. Все это ему хорошо было известно.

Когда Арсения Александровича провели в кабинет, Александр Николаевич стоял у стола в задумчивости, продолжая мысленно перебирать аргументы в пользу сближения с народом.

Арсений Александрович остановился в дверях.

- Прошу! - Александр II указал на кресло возле стола.

Арсений Александрович двинулся через длинный кабинет, но без некоторого волнения подошел к креслу, но остался стоять. Александр Николаевич поглаживал вьющиеся усы, поглядывая усталыми глазами на гостя. На зеленом мундире государя, возле желтой гербовой пуговицы, Арсений Александрович приметил белую ниточку, совсем паутинку, которая, быть может, парила до этого в кабинете и могла вполне произвольно опуститься на любой предмет или на черный сюртук вошедшего князя, на котором была бы более заметно, но не

опустилась на него, а избрала себе место на зеленой груди императора.

- Я много слышал о вас, - сказал император. - Знаю, что вы пишете. Но правильно говорится, что люди обыкновенно лучше убеждаются теми доводами, которые они сами отыскивали, чем теми, которые пришли на ум другим. О чем же, смею спросить, вы пишете?

- Трудно сразу ответить, - многозначительно, потупив взор, ответил Арсений Александрович.

- А вы попробуйте... Вы же философствуете. О чем же, позвольте узнать?- Император прошел кругом стола и опустился в кресло против стоящего Арсения Александровича.

Арсений Александрович хотел чистосердечно сказать, что размышляет о непрерывности жизни, о молчаливом безграничном потоке человеческого бытия, в котором каждый отдельный человек всего лишь капля, о том, что, ступивший в жизнь, он призван всколыхнуть эту молчаливую реку, и не только он, но каждый вырванный из небытия так или иначе нарушает молчание этой реки, чтобы затем вновь погрузиться в ее мощные, нескончаемые, молчаливые воды.

Но Арсений Александрович не сказал об этом. Не потому, что не мог говорить о молчаливом потоке императору, а потому, чувствуя это в глубине души, что отвлек бы занятого человека от более важного дела. Арсений Александрович знал, что его самого с такими рассуждениями принимают за чудака, оторвавшегося от проблем. Каждый, конечно, понимает, что есть вечность, есть молчаливый поток, но не желает думать о нем всерьез, потому что полагает реальною только свою жизнь со всеми ее важными делами.

И этот усатый человек в зеленом мундире, благодаря условностям считающий себя главным среди множества людей, уж никак не назовет свои заботы второстепенными. И это замечательно, полагал Арсений Александрович, ибо мало кто сознательно стал думать о реке молчания. И вопрос императора: "...философствуете. О чем же, позвольте узнать?" - вполне согласовывался с бессознательной причастностью государя молчаливой реке.

В этом вопросе, как показалось Арсению Александровичу, был подвох, даже некоторая ирония, мол, философствуете о чем-то направленном против) существующего положения вещей, а скры-

ваете, вуалируете какой-то вымышленной рекой, уводите внимание от сути дела.

Арсений Александрович кашлянул и, взглянув поверх головы императора, сказал, что обдумывает мысли на разные темы.

Император не стал настаивать на развернутом ответе из чувства такта. В голове его все крутились соображения о сближении с народом, и, как бы размышляя вслух, император сказал:

- У нас большое преимущество составляет знатность, которая пускает человека в ход с восемнадцати лет или раньше, делая его известным и уважаемым, тогда как другой едва заслужит это в пятьдесят лет. Эти тридцать с небольшим лет выиграны без всякого труда. - И, возвращаясь к беседе с князем, добавил: - Да, нам известно, что вы думаете о разном. И это очень похвально. Я не могу себе представить, как люди живут без мыслей. У меня дня не проходит, чтобы я не доводил себя всякими размышлениями до полной депрессии. Как еще мало думающих, культурных людей у нас!.. А письма вы пишете? - спросил император, поморщившись от изжоги, которая вдруг возникла в нем.

- Случается, но больше устно беседую. - Арсений Александрович никак не мог угадать, куда клонит Александр II, зачем его, Арсения Александровича, привезли за тридевять земель в этот व्यужный город, вырвав из уединения весеннего Введенского.

- А это письмо, случайно, не вы написали? - Император взял со стола сложенный лист бумаги. - Взгляните, Арсений Александрович!

Князь принял из рук государя бумагу, развернул. Прошло некоторое время, пока он, морща лоб, читал.

- Ваше величество, я этого не писал, - подавленно произнес Арсений Александрович, прочитав о "холуях". - Да и почерк не мой.

- Как не вы писали? Не ваш?! - Александр Николаевич бросил быстрый, даже очень быстрый взгляд на князя, встал и прошел энергично, чтобы отделаться от изжоги, заложив одну руку за спину, скрипя глянцевыми сапогами, на место за огромным столом. - У нас есть рукопись вашего сочинения о крестьянском вопросе, и почерка схожи, - сказал он с некоторой растерянностью, порылся в верхнем ящике стола и достал тетрадь. - Прошу!

Арсений Александрович, сильно удивившись, взял тетрадь, посмотрел на нее и, не раскрывая, вымолвил:

- Я в тетрадях не пишу...
- А вы откройте, поглядите, - посоветовал царь.
- Что ж открывать, ваше вел...
- Откройте, откройте! - не повышая голоса, причем улыбнувшись, приказал Александр II.

Князь послушно открыл тетрадь - не его был почерк. Но по склоненным влево буквам, по черным ровным строчкам он догадался - чей. Стало быть, его - Арсения Александровича - вполне серьезно считают автором этих писаний, не предполагая, что письмо и тетрадь принадлежат другому лицу. Но коль так, порядочно ли говорить о том лице, то есть просто-напросто развеивать сложившееся заблуждение? Нет - о нем никак нельзя говорить, он и без того ужасно страдает на чужбине...

Впрочем, чего опасаться Арсению Александровичу, если в этом письме - при трезвом рассуждении - ничего особенного не содержится, и император вполне, видимо, это понимает.

- Ваше величество, я, извините милостиво, от волнения собственный почерк не узнал... Конечно, это мое письмо и мои сочинения в тетради. - Арсений Александрович вытер платком пот со лба.

- Ну вот видите, как это прелестно! Чистосердечное признание... Я всегда считал, что разум приказывает нам гораздо более властно, чем господин, ибо кто не повинуется последнему, тот несчастен, а кто не повинуется первому, тот - глуп. И вы, князь, несомненно умный человек, вы умнее многих моих приближенных. Я понимаю, понимаю... Не будем вдаваться в подробности, но я хочу вам лишь добра. - Александр II прошелся в глубь кабинета и обратно. - Посудите, мы с вами отлично понимаем обстановку в стране - и письмо это ничего нам с вами нового не говорит. И потом, попади оно не в те руки, может статься, будет не так истолковано. Трудно с нашим народом! Но зерно, брошенное в хорошую землю, производит плод. Мысль, брошенная в здравый ум, тоже дает плод. Я намекаю на плод освобождения... А что скажут сами мужики?

Арсений Александрович вздрогнул от этих слов.

- Только приветствовать станут, - промолвил он. - Несомненно, равенство имуществ справедливо. Но, не имея возможности принудить человека повиноваться справедливости, люди сделали так, что стало справедливым повиноваться силе. Не будучи в

состоянии сделать сильную справедливость, они сделали справедливою силу, чтобы соединить справедливость и силу, чтобы водворить мир, который есть высшее благо. И совершенно справедливо будет освобождение... А уж мужики точно приветствовать станут!

- Приветствовать?... Мне кажется, что только поначалу. А затем начнут отбивать себе землю, да побольше! Всякая реформа требует тщательной подготовки. Разумеется, я понимаю мысль, что государства погибали бы, если бы они не переменили часто законов, уступая необходимости. Но слишком часто и быстро - это тоже нехорошо. Однако данный вопрос не только созрел для своего разрешения, но отчасти перезрел. Вот я и предлагаю вам - собственно, и вызвал вас для того, чтобы заняться вам вместе с Ланским, великой княгиней Еленой Павловной и великим князем Константином Николаевичем подготовкой такой реформы. Собственно, для разработки и составления ее мы привлекаем лучшие умы. Так что думаем собрать нечто вроде целого комитета. Ну и вы, несомненно, не пренебрежете возможностью испытать в этом деле свой разносторонний ум.

Арсений Александрович опешил, он не думал, что дело примет такой оборот.

- Что, не согласны? Подумайте. Взвесьте. Дело стоящее и не терпит отлагательств. Мы знаем, что вы умный человек, поймете нас правильно и согласитесь. Главное - не позволительна спешка. Как говорят умные люди - не все сразу!

- Разрешите мне обдумать ваше предложение? - Арсений Александрович с симпатией посмотрел в глаза царю.

- Позволяю.

Когда Арсений Александрович собирался выходить из дворца, его вернули и пригласили в его величества канцелярию, где от имени государя преподнесли отменной работы малахитовое пресс-папье.

Потом, ступая на холодное крыльцо, Арсений Александрович все думал о предложении. Он - и подготовка проекта. Нет, это невозможно. Он вольный фантазер, никогда не писавший писем императору, никогда не сочинявший в тетрадь... Стало быть, кто-то возвел на него напраслину. Но кто?

Он думал об этом, пока ходил по городу, но затем отмахнулся от этой мысли. Разве важно для него, кто возвел напраслину!

Арсений Александрович видел идущих по плитам тротуаров горожан, укутанных в теплые одежды, различал знакомые экипажи, поблескивающие золотом. По Крюкову каналу он вышел на Английскую набережную. Вдали виднелся сквозь дымку Васильевский остров. Погода была промозглая. Арсений Александрович перешел через высокий подъемный мост Крюкова канала. Позади остался дом Иностранной коллегии. В свое время там часто бывал дедушка Петр Иванович, отец Александра Петровича, у Куракина. Дедушка рассказывал, как архитектор Башмаков строил тот дом для Куракина в 1750-х годах. Материал подвозили на барках по реке. Английская набережная тогда еще не была облицована гранитом. А вот и двухэтажный, с узким балконом над входом, дом Арсения Александровича...

Через неделю он уезжал в Введенское. Сидя в покачивающейся на упругих рессорах коляске, Арсений Александрович под грохот колес видел себя в новом свете. Ему ясно представилось, как его опять увозят из Введенского, как его не хотят оставить самого по себе с размышлениями о непрекращающемся потоке жизни, как его усаживают в департамент, чтобы он, как и все, занимался составлением проектов, полезным делом, чтобы не отличался от своих современников, а жил с ними сообща.

Да он же живет с ними сообща! Только желает, чтобы эта жизнь была еще добрее и согласнее. А добрее она станет лишь тогда, когда каждый посмотрит на себя как на частичку великой реки молчания, несущей непрекращающиеся жизни из памятного прошлого в неведомое будущее.

Нащупав знакомые мысли, с которыми князь Арсений Александрович сжился прочно, как сживаетея дерево с землей, он успокоился. Отошли впечатления столичной жизни и дворцовой встречи, обходительности и приличия окружающего.

Коляска катилась по окраине города, слышались выкрики извозчиков, виднелись тусклые вывески лавок и трактиров. И обратная дорога показалась Арсению Александровичу приятною, как всегда кажется приятною дорога домой...

Кашкин придерживал лестницу, на которой стоял Фелицын.

- Мой дед в "Славянском базаре" останавливался, - сказал Кашкин и поведал о встрече с Никифором на бульваре.

Фелицын с нескрываемым любопытством и волнением посмотрел вниз. Его заинтересовало в рассказе не то, что дед Кашкина

останавливался когда-то в его доме, хотя это тоже интересно, а то, что Никифор - или, как его звали, Хромой - жил на третьем этаже.

Этого старого, краснолицего Хромого он неоднократно видел и избегал, потому что Хромой так кричал на ребят, носившихся со своими "казаками-разбойниками" по этажам и, в частности, мимо его комнаты, что делалось не по себе от его слов: "Голову отверну и спущу в сортире!"

У Хромого часто гостили внучки - кажется, Лиза и Зоя. Они были какие-то забытые, во двор гулять не выходили, вечно сидели дома и пиликали на виолончели. Хромой водил их в музыкальную школу, хотел сделать из них артисток. Лиза с Зоей носили виолончель в футляре вдвоем. Со стороны казалось, что они несут труп...

А Кашкину почему-то вспомнились дедушкины именины, гости, пение мамы. Дедушка был в приподнятом настроении. На столе между прочим были индейка, ветчина, хорошая колбаса, икра красная, семга...

Когда гости разглядывали картины, тарелки и чашки из коллекции Марии Петровны (она не могла жить без дорогой посуды - покупала в комиссионном), то возник вопрос о том, как приятно, когда можно украсить себя чем-то красивым: одно дело, когда закуска на столе, и совсем другое, когда та же закуска лежит на старинных блюдах и вообще вся квартира обставлена с большим вкусом, так что приятно даже просто посидеть, не говоря уже о том, чтобы выпивать и закусывать, ведя интересную беседу.

Недаром Мария Петровна вместо салфеточек каждому на тарелку положила листок папиросной бумаги, на которой было написано:

"Да, я любила их, те сборища ночные,
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий тонкий пар,
Камина красного тяжелый зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий!"

- Любви к красивой тарелке, эт-то, к приятной обстановке, к вкусному блюду... к ощущению жизни как чего-то чувственно-приятного - меня, эт-то, научила Мария Петровна! - вдруг длинно

сказал Серафим Герасимович Кашкин, глядя на тестя. - И я жене за это очень благодарен!

- Ничего подобного, я ни при чем! - захохотала Мария Петровна, отбрасывая со лба каштановую прядь.

Гладко выбритое лицо Серафима Герасимовича украшали под самым носом рыжие подстриженные усики - такая вертикальная узкая щеточка-прямоугольник.

Потом Владик сидел в комнате дедушки на диване и расспрашивал о его отце, Арсении Александровиче, о том, что это за "река молчания", о которой дедушка упоминал как-то на бульваре.

Петр Арсеньевич задумывался и затем не спеша начинал говорить о мальчишке в казакинчике, семилетнем воспитаннике соседа-помещика Крохина. У мальчика были чрезвычайно серьезные черные глаза, и, когда Арсений Александрович начинал возражать Крохину, что нельзя поркой возвысить душу, мальчик, поднеся чайную ложку к губам, застывал, весь обратившись в слух.

А Арсений Александрович, покручивая чашку на блюдце, говорил Крохину о всемогущей реке молчания, о невоплотимости душевных переживаний, на что тот хмыкал с пугливой улыбкой, догадываясь о серьезности размышлений Арсения Александровича, но не понимал, как их можно применить на практике.

Чтобы убедить Крохина, Арсений Александрович пытался говорить и о практическом, о том, что вот он - Арсений Александрович - может летать. Мальчик, положив ложку на блюдце, подперев ладошкой подбородок, смотрел на Арсения Александровича во все глаза.

Крохин с сомнением покачивал головой, почесывал короткую бородку, щурил глаза. А Арсений Александрович, повернув крантик самовара, подливал чай Крохину, рассказывал, как он научился летать.

Арсений Александрович говорил, что ночные купола, как хрустальные вазы, с проколами несгораемых светляков, наполнялись полетом. Сменяющиеся в равные интервалы времени, они напоминали длинные свитки с убегающими все дальше и дальше строками.

Черные пропасти неба отворялись, выползали прозрачные, как лепестки нарциссов перед свечой, тела стыковались невесомые, подобные стрекозиным, но огромных размеров крылья. Казалось, возьми камешек, швырни в них - пройдут, словно воду, без кругов.

Но крылья крепнут в полете!

Затем в состыкованном виде это стрекозино-прозрачное насекомое, с крохотным по сравнению с этим насекомым Арсением Александровичем катилось до самого горизонта, где начинался купол взлетающих и непадающих светляков, где уже полет начался сам собою.

Арсению Александровичу нравилось летать.

Позвякивали лопасти, будто чайные ложки о хрусталь, бежали светляки, все ярче разгоравшиеся по мере летания ввысь, замыкали собою причудливые виньетки, а иногда сочетались в нечто похужее, но малопонятное с первого взгляда.

Это нечто похожее так волновало Арсения Александровича, что насекомое потрясывало, по крыльям пробегала дрожь, но, опираясь на расчеты светляков, насекомое выправляло лет.

Это нечто похожее живо напоминало Арсению Александровичу те состояния души, те предчувствия, которые он так и не сумел вызвать из небытия и воплотить на чистых страницах памяти.

Арсению Александровичу хотелось летать.

В полете ему казалось, что только в ночных куполах он и есть тот Арсений Александрович, он, поспешный отражатель мимолетных образов и случайных ситуаций, настроений и превращений.

И, летая вот уже в который раз, Арсений Александрович ощутил такую страсть к невысказанному, такую неизбывную тоску по провалам собственной памяти, что вдруг осознавал очень простую истину: все не сотворенное художниками всего мира и есть то делание полета вещи, которая умирает тогда, когда обретает законченную форму.

Сам факт творчества, поразился Арсений Александрович, - есть полет, совершение полета, до выговаривания, до показывания!

Воплощение уже не есть творчество, как полет не есть и не может быть воплощением, а лишь состоянием вечно пульсирующего сердца, вечной подготовкой к воплощению.

Черные купола, пронизанные светляками, сообщают ту беспредельность полета, которая вызывается черными воронками невоплощенного. И купола эти все более расширяются, растут с удалением от воплощенного, и все ярче разгораются светляки иных воплощений, манят, притягивают к себе взлетевшего.

Но подлет к ним - долгие вертикальные пути через черные зияющие купола.

Удивившись столь обычным соображениям в одном из очередных полетов, Арсений Александрович решил стать их постоянным творцом.

Крохин только почесывал бороду и приговаривал: “Да!..” Уж что угодно мог предположить в Арсении Александровиче, но не эти полеты.

Стало быть, думалось ему, Арсений Александрович осведомлен в развитии техники. Куда там сеялки-косилки, которые страстно выписывал из Англии сам Крохин, - он про летающих “стрекоз” говорит!

Так у него и телеги без лошадей поедут.

Безлошадные экипажи!

- Видимо, и экипажи по принципу полетов можно сделать самодвижущимися? - спросил воодушевленный рассказом Крохин.

- Использование материальных сил беспредельно и бесконечно, - сказал князь, глядя на вышедшего из оцепенения мальчика в казакине.

Быть может, этот ответ впоследствии, много-много лет спустя, позволил Крохину рассказывать об изобретательской прозорливости Арсения Александровича, о том, будто он стал соизобретателем двигателя внутреннего сгорания. Что же касается национально-освободительного движения, то тут особых догадок строить не приходится, поскольку именно случай с поездкой князя Арсения Александровича в Санкт-Петербург положил начало его деятельному участию в составлении проекта реформы 1861 года...

- Ваш рассказ имеет глубоко научную основу? - серьезно спросил мальчик, обтирая о казакин пальцы, выпачканные повидлом от рулета. - Мой гувернер, занимающийся со мною арифметикой, говорит, что математика способна обосновать любую мысль...

- Маленький друг мой! - обратился к нему Арсений Александрович с улыбкой. - Тебе бы не о математике думать, а на дворе в лапту играть да по лесу бегать...

- Я же не маленький, чтобы в лапту! - обиделся покрасневший мальчик. - Папа готовит меня в инженеры...

- Папа твой должен позаботиться не об инженерии, а о твоём детстве... Впрочем, я мало что знаю о новом подходе к воспита-

нию. Математика так математика! - сказал Арсений Александрович, ставя чашку на поднос.

- А все-таки можно обосновать математикой идею? - допытывался мальчик.

- Все можно, юный друг, потому что каким бы ничтожным ни выглядел человек в своей мечте, в одиночестве своем, но он-то и есть тот единственный маг и искусник, которому дано всколыхнуть воды реки молчания.

- Я не совсем понял - каким образом всколыхнуть воду? Рыбной ловлей?- спросил мальчик.

- Можно и ловлей, - огорченно вымолвил князь, сожалея, что его никто, даже дети, не понимает. - Сбегал бы ты, юноша, на реку да наловил щук - вот бы я подивился тебе тогда! - добавил князь, оживляясь.

Мальчик поклонился Арсению Александровичу, сказал: "Спасибо", - и попросил дозволения у Крохина выйти. Когда мальчик ушел, Арсений Александрович сказал:

- Нехорошо, что мальчик кланяется. Что это все друг другу кланяются, будто нельзя по-мужски пожать руку! Сами придумывают себе барина и давай перед ним расстилаться...

Крохин промолчал, даже в глубине души обиделся на Арсения Александровича за это замечание, ибо его он принял на свой счет, так как не последовал примеру Арсения Александровича и не распустил своих крестьян.

Крохин был уверен, что без него они пропадут. Ну куда их отпускать, словно сироты станут, впадут в разврат и пьянство, перестанут работать, устроят поножовщину... А при Крохине они одеты, обуты, интерес в работе находят, сеялки-косилки изучают.

Так что роспуск крестьян казался Крохину определенно губительным делом.

Вошла Вера Петровна, светлым взором окинула Крохина, отчего тот смутился и легкий румянец залил его широкое лицо, заговорила о трудностях в хозяйстве, о том, что теперь самим обо всем нужно хлопотать, распустили крестьян, а кто делать будет, некому, кроме как самим.

Арсений Александрович молча слушал, позвякивая серебряной ложечкой о розовощекого купидона фарфоровой чашки. Крохин исподлобья поглядывал на молодое, красивое лицо Веры Петровны, сочувствовал ей, но вмешиваться не решался.

Напившись до отяжеления чаю и наговорившись с Арсением Александровичем, Крохин уезжал в свое имение, откуда уже летом наведывался редко, ибо сам бегал по полям, следил за скотиной, устраивал ветеринарную лечебницу, - в общем, практически закреплял свои пусть и не такие сложные идеи на принадлежавших ему землях и людях...

Менее эффектно была встреча Нового года. Владик удачно вскочил в автобус у Охотного ряда, доехал до Дворца Советов и оттуда почти бежал до дому, чтобы не опоздать к 12 часам. Он провожал старый год с классом в квартире товарища на Тверской.

Поднялся в лифте, вбежал в прихожую. Радио дает Красную площадь, рожки автомобилей... Владик сбрасывает пальто, садится за стол, сам весь мокрый от беготни, часы бьют полночь.

- С Новым, 1941 годом, дорогие товарищи! - поздравляет низкий мужской голос из радио.

XIV

Зинэтула прогрел мотор. Подойдя к лестнице, на которой стоял Фелицын, спросил:

- Есть контакта?

- Концы как следует зачистил, соединил, а тока нет, - растерянно сказал Фелицын, обернулся, блеснув очками, к Зинэтуле и пожал плечами. - Дело не в "нуле", выходит. - Он замотал изоляцию и спустился с лестницы.

Где-то залаяла собака. От окна дежурной падал на снег жидкий желтый свет, мутно отпечатывая переплет рамы, похожий на решетку. Кашкин, заложив руки за спину, прохаживался по дворику, курил, изредка кашлял. Синеватые тени сгустились под его глазами. Кашкин думал о дедушке, о жизненных совпадениях, о том, что судьбы людей часто переплетаются, но люди не придают этому никакого значения. Кажется, в большинстве своем люди даже не задают себе вопроса: что такое жизнь?

Фелицын взял лестницу. Зинэтула помог внести ее в дом. Пришли в комнату. Разделись. Чай пить не хотелось. В животах и так булькало.

Фелицын лежал на кровати и вспоминал “Славянский базар”, дедушку...

- Иногда я думаю о своем теле как о генераторе духа, - вдруг сказал слабым голосом Кашкин. - Ошибка всех прежних мыслителей в отделении тела от духа. Я генерирую - ив ком-то горят мои лампочки. Только бы пара хватило! - усмехнулся он.

Помолчали.

- Иногда думаешь о чем-то странном, - продолжил Кашкин и замолчал.

Он лежал и отчетливо слышал чей-то далекий, приятный голос: “Поступки и дела наши, споры и размолвки, недавно так волновавшие душу, растворяются в прошлом, приобретая иное значение, иной звук, иные оттенки.

Давно отболевшее вновь тревожит, вновь приоткрывает завесу, приковывает к себе внимание, освобождаясь от излишних деталей, заслонявших глаза, проступает в резко очерченных формах через увеличительное стекло времени, доходя до нас материальными отблесками прошлого в виде прялок и каменных топоров, камзолов и карет, наскальных рисунков и позеленевших монет, бесчисленных рукописных творений, запечатлевших порывы душ посланцев из нескончаемого потока реки молчания.

Я погружаюсь в эту реку с восторгом и трепетом, потому что я, живущий, обладаю бесценным даром оживить этот молчаливый поток, всколыхнуть его воды, прожить с ним отпущенное время в согласии, чтобы и меня понес он далее, к тем людям, которые будут после меня, которые, как и я, будут наделены этим священным даром оживления реки молчания.

Имена наши смоятся со свитков времени мощным потоком этой бесконечной реки и лишь слабым свечением, подобно маякам, будут помогать прокладывать курс из прошлого в будущее.

А за этими маяками вы увидите миллиарды иных светящихся точек, сливающихся в одно раскаленное русло души человечества, вы услышите хоралы невоплощенных монологов и почувствуете, что вы не одиноки в своих страданиях, что вам только казалось, пока вы не ведали о реке молчания, что жизнь ваша ограничена рамками места и времени, что смерть ваша перечеркнет стремление в будущее.

Не может быть ограниченного в своем одиночестве человека, ибо путь его жизни прокладывается такими древними путями че-

рез неолиты и ледниковые периоды, через троянские и пунические, столетние и гражданские войны, что поражаешься выносливости человека и его безотчетной, всепобеждающей вере в бессмертие...”

- Сколько толстых людей теперь! - воскликнул из своего угла Зинэтула. - И едят, и едят, как не лопнут?

Видно, в голове Зинэтулы бежала цепочка своих мыслей.

- Пост не напрасно существовал, - сказал после паузы Фелицын.

Он лежал на кровати и видел круглые тени в какой-то очень длинной и узкой незнакомой комнате. На душе у Фелицына было легко. Хотелось лежать неподвижно и думать.

Он уже не досадовал на Микуло за эту поездку и не ругал армейских футболистов, которым явно не хватило азарта и мастерства. Мысли Фелицына настраивались на серьезный, возвышенный лад, но усталость разливалась по всему телу, внося некоторую неразбериху в эти мысли.

И он как бы отодвигал их, смирялся с усталостью, как смирялся со многим в жизни. На это смирение он часто про себя сетовал, но потом становилось хорошо, потому что не совершенно никакой глупости, никто не обижен и жизнь течет плавно.

Скоро Новый год, нужно покупать елку. Предчувствуя ясный веселый праздник, Фелицын поехал от накатившей на него сладостной волны.

Он вдруг вспомнил, что еще молод, что все еще впереди. Фелицын не ощущал своих 39 лет. Листки календаря мелькали будто не для него.

Детство было рядом, стоило лишь протянуть руку.

Он почему-то увидел толстых, очень толстых людей, обедающих на траве в тени березы. Рядом стоял Зинэтула, которому жадно хотелось есть, но ему толстяки грозили кулаками.

Фелицын вновь вспомнил дедушку и услышал его голос:

- Начинался понедельник первой недели поста. Будучи мальчиком, я из окна видел, как ворона, сидя на дереве, ела блин, подобраный с помойки. Мне почему-то было жалко ворону.

Жизнь так ушла вперед или, во всяком случае, так изменилась, что даже понятие “пост” кажется непонятным. Теперь человек признает только диету, и то по предписанию врача. А ведь, бывало, с вечерни так называемого прощенного воскресенья, в четыре

часа, замирала вся жизнь, закрывались театры на целую неделю, в ресторанах не играла музыка.

На Москве-реке был грибной базар. Мама всегда ходила и покупала соленых и сухих грибов, постного сахара и пряников.

Была тягостная и скучная неделя. Унылый звон колоколов наводил тоску. Однако постный обед был вкусный. Маменька как-то умела делать, так сказать, из ничего нечто вкусное и сытное.

Что особенно было неприятно, так это обязательная исповедь и причастие. Извольте вдруг каяться во грехах, считать себя окаянной душой, и все это по предписанию духовных властей, “первосвященников и книжников”, которые теперь пожинают плоды, когда не только посты, но и самые церквисто исчезают.

Трагично и комично то, что русский народ считался религиозным и церковным, а оказалось, что он вроде никогда и не веровал, а если и веровал, то без всякого разумения. Если бы теперь кому-либо на ум пришло проповедовать христианство, то он очутился бы в положении апостола Павла в Афинах, где, как известно из “Деяний”, Павел с треском провалился и никогда туда не показывал носа.

Я всегда думал, что христианство, как мистическое учение и особый род жизни, по душе только немногим, малому стаду, и удивлялся, каким образом оно вдруг сделалось государственным, массовым явлением. Вообще христианство на Руси - это любопытная тема, и она в будущем найдет своего исследователя, который, начиная с крещения Руси, заново напишет всю историю морального движения...

Завтра, выходной день. Столовая закрыта. Отпускные на работе еще не получил. Неприятно. Придется питаться чем Бог послал.

На улице встретил Шах-Бахтинского. Толстая физиономия. В штабе РККА много с ним пришлось поработать. Между прочим, он был делегатом XIII съезда партии, кое-что интересное рассказывал. Он ко мне благоволил. Меня он не заметил, и я, торопясь в столовую, прошел мимо.

В одном магазине видел открытку - Троицкий мост с видом на Петропавловку. Вспомнил свою жизнь в Петрограде. Много было хорошего, молодого и веселого.

Однажды я ехал по этому мосту под утро на извозчике домой. Смотрел на Неву, на встречных... и чувствовал какое-то блажен-

ство. Отчего и почему было такое настроение, я уже не помню, но вот это самое настроение почему-то запало в память.

Вероятно, это было чувство одурения или влюбленности в жизнь, идущее от молодости и беспечной жизни.

Все еще было впереди...

Но вот годы прошли, и теперь с интересом оглядываешься назад, а от "вперед" уже ничего не ждешь. Лишь бы не было хуже. Однако и теперь, когда самочувствие хорошее и ничто не тяготит, как-то с любовью делаешь свои мелкие дела, идешь по улице, смотришь на встречных, и на душе почему-то хорошо. Что это такое?

- Это - вино жизни...

Фелицын видел дедушку подтянутым, в своем френче и в белой сорочке, которую выстирала и выгладила мама. Дедушка, поглядывая с нежностью на внука, продолжал говорить:

- Шестого числа Калерия Николаевна затевает вечеринку. В прошлом году такая вечеринка была пятого числа. Справляли эту годовщину свадьбы.

Днем была неважная погода, я чинил стол. Вдруг стук в дверь. Оказывается, Мохин прислал вина, что-то бутылок восемь. Я начал возиться с продуктами. Митя помогает. Потом приехала Лерочка - и началась уже настоящая горячка.

В одиннадцатом часу пришел Мохин с цветами. Щеки румяные, хитрый взгляд из-под пенсне. Остановившись в дверях, он спросил: "Где здесь свадьба?!" Получилось очень смешно. У Мохина на лацкане пиджака орден Ленина.

Вскоре пришли Мигальский, Шура с Евгенией Николаевной, Порохов с гармонией... Что у нас стояло на столе - не помню, но было всего вполне достаточно.

Мохин слегка выпил и тотчас начал оживлять собрание. Показал, как надо хором исполнять под гармонию "По диким степям Забайкалья". Все пели, и довольно хорошо:

На нем рубашонка худая
Со множеством разных заплат,
Шапочка на нем арестанта
И серый тюремный халат.

ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ

Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал,
Идти дальше нет уже мочи,
Пред ним расстилался Байкал.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет...

Потом Мохин спел “Погиб я, мальчишка, погиб навсегда” С большим подъемом. Слова в песне очень страшные, например, “отца зарезал, мать убил”.

После этого Мохин рассказал, как проходили некие поминки на Ваганьковском кладбище. Какой-то тип поминал со своими родственниками и знакомыми свою жену. Все пили, ели кутью, муж разговаривал с могилой, объяснялся в любви покойнице, потом хвалился, что поставил ей памятник, наконец стал читать надпись, но - о ужас! - было написано: “Здесь лежит тело статского советника”. “Едрена мать! - воскликнул муж. - Мы не туда попали!” И при этом он толкнул могилу ногой. А когда шли к могиле, то сей муж долго объяснял, как пройти к могиле и что он помнит все дорожки и деревья.

Зинэтула зычно засмеялся. Фелицын взглянул на него. По всей видимости, Зинэтула что-то вспомнил смешное из своей жизни. А Фелицын продолжал слушать дедушку, который рассказывал:

- Лерочка забегала в театр к Мохину. Шло “На дне”. Она попала на тот момент, когда Мохин около покойницы читает из псалтыри. На Лерочку это ужасно действует, и у нее наворачиваются слезы. Она ему сказала: “Зачем вы это читаете и мучаете зрителя, я расстраиваюсь?” Мохин на это ответил: “Это я по себе читаю, так постепенно все и прочту к своей смерти, а то ведь по мне читать не будут”.

Лерочка спросила про Шаталова, почему он иногда так странно напивается. Неужели у него запой? Мохин ответил, что у Шаталова не запой, а моментами находит какая-то страшная тоска, прямо хоть вешайся, когда человек утрачивает сознание смысла жизни. Вот тогда он и спешит скорей выпить. Он мучается.

Я так и думал, что великий Шаталов неспроста напивается, что есть что-то в этом трагическое и с психической точки - ненормальное.

Кашкин шевельнулся на кровати, как-то странно вздохнул и затих.

Фелицын приоткрыл глаза, посмотрел в сторону Кашкина и вновь сомкнул веки. Он увидел дедушку, Павла Львовича, Фелицына, высокого, худого старика, с белым ободком волос вокруг лысины. Павел Львович взял в руки лампу и обошел вокруг стола, затем заговорил:

- Когда наблюдаешь людей на улице, в подъезде, в трамвае - какое бескультурье! Стоял в очереди за сахаром с двух часов тридцати минут до четырех часов двадцати минут. Заболела голова от шума и нескончаемого гама баб.

Бабы - это особое явление наших дней, которое мы раньше не знали и не видали. Они почему-то всегда галдят в очереди, как галки. Очереди для них - это клуб, где они встречаются друг с другом, обсуждают всяческие "проблемы". В большинстве случаев почему-то ругаются, одна не уступает места другой, и прочее. У подъезда - кордон баб. Идешь и чувствуешь, что ты ничтожен по сравнению с этой силой. Косит на тебя глазом какая-нибудь бабенка, проедает, а чтобы ты не подозревал, что тебя сейчас по косточкам разберут, говорит: "Щи уварились. Я капусту-то сначала мочу. Да. Сметану брала. Гречки отварила. Поела, и плохо мне стало, ноги не держат..." Ноги и впрямь таких баб не держат. Габаритов они таких, что с трудом протискиваются в дверь.

Так растет трава и живут козы.

Павел Львович Фелицын опустил перед вертящимся столом.

- Мальчик сидит у трамвая и горько плачет. Его спрашивают, почему он плачет. Он говорит: "Я соскочил с буфера, а ранец зацепился и уехал с трамваем. А-а-а..."

Умер Павел Васильевич Лебедев. Это был большого, если так можно сказать, военного ума человек.

Частенько на докуладах в штабе РККА имелась его резолюция, подписанная "Леб".

Однажды произошел курьезный случай. Я был начальником мобилизационного отделения штаба РККА. По нашему управлению разрабатывался вопрос о точном подразделении командного и административного состава. Вопрос трудный, так как надо было охватить все роды войск.

П. В. Лебедев дал указание, как именно решать этот вопрос. Но его точка зрения не совсем была понятна. К назначенному

сроку был заготовлен проект приказа РВСР. Приглашены были для обсуждения проекта представители всех заинтересованных учреждений, как-то: ГАУ, ГВИУ, ЦУПВОСО и пр.

Однако в день заседания и начальник управления, и начальник отдела почему-то “смылись” и в комиссию назначили меня, хотя проект приказа я не писал, а он проходил по четвертому отделению.

Привыкши ни от чего - для пользы службы - не отказываться, я вошел таким образом в комиссию и - да! - был выбран председателем. Я не растерялся и довольно умело вел собрание.

Любопытно, что члены комиссии не согласились с точкой зрения Павла Васильевича, и комиссия состряпала иной приказ РВСР. На следующий день я написал к этому проекту доклад, приложил протокол заседания комиссии. Начальник управления и начальник отдела все это подписали.

Через день доклад вернулся. На нем была “ругательная” резолюция с подписью “Леб”. Он выражал недоумение, почему проект приказа РВСР составлен вопреки его директиве, о чем, мол, думали в комиссии. И под конец написал: “Впредь таких комиссий не созывать, да еще под председательством бывшего вольноопределяющегося”.

Это был камень в мой огород. Оказывается, он наводил справку, кто такой-сякой председатель. Ему доложили, что по строевой линии я всего-навсего бывший вольноопределяющийся. Так как с моей стороны вины никакой не было, то надо мной только смеялись и поздравляли с такой “похвальной” резолюцией.

Вскоре я, однако, все же удостоился чести: за демобилизацию ком- и адмсостава и за мероприятия по чистке ком- и адмсостава от негодного в техническом и политическом отношении мне в приказе по штабу РККА (по командному управлению) была объявлена благодарность...

Фелицыну показалось, что Зинэтула сел за стол рядом с дедушкой и стал внимательно разглядывать его. А Павел Львович Фелицын между тем продолжал:

- В 1917 году я с приятелями 1 мая, спасаясь от дурной погоды и снега, зашел в “Московскую” гостиницу. Снег выпал на два сантиметра. И это 1 мая по-старому, а по-новому - 13-го. Любопытно, что мы заказали себе какое-то рыбное блюдо, но когда приступили к еде, то рыба оказалась с душком. Позвали метрдотеля. Тот

пожал плечами и сказал, что совет поваров постановил утром, что рыба хорошая и ее можно есть...

Вчера встретил товарища по духовной академии. Разговорились. Стояли у Театра имени Мейерхольда. Товарищ рассказал мне следующее:

Соколов-тринадцатый по окончании Ленинградского университета был оставлен при университете, сделался затем доцентом. Сперва он был на хорошем счету, но после к нему якобы стали придирааться - а не придраться к нему было трудно, ибо Соколов - попович, кончил духовную академию и, несомненно, мыслил идеалистически и по-поповски, - предложили ему выступить на антирелигиозные темы, и... в итоге что-то случилось, так что ему пришлось уйти на работу в архив или музей - точно неизвестно.

Вот так карьера! А ведь Соколов еще на семинарской скамье мечтал о том, что он будет профессором.

Надо полагать, что, рассказывая все это, товарищ в душе был рад, что профессура Соколову не удалась, так как товарищ тоже мечтал в свое время о профессуре, а пришлось работать, так сказать, по интендантству.

Такова судьба метафизиков в наши дни...

У Парийского был племянник. Он тоже окончил духовную академию. Довольно хорошо служил на советской работе и считался спецом по хозяйственным вопросам. Но в анкете скрыл свое образование, а может быть, и еще что-нибудь. Во время чистки был уволен по второй категории. На него, как на метафизика - а все метафизики любят теплые местечки, - это произвело такое впечатление, что он частично помешался. Его вылечили, но в психике все же остались, так сказать, темные настроения. Однажды он заперся в ванной комнате и там вскрыл себе вены. Его, однако, вовремя спасли. Он продолжал работать. Но в сознании гнездилась мысль уйти из жизни. И однажды он бросился с пятого этажа. Все было кончено.

Я был изумлен таким сообщением. Надо было видеть этого русского, уравновешенного человека, работающего и непьющего!

Я считаю, что в смерти, несомненно, сыграло свою роль дурацкое, расслабляющее и уродующее психику духовное образование - это учение о тленности всего земного, всеобщей греховности и прочем. Такое образование, очевидно, подрывало у человека жизнестойчивость. Возможна также и наследственность. По

крайней мере, у Парийских психика - странная. Екатерина Парийская до сих пор сидит на Канатчиковой даче и, кажется, безнадежна, а ведь племянник Парийского, о котором шла речь, - ее двоюродный брат...

За учебным столом в духовной академии я сидел с Соколовым, по прозванию Тринадцатый. Это был типичный семинарист. Неумный, но товарищ приличный. С виду был очень крепкий.

Они умерли в молодые годы. Значит - жизнь есть нечто эфемерное, неизвестное, никем не гарантированное бытие, которое в любой момент может стать небытием.

Когда после Донского училища я учился в семинарии, там был у меня приятель по классу - Семен Воронцов. Сын просвирни. Очень способный паренек.

В 1905 году он был настроен революционно и от нашего класса вместе с Михайловым был депутатом. При благоприятных обстоятельствах из него вышел бы хороший революционер, ибо голы своей он не жалел.

Конечно, и его, и Михайлова по успокоению и ликвидации забастовки уволили.

По сравнению с ними мы были "овцы". Но и в нашей душе тоже что-то кипело, и мы с жаром пели "Отречемся от старого мира" и революционно настроенных товарищей не выдавали.

Говоря так, я имею в виду некоторую группу товарищей, за которых в смысле чести и порядочности я поручился бы, но, конечно, в классе, несомненно, были шпионы и всякие святоши.

Дальнейшая судьба этих двух товарищей мне неизвестна.

С Михайловым я сидел в семинарии на одной парте. Это был способный ученик, и он довольно складно писал сочинения по логике и психологии, а также философии.

Однако у него была одна стилистическая странность:

высказав какое-нибудь предположение, он говорил, что это не решает вопроса. И дальше писал: "Вникая глубже...", - и последующими рассуждениями попадал в самую точку.

Так как у меня был небольшой запас слов и я частенько затруднялся, как выразить бродившие у меня в голове мысли, то его фраза "Вникая глубже" мне казалась замечательным оборотом, полным выразительности и смысла.

Михайлов всаживал эту фразу во все свои письменные работы-сочинения. Я тоже часто ее употреблял, копируя его. И лишь

впоследствии, когда значительно подразвился, понял, что эта фраза - ученическая, и перестал ее употреблять. Зато теперь я совсем не употребляю ходовых фраз, и они мне противны, как какие-то глупые штампы: “пока”, “на все сто процентов”, “понимаете”, “что вы говорите” и прочие...

С работы я поехал на втором номере трамвая. Проехал по Божедомке, где родился и жил первые годы. Посмотрел на двухэтажный дом, с окном к воротам, где жили я, отец и мать.

Кое-что вспомнил из детства, но мало. От кухни направо была темная комната, там я спал. В кухне висела люлька. Затем была большая комната. Помню, что я стоял на подоконнике около горшка с цветком, меня держали, чтобы я не упал, а я смотрел в окно. В другое окно, занавешенное узористым тюлем, раз увидел ворону, сидящую на дереве. И это почему-то запало в памяти.

Отец был певчим в Чудовском хоре, часто запивал и не ходил на “работу”. Мать вечно копошилась на кухне и если уходила из квартиры, то меня запирала. Окно из кухни выходило в сени. У этого окна я поджидал возвращения мамы.

В сенях на окне стоял барометр с фигурками. Если погода обещала быть дурной, то что-то происходило с фигурками. Точно не помню.

Из сеней вела деревянная лестница вниз. Квартира наша была на втором этаже. Внизу дверь запиралась на большой крюк. Однажды я поссорился со своим товарищем и столкнул его в канаву с водой. Дело это было за нашим двором, на огороде, где много было огурцов. Огородники мыли огурцы в особых деревянных чанах, а воду сливали в канавы, а может быть, из этих чанов поливали гряды, не помню. Важно то, что своего товарища я столкнул в одну из этих канав и убежал домой. Я затворил дверь, запер ее на крюк и сел тут же, на ступенях лестницы. Мама вышла из кухни в сени и спросила меня, чего я сижу. Я сказал: “Дверь не отпирай. Сейчас к тебе придут жаловаться”. Дальнейшее не помню.

Был у меня еще приятель Жоржик. Когда он выходил гулять, то, подойдя к забору, кричал: “Пашка, где ты? или на том дворе?” Я должен был откликнуться и часто, бывало, играл на другом дворе.

На мостовую, за ворота, выходил редко. Боялся, что задавят. А против наших ворот лихач действительно сшиб одну девочку,

дочь хозяина нашего дома. Конечно, этот случай на нас, детей, навел панику.

Я вообще был скромный мальчик и проказничать боялся. Я не помню ни одного случая, чтобы меня физически наказывали. Бывало, мама что-нибудь за столом шила, а я сидел и играл. Играл я всегда в то, что видел в тот день. Был на огороде - играл в огородника: зверюшки сажали огурцы; видел извозчика - запрягал лошадку в колясочку...

Приходил иногда и всегда под мухой брат отца Иван Дмитриевич, дьякон. Он брал ножницы и говорил: "Ну, вот сейчас отрежу тебе уши!? Я испытывал страх и готов был плакать, а он смеялся и великодушно клал ножницы на стол.

Помню, как однажды к нам пришли "молодые": дядя Ваня и тетька Лиза. Оба они, счастливые, сидели рядом. Почему это я запомнил, не знаю.

Рядом с кухней была еще комната, в ней жил жилец - какой-то старик с горбатым носом. Я его побаивался. У него на окне снаружи висел градусник, а чтобы он не качался, был груз - мешочек, наверно, с дробью. Старик вглядывался в градусник, а мне казалось, что он что-то ворожит, и значения градусника я не понимал.

Один из моих товарищей по двору был баловник, ЕГО родители наказывали: будто бы сажали в чулан, где мальчика могли съесть крысы. Я ужасно боялся и того чулана, и вообще разговоров о крысах.

В баню ходил с мамой на Самотеку, где Екатерининский парк. Смутно помню пар, висячие фонари и белые пятна - голые женщины, неприятный запах бельевого мыла. Я крепко жмурил глаза, когда мне мыли голову, и вообще от бани не испытывал никакого удовольствия.

Однажды, выйдя за ворота, видел, как отец с певчими ехал на линейке на Лазаревское кладбище. Кого-то хоронили, и они пели.

Помню, что как-то раз на улице было много народа.

Женщины нашего двора толпились у ворот, а по улице все шли и шли люди.

То была знаменитая Ходынка, и люди шли за угощением.

К вечеру было тревожно.

Говорили, что задавили много народу.

Видел, как на полках пожарные везли трупы, они были распущенные и страшные.

Однако к нам пришел кто-то из знакомых и принес кружку с конфетами и пряниками. Затем я пошел, не помню с кем - с мамой или с папой, - к Самарскому переулку, где церковь Иоанна Воина. Было много народу. Ожидался приезд государя в старую Мариинскую больницу, где было много раненых и помятых с Ходынского поля. Помню, как проехала карета и народ закричал "ура!".

Каждый праздник я ходил в церковь Иоанна Воина. Мне дома давали копейку. Я покупал листочек у старосты и становился у амвона и простаивал всю службу. Листочки были назидательного содержания. В них описывались праздники, приводилось житие какого-нибудь святого, например, Евстафия Планиды, великомученицы Варвары...

Я все эти листочки берег и рассматривал картинки, но прочитать, что в них было написано, не мог, так как был слишком маленьким, 3-5 лет, и читать не умел. Впоследствии, когда поступил в городское училище, я перечитывал эти листочки и испытывал умиление, особенно если рассказывалось о мучениках за веру.

Как-то раз меня послали на Сухаревский рынок купить газету. Отец читал "Московский листок". Газета стоила 3 копейки, а мне дали 4 копейки. Так вот, сдачу я потерял. Мне казалось, что дома здорово попадет. Я шел по Божедомке и плакал. Но все обошлось благополучно. Звонили колокола.

Калерия Николаевна говорит, что приятно послушать звон колоколов. Это верно. Многим людям звон что-то говорит. Он может быть печальным, когда звук идет медленно и самый колокол теновый или альтовый.

Если колокол большой, получается гул, мы испытываем что-то могущественное. Возможен веселый и радостный звон - это "красный" звон или трезвон. Есть еще перезвон - каждый колокол, начиная с маленького, уныло звучит, так как ударяют медленно, по очереди в каждый колокол, а потом сразу во все - полный аккорд. Если в колокол звонить быстро, то получается так называемый набат. Такой звон символизирует опасность - например, пожар и прочее.

Таким образом, колоколом пользовались для выражения каких-нибудь мыслей. Отсюда - звон не просто металла звук, а некий символ.

В настоящее время период символов для колоколов кончился и они в большинстве своем замолкли. Громадное значение колокола имели в религиозном культе, и колокольный звон, несомненно, украшал богослужение. С падением религии колокольный звон стал раздражать барабанные перепонки граждан и звон был воспрещен. Печально наблюдать навсегда замолкшие колокола на Иване Великом.

Барабанные перепонки получили лишь временную передышку. На смену гуденью колоколов явилось радио, звучание которого иногда может испортить настроение у самого хладнокровного человека...

Фелицын почувствовал, что дедушка, продолжая говорить, подошел к нему и начал толкать в бок. Фелицын поежился и, широко зевнув, открыл глаза. Его тряс Зинэтула и хотел что-то сказать. Но рот его свело судорогой.

Фелицын сел на кровати и протер глаза. Он задремал прямо в одежде, поверх одеяла. В голове продолжали гудеть колокола. Наконец он, еще раз зевнув, сказал:

- Как я здорово заснул!

Зинэтула молча повел глазами в сторону кровати Кашкина. Холлод предчувствия пробежал по спине Фелицына. Он встал и, не двигаясь с места, взглянул туда, куда указывали застывшие в страхе глаза Зинэтулы.

XV

5 мая 1941 года красноармеец Дмитрий Фелицын прибыл в часть из отпуска. Он ездил домой по случаю рождения дочери и переезда с женой в комнату, выхлопотанную в подвале дома № 17 по улице 25 Октября отцом Павлом Львовичем.

Старшине Чеверноженко - щуплому, с впалыми висками и тяжелыми надбровными дугами человеку - Фелицын привез из Москвы десять пачек "Казбека". Старшина Чеверноженко, довольный подарком, сказал:

- А я, Хвелицын, в Москве не быв ни разу, - и почесал затылок. Чеверноженко не произносил, как многие украинцы, звука "ф".

Вместо него получалось “хв”, живо напоминавшее Дмитрию Фелицыну пасхальные открытки, которые с дореволюционных времен хранились у отца.

После отбоя, когда казарма успокоилась, Фелицын, в белых кальсонах и нательной рубаше, в сапогах на босу ногу, вышел в бытовую комнату вместе с Кошенковым, ленинградцем, успевшим до армии поработать в молодежной газете замом ответственного секретаря.

У Кошенкова лицо было вытянутым, с длинным, искривленным вправо носом. Пальцы были тоже длинные и белые. На безымянном пальце правой руки поблескивало тонкое обручальное кольцо, которое Кошенков любил покручивать рядом находящимся согнутым мизинцем. Кошенков был сутул, узкоплеч.

В руках у Фелицына была тетрадь в зеленом коленкоровом переплете. Прошелестев страницами, Фелицын нашел нужную запись. Кошенков, покручивая кольцо, слушал. То был записанный Фелицыным со слов отца рассказ о завещании Ленина, адресованном в декабре 1922 года XIII съезду партии.

Дмитрий еще до армии почти что в каждой беседе - дома или в школе, - когда чувствовал заблуждение собеседника в каком-либо вопросе, восклицал:

- А у Ленина не так!

И выдавал наизусть какую-нибудь классическую цитату.

Павел Львович с нескрываемым удивлением и гордостью смотрел на сына. Память у Дмитрия была великолепная. Сам Павел Львович первые книги Ленина приобрел тогда, когда экскурсовод в музее Толстого рассказал, что дом посещал В. И. Ленин и приказал создать музей и тщательно хранить все так, как было при Толстом, в частности, следить за деревьями и чтобы кусты были такие же, как при Толстом.

Это тронуло Павла Львовича.

Дмитрий Фелицын читал собственную запись страстно, поблескивая глазами, иногда переходил на полный голос, но спохватывался, возвращаясь к энергичному шепоту. Закончив чтение, Фелицын протяжно вздохнул, как будто пробежал кроссовую дистанцию в полной выкладке.

С Кошенковым он дружил два года, с первых дней службы. Они вместе организовывали диспуты в библиотеке, раскручивали художественную самодеятельность, рисовали стенгазеты и “боевые

листки". Кошенков казался умудренным жизненным опытом человеком. Он и ходил как умудренный: не спеша выбрасывая ноги, как гусак. Лицо его при этом было усталым и хранило выражение, говорящее: "Я все знаю".

С таким выражением лениво Кошенков протянул белые длинные пальцы к тетради и сказал:

- Ты позволишь мне это переписать? Вопрос был излишен. Фелицын доверял Кошенкову. Дня через три, к обеду, на стоянку самолетов прибежал потный и красный дневальный. Фелицын стоял на металлической стремянке у двигателя и шупом выверял зазор между контактами реле системы запуска. Фелицын был механиком по электрооборудованию самолетов.

- Фелицын, в штаб! - крикнул дневальный.

День был ветреный, серый, собирался дождь, где-то уже гремело. Фелицын шел вместе с дневальным по узкому шоссе, наблюдал, как сгибаются к земле от ветра кусты, и думал о том, зачем он понадобился в штабе. Прошлой осенью он ездил в Москву с инженером полка Ямпольским на армейскую выставку технического творчества, как один из авторов электроприбора для выполнения регламентных работ. Кабинет Ямпольского находился в штабе. Стало быть, предположил Фелицын, его вызывает инженер.

Дневальный направился в казарму, Фелицын свернул к штабу, двухэтажному длинному желтому дому с зеленой крышей. Вошел в застекленные двери. На возвышении у бархатного знамени полка стоял, переступая с ноги на ногу, часовой. Слева от него поднималась вверх лестница. Фелицын расправил складки на подоле гимнастерки, согнав их назад, козырнул под знамя и взбежал на второй этаж. Моложавый дежурный, с двумя малиновыми кубиками в голубых петлицах, направил Фелицына не к Ямпольскому, а к капитану Козлову.

Капитан этот был странный. Честь он никогда первым не отдавал, даже если перед ним был командир полка Гуржеев. Гуржеев, с казачьим черным, с пробивающей седinou чубом, бывалый летчик, смущался Козлова и первым скидывал руку под козырек.

В небольшом кабинете Козлова гулял ветер - было открыто окно. Сам Козлов сидел к нему спиной и от этого лицо его казалось особенно мрачным, с большими синими мешками под глазами. Не глядя на вошедшего красноармейца, Козлов продолжал что-то писать, изредка пожимая плечами, отчего скрипели кожаные ремни

портупей. Руки его заметно дрожали. Длинные редкие волосы, росшие сбоку, были тщательно перекинута расческой через голое пространство черепа на другую сторону. На петлицах, обшитых золотым галуном, - один малиновый прямоугольник, на рукаве виднелся шеврон, средний угольник которого был из красного сукна.

Наконец, закончив писание, Козлов дрожащей рукой сунул бумагу в стол, резко встал и спросил:

- Ты письма любишь писать?

Фелицын, не догадываясь, о чем идет речь, улыбнулся и сказал шуточно:

- Эпистолярный стиль хоть и не в моде, но, случается, пишу.

Козлов побледнел и грубо крикнул:

- Ты мне про столяров мозги не крути! Отвечай коротко и ясно! Сиди!

У Козлова с утра сильно болела голова. Вчера приехал из деревни брат, привез сала, под которое на двоих выпили три бутылки водки. Козлов смутно помнил, как он ударил жену, когда она пыталась спрятать третью бутылку. Но разве он, мужик, хозяин, позволит такое бабье самоуправство? Ни в коем разе! За жену вступилась девятилетняя дочь, укусила за палец. Козлов неуклюже качнулся от боли и столкнул с комода зеркало, которое разбилось. Козлов был суеверным человеком, поэтому ожидал теперь всякого несчастья.

Жену он бивал часто, но больше для острастки, чтоб помнила, кто в доме хозяин! Напившись пьяным, он требовал, чтобы жена снимала с него сапоги.

Мало сказать, что Козлов был грубым человеком, - он был человеком природным, не сформированным для жизни в обществе. Козлов и на других смотрел как на себе подобных, считая, что кулаками можно добиться чего угодно. Природное свойство самолюбия и человеческого "я" Козлова состояло в том, чтобы любить только себя и иметь в виду только себя.

Но при этом Козлов причислял себя к большинству. Идти за большинством (чисто природное свойство, присущее стае или толпе) лучше всего, поскольку оно заметно и имеет силу, чтобы заставить повиноваться себе. Между тем это мнение людей малообразованных. Ибо образованных всегда меньшинство.

Фелицын сел на жесткий стул. Козлов вышел из комнаты. Фелицын посмотрел в окно. Начал накрапывать дождь. Фелицыну почему-то стало скучно. Он грустно опустил глаза на крашенный желтой масляной краской пол. За дверью послышались голоса, дверь отворилась, и в комнату вошел майор.

Волосы, брови, ресницы - весь волосяной покров, открытый для взора, был бел, бесцветен. Такими же бесцветными были глаза. Они принимали цвет объекта, на который смотрели. Крепко запахло цветочным одеколоном.

Капитан Козлов, кивнув вошедшему подобострастно, исчез за дверью. Фелицын догадался по этому лакейскому кивку, что перед ним важная персона. Но "важная персона" повела себя странно.

- Ах, как мы устаем в жизни! Сидите-сидите! - видя, что Фелицын привстает, сказал нежным голосом майор и прошелся по комнате. Сапоги его зеркально блестели. И весь он был с иголочки.

- Вы москвич?

- Так точно! - по уставу ответил Фелицын.

- Не надо, не надо! - охладил его пыл майор. - Мы с вами люди интеллигентные, поговорим по душам. - Он выдвинул ящик стола и достал зеленую общую тетрадь.

Фелицын от удивления вздрогнул. Это была его тетрадь.

- Как она к вам попала?! - воскликнул он. Майор усмехнулся, бесцветно взглянув на Фелицына.

- Нашли в тумбочке Кошенкова. Лейтенант из штаба осматривал состояние личных вещей красноармейцев и наткнулся на эту тетрадь. Как человек осмотрительный, он передал ее капитану Козлову, а тот, в свою очередь, доложил мне. И я вот вынужден приехать к вам в гарнизон.

Фелицыну все это казалось каким-то недоразумением. Он искренне верил в честность, в размеренность жизни, не нарушаемую никаким произволом. А то, что произвол где-то все-таки совершался, Фелицын относил на счет непорядочных, враждебных революции людей.

Вся жизнь ему представлялась надежным, отлаженным механизмом, работающим по правилам, отступления от которых исключены.

Подтверждение этим правилам он находил в работах Ленина. Вера в жизнь как во что-то безошибочное, ясное и твердое была в нем так же естественна, как то, что он дышал.

Но белесоватый майор прервал его размышления вопросом:

- Вы нам скажите по-дружески, кто вам рассказал о завещании? И мы разойдемся приятелями.

Фелицыну неприятен был этот "дружеский" тон. И чтобы поскорее покончить с нудным майором, Фелицын на ходу придумал версию и сказал:

- Тапагари.

- Что еще за Тапагари?

Этот Тапагари демобилизовался в прошлом году. Парень он был начитанный, и можно было вполне сослаться на него. Дал и дал! На этом и отстанут.

Но после этого вопроса майор стал допытываться, кто еще, кроме Кошенкова и Тапагари, знакомился с завещанием. Фелицыну подумалось, что чем больше он назовет людей, тем меньше будет всяческих подозрений. Он назвал пятерых сослуживцев, которые, в самом деле, были бы ознакомлены с записью в тетради, если бы дежурный из штаба не перехватил ее из тумбочки Кошенкова.

С тем и отпустил Фелицына майор, пожав руку как другу. Майор отличался хорошими манерами. Он любил вкусно поесть, вообще любил быть сытым, говорил с ленцой, как бы наслаждаясь тем, что он умеет складно говорить. Но в большую часть того, что говорил, он уже давно не верил, потому что считал, что жизнь состоит из двух четких линий: личной и служебной.

В личной жизни он учит взрослого сына не говорить лишнего, держать язык за зубами, или, если уж очень хочется говорить, то говорить то, что общепринято, что пишется в газетах и говорится по радио.

Судя по всему, майор, благодаря подделке под время, одобрял только посредственность. Мнение большинства установило это правило: большинство преследует всякого, кто каким бы то ни было образом ускользает от посредственности.

Майор был страстным поклонником женского пола. Пользуясь тем, что ему часто приходилось бывать в разъездах, он заводил себе любовниц, о чем жена не подозревала. И на сей раз майор предвосхищал встречу с одной кралей в городке командного состава.

В портфеле майора лежали тонкие чулки, купленные для нее. Майор знал, что женщины падки не только до мужской ласки, но и

до подарков. Он представил себе, как сам на полную женскую ножку будет надевать чулок, и от восторга причмокнул губами.

Между тем Фелицын, подозревая недоброе, добежал до автобата и попросил знакомого красноармейца-шофера, который должен был ехать в Смоленск в госпиталь, заскочить к Сидорову и передать записку. В записке Фелицын написал: "Если к тебе обратятся насчет одного письма, говори, что ничего не знаешь". Остальные "читатели" были в гарнизоне. Их тут же оповестил Фелицын. Последний, с кем он говорил, был Кошенок.

Кошенок, покручивая обручальное кольцо, удивленно пожимал плечами, бледнел и божился, что случайно оставил тетрадь в тумбочке.

Ранним утром на другой день, когда старшина прокричал: "Подъем!" - Фелицын вскочил вместе со всеми, но Чеверноженко окоротил его:

- Хвелицын, ты можешь спать... Ложись. Тебя у штаб кликнут.

С этого дня Дмитрий Фелицын оказался на о с о б о м положении. Его вызывали только в штаб, и больше никуда. Дневальный приносил ему завтрак, обед и ужин в железных судках прямо в кровать.

- Ешь, Хвелицын, поправляйся, не бери у голову, - говорил старшина Чеверноженко.

Чеверноженко был мягкосердечным человеком. Эту мягкосердечность он пытался скрывать за внешней строгостью, но у него это редко получалось. Чеверноженко был хозяйственным, расторопным, но любил иногда заложить за воротник с соседом - старшиной первой эскадрильи. Это закладывание подчас длилось дня три-четыре, а то и неделю, и Чеверноженко стыдился этих циклов, пил украдкой, считая, по-видимому, что он один такой выпивоха, не подозревая, что в России каждый второй, так же как он, стыдится своих запоев.

Жил Чеверноженко на территории гарнизона в собственном домике. Держал кое-какую скотину и копался с женой, поварихой столовой для летного состава, на огороде.

Однажды Чеверноженко, вздохнув и цыкнув зубом, спросил у Фелицына, чего к нему привязались. Узнав, в чем дело, он почувствовал Фелицыну и, в глубокой задумчивости почесав шею возле кадыка, сдвинув фуражку на затылок и глядя остановив-

шимся взглядом в потолок, предложил выпить четвертинку на двоих в каптерке.

Червоноженокко со старослужащими был в контакте. Строгость же напускную демонстрировал лишь перед молодыми. Он видел, что на Фелицына все стали косо смотреть, поэтому пытался, как мог, поддержать парня. Иногда он украдкой совал в тумбочку Фелицына печенье или конфеты, прихваченные из дому.

Вопреки всякой армейской логике, Фелицын валялся на кровати поверх одеяла, не снимая сапог. Читал книги, дремал и, не переставая, думал о странностях капитана Козлова и майора-альбиноса.

Майор лично беседовал со всеми названными Фелицыным красноармейцами. Те, как их настроил Фелицын, говорили, что никогда ничего не читали.

- Зачем же вы неправду говорите! - журил дружески майор при очередной встрече в штабе. - Вы же самый умный в гарнизоне человек, умнее командиров! - делал прозрачный комплимент майор.

Прибыл из госпиталя Сидоров, которому вырвали гланды, сказал, что к нему являлся злой лейтенант и выпытывал о каком-то завещании. Сидоров прикинулся дурачком, сказал этому лейтенанту, что вообще с детства книг не читает, потому что упал с крыши, ударившись больно головой об асфальт. В самом деле, у Сидорова было смешное круглое, с носом-картошкой лицо и он походил на коверного.

Фелицыну даже интересно стало играть в кошки-мышки с майором. В свободное время Фелицын, сунув пилотку за ремень, в галифе и в тапочках, с расстегнутым воротом гимнастерки, в общем, со всеми возможными нарушениями устава, слонялся по гарнизону и ничего не делал. Он заметил разительную перемену в людях, окружавших его. С Фелицыным перестали здороваться. Даже Сидоров и Кошенков быстро пробежали мимо, бросая какие-то невразумительные оправдания. Даже инженер Ямпольский, прежде благосклонный к Фелицыну, отворачивался при встрече.

Дни стояли хорошие. Светило солнце. Зацвела сирень. С чисто юношеской наивностью Фелицын думал, что скоро его оставят в покое и он, демобилизовавшись, поедет домой. Но совсем не юношеское чувство уберегло его от откровений с лисом-майором, что о завещании Фелицыну рассказал отец.

В такие прекрасные дни Фелицын отмечался в разлинованной амбарной книге на тумбочке дневального, указывая место, куда он направляется, и брел бесцельно по вылизанным дорожкам гарнизона, мимо побеленных стволов тополей к полю, за которым протекала узкая речка.

На песчаном берегу Фелицын лежал часами в смутной истоме по неизвестному, наблюдая, как черные коровы пили воду и помахивали хвостами. Фелицын думал о будущем, как бы убегая от настоящего времени. Он как бы предупреждал будущее, как будто оно шло к нему слишком медленно и он хотел ускорить его движение. Или же вдруг обращался мыслями к прошедшему, чтобы его остановить, как будто оно слишком поспешно ушло. От переживаний Фелицын был столь неблагоразумен, что блуждал во временах, которые не в его распоряжении, и нисколько не думал о том одном, которое принадлежало ему, как будто настоящего вовсе нет. А между тем настоящее - единственная вещь, которая существует. Остальное подразумевается: и прошлое, и прекрасное будущее.

У реки Фелицына нашли однажды, когда в часть доставили Тапагари.

Низенький, огненно-рыжий Тапагари был бледен бледностью покойника. Казалось, он потерял способность изъясняться словами. Он с мольбой смотрел на Фелицына и призывал безгласно: "Пощади!"

В Тбилиси к нему пришли трое в черных костюмах и предложили следовать. Они ничего не объясняли, потому что отвыкли от разговоров с обычными людьми и не привыкли ни к каким объяснениям.

Этих троих Тапагари так напугался, что всю дорогу до Москвы в самолете молчал. ЕГО, собственно, ни о чем и не спрашивали. Москва приказала, провинция исполнила. И весь сказ!

Дмитрий Фелицын смотрел на рыжего Тапагари как на привидение и отказывался верить в происходящее.

Но нужно было начинать верить!

- Я солгал вам, - сказал с дрожью в голосе Фелицын. - Тапагари ничего мне не давал.

Красные надбровные дуги с бесцветными бровями побежали вверх.

- Ну, тогда мы с вами будем разговаривать по-другому! - вскричал майор детским голосом и выбежал из кабинета.

В форточку залетела бабочка, довольно большая, с серебристо-белыми крыльями, сделала вираж вокруг черной настольной лампы и устремилась к окну, которое на сей раз было закрыто, поэтому бабочка чуткими усиками скользила по стеклу и усиленно работала крыльями, надеясь протаранить невидимую стену. Фелицын помог ей выбраться через форточку.

Он ожидал возвращения майора час, но альбинос не вернулся. Пришел Козлов, сверлящим взглядом красных глаз пробуравил Фелицына и пригрозил:

- Смотри, щенок, как бы в колодце не утоп! Фелицын в совершенном бесстрашии взвился со стула, вскричал:

- Как вы смеете, хам, со мной так говорить?! С Козловым так никогда не объяснялись, поэтому он от неожиданности опешил, челюсть отвалилась и он без всяких эмоций сел. Сердце трусливо билось после вчерашнего, хотелось опохмелиться. Фелицын надел пилотку и сказал:

- Понадоблюсь, вызовете! - И вышел.

Фелицын понял, что Козлов в этом деле пешка и что он своею властью пальцем Фелицына не тронет, потому что Фелицын интересовались люди повыше, чем свидетелем привоз Тапугари из Тбилиси.

Фелицын подумал об утраченной справедливости. Он, кажется, еще верил, что с помощью справедливости можно что-то изменить. Но где эта справедливость? Размышляя подобным образом, Фелицын пришел к печальному умозаключению, что справедливость узурпирована силой. А сила обходится без справедливости. В известное время узурпация произошла и стала окрашивать себя в привлекательные тона, чтобы люди смотрели на нее как на законную, и прятала начала беззаконного воцарения, чтобы никто не докопался до причин и не положил этой "привлекательной" узурпации конец.

Дня два Фелицына не вызывали, а он проводил это время с пользой в читальном зале библиотеки. Читал Ленина, и кое-что прояснялось в его сознании насчет узурпации.

На третий день майор заговорил об искусстве, о живописи, но Фелицын разговора не поддержал. Он прямо спросил, даже грубовато, с вызовом:

- Чего вы от меня хотите?!

- Мы хотим одного - знать, кто вам рассказывал об этом письме? Нас интересует... источник,- сознался майор.

- Смотрю я на вас,- Фелнцын был возбужден и говорил с чувством, - и мне жаль вас! Как вам не совестно скрывать это завещание?!

- Совестно?

- Да! - глаза Фелицына блестели.

- С совестью, как вы ее понимаете, молодой человек, мы в семнадцатом году покончили!

- Вас, уверен, тогда не было, вы потом притесались! Пена! Почитайте "Философские тетради", там о пене кое-что сказано.

Дмитрию Фелицыну уже было на все наплевать. Он шел напролом, потеряв всякую ориентацию во времени. Он знал, что был прав, поэтому добавил:

- Ленин бы такого не допустил!

Фелицын понял, что и майор - игрушка в чьих-то руках, поэтому ничего плохого ему не сделает. И по виду майора было ясно - он выдохся. Но тем не менее задал свой идиотский вопрос в тысячный раз:

- Где вы узнали о письме?

- Да надоело мне с вами говорить! - вспыхнул Фелицын.

Майор не обиделся. Майор лишь вздохнул. Он-то не раз уже видел таких бойких юношей. Что с ними случалось потом?!

Вызвал командир части Гуржеев, усадил в кресло, что-то ласково говорил, но Фелицын не слушал. Гуржеев смотрел на него почему-то заискивающе, как на капитана Козлова. Этот взгляд не понравился Фелицыну. Он сказал:

- Вы-то чего боитесь! Неужели в страхе приятно жить!

Гуржеев покачал казачьим чубом и отпустил. Фелицын проходил мимо волейбольной площадки. Игра затихала, и все отворачивались. Вечером увидел в дали аллеи инженера Ямпольского. Тот, заметив Фелицына, повернул назад и, обернувшись, ускорил шаг. Фелицын попытался догнать его, чтобы поговорить, посоветоваться, но Ямпольский почти что побежал, словно хотел опередить свою длинную тень. И Фелицын побежал, но споткнулся о выбоину в дорожке и упал. Ямпольский исчез.

И опять был день, и опять стучали мячи на волейбольной площадке. Чтобы не смущать играющих, Фелицын, одинокий и потерянный, шел в библиотеку. Библиотекарша, худенькая женщина с острым носиком, жена летчика, жалостно смотрела на Фелицына, давала книги, а потом всхлипывала за книж-

ными стеллажами. “Смотрят как на прокаженного”, - думал Фелицын.

Из библиотеки его и вызвали в штаб, когда прибыл из Москвы со свитой комиссар, невысокий человек с зарубцованной темной впадиной над левой бровью и прямоугольной щеткой усов. Он был одет в серый китель, застегнутый под горло, с отложным воротничком, без знаков различия.

Хмуρο взглянув на Фелицына, сказал с расстановкой:

- Ты никуда после армии не устроишься, мы лишим тебя всего! Ты даже не понимаешь, с кем имеешь дело!

- Я очень хорошо понимаю, - преодолевая дрожь, сказал Фелицын. - Я имею дело с людьми, которые попрали завет Ленина!

Ни один мускул не дрогнул на лице комиссара, но внутри его началась трудная работа. Он, воспитанный на ленинских трудах, прекрасно знавший завещание с XIII съезда партии, где оно читалось по делегациям, суть и смысл его, должен был вот уже несколько лет скрывать свои убеждения.

Двойственность, возникшая в нем, мешала ему нормально жить и работать. Серафим Герасимович Кашкин всецело разделял ленинскую мысль о том, что пролетарская революция, ее движение, ее размах, ее достижения облекаются в плоть и кровь лишь через диктатуру пролетариата, которая есть всесокрушающее орудие пролетарской революции, ее орган, ее важнейший опорный пункт, вызванный к жизни для того, чтобы подавить любое сопротивление классового врага. К обезвреживанию этих врагов и Кашкин приложил руку, особенно в 1937 году, когда в числе спецов занимался работой над следственными материалами, которыми было установлено участие группы военачальников (Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны и Гамарника, успевшего застрелиться) в антигосударственных связях с руководящими военными кругами одного из иностранных государств, ведущего недружественную политику в отношении СССР. Находясь на службе военной разведки этого государства, обвиняемые систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения о состоянии Красной Армии, вели вредительскую работу по ослаблению Красной Армии, пытались подготовить на случай военного нападения поражение Красной Армии и имели своей целью содействовать восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов...

Вслед за тем враги поползли, как рыжие тараканы, из всех углов: одни готовили диверсии на железных дорогах, другие планировали отрыв целых республик от страны, третьи по ночам в подвалах начиняли банки из-под тушенки взрывчаткой, чтобы взрывать заводы, четвертые создавали волчье логово вокруг идеологии троцкизма, пятые готовили передачу власти правым уклонистам, шестые объединялись в химических лабораториях, чтобы создать средство для отравления всех элеваторов страны... Впрочем, им не было числа. Но уже говорилось с великой трибуны о полной ликвидации остатков антиленинских группировок, о том, что разбита и рассеяна антиленинская группа троцкистов, что такая же участь постигла группировку правых уклонистов и национал-уклонистские группировки. Однако значит ли это, спрашивалось, что у нас все обстоит благополучно, никаких уклонов не будет и, стало быть, можно почивать на лаврах? Нет, отвечалось, не значит!

Остатки идеологии разбитых антиленинских групп, говорилось, вполне способны к оживлению и далеко еще не потеряли своей живучести, поэтому классовая борьба по мере продвижения социализма к сияющим высотам усиливается, обостряется, ожесточается.

Сколь ни фантастичны были вражеские происки, все они тем не менее вскрывались, отслеживались и пресекались. После соответствующих процедур враги сознавались во всех своих кощунственных замыслах и деяниях, и Кашкину ничего не оставалось, как отправлять их, согласуясь с тяжестью вины каждого, в три стороны, как в русской сказке, по трем дороженькам: либо к стене, либо в застенок, либо под необъятно-широкие небеса Воркуты и Магадана.

Разумеется, в Серафиме Герасимовиче Кашкине возникали некоторые сомнения по поводу того или иного приговора тройкой особого совещания, но эти "некоторые" сомнения снимались искренними признаниями обвиняемых. И в них Кашкин видел заклятых врагов ленинизма. Но всякий раз, когда приходилось иметь дело с такими, как Фелицын, Серафим Герасимович Кашкин терялся, однако никакими внешними проявлениями не выдавал себя, вернее - своей растерянности. И чтобы еще более ее скрыть, он становился грубее, властнее.

- От кого ты узнал о письме, об этой фальшивке?! На карту ставится твоя дальнейшая судьба! - сказал он так грубо и откровенно, что Дмитрий Фелицын съежился и понял, что произвол в лице этого контуженого докатился и до него.

Несколько вариантов источников письма пробежало в голове Фелицына, но он избрал, как ему показалось, самый надежный.

Кашкин внешне равнодушно, а внутренне напряженно, следил за юношей. Кашкину хотелось, чтобы юноша просто сказал: "Нашел там-то и переписал в тетрадь". И он бы соответственно развил этот ответ и смягчил, амортизировал акценты в следственных материалах. В Москве, когда Кашкину доложили о "находке" в авиационной части, о находке, за которую карали, потому что уже там, наверху, считали, что никакого завещания вообще не было, что вообще ничего до них не было (разве что лучина в избе!), что жизнь только при них началась, он мог бы наискосок наложить резолюцию, и все.

А он вдруг изъявил желание лично слетать на место, чему, впрочем, не удивились, потому что Кашкин любил вникать не в бумаги, а в людей. Тем более в случаях, когда в деле фигурировали неопубликованные, засекреченные ленинские работы.

К счастью, дело пока складывалось так, что удар по Фелицыну можно было ослабить при соответствующей технике делопроизводства, в чем комиссар Кашкин был умел. И в этом ему, не ведая того, помогал Дмитрий Фелицын.

- Вы знаете, я не хотел говорить, чтобы не подводить человека, - начал Фелицын, поняв, что с этим контуженым шутки могут выйти боком.

- Слушаю!

- Да уж что там! Я купил Салтыкова-Щедрина на Кузнецком мосту у одного человека с рук. Разговорились о сатире. Вот он мне и рассказал.

Кашкин удовлетворенно вздохнул и спросил:

- Как, эт-то, выглядит тот продавец? Фелицын тут же представил себе вымышленного продавца и нарисовал его словесный портрет: среднего роста, голубоглазый, с рыжеватой бородкой, с черным новым портфелем.

- Особых примет не заметил? - спросил Кашкин строго и про себя подумал: "Он даже лучший вариант предлагает. Молодец.

Версия очень дельная. Там на толкучке что угодно могут всучить: Есенина, Мандельштама, Белого, Волошина - в списках!"

Фелицын задумался о приметах, после короткой паузы сказал:

- Знаете, он звук "с" с излишним свистом произносит...

- Вот это хорошо! - поблагодарил, смягчаясь, Кашкин и, делая голос грубым и громким, продолжал: - Что же ты наших работников в заблуждение вводил? А еще, эт-то, комсомолец! Нужно было сразу же, как мне сейчас, правду сказать!

Кашкин приоткрыл дверь в коридор, увидел там навытяжку вставшего капитана Козлова и людей из свиты, ничего не сказав им, громко продолжил:

- Ты понимаешь, Фелицын, что тебе не место в комсомоле! - Кашкин особенно напирал на слово "не место", чтобы стоящие в коридоре мотали на ус...

Фелицын же внутренних размышлений этого человека не знал. Угрозы насчет комсомола очень напугали Фелицына, и он потеврянно смотрел на него.

- Пока, эт-то, иди! - сказал Кашкин, думая о чем-то более важном.

Что значило это "пока", Фелицын не понял. На общем собрании комсомольцев авиаполка речь держал комсорг Кошенков. Он клеймил Фелицына, сидевшего на сцене отдельно, на видном месте. Кошенков, нервно покручивая кольцо на пальце, бледнея и заикаясь, говорил, что таким не место в комсомоле.

Когда Фелицын отдавал красную книжечку а учетном столе вольнонаемной грудастой Насте, та шепотом сказала:

- Не переживай. Я учетную карточку тоже уничтожу. Как буд-то ты не был комсомольцем. На гражданке вступишь!

Дмитрию Фелицыну было стыдно и за себя, и за эту Настю, и за всех тех, кто голосовал единогласно за его "пособничество врагам социализма". Он смотрел на людей и видел, какие они беспомощные и жалкие, какие они невежественные. Но особенно он сетовал на то, что остался в одиночестве, что справедливость осмеяна и растоптана, что никто не пришел ему на выручку, что не к кому было апеллировать.

И это чувство беззащитности было самым мерзким.

Выйдя из комнаты учетного стола, Фелицын увидел в коридоре капитана Козлова. Тот, проскрипев ремнями портупеи, толкнул сапогом дверь в свой кабинет и сказал:

- Давай сюда!

Фелицын вздрогнул, побледнел и вошел.

- Садись! - сказал Козлов и сам сел к столу. Некоторое время прошло в молчании. Наконец послышался шум машины, зазвенели стекла в окне. Козлов провел ладонью по перекинутым с боку на бок залезанным редким волосам, едва заметно прикрывавшим лысину, приосанился и встал.

Послышались шаги, вошли чужие, не гарнизонные, лейтенант, черноволосый, с восточным лицом, и красноармеец, белокурый, с мясистым носом и пухлыми щеками. Когда спускались по лестнице, Фелицын нос к носу столкнулся с инженером полка Ямпольским. Тот от неожиданности на мгновение замер, затем как-то сдавленно, почти беззвучно, так что Дмитрий едва слышал, прошептал:

- Заложил Кошенков...

Фелицын еще ничего не мог понять, но чуткое сердце его так сильно сжалось, что кровь болезненно устремилась к голове и запульсировала в висках, дыхание перехватило, как будто в шею вцепились грубые руки, и, блеснув прозрачно на ресницах, упали на щеки слезы ярости и обиды.

- Шагай-шагай, - безразлично сказал скуластый, с раскосыми черными глазами лейтенант и легонько тронул коленом Фелицына, как трогают шенкелями замешкавшуюся лошадь.

XVI

Шел двенадцатый час. В доме не спали. Дежурная звонила по телефону в "Скорую". Зинэтула стоял в холле у окна и молчал. Игорь Дмитриевич Фелицын подавленно смотрел на его коренастую фигуру. Наконец послышался шум машины, ворота осветились фарами. Фелицын вышел во двор. Открыл ворота. Бежевая "Волга"-пикап с красными крестами по бокам въехала во двор, затормозив возле "РАФа" Зинэтулы. Запахло больницей.

Врач, оплывшая жиром женщина лет сорока, в мятом халате и в меховой шапочке, неохотно, как бы раздумывая: идти или не идти, взяла чемоданчик и, переваливаясь с боку на бок, с большим

трудом поднялась по ступеням крыльца. Она одна вошла в комнату. Фелицын постоял на пороге и прикрыл дверь.

Дежурная мяла пухлое лицо руками. Глаза ее были влажны.

Фелицын подумал о кратковременности жизни, поглощаемой прошлой и будущей вечностью, о ничтожности пространства, которое сам Фелицын наполняет. Кто поместил его сюда? По чьему распоряжению ему назначено именно это место, именно это время? Неужели каждый человек для себя есть все и с его смертью все исчезнет? Что же делать, за что зацепиться? По-видимому, нужно познать самого себя. Если это не поможет разгадать загадку, то, по крайней мере, поможет хорошо направить свою жизнь.

Появился певец в шелковой пижаме. Он шел в туалет, да так и остановился.

- Как это непонятно, - сказал он низким шепотом, выслушав Фелицына.

Врач быстро вышла из комнаты. Она села к журнальному столику, куда поднесли лампу, и принялась писать. Ручка была перьевая и ужасно скрипела.

Что нужно было говорить в таком случае, никто не знал. Каждый чувствовал себя не у места. Дежурная дрожащей рукой подала врачу учетный листок, где были данные Кашкина. Врач переписала их.

Фелицын смотрел то на нее, то на полосатую пижаму певца, то на глянцевую карту железных дорог, и думал о вечности. Он то снимал, то надевал очки. Дописав, женщина-врач оставила бумажку на столе, поднялась и направилась к выходу.

- Разве вы его не заберете? - удивленно кивнул в сторону комнаты Фелицын.

- А зачем? Нам он теперь не нужен. - И взялась за ручку двери.

Наступила пауза. Слышно было, как капала вода из крана в тигане.

- Э-э-э... Как же нам с ним?

- Звоните в милицию, - сказала вяло врачиха и вышла.

Заурчала машина. Выехала из ворот, очертив фарами большой полукруг. Фелицын хотел пойти закрыть ворота, но передумал. Дежурная толстым пальцем крутила диск телефона. Вызывала милицию.

Певец поежился в своей легкой пижаме, опустил голову и стал ходить из холла в коридор и обратно. Он забыл, что ему нужно в туалет.

Зинэтула сложил руки на груди, но тут же опустил их и отошел от окна. Фелицын поглаживал ладонью щеку, чувствуя подростскую щетину, затем снял очки и потер красную переносицу. Говорить стеснялись. Молчание было гнетущим. Все вдруг стали ощущать свои руки, смотрели на них, не зная куда их девать, как молодые актеры на премьере.

Через некоторое время во двор резво вкатил зеленый милицейский "УАЗ". Из боковой двери выскочил сержант в шапке и без шинели. За ним вышел лейтенант в фуражке и тоже без шинели. В руках лейтенанта была кожаная планшетка. Вошли в дом быстро. Затопали каблуками. Заглянули в комнату и остались в коридоре.

Лейтенант, высокий, узкоплечий, с впалой грудью, сел за тот же журнальный столик, где до этого сидела врач.

Глаза у лейтенанта были маленькие, юркие, как у хорька. Написав нужную в таких случаях бумагу, он прошелестев ею, тоже было собирался удалиться, но Фелицын, недоумевая, спросил:

- Что же, он так и будет здесь лежать? Лейтенант быстро пробежал взглядом по Фелицыну и проговорил:

- Мы не берем.

Фелицын растерянно пожал плечами, у него забилось сердце.

- Как же так?

- Вы должны брать! - твердо сказал Зинэтула. Лейтенант поспешно улыбнулся и стрельнул глазами по сержанту. То был молодой, недавно демобилизованный из армии парень с кудрявым светлым вихром волос, выбивавшимся на лоб из-под шапки, надетой небрежно на затылок. У него было сосредоточенное, угрюмое выражение лица.

- Не-э, - сказал он протяжно, как будто что-то вспоминал. - Кабы вот, к примеру, на дороге какой валяется или какой пьяный где лежит - так мы берем. А этот нам не нужен. Он не местный. Не нужен нам,

Лейтенант, удовлетворенный разъяснением сержанта, сказал:

- Вон во дворе автобус стоит. Попросите шофера да сvezите. Только в наш морг лучше не ездите. Там старуха дежурит. Что, она таскать, что ли, будет! А потом опять из Москвы приезжать забирать.

Фелицын раздраженно махнул рукой. Певец, насупившись, подошел к лейтенанту.

- Вы, уважаемый, должны все делать согласно законам, - сказал он тихим, глухим басом, на одной ноте, словно гудел, и отошел к окну.

- Нам не предписано. Мы свидетельствуем, и все. Дальше нас не касается. Нам живых хватает. Вон сегодня уже разов десять вызывали. То муж с топором за женой бегал, то в баре пацаны стекло витрины высадили, то водкой принялись торговать на автобусной станции...

Зинэтула покачал головой, сказал:

- Автобус во дворе мой. Я повезу... Идите... Ловите преступник. Мы сами.

Глаза у Зинэтулы были грустные, искренние и немного испуганные, словно он случайно сознался в том, что он шофер автобуса.

Лейтенант, довольный тем, что так просто все разрешилось, хлопнул по плечу Зинэтулу.

- Ну вот и хорошо. Вот человек понимает, - сказал лейтенант, сильно моргая глазами. - Сейчас же не лето. Вынесите его на снег. Не прокиснет. Вам же ночь спать.

Этот простой совет как лезвием полоснул Фелицына. Ему стало холодно от волнения. Он хотел обозвать лейтенанта бесчувственным человеком, но сдержался. Вместе с милиционерами Фелицын вышел на крыльцо. Лейтенант достал папиросу, закурил. Он, как бы оправдываясь перед Фелицыным, постоял некоторое время на крыльце, взглянул на небо. Была ночь. Мерцали синие крестики звезд справа и слева от снежной дымки Млечного Пути.

- Ну ладно, мы поехали, - сказал лейтенант, сбежал с крыльца и сел в "УАЗ".

Когда шум машины пропал вдаль, наступила тягучая тишина, такая, что было слышно, как тикают наручные часы. Фелицын прошел к воротам, закрыл их. Снег поскрипывал под ногами.

В холле Фелицын долго дышал на стекла очков и протирал их, пока к нему не подошел певец. Фелицын надел очки и вопросительно взглянул на него. Тот предложил свою помощь.

Вошли в комнату, где продолжала слабо гореть керосиновая лампа. Старались не смотреть в угол на лежащего Кашкина. Так, не глядя на него, задерживая дыхание, подошли к

кровати. Зинэтула первым коснулся одеяла, потянул его на себя, и краем его накрыл тело. Певец и Фелицын принялись помогать. Когда то, что было Кашкиным, завернули в одеяло, было уже не так страшно. Зинэтула ухватил сверток в голове, певец - в середине, Фелицын взял за ноги и почувствовал, когда сверток подняли, что он очень тяжелый. Из-под одеяла показалась нога.

Понесли к дверям, высоко подняв свои головы, топая и шаркая по полу, сопя и покряхтывая. Когда, волоча одеялом по полу, пронесли сверток мимо дежурной, то Фелицын заметил, что она быстро перекрестилась. С трудом протиснулись в двери, вышли на крыльцо спустились, оскальзываясь, по ступеням. Подошли к двери автобуса.

Зинэтула высвободил одну руку, чтобы открыть дверь, певец как-то замешкался, сверток поехал из рук, упал, глухо ударился о землю, как полено.

- Вы положите пока, ничего, - сказал спокойно Зинэтула.

Он открыл дверь. Сверток подняли и втиснули в проход между сидениями.

Вот и все. Какая истина сокрыта в человеческой жизни? И как постичь эту истину? Фелицын думал об этом и сознавал себя жалким, затерянным в пространстве, когда видимый мир не что иное, как одна черта на бескрайнем поле природы. Находясь между двумя пропастями бесконечности и ничтожества, не будучи в состоянии обнять ни бесконечно великого, ни бесконечно малого, человек стоит далеко от действительности. Знает ли он немного больше или немного меньше, он все равно далек от конца и начала вещей.

Когда вернулись в холл, дежурная, вздохнув, спросила шепотом:

- А где одеяло?

- Как где? Там! - ответил Фелицын, с недоумением смотря на нее.

У дежурной было такое выражение на лице, что она хоть и почувствует, но за сохранность имущества постоит. Она сказала:

- Так оно сорок рублей стоит! Мне нужно вернуть его.

Взяли с вешалки длиннополное пальто Кашкина. Звякнули в кармане ключи. Зинэтула сам полез в автобус и вскоре вернулся с одеялом в руках.

Фелицын открыл окно в комнате. Дежурная собирала белье с кровати Кашкина, сняла наволочку, свернула в узел и ушла. И это было мучительно наблюдать. Лампу задуло сквозняком.

Фелицын подумал о том, что не нужно иметь слишком возвышенной души, чтобы понять, что в этом мире нет ничего постоянного, что все стремления к фундаментальному постоянству только суета, что наши бедствия бесконечны, что, наконец, смерть, ежеминутно нам угрожающая, должна неотвратимо привести нас к страшной необходимости или навеки исчезнуть, или вечно быть несчастными. И вот, чтобы казаться самим себе счастливыми, мы вовсе не думаем о смерти, мы ее вычеркиваем из сознания, как будто мы бессмертны. Но как бы мы ни храбрились, конец придет и для самой прекрасной жизни и для самой ничтожной. За что же ухватиться? За надежду на другую жизнь? Наверное, большинство людей именно потому и счастливо, что приближается к этой надежде, неся в душе своей божественный свет вечности.

Чтобы отвлечься от этих невеселых мыслей и от подавленно-го состояния, Фелицын вышел в коридор. Певец стоял у телевизора, облокотившись на него одной рукой, и задумчиво смотрел на лампу.

- Пенсию буду оформлять, - сказал он, ни к кому не обращаясь, пригладил волосы и пошел в туалет.

Фелицыну в комнату идти не хотелось. Он собрал бумажки, написанные врачом и милицией, сложил их и сунул в карман. Фелицын думал о том, что случилось, и никак не мог придать этому реального значения. Все совершилось как бы не по правде. Он смотрел на желтое от света лампы лицо дежурной, на свои руки, и ему было странно и страшно, что в жизни для каждого такой удел определен.

Зинэтула закрыл окно в комнате. Быстро разделся и лег в холдную постель. Когда Фелицын вошел, он стал ворочаться с боку на бок, не находя себе места. Наконец через некоторое время, как-то удобно подложив ладонь под голову, мгновенно заснул.

Фелицын повернулся спиной к кровати Кашкина, принялся раздеваться. На душе у него было тяжело, хотелось лечь и забыть-ся. Хорошо, что кровать Кашкина отделялась столом. Фелицын придвинул стул и сложил на него свою одежду. Когда он лег под одеяло, то подумал об автобусе и о лежащем в нем на резиновом

рубчатом полу теле и о том, что завтра придется ехать с этим телом в Москву.

Как это все будет?

Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут завернуть, как полено, в одеяло и таким же образом, уронив, затолкнуть в автобус. Фелицын не знал за собой никакой вины по отношению к Кашкину, но чувствовал себя сплошь виноватым.

И вдруг радость окутала душу Фелицына. Он вспомнил сына, жену, Сергея, квартиру, кота Ваську, прыгающего по утрам на голые ноги, когда идешь умываться, вспомнил свой письменный стол в маленькой комнате, аквариум с рыбками, вспомнил родное и близкое, постепенно переходя из состояния приговоренного к смерти в состояние бессмертно живущего, потому что только бессмертные могут иметь в квартирах котов и рыб.

XVII

Черная тарелка радио продолжала играть грустные мелодии. Игорь забылся и не слушал. Он сидел под столом у “Ящи ди грушнае” и пассатижами разбирал железный грузовик. На носу Игоря были детские, с круглыми линзами очки. Игорь хотел узнать, что у машины внутри, под капотом.

Пришел папа. Шумно разделся и, напевая какую-то веселую мелодию, выключил плаксивое радио. Извлек сына из-под стола и в два счета помог разобрать машину. Игорь развел руки в стороны, сказал:

- Ничего там нет.

- Ну, это ты после того, как убедился, сказал, что ничего нет, а так бы не узнал. Убеждайся во всем сам! - громко сказал Дмитрий Павлович Фелицын, широко улыбнулся и обнял сына.

Отец снял пиджак, рубашку и, оставшись в майке, бросил через плечо полотенце, взял с полочки бритвенные принадлежности и разложил их на кованом сундуке, который стоял за ширмой. Из-под майки на правой лопатке выглядывала бледно-розовая с зарубцевавшимися рваными краями рана с кулак величиной. Потом папа, продолжая напевать: “Трам-там-та, трам-там-та-та”, пошел на кухню ставить чайник.

На кухне у плиты стояла Дарья в белой косынке, заплаканная до красноты, и помешивала ложкой в кастрюле. Пар поднимался к потолку, Дарья отворачивалась и протяжно, по-собачьи, поскуливала, кусая губы.

Дмитрий Павлович удивленно взглянул на нее, пряча улыбку, зажег конфорку и поставил чайник носиком от себя к стене. Дарья качнулась всем телом, вскинула голову и завопила:

- Как жить-то дальше бу-удем?!

Дмитрий Павлович не отреагировал. Ему стало стыдно, что взрослая женщина городит такой вздор. Во всей тощей, костлявой фигуре Дарьи было что-то обреченное. Дмитрий Павлович подумал о том, что масса людей живет только потому, что ими кто-то руководит, что они сами хотят иметь над собой руководителя, твердую власть.

Когда же властный хозяин опочивает навеки, они и сами готовы броситься за ним в могилу. Понятие внутренней чести, ощущение в самом себе воли к жизни не под чью-то указку, а согласно морали для них так же далеко, как далека вечно манящий горизонт. Эти люди, эти идолопоклонники, если ими не руководить, не приказывать и не указывать, превратятся в стадо животных.

Дмитрий Павлович еще раз взглянул на Дарью и вдруг против воли захохотал. Дарья, заподозрив самое худшее, метнула на него злой, дикий взгляд, стукнула ребром ложки о край кастрюли, вскрикнула:

- Такие, как вы!.. Такие, как вы!..

- Вы вот ложкой стучите... А ведь вначале это нехитрое приспособление делали из глины. Да. Но древние ассирийцы пользовались уже бронзовыми и медными ложками... Первые серебряные ложки на Руси были изготовлены в X веке для княжеской дружины... А такие, как ваша, из алюминия, появились во Франции в середине прошлого столетия...

Горемыка Дарья шмыгнула носом, и на ее лице выразилось раздражение.

- Все-то вы знаете! - бросила она и растерянно осеклась.

- К сожалению, не все, - сказал Дмитрий Павлович и шуливо добавил:- Знают все только дураки, а умные - разбираются.

У Дарьи вновь сморщилось лицо, и она, горячась, повторила:

- Такие, как вы!..

Но что сделали “такие”, Дмитрий Павлович не услышал, потому что горе перехватило горло Дарьи, лицо ее все перекопилось, и слезы побежали ручейками по щекам, крупная капля упала на желтый кафельный пол кухни.

Дмитрий Павлович, чтобы как-то сгладить неловкость, подумав, сказал:

- За женой сейчас еду. Сын же родился пятого марта!

Дарья прокрутила в своем курином мозгу это известие, наконец, поняв, в чем дело, сказала:

- Все равно, ноне грешно смеяться...

Конечно, этим она как бы простила Дмитрия Павловича, думая о нем как о глупеньком, не нужном для жизни интеллигенте, которых постепенно выведут, как клопов или тараканов.

Папа уехал за мамой. Игорь дождался дедушку. Папа сказал, что дедушка привезет детскую коляску.

Дмитрий Павлович вышел из подвала во двор “Славянского базара” и глубоко вздохнул. Ему казалось, что воздуха прибавилось. Это прибавление воздуха преследовало Дмитрия Павловича постоянно, после того как он слез со второго яруса нар, вышел из барака и покинул зону, чтобы погрузиться в товарняк и ехать на передовую в составе штрафного батальона.

Зеленовато-желтый воздух барака, как вода в аквариуме, вспоминался Дмитрию Павловичу. Справа - зарешеченное окно, из которого идет жидкий свет сквозь обледенелые стекла. Темные фигуры заключенных виднеются на первом и втором ярусе широких сплошных (от стены до стены) нар. Кто шьет, кто курит, сидя по-турецки, кто бессмысленно смотрит в одну точку...

Дмитрий Павлович нащупал в кармане пальто шоколадку, которую купил на службе в буфете для сына, вернулся, сбежал по лестнице в подвал и встретился с бородатым Аристархом Ивановичем.

- Поздравляю! - прохрипел Аристарх Иванович и расплылся в улыбке, отчего косматая, седая борода показалась Дмитрию Павловичу еще длиннее.

- Взаимно! - выпалил Дмитрий Павлович.

- Я еще никого не родил! - усмехнулся Аристарх Иванович.

- В другом смысле...

Аристарх Иванович мгновение соображал, затем покачал головой и мрачно сказал:

- Есть над чем подумать. - И взглянул на Дмитрия Павловича своими пронизательными глазами.

Вручив сыну шоколадку, Дмитрий Павлович спросил, где Вера, и, узнав, что она гуляет, сказал, чтобы, как придет, разогрела каштрюлю с супом и покормила Игоря.

Год назад Дмитрий Павлович закончил энергетический институт и работал теперь инженером в сети Мосэнерго... А до этого, в 1943-м, был тяжело ранен, то есть, как говорили, кровью искупил вину, после госпиталя, как механик по электрооборудованию самолетов, попал в авиационный полк, был награжден двумя орденами и тремя медалями...

Наконец пришел дедушка. Коляску он оставил у спуска в подвал, боясь, что один не скатит. С Игорем они с этим справились. Коляска была не новая, кто-то уже в ней катался. Клеенчатый розовый верх в некоторых местах потрескался.

Дедушка, как и папа, улыбался, потирал руки. Он принес пирожки, еще горячие, купленные на Воздвиженке. Игорь сидел на диване с валиками и высокой спинкой, вверху которой над маленькой полочкой, где стояли фарфоровые солдатики петровских времен, было продолговатое зеркало. Дедушка сел рядом и, глядя ласково на внука, спросил:

- Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Игорь сделал кислую гримасу и сказал:

- Ну, дедушка, и ты этот вопрос задаешь! Все взрослые спрашивают, спрашивают... Я устал отвечать. Я буду инженером, как папа!

- Это хорошо, - сказал дедушка. - Электричеству придается громадное значение. В жизни нужно приносить больше практической пользы. Один генератор, вырабатывающий ток, дает людям больше, чем тысячи генеральных речей с трибун...

Дедушка задумался и перестал жевать пирожок.

- Мне было тринадцать лет,- сказал он,- я учился в Донском училище, и один педагог, прощаясь с нами на лето, подарил каждому ученику книжку. Мне досталась книга Кареева о мирозерцании. Затем педагог просил нас написать ему ответ на вопрос "Кто кем хотел бы быть и почему?". Я тотчас написал на записке:

"Барклай-де-Толли. Он спас русскую армию от разгрома, но его не поняли и сместили". Из этого ответа можно заключить, что Барклай в то время на меня произвел сильнейшее впечатление.

Когда дедушка начинал что-нибудь рассказывать, комната словно расширялась. Это был тот период жизни Игоря, когда ему часто казалось, что он находится не в этой тесной подвальной комнате с узенькой полоской света в верхней части окна, а переносится куда-то далеко-далеко, куда увлекают его игры и дедушкины рассказы.

- Еще в детстве я восхищался Суворовым, его постоянными победами, скромным образом жизни и чудачеством, за которым он скрывал себя, свои взгляды. Столь же волновал меня образ Ермака, трагически погибшего. Однако на вопрос: кем я хочу быть, я ответил: Барклай-де-Толли. Значит, моя душа, душа отрока, пленилась честностью и героизмом этого полководца, значит, я ему сочувствовал, когда его за спиной называли немцем, изменником... значит, я понимал, почему Барклай в Бородинском сражении искал смерти, но - увы! - он не был даже ранен.

Этот случай с запиской, озадачивший педагога, так как за весь четырехлетний курс мне никто не говорил о Барклае, а я просто прочел одну популярную книжку по истории, где о Барклае совсем не говорилось в таких сочувственных тонах - напротив, на все лады превозносился Кутузов, - показывает, что душевный мир ребенка - сложная вещь. Уже в самых ранних годах у нас пробуждается сознание, способное различать кривду и правду жизни, среди обыденного, кричащего и подлого выделять нечто одинокое, но прекрасное.

Только после того, как рассказ был окончен и мысль завершена, Игорь задавал вопросы, что ему было не понятно. Такой у них был уговор с дедушкой. Сначала нужно до конца выслушать, а потом уж спрашивать.

Когда дедушка объяснял Игорю про Ермака, вбежала в комнату Вера в распахнутом пальто, с порозовевшими щеками, возбужденная от гуляния. Она бросилась к дедушке, обняла его и поцеловала в щеку. Длинные волосы ее, заплетенные в косу, растрепались. Банта не было. Он оказался у Веры в кармане.

Вера принялась хлопотать, понесла кастрюлю с супом на кухню разогревать.

Потом, когда сидели за столом и ели, она стучала ладонью по столу, как любила делать мама в редкие минуты раздражения, и говорила:

- Посадили за стол - ешь! Сидишь как сыч! А Игорю есть не хотелось. Он был сыт шоколадкой и пирожками. Но, побаиваясь сестру, он неохотно втискивал в рот ложку. Еще он обиделся на то, что и Вера сравнивает его с сычом.

- Дедушка, почему меня все Сычом дразнят? Я же не виноват, что ношу очки. И я вовсе не сыч. Просто мне интересно быть одному...

- Конечно, ты не виноват, - сказал дедушка, глядя на расстроенного внука. - Много есть жестоких людей. Они глупы и поэтому смеются над другими. Уважающий себя человек никогда над физическими недостатками другого смеяться не будет.

- Девчонки говорят, - сказала Вера, - на Трубной была такая жуткая толкучка, что темно было от народа. Кого-то задавили или затоптали, точно не поняла...

- Когда едят, то молчат. Иначе можно подавиться и сделается плохо, - сказал наставительно дедушка.

Дверь открылась, и все увидели маму. Она тихо улыбалась, лицо ее было бледно. Дети радостно сорвались со своих мест. Дедушка чинно встал и поклонился. Следом за мамой в комнату вошел папа со свертком в руках. В атласное стеганое ватное одеяльце, отороченное кружевами, было завернуто то, о чем так много думал Игорь. Папа положил сверток на кровать, приподнял клинышек узорной простынки, и Игорь увидел маленькое, сморщенное коричнево-красное личико брата и испугался.

- Как же я с ним на задний двор пойду? - огорченно спросил Игорь.

Весь вечер был в хлопотах. Изредка мама садилась на диван, брала братика на руки, расстегивала на груди платье и, отвернувшись к шкафу, кормила.

Антонина Васильевна была крупная, высокая женщина. Красивое лицо ее было чуть полновато, намечался второй подбородок.

Пышные темные волосы были собраны в большой пучок. Когда она говорила, то казалось, что голос исходит из неведомых глубин ее статного тела. Голос звучал мягко, бархатисто, как будто Антонина Васильевна не говорила, а гладила словами собеседника.

Антонина Васильевна кормила грудью братика, сидя спиной к столу, изредка оборачивалась, поглядывая на дедушку, находя, что он держится молодцом и одет прилично. Правда, воротничок

белой сорочки чуть-чуть посерел. Это пока она находилась в родильном доме. Все встанет на свои места. Она все перестирала, выгладит.

Дмитрий Павлович с бабушкой оживленно беседовали за столом. Игорь слышал, что они говорили о чем-то, упоминая слово "личность..."

Игорь уже лежал в своей кровати за шкафом и представлял себе личность. Но четко она не обрисовывалась. То выходил Аристарх Иванович с бородой, а то и вовсе незнакомый старик, какого он видел прошлым летом в деревне. Тот старик был с огромным крючковатым носом, с одним желтым зубом, который вылезал изо рта. Старик напивался пьяным, ходил, качаясь, по деревне и грозил мальчишкам колючим синим кулаком.

- Теперь жизнь должна сдвинуться, - сказал папа.

Игорю почему-то представился железнодорожный вагон, который нужно было сдвинуть с места.

- Все в нас самих, - сказал бабушка. - Мы желаем истины, а находим одну неизвестность. Мы ищем счастья, а ноим от несчастья и находим смерть. Мы неспособны не желать истины и счастья, но неспособны и достичь уверенности и счастья. Это желание оставлено нам столько же для нашего наказания, сколько для того, чтобы заставить нас почувствовать, сколь низко мы пали. Если человек не создан для Бога, почему же он счастлив только в Боге? Если человек создан для Бога, почему же он так противится Богу? Человек не знает, в каком ряду себя поставить. Он, очевидно, сбился с пути и упал со своего истинного места, не будучи в состоянии снова найти его. Он с беспокойством и без успеха ищет его всюду среди непроницаемого мрака. А ведь все, как я сказал, в нас самих.

- Так-то это так, но в социальном плане, - возразил папа.

- А что социальный! У тебя, Дмитрий, прекрасная семья. Все строится в тебе самом и в семье. И летоисчисление идет по семейному календарю. Вот, помню, году в 1909-м, когда отец дирижировал хором сестер милосердия, мне нравилась одна сестра, Оглоблина, пела она альтом. - Сказав это, бабушка взглянул на Антонину Васильевну, она улыбнулась ему. - Это была удивительно белая блондинка. Прямо какая-то снегурочка. Я, бывало, на нее заглядывался. Но и только. Познакомиться не удалось, да это было и невозможно. Я был простой, наивный мальчик. Поэтому роман

представлял в мысли, но не в действии. Ей, однако, я тоже нравился, так как она стреляла глазками.

Так вот, в праздники Вознесения и в Троицу хор пел последний раз. Дальше у сестер наступали каникулы, и они разъезжались по домам. Поэтому эти праздники были для меня грустные, ибо я знал, что скоро конец нашим переглядываниям.

Однако когда я сделался студентом, я совсем позабыл про снегурочку. Но вот эта однажды пережитая грусть в памяти осталась. К ней присоединилось уже настоящее грустное событие. Троицын день бывает всегда в воскресенье, а за день до этого праздника, то есть в пятницу, в восемь часов утра, умер в больнице мой отец. С тех пор эти дни получили для меня минорный характер.

Помню этот праздник еще по духовной школе - Донскому училищу. Обычно в это время происходили экзамены. Каждый час был дорог для подготовки, и стояние в церкви было, таким образом, потерей времени.

Бывало, стоишь-стоишь, уж кажется, времени прошлого много, а служба и не думает кончаться. Все читают и поют. Из трех молитв, которые читались на вечерне, мне нравилась за усопших, хотя в ту пору у меня покойников никого не было. Но мне приятна была самая мысль о молитвах за усопших, настроение общения с ними.

Я понимал тогда смерть как переход к иной, блаженной жизни и веровал в возможность связи с иным миром. Нравилась мне также мысли о могуществе Творца вселенной и выражения благодарности к Нему за дарование нам всем жизни и здоровья.

Реального мира моя душа еще не знала, и я витал в призрачных формах бытия.

Слева от нас - учеников - стоял инспектор в белом чесучовом костюме и длинными костлявыми пальцами как-то особенно крепился, подпевая хору учеников под управлением учителя пения Шевелева и в то же время подглядывая за рядами стоящих учеников, дабы к кому-нибудь придраться. Фамилия его была Добролюбов. Но любви он ни к кому не питал, а, увидев что-нибудь смешное в ученике, саркастически смеялся, трясясь всем телом. Иногда фотографировал некоторых учеников, показывая снимки, но самим карточек никому не давал.

После утомительной службы шли мы в общежитие, пили чай и готовились к экзаменам. А весна была обычно в полном разгаре.

Но все это отравлялось мыслью о двойках и единицах, переэкзаменовках...

Во время экзаменов навещал меня отец. Помню, как однажды он приехал, сели мы под липу, недалеко от собора, я рассказал о своих успехах, а он вручил мне кое-какие продукты - между прочим, колбасы. "Это, - говорит, - прислала тебе мама. Она тебя очень любит. Старайся, учись!" В таких случаях я впадал в умиленное состояние, но виду не подавал. И вот отца давным-давно нет, середина века закончилась.

Дмитрий Павлович вздохнул, воспоминания отца настраивали его на грустный лад. Он сказал:

- Да... средневековье кончилось. Помолчали.

Игорю за шкафом показалось, что средневековье - это что-то черное и дикое, когда по темному подвалу ходит небритый дядька в кепке, в ватнике и просит у детей деньги, а если те ему не дают, то дядька их убивает. Этот дядька однажды постучал в комнату, когда Игорь был один, и, кривя грязное, красное лицо, сказал, что его прислал отец за деньгами, потому что отец приехал на такси и ему нечем расплатиться. Игорь спросил, почему сам папа не пришел, страшный мужик, уже входя в комнату в своих тяжелых мокрых вонючих сапогах, сказал, что отец там с вещами. Игорь полез в шкаф, достал черную сумочку мамы, в которой хранились деньги, и отдал мужику огромную серую сотню.

Конечно, выяснилось, что папа никого не присылал и не приезжал на такси.

- Это приходило средневековье, - сказал Игорь и уснул.

XVIII

Грузовик "ЗИС-150", шипя воздухом компрессора при торможении: пш-пш-пшик, юзом скользил под гору по раскисшей от дождей глине проселка. Дальше было не проехать. Остановили попутную лошадь.

Дмитрий Павлович перетащил вещи в телегу, усадил в нее Игоря и помог сесте Антонине Васильевне. Когда телега поехала, Игорь жалобно смотрел сквозь закапанные изморосью линзы оч-

ков на удаляющуюся машину и оставшегося в ней вместе с шофером папу. Папа взял машину на работе и должен был возвращаться в Москву.

Эту сцену расставания Фелицын вспоминал почему-то всегда с неизменной грустью. Казалось, что он прощается с отцом навсегда.

В деревне была изба. В ней жила рыжая бабушка, мать мамы. В избе было темно и скучно. Фелицын не понимал, почему столько людей ютятся в маленькой, грязной комнате, где большую часть занимает непомерно огромная печь с облупившейся штукатуркой. Игорь сидел в углу на лавке под иконой и понуро смотрел в одну точку.

- Чой-то, ишь, насупимши?! - спрашивала бабушка. По утрам Василий, бывший матрос, с синими татуировками по всему телу (на спине, помнилось Фелицыну, была грудастая русалка с губками бантиком), ходил по комнатке, переступая через еще спящих детей и взрослых, и ругался. Его жена, сестра мамы, не хотела, чтобы Василий напивался с утра. А он искал брагу. Воздух в комнатке был густ и смраден. Спящие сопели, ворочались, отгоняя стаи мух, которые, попетляв, садились на дощатый закопченный потолок.

Рыжая бабушка в допотопной длинной юбке, в серой косынке и дырявой с заплатами кофте, беззубо шамкая ртом, гремела черными чугушками. Готовила она так невкусно, что Игорь не мог есть ее похлебки. Он ел только то, что делала мама. А бабушка, будто назло, в чугушки сыпала без разбору все подряд: пшенку, рыбу, картошку и не варила, а "томила".

Жена Василия недовольно бурчала себе под нос, а две другие сестры мамы, взрослые, но еще незамужние кобылки, проснувшись, начинали драться, вцепляясь друг дружке в волосы, из-за крепдешиновых платков, привезенных мамой в подарок. Они ругались отрывисто, по-бабьи, визгливо, не могли решить, кому какой цвет больше идет.

Двое сыновей Василия со скрипом чесали затылки. У одного сына вместо обычного пупка был толстый, как сарделька, отросток. Говорили, что в больнице ему плохо завязали пуповину. Этот с пуповиной отличался невероятным обжорством, за что его хладнокровно лупили деревянной ложкой по лбу. Когда он ел, на него страшно было смотреть, потому что глаза горели алчно, как у

хищника, и стреляли только в одну точку - в закопченный чугу́н.

Стол был дощатый, скобленный, серый. Некоторым обитателям избы сразу места за столом не хватало. Они ели стоя. Чугун ставился в центре, и все ели сразу из него обглоданными деревянными ложками. Другой сын, малоежка, громко считал, кто сколько ложек съел:

- Витька - пять, Тонька - три,- за что тоже незамедлительно получил в лоб. После удара он сидел некоторое время молча и потом, когда все уже забывали о нем, ревел натужно, басом.

Спустя некоторое время вновь слышался его голос:

- Витька - девять, Манька - шесть... Древний старик, обросший серыми с желтизной волосами, как леший, не слезал с печи который год. Он там, говорили, устроился помирать. Но смерть его не брала. Бабушка туда подавала ему еду в деревянной кружке. Было слышно, как дед чавкал. Иногда он выглядывал из черного провала, и Игорю казалось, что это смотрит Бог. Такое же, как на иконе, что висела в углу, желтое костяное лицо и остановившийся взгляд.

В соседней избе жил Былов, шофер. Там тоже была полна комната и было так же смрадно. Шофер время от времени куда-то ездил, но по большей части валялся пьяный на сеновале. У избы стоял его новенький трехосный "ГАЗ" с деревянным кузовом. Колеса успели обрасти салатным бархатистым мохом.

Жена напористо гнала Василия на работу. Тот не шел. Он был колхозным монтером. К центральной усадьбе тянули электричество от райгородка, и Василий лазал по столбам в железных когтях, с широким брезентовым поясом и цепью, обхватывающей столб. Видно, никто не подгонял "работяг" - и они работали когда хотели.

Игорю тоскливо и скучно было вечерами при слабом свете керосиновой лампы. Да и ту бабушка сразу гасила, приговаривая: "Индо хиросину не наготовишься... Избу спалите, неслухи! Прости мене, царица небесная..." А Игорь, злясь на мрак, говорил себе, что вот когда вырастет большим, свет проведет во все деревни, в каждую избу, чтобы можно было сидеть вечерами в светлоте, читать книги или играть. Игорь привез с собой в деревню книгу "Детство Темы", но дальше главы, где из-за кладбищенской стены показывается черная, страшная голова дворника, не пошел.

Подняв шум в избе, обругав всех грубыми словами, Василий

босиком вышел на мост, хлопнув дверью. Он пошел к Былову похмеляться. У Былова дочь родилась больной. Об этом Игорю шептала бабушка. Из рта бабушки торчало два обсосанных зуба. Фелицын не мог понять, почему бабушка не обращалась к стоматологу, чтобы вставить зубы. А ведь бабушке в 1953 году было всего лишь пятьдесят два года! Выглядела же она, по меньшей мере, на восемьдесят. Ходила, согнувшись, держась за грудь, кряхтела, ойкала, но часто зло била детей по затылку. Потом садилась на лавку, подбирала уголки косынки в щепоть и, поднеся ко рту, беспричинно плакала.

К обеду Василий с Быловым, мелким рябым мужичком с приплюснутым носом, были пьяны и пытались завести машину. Причем Былов был в майке - черная от загара шея и такие же черные кисти рук контрастировали с белым телом - ив длинных трусах, отчего волосатые ноги его казались спичечными. Василий с Быловым пили брагу в хлеву и были очень довольны, что никто не видел, как они пили. Это был высший класс - напиток, чтобы тебя во время процесса никто не обнаружил, а потом вдруг взяться ниоткуда и с притопами-прихлопами, хорохорясь, удивить народ. Былов орал:

По Дону гуляет,
По Дону гуляет,
По Дону гуляет
Казак молодой...

Только Былов полез в кабину, как выскочила его бойкая разгоряченная бабенка, толстая доярка, и шибанула деревянными граблями муженька по хребту. Ни одной мысли не шевельнулось в голове Былова, потому что мыслей там отродясь не было. Сознание Былова было подобно зеркалу, на что направишь его, то и отражает, не закрепляясь в памяти.

Обругав его гнусавым голосом по-матерному, жена заставила вытаскивать из дому дочку, у которой была огромная голова с вялым красным лицом - болезнь Дауна. Когда Игорь проходил мимо, она мычала - и ему было жутко.

Щипанцев, высокий, тощий и лысый бригадир, на котором одежда всегда свободно болталась, как на вешалке, живший на краю деревни, купил мотоцикл с коляской и носился по деревне,

поднимая пыль, от нечего делать. Приняв дозу с Василием и Быловым, он усадил их на мотоцикл и понесся прямо, разгоняя кур и гусей, никуда не сворачивая. А нужно было свернуть, потому что в конце деревни был глубокий, заросший крапивой и полынью овраг, в котором протекал мутный ручей и стояло несколько покосившихся, догнивающих банек. Туда и угодили с полного хода седоки, как на мотокроссе.

Они, как птицы, распластав руки, летели, а над ними, стрекоча мотором, кувыркался тяжелый “ИЖ”. Мотоцикл убил Щипанцева. Двое других отделались синяками и ссадинами.

Хоронили Щипанцева долго и нудно. Носили гроб по селу, пили водку несколько дней и говорили, что Щипанцев был хорошим человеком. Василий с Быловым сварили в развалюхе-мастерской обелиск из листов железа, содранных с комбайна, выкрасили краской серебрянкой и покатали на тачке к кладбищу. Там они поминали покойника целый день, безразлично глядя на поля и далекий голубой лес, на речку и кучевые облака, и пели:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку
И крепко же, братцы, в селенье одном
Любил я в ту пору девчонку...

После этих поминок с Быловым случился удар и его на лошади отвезли в больницу в город.

Старик с крючковатым носом ходил по пыльной дороге и, встретив Игоря, грозя, говорил, чтобы он убирался в свой “вонючий город”. Игорь не понимал, почему так говорит старик, от которого шел неприятный запах вместе с винным перегаром.

Антонина Васильевна вводила Игоря с глаз долой на реку, садилась на бережку и вязала. На реке было хорошо. Потому что была голая природа, без глумителей-людей и их мрачных построек. На реке Игорь видел выдру.

Еще Игорь любил убежать на край деревни в сарай к Ивану Матвеевичу, двоюродному брату бабушки. В просторном полутемном сарае в глубине своей усадьбы Иван Матвеевич пропадал целыми днями, ни с кем не общался и водку не пил. Поэтому все в деревне называли его придурковатым.

Он вырезал узорные, каких не сыщешь, наличники, делал разные мелкие вещи: ложки, чашки, солонки, матрешек. В сарае пахло столярным клеем, машинным маслом, дегтем, обработанным деревом. В короткие перекуры Иван Матвеевич садился на чурбачок у входа и долгим взглядом смотрел на заросший, тенистый сад. Игорь присаживался рядом на ступеньку и думал, почему Ивана Матвеевича называют придурковатым, ведь он совсем не такой и даже - умный.

Иван Матвеевич почесывал густые, нависавшие на глаза черные брови. И брови, и щеки, и подбородок, и нос были тяжелы, грубы, взятые в отдельности, но, в общем, соединяясь, они придавали лицу мягкое, даже добродушное выражение. Иван Матвеевич затапывал сапогом окурок, оживлялся, говорил:

- Смотри сюда...

Игорь смотрел на сапог, но спохватывался, понимая, что это плотничья присказка и что смотреть никуда не надо.

- Смотри сюда, - повторял Иван Матвеевич и загибал короткие пальцы. - Ручки выточил, доски уж острогал. Так. Ну, колесико тоже из дерева будет... Ты делай, я тебе помогу...

Через несколько дней приехал папа с братом Константином, которого взял из больницы, где тот лежал с дизентерией.

Дмитрий Павлович сразу же начинал трудиться. Его поражало то, что, кроме картошки, в деревне ничего не сажали. Говорили: "У нас ничо не растет". Дмитрий Павлович построил парник и посадил огурцы. Когда они проклюнулись, бабушка сказала с какой-то ненавистью, что все равно погибнут.

- Больно грамотны тама у городе... Мы тута кажно лето знам какое,- бубнила себе под нос бабушка и неизменно добавляла: - Все равно погибнут!

А Костик, которому уже было пять лет (то было в 1958 году), сказал:

- Я их засисю!

Но не защитил, потому что однажды ночью кто-то изрубил парник и побил стекла. Дмитрий Павлович вздохнул и принялся мостить дорожку у избы. В дождливую погоду по деревне нельзя было пройти. Дмитрий Павлович купил у председателя за две бутылки водки кирпичей и выложил ими площадку и дорожку.

Потом, когда у Дмитрия Павловича кончился отпуск и он уехал, Василий с остервенением выковыривал кирпичи, грузил их в ма-

шину Былова и, отвезя куда-то, продал, а деньги пропил с покупателем.

Наконец прибежали за Василием и сказали, что нужно идти на работу. Это когда еще Дмитрий Павлович гостил. Василий лениво поднял с каменного моста железные когти, пояс с цепью и сумку с инструментами. Дмитрий Павлович деликатно сказал:

- А я хотел с тобой на рыбалку сходить. Ты мне обещал бочажок один показать.

Глаза Василия вспыхнули. Он с радостью бросил амуницию под лавку. Позови Василия на Марс, он так же бросит свой инвентарь и полетит, лишь бы не работать.

Бабушка обнимала Игоря, крестила и говорила, что ей его жалко. Почему?

Потом электрические провода, в том же 1958 году, к концу лета, дотянули до деревни. Василий лазал по столбам, но разводку к домам не делал. Сидел на завалинке и ждал, когда придут приглашать.

Цену он назначал - бутылка.

Делал проводку, устанавливал пробки, черные счетчики. Помолвившись, старухи щелкали выключателями и не верили в электрическое солнце. В избах сразу обнажалась грязь и нищета.

Фелицын не мог понять, почему мужики, а их было не так уж и мало в деревне, не отремонтируют дома, не сделают террасы, не асфальтируют тротуары и дорогу, не пробурят в складчину скважину для воды, чтобы сделать водопровод... Почему?

- И-ых! - вздыхала бабушка, что означало философское осмысление действительности и глубину души.

Не восторгаться этой душой нужно, а негодовать! Негодовать на грубость и необразованность, на лень и пьянство, на воинственное себялюбие и нищенство. Фелицыну казалось, что все эти люди для того только родились, чтобы ухудшить свою жизнь.

Он редко их видел работающими. Сидящими - сколько угодно, все на тех же бревнах, которые десятилетиями лежали в ожидании какой-нибудь постройки. В огородах ничего, кроме разве грядки лука да моркови, не росло. Плодовые деревья выродились, и за ними никто не ухаживал и не знал, как ухаживать.

Славные комбайнеры, о которых радио прожужжало все уши, работали из 365 дней в году - 14, а то и того меньше. Игорь любил забираться в кузов к Былову, когда тот вышел из больницы, и ез-

дять в поле. Мама подвязывала очки за дужки резинкой, чтобы не спадали. Пшеница сыпалась в кузов вместе с головками васильков. Игорь лежал на теплой пшенице и смотрел в небо.

Под дырявым навесом так называемого элеватора женщины сгребали деревянными лопатами зерно. Его было так мало, что за неделю управлялись.

Что еще видел Фелицын? Видел огромного жеребца-производителя с круглыми, как подфарники на "ГАЗе" Былова. глазами и длинными ресницами, взятого в другом колхозе напрокат, и нескольких ребрастых лоша док. Видел дощатый, с соломенной крышей коровник, в котором коров хотелось жалеть и спасать от воли и сквозящего ветра. А люди, как слепые, копошились кто где, неизвестно что и зачем делающие.

Бабушка. Она привыкла сыпать в чугунок - с войны еще - все, что под рукой. Из тех же продуктов мама делала "объедательные блюда". Например, пшенку, запеченную в сметане. Если бабушке давали новую тряпку для вытирания стола, то она прятала ее на черный день и плакала. Спала бабушка за занавеской на узкой солдатской койке с дощатым настилом. Когда папа привез ей матрац, бабушка опять заплакала и сказала, что на мягком она спать не будет, потому что сразу смерть вспомнит.

Ну что ты будешь делать!

Можно, конечно, с другой стороны посмотреть. Бабушка. Душевная, много испытывавшая женщина-труженица. От себя кусок отрывает, отдает детям. Выходила-вырастила. Внутреннюю жизнь ее никто не видит. А ей весь мир кажется приглашением к мучительству. И она старается, чтобы так и было, потому что таким, как она, веками внушали, что лучшая жизнь впереди, за гробом, а здесь все временные жители. Это объяснение вульгаризированного православия, полагал Фелицын, вполне соответствовало образу жизни этих людей.

Однажды жена Василия приезжала в Москву, в "Славянский базар". Игорь смутно это помнил, потому что мал был. Но отпечаталась в памяти сцена: участковый и дворничиха Дарья кричат, чтобы она уезжала, потому что без прописки нельзя в Москве. Сестра мамы была беспаспортная, как при крепостном праве.

Об этом праве иногда с печи сообщал голосом покойника прадед, отец бабушки. Он говорил: "В мово бати тоды лошыдь була.- И приставлял бабушкино: "И-ых!"

Коверкали язык в деревне все кому не лень. Игорь сначала думал, что они притворяются, нарочно говорят неправильно, но потом понял, что по-другому эти люди говорить не умеют и, главное, не хотят уметь.

Они окали с какой-то похвальбой, а матрос Василий до того доокался, что говорил “стокан” вместо “стакан”.

Игорю казалось, что они не говорили, а мяли слова во рту для того, чтобы выплюнуть эти слова изуродованными, взятыми не из прекрасного русского языка, а из какого-то тарабарского.

1958 год был последним годом в деревне. На другой год Дмитрий Павлович получил от Мосэнерго садовый участок. Фелицын увидел новую природу и новых людей. На восьми сотках росли: огурцы, помидоры, лук, морковь, свекла, редиска, укроп, петрушка, чеснок, клубника, смородина - черная и красная, яблони, малина, ежевика; и цветы: флоксы, пионы, тюльпаны, георгины, гладиолусы, календула, розы...

За два месяца пробурили скважину, проложили водопровод. Замостили щебнем дорогу, дорожки на участке выложили плитками или засыпали гравием. Улицы ровные с воротами при въезде и калиткой...

Антонина Васильевна говорила:

- Ты, Игорек, судишь строго. У людей не было никаких прав. Денег им не платили, взять было неоткуда. Мой отец погиб на фронте. В войну я не знаю, что бы мы делали, если б не деревня. С Верой здесь и выжили.

Наверное, мама права.

То была еще не жизнь, а выживание!

Теперь той избы нет. Прадедушка и бабушка в могиле, во сырой земле.

Василий уехал с женой в Сибирь.

Там работает машинистом на железной дороге.

Сыновья его тоже работают.

Тот, что был с незавязанной пуповиной (потом ему сделали операцию), работает токарем в железнодорожном депо, другой - сцепщиком вагонов. Сестры повыходили замуж и живут в райгородке. Работают на химкомбинате, получают за вредность молоко.

У сестер свои дети-старшеклассники...

А все-таки изба запала в память, и иногда Фелицыну хочется вернуться в нее ребенком, когда все воспринимается как есть, без всяких оценок, и посидеть на лавке под иконой.

XIX

После того как не стало удава, Аристарх Иванович придумал номер с собаками. Целая свора этих собак появилась у них с Евгенией Ивановной. Маленькие, коротконогие, лохматые, они клубком выкатывали в подвальный коридор из комнаты и, обгоняя друг друга, мчались к лестнице. Черные, рыжие, белые, серые - всех мастей, они на мгновение наполняли подвал таким визгливым лаем, что казалось, в подвале живут одни собаки...

Продолжал работать с Евгенией Ивановной зеленый большой говорящий попугай. Утром и вечером Евгения Ивановна выносила попугая в коридор "проветрить крылья". Евгения Ивановна была облачена в длинный шелковый халат, расшитый золотыми цветами и павлинами. От нее всегда пахло дорогими духами. Благодаря косметике, лицо ее казалось молодым, хотя это была женщина в годах. Выдавали руки - сухие, с вздутыми синими венами. Наманикюренные ногти были длинны и напоминали алые копыя. Говорила Евгения Ивановна басом.

Попугай сидел на руке, чистил горбатым черным клювом зеленые перья и при этом издавал звук: "рэр-рэр-рэр". Евгения Ивановна поднимала руку вверх, попугай замирал, выпрямлялся и, когда рука опускалась, распахивал широкие крылья, с испода белесоватые, и хлопал ими.

Завидев идущую Дарью с помойным ведром, Евгения Ивановна делала шаг к двери, и попугай кричал:

"Дарррря прррроходи!" Дарья терялась, подозревая в Евгении Ивановне черную силу, и про себя думала, чтоб скорее она околела вместе со своими гадами. Особенно Дарья пугалась собак. Когда они выскакивали. заставая Дарью в коридоре, она стояла столбом с зашедшимся сердцем, а собаки тучей омывали ее со всех сторон. Некоторые ухитрялись проскакивать между ног. После

этого Дарья с полчаса не могла восстановить ритм дыхания и была бледна, как лебедушка.

Изредка гуляние с собаками доверяли Игорю. Тогда он сам, высунув язык, походил на собаку, носился из заднего в маленький двор, стараясь опережать четвероногих. Но те задавали такого стрекача, что своими прижатыми к голове ушами, вытянутыми телами походили на летящие артиллерийские снаряды. Обогнав Игоря, собаки сбавляли ход, оглядывались шельмовато, и Игорю казалось, что они улыбаются. Подпустив его к себе, они вновь срывались с места, причем от резвого старта у иных пробуксовывали ноги по асфальту, слышался скрежет когтей: шак-шэрк-ша.

Но вдруг Игорь вспоминал магическое слово. “Сидеть!” - и все лохматки мгновенно замирали и комично плюхали свои зады на асфальт.

- Стойку! - приказывал Игорь, придавливая указательным пальцем очки к переносице.

Собаки вставали на задние лапы и часто-часто перебирали согнутыми передними. Морды их в это время говорили: “Ничего, сможем и это”.

Однажды во двор приехала “Победа”, и Аристарх Иванович сказал Игорю, чтобы он собирался. Его приглашали. Уселись в машину. Собаки заполнили весь салон, они были на руках, между сидящими, на полу, на спинках сидений. Свесив языки и прерывисто дыша, они предвкушали быструю езду, которую очень любили, потому что замирали от восторга и прятали языки. Смотрели собаки в окна как люди, иногда даже оборачивались, следя за привлекающим их внимание объектом.

То было зимой. Снегу было много, но он все падал и падал. Время от времени Игорю казалось, что они не на машине едут, а летят в облаках, так было бело за окнами. Механические дворники на лобовом “стекле “Победы” с трудом раздвигали налипший снег, делая на стекле два прозрачных веера.

Потом ехали по длинной белой аллее, справа и слева проплывали высокие заснеженные ели с опущенными от тяжелого снега лапами. Ели походили на серебристые шпильки, которые надевают на макушки новогодних елок.

Потом был огромный зрительный зал с плюшевыми сиденьями и очень высоким потолком. Бархатный бордовый занавес, подсвеченный снизу рампой, чуть заметно колыхался. В зале было темно

и пахло мандаринами. Звякнул колокольчик, и занавес бесшумно разъехался. Вверху сцены на черном фоне задника переливался в свете алых, голубых, зеленых прожекторных лучей серебряный дождь.

Вдруг из черной глубины сцены показался в чалме, сияющей камнями, Аристарх Иванович. На нем была шелковая синяя кофта и алые широкие шаровары. Он остановился в полутьме. Свет погас и вдруг узкий яркий луч выхватил голову Аристарха Ивановича. Заиграла флейта, и голова стала... летать. По залу прошел шепоток: "Это его на руках кто-то носит!"

Но тут включились еще два прожектора, и - к ужасу зрителей - голова оказалась без туловища. Голова находилась в глубине сцены справа, а безголовое туловище сидело на полу по-турецки, поджав ноги, слева. И тут голова двинулась к нему, медленно приблизилась под заклинания флейты и прикрепилась к туловищу. Осветительная пушка держала под прицелом голову, юпитеры погасли.

Такого умения Игорь не мог предположить в Аристархе Ивановиче. Ну ладно, научил он в свое время Игоря указательный палец отрывать. Так это очень просто. Держишь ровно руку ладонью к груди. Пальцы вытянуты. Подносишь другую руку, незаметно сгибаешь под прикрытием указательный палец, приставляешь к нему согнутый большой палец другой руки, образовавшийся шрам прячешь и отрываешь, вернее - отводишь руку с якобы оторванным пальцем в сторону. Просто. Но когда Игорь показал этот фокус на уроке в школе, урок был сорван и в дневнике появилась запись: "Прошу родителей зайти в школу". Все перемены ребята ходили за Игорем, а он, показывая метров с двух и не позволяя приближаться, говорил, что "таинства фокусов охраняются государством".

Мало уметь делать фокусы, нужно хранить их в секрете. Никто не должен знать твоей кухни, наставлял Аристарх Иванович, иначе интерес к твоему искусству быстро пропадет. Пусть ломают голову. В этом ломании головы - половина загадочности искусства.

Между тем Аристарх Иванович принимался глотать огонь и шпаги. Потом наливал воду в тарелку и переворачивал. Воды в ней не было. Потом заставлял вращаться стол и приподниматься над сценой. Потом принимался вытягивать изо рта лезвия и так долго их вытягивал, что маленькая девочка, сидевшая возле Игоря, закрыла

личико ладошками и прошептала: “Все кишки изрезал, бедненький”. Потом Аристарх Иванович залез в поблескивающий черным лаком с красными виньетками сундук, его подняли на веревке над сценой, какой-то зеленый дядя вышел из кулисы с огромным серебристым пистолетом, стрельнул в сундук, он с треском развалился, но Аристарха Ивановича в нем не было.

Он стоял, поглаживая бороду, у рампы и кланялся. Аплодисменты гремели, и он кланялся, забыв, что нужно уходить. Бородастое лицо с большим носом, подсвеченное снизу, было зеленым, как у попугая.

Наконец на сцену выскочила мохнатая собачонка в юбке и фартуке, с метелкой в передних лапах, и грозно зарычала на Аристарха Ивановича. Он в страхе заслонился руками и попятился за кулисы.

Рыжая, лохматая собачка-дворник попрыгала на задних лапах, бросила метлу и с визгом умчалась. Тут на сцене появилась Евгения Ивановна в синем бархатном платье со звездами на колоколе подола. На плече сидел попугай. Он крикнул: “Дарррья пррроходи!” Собачка-дворник смиренно прошла по сцене, едва слышно поскуливая.

На сцену высыпала вся свора. А собака-дворник появилась в фуражке. Вынесли маленькие парты и столик. Собака в фуражке села к столу, остальные - за парты. Урок начался. Евгения Ивановна позвонила в колокольчик, и учитель, ошетинясь, так грозно зашелся лаем, что ученики, поджав хвосты, спрятались под парты.

Учитель в фуражке продолжал гавкать, пока вдруг не проскулил протяжно и не свалился под стол кверху лапками. Тут же ученики-собачки вскочили на задние лапы, образовали хоровод и принялись водить его по сцене.

На некоторых собачках были разноцветные юбки, на других штанишки. Наконец за учительским столом появилась новая учительница - белая болонка с огромным синим бантом. Ученики вскочили за свои парты. Затем поочередно подходили на задних лапах к столу, кивали головами, брали со стола тетрадки, в которых крупно было выведено “5”, и возвращались на место...

В фойе стояла елка до потолка, возле нее были построены домики, в которых выдавали подарки. Все дети уже получили подарки в ярких железных чемоданчиках, а у Игоря не было подарочного билета. Он вообще был безбилетник и дожидался

Аристарха Ивановича, который сказал, чтобы Игорь был у елки в фойе.

Наконец появился Аристарх Иванович - обычный человек, только с бородой. Он покопался во внутреннем кармане пиджака и достал три билета.

- Это тебе и сестренке с братишкой, - сказал Аристарх Иванович, наклоняясь к Игорю.

На них смотрели мальчишки в лыжных костюмах с заплатами на коленях и шептались:

- Смотри-смотри, вон артист, голову отрывал! Из подарочных чемоданчиков пахло мандаринами. Для Фелицына Новый год ассоциировался с запахом хвои и мандаринов.

А на другой день заглянула к Фелицыным соседка тетя Дуся Байкова, полная низенькая женщина с раскосыми глазами, пригласила Веру с Игорем в кукольный театр, но сказала, чтобы пришли со своими стульями.

Тетя Дуся Байкова работала контролером в театре. Кукольный театр помещался тут же, в "Славянском базаре", и в него можно было попасть со двора. Театр был маленький, свой, домашний. Игорь там часто бывал. И всегда без билета. Потому что билет купить было невозможно - их распределяли по школам.

Пришли со своими стульями. Тетя Дуся посадила Игоря с Верой у самой сцены сбоку. Какая шла пьеса, Фелицын не помнил, но только в каком-то страшном месте, когда разбойники напали на принца, Игорь вскочил со своего стула и полез на сцену заступаться. Он едва не схватил куклу-разбойника за голову, но Вера успела предотвратить покушение, вцепилась в брата и стащила его в зал.

Никто и не заметил! Каждый маленький зритель готов был лезть на сцену, чтобы восстановить справедливость.

Почему в ребенке так сильна потребность в справедливости?

Свет в зале гас, освещалась маленькая сцена, задник становился голубым, и почему-то верилось, что это небо. Появлялись куклы, обычные куклы, сделанные людьми, но они начинали жить, и ни на минуту не пропадала вера, что они живые. Только потом, после спектакля, как бы догадывался, что есть кукловоды, что они говорят за кукол, двигают их, раскрывают им рты.

Но почему некоторые люди довольно часто кажутся куклами, которыми руководят кукловоды?

Кукловоды. После спектакля, прибежав со стульями в подвал, Игорь с Верой принялись изготавливать кукол. Пошли в ход школьные нарукавники. Через часа полтора был готов кот, а чуть позже - собака.

- Папа, мама, смотрите! - кричал Игорь и нырял вместе с сестрой под стол.

Над столом появлялись кошка с собакой и начинали с громким лаем, мяуканьем, визгом драться, как настоящие животные.

- Потихе! - говорила мама. - Костю напугаете... У стены, где висела черная тарелка радио, стояла елка. Серебряный шпиль упирался в сводчатый потолок. На елке висели мандарины, конфеты, печенье. Новогодние подарки есть было жалко.

- Пускай они повисят для красоты! - восклицал Игорь.

- Пускай! - соглашалась Вера.

Но почему-то стали появляться на ветках пустые нитки. На этих нитках не хватало чего-то. Ясно чего. Иногда Игорь тайком снимал конфетку, иногда Вера - мандаринчик. Но делали вид, что никто ничего не замечает.

- Пусть висят!

XX

Александровский сад. Место гуляния с коляской, в которой лежал брат Константин с пустышкой. Когда он просыпался и ему надоело сосать пустышку, он ее с силой выплевывал. Порой пустышка вылетала за борт, в песок. Щеки у Костика были пухлые, с ямочками, смуглые. Да и весь он был каким-то смугляшом, как будто загорал на солнышке. На самом же деле - мама говорила - солнце ему вредно. Поднимали тент коляски, чтобы "упырек" был всегда в тени...

- Дедушка, а когда я родился, что было? - спрашивал Игорь.

Павел Львович бросал задумчивый взгляд на секретер, где стоял кувшин из цветного стекла - произведение отца бабушки. Калерии Николаевны, - и говорил:

- Постараюсь кое-что вспомнить из конца 1946 года... Подойдем к тому периоду с экономической точки зрения. Теперь это са-

мая модная точка. Помимо заработка, который не давал материального благополучия, пришлось кое-что загнать на рынке: продано было - отрез на пальто, брюки, полученные по ордеру, медный чайник. Вырученные деньги быстро были истрачены. Покупали масло, сосиски в гастрономе № 1, на Петровке и в "Москве", так что в некоторые дни ели прилично.

6 декабря удалось, хотя и скромно, отпраздновать именины. Тогда мне исполнилось 57 лет, когда ты появился на свет! Говорю в рифму! Работал я в то время в публичной библиотеке. Странно, что после работы все время хотелось есть. И притом чего-нибудь повкуснее...

Как нам всем надоели эти элементарные обеды? И как хочется вкусного! Совестно говорить, и притом в солидном возрасте, но это факт.

Не надо быть философом, чтобы из этого заключить, что жизнь тяжела и так ущербна, что приходится удивляться, откуда берется энергия на преодоление всяких трудностей и как возможна надежда на лучшее будущее.

Когда я оглядываюсь вокруг себя - на людей, вижу, что многие погрязли в материальном. Деньги и деньги! - вот движущая пружина. Несомненно, что для большинства людей жизнь - материальный процесс, а так называемое идеальное свойственно лишь немногим.

Как-то с Верой был в Третьяковской галерее. Обошли все комнаты. Верочка рассматривала картины с живейшим интересом. Я ей кое-что рассказал про боярыню Морозову. Когда мы возвращались домой, она заявила, что ей жалко Морозову. Некоторые картины ей трудно было объяснить. Увидав статую Христа работы Антокольского, она спросила: "Кто это? Почему руки связаны?" Я объяснил.

Кому-то дома, говорят, она сказала: "И тогда священников сажали". Рассматривая картины "Княжна Тараканова" и "Иван-царевич на Сером Волке", она обратила внимание на то, что одеяние их, в частности, бархат и парча, как настоящие. Я присмотрелся и убедился, что ее замечание правильное.

Сегодня днем мы с ней были на елке в Доме пионеров на улице Стопани.

Сперва на эстраде, а потом на сцене выступали артисты - клоуны, фокусники, жонглеры, гимнасты. Номера были удачные, так

что я смотрел с любопытством. Очень прилично играл духовой оркестр. В заключение все дети получили подарок - мешочек с лакомствами. По сравнению с прошлым 1945 годом подарок богаче.

Что можно сказать о погоде конца 1946 года? Судя по тому, что я часто хожу в шляпе, а не в шапке, можно признать, что зима пока что мягкая. Никольских морозов не было.

На днях достал полкубометра дров. До сего времени не удосужился сходить в милицию и продолжить срок действия паспорта. Наверно, нарвусь на штраф.

Так как нас от соседей отделяет фанерная перегородка, то я, а также и они (если мы дома) не включаем радио. А между тем бывают интересные выступления. Главный противник радио - Калерия Николаевна.

Новый год предстоит встречать в "Славянском базаре" у Дмитрия. Там хоть стены метровые в подвале, можно говорить. Игоря, когда спит, пушкой не разбудишь. Никого посторонних не будет.

За несколько дней до нового 1947 года на площадях устроили елки, а по сторонам - понастроили домики в русском стиле. Торгуют в этих домиках всякой всячиной, в том числе водкой и винами. В результате многие закладывают за воротник. Я видел, как один гражданин купил 200 грамм водки, то есть стакан, а к нему бутерброд - ломтик белого хлеба с красной икрой. Одним махом он выпил стакан и стал закусывать. Воображаю, как его потом развезет. Надо основательно поесть, чтобы выпить целый стакан. Вероятно, я бы обалдел.

Елки, собственно говоря, устроены для детей. Но детей, кроме уличных мальчишек, там нет, потому что их могут смять в гуляющей толпе. Зато молодежи много, которая и развлекается как может.

Как-то осенью встретил знакомую, старую сестру милосердия. Ей, по-видимому, лет 75. Она мне сказала, что была на Ваганьковском кладбище и посетила могилу моего отца. Я был удивлен, что могила сохранилась. Я лично давно не был, а на могиле матери не был со дня похорон, то есть с апреля 1942 года. Мне тяжело от сознания, что благодаря хроническому безденежью не могу привести могилы в надлежащий вид.

Как я смотрю на наступающий новый год? Довольно мрачно. Жизнь невероятно трудна, и уцелеют лишь те, кто способен к жизненной борьбе. В нынешнем году мы многое продали, и это нам

помогло. А в 1947 году продавать уже нечего. Следовательно, надо усиленно работать, а годы уже не те и силы стали слабые. Можно представить, таким образом, такое стечение крайне неблагоприятных обстоятельств, когда все полетит прахом. Что особенно меня огорчает, так это отсутствие одежды. Я донашиваю последнюю одежонку. Мне нужен костюм и какое-нибудь сносное пальто. Если это купить в комиссионном магазине, то потребуется несколько тысяч. Другими словами, купить их невозможно, но тогда в чем же я буду ходить? Так и остается вопрос открытым?

На зарплату существовать невозможно. Нужен приработок не менее тысячи рублей. Чтобы заработать эти деньги по совместительству, надо высунуть язык, то есть попросту заболеть. Возникает вопрос: что же делать? Ответа пока нет.

Гляжу на себя в зеркало: сильно постаревший субь ект, лицо худое, малосимпатичное. Кто мной интересуется и кому я нужен? Никому. Существую как одинокая планета.

Раза два имел удовольствие поесть сырковой массы. Очень вкусно! Если я об этом говорю, то есть о таких пустяках, стало быть, питание недостаточное и в организме - истощение. Давно не был под душем - совестно показывать свое исхудавшее тело. Опять возникает вопрос: как улучшить питание? Только путем усиленной работы, то есть путем приработка, но от работы еще больше хочется есть. Требуется удешевление продуктов питания, но этого в ближайшее время ждать нельзя, так же как и вообще удешевления всех предметов первой необходимости.

Часто чувствую такую усталость, что ничего не хочется делать. У нас в комнате очень пыльно. И вот глядишь на эту пыль - и не убираешь. Не пойму, что это такое: лень или я опустил. Наконец не выдерживаешь - и начинаешь в комнате наводить порядок. Думаю на днях помыть пол и снять паутину в углах, где она есть. Белья у меня мало, и я его страшно занашиваю. В театр не хожу - как-то нет желания, а когда и хочется сходить, то стесняешься: нет брюк в тон пиджаку. Надо серьезно заняться зубами - вытащить корни и сделать протезы. Нет ничего хуже, когда человек без зубов. Я со дня на день откладываю это мероприятие. Когда с кем-нибудь разговариваю, мне кажется, что все смотрят в рот, а там нет зубов. Надо бы заняться ртом, а денег нет.

Новый год встречали: Дмитрий, Антонина Васильевна, Калерия Николаевна, Вера и я. Игорь спал за шкафом и не мешал. Когда я

смотрел на маленькое коричневое личико Игоря, то хотелось думать, что он будет счастливым. Все самое худшее - позади.

Еда была скромная, но сытная. Водки было пол-литра. Во всех комнатах подвала "Славянского базара" была встреча, все были навеселе, но держались в рамках. Когда в коридоре курили, я рассказал присутствующим анекдот про пьяного генерала. Громче других смеялся Аристарх Иванович...

Прежде чем попасть к Дмитрию, бродил по площади Пушкина, а до этого заходил в библиотеку. Однако никого не видал, так как все разошлись в 7 часов по домам, спеша к встрече Нового года...

Александровский сад. Коляска стояла в тени сирени.

Выплюнув соску, Костик пыхился так проворно, что коляска вздрагивала. Костик лежал спеленатым и поэтому хотел высвободить руки, бил локтями в стороны. Если долго к нему не подходили, Костику удавалось вытащить руки, которые он тут же запихивал в рот и сжимал их беззубыми розовыми деснами, продолжая вопить низким голосом.

Бутылочка с надетой на горло соской с маленькой дырочкой была под боком. В ней был любимый напиток Костики - сладкий чай. От магазинного молока, которое хозяйки называли порошковым, он всегда плевался.

Игорь под присмотром мамы катил по Никольской коляску. Перед Историческим музеем сворачивали направо. Там был спуск к Манежной площади, и там когда-то - рассказывал дедушка - стояла Иверская часовня. В бывшем конном манеже, одноэтажном длинном здании, был гараж, откуда выезжали черные машины - "ЗИС-110" и "ЗИМы".

В Александровском саду было привычно, как во дворе "Славянского базара". Летают голуби-сизари и воробьи. Всюду скамейки, дорожки, посыпанные желтым песком или мелким дробленым кирпичом, и - множество детских песочниц. Такие крашенные зеленой, красной, синей масляной краской деревянные низенькие квадраты. Игорь любил песочницу, что находилась возле белоколонного арочного грота у Кремлевской стены. Стена была не реставрированная, многих кирпичей не хватало, как в китайской стене заднего двора "Славянского базара". Когда Игорь был совсем маленьким, он приходил к гроту с дедушкой слушать духовой оркестр, который играл в выходные дни и по праздникам.

У Кремлевской стены бегали дети. А Игорь возил на игрушечном грузовике песок к самой стене и строил там замок. Песок был чистый, речной и чуть-чуть влажный после дождя. От него приятно пахло водорослями.

На скамейках сидели пожилые люди, некоторые даже в домашних тапочках,- жители близлежащих дворов. Редкий заезжий бывал в Александровском саду. Потому что достопримечательностей там не было. Много позже открыли могилу Неизвестного солдата, посадили голубые ели, такие же, как вдоль стены за Мавзолеем.

Вообще приезжих в Москве почти что не было, тем более иностранцев. Впервые они появились в Москве в 1957 году, когда был фестиваль молодежи. А так - в Москве было тихо, нелюдно. Приятно сигналили автомобили (сигнал разрешался, потому что машин в городе было немного). Попадались еще черные "эмочки",

Мама оставила Игоря сторожить коляску, а сама пошла в ГУМ, отмечаться в длиннющей очереди за телевизором "КВН" ("купил, включил, не работает" - расшифровывали дети) первой модели. У мамы на ладони химическим карандашом было написано "26", и записалась она в эту очередь неделю назад, когда на ладони стояла цифра "541".

Игорь строил замок у Кремлевской стены, вылепливал из влажного песка башни.

- Чего ты, Сыч, в песочек играешь! - крикнул Мареев и дал Игорю под зад ногой - "пендаля", как выражался Мареев.

Марееву уже было двенадцать лет, а Игорю семь. В школу он должен был пойти осенью.

Игорь головой въехал в башню и разрушил замок. Едва не наступил на упавшие очки.

- Ладно хныкать! - сказал Мареев, видя, что Игорь скорчил физиономию.- Аида Москву-реку смотреть!

Москву-реку смотреть интересно, но брат Костик в коляске. Ничего, он надул щеки во сне. Уснул только что, высосав до доньшка чай. Теперь опять пеленки мокрыми будут. Ладно, он спит, можно и сбегать. Мареев не отстанет.

До этого Мареев послонялся по двору, нашел на помойке у черного входа столовой почти что целую фарфоровую кружку с небольшой трещинкой и отнес "домой. Этой посуды с малыми дефектами он натаскал полный дом. Они жили бедно и бестолково. Отец запивал на месяц, его выгоняли с работы. Мать, гля-

дя на него, тоже прикладывалась к бутылке. Красные, опухшие, они выносили вещи продавать на рынок. Мареев нес посуду в дом и мало интересовался обликом своих предков. Весь интерес Мареева был во дворе, в своих жертвах. Сережа Лавров, сын Дарьи, от него прятался. потом однажды пожаловался отцу, который ударил Мареева кулаком в зубы, отчего потекла кровь и зуб один стал качаться. Мареев теперь Лаврова не замечал. Игорь же не мог пожаловаться папе, да и папа не стал бы бить Мареева в зубы.

Пришлось идти на Москву-реку. Прошли мимо Мавзолея. По Красной площади мчались машины, сигналили. Транзит был и через эту площадь, пока лет через десять не запретили по ней беспричинно ездить. Хорошо бы запретить этим “крабам”, как называл автомобили Мареев, вообще въезжать в центр в пределах бульварного кольца. Что им делать в центре? Оставил машину у бульваров и иди пешком. Магазины? Завоз товаров? Да не нужны в центре, в старом городе, в Великом Посаде, в российском мемориале, магазины! Не нужны!

Если бы в центре не было магазинов, можно было бы спокойно побродить среди каменного музея, не опасаясь, что тебя шибут и затопчут стада мешочников, рвущихся в ГУМ, как к манне небесной, полагая, что только в ГУМе продаются самые лучшие товары. Здание ГУМа прекрасное место - лучше не придумать! - для картинной галереи, для музея...

Мареев набирал по пути камешки в карманы. У парапета набережной он высыпал их на гранитную поверхность и принимался швырять их в воду. Игорь смотрел на реку, и ему хотелось поплыть в лодке, плыть долго, как древние русичи плавали из варяг в греки...

Мареев врезал по шее, чтобы не мечтал, а собирал новые камни. Игорь перешел дорогу и стал бродить по вытопанной траве вдоль стены. Здесь Кремлевская стена была еще старше, чем в Александровском саду. Кирпичи сами вываливались и крошились. В одном углу, где выступала башня, Игорь набрал целую горсть дробленого кирпича.

Перебросав камни, Мареев тоже пошел к стене. Светило солнце. Мареев снял рубашку и лег на траву. Принялся загорать. Игорь последовал его примеру. Хорошо было лежать на траве под теплыми лучами.

Позже у этой стены они играли в футбол. Во дворе стало играть тесно. Да и что за футбол на асфальте? Между прочим, во дворе “Славянского базара” не было ни травинки, ни кустика, ни деревца. Вся улица 25 Октября закатана асфальтом, кроме одного места у проезда Куйбышева. Там во время войны упала бомба. Мама рассказывала. Эта бомба разрушила старый дом. Бомба так напугала маму, что она с Верой на другой же день уехала в деревню. Теперь на том месте, где упала бомба, единственный зеленый кусочек на всю улицу. Нет. Есть ещё. В самом начале улицы, где стоял Казанский собор, который сломали, прямо против ГУМа, - тоже газон. Там высаживали анютины глазки - голубые с черными сердечками. Анютины глазки - первые цветы, которые Игорь увидел...

После уроков брали мяч со шнуровкой, которых, наверно, сейчас никто и не помнит (с мячами было туго), и шли через Красную площадь на Кремлевскую набережную к стене. Играли трое на трое, площадка не позволяла большего. Ворота - пара кирпичей из стены.

Сейчас трудно себе представить, что у Кремлевской стены можно было играть в футбол. Теперь - строгость, чопорность, милиционеры. Стена отреставрирована кирпичик к кирпичику. И смотришь на нее с трепетом...

Полежав на траве, Игорь вспомнил про Костика. Мареев великодушно отпустил, сказал, что ему нужно зайти в писчебумажный магазин, который находился наискосок от ворот “Славянского базара”, на противоположной стороне (теперь там Худсалон). Марееву зачем-то понадобилась черная тушь.

На другой день это выяснилось. Он встретил Игоря во дворе и сунул ему под нос руку, на которой красовалась татуировка: “Век воли не выдать”.

- Хочешь, тебе наколю?

Игорь испуганно отшатнулся, промямлил:

- Неа, не хочу, папа ругаться будет!

Папа никогда не ругался. Но нужно же было что-то сказать!

Мареев сложил пальцы в кольцо, указательный и большой, как делают американцы, когда говорят “о’кей”, и дал щелбана Игорю. Тот стерпел, не заплакал. Спросил:

- Что значит - “Век воли не выдать”? Мареев и сам не знал, что это такое. Подобную надпись он видел у одного взрослого парня, который торговал значками “800 лет Москве”. Такой значок был и

у Игоря. Дедушка подарил. Значок напоминал щит, и, кажется, на нем был изображен князь Юрий Долгорукий.

- Так надо! - твердо сказал Мареев, любясь надписью. - Мне б теперь художника найти!

- Зачем?

- Хочу орла на груди наколоть. Во будет! - Он поднял большой палец.

...Игорь побежал в Александровский сад. Широкие сатиновые шаурвары развевались на ходу. Коляски не было. Часто-часто забилося сердце. Украли! Украли Костика. Игорь сбежал в дальний конец сада, под арку Троицкого моста. Нигде розовой коляски не было. Украли!

Мама говорила, что нельзя оставлять братика, потому что есть плохие люди, которые крадут детей. Брызнули слезы. В душе - отчаяние. Но не стоять же на месте. Действовать! Ах этот проклятый Мареев! Ему-то что! У него нет брата. Ходи куда вздумается.

Игорь помчался домой. По щекам текли слезы. Свернул под арку "Славянского базара", сбежал по наклонному спуску во двор - и сразу же отлегло от сердца: коляска стояла у оконных подвальных ям.

Но мамы не было рядом.

У коляски прохаживался Хромой с третьего этажа. Он тер платком потную шею. Тот Хромой, у которого внучки таскали вдвоем черный труп футляра виолончели.

Оказалось, что Хромой гулял в Александровском саду и увидел знакомую коляску (ее все знали во дворе), подошел - Костик вопит, Хромой стал покачивать, ища глазами Антонину Васильевну или Игоря, но тщетно - в течение двадцати минут никто не появился, и он покатил коляску к дому.

- Спасибо! - воскликнул радостно Игорь, забывая о слезах и страшном слове: "Украли!"

Хромой старик хмуро взглянул на Игоря и прохрипел:

- Голову за это нужно отрывать и спускать в сортире!

Слова эти еще раз порадовали Игоря, он развернул коляску и покатил ее назад, в Александровский сад, чтобы мама не догадалась.

Прикатив Костика к знакомой песочнице, Игорь принялся реставрировать песочную башню. Он успел построить еще две такие же, когда появилась мама.

Мама улыбалась, у нее в руках был выписанный чек на телевизор.

Вечером папа колдовал с комнатной антенной - длинной проволокой. Один конец он привязал за ручку окна, для чего нужно

было взбираться на высокий подоконник на табурете, а другой - за трубу за ширмой, где стоял кованный сундук.

Телевизор временно поставили на папин письменный стол. Теперь смешно вспоминать то чудо радиотехники. Экран - с папину ладонь - и линза на металлических изогнутых стержнях.

Линза напоминала аквариум, и в ней - говорил папа - дистиллированная вода.

Событие это запомнилось на всю жизнь. Перед телевизором, как в кинозале, Вера выстроила стулья и табуреты. Сидели - мама, папа, Вера, Евгения Ивановна, Аристарх Иванович, Андриановы, Сережа Зайцев и даже Дарья со своим сыном Сережей и мужем - подвыпившим плотником Лавровым. И конечно, Игорь.

Свет погасили. Экран засветился голубым окошком.

На экране появилась молоденькая девушка - Валентина Леонтьева.

- Это диктор! - с пониманием сказал Аристарх Иванович.

Странно было видеть диктора. Диктор до этого всегда был невидимкой, он сидел в черной тарелке радио, и его можно было представлять каким угодно.

Теперь к Игорю ходили "на телевизор".

"Ходить на телевизор" - как это непонятно теперь звучит!

XXI

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать...

- Хорошо, хорошо... Только побольше выражения! - сказал дедушка, когда Игорь прыгнул с табурета, на котором стоял как на сцене и декламировал стихи.

...Пойдем же, пойдем же по улице детства! Дома с лепниной, узорные карнизы, замысловатые окошки. Каждый дом наособицу. Геометрические измерения здесь ничего не расскажут. С современными параллелепипедами блочных коробков они в высоте не посостязаются. Но они выше, они просторнее - эти старомосковские дома! Обман зрения, гений архитекторов, импровизация из камня!

Ходи, восхищайся! Гляди на солнечные часы! Здесь стоял первый в России печатный двор и была напечатана первая русская книга! Завидуй готике здания центральной аптеки, глядя на нее от Лубянки: каскад уступов, окошек, бойниц, как будто замок приплыл на Москву от берегов Темзы. Каждый дом с характером, со своей повадкой.

Пойдем же, пойдем же по улице детства! Свернем в подворотню к китайской стене: здесь все неправильно, все вкривь и вкось, двор нарушает понятие о законах симметрии, здесь правит дисгармония, здесь каждая часть в отдельности хороша до самостоятельности, хороша до сумбура, который каким-то непостижимым образом рифмуется парно и перекрестно, и скачут строки в метрике камня, и изгиб улицы кажется прямизной, и дом к дому подогнан накрепко, навечно!

Пойдем же, пойдем же по улице детства! Здесь лязгали медные тарелки, басили и сверкали золотом скрученные, как улитки, трубы. А люди все шли и шли. Демонстрация продолжалась до самого вечера. И Игорь уже раза три сделал круг вместе с демонстрантами: по Никольской, по Красной площади, по Ильинке... "Удиуди", сплюснутые, обернутые серебристой фольгой мячики на резинках, пестрые бумажные цветы, которые дарили детям демонстранты...

И вот - в школу. Игорь идет впереди. Он в серой школьно-армейской форме: брюки навывпуск, гимнастерка, желтые, почти что офицерские пуговицы, широкий ремень с желтой пряжкой, на которой выдвлена не то бабочка, не то птица с буквой "Ш". Такая же эмблема-кокарда на совсем офицерской фуражке с фибровым, поблескивающим козырьком и клеенчатым узким ремешком, чтобы во время ветра можно было, ослабив этот реме-

шок, пустить его под подбородком, как завязки на зимней шапке. Игорь идет и удивляется, что на него посматривают прохожие, на его форму, на его выправку, на новые очки в легкой серебристой оправе, которые купила мама рядом, в центральной аптеке.

Прошли проходной двор № 11, а вот и дом № 9. Игорь взглянул вперед на фисташковый, шероховатый, как рыба чешуя, узкий, высокий конус Никольской башни Кремля и свернул во двор. Кожаные каблуки новых ботинок весело постукивали, и эхо гулко разбегалось в темном тоннеле подворотни.

Большой двор. Справа в солнечных лучах церковь, бордово-белая, узорчатая, разновысокая, с широким гульбищем, огражденным каменной балюстрадой. В центре двора - крытый железом куб вентиляционной шахты метрополитена с жалюзными отдушниками. На крыше этого куба любили сидеть голуби. По диагонали от входа во двор, слева и прямо, желтое древнее, без архитектурных излишеств здание школы, в которой Игорь будет учиться. Школа № 177...

У дедушки была старая азбука, по которой он давным-давно, аж в XIX веке, учился. В азбуке были буквы, ярко разрисованные. Какой-то причудливый человекообразный зверь напоминал Игорю птицу.

- Это симург, - говорил дедушка. - Симург соединяет в себе птицу, зверя и человека, то есть три царства: неба, земли и царства подземного. Эта буква называется аз. От нее произошло само название - азбука. Раньше приравнивали аз к букве альфа древнегреческого алфавита, эта буква считалась началом всех начал. "Я есть альфа и омега". Омега - последняя буква греческого алфавита. Аз - свет, основа мира.

Игорь смотрел на золоченую красно-зеленую буквицу, на крылья, ноги и хвост, на повернутую назад голову с золотым языком и думал - какое смешное существо основало мир.

- Не суйтесь, буки, поперек аза! - пояснял дедушка, когда Игорь рассматривал буквицу с лиловым человечком - буки.

Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро, Есть, Живете, Земля, И, Како, Люди, Мыслете...

Игорь остановился на буквице покой. Два человечка стоят напротив, смотрят друг на друга и держат над головой витую перекладину. У ног человечков - какие-то козлята...

Дедушка водит пальцем по буквице, объясняет:

- Это была моя любимая буква. Само слово "покой" полностью соответствует изображению. В центре, над головами, - трилистник познания. У подножия - два укрощенных зверя. Они едят из рук хозяев. Видишь у них во рту булки? Полнота знания, насыщение знанием дают душевный покой...

На другой картинке Игорь увидел человека, трубящего в золотой рог. В руке у него был жезл с трилистником.

- Рцем вен от всея души и от всего помышления нашего рцем... Это буква рцы, что значит "говори". Глагол повелительного наклонения...

- РЦЫ дальше, дедушка, рцы! - воодушевлялся Игорь.

...Двор наполнен детскими голосами. Первое сентября. Желтый кленовый лист шелестит по сухому асфальту, в солнечном свете он кажется остроузорным кусочком сусального золота, сорвавшимся с купола церкви, Игорь волнуется, по спине пробегает холодок. Он оглядывается на дедушку и папу, ища их поддержки. И они кивают ему с улыбкой, хотя сами волнуются и лица их бледны.

Молодая женщина, с длинными, веером лежащими на спине темными волосами, с большими, очень большими светлыми и добрыми глазами, подходит к старшекласснику, который держит табличку "1 А". Неужели эта красивая брюнетка - его учительница? - думает Игорь.

Она сжимает руки, подносит их к груди и тут же, сжатыми, опускает. Она что-то говорит и в такт помахивает сжатыми руками.

Первоклассники по ступеням поднимаются на крыльцо, входят в школу. Вот и она, табличка над застекленными широкими дверями, на которой написано, что в помещении школы находилась Славяно-греко-латинская академия и что здесь учился Михаил Васильевич Ломоносов. Примерно такая надпись была на табличке. У Игоря прервалось дыхание от испуга, потому что он понял, что забыл стихи, которые учил с дедушкой, стихи великого Ломоносова, под одной крышей с которым, лишь в разные времена, с интервалом в двести с небольшим лет, предстояло учиться Игорю Фелицину.

Ломоносов представлялся ему почему-то огромным, сгибающим голову даже под высокими потолками школы, озорным и своеобразным, ломающим остальным - маленьким ученикам - носы.

Грозная фамилия - Ломоносов!

Направо, на первом этаже, первая белая дверь с двумя створками - класс Игоря. Окна - во двор. Черные парты с откидывающимися крышками. На краю парты два круглых отверстия для чернилниц. У Игоря чернилница лежала в портфеле. Чернилница-непроливашка. Каждый ученик носил с собою такие чернилницы.

Учительница, глядя на учеников блестящими, любящими глазами, спросила:

- Кто знает что-нибудь о Ломоносове?

Игорь, любясь ее движениями и голосом, вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что он вместе с другими ребятами пришел в школу, что он смиренно сидит за партой, положив руки ровно, параллельно груди перед собой, и слушает эту добрую, прекрасную учительницу. Как ему повезло!

Еще вечером он представлял себе злую, кричащую "классную даму", как называл учительниц дедушка, и от ее устрашающего взгляда Игорь тушуетя, не знает ничего, что он знал, в голове пусто звенит и хочется бежать домой без оглядки.

Игорь вдруг отчетливо вспомнил стихи, встал и звонким голосом, рассказывая только для учительницы, прочитал их.

Учительница как-то уповательно слушала и прижимала сжатые руки к груди. Игорь уже сел, а она молчаливо смотрела в окно, продолжая прижимать руки к груди. Учительница нравилась Игорю все больше и больше, и дети, по-видимому, ей тоже были симпатичны, потому что она как-то ласково вводила их в условности школьной жизни, не подавляя...

Но каково было огорчение Игоря, когда спустя год он, возвращаясь из булочной, под вечер, когда небо над улицей стало темно-синим, случайно увидел Татьяну Евгеньевну - так звали учительницу - на ступенях парадного подъезда "Славянского базара" с молоденьким лейтенантом. И лейтенант быстро, отрывисто поцеловал ее в губы.

Этот поцелуй что-то разрушил в душе Игоря. Была надорвана невидимая ниточка, связывающая его с учительницей. Стало грустно, и не хотелось делать уроки...

Наверх в школе вела старинная лестница с ажурными чугунными перилами. Подумать только - по этой лестнице поднимался Ломоносов! Да еще какой-то известный - Третьяковский. Нужно у дедушки спросить - кто таков?

Пойдем же, пойдем же по улице детства!

- А вот это - Никольский крестец, - говорил дедушка, стоя с Игорем на пересечении трех улиц в Кремле: Никольской, Троицкой и Чудовской.

Открылись ворота Кремля, каждый мог прийти, смотреть, восхищаться. Солнце поднималось из-за Москвы-реки. Игорю десять лет! Как много!

Пойдем же, пойдем же по улице детства! Вспомним Николу Старого, греческий монастырь, давший название Никольской улице, в 1935 году переименованной в 25 Октября, дойдем до Лубянки, зажмурим глаза и увидим, оглянувшись, высокую красную Владимирскую башню Китай-города, Владимирские ворота, где в 1612 году Минин и Пожарский ворвались в Китай-город, увидим высокий храм, где ныне памятник Ивану Федорову, увидим фонтан посреди Лубянской площади, на который глядит огромный дом страхового общества "Россия", увидим на месте "Детского мира" двухэтажный дом с магазином "Мясо", куда Игорь ходил с мамой, увидим невероятную китайскую стену, опоясывающую Великий Посад... Откроем глаза и обнаружим, что дом страхового общества "Россия" стоит, но смотрит на памятник Дзержинскому, который устанавливали в тот год, когда Игорь прощался со "Славянским базаром"...

В этом месте повествования должен звучать марш "Прощание славянки". Напойте про себя! "Па-ра, па-пара..."

Многого не увидим сейчас на древней Никольской, не увидим Владимирской башни и ворот (теперь там метро "Дзержинская"), не увидим часть красной стены Китай-города, не увидим Николы Старого, не увидим Казанского собора (где аютины глазки сажают и газировочные автоматы стоят против ГУМа), не увидим Воскресенских ворот с Иверской часовней, не увидим...

Но все равно - пойдем же, пойдем же по улице детства! И стараемся сохранить то, что осталось...

На третьем этаже школы помещался просторный физкультурный зал со шведской стенкой и гимнастическими снарядами. В новогодний праздник здесь вешался занавес. Сестра Вера была полумесяцем в сказке Пушкина о мертвой царевне. В марлевым самодельном платье с блестками она проплывала с одного края сцены к другому. Игорю нравилась игра сестры.

Правда жизни была соблюдена - Вера очень походила на полумесяц.

После этого выходил на сцену Игорь и, поблескивая очками, читал стихи Ломоносова, особенно выделяя звонким голосом строки: “Что может собственных Платонов... Российская земля рождать...”

Но стихотворный, да и попросту учебный подъем пропал, когда вместо Татьяны Евгеньевны, которая вышла замуж за того лейтенанта и вскоре уехала с ним к месту службы, в класс вошла востроносая сухощавая женщина с желтой кожей лица, с каким-то тощим пучком волос на голове, скрепленным проволочными заколками, которые вечно торчали во все стороны и вываливались на стол, когда она ставила двойки в журнал. Женщина пренебрегала косметикой, считая, вероятно, что она и так достаточно хороша собой. Кто-то когда-то внушил ей, что воспитывать детей нужно по-армейски жестко, требовать, заставлять, принуждать.

То была несчастная женщина, которую от невыносимой скуки бросил муж и у которой на руках осталось двое детей, к которым она применяла даже телесные наказания. Она гордилась тем, что знала прописные истины, банальности и, произнося, допустим, что “семью семь будет сорок девять”, стояла над сжавшимся учеником, который написал “сорок семь”, с таким видом, как будто она постигла последнюю истину бытия.

Имени ее Фелицын не запомнил. Часто в тетрадах по математике он умышленно делал ошибки, особенно когда приходилось семь умножать на семь, тогда он радостно, вымарав пальцы в фиолетовых чернилах, выводил: “сорок семь”, чтобы дать понять учительнице, что она тупа, как эта цифра. С тех пор уроки делать не хотелось, потому что думалось, что это для нее - этой Мымры - он ходит в школу и учится. Такая учеба была не нужна!

Пошли двойки, на которые Игорь смотрел равнодушно. Мымра bila указкой по столу и кричала:

- Я таких тупиц, Фелицын, впервые встречаю? Разбаловала вас бывшая, любимчиков развела!

Игорь стоял нахохлившись, молча.

Мымра не понимала, как могла Татьяна Евгеньевна вывести Фелицыну за первый класс круглые пятерки. Ей казалось, что в голове этого мальчишки гуляет ветер. Узкое, вытянутое лицо, колючие волосы, мрачный взгляд увеличенных линзами глаз были ей неприятны.

Ветер там действительно гулял. Ветер Жюля Верна...

Но совестно было выдавать Мымре свои добрые чувства и мысли о прочитанном, о странных беседах во сне с Ломоносовым, который почему-то напоминал Мареева, о российских Платонах, о плавании под парусами из варяг в греки, о Барклае-де-Толли, о Ермаке, о философских и психологических сочинениях маленького дедушки...

Игорем, как и многими учениками, овладела скука. Ничего загадочного теперь в школе не было, и не верилось, что в ней помещалась Славяно-греко-латинская академия, и что в ней учился Михаиле Ломоносов. Воображение потускнело, и казалось, что в мире нет ничего загадочного и прекрасного.

И эта сухая учительница, и ученики, и черные парты, и церковь, видная из окна, если обернуться, - все теперь представлялось Игорю будничным, неинтересным. Он ужасался и спрашивал себя, как это и зачем попал в эту скучную школу, к этой злой, некрасивой учительнице. От мысли, что ему предстоит несколько лет встречаться с ней, ему становилось холодно и каждую минуту хотелось, чтобы прозвенел звонок.

А время тянулось так долго, что Игорь забывал, был ли он когда-нибудь дома или всю жизнь провел в этом чужом классе. И только когда он вспоминал дедушку и его рассказы, ему становилось легче...

Староста Люба Кучкина, с толстыми маленькими губками, пухлая, цыганистая, с черными скользкими, как будто смазанными растительным маслом, волосами и коричневой кожей лица девочка, не пользовавшаяся популярностью у Татьяны Евгеньевны, вдруг вошла в фавор у Мымры, следила за действиями ребят и доносила. Ей так нравилось следить, приказывать и доносить, что вскоре, по рекомендации Мымры, Любу избрали старостой.

Люба ходила по домам с инспекцией. Однажды она пришла в "Славянский базар". Игорь читал "Из пушки на Луну", чему Люба поразилась, потому что читала только то, что задано по учебнику. Ей в голову не приходило, что свободное время можно тратить на такую ерунду, как книги. Узнав, что Игорь не собирается делать уроки на завтра. Люба сказала: "Я все скажу такой-то (следовало имя-отчество Мымры)"...

Впрочем, зачем все это вспоминать! Теперь эта Люба, бойкая, нахрапистая бабенка, работает продавщицей в гастрономе на Ма-

росейке, где ее однажды увидел, застыв от неожиданности, Игорь и спросил, не она ли Кучкина Люба.

Та захохотала, вспомнив свою “физиологию” в классе, и отмахнулась, мол, дети были. Но тогда она была грозна не по-детски. Тупое, глуповатое лицо и эти губки, кругленькие, как пятак. Зачем все это было, зачем была Мымра, эта бездарная Любка... И почему их бросила Татьяна Евгеньевна?

Нет ответа.

Где все те дубовые методики, планы, программы, которых как огня боялась Татьяна Евгеньевна и которые боготворила Мымра?!

Где вся эта схоластика и инфантилизм ликбеза (а именно на уровне ликбеза работала Мымра)? Одну роль все то сыграло - раньше стала сесть голова и нервы дают себя знать.

Пойдем же, пойдем же по улице детства!

Что, если бы в класс к Мымре попался Ломоносов, написал бы он тогда, под водительством Мымры, хоть одну парафрастическую оду?

Школа - одно, образование - другое. Вот, пожалуй, что мог сказать Фелицын по здравому размышлению.

Пойдем же, пойдем же по улице детства! Разрешать учительствовать можно только влюбленным!

...Внезапно свет включился, и Фелицын понял, что он не спит, что лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок. Как только лампы в люстре зажглись, он быстро закрыл глаза от рези, затем встал и, глядя испуганно в угол, на кровать без простыни, с полосатым матрасом и подушкой без наволочки, с торчащими из нее белыми перьями, погасил свет...

Электричество.

Чтобы отогнать мрачные мысли, Фелицын стал думать о нем. Гениальное изобретение, которое окружает нас ежедневно повсюду, гениальное до того, что мы этого не замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим, как не ощущаем сердца, которое ежесекундно стучит в нашей груди. Но если прислушаться, думал Фелицын, то в каждой электрической лампочке можно услышать рокот турбогенератора.

Утром от бессонницы болела голова и, как ни странно, раздражал солнечный свет в окне. Фелицын надел очки. Зинэтулы в комнате не было. Слышался за стеной гул работающего двигателя. Фелицын встряхнул головой, оделся.

Когда он садился в автобус, то ни разу не обернулся назад. Фелицын сел на переднее сиденье у покрытого стеганой коричневой клеенкой капота.

- На станцию! - сказал он мрачно и плотнее надел шапку.

Снег искрился на солнце, слепил глаза. Проехали длинные торговые ряды, здание райкома, потянулся ряд серых, заваленных снегом одноэтажных домов. Над некоторыми крышами из труб вился дым. Показались громадные срезанные конусы градирен станции...

- Я не намерен оформлять внедрение без самого внедрения, - сказал главный инженер, лысеющий человек лет пятидесяти, важный и строгий. - Плановый останов турбины - в январе, тогда уж поставим вашу... крыльчатку...

Фелицыну спорить не хотелось, да он и не собирался этого делать. Сам бы Микуло главного переспорил и убедил. Главный был прав. Однако Фелицын сказал:

- Микуло просил оформить этим годом, для плана.

Главный метнул холодный взгляд на Фелицына:

- Да знаю я его! - Он поглядел в окно, затем на стены и потолок, подумал и сказал: - Неразбериха на руку таким, как Микуло... С двадцатых годов они стали создавать различные главки, тресты, управления, НИИ, КБ, чтобы обеспечить теплыми местами себя и себе подобных...

По всему было видно, что своим словам главный инженер придавал большое значение и, чтобы повисить им цену, старался произносить их медленно, даже, можно сказать, с торжественностью.

- Микулы всю жизнь занимались тем, что тоннами макулатуры оправдывали свое тунеядство...

- На техсовете возмущались недавно, - перебил его Фелицын, - что один завод делает одни турбины, другой - другие, третий - третьи! Запчасти одних не подходят другим...

- Иначе и быть не может! - воскликнул главный инженер. - Микуло ничего сам не разрабатывает, он лишь модернизирует... у

заводов-изготовителей свои мощные КБ, даже НИИ! Но... Ты гайку с правой резьбой делаешь, а я - назло - буду с левой делать, объясняя это тем, что при резком вращении гайка может скрутиться. А я бы шплинт поставил, и точка!..

Фелицын задумчиво смотрел на главного инженера, понимал, что из их разговора, каким бы он ни был умным, ничего существенного не вытекает, но, тем не менее, с интересом слушая, вспоминал Микуло. Тот всякой неразберихе радовался, нагоняя еще большего туману, потому что в этом тумане он был неуязвим, он разрабатывал, внедрял то, что можно было бы решить простой унификацией производства турбин. Но так бы сотни Микул оказались не у дел! И Микуло квалифицированно ставил палки в колеса, ратовал за инициативу и самостоятельность. Сук, на котором он сидел, рубить не собирался. И Фелицыну не позволял даже заикаться об этом. Заняв круговую оборону с подобными себе, Микуло не подпускал к этому суку вооруженных пилами фелицыных. И эту тактику Микуло именвал не иначе как научно-техническим прогрессом.

- С котлами - еще куда ни шло... А где котельщик? - спросил главный инженер.

- Умер. В машине лежит, - спокойно сказал Фелицын и поразился своему спокойствию, которое вдруг овладело им. Ему стало безразлично, оформит он невнедренное внедрение или нет, вообще - будет ли выполнен бумажный план или нет.

Главный инженер ошеломленно встал, подошел к окну и стал покачиваться с пятки на носок.

- Сгорание угольной пыли в объеме, - задумчиво проговорил он и спросил: - Чем помочь?

...Ехали быстро, изо всей дороги запомнился только приплюснутый, большой купол, выглянувший из-за белых стен монастыря на снежном холме и блеснувший на солнце золотом.

В Москве было много снега на улицах, но его не убирали.

Хотели уже сворачивать на Госпитальный вал, в морг, но вспомнили, что у Кашкина не было с собой паспорта. Нужен он или нет, Фелицын не знал, но все же решили заехать в Староконовский переулок. У Фелицына в руках был листок из Дома туриста с адресом.

- Что я скажу? Пойдемте вместе, - обратился Фелицын к Зинэтуле. Фелицын ощутил дрожь в руках и коленях. Ноги похолодели и, казалось, налились свинцом. Во рту сделалось сухо.

У подъезда голуби-сизари долбили корку хлеба. Пока поднимались в лифте, Зинэтула, глядя на бледное лицо Фелицына, проговорил:

- Я скажу. Вы не переживай. Что же делать. И эти его простые, понятные слова успокоили Фелицына. Он подумал о том, что Зинэтула, этот незнакомый человек, за сутки поездки сделался ему близким и что Зинэтула, несомненно, хороший человек.

Хлопнула с лязгом, закрывшись, железная сетчатая дверь лифта. Они остановились перед массивной дверью, крашенной под дуб, на широкой площадке, мощенной черно-желтыми кафельными стершимися плитками. Зинэтула, почесав подбородок, надавил на кнопку звонка.

Постояли.

Было слышно, как за дверью кто-то размеренно шаркает. Шаги то приближались, то удалялись, стихая. Зинэтула еще раз надавил на кнопку. В квартире продребезжал звонок, напомнивший Фелицыну прерывистыми всхлипами звонок в кукольном театре, когда он с сестрой Верой входил в полутемный зал со своим стулом.

Шаги за дверью продолжали слышаться, но никто не открывал. Зинэтула недоуменно взглянул на Фелицына, вновь прикладывая палец к черной кнопке. Потом, для верности, несколько раз громко стукнул в створку двери кулаком, так что дверь вздрогнула.

Возникла легкая пауза.

Шаги приблизились к двери, щелкнул английский замок, на пороге показался высокий, плотный парень в белой шелковой майке, синих тренировочных рейтузах со штрипками и отвисшими коленями. Парень был лыс, и лицо его показалось Фелицыну болезненно-глупым: толстые, скошенные вправо губы, опухшие щеки, ничего не выражающие глаза.

Парень держал в руке консервную банку, на которой Фелицын успел прочитать: "сельдь иваси в масле". Парень, как только открыл дверь, не обратив никакого внимания на звонивших, пошел с банкой через широкую паркетную прихожую в открытые белые двери комнаты, где виднелся большой овальный стол.

Фелицын с Зинэтулой недоуменно переглянулись и вошли в квартиру. Парень поставил банку на расстеленную розовую салфетку, отошел и, взглянув со стороны на банку, поправил ее, перенеся на два сантиметра влево, как будто это было очень важно.

Его протянутые к столу руки с растопыренными пальцами, откиннутая назад лысая голова с рыжеватыми волосами по бокам, необычайно широкие плечи придавали ему вид какого-то биологического робота, ранее неизвестного науке.

Затем он качнулся, чмокнув губами, и вышел в прихожую к холодильнику, который стоял слева от входной двери в углу у высокого окна. Из холодильника он извлек другую банку - сайру - и, держа ее перед собой на вытянутой руке, как драгоценность, пошел в комнату, к столу. С ней он постоял некоторое время у розовой салфетки, как бы размышляя, куда эту банку поставить, хотя на огромном столе, кроме банки с иваси на розовой салфетке, ничего не было. Наконец он опустил сайру возле иваси и, вымерив тремя сложенными пальцами расстояние от одной банки до другой, удовлетворенно качнул головой и вновь пошел к холодильнику.

Фелицыным и Зинэтулой овладел какой-то странный род стеснения.

Парень достал из холодильника третью открытую банку. То была морская капуста. Подумав, парень понес ее к столу и решительно не знал, куда ее поставить, поскольку несколько раз опускал ее то рядом с иваси, то рядом с сайрой, то между ними. В конце концов, он поднял банку с сайрой и на ее место поставил морскую капусту, а сайру поменял местами с иваси. Иваси же встала между ними. Парень достаточно оживленно потер руки и быстренько направился к холодильнику.

- Здесь проживает Кашкин? - спросил Зинэтула вкрадчиво.

Парень извлек еще одну открытую банку, на сей раз со шпротами, и, не ответив, направился в комнату. Определив местоположение шпротам, парень прошел в глубь довольно просторной светлой комнаты, где Фелицын увидел другие двери. Парень открыл их и отрывисто, гортанно крикнул:

- Ма-мамка, дя-дядьки!

Из дальней комнаты послышался какой-то скрип.

Наконец появилась седая, сгорбленная женщина в мятом платье в горошек, с упавшими на войлочные большие тапочки коричневыми подкрученными чулками.

Ноги у женщины были желтые, сухие, с толстыми, узловатыми, синими венами. Женщина быстро просеменила по комнате и, вытирая заспанные глаза тощими пальцами, вышла в прихожую.

Седые, редкие волосы были расчесаны на прямой рядок, и, глядя на них, казалось, что это белый голубь сложил крылья. У женщины был длинный нос, на кончике которого виднелись седые волосики, и большое родимое пятно над верхней губой.

- Э-э-э... Мы к Кашкину, - сказал Фелицын, поправляя очки за дужку.

- Его дома нету, - сказала надтреснутым, старческим голосом женщина и, увидев, что парень подошел в который раз к холодильнику, спросила у него: - Володенька, ты покушать собрался?

Володенька извлек очередную консервную банку с приоткрытой крышкой и понес ее в комнату, ничего не ответив.

- Я тебе, сынок, сейчас картошки отварю. Я быстро. Она начищена уже. Я быстро. Быстро... Сейчас, - засуетилась женщина и, забыв о вошедших, побежала, семена, на кухню.

Фелицын невольно пошел следом.

- Вы нам скажите, можем ли мы взять паспорт Владилена Серафимовича? - спросил Фелицын.

Женщина подожгла конфорку на новой газовой плите с стеклянной духовкой и поставила кастрюлю с чищенной картошкой на огонь.

Словно что-то сообразив, женщина спросила:

- На что вам его паспорт?

И Фелицын машинально, безболезненно вымолвил:

- Он умер.

Женщина всплеснула руками и закашлялась.

- У меня и ключа-то от его комнаты нет, - сказала она после паузы. Отреагировала она на сообщение довольно спокойно, и Фелицын понял, что это соседка.

Она подвела Фелицына к двери в глубине короткого широкого коридора, который начинался справа от кухни. Дверь была грязная, внизу заляпана рыжей мастикой. На двери висела записка на гвозде: "Меня нет дома".

Вспомнили о звякнущих вечером ключах в кармане пальто Кашкина. Зинэтула сходил за ними. Открыли внутренний замок большим ключом, затем английский - маленьким. Распахнули дверь в темную комнату, и в нос шибануло гнилым, прокуренным, кислым смрадом. Фелицын поморщился. Вошли. Комната была заставлена старой, обшарпанной мебелью. Везде лежали бумаги, папки, книги, какие-то коробки в беспорядке. Все это

было покрыто пылью в палец толщиной. Окна поросли желто-зеленым мохом, как будто их не мыли лет тридцать. У железной, с облупившейся краской, прямо-таки солдатской койки без простыней и пододеяльников стояло ведро, из которого пахло мочой. Фелицын вновь поморщился, и тошнота подступила к горлу.

Зинэтула, встав на стул, открыл форточку. Свежий воздух вошел в комнату, зашелестели пожелтевшие бумаги и газеты, ворохами лежавшие на грязном подоконнике, зашелестели недобольно, как будто возмущались этому воздуху.

В одном шкафу была выломана дверца, и Фелицын увидел застекленные плоские ящички с коллекцией жуков и бабочек, наколотых на булавки, с надписями по-латыни под каждым насекомым. Бросилась в глаза бабочка с перепончатыми крыльями, покрытыми чешуйками металлического блеска, и длинными пушистыми усиками. На спине был горбик, напоминавший сидящего, как на лошади, человека.

Притерпевшись к зловонию комнаты, Фелицын спросил:

- Нам нужен кто-нибудь из родственников.

Женщина сказала:

- А кто из родственников? У Владика никого и нет.

Она подняла ведро и засемила с ним из комнаты в туалет.

- Как ему не стыдно так жить! - вдруг воскликнул Зинэтула, глядявая за занавеску за шкафом, и пораженно застыл.

Фелицын посмотрел туда и тоже поразился. Гора пустых бутылок возвышалась до уровня человеческого роста. Какой-то немислимый склад стеклотары. Здесь были бутылки всех видов - зеленые, коричневые, белые - из-под коньяков, "Столичной", "Московской", зубровки, ликеров, наливок, настоек, бутылки с импортными этикетками, с винтами, плоские и пузатые, великаны и карлики-стограммовки, белотелые четвертинки... Самые верхние бутылки были еще чистыми, остальные же поросли пылью и паутиной. Над горой витал спиртозусный дух.

- Вот сердце и не выдержало, - печально сказал Зинэтула.

Вернулась женщина.

- Где же у него может быть паспорт? - спросил Фелицын.

- В ящиках стола посмотрите.

Фелицын принялся копаться в ящиках среди бумаг, карандашей, сломанных ручек и бесчисленных винных пробок.

- Так никого нету из родственника? - спросил Зинэтула.

- Он и женат не был! - воскликнула женщина. - Вроде разве я только и прихожусь. Мать его, Марья Петровна, как померла, то отец, Серафим Герасимыч, остался один. Ну, я прислугой была. До войны он меня прислугой взял... Жила я у сестры на Стромынке... Прописана там была... По смерти Марьи Петровны, в общем, мы сошлись с Серафимом Герасимычем... Расписались, это, значит... Да, - вздохнула женщина и продолжила: - Но уж очень стал пить Серафим Герасимыч - и до того, родимец, допился, что в 1956 году застрелился...

Фелицын застыл у стола.

- Я и ушла-то на минуту, - разговорилась женщина, - в магазин, а он возьми и стрельни себе в грудь, в самое сердце. Вот тут, в прихожей, - она кивнула на дверь, - где теперь холодильник стоит, лежал в луже крови. А я уж беременная была Володей. Ну что ж. Схоронили Серафима Герасимыча. Я родила Володьку. А Владик со мной ни словом, ни полсловом... Как сурок в своей норе. Сходит на работу, придет, закроется на ключ и записку вывесит: "Меня нет дома..." И к телефону просил не подзывать... По паспорту я Кашкина, и Володя - Кашкин, но, посудите, какие мы родственники! Чужие мы люди... Он, Владик, меня не признавал и не жалел, когда я по больницам лежала... У меня камни в почках были... Резали меня... Володя разве придет? Он только со мной до врача и обратно. Инвалид он у меня. Родился таким. Но смирный. - Кашкина рассказывала и сидела на краешке кожаного дивана, прорванного и продавленного в середине, с оголившимися пружинами.

Зинэтула вздохнул и спросил:

- Неужели он столько один выпил? - и кивнул за занавеску.

Женщина оживилась, сказала:

- Закроется и пьет. Но ни разу пьяным его не видала. Утром выйдет в ванную, умоется - и назад, в комнату. Даже брился только в комнате. Питался всухомятку. Я уж предлагала сварить ему первого хотя бы. Он ни в какую. На работе, говорит, обедал. Сам придет, пальто от бутылки оттопырено, а в авоське - четвертушка черного хлеба, колбаски грамм двести и сырок плавленый. Любил он эти сырки. И чего в них хорошего! Ничего...

- Вот он! - сказал Фелицын, наконец-то найдя паспорт в нижнем ящике стола. Паспорт приклеился к красному институтско-

му диплому и лежал на золотой медали за окончание средней школы.

Женщина скрипнула диваном, встала и, выходя из комнаты, беззлобно сказала:

- Проклятая жизнь! Все кончается не радостью, не счастьем, а смертью!

Она остановилась на пороге.

- Какой же способный был Владик, сколько в нем было молодости, мечтаний! Его любили все. Но прозевал свое время, не женился. И вот... Ни детей, ни родственников, никого. Одним словом - бобыль!

У Фелицына в душе не было уже ни беспокойства, ни страха. Появилось лишь чувство брезгливости и необходимости отправить в последний путь этого несчастного, как думал Фелицын, человека.

Фелицын вышел в прихожую, остановился у окна. Он смотрел на маслянистое пятно на полу возле холодильника, которое, скорее всего, было от Володиных консервов, но ему почему-то виделась кровь. Он хладнокровно поднял трубку телефона, стоявшего на холодильнике, позвонил в котельный отдел и сообщил, что их сотрудник Кашкин скоропостижно скончался.

А Кашкина продолжала что-то говорить, как будто ни с кем в последнее время не говорила...

В КБ с Кашкиным Фелицын изредка встречался, обменивался дежурными приветствиями, не более...

Когда отъезжали от серого дома, Фелицын был уже совершенно спокоен и несколько раз безбоязненно оглядывался на труп, укрытый длиннополым, потертым темно-синим драповым пальто.

У метро Зинэтула притормозил.

Фелицын выскочил из автобуса и увидел под аркой профорга Маврина, уверенного в себе человека, шустрого и маленького, с бородкой, с заметным брюшком. С профоргом были двое сослуживцев Кашкина из котельного отдела, которых Фелицын знал шапочно.

Передав им бумаги, написанные вчера вечером в Доме туризма врачом и милицией, вместе с паспортом, Фелицын сопровождал их до автобуса и сказал, прощаясь, Зинэтуле:

- Вы уж отвезите, а я в метро доеду. Спасибо вам за все!

- Не за что, - сказал грустно Зинэтула и тронул машину.

Покачиваясь в вагоне метро, Фелицын вдруг вспомнил философа Кашкина, его слова о том, что его плоть генерирует дух и в ком-то горят его лампочки. Фелицын усмехнулся.

Выйдя из метро, он свернул в переулок и направился к зданию КБ.

XXIII

- Пап, елка горит! - воскликнул Павлик, шедший сзади.

Фелицын обернулся, осмотрел елку, которую нес, но ничего не заметил. Через некоторое время Павел повторил:

- Елка горит!

У Фелицына устала рука тащить елку. Он положил ее на снег. Елка была большая, пушистая, тяжелая. Они подоспели как раз к разгрузке и купили самую лучшую елку. Связали шпагатом, отчего она стала походить на кипарис, и понесли.

- Елка горит! - неумоимо повторял Павел, ежась от холода. Лицо его было бледно и серьезно. Он не пожелал надевать шубу - был в нейлоновой красно-синей куртке на синтетическом меху.

- Да где она горит?! - возмутился Фелицын, обводя елку взглядом от комля до макушки.

- Вон! - сказал Павел и вскинул руку в красной рукавике, жадно, не мигая, всматриваясь вперед.

Фелицын взглянул вдаль и увидел в конце улицы горящую елку. Она стояла на снежной площадке и переливалась в сумерках огнями разноцветных лампочек... Ему почему-то вспомнились рассуждения дедушки:

- К вечеру магазины заполнились покупателями. Сразу чувствуется, что многие решили встретить Новый год. Поразительно, какой необычный день! Каждый человек, чокаясь в двенадцать часов, заглядывает в будущее, стараясь себя ободрить хорошими пожеланиями перед неизвестным.

Действительно, ничего неизвестно. Пожалуй, шутивное отношение к жизни - самое верное. Раз человек - не хозяин жизни и все его искусство состоит лишь в том, что он ловко до поры до времени отражает всякие беды, то он вправе, в конце концов, иро-

ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ

нически взглянуть на жизнь, усмехнуться и тем доказать свое превосходство перед равнодушной природой и непонятной вечностью.

В данном случае я имею в виду не верхоглядство и легкомыслие, а, так сказать, философскую иронию, при которой человек и в радостях, и в горестях оказывается себе на уме: мол, не верно, что жизнь хороша, не верно, что и плоха. Она - нечто, о чем не стоит рассуждать. Постараемся в ней получше устроиться, а если не удастся, то - наплевать. Однако это - только мысль, а всю жизнь я поступал иначе.

Любопытно, что за всю свою жизнь, встречая людей ежедневно и ежечасно, я, однако, не встретил ни разу субъекта, который бы был озабочен вопросом: да что же, наконец, представляет собой жизнь, какой смысл всех явлений? Получается представление, что все про себя втихомолку решили, что лучше таких вопросов не задавать. Сколько, мол, ни думай, - ничего не придумаешь, а с ума спятить можно. Так уж лучше не думать, а заниматься текущими делами...

После встречи Нового 1964 года, 5 января, дедушка умер.

...Когда принесли елку домой и развязали, кот Васька, дымчатый, пушистый, коротколапый, сиганул со шкафа, как рысь, в пахучую, колючую хвою. Тут же, как на пружинах, он подскочил над елкой, выгнул спину, вздыбил шерсть, сверкнул огромными глазами и юркнул под диван.

Ольга пришла с работы как всегда с полной сумкой продуктов. Щеки у Ольги были нежно румяны, и она, против правил, улыбалась. В ее ушах поблескивали изумрудом бусинки сережек.

- Ну, как твой Микуло? - спросила она, и в ее пронизательных глазах вспыхнули искорки.

- Разве он мой? - достаточно холодно сказал Фелицын.

Дело в том, что за неделю до Нового года Федора Григорьевича Микуло парализовало. Плачущим голосом позвонила его жена, Татьяна Евграфовна. Фелицын нехотя согласился заехать в больницу.

Федор Григорьевич лежал неподвижно, утонув в подушках. На желтом, небритом лице его появились коричневые пятна. Переносица совсем ввалилась, поэтому картофелина носа с раздутыми ноздрями казалась еще больше. А в маленьких пуговках глаз, что странно, не померкла начальственная властность. Говорил Федор

Григорьевич плохо, трудно ворочая языком. Ему, по всей видимости, хотелось сказать многое, и по глазам это было заметно, но тело не подчинялось воле. И от этого Федор Григорьевич иногда смеживал веки и в уголках глаз появлялись капельки слез.

- Как хочется... узна-ать, что... будет... да-альше! - вдруг медленно, комкая слова, вымолвил он. - Как хо-очется.

Судя по всему, дела его были плохи. Фелицын подумал о том, что кончилось их время. Но как долго оно длилось!

Татьяна Евграфовна встретила Фелицына в коридоре. Лицо ее, всегда свежее, жизнерадостное, подурнело, осунулось. Появились ранее не заметные морщины возле губ и глаз. Она взяла Фелицына за руку у запястья и сжала.

- Как за стеной жила за Федором Григорьевичем, - сказала она и всхлинула. - Теперь вот не знаю, что делать, как быть... Нужно пенсию хлопотать. Я же никогда нигде не работала. Была в себе и ужаснулась, как все в жизни сложно. А я ничего не знала.

В конце коридора показался Лева. Джинсы заправлены в сапоги, белая короткая куртка, шарфик выбивается из-под свитера. Лицо у Лева было бледным и каким-то заостренным, своими усами он походил на моржа. Глаза не могли остановиться на одной точке и блуждали по сторонам.

- Теперь вот Левину квартиру нужно продавать, съезжаться.

Лева обнял мать, сказал:

- Да ладно тебе... Как он? - кивнул Лева на дверь палаты.

Татьяна Евграфовна не ответила, она как-то сжалась и в одну минуту превратилась из пышущей здоровьем женщины в старуху.

Лева подвез Фелицына на "Жигулях". В Лева появилась уверенность, которой раньше не замечалось. Теперь над ним никто не стоял, и он знал, что делать. Он уже подал заявление на развод. Сын Антон был прописан с ним, в новом двухкомнатном кооперативе. Теперь он продавал этот кооператив и переселялся в квартиру к матери. Машину он тоже собирался продать, чтобы купить новую - "восьмерку".

Когда больница осталась далеко позади. Лева усмехнулся в усы и засвистал себе под нос какой-то веселый мотивчик.

- Ну, как там в отделе? - спросил он между прочим.

- Плохо, - односложно ответил Фелицын.

- Все встанет на свои места, - сказал Лева и, подумав, улыбнулся и добавил: - Сильный съест вкусного!

В отделе на Фелицына посмотрели настороженно, а Ипполитов, расстелив на столе ведомость уплаты партийных взносов, правил спадающие нарукавники, привстал и склонил голову.

- Сергей Михайлович, партийные взносы принимайте, пожалуйста, в нерабочее время.

Сказав это, Фелицын резко отвернулся, потому что почувствовал, что розовеет от смущения, и быстро прошел к окну, где стоял стол Микуло.

У Ипполитова застыло лицо и зашлось сердце. Он поспешно прижал черной перчаткой протеза угол ведомости, здоровой рукой сложил ее и сунул в ящик стола. Ипполитов опустился на стул, разложил перед собой текущую работу, но цифры расплывались перед глазами и в голову ничего не шло. Что делать, Ипполитов не знал, а ждать указаний было бесполезно, этот сыч их, ясно, давать не будет.

И Ипполитову вспомнилось понятное, близкое старое время, когда он получал четкие указания, когда не нужно было ни о чем думать, когда жизнь струилась размеренно и о тебе заботились, как заботятся о солдате в армии...

Елку устанавливали в большой комнате между письменным столом Сережи и диваном. Письменный стол был заставлен радиоаппаратурой, и Сергей готовился к экзаменам за детским столиком, сидя в низком кресле. Утомившись от подготовки, Сережа откладывал учебники, включал магнитофон, надевал наушники и раскрывал "Философию общего дела" Федорова.

На книжном стеллаже, который собственноручно сооружал в свое время Фелицын, у Сережи были свои полки. В беспорядке лежали книги Фрейда, Аполлинера, Булгакова, Кафки, Флоренского...

Читал Сережа много, но читал как-то механически, глотая книгу за книгой, как глотал пищу. Одна полка была уставлена плоскими картонными коробками с грампластинками. Сам Сережа по вечерам ходил петь в хор, хотя не обладал музыкальным слухом. Он говорил, что в хоре басов не хватает. Пели старых русских композиторов - Бортнянского, Березовского...

- Будем вешать только шары! - сказала Ольга, распаковывая коробки с елочными украшениями, извлеченные с пыльных антресолей.

- А избушку? - спросил Павлик.

- Избушку обязательно! - сказал Фелицын. - Ее маленький дедушка вешал на елку еще в конце прошлого века!

Избушка была из картона и ваты, избушка на курьих ножках.

Блестящие большие голубые, бордовые, зеленые шары, посыпанные матовой стеклянной крошкой по "экватору", с наклеенными перламутровыми цветами-аппликациями, Ольга, не доверяя никому, вешала сама. При этом лицо ее было таким серьезно-радостным, что казалось, отними у нее эти шары, - она расплатится, как девчонка.

Павел подвешивал на нижнюю ветку избушку, нечаянно качнул елку, один шар сорвался и разбился. Ольга вскрикнула, открыв рот в испуге, и дала Павлику затрещину. Павлик скривил губы и заплакал.

- Не лезь, куда тебя не просят! - Ольга принялась подбирать осколки. Ей мешал кот Васька, бил лапой по ее руке, думая, что с ним играют.

Фелицыну стало стыдно, он горько усмехнулся, покачал головой и ушел в маленькую комнату. Он сел к столу, облокотился и обнял голову руками. Одним движением Ольга может испортить весь вечер. Фелицын прижал дужки очков к вискам и от негодования нахохлился.

- Опять как сыч сидит! - бросила Ольга, приоткрыв дверь. - Иди лампочки вешай, начальник!

Фелицын почувствовал в этот момент к ней ненависть.

- Э-э-э... Оставь меня! - сказал он медленно и, поднявшись, принялся рассматривать рыбок в аквариуме.

Чернохвостый меченосец атаковал красную рыбку, не давал ей прохода, гонял из угла в угол. "И здесь - начальники!" - подумал Фелицын и после некоторого колебания, пересилив себя, направился в большую комнату вешать лампочки.

Потом они с Павлом оделись и пошли прогуляться. Павел смотрел на небо, искал падающую звезду. Под ногами хрустел снег.

- Ты вот десять оборотов вокруг солнца совершил, - сказал Фелицын.

- А ты?

- Я - тридцать девять...

- Здорово, что зима у нас есть!

- Почему?

- Надоест одно лето, лето, лето!

ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ

- Природа наша меняет виды, чтобы нам не наскучить. Где-нибудь в Буркина-Фасо - лето, лето, как ты говоришь, всегда зелено, микробы, болезни... А у нас ударит морозец, очистит воздух...

После полуночи, когда Павел уснул, Фелицын гладил Ольгу по волосам и плечам. Прямо даже странно, как быстро они забывали вражду.

*В книге "Избушка на елке",
Москва, Издательство "Советский писатель", 1993.*

МЕСТЬ

повесть

- Что писать? - спросил Егор и умакнул перо.

А. П. Чехов. "На святках"

I

- У них же руки в крови! - вскричал Бубнов, легкомысленно ожидая, что эта фраза произведет должный эффект.

- Да не могу я печатать без Шеста! - вспыхнув, захлопнул учебник старославянского языка Костя, корреспондент институтской многотиражки "За инженерные кадры" и студент-заочник педвуза. Его полное и плоское лицо с редкими, будто выщипанными, усиками, с мелкими русыми кудряшками над широким лбом пламенно залилось краской. На Бубнова глаза не поднимались, смотрели на перекидной календарь, на треснутый возле диска телефон, на барабанящие по краю стола пальцы Бубнова.

В открытую форточку доносился шум безлистных верхушек деревьев под ветром, шум густых ветвей, словно поднятых до третьего этажа немислимых дворничих метелок, метущих белое небо, и хотя листки календаря отсчитывали уже мартовские дни, ветер со свистом крутил снег и, глядя на это марево, казалось, что летишь в плотных белесоватых облаках.

- Ну и бойцы! - против обыкновения почти грубо сказал и качнул головой Бубнов, отчего светлые, прямо-таки белые, но не седые, а от рождения белые волосы, зачесанные назад, распались на прямой рядок, заслонив чересчур большие уши. Мохнатые брови, такие же белые, прыгнули вверх. - Спелись с Артемовым! - Его голос звучал все тверже и неприятнее.

Косте стало еще больше не по себе.

- Бросьте вы! - отмахнулся он и наморщился, всем видом показывая Бубнову, чтобы тот не лез не в свое дело.

Ветер задувал в форточку снег, который тут же таял, шевелились суховатые оливково-желтые листья герани на белом, недавно крашенном подоконнике, пахло сыростью, и этот запах, похожий на запах стираного белья, несколько освежал густо прокуренный сизоватый воздух редакции.

Бубнов с хмурым лицом повертел в руках искрящуюся нерпоую шапку с козырьком, качая ногой, нога на ногу, затем нахлобучил шапку на колени и откинулся с протяжным вздохом к спинке низкого кресла.

В редакцию многотиражки, узкую комнатку, оклеенную от пола до потолка - живого места не было - броскими плакатами международного союза студентов, получаемыми по почте из Праги, он заглянул в первую очередь, не дойдя до своей кафедры, где обычно раздевался.

И тут раздался телефонный звонок, в известной мере повлиявший на ход последующих событий. Костя быстро взял трубку, и, одной рукой прижав ее к пунцово-красному уху, сказал: "Редакция!" - а другой рукой выковырнул из пачки длинную сигарету с фильтром. Глаза Кости, бледно-синие, маленькие, хитрые, заплывшие жиром, настороженно усталились в одну точку где-то на белом подоконнике.

Бубнов был строг и задумчив. Интрига против Козачкова, завкафедрой систем управления и автоматизации производственных процессов (СУАПП), где прежде работал Бубнов, а, следовательно, и против руководства института плохо завязывалась, хотя он много раз об этой интриге говорил в редакции и, в частности, с Костей объяснялся, но, вероятнее всего, тот же Костя не верил, что Бубнов отважится написать. И вот - написал! Бубнов перехватил тревожный взгляд Кости и спросил:

- Илюха, что ли?

Костя взволнованно прикрыл микрофон толстыми короткими белыми пальцами. Его, судя по всему, переполняла буря чувств.

И этот толстый корреспондент, и прокуренная комнатка, и хилые, в сухой земле, герани на подоконнике, и пестрые плакаты, и треснутый белый телефон - все наводило Бубнова на грустные размышления о бесполезности его душевных порывов в поисках правды.

- Ну кино! Лыка не вяжет! - прошептал Костя, втягивая кудрявую голову в плечи. Он ужасно потел, казалось, что только что вышел из бани или рубил дрова, - откуда бралось столько влаги на лбу, на верхней губе и по бокам носа?

Илюха (прозвище Шест) говорил придушенным, не своим голосом, рублеными фразами, словно человек, которого только что топили и который на мгновение вынырнул из воды, чтобы глотнуть воздуха и позвать на помощь. На вопрос Кости, где он. Шест ничего не ответил, лишь перед тем, как бросить трубку, все с такими же придушенными интонациями крикнул: "Продержись неделю!"

"Что за тайны?" - возбужденно подумал Костя, часто дымя сигаретой, и стал гадать, где мог быть Шест. Минуту спустя Костя поймал на себе загадочно-непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Бубнова.

- Ну что? - взволнованно спросил тот, заинтересованный судьбою редактора.

Костя мял в руке погасшую сигарету, и было заметно, как дрожат его пальцы. Наконец, словно решив распрощаться со всеми редакционными тайнами. Костя, преодолевая нервное возбуждение, торопливо рванул всю правду-матку:

- Мне это надоело! Сплошное кино! Какой-то шизоидный тип... Пьет все время без зазрения совести! А я за него отдувайся! Один делай газету!

Костя спохватился, замолчал и понял, что проговорился в пылу ненависти к Шесту. Он нервно выщелкнул из пачки новую сигарету, резко поднялся, с силой хлопнув форточкой, так что стекла лязгнули, и пока закуривал, оценивающе поглядывая на Бубнова, вдруг сообразил, что в лице этого белокрысого Бубнова сам случай дает козыри в руки для мести Шесту.

- Артемов знает?! - после паузы удивленно спросил Бубнов.

- Артемов? - переспросил Костя и, улыбнувшись, отчего глаза совсем спрятались в жире, воскликнул: - Да вы что, Владимир Иванович!

Дело в том, что Артемов, секретарь парткома института, не особо вникал в деятельность газеты, доверяясь Шесту, который послушно согласовывал с ним до сих пор все острые материалы. Но, конечно, можно было бы просто пойти к Артемову и все рассказать о Шесте, однако на такую подлость, считал Костя, он не был способен.

- Да-а, - протяжно вздохнул Бубнов, сунул в портфель свою статью и фотографию и направился к двери. - С вами каши не сварить!

Но внезапный возглас: "Сварим!" - остановил Бубнова. Не скупившись на обещания. Костя довольно и победоносно оглядывал Бубнова и чувствовал, что тот смотрит на него с новым, более глубоким интересом.

Когда Бубнов ушел. Костя с азартом завязтого мстителя сел за материал, подрубил его, кое-что снял, например, "расползлись, как змеи из гнезда" - это о козачковцах, заголовок оставил бубновский: "Пусть память душу сохранит", придумал хлесткий подзаголовок: "Много воды утекло с тех пор, когда на рубеже 70-х годов, в обстановке парадности и кабинетного стиля работы стала раскручивать маховик бюрократическая машина".

В окончательном виде статья выглядела так:

"Для нас, воспитанников института, есть имена, которые останутся с нами, пока будем мы живы на этой Земле. Среди них - имя Т. К. Плошкина. Он не только учил нас будущей профессии, но и являл собой пример бескомпромиссного служения своему делу. Не раз по-отечески протягивал он нам руку помощи и в трудных житейских ситуациях, которых, к сожалению, немало возникло у каждого из нас.

В этом году исполняется 15 лет, как перестало биться сердце подвижника науки об автоматизации производственных процессов, заведующего кафедрой АПП, стоявшего у ее истоков и средств автоматизации производства страны, профессора Плошкина Тимофея Константиновича. Это был не кабинетный ученый, черпающий вдохновение из рождающихся в тиши кабинета гипотез, это был ученый, для которого служение практической сфере было высшей целью. Не случайно поэтому основной лабораторией кафедры в те годы были заводы, на которых его знали все - от рабочего до директора.

Вспоминается, как, будучи уже маститым ученым, не считал он зазорным помочь мне, начинающему инженеру НИСа, перетаскать тяжелые агрегаты в цехе, прежде чем отправиться по начальственным кабинетам. Он знал, кого из нас и как поддержать в трудную минуту, знал наши семьи, умел найти нужные слова и для жены аспиранта, взбунтовавшейся от аспирантского безде-

нежья. А мы не берегли его, не понимая по молодости, как наши неурядицы ранят его душу. Он же, огромной души человек, отдавал всего себя людям.

Его рабочий день длился от открытия до закрытия института, и в порядке вещей было зайти в его кабинет в 9-10 часов вечера, чтобы обсудить наболевшие вопросы. Да и мы, аспиранты конца 60-х, работали на одном дыхании - добивались разрешения на проведение экспериментов в ночное время и по 3-4 месяца круглосуточно проводили исследования, поспав урывками где-нибудь на стульях, оставив работающий стенд под присмотром своего коллеги.

На кафедре царила атмосфера благожелательности - прямо в коридоре, примостившись у окна или же у кого-нибудь дома, можно было без тени сомнения, что тебя "обокрадут" (наблюдая за теперешними аспирантами, я вижу, к сожалению, этот появившийся червь недоверия), обменяться полученной информацией, вместе найти нужное решение. Постоянно на кафедре работало не менее 13-15 аспирантов, функционировала группа ФПК преподавателей вузов, со всей страны регулярно приезжали за советом коллеги родственных кафедр, и для всех Плошкин Т. К. находил время.

Праздником для всех нас становились ежегодные научно-исследовательские конференции, так как на них съезжались все видные специалисты в области автоматизации производственных процессов страны, большая часть которых прошла через нашу кафедру. Здесь были и жаркие споры, и дружеские беседы - все это формировало атмосферу научной и духовной близости.

Кафедра "Автоматизация производственных процессов" становилась маяком в бюрократической пустыне ведомственной разобщенности производства.

О такой кафедре со сложившимися широкими учебными, научными и производственными связями мог мечтать любой администратор, и такие "мечтатели", как потом выяснилось, были - возникла идея реорганизации кафедры. Тяжело переживал Плошкин Т. К. за судьбу коллектива кафедры, не выдержал его могучий организм, и он слег с инфарктом. Недолечившись, тяжело больной, вернулся в институт в надежде повлиять на ситуацию. Но маховик реорганизации уже набрал обороты. Тяжело было смотреть на осунувшегося, с потухшими глазами Тимофея Констан-

тиновича - таким я видел его в последний раз 9 октября поздним вечером, а 10 октября 1972 года его не стало. Он погиб в расцвете лет под колесами поезда, унеся с собой все обстоятельства этой трагедии.

75 лет назад по распоряжению ректора нами были заказаны две мемориальные доски в память о профессорах кафедры - Ермакове В. В. и Плошкине Т. К. Одна из них была установлена в том же году, другая - ждет своего часа. Трудно было бороться все эти годы за сохранение на кафедре памяти о Плошкине Т. К. - много сотрудников новой кафедры с иными жизненными установками оказались хозяевами положения, не все его соратники оказались сильными духом. Этих слабых духом страх обуял, так как на их глазах путем травли столько было выжито с кафедры молодых перспективных сотрудников и преподавателей - в той же обстановке общей вседозволенности здесь было все дозволено и безнаказанно.

В итоге - много лет обходят стороной родное гнездо бывшие ученики кафедры, не приезжают на научно-исследовательские конференции и ФПК преподаватели родственных кафедр, закрылись лаборатории на московских заводах.

Так, может быть, в память о подвижнике науки об автоматизации производственных процессов проф. Плошкине Т. К. руководство института заставит кафедру СУАПП извлечь из тайников и установить мемориальную доску?! Восстанавливая память об ушедших от нас, мы воскрешаем веру в справедливость в душах живущих.

По поручению аспирантов кафедры 1966-1973 гг. выпускник кафедры 1962 года, бывший доцент кафедры СУАПП В. Бубнов, доцент кафедры эксплуатации промышленных установок.

На снимке: коллектив кафедры автоматизации производственных процессов начала 70-х годов. Заведующий кафедрой, доктор технических наук, профессор Тимофей Константинович Плошкин - 4-й справа в первом ряду".

II

Каким ни парадоксальным может показаться случай с Шестом, но, тем не менее, случай этот произошел и его нельзя назвать неожиданным, поскольку факты жизни Шеста свидетельствовали в пользу всевозможных малоприятных неожиданностей, которые принято мягко именовать неприятностями, от которых, впрочем, мало кто застрахован, но уж не в такой, по-видимому, степени, как Шест. Так или иначе, но, прежде чем заснуть, Костя выслушал по телефону тревожный, сбивчивый рассказ матери Шеста и на другой день к вечеру был на темной и мрачной улице, чтобы затем, озираясь под бледно светящейся лампочкой в открытых воротах, резко, хлюпая тающим снегом, остановиться, пугаясь своей длинной тени, и в страхе подумать, оглядывая унылые низкие корпуса, глухие внутренние заборы со ржавой колючей проволокой, заснеженные синеватые деревья, что не дай бог самому сюда попасть. И от этой мысли у него зуб на зуб перестал попадать.

Костю на минуту отвлек маленький вымокший котенок, стоявший дрожа в воротах и жалобно мяукавший.

Подобно многим впервые приходящим сюда Костя сильно разволновался, поэтому почти бегом отыскал нужный подъезд с белой дверью, взбежал, вздрагивая, на третий этаж и, переводя дух, усталился на обитую оцинкованным железом, словно подернутую кружевным морозцем дверь - и почувствовал пронзительное отвращение к этой ледящей душу двери, к тусклой лимонной лампочке, освещавшей стершийся желтый кафель площадки, к полутемному подъезду, к высоким и холодным лестничным пролетам, к истертым цвета студня ступеням, к изогнутым старым черным перилам, такое почувствовал отвращение, словно он насильно приведен сюда, как в тюрьму. Да так оно почти что и было: дверь оказалась запертой на несколько замков, одна над другой черные скважины для ключей, кнопка звонка на железном косяке, а рядом, на темно-зеленой стене, какие-то красношрифтные инструкции под стеклом, а на самой стене выцарапано похабное слово.

Наконец, не желая углубляться дальше в тягостные чувства. Костя, замирая, не снимая кожаной перчатки, надавил на кнопку звонка и принялся ожидать.

Ответа не было.

Долго стучал и звонил, пока спустя минут десять не послышались глухие шаги, не защелкали замки и на пороге не показалась тощая, со впалыми щеками и с выбивающимися седыми кочкьями волос из-под белого колпака тетка, прямо-таки старая ведьма с ястребиным взглядом из-под выщипанных бровей.

- Ну, чего ломишься?! - заорала она, наливаясь краской, как будто сорвалась с цепи, и диковатыми глазами окинула звонившего. - Ужин у нас!

Костя так нервничал, что, казалось, готов был удовлетвориться этим ответом и убежать, но против воли чуть ли не вскричал, показывая, что и он может сердиться:

- Я к Вихореву, с работы!

После этого он сорвал с головы шляпу и затоптался на месте.

- Посидите, тута вон! - твякнула старая ведьма, пропуская Костю в холл и гремя массивной связкой ключей при закрывании за ним дверей, затем, не моргая, глядя на Костин портфель, добавила: - Колющие, режущие предметы, деньги, алкоголь - запрещено!

Она, помедлив, осмотрела с ног до головы Костю, как будто он уже что-то стащил, открыла другую дверь и исчезла за ней. От новизны впечатлений и страха Костя сильно вспотел, его полное лицо было мокро, прямо-таки Костя обливался потом, но, тем не менее, сел на стул и сидел совершенно неподвижно, уставясь глазами в одну точку, которая приходилась как раз на транспарант, бордовый с рябью белых букв, как в армейском красном уголке, но что там было написано, Костя не понимал.

Немного погодя Шеста вывел серовато-седой мужик-санитар с унылым простецким лицом, в белом халате, сел в сторонке, как надзиратель, и принялся рассматривать свои больше волосатые руки, обнаженные по локоть. По росту (193 см) на Шеста, по всей видимости, пижамы не подобрали: виднелись из-под серых байковых брюк белые тонкие ноги много выше щиколоток, руки торчали из коротких рукавов фиолетового в разводяях, словно облитого чернилами, байкового же, пиджачка, сиротливо висящего на узких плечах Шеста.

Сам Шест, худой, с впалой грудью, рыжеволосый, с тонким и длинным орлиным носом, с тяжелыми надбровными дугами и вислыми, как у запорожца, усами над полными губами, был до странности спокоен, лишь угольки припухлых глаз слабо поблескивали

болезненным светом, говорил не нервно, как по телефону, а вяловато, при этом плохо справляясь даже с двусложными словами.

- Привет! - с долей вполне естественного участия сказал Костя.

Шест не только не улыбнулся, пожимая Косте руку, но не произнес ни слова. Костю, настроенного достаточно благожелательно, это смутило.

- Да что с тобой?! Первый раз тебя таким вижу! - потрясение произнес он.

- Глю-уки на ко-оле-осах, - спокойно, даже равнодушно прошептал на ухо Шест, шевеля влажными усами, кончики которых все время лизал языком, и так же тихо добавил: - Чи-ирик принес?

- С какой радости? Прекрати! - одернул его Костя, чувствуя в себе пробуждение необычных чувств: ненависти к Шесту уже не было, и жалости не было, и сочувствия не было. Что же было? Стеснение. Как будто Шест одним своим видом позорит Костю перед мужиком-санитаром, да не только, казалось, перед ним - перед всеми, кого Костя тотчас вообразил в этой комнате.

Стараясь не смотреть в потусторонние прямо-таки глаза Шеста, Костя вздохнул, склонился к портфелю, достал пять пачек "Шипки" и книгу, почитать, Пришвина. Шест все это принял под неподвижным взглядом мужика-санитара равнодушно, как должное. И это взбесило Костю.

- Ну кино! Ты же гибнешь! Один на всем свете! Мать только осталась! Да я, как тюфяк, терплю еще тебя! Возьми себя в руки! До сумасшедшего дома докатился! Дальше некуда! Неужели в тебе не осталось ни капли самоуважения?!

Однако эти аргументы, судя по виду Шеста, имели нулевой эффект, так как он бессмысленно, как пьяный, смотрел на Костю с глупой улыбкой, и казалось, его ничто не трогает.

Ах так!

Мгновенно настроение у Кости сделалось прямо-таки истерически-веселым.

- Завтра сдаю костоломный номер! - воскликнул он, не сдерживая тайну. - Бубнов такой зубодробительный материал дал, за-качаешься!

- Не по-они-имаю, те-бе что, спо-окой-но жить на-до-ело? - вяловато возразил Шест и добавил: - Не на-до. Кому че-го ска-азал?!

- Да ты не понимаешь! Вся мафия козачковская с ума сойдет! Там, правда, они названы мечтателями, без фамилий, но... - Костя даже причмокнул от удовольствия губами и поднял палец. - Кино будет!

И тут, странно, то ли настойчивый тон Кости подействовал, то ли упоминание “козачковской мафии”, но Шест, словно преисполнившись терпимости, которой Костя никогда в нем не подозревал, даже доброты, вдруг сказал таким же тоном, каким спрашивал о “чирике”:

- А че-го? Да-вай! - И, задумавшись, продолжил: - Дня через три вы-бе-русь. Ко-мис-сию прой-ду. По-пасть сю-да про-сто, а вый-ти...

Руки Шеста вяло опустились, и кожа на лице, казалось, почернела и сморщилась, как у древнего старика, пережившего многое и многих. Костю вновь охватил страх, он перевел взгляд на мужика-санитара с волосатыми руками, услышал звон ключей, дверь, ведущая в чрево психушки, открылась, показалась старая ведьма с синими губами и ключьями белых, как перья у курицы, волос из-под больничного колпака.

Прощание скомкалось, рука у Шеста была холодная, как у мертвого, пожав ее. Костя, выпущенный на волю старой ведьмой, помчался вниз, толстый, щекастый, вдохнув свежего воздуха, не уходил, а убегал, катился, как шар, от больницы, душевно мучаясь, боясь оглянуться, и чувство страха все сильнее охватывало его.

III

Первая реакция на публикацию могла бы, по-видимому, подействовать на Илюху Шеста, облаченного в клетчатый пиджак, отрезвляюще, но не подействовала, поскольку Шест был слегка навеселе. Вырвавшись из больницы (с улицы Потешной!) на следующей неделе в четверг в момент выхода номера газеты из печати (выходит один раз в неделю, на четырех полосах, 1 печатный лист, тираж 1000 экз.), Шест, чтобы, как он сказал, забыться, отвлечься, уйти от всех проблем, слегка выпил, а что значит “слегка” для Шеста, Костя знал отлично, месяц запоя обеспечен!

Небезынтересно отметить, что в клетчатом пиджаке узкие и покатые плечи у Шеста казались могучими.

Двухтумбовый стол Шеста стоял таким образом, что свет от окна задевал лишь край его. Поэтому Шест сидел в тени, наклонив голову, как бычок, готовый ринуться вперед, и исподлобья буравил воспаленным взглядом Караваева, на вид совсем молодого, черноволосого председателя профкома института, который буквально ворвался, рывком распахнув настежь дверь, подняв ветер, в редакцию, размахивая газетой и крича:

- Негодяй Бубнов! Клевета! Как вы смели без согласования с парткомом?! Вы чей орган?! И профкома тоже! Я как член парткома уже поставил перед Артемовым вопрос! Какой негодяй!

- Ну и что? - ответил Шест. - Вы сразу хамить?! И пошло, и пошло!

В ту же минуту вошел, застегивая пуговицу пиджака на объемистом животе и поправляя галстук, Костя, румяный и вспотевший - мелкие капли пота сверкали на толстом лице. Он ходил на кафедру эксплуатации промышленных установок к Бубнову, который должен был прийти следом. Увидев негодующего, побелевшего и трясущегося чуть ли не с пеной у рта Караваева, Костя недоуменно и растерянно опустился на свое место.

И только тут, отдышавшись и глядя на белое лицо Караваева, Костя вспомнил, что Караваев был с кафедры Козачкова. Мало того, далее размышлял Костя, и Артемов был козачковский, и председатель студенческого профкома Закс тоже, и секретарь комитета комсомола Трошкин, и его зам Ковалев, и проректор по учебе Лапшин, и проректор по АХЧ Гринберг!

Это открылось в памяти Кости столь внезапно, что он, как и Караваев, болезненно побледнел и пробормотал про себя: "Не кафедра, а рассадник функционеров!" Он невольно сжался и посмотрел жалобно на Шеста, лицо которого в этот момент показалось ему особенно худым, изможденным: кожа обтягивала кости.

Между тем Караваев, сидя у Костиного стола (как его не угораздило сесть ближе к Шесту, от которого несло парикмахерской: с утра на опохмелку вместо водки или вина в связи, как известно, с их отсутствием в эти и ближайшие 3-4 часа, он выцедил пару флакончиков "Красной Москвы", что, разумеется, хуже и о чем недовольно рассказал Косте), так вот, Караваев, раздражаясь каждой репликой неустрашимого Шеста, лизавшего языком кончики своих вислых запорожских усов, продолжал кричать, восклицая:

- Ложь! Плошкин на рельсах не гиб! Он упал на улице! Споткнулся и упал!

Костя похолодел от неожиданности и не поверил, что может такое быть, человек погиб под колесами поезда, о чем имелась справка у Бубнова и о чем в свидетельских показаниях одной женщины говорилось, что Плошкин сначала спокойно стоял у насыпи, а потом побежал под надвигающийся электровоз, - а этот кричит, что упал на улице!

Да, пошло так пошло!

Но тут Шест с нескрываемым презрением посмотрел на Караваева, посмотрел так, что тот сразу притих, и вдруг, энергично взмахнув рукой и привстав с кресла, вскинул голову с орлиным носом и бесстрашно и грубо выпалил:

- Это Козачков негодяй!

Костя почувствовал дикое напряжение во всем теле: такого афронта от Шеста он не ожидал, такой промашки. Легкая краска стыда залила лицо Караваева, но он достаточно быстро взял себя в руки: в его осанке, взгляде выразилось при этом столько негодования, что Костя, сидевший рядом, еще больше побледнел.

- Так! - сказал Караваев, глядя в газету и бегая глазами по столбцам статьи. - А что это за "мечтатели с иными жизненными установками"? Как вы смели?!

- Молча! - с оттенком издевки парировал Шест. Костя при сем находился как бы в стороне, вроде свидетеля или несовершеннолетнего, случайно вовлеченного в противоправное дело. И радовался тайно этому. Ответ нужно было держать Шесту.

Как показалось Косте, Шест в этот момент сделал еще одну оплошность, сказав:

- Спросите у Кости, он готовил материал. Я случайно из больницы вырвался.

Бледное лицо Кости в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, а пушистые брови задрожали обиженно, как у ребенка. Не различая строк, он уставился в газету, затем, словно ища поддержки, взглянул на неунывающего, даже язвительно-веселого Шеста, по-барски развалившегося в своем затененном кресле.

- Нашли кому довериться, Бубнову, негодяю! - продолжал возмущаться Караваев, не замечая появления в редакции Бубнова. Караваев сидел сгорбившись, спиной к двери.

Шест облизнулся, как алкаш после портвейна, резко упал всем длинным корпусом на стол, оперевшись на широко расставленные руки, и ядовитым голосом, с каким-то шипением, но отчетливо произнося каждое слово, сказал:

- Сергей Иванович, скажите автору в глаза, что он негодяй! Скажите! - И вскинул руку с выставленным указательным пальцем в сторону вошедшего Бубнова.

Костя был потрясен: вот это Шест, не побоялся Караваяева, молодец, с самим Караваяевым схватился!

Караваяев непроизвольно втянул голову в плечи и с опаской медленно обернулся. Наступило тяжкое молчание. Шест все еще почти что лежал на столе, опираясь, как краб, на расставленные руки, и водил красноватыми глазами с Бубнова на Караваяева.

- Назовите Бубнова негодяем! Ну, кому чего сказал! - бубнил он твердо, будто и не был выпивши. - Назовите! Вот он, негодяй, пришел!

Костя как замороженный следил за действиями Шеста.

Однако все эти уговоры могли только подзадорить Бубнова, который с усмешкой сел на стул между столами Кости и Шеста, положил ногу на ногу и сказал:

- А номер-то рвут из-под рук!

- Повторите! - продолжал свое Шест, оставаясь все в той же позе краба. - Сергей Иванович, повторите, что Бубнов негодяй! Ну, кому чего сказал!

Костя почувствовал некоторое облегчение, потому что ему не пришлось давать Караваяеву никаких объяснений. Костя смотрел на белый подоконник и успокаивался, ему казалось, что белый цвет, как белый свет, бесконечен и непорочен.

А Шест, возбужденный, переполненный необыкновенной решимостью, твердил свое.

- Повторите, что наш автор негодяй! Повторите! - чеканил он, затем откинулся в кресло и, ехидно улыбаясь, сказал чуть мягче: - Кишка слаба, Сергей Иванович! Я как номенклатура райкома... Меня бюро райкома утверждало... Наша газета негодяев не печатает! - И, подумав, возвысил голос: - В органе парткома не может быть негодяев! Только так!

Костя догадывался, что Шест на полном серьезе шутил, издевался над Караваяевым, но Косте было не смешно, хотя он теперь и улыбнулся податливо. Он с волнением прислушивался к словам

Шеста, а сам все думал о мафии и постепенно склонялся к мысли, что ему следует тоже что-то сказать Караваеву. В самом деле, почему бы ему не сказать что-нибудь?

- Что же выходит, - начал Караваев, обращаясь к Бубнову, - Плошкина довели до самоубийства? Да ложь это, клевета!

Бубнов сделал брезгливый жест рукой, будто отбрасывая от себя Караваева, и сказал:

- Я сам его брал из морга разрезанным! Вы этого знать, Сергей Иванович, не могли, вас тогда не было! И потом, в тексте у меня слова "самоубийство" нет.

- У вас тут сказано, что кафедру вынуждены были покинуть молодые, перспективные преподаватели. Это вы, что ли? - спросил, чтобы за что-то зацепиться, Караваев.

- Хотя бы я! - небрежно бросил Бубнов и, подумав, добавил: - А Лаптев? А Капустин? А Иванов? А Ершов? А Солдатов? Хватит?!

- Как вы могли! - горестно взмахнул рукой Караваев.

- Молча! - выкрикнул из угла Шест. Караваев нервно вскочил и кинулся к двери, понимая, что одному ему здесь толку не добиться. И тут Костя поспешно встал из-за стола и, нагнав Караваева у двери" твердо сказал:

- За каждую, как у Достоевского, слезинку ребенка будем сражаться!

С Караваевым никогда так не разговаривали и, понятно, он не ожидал такого напора и несколько опешил. Недоуменно глядя то на Костю, то на Шеста, утонувшего в кресле в тенистом углу, но, не замечая Бубнова, Караваев, крутанувшись на месте, все-таки сказал:

- Мы еще посмотрим! - И, шелестя газетой, поспешно удалился, ударив изо всей силы дверь.

Не к добру.

Костя, сжав рот, переживал и за Шеста, как тот лихо встал на защиту статьи, и за Бубнова, отважившегося выступить против "сильных мира сего", и за себя, в самой большей мере причастного к появлению несанкционированной статьи.

Шест вылез из своего угла и с некоторой развязностью, непринужденно и решительно обнял Бубнова и чмокнул его в мягкие светлые волосы.

- Люблю викингов! - И выбил длинными ногами чечетку.

Бубнов слегка отстранился, смущенный, встряхнул головой и, поправляя распавшиеся волосы, что-то замурлыкал себе под нос.

- Костюха, к роялю! - крикнул Шест.

Костя покорно сел за пишущую машинку и спросил:

- Что писать?

Шест проворно надиктовал запрос на кафедру Козачкова для ответа на критическое выступление газеты.

- Отметим?! - спросил Бубнов.

- Вот это по существу! - взвизгнул Шест и принялся плясать, хлопая ладонями по коленям, затем пошел вприсядку, толкая столы и стулья. - Сгною функционеров! Постою за батьку! Постою за деда! Знай наших! Гады, слуги мамоны, спелись, обворовали Россию-матушку! Подухаримся на славу! Гражданскую войну им, жлобам, откроем!

Костя и рта не успел раскрыть, как Шест ухватил его за локоть и потащил к выходу, приговаривая:

- Ну, Костюха, чего приуныл? Пьем, по наркологиям валяемся, жены изменяют, в психушках мозги прочищаем и не грустим! - И к Бубнову: - Деньги есть?

- Есть, - ответил, пожимая плечами, Бубнов.

- Сколько? - Шест взялся за лацканы своего плечистого клетчатого пиджака, сдвигая его на спину.

- Хватит, - неопределенно отозвался Бубнов.

- Смотри, Володька. - Шест впервые так назвал сорокасемилетнего доцента Бубнова. - Поить неделю за такое дело должен! Это тебе не "Муму" писать! Где пить будем?

- У меня, - сказал рассмеявшийся Бубнов.

- Ты с кем живешь? - весело спросил Шест, хлопая Бубнова по плечу, как старого друга, и тут же переключаясь на Костю.

- Один, - уже всюю смеясь, сказал Бубнов.

- Едем! Люблю, когда шампанское течет рекой, а бутылки и стаканы летают над головами! - воскликнул Шест и, согнувшись, крепко поцеловал приземистого Костю в розовую пухлую щеку.

- Как поедem? - спросил Бубнов.

- Молча!

В блочной белой, как рафинад, пятиэтажке за Заставой Ильича Бубнов занимал оставшуюся после матери убогую квартирку: две проходные маленькие комнаты, и из одной прямо ход на кухню.

Все здесь было непрочно и временно, как перед ремонтом: обои в некоторых местах прорвались, в других до блеска засалились, вместо вешалки в косяк совмещенного санузла было вколочено три длинных гвоздя, побелка на потолке облупилась, из мебели стояли допотопный, какой-то рыжий буфет, из которого веяло застоявшимся запахом ванили, фанерный, крытый морилкой шкаф, старый продавленный диван с валиками, круглый стол и пара шатких венских стульев. И на всем были следы запустения.

Странно, как эта бытовая неустроенность, пыль, паутина в углах, грязная посуда на кухне, не шла к внешне благополучному Бубнову; не зря, как вошли, он только и говорил: надо бы ремонт сделать да мебелишку приобрести.

Удивленный Костя подумал о том, что как часто, привыкнув на работе к человеку и зная его, кажется, вполне, но, попадая в его дом, понимаешь, что ничего-то о человеке не знал - все поверху, лицевая сторона, фасад, даже, если хотите, реклама, и вот, оказавшись у этого человека, ловишь себя на мысли, что он предстает совсем в другом свете.

- Как он тут живет! - шепнул Костя Шесту.

- Молча! - ответил тот, беря с пыльного подоконника какую-то книгу. - Ничего себе! - воскликнул он, прочитав название. - Не бояться ничего!

Книга называлась "Богоискательство нищих духом".

- Принес кто-то, - сказал Бубнов.

- Ничего не бояться! - повторил Шест. - Эти фундаменталисты! Каждая запятая непременно начинается с Бога, причем с маленькой буквы! Наглость немислимая! Еще "Муму" не читали, а уж им Бога подавай! Одним махом хотят решить все вопросы и для всех! Переустроители мира вшивые! Простой малости не понимают, что для всех никогда ничего не будет! Потому что мешает несовпадение настроений, состояний духа, возраста, опыта, чувств, мыслей, средств к жизни... Один уже на кладбище собрался, а другой только-только завязался в утробе, один муху, по духовному опыту всей своей жизни, не обидит, а другой, не прочитав даже "Муму",

ворует и бьет в глаз у пивной! Несовпадение человек! Ух, ненавижу критиков! Сам свое "Муму" даже не напишет, а критиковать - так не меньше как Достоевского, Толстого, Булгакова, размышлять об их духовных исканиях и всеу имя Господа упоминать!

- Чего ты разошелся? - усмехнулся Бубнов.

- А не упоминай имя Господа всеу! Не упоминай, вша болотная! Горнилом разума он, видите ли, он Бога хочет понять! Таких разумников я бы на хлеб и воду! Куриные мозги! Молча, молча, молча! - закончил Шест и вдруг швырнул книгу в открытую форточку.

- Ну ты даешь! - удивленно сказал Бубнов.

Пока Костя с Шестом жарили, не щадя сливочного масла, колбасу с яйцами и зеленым луком, Бубнов сбегал за книгой, спрятал ее, затем переоделся: был в какой-то заношенной серой рубаше, шелковых, с заплатой на колене, пижамных штанах. В движениях его наблюдалась излишняя суетливость, что где лежало в доме, он не помнил, требуемую вещь искал долго, а не найдя, говорил: так обойдемся.

Обошлись. Позеленевшими ложками и позолоченными чашками с черными закусками на краях из какого-то богатого, ныне не существующего сервиза. Костя, прежде чем выпить, минуты две морщился от запаха водки, затем лениво сходил на кухню за водой из-под крана, с привкусом хлорки и ржавчины, для запивки. Через силу затолкнув в себя сто граммов, кашляя и утирая слезы, Костя жадно набросился на сковороду и, не заметив, аппетитно умял ровно половину ее содержимого. Обнаружив это, смущенно извинился, но Шест и не думал закусывать, а Бубнов ломал руками черный хлеб, "бородинский", резко пахнущий тмином, катал мякиш и кидал в рот, хрумкая зеленым луком.

Костя украдкой поглядывал на Шеста и ждал, когда тот начнет обычные свои номера. И этот момент наступил. После очередного тоста "за победу над Козачковым", Шест, взыв по-волчьи, сорвал с плеч клетчатый пиджак и бросил его на пол, рванул рубашку на груди, с треском отлетели пуговицы, показался медный крестик на впалой груди. Скорчив физиономию так, будто хотел напугать Костю и Бубнова до смерти, Шест заорал:

- Я бывший эмвэдэшник, по тюрьмам-лагерям ездил! А какой-то хмырь Козачков Володьку с кафедры выжил?! Придавлю гада! Подухарюсь! Да я в зонах спал! Интервью у смертников в смерт-

ной камере брал! Железные ворота лязгали, эсков вели с работы. Рацуху начлагеря придумал: вместо шмона раздевал эсков догола - и через санпропускник, чтобы ничего в зону не пронесли! Я там за материалом был: активиста одного прямо у станка монтировкой чпокнули! Меня на черных "Волгах" у трапов самолетов встретили!

Из какой-то эмвездэшной газеты или журнала. Костя точно не знал, его, по всей видимости, попросили за пьянку, но чтобы не доходить до крайностей, дали возможность обследоваться в госпитале на предмет туберкулеза, о котором Шест всегда вспоминал в трудную минуту и с которым ему и удалось "скосить". Его комиссовали. Потом походил на договорах по центральной печати, более полугодом нигде не задерживаясь, и дальше, дальше! А куда? Костя не понимал, но уже четко знал эту черту характера Шеста: сидеть на месте не может, его все время распирает, выпирает из самого себя, ему нужна смена обстановки, бежать, куда? - не важно, но бежать, там, быть может, лучше будет. Но нигде лучше не бывало, а Шест этого не усваивал, вообще с усвоением, то есть с приобретением хоть маломальского жизненного опыта у Шеста, считал Костя, было плохо.

Может быть, в этом и есть его ненормальность, сумасшествие? - думал Костя, пристально вглядываясь в глаза Шеста. Да, эти глаза были чумоватыми, в них не было осмысленной глубины, какой-то внешний блеск.

- На черной "Волге" встречаются! Только так! - орал, словно с кем-то спорил, Шест. - Идем с полковником после вчерашнего. Спрашиваю: "Где опохмеляться будем?" - "В отделении у друга!" - отвечает. Идем по снежку, хрустим. Заходим в отделение, прямо в кабинет начальника. Красномордый майор Мишка обниматься-целоваться с моим полканом. Дверь на замок. Сейф нараспашку: там тонкие стаканы, закусон, водка. Говорит мой полкан: "Захотел выпить, приходи к нам. Самое безопасное место!" И заржал во всю глотку, только золотыми зубами поблескивает! - Шест на мгновение замолчал, опрокинул чашку, отер тыльной стороной ладони усы и полные губы, уставился затем с ухмылкой на Бубнова и вновь вскричал: - Иванов! - И сам себе ответил: - Я! (Это он, видимо, начал анекдот.) - Вы взорвали мост через Днепр? - Я! - А вы знали, что мост наш? - Я-я!

Бубнов некоторое время соображал, потом разразился хохотом.

- Мой батька поручик польской армии! - не унимался Шест, молотя кулаком по столу, и заговорился до обычного, Костя это уже много раз слышал: - Кому чего сказал?! Господа офицери, венц пеймы шклянками, дэенькуе! (...так пьем стаканами, спасибо!) - И с силой хлопнул чашку в стену, со звоном посыпались мелкие осколки. - стакан мне, немедленно! Кому чего сказал?! Только так! Как стоишь, собака?! - заорал он, помрачнев, не мигая, на Бубнова, который с некоторым испугом созерцал сие действие редактора. - Это тебе не "Муму", собственное производство:

Редактор пил и плакал.
И падекатр плясал!
"Легкое дыхание"
Наизусть читал.

"Чистый понедельник",
Свежесть потолка,
В голубых тропинках
Тонкая рука...

Люблю до слез Бунина! А ты, собака, как стоишь перед поручиком?

Но Костя-то знал, что это чистой воды фрондерство, которое терпеть не мог, и умел переводить, из опаски, как опытный дрессировщик. Шеста из одного состояния в другое. Видя, что Шест ударил в плечо Бубнова, затем схватился за его рукав и дернул так, что затрещала ткань. Костя вздрогнул и, как завзятый подхалим, мягко сказал:

- Илюх, а помнишь? - И елеиным голосом, пристукивая ложкой по чашке, запел:

В красной рубашо-оночке,
Красивенький та-акой!

Моментально взгляд Шеста повеселел, жестоко-устрашающая мина лица резко сменилась на игривую, Шест вскричал:

- Эх, Костюха, люблю я тебя! - И пошел из-за стола отплясывать, а, отплясывая, сорвал с себя рубашку. Крест плясал на его впалой и белой груди, будто поражаясь всему виденному и слышанному.

Бубнов тем временем копался в допотопном фанерном шкафу и, когда его задел в неистовой пляске Шест, выволок на свет из кучи тряпья офицерскую шинель с черными артиллерийскими петлицами и погонами лейтенанта.

- Надевай, поручик! - воскликнул он, хохоча, и спросил: - Как твой отец в польскую армию попал?

- Рядом оказался, где-то под Рязанью, его и обмундировали конфедераты! - ответил Шест и немедленно облачился в пахнущую нафталином шинель и, вскинув руку, потребовал властно: - Фуражку!

Нашлась и фуражка с черным околышем, правда, с треснутым козырьком и позеленевшей кокардой.

- Когда-то ведь и меня после института обмундировали, - вздохнул Бубнов, трогая себя за розовую мочку оттопыренного большого уха.

Теперь Шест сидел за столом в фуражке и в шинели, следил блестящими стеклянными глазами за Бубновым, который неторопливо рассказывал о своем житье-бытье, о том, что развелся, оставил ей квартиру и мебель, оказалась потаскухой, она в институте работает, Костя несколько раз видел ее: с круглым задком, раскрашена матрешкой. Говорил о том, как Козачков "уходил" его с кафедры, когда мать умирала...

- Вот здесь! - указал пальцем Бубнов на диван и, встав, зачем-то пошел к буфету, покопался в ящиках и достал серебристую упаковку морфия, как бы доказывая, что мать здесь умирала. Увидев морфий. Шест застыл, побледнел, затем высочил из-за стола и, вырвав упаковку из рук Бубнова, прошептал:

- Володь, подари! - И задрожал.

Бубнов на это достаточно хладнокровно заметил:

- Дурачок, ты же не отвыкнешь потом!

Странно, Шест послушался, отдал, а Бубнов, садясь к столу, продолжил:

- А эти деятели хоть бы что! Теория, видите ли! А какая, к черту, теория, когда заводы под откос идут! Мм, помню, с Плошкиным из цехов не вылезали. Филиалы кафедры были на пяти-шести заводах!

Вдруг Шест, не поспевая за Бубновым, запоздало вставил:

- А я свою с шефом моим накрыл! Лучший друг был, заводделом, подполковник, Лешка! Тоже запойный, сейчас на Колыме начальник лагеря, убрали из Москвы... Лучший друг был... и с моей женой! Она, правда, такая, - Шест прищелкнул пальцами, - любого завлечет! Лицо развратное! Вот так подполковник Лешка, друг! Брат во Христе! - Шест шмыгнул носом, вздохнул, потупил взгляд, но тут же проникновенно заговорил: - Неужели все так оскотинились, что забыли, как начиналась ночь, как робкие звезды набирали яркость, как луна сделалась белой, как в ее рассеянном серебристом свете страдал распятый Христос на высоком деревянном кресте!

- Если и на этот раз ничего не выйдет, - с горечью проговорил Бубнов, - то я точно стану диссидентом!

Костя с некоторой долей изумления взглянул на него.

- Какой человек был Плошкин! - вновь начал вспоминать Бубнов.

И он, разволновавшись, рассказывал и рассказывал о Плошкине, о хозяйственных договорах с предприятиями, которыми была завалена кафедра, о славных аспирантских годах, а затем - мрачно - о Козачкове, о том, как он начал действовать: прежде всего, расставил своих людей во всех общественных организациях института и, в частности, протолкнул Артемова на должность секретаря парткома (проголосовали единогласно!), затем на административные посты своих выдвинул, вплоть до ректора, затем повел атаку на Плошкина, объединил кафедры, отчего бедный Плошкин пошел на рельсы, а Козачков принялся "развивать большую науку", то есть совсем оторвался от производства, плодил диссертации, монографии, учебники, методички, и т. д., доведя их до такой степени абстракции, что студенты свободнее разбирались в теории вероятности, чем в автоматизации по-козачковски.

Бубнов, поблескивая глазами, приглаживая светлые распадающиеся волосы, говорил, а Шест дремал в своей шинели и фуражке. Лишь Костя внимательно, сопереживая, слушал Бубнова, и в его душе кипело негодование.

Потом Бубнов кому-то звонил. Шест очнулся, начал ни с того ни с сего оскорблять Костю, затем Бубнова, но его не слушали, и он вновь, выпив, стал плясать, прикрикивая:

- Поручик в красной ру-убашо-оночке!

Через некоторое время приехал Солдатов, плотный, с заметным брюшком, смуглый и седоватый замдиректора завода, где когда-то был филиал кафедры АПП. Солдатов, как и Бубнов, был аспирантом Плошкина, и, как и Бубнова, его постигла та же судьба: вынужден был уйти от Козачкова, вернее – Козачков не провел его по конкурсу. Солдатов открыто выступил однажды против концепции Козачкова, за что и пострадал.

- Ну дайте-дайте газету посмотреть! - воскликнул Солдатов, оглаживая брюшко.

Пока он читал, жадно глотая строку за строкой, Бубнов долго искал для него какую-нибудь посуду, а, не найдя, принес банку изпод майонеза.

- Молодцы! - прочитав, взволнованно сказал Солдатов и искося посмотрел на загадочную личность в фуражке и шинели.

- А зачем тебе, Володь, все это нужно?! - вдруг ожила фуражка, видя присутствие в комнате нового человека. - Ты мне скажи, на хрена? Ты что, декабрист, что ли?! А? Чего “Муму” сочиняешь?!

- Ну как зачем? - сказал Солдатов. - Чтобы убрать Козачкова! Закрыть его никому не нужную кафедру, плодящую профнепригодных инженеров!

- О! - воскликнул Шест, закуривая. - У-убрать! Месть, значит. А может, институт уберем, закроем?! Или Москву сократим?! - И без перехода - к Бубнову: - Махнемся часами? У меня - “рыбий глаз”!

- Махнемся! - простодушно согласился Бубнов и снял браслетку со своей руки. - Держи, швейцарские!

Шест, покуривая и щуря глаза от дыма, скинул свои часы и нацепил бубновские. Спустя минуту-другую, ни слова не говоря, смял сигарету, отшвырнул ее в угол и, что-то тихо напевая, встал и резким движением мгновенно опрокинул стол, отбросив его к двери меньшей комнаты, так что с грохотом и звоном полетели по комнате чашки-ложки.

Вот теперь Шест был в своей стихии.

- Да ты что! - зло воскликнул побледневший Бубнов.

- Только так! - прошипел Шест, разгоряченный и взвинченный, и, схватив Костю за горло двумя руками, принялся душить.

Костя сначала задрожал и побледнел, а затем, сообразив, сильно ударил Шеста коленом между ног, Шест взвыл от боли, разжал руки, за которые его тут же оттащили от Кости Бубнов и Солдатов.

- Ну кино! Ну и шизоидный тип! - с негодованием сказал Костя, тут же собираясь уходить.

- Да посиди еще! - сказал Бубнов, уложивший с Солдатовым Шеста на раскладушку в смежной комнате.

Пока убирали осколки с пола, ставили стол, накрывали скатертью, Солдатов сказал:

- Дебил-то дебил, а молодец, что пропустил такой материал!

Бубнов с Костей переглянулись. Бубнов сказал:

- Да при чем тут он! Это все Костя! Костя был польщен и почувствовал себя впервые поборником правды. Он, потупив взор, выщипывал бахрому из скатерти.

Говорили о судьбе кафедры и пили чай, пока Шест внезапно вновь не возник в дверях. Он часто шевелил губами, как будто его мучила жажда. Выпив, он сел к столу, на диван, с минуту молчал, прислушиваясь к разговору, не интересно, и заорал:

- Батька в три ходки ходил! В штрафной после первой ходки оказался. Лейтенант вызвал и говорит: "Вихорев, чисть сапоги". Чистит. Почистил, доложил. Лейтенант посмотрел и говорит: "Не блестят!" Второй раз чистит - сияют! Докладывает батька лейтенанту. А тот опять: "Не блестят!" Третий раз - как зеркало сапоги. "Не блестят!" - Шест разволновался, остановился на минуту, чтобы перевести дух. - В бараке один пахан говорит: "До первой атаки!" Батька не понял. Утром выстраивает полковник: "Что вам, ребята, нужно, чтобы две деревни занять?" Из строя: "По бутылке на рыло!" Дали. Сели на танки. Пошли в атаку - и сразу офицеров - туда их! - под гусеницы! И батькин "не блестят" полетел, только хрустнуло! Да под такую масть не две деревни, а три взяли. Уж третью брали на опохмелку: там продсклад немцев был! Только так!

Солдатов, слушавший с неослабевающим интересом, с некоторой долей грусти посмотрел на Шеста, на шинель и фуражку и сказал:

- Ладно, батька батькой, а ты-то что?

- Я поручик! - вскричал, не унимаясь, Шест.

В комнате редчитки старого особняка с лепниной, глядящего маленькими окошками на бульвар, на трамвайные рельсы, лилово-то-серый дым стоял коромыслом, лежал пластами, вился воронками и лип к потолку. Крокодил Гена, изредка приговаривая: “Белые начинают и проигрывают!”, резался в шахматы с Мальком. Сучков, делая вид, что никого не замечает, довольно громко и страстно напевал под цыганочку мандельштамовское:

У меня немного денег,
В кабаках меня не любят,
И служанки вяжут веник
И сердито щепки рубят.

Я запачкал руки в саже,
На моих ресницах копоть,
Создаю свои миражи
И мешаю всем работать...

Он напевал возле Кольцова, который читал полосы своей газеты. Волосатый Жора, с гривой седых до плеч волос (потому и “волосатый”), с лицом цвета лежалого мяса, на котором выделялся фиолетовый баклажан носа, дремал в ожидании газеты из цензуры.

Македонский, фамилия которого на самом деле была Кутузов, приплясывал под мандельштамовскую цыганочку, и его плотная фигура перекрывала свет Кольцову, который изредка незлобиво покрикивал:

- Но ты, недоумок, отдзынь от света!

Македонский, одетый в замшевую потертую куртку на молнии, не обижался, поскольку был малым добрым, но каким-то наивным, вечно что-то спрашивал, даже, казалось, самого очевидного не знал - например, однажды, читая полосы, поинтересовался: “У меня тут секретаря парткома ругают, можно оставить?” - и указал в статье какого-то работяги на место, вызвавшее сомнение, на что многотиражные зубры ответили: “Если редактор сомневается, то не глядя вырубает!” Вдруг бородатый Малек завопил:

- Ма-а-а-ат! - Чем изрядно всех напугал.

- Еще один недоумок объявился! - сказал Кольцов. - Нет никакой возможности творческим трудом заниматься!

В дверь заглянул Кучевский, из комнаты некурящих, аккуратно причесанный на пробор, в шелестящем ярко-синем костюме спортивного покроя фирмы "Адидас", сказал, глядя на Кольцова:

- Здравствуй!

На что ироничный Кольцов с ходу скаламбурил:

- Дай червонец до второго!

Кучевский, хорошо зарабатывавший на брошюрах (литзапись) передовиков производства и сельского хозяйства, помялся, но денег не дал.

Шест, словно возникший из небытия - он не помнил, где был и сколько прошло дней, как покинул доцента Бубнова, - сидел на столе, ничего не делал, потому что приехал сюда отдохнуть, курил и посмеивался, затем, случайно увидев выглядывающий из кармана приплясывающего Македонского бумажник, воскликнул:

- Стоять! Ну, кому чего сказал! Банкир!

Все взглянули на Македонского, а Шест, соскочив со стола, бодро сказал:

- Гони чирик!

Опешивший от неожиданного оклика Македонский машинально вытянул и раскрыл бумажник, в котором Шест тут же заметил сиреневый край двадцатипятирублевой бумажки и быстро двумя тонкими пальцами, желтыми от табака, выхватил ее из-под носа хозяина. Тот не успел еще сказать "а", как шумная ватага многотиражников, не дочитав свои газеты, поспешно направилась вон.

Македонскому ничего не оставалось делать, как двинуться следом, приговаривая: "Жена убьет, просила заплатить, дала... за квартиру..."

Шест, размахивая длинными руками, вскричал с привкусом издевки:

- В заголовки новостей этого номера: "Каждый второй редактор - алкоголик!"

- Слушаюсь! - ухмыльнулся Сучков. У него было маленькое скуластое личико, сплошь покрытое сетчатыми, как у старика, морщинами, и густой седоватый ежик волос. - Вставим. Я теперь все подряд печатаю, с колес! Не читая! Хватит на них силы тратить! Пошли б они все на хуй! - заключил Сучков и крикнул Кольцову, шест-

вовавшему в своей кожаной, напитанной пылью шляпе впереди редакторского корпуса: - Сворачивай в гадючник!

- Есть! - козырнул под эту шляпу Кольцов. Когда вышли из посудомойки пельменной, где выпивали в целях личной безопасности у знакомой мойщицы Зины, настроение у всех заметно улучшилось, особенно у волосатого Жоры, который затынул вполголоса:

- "Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой..."

На волосатом Жоре были широченные черные штаны и брезентовая цвета хаки куртка с погонями.

Крокодил Гена приподнял на коротко остриженной голове с редкой челкой кепочку-шестиклинку с пуговкой и, надев эту кепочку козырьком назад, перешел на строевой шаг. Большие редкие зубы, не прикрываемые короткими губами, придавали его крестьянскому рыхлому лицу выражение решимости и бесстрашия.

Примеру Крокодила Гены последовал Сучков, звонко молотивший тротуар своими тугими резиновыми сапогами, сиявшими лаком. А Шест, у которого все тело ходило ходуном, как будто его щекотали, завидев недалеко дворника, подбежал к нему, выхватил метлу и принялся с широкими замахами мести асфальт. Прохожие останавливались, глядя на это диковатое зрелище. Затем Шест, как взбесившаяся лошадь, с безумно скошенными глазами понесся на метле вскачь по улице.

Дворник вдогонку сказал пару-тройку крепких слов.

- Пойдем, подпись в печать доделаем, а то мне еще в цензуру нести, - сказал Малек.

Пошли под арку глубоких, как туннель, ворот проходного двора, а затем Шест, время от времени оглядываясь, вдруг полез по пожарной лестнице на крышу, вызвав смятение компании, но не долез, потому что зацепился за какой-то крюк брючиной, чуть не порвав ее, и спрыгнул на землю.

Поодаль на столе, врытом в землю, играли в домино пенсионеры.

- Самая умная игра после перетягивания канатов! - бросил им с издевкой в голосе Шест.

Вернулись в техредакцию. Шесту делать было нечего, и он всем мешал.

Сучков взял свою газету и, не читая, расписался на полосах. Малек, отмахиваясь от Шеста, забыв о своей газете, помогал воло-

сатому Жоре клеить к подписным полосам синьки - отпечатки с пленок для офсетной печати.

На синьках можно было различить рабочих в черных спецовках. Синьки вставали под заголовок: "Правофланговые пятилетки", глядя на который. Шест воскликнул:

- Все "Муму" жуете! Где артогонь?!

- Мне еще жить не надоело! - сказал волосатый Жора.

- Эх, Чичиков! - вскричал Шест. - То ли дело мы! Ударили по мафии!

- Старик, смирись и пиши то, что велит партком. Плетью обуха не перешибешь! - сквозь крупные передние зубы проговорил шестидесятилетний Крокодил Гена и крепко сжал руку Шеста.

- Да я сам номенклатура райкома! - парировал Шест.

- Что-то быстро кайф выходит! - сказал Малек. У него было истощенное лицо с неряшливой бородкой и веселые глаза. - Надо бы повторить! - Он загадочно взглянул на Шеста и кивнул на Македонского.

- Не-е, я пиво пойду пить! - сказал Крокодил Гена, у которого, судя по всему, питье пива было не просто привычкой, а каким-то ритуалом.

- Я тоже, - сказал Кольцов.

- Ну идите! - разрешил Сучков.

У Македонского оказалась еще пятерка. Не доделав газеты, сунув их в ящики в комнате - хранилище клише, Сучков, Македонский, Малек, волосатый Жора и свободный Шест вновь двинулись к магазину, именуемому многотиражниками гадючником.

- Что на пятерку сделаешь! - горестно проговорил Сучков.

- Ну ладно "Муму"-то перечитывать! Стоять! Сейчас позвоним! - взвизгнул Шест от осенившей его идеи, ощупывая карманы. Даже двух копеек и тех там не было.

- Две копейки! Быстро! - протянул он ладонь к Македонскому.

Тот выделил. Шест зашел в будку телефона-автомата и набрал номер друга-художника Коли.

- Поручик говорит! - закричал Шест в трубку, когда Коля подошел...

Откуда ни возьмись появились Крокодил Гена с Кольцовым.

- А мы червонец раздобыли! - радостно оскаливая колья желтых зубов, сказал Крокодил Гена. - У Верки-цензорши сбили!

Сучков скользнул тенью к Шесту и шепнул:

- Не будем их брать. И так нас пятеро...

- Смотрите, - сказал, догадавшись, что их отшивают, Кольцов и, ухватив под руку Крокодила Гену, направился в сторону гадючника. Затем, обернувшись, крикнул: - Илюха, там твой кудрявый приехал!

VI

Шест, сказав: "Погодите тут!", побежал в техредакцию проходным двором за Костей, который сдавал, оказывается, очередным номер, в который поставил отклики на статью Бубнова.

Шест выхватил у Кости макетные листы и оригиналы, отпечатанные на наборных бланках, сел к столу, нашел заверстанные на разворот отклики, и первый же материал несколько охладил его пыл заголовком: "Заслуживает сурового осуждения", - а затем и сама статья, протрезвив, приковала внимание Шеста.

"Статья В. И. Бубнова "Пусть память душу сохранит", опубликованная 19 марта 1987 года в газете "За инженерные кадры" ("ЗИК"), вызывает у читателей двойственное отношение. С одной стороны, она могла бы быть полезной для воспитания студенческой молодежи, так как посвящена памяти одного из основателей института, выдающегося ученого профессора Т. К. Плошкина. С другой стороны, статья вызывает чувство негодования и протеста, потому что вопреки истине ее автор считает, что в институте или на кафедре АПП в начале 70-х годов были "мечтатели", которые задалась целью реорганизовать кафедру и таким образом уничтожить хороший коллектив, руководимый профессором Т. К. Плошкиным.

Эти козни против кафедры, как считает автор статьи, якобы довели Т. К. Плошкина до инфаркта, а затем и до гибели.

Мы были свидетелями и участниками событий 1972 года и поэтому с полной ответственностью заявляем, что все это является злостным вымыслом. Тимофей Константинович Плошкин на кафедре АПП и в институте пользовался величайшим автори-

тетом и большой любовью за добрые дела и чуткое, внимательное отношение к людям. Он сам никогда не жаловался на плохое отношение к нему. Все, что произошло с ним, было результатом тяжелого заболевания. Еще до болезни он неоднократно просил ректора освободить его от заведования кафедрой ввиду плохого состояния здоровья.

В период болезни Т. К. Плошкина весь коллектив кафедры, ректорат и партком института проявляли к нему большое внимание и заботу, всячески старались помочь ему, оберегали от волнений и перегрузок. Были приняты меры по улучшению его жилищных условий.

Утверждение автора статьи о том, что “трудно было бороться за сохранение памяти о Т. К. Плошкине”, противоречит истине. Коллектив кафедры свято хранит память о Тимофее Константиновиче Плошкине. В холле рядом с кафедрой создан стенд с фотографиями ученых, которые участвовали в создании кафедры и руководили ею в разные годы, среди них в центре портрет Т. К. Плошкина. В кабинете заведующего кафедрой СУ АПП рядом с портретом основателя кафедры профессора В. В. Ермакова находится портрет Тимофея Константиновича. Память о нем бережно сохраняется в научных трудах кафедры, в учебниках, на лекциях, в которых постоянно подчеркиваются его большие заслуги в развитии науки об автоматизации производственных процессов.

Утверждение автора статьи о том, что после смерти Т. К. Плошкина на кафедре начались гонения на “молодых перспективных сотрудников и преподавателей”, также не соответствует действительности. Уход некоторых преподавателей с кафедры был вызван другими причинами, не имеющими к этому никакого отношения, и был одобрен всем коллективом кафедры. Среди покинувших кафедру был и автор статьи, который решил отомстить за обиду, воспользовавшись святым для нашего коллектива именем Т. К. Плошкина.

Вызывает недоумение утверждение автора статьи о том, что кафедра СУАПП в последние годы якобы растеряла свой авторитет среди родственных вузов и работников предприятий.

Авторитет кафедры в настоящее время очень высок. Это подтверждается активным участием родственных кафедр в сборах заведующих кафедрами, ежегодным приездом преподава-

телей на переподготовку на ФПК, массовым посещением нашей кафедры представителями других вузов с целью получения консультаций и методических пособий.

Утверждение автора статьи о том, что бывшие воспитанники кафедры СУАПП “обходят стороной родное гнездо”, не только не верно, но и противоестественно для нормальных людей. В действительности бывшие аспиранты кафедры, от имени которых необоснованно выступает автор статьи, поддерживают с кафедрой самые тесные отношения. Среди них проректор по учебной работе Фрунзенского машиностроительного института Кабаев В. Б., заведующий кафедрой Кишиневского машиностроительного института Горный Г. С., проректор по вечернему и заочному образованию Усть-Каменогорского машиностроительного института Ахтаев Ж. А., заведующий отделом АПП НИНА Шивковец Ф. А., начальник филиала НПО “Автоматизация” Морской В. В. и многие другие.

Оценивая статью в целом, следует отметить, что она основана на искаженном представлении фактов из истории кафедры СУАПП, не способствует восстановлению памяти о Т. К. Плошкине, наносит моральный ущерб его родным и близким и является вредной для воспитания молодежи.

Автор статьи В. И. Бубнов заслуживает сурового осуждения.

Редакция “ЗИК” допустила ошибку, опубликовав статью, которая не способствует воспитанию молодежи и улучшению работы кафедры СУАПП по перестройке учебного процесса.

А. И. Родионов, Б. А. Рекут,
Г. И. Левин, И. И. Скворцов,
А. М. Королев, В. С. Берг,
А. Г. Скрипко, ветераны кафедры”

- Мда, “Муму” толкают! - прогудел Шест и принялся за следующий материал.

Костя сел напротив, подставив под себя стул, как коня, спиной к груди, и терпеливо и с некоторым предвкушением восхищения Шеста следил за ним.

Шест между тем, закулив и сощурившись, читал:

“АВТОР ДОСТОИН ДОБРЫХ СЛОВ”

С большим интересом и удовлетворением прочитал статью доцента Бубнова В. И. “Пусть память душу сохранит”. Память всколыхнула те далекие годы, когда Тимофей Константинович Плошкин был еще моим учеником, пытливым, целеустремленным и одержимым в сути решаемых им задач. Эти его качества начали проявляться в студенческие годы, в процессе работы в Гипроавтоматике и окончательно сформировались в период научной зрелости.

Особо хочу подчеркнуть, что труд ученого Тимофей Константинович понимал не как занятие чем-то абстрактным, а прежде всего как соединение в целое науки и практики. Глубокое знание производства, талант теоретика и экспериментатора, незаурядные организаторские способности позволили ему создать хорошую лабораторную базу при ряде московских заводов. Мы иногда говорим, что новое - это хорошо забытое старое. Уместность повторения данной пословицы заключается в том, что еще тогда Тимофей Константинович предвидел, что успешная подготовка инженерных кадров должна основываться на прочных связях высшей школы с производством. Хорошим подспорьем укреплению творческих и деловых отношений между нашим институтом и заводами являлись разработка реальных дипломных проектов и последующая их защита на предприятиях.

А сколько было радости для всех нас, когда Тимофей Константинович защитил докторскую диссертацию - мне довелось представлять его работу на Президиуме ВАК СССР, где эта работа получила высокую оценку. Став официально заведующим кафедрой, профессор Т. К. Плошкин много внимания уделял формированию творческого и дружного коллектива, созданию доброжелательной обстановки. Плодотворным было и сотрудничество наших кафедр как в учебной, так и в научной работе. Традиционными были объединенные заседания кафедр и создания общего ученого совета. Поэтому особую озабоченность у нас вызвало решение о задуманной реорганизации кафедры с выводом ее из состава факультета автоматизации производственных процессов. Мы понимали, что такой шаг нарушит десятилетиями складывавшиеся межкафедральные связи на факультете и выступали на разных уровнях против передачи кафедры на другой факультет.

Так оно и произошло! Сейчас уже неважно, кто являлся, по выражению автора статьи, "мечтателями" реорганизации, но кафедра оказалась на факультете систем управления и, как показало время, это дало не только положительные результаты.

Несомненно, заслуживает добрых слов ученик Т. К. Плошкина В. Бубнов, поднявший важный вопрос о роли руководителя в формировании авторитета кафедры.

Д. С. Осмоловский, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор, ветеран института с 50-летним стажем, 40 лет заведовавший кафедрой эксплуатации промышленных установок"

- Во, старик! - потер ладони Шест и спросил: - Сколько ему?

Костя весело сказал:

- Восемьдесят!

Шест, забыв о компании у магазина, читал дальше. После заголовка "Авторитет? Былой...", воскликнул:

- Лихой заголовок! Сам придумал?

- Только так! - машинально ответил одной из любимых фраз Костя, хотя считал ее дурацкой. Конечно, любимых Шестом!

Шест пробежал глазами по тексту:

"В статье В. Бубнова подняты два важных вопроса: благодарная память о наших учителях и достойное продолжение их дел.

Не знаю точно, как будет воспринята его статья сегодняшним коллективом кафедры, но догадываюсь, что будет высказано обвинение в предвзятости автора, так как в свое время В. Бубнов принял решение уйти с кафедры. Кроме того, он пролил свет на обстоятельства смерти его учителя, которые почему-то трактовались иначе.

Мне хотелось бы затронуть основную мысль статьи - возникновение застойных явлений на кафедре. Кафедра работает как

бы сама на себя. Редко встретишь где-нибудь, кроме сборника институтских трудов, публикации сотрудников такого большого по численности коллектива. На отсутствие сколь-нибудь существенных практических результатов указывает самоизоляция кафедры от внешнего мира. В рассылаемой институтом программе ежегодной научно-исследовательской конференции я уже несколько лет не нахожу секции автоматизации производственных процессов. На международной конференции "Автоматизация-83" в г. Киеве собравшиеся со всей страны специалисты высказывали удивление отсутствию на этой и других представительных конференциях специалистов кафедры СУАПП.

Мне могут возразить, что кафедра все эти годы много работает над вопросами размещения предприятий средств автоматизации. Но сколько же их можно размещать и играть в "черный ящик"? Пора спуститься на землю и заняться теми действующими заводами, которым как воздух нужны прогрессивные технологии, конкретные практические предложения. Внедрялись же в конце 60-х годов автоматические линии на некоторых заводах - куда же все это делось? - об этом помнят разве только старожилы. Не потому ли московские заводы прибегают к помощи других научных организаций.

Мы, бывшие ученики кафедры, готовы приложить все силы для возрождения ее былого авторитета. И если мы действительно хотим участвовать в процессе перестройки, то начинать ее нужно прежде всего на другом уровне правды, не повторяя прошлых ошибок и поисков аргументов в оправдание застойных явлений. Только усвоив это, мы сможем смело вступать в будущее.

*М. Мельников, кандидат технических наук,
доцент Волгоградского
машиностроительного института,
аспирант кафедры АПП 1968-1971 годов"*

Перевернув страницу. Шест облизнул кончики усов, что-то возбужденно промычал, а затем сказал:

- Только так! И телеграммы!

Да, далее шли телеграммы.

“Телеграмма

Одобрю статью “Пусть память души сохранит” от 19 марта 1987 г. в “ЗИК”. Считаю необходимым восстановить имя, дело Т. К. Плошкина.

Ю. Степанян, кандидат технических наук, заведующий лабораторией НИИ, аспирант конца 60-х годов кафедры АПП. г. Ереван”

“Телеграмма

Статью В. Бубнова получил. Поддерживаю. Необходима реорганизация и восстановление прежнего научного направления.

С. Деркач, заведующий кафедрой филиала Хабаровского машиностроительного института, аспирант кафедры АПП конца 60-х годов. г. Магадан”

Далее шел отклик, который вызвал мрачную ухмылку Шеста.

“ПУСТЬ ПАМЯТЬ СЕРДЦЕ СОХРАНИТ

Тимофей Константинович Плошкин - учитель.

Для каждого, кто учился у него, в этом имени многое - самоотверженность, самоотдача, самопожертвование, все самое, все высшей пробы.

Да, для него не было границ дня и ночи, да, не делил он людей на нужных и ненужных, да, мог часами увлеченно беседовать с нами - аспирантами, тогдашними 25-30-летними мальчиками от науки.

Какие это были годы! Да кто ж это забудет. “Пусть память сердце сохранит”?! - а кто сможет у нас, у десятков других эту память отобрать, кто сможет стереть с наших диссертаций имя нашего научного руководителя, пусть даже в траурном черном обводе? Кто сможет снять со стены над нашими письменными столами портрет Учителя?

Никто! Потому что в каждом из нас, его учеников, есть частичка его огромной души, искры его тепла. И не надо пользоваться именем Плошкина в достижении своих целей.

Постскриптум. Конечно, научная полемика должна вестись открыто, вещи надо называть своими именами. Если выгнали - пиши кого. Если не согласен - скажи, с чем конкретно. И, наконец, если уж от имени, то пиши от чьего, а то уж очень похоже на "группу товарищей".

*Ученики Тимофея Константиновича
Плошкина - Ф. Шивковец, кандидат
технических наук, заведующий отделом
НИИА, Б. Рекут, кандидат технических
наук, доцент кафедры СУАПП, В. Морской,
кандидат технических наук, начальник
филиала НПО "Автоматизация"*

- Что за "Муму"? Какое-то "сердце" вместо "души"? Те же фамилии! Они же в отзыве ветеранов есть! - прочитав, заметил Шест, отдавая Костю перегаром.

- В том-то и вся соль! Что одни и те же! - сказал с улыбкой Костя. - У них же кадров не хватает!

"Иначе как трагедией не назовешь", - пробежал заголовок Шест, потер в азарте руки и увлеченно продолжил чтение материалов:

"Соображения, изложенные в статье "Пусть память душу хранит", о которой мы, бывшие аспиранты кафедры "Автоматизация производственных процессов", много говорили задолго до ее появления, заставили меня пережить вновь трудные, но радостные годы аспирантуры, трагедию нашего горячо любимого научного руководителя, доктора технических наук, профессора Плошкина Т. К., трагедию кафедры, трагедию целого научного направления по вопросам технологии и организации автоматизированных производств. Статья правильно отражает взгляды многих учеников кафедры на действительное положение дел как в вопросах деятельности кафедры под руководством Т. К. Плошкина, так и после реорганизации. И никакие гонцы кафедры, разъезжающие сейчас, после статьи В. Бубнова, по московским заво-

дам, не смогут создать камуфляж ее видимого благополучия. Эти взгляды высказывались нами и лично мною неоднократно. Целиком и полностью присоединяюсь к автору статьи, доценту В. Бубнову.

Постскриптум. Чтобы у оппонентов не осталось сомнения по поводу не названных В. Бубновым имен бывших сотрудников кафедры, покинувших ее по воле Козачкова М. А., на мой взгляд, прикрывшегося мнением послушного коллектива (хотя иногда мнения разделялись), назову их. Это к. т. н., доцент Ершов В. Ф.; к. т. н., ст. преподаватель Солдатов Н. А.; к. т. н., доцент Бубнов В. И., к. т. н., доцент Иванов В. П.; инженер Лаптев А. А.; инженер Капустин Е. В. и другие. Не слишком ли много для одного коллектива?

Н. Солдатов, бывший старший преподаватель кафедры СУАПП, выпускник института, кандидат технических наук, мастер по парашютному спорту, заместитель директора машиностроительного завода"

- Ну, Зольдатен, гу-уд! То-то со вниманием про батьку слушал!
- воскликнул Шест, машинально закуривая, не отводя глаз от следящей заметки:

"НАСТАЛО ВРЕМЯ

С большим интересом и волнением прочел статью В. Бубнова "Пусть память душу сохранит". Это еще одно подтверждение, что настало время, когда каждый должен определяться, и в первую очередь для себя, в своих позициях.

Конечно, кто-то обязан был поставить подобным образом вопрос. Ведь если этого не сделать, прервется нить, нарушится преемственность поколений и после нас никто уже и не вспомнит (не сможет вспомнить) о существовании этих исключительно самоотверженных и высокоинтеллигентных людей.

А виноваты будем мы, и только мы, которым не хватило мужества защитить и отстоять память о них. Так можно растерять всю историю.

Вероятнее всего, мы, работающие в других вузах, не совсем правы, когда считаем, что это дело только внутреннее, дело кафедры СУАП, института. Тем не менее будет более правильным и логичным, если решение этого и других поднятых В. Бубновым вопросов произойдет без вмешательства извне.

*Г. Горный, доцент кафедры АПП
Кишиневского машиностроительного
института"*

- Вот это по делу! Вмазал ветеранам! Они-то его в свои записали! - сказал Шест.

- Бубнов думал! Ветераны назвали его "заведующим", а он просто доцент. Сплошные неувязки! - сказал Костя.

- Пройдоха Бубнов! - улыбнулся Шест. - Как он только успел! Тут неделя - минутой проскакивает!

- Да уж две недели, - грустновато заметил Костя. - Бубнов в застойный период готовил свое дело, - добавил Костя, собирая бланки, чтобы идти на второй этаж сдавать номер техредам.

Шест отбросил стул и нервно заходил по комнате редчитки, прямо-таки забегал.

- Чего-то не хватает! - наконец сказал он и решительно добавил: - Пошли наверх! Ну, кому чего сказал?!

Там, в длинной и узкой комнате, стояли три пишущие машинки, две из которых были сломаны, а за третьей сидел лысоватый Ковшов из газеты "За ударный труд" и шлепал одним пальцем трагично-медленно какую-то заметульку. Ни слова не говоря, Шест подошел к нему, резко вырвал лист из каретки, которая издала катящийся звук - рву-рву-рву, скомкал лист и энергично швырнул в угол.

- Выдь пока! - крикнул Шест Ковшову.

Тот побледнел и, встав, прошептал:

- Да как ты смеешь?!

- Молча! - Шест сильно ударил его ладонью по плечу. - Только так! Горим, свояк, горим! Полистай пока "Муму" для общего развития! Извини, я тебя люблю, как булку с изюмом! - И ухватив Ковшова за пухлые щеки, сжав эти щеки пальцами, расцеловал.

Опешивший Ковшов покачал головой и на всякий случай отошел в сторонку.

- К роялю! - заорал Шест голосом дневального по казарме. - Духариться так духариться! Сейчас мы им "Муму" сочиним!

Костя покорно сел за машинку, зарядил чистый наборный бланк и выжидательно уставился на Шеста, затем начал под возбужденную диктовку быстро печатать.

- От редакции. Точка. Резонанс. Двоеточие. Кавычки. Пусть память душу сохранит. Кавычки. Обсуждается статья В. Бубнова в № 12 "ЗИК" от 19 марта 1987 г. Точка. - Шест задумался и продолжил: - "Публикация статьи бывшего доцента кафедры СУАПП, доцента кафедры эксплуатации промышленных установок коммуниста В. Бубнова "Пусть память душу сохранит" вызвала широкий читательский резонанс. - Шест прошелся от окна к двери. - Желая знать современную точку зрения на затронутые В. Бубновым вопросы и учитывая, что, подписывая свой материал, автор указал: "По поручению аспирантов кафедры 1966-1973 гг.", редакция распространила, экземпляры этого номера в адрес бывших работников кафедры с просьбой высказать свое мнение о публикации. В редакцию сразу пошли и продолжают идти эти мнения не только от москвичей, но и из отдаленных точек нашей страны, где люди работают сегодня. Предлагаем вашему вниманию их отзывы. - Закурив, Шест диктовал дальше: - Подавляющее большинство этих лиц всесторонне поддерживают позиции В. Бубнова. Ярким исключением на сегодняшний день явился отзыв нескольких ветеранов кафедры СУАПП, который мы также предлагаем вашему вниманию без правки, сокращения и с сохранением данного авторами заголовка "Заслуживает сурового осуждения". Резко критикуя В. Бубнова, группа этих товарищей..." - Шест остановился, прищурился, усмехнулся, ядовито сказал: - Хорошо это будет звучать "группа этих товарищей"! - Продолжил диктовку: - "Группа этих товарищей, подытоживая свое мнение, высказала серьезный упрек и в отношении редакции газеты. Учитывая это, редакция считает необходимым изложить и свои соображения в ответ на замечания".

Костя печатал всеми пальцами скоро и дивился умению Шеста экспромтом выстраивать материал.

- *“Прежде всего вызывает недоумение факт, что, несмотря на то, что В. Бубнов выступил 19 марта, редакция получила отклик ветеранов (?) только после того, как направила заведующему кафедрой СУАПП профессору М. А. Козачкову напоминание следующего содержания: “В связи с публикацией в № 12 критической статьи в адрес вверенного Вам подразделения просим дать ответ по существу поставленных вопросов для публикации в рубрике “По следам выступления “ЗИК”. Странно, что на официальный запрос редакции никак не прореагировали, не поставив своих подписей хотя бы под заметкой ветеранов, ни административные, ни партийные руководители кафедры. Жаль, что отклик группы товарищей пронизан только сузубо негативными оценками этой публикации. Как явствует из высказываний других сторонников автора статьи “Пусть память душу сохранит”, приведенных ниже, такие, мягко говоря, неэтичные заявления авторов отзыва “Заслуживает сурового осуждения”, как: “... все это является злостным вымыслом”, “... утверждение автора статьи... противоестественно для нормальных людей”, “... она (статья. - Ред.)... является вредной для воспитания молодежи”, - выглядят неправомочными”.*

Шест остановился у окна, спиной к Косте, и смотрел не мигая на бульвар, на черные чугунные ограды, на поблескивающие нитки рельсов, на подкативший к остановке трамвай, на прохожих, смотрел и диктовал:

- *“Указав в своем запросе руководителю кафедры СУАПП желательность ответа “по существу поставленных вопросов”, редакция не удовлетворена содержанием заметки группы ветеранов кафедры, потому что главным здесь, на наш взгляд, должно было бы стать рассмотрение производственных проблем и моральной атмосферы на кафедре. Основная же часть заметки посвящена декларативному отстаиванию, так сказать, кафедрального права на “святую память” о Т. К. Плошкине. Странно брошенное вскользь замечание, что утверждение В. Бубнова об идее реорганизации кафедры “вопреки истине”, в то время как это свершившийся факт- кафедру все-таки реорганизовали и передали на факультет “Системы управления”. Неясно, почему ав-*

торы позволяют себе громогласно настаивать: “Авторитет кафедры в настоящее время очень высок”? Разве этому не противоречит хотя бы то обстоятельство, что в настоящее время на предприятиях филиалы кафедры СУАПП по сути дела перестали функционировать”.

Шест остановился и спросил у Кости о том, знакомил ли Бубнов с материалом сына Плошкина, на что Костя утвердительно кивнул. Поэтому Шест уверенно продолжил:

- Голословно звучит уверенность авторов, что статья “наносит моральный ущерб... родным и близким” Т. К. Плошкина. С материалом в числе других был сразу же после публикации ознакомлен сын Т. К. Плошкина, занимающий сейчас пост главного конструктора КБ. Ни от него, ни от других близких погибшему Т. К. Плошкину людей по этому вопросу редакция претензий не получала.

Группа авторов-ветеранов запальчиво утверждает: “В действительности бывшие аспиранты кафедры, от имени которых выступает автор статьи, поддерживают с кафедрой самые тесные отношения”. Далее следует несколько фамилий для наглядности, среди них и “заведующий кафедрой Кишиневского института Горный Г. С.”. Желаемая авторами наглядность обернулась казусом. Во-первых, Г. С. Горный вот уже два года как работает не заведующим, а доцентом кафедры, а потом, как видно из приведенного нами отклика самого Г. С. Горного, его симпатии на стороне В. Бубнова. О каких его “самых тесных отношениях” с кафедрой может идти речь?

Судя по накалу, по поступающим откликам, дискуссия, вызванная статьей В. Бубнова, будет продолжаться. Редакция готова предоставить страницы газеты для изложения самых разных точек зрения. Этого требуют идеи перестройки. Но гласность, революционность злободневных преобразований в нашем обществе нацеливают и на разумность в использовании печати”.

- А как верстать такой кирпич? - спросил Костя.
- Молча!
- В этот момент в дверь заглянул Сучков и крикнул:
- Ну ты что, в могилу нас живьем зарываешь?! Весь кайф, ожидавши, вышел!
- Шест, ухмыльнувшись, с важностью занятого человека пробурчал:
- Пашу как папа Карло, а получаю как Буратино! - И с добродушным превосходством положил ладонь на плечо Косте.

VII

Когда Костя сдал газету техредам, Шест уговорил его поехать к художнику Коле.

- В переполненном троллейбусе Шест кричал:
- Хотите, к любому придерусь?! - И хищно озирался на пассажиров.
- Как? - спросил Македонский.
- Молча!
- Большой, а без гармонии, эх-эх! - сказала какая-то пожилая женщина, выходя, и покачала головой.
- Чтобы отвлечь Шеста, Сучков, глядя на свои сияющие лаком резиновые сапоги, сказал:
- Я в цеху поспорил, говорю, пронесу бутылку через проходную открыто. Врешь, говорят! Я взял белого, откупорил, сорвал ромашку с клумбы, вставил в горлышко и так - в проходную. Хоть бы что, прошел!
- Только так! - отозвался Шест.
- Чего там! Пошел я тут в цех интервью брать у слесаря, а он вдребезги! - сказал возбужденно Малек, поблескивая веселыми янтарно-карими глазами. - Нажралась вся смена, а чтобы начальник цеха с балкончика не догадался, привязали себя веревками к верстакам. Вусмерть, а на рабочих местах, привязанные, чтобы не упасть! Ничего, начальник не заметил!

Троллейбус огласился дружным залиvistым хохотом.

- Я в прошлый месяц решил пить втихаря, под одеялом, - ска-

зал Жора волосатый с траурной важностью. - Взял пару бутылок, пришел домой, разделся - и под одеяло. Наутро прихожу на завод, а там "Молния": хулиган, дебошир... Говорю: клевета! я под одеялом! пил! А мне: нечего, мол, было за третьей бутылкой в одеяле ходить!

Приехали.

Шест, приплясывая, повел коллектив мимо желтого дома с белыми колоннами в черные громадные, в мавританском стиле ворота под мрачные своды арки.

Миновали большой серый двор, еще раз прошли под низкой аркой в малый, поросший травкой двор, где веяло гнилью от земли и хрустел гравий под ногами, и уперлись в гаражные железные ворота, выкрашенные рыжей краской, старого, даже, можно сказать, древнего строения, оштукатуренные стены которого были пропитаны розовой водянистой краской.

- Это что же, боярские палаты? - спросил Костя.

- Казематы! - бросил Шест, отыскивая кнопку звонка возле зеленой водосточной трубы.

Дверь в воротах пронзительно заскрежетала, напомнив Шесту зоны, и в щели появился бородатый, остроносый, маленький, с узкими глазами, почти восточными, художник Коля в холщовом фартуке с нагрудником.

- Проходите! Кха-кха! - весело сказал он, прикашливая (он всегда прикашливал так), пропуская в темный гараж многотиражников. - И сразу, кха-кха, направо! - пояснил он, пока закрывал на засов железную дверь.

- Ну Шест, завел! - сказал Сучков, озираясь в полутемном гараже. Со двора тянуло сквозняком.

Войдя в дубовую дверь в стене, на которую указал Коля, компания сначала попала в прихожую, из нее в комнату, где находился шкаф для пальто и где разделись, а далее попали в просторную полутемную мастерскую.

- Спортзал! - воскликнул Сучков и замер.

Окна были плотно занавешены холщовыми шторами, а все стены от пола до потолка увешаны картинами Коли. Сучков остановился у вечернего пейзажа: белый монастырь, погружающийся во мрак, синий свет, медно-красные оконца и трое мужчин на переднем плане у стен монастыря.

- Они что, на троих соображают?! - захохотал Сучков, разглядывая примитивно, но ярко написанные фигуры.

Коля рубил острым, как бритва, охотничьим топориком сухую, упругую, как резиновый шланг, колбасу на колоде, как в мясном магазине, и, не отрываясь, говорил:

- Это единство! Справа, кха-кха, видишь, мужик с пилой? Это крестьянин. В центре, в шляпе и в бурках, кха-кха, интеллигент: районный бухгалтер. Слева, с хозяйственной женской сумкой, рабочий. Жена его, кха-кха, за хлебом послала, а он уж строил! Взяли бутылку и думают, кха-кха, где бы ее раздавить! На улице-то мороз, снег кругом...

Костя с некоторым недоверием рассматривал картины. В глупине мастерской, освещенной свечами в высоких мельхиоровых подсвечниках, закапанных парафином, на массивном письменном столе стоял дореволюционный телефон, с никелированной трубкой и выгнутым в сторону рта микрофоном. От свечей на потолке дрожали тени.

- Что, можно позвонить? - спросил Малек.

- Кха-кха! - в знак согласия кашлянул хозяин, бросая на колоду свежую курицу в целлофане и ударяя по ней сверкнувшим острием топорика.

Затем открыл тем же топориком трехлитровую банку маринованных маленьких пупырчатых огурцов, нарезал опять-таки топориком же крупными кусками черный хлеб, и им же - топориком - откупорил пару банок говяжьей тушенки, и поставил медный таз, в каких обычно варят варенье, с бледно-желтыми крупными яблоками.

Сели.

Коля небрежно поднял край скатерти и, покашливая, сказал: "Полтора рубли!" - затем выдвинул из-под стола картонную коробку, в которой, увидели гости, стояло ровно десять поблескивающих яркими этикетками и золотистыми крышечками бутылок коньяка. Малек тут же позвонил жене, соврал, что задерживается на партсобрании.

- Позавчера, кха-кха, купили десяток гушей, - сказал Коля. - В молочном НИИ выставлялся...

Свои неофициальные выставки Коля устраивал через друзей и знакомых в институтах, на заводах, в учреждениях. Развешивал акварели и гуаши (тема одна - Север, Север, Север! - валуны жел-

товато-зеленые, елки, церквушки), а в уголках каждой работы карандашиком - 35 р.! Масло Коля не выставлял. Масло приходили смотреть сюда, в мастерскую. На масло у Коли цена тоже была стабильна-3500 р.! Кое-кто из любителей броского примитивизма брал.

Коля вытянул штопором пробку и стал наливать светло-коричневатую жидкость в хрустальные рюмки.

- Чтоб голова не качалась, кха-кха! - сказал он, улыбаясь. - Ну, - взглянул он на Шеста и на длинную тень от него на стене. - Понеслись!

На лицах, слабо освещенных свечами, лежали густые синеватые тени.

Подняли, опрокинули.

Сучков с чувством выдохнул, откинувшись к сетчатой спинке стула, хотел от удовольствия сказать: "Хорошо сидим!" - но вспомнил, что об этом уже через телевизор говорят, поэтому промолчал.

Малек сосредоточенно жевал маринованный огурчик, крепкий, как морковка. А Костя запивал рассолом.

- С утра ничего во рту не было, - сказал Малек, под глазами которого лежали почти черные круги, обиженно, по-детски.

- Все под сукнецо! Только так! - сказал Шест, заметно порозовев. - И меня физиология в дух праздности унылой увлекает!

- Повторим? - спросил Коля. - Кха-кха, для рывка!

Согласились, повторили - и грозный фактический смысл всего происходящего начал исчезать в мгновениях вымысла.

- Музыкального инструмента не найдется? - спросил Македонский, некогда закончивший музыкальную школу.

- Как же, кха-кха, не найдется! - воскликнул Коля и вытащил из-под стола пыльный аккордеон, клавиши у которого сильно пожелтели от времени.

Македонский взял в руки инструмент, закинул через плечо ремень и, приюхиваясь к табачному дыму, смешанному с ароматом коньяка, взяла несколько знакомых аккордов.

- Ве-эрнулс я-а на-а Ро-одину! - затянул Жора.

- Ну ты, вышибала, не порть песню! - прикрикнул на него Шест и завелся от собственных слов: - Гаденыш! Сидит тут, коньяк хлещет! Говори, сколько душ загубил?! А? Не слышу ответа?! Молчишь? Кому чего сказал! Харя, вышибалой был, как в трактире! А "Му-му", наверно, не читал!

Все знали, что Жора когда-то работал в толстом журнале заместителем заведующего отделом прозы, функция его состояла только в том, чтобы “рубить” все подряд - и непризнанных гениев, и графоманов, и маститых, тех, для кого места в журнале жалели.

- Да я! Да мне... - начал сопротивление, обычное для него, волосатый Жора. - Да без меня... Да я весь огонь на себя брал! Забодая-зарублю все что угодно! С аргументами! Хочешь Бондарева, хочешь Маркова, хочешь Алексеева! Зарублю! Аргументированно! - поднял палец Жора и оживился от своей былой мощи.- Да что там Алексеева, самого Толстого зарублю! Если надо. “Войну и мир” могу сократить, - воскликнул бесстрашный волосатый Жора и, подумав, добавил: - До названия!

Шест вскочил, пробежал по мастерской и, рухнув на пол от хохота, проскулил:

- Ай да вышибала трактирный! Переплюнул поручика!

Костя с подозрением косился на баклажан носа Жоры, на его пористое толстое лицо, и Косте было не по себе сначала, а после третьей рюмки коньяка, которая не потребовала заправки, потому что показалась мягко-сладкой, ничего, привык. Свечи и все остальное...

- Красную рубашоночку мне! - приказал Шест. Коля, гогоча, моментально сбежал куда-то и принес требуемое.

Клетчатый пиджак с плеч Шеста полетел в угол, туда же - рубашка.

Наконец он был в красной атласной косоворотке, подпоясанной витым шнурком с кисточками.

Запил, эх! запил, эх, запил, загулял
Парнишка-парень, эх, чавала, молодой,
В красной рубашоночке, красивенький такой!

Македонский поддал жару.

- Летом с женой на юге был, - сказал Сучков. - Так ведь все нервы истрепала. Ни разу за три недели не выпил! Иные миры, иная стихия... Будь она проклята!

- Сильно пьешь? - удивленно спросил Коля, покуривая, пуская дым тонкой струйкой на колеблемое пламя свечи.

- Дело не в этом,- улыбнулся Сучков.- Жена доконала!

- Скандалите? - спросил Коля, сбрасывая пепел в большую пятирогатую морскую раковину.

- Не то слово! - как-то легкомысленно-весело ответил Сучков.- Предметами разными пуляется. Может производственную травму нанести.

- Ну а от своей многотиражки, кха-кха, не устал? - продолжал слегка иронично спрашивать его Коля. - Липу гоните?

- Это точно, - покорно согласился Сучков. - Сплошные лозунги. Секретарь парткома вызывает, говорит, мол, ты мне там можешь статей не размазывать, ты, мол, мне крупно дай рубрику, например, "XXVII съезду - двадцать семь ударных недель!". О чем тут говорить! У нас все газеты "за"! Я, например, "За коммунистический труд", Малек "За новую технику", Жора "За темпы", Македонский "За качество". Шест "За инженерные кадры"!

Македонский растянул мехи и пошел пальцами по клавишам, азартно напевая:

За то, подруги. Родину мы любим.
Что нет нигде другой страны такой,
За то, что в ней живет великий Сталин -
Учитель, друг и наш отец родной!

Шест тут же взвился, как пламя, в красной рубашончке и заорал:

- Тост "За инженерные кадры"! - Облизал усы.

Поддержали.

Потом упавшего со стула Малька подвели к клеенчатому дивану, уложили, сняли ботинки. Тот почмокал сладостно губами, подобрал коленки и моментально захрапел.

- Революционное! - крикнул Македонский, заиграл и запел:

Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи,
Видишь, облако клубится,
Кони мчатся впереди!

Македонскому хором подтянули, причем Шест все еще продолжал плясать с рюмкой в руке. Он плясал, в глазах рябили огоньки свечей, блики прыгали по стенам золотым дождем.

И с налета, с поворота,
По цепи врагов густой
Застрочил из пулемета
Пулеметчик молодой...

Коля, задрав бороду, звонко, чеканно-отчетливо защелкал языком. Шест подскочил к нему, вцепился в его шею сухими, длинными, как макароны, пальцами и принялся душить. Жора грузно навалился на Шеста и оттащил в сторону.

- Как только ты его терпишь! - бросил волосатый Жора Коле.

- Молча! - завопил Шест, схватил подсвечник и, поднося его к холщовым занавескам, выкрикнул: - Сожгу! Паразита! Справку мне с места работы! Быстро, кому чего сказал!

А Коля как ни в чем не бывало посмеивался, зная, что Шест жечь ничего не будет.

Действительно, Шест поставил, качнувшись, подсвечник на место.

- Я никому не мешал, работал дома, рисовал, - сказал Коля. - А они - справку с места работы! Да я художник! Не член союза, говорят! Дали за тунеядку полтора года! Вон Шесту спасибо, вытянул досрочно!

- Как это?! - спросил Македонский.

- Молча! - бросил Шест, стиснув зубы.

- А помнишь Эверест? - спросил у него Коля.

- Ну братва! Приезжаю к нему в зону отмазывать. В сортир захотел. А там нужник обледенел! - воскликнул надрывно Шест. - Не залезешь!

Косте хотелось крикнуть, что Шест подлец, не работает, тип, потерявший стыд и совесть, но промолчал, чтобы не обижать окружающих и не навязывать своих личных взглядов. После очередной рюмки Костя помутившимся взором взглянул на часы, качнул-ся и деликатно сказал:

- Прошу прощения, мне пора...

- Дойдешь, кха-кха, один-то? - спросил Коля, ощущавший прилив исполинской силы, и поднял Костю, тяжелого, как бочка с огурцами, из-за стола.

- Благодарю покорно. На такси - все сто-ороны бли-изки! - сказал Костя.

Коля проводил его до арки из малого двора, в который заглядывал рогатый желтый месяц, и указал, как двигаться далее. Костя, слегка покачиваясь, направился на улицу. Он вышел из-под арки и встал на краю тротуара. Вдалеке показались расплывчатые - слегка моросило - автомобильные огни. Шел второй час ночи. Костя поднял руку. Машина сбавила скорость и остановилась. Дверь с красным крестом отворилась, и милиционер, молоденький парнишка, по виду из деревенских, предложил:

- Садись, дорогой, а то у нас некомплект! Костя послушно сел рядом с каким-то пьяненьким человеком, у которого в руках болталась авоська с апельсинами, и зашел: "И с налета, с поворота..."

Тем временем Коля сорвал со стены акварель - северный пейзаж с церковкой, вызолоченной полуденным осенним солнцем, - и надписал ее Сучкову.

- Чтобы жена, кха-кха, не ругалась!

Македонский заиграл плясовую. Шест молотил каблуками пол, красная косоворотка пропотела под мышками и на спине вдоль длинного хребта. Волосатый Жора потер красные руки и предложил. Согласились. После чего Коля, выйдя на перепляс с Шестом, дивясь игре Македонского, сорвал со стены еще одну акварель и надписал:

"Гармонисту - от маляра". Македонский сдвинул мехи, посерьезнел, потер свой римский с бордовыми прожилками нос и от души поблагодарил.

- Ну, кха-кха, теперь - сыграем! - с чувством произнес Коля.

- В карты? - удивленно спросил Сучков.

- Нет! - сказал Коля. - Давайте-ка сдвинем стол...

- Мертвый проснется в могиле! - вскричал Шест, шельмовато улыбаясь, и с воплем: - Только так! - мигом опрокинул с грохотом тяжелый старинный стол.

Кто-то подхватил подсвечники, кто-то рюмки, кто-то бутылки. И все увидели на месте стола крышку подпола с медным кольцом.

Коля, махнув на действия Шеста рукой, поднял крышку и уверенно спустился вниз. Подполье осветилось. Спустились все, кроме Малька, продолжавшего храпеть на диване.

- Я поручик! - вскричал Шест, но его не слушали. В широкой подвальной комнате со сводчатыми, как в подземельях замков, комнате со стенами из красного кирпича пахло сырыми еловыми досками, еще белыми, пола. В центре помещения стоял на пузатых бутылочных ножках, затянутый зеленым сукном, огромный бильярд. на котором белые, крупные, как страусиные яйца, шары аккуратно лежали в треугольной деревянной раме. На стене висела черная доска, на полочках - ячейки для шаров, в высокой керамической вазе покоились поблескивающие лаком кии с намелованными концами.

- Монте-Карло! - воскликнул Македонский, поблескивая водянисто-голубоватыми глазами под линзами очков.

- Стоять! Чего мне не показывал?! - спросил Шест, осматривая подполье с видом следователя по особо важным делам.

- Недавно выкопал! Я тут неделю, как шахтер-донецк, вкалывал! Пришел ко мне как-то водопроводчик похмеляться. Говорит: а что у тебя в подполе? Отвечаю, ничего, мол, там нет. Он говорит, кха-кха, что должно что-то быть. Вынули пару половых досок и - яма! Водопроводчик скинул ватник и говорит: тащи лопату. Начал копать. А я ломиком! Сколько земли перетаскали на газоны! Старухи радовались, вот, говорят, молодцы, кха-кха, ребята, озеленяют нас! Потом уж пол настелил. Сам доски строгал. Я люблю сам все делать-мастерить. Думаю дальше, кха-кха, копать...

- Куда?! - закричал Шест и схватил Колю за глотку. - Я поручик! Порублю гадов! Коля легко оттолкнул его и сказал:

- А вон видишь, кха-кха, в углу картина... Все посмотрели на северный пейзаж в масле.

- Там проем, кха-кха, типа двери. - Коля подошел и отодвинул картину. - Там должна быть еще комната!

- Монте-Кристо! - восхищенно произнес Македонский.

- Вся жизнь - подполье! - заорал Шест, и эхо от его голоса гулко ударилось в сводчатые стены. - Думаем подпольно! Книжки читаем подпольные! Перед начальством мысли таим, как подпольщики! Подтексты в свои вшивые газетенки изредка вставляем, как подпольщики! Я подпольный поручик! Мол-

чать! Смирно! Тост за подпольщиков! - и вытянул руки по швам.

- Ну, ладно митинговать, дети подземелья, кха-кха, сыграем?

- А как все вместе-то играть будем? - спросил Сучков.

- Молча!

Коля давал Македонскому, Сучкову, Шесту и волосатому Жоре фору в три шара. Страсти разгорались. Коля, почесывая бородку, вел мелом на доске запись. Щелкали, ударяясь один о другой, белые шары, по подземелью разносились, вибрируя у потолка, восклицания. Вдруг сверху послышался голос. Это было так неожиданно, что Шест даже вздрогнул. Ведь непривычно слушать голову с потолка!

- Где вы-ы? - кричал, как в лесу, Малек. Коля поднялся по лестнице, открыл люк. Малек, изумленный, с истерзанным лицом, всклокоченными волосами, выпучив глаза, спустился в подполье. Он, казалось, никак не мог прийти в себя и все повторял:

- Сошел с ума, сошел с ума... - Потом немного успокоился, сказал: - Что-то стало холодать!

- Молчи, собака, как стоишь перед поручиком! Черному дулу - белый висок! - нервно вскричал Шест, которого начинал бить озноб. Он сбросил с себя красную рубашончку и побежал вверх.

За игрой они не заметили, как пролетело три часа. Затем Шест, вновь в своем клетчатом пиджаке, уже возжаждавший действий, спустился в подпол, отстранил картину и заглянул в непрорытую нишу, из которой пахло сырой землей и плесенью. Увидел лопату, взял ее и мощно вонзился в землю. Когда Шест уморился, за шахтерский труд принялся Сучков, потом взял лопату Жора, за ним Малек, далее Коля. Последним подошел Македонский с ломом. Он высоко его поднял и сильно ударил в слой земли. Послышался надтреснутый глухой звук, как будто лом ударил по камню. Так оно и было. Докопались до кирпичной кладки. Македонский что было силы ударил по ней, кирпичи содрогнулись и посыпались в провал, сквозь который брызнул слабый голубоватый свет. Перехватил лом Сучков и быстро пробил дорогу.

- Докопались! - произнес Жора. - Надо это дело отметить!

Отметили. Македонский, поправив очки, надел зачем-то аккордеон и сквозь пролом друзья двинулись на обследование подземелья. Они шли по узкому, но с высоким потолком коридору, по стенам которого пролегли черные электрические кабели.

- Уж не в метро ли мы попали? - испуганно проговорил Сучков.
Македонский заиграл и запел:

Протрубили трубачи тревогу!
Всем по форме к бою снаряжен,
Собирался в дальнюю дорогу
Комсомольский сводный батальон...

И во весь голос, дружно, мощно, не щадя голосовых связок,
Шест, Коля, Жора, Малек, Сучков грянули припев:

До свиданья, мама, не горюй,
На прощанье сына поцелуй!
До свиданья, мама, не горюй, не грусти,
Пожелай нам доброго, пути!

От этого хорового пения даже в ушах заломило. Шли на свет далекой лампочки. Вышли в небольшую комнатку, бетонированную с пола до потолка, где в углу стояли деревянные кадки с краской и пахло керосином. Слабо светилась над их головами голубоватая лампочка. Дернули обитую железом дверь и оказались перед узкой лестницей. Шест первым ступил на нее. Три пролета преодолели достаточно быстро и оказались в конце очень длинного белого коридора. Пол его устилала такая же длинная ковровая дорожка. Даже конца коридора не было видно, так он убежал вдаль по законам перспективы, превращаясь в точку. Пошли осторожно по коридору. Примерно в центре его был поворот направо, в какое-то круглое фойе с черными мраморными колоннами.

- Акрополь! - прошептал значительно Македонский.

- Пошли-ка назад от греха! - сказал волнительно Малек.

- Стоять! Ну, кому чего сказал?! - прошипел Шест. - Вперед! Заключенный Сучков, шаг вправо, шаг влево считается побегом! Стреляю без предупреждения! Только так!

От фойе уходила спиралью вверх белая наклонная дорога. Можно, видимо, было заезжать по ней на автомобиле, которые, однако, наверняка по ней не ездили, ибо дорогу, как и коридор, покрывала ковровая дорожка, придавленная к полу латунными прутьями. Поднялись по этой дороге до самого верха и никого не обнаружили. А кто должен быть в здании ночью, спрашивается? Сторож! Но признаков его не ощущалось.

Македонский тихо заиграл на аккордеоне марш артиллеристов, и друзья двинулись строевым шагом по натертому до блеска паркету коридора последнего этажа.

В конце перед ними распахнулись стеклянные двери (Сучков с подобострастием швейцара толкнул), и они оказались в просторной приемной какого-то большого начальника. Здесь тоже светила слабая дежурная лампочка. Сучков подошел к богатой двусторчатой дубовой двери с массивными позолоченными ручками и открыл ее.

- Хоть бы на ключ закрывали! - укорил он нерадивых начальников.

Македонский уже плотно задернул шторы, включил люстру и сел, поставив аккордеон в кресло, за начальственный стол. Малек вытянул из кармана пиджака бутылку и два огурца.

- Предусмотрительно! - похвалил его Сучков. - А вон и стаканчики! - указал он на полированный журнальный столик, где на хрустальном подносе стоял хрустальный графин с хрустальными стаканами по кругу, полдюжины.

Малек проворно распорядился. Македонский взял с края стола увесистый фолиант и зачитал название:

- "Рекомендации комиссии народного контроля". - И ниже: - "К исполнению".

- Дельно! - резюмировал волосатый Жора, поглаживая красным толстым пальцем фиолетовый огромный нос на пористом лице цвета лежалого мяса.

- Потрясающе! - добавил Малек, наливая коньяк в хрустальные стаканы.

- За самоконтроль, подпольщики! - предложил тост Шест.

Вдруг неожиданно дверь отворилась, и на пороге объявился старик лет под 80 в черной шинели и черной с зеленым околышем фуражке. Вахтер! Голоса смолкли. Македонский часто заморгал

глазами. Сучков побелел. Коля опустил глаза в пол. Шест, сдерживая волнение, нашелся:

- Когда входите, нужно стучать!

- А и кто вы будете? - хрипло спросил вахтер. Нижняя лиловая губа его дрожала.

- Ревизия! - мрачно произнес Шест, снял воображаемую пылинку с плечистого клетчатого пиджака и принялся листать труд.- Так как, уважаемые члены комиссии? - обратился он как ни в чем не бывало к друзьям.- Одобрим этот труд?

- Нет! - сказал Сучков.

- Нет! - сказал Жора.

- Нет! - сказал Малек.

- Нет! - сказал Коля.

- Нет! - сказал Македонский.

Все говорили серьезно и строго по очереди.

- А вы, папаша, проходите, садитесь! - начальственно сказал Шест.

Вахтер нерешительно тронулся и спросил:

- А чевой-то ночью-то рехвизия?

- Для определения состава преступления! - деловито проговорил Шест.- Чтобы не смущать сотрудников.

- Понятненько, - сказал вахтер и увидел бутылку коньяка.

- Лазарь Ферапонтович, - дружески обратился Шест к члену комиссии Мальку, - угостите товарища... Как вас величать?

- Поливанов я...

- Угостите товарища Поливанова. Это средство очень помогает в нашей трудной ночной ревизионной работе!

Малек влил в стакан грамм сто пятьдесят коньяку и поднес его вахтеру.

Тот сначала отнекивался, мол, на службе, "дело сурьезное", но спустя минуту, к всеобщему удивлению, принял стакан и трясущей старческой рукой выпил. Желтая струйка побежала по серебряной щетине подбородка. Вахтер крикнул и сказал оживленно:

- Хорош напиток! Но цену, ироды, загнали! Не наготовишься!

- Мы на государственном обеспечении, - строго сказал Шест и, обращаясь к Мальку, добавил: - Дайте товарищу Поливанову закусить!

Малек услужливо протянул старику лаково-зеленый маринированный огурчик.

МЕСТЬ

Через некоторое время по коридору разносилась песня, в которой разухабисто солировал вахтер Поливанов:

Дайте в руки мне гармонь -
Золотые планки:
Парень девушку домой
Провожал с гулянки...

Сбросив черную шинель, оставшись в одной линиялой гимнастерке без ремня, вахтер ходил впрысядку по паркету, лак которого желтел, как подсолнечное масло. Малек, Шест, Сучков, Коля, Жора, окружив его, хлопали в ладоши в такт игре аккордеониста Македонского...

Как вернулись назад, разумеется, не помнили. Шест разлепил глаза и увидел свешивающееся с потолка лицо Коли. Шест лежал вповалку вместе с Сучковым на зеленом ковре бильярда среди белых шаров. Малек и волосатый Жора почему-то храпели под бильярдным столом. Шест с трудом вздохнул, почувствовав, что в подполье воздуха явно недостаточно, встал и полез наверх. Налил рюмку и залпом выпил, чтобы заглушить себя, как люк.

Македонский сидел в трусах и в майке при свете свечей с аккордеоном на белых коленях, растягивал мехи и чрезвычайно тоскиво напевал:

Уехал милый надолго, уехал в дальний город он.
Пришла зима холодная, мороз залютовал.
И стройная березонька поникла, оголенная,
Замерзла речка синяя, соловушка пропал...

Коля готовился спать и задувал свечи. Шест очнулся с тяжелой головой и вибрирующим телом. Рядом посапывал Сучков, изредка тяжело вздыхавший:

- Фу-у-у-у, фу-фу... Похмелиться нужно, а то до типографии не доеду.

Они встали с дивана. Шел десятый час, и при блеске утреннего света из окон мастерская казалась буднично скучной, как вок-

зальный зал ожидания. Коля сидел у стола и “тюкал”, как он называл свое рисование, кисточкой по листу ватмана. Спросил:

- Ну как, кха-кха, слабость от систематического недопития?!

- Сидеть! Кому чего сказал! Читай “Муму”! - слабо, каким-то чужим голосом выдавил Шест.

- А пели как! - лукаво подмигнув, сказал Коля, освещенный голубоватым светом утра. - Шаляпины! Возьмите, кха-кха, вон последнюю! - кивнул он на картонный ящик.

- Жена убьет! - плачевно сказал Македонский.

- А где Малек? - спросил Сучков, откупоривая дрожащими руками бутылку.

- На бильярде спит, - ответил сосредоточенный на работе Коля.

Сучков налил Жоре, Македонскому, себе и Шесту, спросил:

- Коля, тебе налить?

- Не, кха-кха, я не похмеляюсь!

- Расстрелять! - приказал дрожащим голосом Шест.

- А работать на коньячок, кха-кха, кто будет? Когда выпили, Шест поднял крышку люка, крикнул:

- Эй, “За новую технику”, вставай, а то все “За коммунистический труд” допьем!

Из подземелья послышалось шевеление и ворчание со вздохами. Наконец в дыре появилась белая физиономия бородатого Малька.

- Сейчас помру, помру, - приговаривал тот.

- Не помрешь! - ободрил его Сучков, вливая порцию Малька в хрустальную рюмку. - Бригада “скорой помощи” действует!

Малек вдохнул запах коньяка и отвернулся. Набрался храбрости, поднес рюмку ко рту и, морщась, как от рыбьего жира, опрокинул ее в волосатую пасть.

Отдал рюмку Сучкову и стоял, затаив дыхание, несколько минут, пока спиртное не прижилось.

А минут через пятнадцать Малек порозовел, засунул в рот сигарету и всюю задымил.

- Однако пора и в типографию, - затем деловито сказал он.

Коля поспешно, даже с некоторым облегчением, закрыл за ним железную дверь, лягнув задвижкой.

Приехали в типографию. Малек взял наверху чистые полосы, бегло просмотрел, подписал в печать и готов был идти в цензуру.

- Опять кайф выходит! - горестно пробормотал Сучков.
- Все, конец! - сказал Македонский. - У меня лишь три копейки, и жена убьет!

- Молчать! Как фамилия! Македонский? Готовьтесь к походу на Персию! - вскричал Шест.

- Нужно было у Коли занять, - сказал Сучков.

- Может, Верка-цензорша еще даст? - загадочно произнес Малек.- Все равно мне туда идти.

Шест вызвался сопровождать Малька.

Направились через двор к цензорам, или, как они себя официально называли - уполномоченным Мособлгорлита, которые занимали небольшую комнату на втором этаже главного здания типографии.

Цензорши Тамара Михайловна, полная, с могучим бюстом, Лена и Вера - молоденькие, модные, смазливые, пили чай среди своих гроссбухов, в которых указывалось, что можно упоминать в печати, а что нет.

- Девчата, привет! - сказал как можно радушнее Шест и сразу о главном: - Чирика до пятого не будет? Подписного Толстого выкупать!

Тамара Михайловна внимательно взгляделась в Шеста и сказала:

- Сорокаградусного?

Когда вернулись ни с чем, вспомнили о предприимчивом Кольцове. Сучков позвонил тому в редакцию. Кольцов пообещал кое с чем подъехать. И вдруг явился белый, напуганный Костя. Печально оглядев редчитку, сказал:

- Мне конец, Илюха! Ночевал в вырезвители. Теперь бумагу в институт пришлют. Штраф платить нужно. Вот квитанция.

Сучков присвистнул, а Шест от неожиданного поворота событий сплюнул в угол и облизнул свои рыжие запорожские усы. Затем сунул руку во внутренний карман своего клетчатого пиджака, что-то там пощупал и, ухмыльнувшись, воскликнул:

- Всех посажу! - И ударил Костю в плечо: - Вперед!

Костя недоверчиво смотрел на Шеста.

- Как у меня вид?! - спросил тот.

- Помятый, - сказал Костя, ничего не понимая. - Надо бы побриться.

- Смирно! Стоять всем! - Шест обвел воспаленным взглядом редчитку. - Быстро мелочь на бритве! Наскребли 80 копеек.

- Уперэд!

Далее у метро в парикмахерской Шест без очереди влез бриться. В вырезвителе он пошлепал прямо к начальнику, держа Костю за локоть, как задержанного, представился, показав удостоверение капитана и корреспондента (когда увольнялся - комиссовался - из органов, эту лаково-красную книжицу не сдал, сказав, что потерял ее), и строго заявил, что Костя, как внештатный корреспондент, имел задание редакции сделать материал из вырезвителя, о котором поступили сигналы о злоупотреблениях должностных лиц, поэтому Костя немного выпил и попал. Инкогнито. Начальник задумчиво посмотрел в окно, забранное частой решеткой, затем вызвал дежурного лейтенанта, тот принес бумаги, среди которых была и "телега" на Костю, которая через несколько дней оказалась бы в райотделе милиции, а потом и в институте.

- Рву при вас, - сказал, подумав, начальник и с некоторой растерянностью добавил: - Трудно перестраиваться... Но вы уж не пишите. Я знаю, кто у меня балует. Я по-свойски тут им надаю по щеям! - И еще раз просительно повторил: - Не пишите...

- Слово офицера внутренней службы! - довольно убедительно отчеканил Шест и, ухватив Костю под руку, повел из кабинета, говоря:

- Понимаете, Константин Иванович, материал нужно сразу брать за рога. Заход должен быть ударным. Недаром у нас за заход дают не глядя тройку, а то и пятерку. По-дружески, разумеется... Только так!

Начальник уважительно проводил журналистов. И в страхе подумал: "Не приведи случай попасть под их перья, совсем ведь распоясались, никого и ничего не боятся! Американцы!"

Костя, изумленный, поехал в институт, а Шест - в техредакцию. Он явился в одно время с превеселым Кольцовым, который выставил на стол две бутылки разведенного спирта, добытого на заводе.

- Вот он, санинструктор! - завопил Сучков. - Химик!

- Ладно тебе! - смутился Кольцов. - Принимайте. Я не буду. Я уже в пятом цеху с ребятами принял.

Жора жадно выпил полстакана и, пока принимали лекарство остальные, курил, пускал клубы дыма к потолку. Затем сказал:

- Вызрела... Нет, лучше так: выпестовалась идея! - Все мигом

смогли, как на каком-нибудь важном совещании. - Поехать к Баранову и занять у него!

Заглянула старуха-курьерша тетя Дуся, тщедушная, сгорбленная, в очках с треснутым стеклом, в синем халате, беззубо спросила:

- На пиво не дадите?

- Вон бери пару пустых бутылок! - сказал Кольцов.

Через полчаса были у Павелецкого вокзала. Баранов, с седой клиновидной бородкой и синим носом, открыл дверь.

- У-у! - захрипел он, потому что давно голос свой пропил. - Давненько меня никто не навещал! - Он так обрадовался, что стал тут же метать на стол все, что обнаружил в холодильнике, и в частности, белые соленые грузди. У Баранова деньги водились, потому что он писал речи ответственным работникам.

В центре комнаты стояла заляпанная побелкой лестница-стремянка. Сучков спросил:

- Лампочка, что ли, перегорела?

- Прямо в Новый год! - сказал Баранов. - Все никак не ввинчу.

Сучков мигом залез, поменял лампу и вынес в просторный коридор, где стоял древний мотоцикл "Харлей", стремянку. Баранов выдвинул из-под стола сумку, из которой торчало четыре горлышка.

Македонский заулыбался, спросил:

- Инструмент у вас есть?

- Какой? - удивился Баранов. - Слесарный?

- Нет, не слесарный, - засмеялся Македонский. - Музыкальный!

- А-а! Где-то должен быть патефон, - сказал неопределенно Баранов. Пошли разыскивать. Пластинка жутко шипела голосом Утесова: "С боем взяли мы Варшаву..."

Волосатый Жора подтягивал:

С боем взяли мы Нью-Йорк,

Город весь прошли

И на главной улице название прочли.

А название такое, прямо скажем, боевое:

Токийская улица! на Запад нас ведет!

- Молчать! Сочинитель неоглобализмов вышибальный! Не порть классику! Я поручик! - орал Шест на публику, вернее для нового зрителя - Баранова...

Около пяти часов вечера вывалили от Баранова, но не спешили расставаться, направились в гастроном. Баранов одолжил на круг пятьдесят рублей. Жора где-то потерялся с индивидуально полученным с Баранова червонцем. Стали думать, куда пойти. Идти было некуда. Шест предложил выпить в каком-то подъезде. Заедали, давясь, вялым мороженым в мокрой обертке, белые струйки бежали по подбородкам и пальцам.

- Ну и бормота! - сплюнул Кольцов и, не попрощавшись, ушел.

- Пойду сдаваться жене, - грустно сказал Македонский, тщательно протер стекла очков углом замшевой куртки и поплелся на трамвай.

- У меня заначка дома! - сказал Сучков. - Да сапоги нужно скинуть. Взопрели ноги.

Поехали к Сучкову, где на тесной кухне жена в халате с огненно-красными цветами держала на руках спеленатого ребенка. Горела конфорка с синими язычками пламени. В темной комнатке допили заначенного темно-бордового густого кагора. Сучков переобулся, а когда выходили, жена тихо сказала: "Больше не приходи". Ребенок отворачивался, крича, от большой, как дыня, груди с коричневым соском, из которого капало молоко.

Поехали в "бункер" к Сучкову. Дом напротив Елоховского собора. Коммунальная квартира. В большой проходной комнате - тетка Сучкова с больной полиомиелитом дочерью. В задней (2 на 3 метра) - Сучков. Один диванчик, два громоздких черного дерева с неудобно прямыми спинками стула, столик. Пахло застоявшимся табачным дымом. Шел десятый час. Сучков уговорил, по настоянию Шеста, который, в общем, был уже хорош, уговорил тетку, та дала двадцать рублей на три дня.

- А толку! - сказал Сучков. - Все закрыто...

- В Москве и закрыто?! - взревел Шест.

- Да тише ты!

Шест сразу перешел на шепот:

- В Москве всегда все есть, в любое время, вперед!

Несколько остановок проехали на троллейбусе, вышли, Шест озирался, оглядывался, словно опасался, не следит ли кто, свернули в переулок, затем еще в один, прошли в арку, к какой-то котельной, у двери остановились, перевели дыхание, Шест выбил косячками пальцев по косяку двери характерное для спартаковских

болельщиков: “тра-та, та-та-та”, подождали, послышался голос: “Кто?” - “Шланбой!” - ответил Шест и пошел куда-то за угол, где было темно, спустились под навес по лестнице в полуподвал, там темное окошко, из которого через некоторое время высунулась рука с бутылкой водки, но не выпускала ее, пока другая рука, свободная, не ухватила пару червонцев...

Утром пробудились так же тяжело, как и накануне. Сучков опохмелился остатками со дна. Шест отказался. Он лежал пластом, бесконечно белый, “як труп”. Тело сотрясалось, сердце болело, холодный пот струйками лез в глаза, голова трещала, желудок ныл, подташнивало. Сучков подставил ему белый эмалированный таз, в который вырвало зеленоватой желчью. Кровь ударила в лицо, которое стало густо-малиновым. Сучков занял еще десятку, до завтра. Шест опять отказался, но Сучков настоял. Так как Шест сам не мог держать рюмку, его бил, как сам он, лязгая зубами, признался, “колотун”, Сучков влил водку тонкой струйкой в его дрожащий рот. Спустя минут пятнадцать Шест уже сам держал рюмку, потом вторую, потом третью. Помертвевшее было лицо с посиневшими веками оживало, даже розовело. Съели по тарелке Щей, предложенных теткой. Шест совсем ожил и завопил:

- Стоять, собака, многотиражное дно! Кому чего сказал?! Я поручик!

VIII

Шест явился, вопреки предположению Кости, что тот запил на месяц, через полторы недели, молчаливо, даже не напомнив Косте о вырезвителе, подавленно сел в свое тенистое кресло и принялся перебирать бумаги, не обращая никакого внимания на Костю, как будто его и не было в редакции. Мрачность Шеста угнетающе действовала на Костю, и он сидел, не зная, с чего начать постороннего, чтобы разговорить Шеста. Костя уже изучил постоянные перепады его настроения: тот то пил в чумном веселии, то болезненно отлеживался, то впадал в мрачность, вслед за которой должна была наступить разговорчивость, даже откровенничество.

По всей видимости, до разговорчивости Шест еще в этом цикле не дожил.

- Артемов молчит. В коридоре поздоровается - и мимо. Странно. Лишь сунул свой доклад. Какое-то кино! Может, сходишь в партком?

Шест угрюмо посмотрел в окно, вздохнул, облизал усы, затем встал, осмотрел свой широкоплечий клетчатый пиджак и молча пошел к двери, но, помедлив, вернулся.

- Перебьется! - сказал он. Костя задумчиво посмотрел на него.

- От Козачкова никакого ответа не было? - спросил Шест.

- И вряд ли будет, - медленно сказал Костя, придвигая к себе какие-то бумаги. - Он что-то замышляет...

На вот, читай артемовский доклад. Сказал печатать. Шест нехотя взял белые машинописные страницы, бросил взгляд на заголовок - "Рубежи перестройки", затем прочитал пару абзацев:

"Мы не можем сказать, что перестройка в институте идет полным ходом, что она затронула весь коллектив, все стороны многоплановой деятельности института, все структурные подразделения и общественные организации. Скорее наоборот - она совершает начальные и чрезвычайно робкие шаги.

Оценивая общую ситуацию, следует отметить, что нашему институту, как всей системе высшего образования в стране, свойственны такие недостатки, как: стремление к увеличению выпуска специалистов в ущерб качеству, неоправданное дробление специальностей и специализаций, расширение объема изучаемого материала в ущерб развитию навыков самостоятельного мышления, слишком медленное внедрение ЭВМ в учебный процесс, слабая связь с академическими и отраслевыми научными учреждениями, низкая эффективность от внедрения научно-исследовательских работ и многие другие..."

Далее Шест начал скользить по диагонали, но, наткнувшись на: "Все большую роль в жизни каждого предприятия и организации начинает играть гласность..." - сосредоточенно вчитался:

“Значение гласности невозможно переоценить, и нам всем предстоит очень многое сделать, чтобы в институте в целом, на каждом факультете и каждой кафедре создать такую обстановку, чтобы каждый член коллектива не только не боялся высказывать свое мнение по любому вопросу, а, наоборот, чувствовал в этом потребность и даже необходимость. Мы не только не должны бояться таких высказываний, свободного обмена мнениями по любому вопросу, но должны приложить максимум усилий для развития общественной активности и чувства гражданского долга у каждого члена нашего коллектива, от ректора до студента. Необходимо в корне пресекать всякие попытки преследования или расправы за критику.

Однако в своем стремлении к гласности мы должны научиться различать конструктивную критику, вызванную озабоченностью состоянием дел, желанием найти выход из создавшегося положения, от критики конъюнктурной, вызванной желанием свести счеты, прикрыть собственную бездеятельность поиском дешевого авторитета.

Подробно рассматривая в конце прошлого года на заседании парткома отчет редактора нашей многотиражной газеты “За инженерные кадры” коммуниста И. Г. Вихорева, было отмечено, что газета значительно преобразилась в последнее время и вносит свой вклад в развитие демократизации и гласности в институте.

Однако, как отмечалось на том заседании и как следует из более поздних публикаций, ряд материалов вызывает, по крайней мере, озабоченность парткома. Похоже, в своем стремлении не отстать от времени, редакция газеты предоставляет свои страницы любым материалам, не делая попытки объективно в них разобраться, оценить их достоверность или проверить факты. Безусловно, штаты редакции не позволяют так поступать с каждой публикацией. Но целиком доверяться одному лицу, берущему на себя смелость со стороны судить работу большого коллектива, - это может привести ко многим негативным последствиям, если критикующим лицом руководят сомнительные мотивы...”

- Как чувствовал! - Шест бросил доклад на Костин стол и, вдруг побелев, крепко сжал зубы. По всему было видно, что он озлобился. - Все ты затеял, правдоборец! - закричал он на Костю, но тут же замолчал и с белым лицом, обливав усы, заходил по комнате.

Постучался и вошел молодой человек, по всей видимости, студент, спросил:

- Кто редактор?

- А вы кто? - вопросом на вопрос ответил Шест.

- Гласный, - робко сказал студент.

- Кто-кто?! Из думы, что ли? - изумился Шест.

- Ну, гласный! В комсомольском бюро факультета должность теперь такая,- пояснил студент, протягивая Шесту бумажку.

Шест заглянул в нее и грубовато сказал:

- Свободен, Молчалин! Читай "Муму"! Студент, покраснев, поспешно вышел.

- Что там еще? - поинтересовался Костя, промокая платком пот со лба.

- Сиди, змей! - И после паузы: - То, что надо. От Козачкова! - И воскликнул: - Подверстай в хвост к Артемову, сапогом!

Костя настороженно взял бумагу, прочитал:

"Редактору газеты "За инженерные кадры" тов. Вихореву И. Г.

На Ваш № 26/87 от 19 марта 1987 года сообщаем, что материалы публикаций в газете № 12 и № 76 обсуждены на заседании кафедры СУАПП и ее партийной группы соответственно 20 марта и 16 апреля 1987 года. По существу поставленных вопросов приняты конкретные решения.

В связи с тем, что ряд вопросов, поднятых газетой, выходит за пределы компетенции кафедры и ее партийной группы, материалы обсуждения и принятые решения переданы в партийное бюро факультета "Системы управления".

*М. Козачков, зав. кафедрой СУАПП, д. т. н.,
профессор, Э. Бриль, партгрупорг, к. т. н.,
доцент"*

Шест тем временем что-то строчил за своим столом. Минут через десять протянул Косте исписанный крупным почерком лист и с некоторой долей возбуждения сказал:

- А это "Муму" - под Козачкова ставь! "Это" выглядело так:

"ВНИМАНИЕ: ОТПИСКА!

В № 12 от 79 марта 1987 года "ЗИК" со статьей "Пусть память душу сохранит" выступил бывший доцент кафедры СУАПП, доцент кафедры эксплуатации промышленных установок В. Бубнов, рассказав о некоторых сторонах судьбы бывшего заведующего кафедрой АПП, впоследствии реорганизованной в СУАПП, профессора Т. К. Плошкина; о плодотворной обстановке, царившей во вверенном этому крупному ученому подразделении. Автор также поставил вопрос о причинах падения научного авторитета кафедры СУАПП, возглавлявшейся в последние годы профессором М. А. Козачковым.

В № 76 от 76 апреля 1987 года "ЗИК" на статью В. Бубнова откликнулись бывшие сотрудники кафедры СУАПП. Поддержав позицию В. Бубнова, авторы откликов развили его утверждения о низкой эффективности научной деятельности кафедры СУАПП на основе дополнительных фактических данных.

Вполне понятно, что авторы и, конечно, редакция газеты, напавшая на СУАПП официальный запрос, рассчитывали получить от администрации и партийного руководства кафедры СУАПП аргументированные ответы по затронутым вопросам. В результате же, как видим, по публикуемому выше отклику заведующего кафедрой М. А. Козачкова и партгрупорга Э. Бриля, эти руководители отнеслись к своей реакции на критику крайне недобросовестно. По сути дела, представленная ими информация в газету даже не отписка, в которой нерадивые обычно хоть намекают на мероприятия по критике, а просто набор фраз, со-

вершенно не раскрывающих, о чем же “приняты конкретные решения”. Настаиваем на развернутом ответе.

Редакция “ЗИК”

- Зубодробительно! - усмехнулся Костя и сразу же вспотел от тайной зависти к умению Шеста набело строчить текстули.

- Втянул меня в это мракобесие! До чего же ты бездарен, Костя, скажу я тебе любезно! На фигу нам эти жлобы сдались?! А?! Ладно, я-то хоть гениален... Да, я гений! - Шест сказал это как само собой разумеющееся, без хвастовства, самым естественным образом, при этом делая длинными руками невероятные жесты. - Ну а ты кропал бы тихо очерки в центральную печать! Нет. Надо лезть в дерьмо! А не умеешь ведь элементарного комментария написать! Не умеешь! Да я в зонах такого насмотрелся, тошно! Тоска, ужас!

Костя заметно розовел от напористой речи Шеста и, чтобы заглушить его, отвлечь, обезвредить, думал, что бы такое сказать.

- Ты знал, что семья Плошкина просила не разглашать обстоятельства его смерти? - наконец придумав, достаточно мягко спросил Костя.

- Да пошли они все... - грубовато ответил Шест и, подумав, добавил: - Кругом идиоты, шизофреники! Нет души! Нет души! Нет, нет, нет! Господи!

Судя по всему, Шест потихонечку заводился, и Костя, вероятно, почувствовал это. Поэтому лишь сказал:

- Ходят слухи, что на парткоме разбираться будут! На что Шест, вскинув руку, чеканно проговорил:

- Это же мафия! - И принял перечислять всех, пришедших к руководству с козачковской кафедры, в том числе и самого Артемова. Разумеется, для Кости это новостью не явилось.

- Но ряды ее редеют, - вдруг вспомнил он. - Караваев уже не председатель профкома.

Шест удивленно вскинул брови и облизал усы.

- Быстро! - воскликнул он не без удовольствия.

- Ну кино! Да он сразу тогда из редакции побежал, оказывается, в партком. Извинялся, - сказал с едва заметной улыбкой Костя. - Не перед Бубновым, а перед Артемовым. Обзывал Буб-

нова негодяем, а извинялся в парткоме! Кино! Широкоэкранное кино!

Шест сел в кресло, откинулся к спинке и, закурив, уставился на Костю.

- Смотрю я на тебя, - сказал он, - и думаю: что ты за человек?! Жили спокойно, никто нас не трогал, строгой себе халтуру, стриги гонорары! Нет, нужно здесь какие-то права качать! Да ты что, в "желтой" прессе работаешь?! Что это - наша с тобой газета?! Ну, понимаю, была бы у нас свобода слова, независимая, самоуправляемая печать, тогда понятно! Но у нас ведь не газеты, а рупоры функционеров! Они что захотят, то и напечатают! А мы, - ударил он себя в грудь, - их приводные ремни!

Костя взглянул на белый подоконник, на стекла, закапанные дождем, на оливково-желтые листья герани и как-то тихо сказал:

- Нельзя им уступать ни одной высотки. Это как на фронте. Думаешь, эта высотка - пустяк, отдадим... вторую... третью. Там и на всей линии фронта - поражение! За каждую высотку нужно драться!

- Это все мура! - отмахнулся Шест. - О душе нужно думать! Знаешь, сегодня проснулся и как бы увидел себя со стороны. Лежал и думал: в какой бездарности живем! Какие-то Бубновы, Козачковы, Артемовы и прочая мразь! - Шест помолчал, затем поднялся из своего затененного угла и принялся расхаживать по комнате, изредка взмахивая длинными руками в клетчатом пиджаке. - Что все это перед такими космическими явлениями, как жизнь и смерть! Небо! Звезды! И чувствуешь какую-то радость и в то же время страх. - Шест вздохнул и задумался. - Вот ты живой - и ты уйдешь в бесконечность. Почему, зачем? Неизвестно. Знаешь, до слез жалко всех людей! И себя жалко! Очень уж жалко. Что я? Кто я? Почему я здесь страдаю, радуюсь, плачу?! Почему? Какой замысел во всем этом? - Шест вдруг всхлипнул, слезы, большие, незапные, появились на его широко раскрытых, как у ребенка, глазах. - Думаешь, любовь спасет. Но какие же мерзкие эти женщины! Иногда заиклившись на них и думаешь - конец света! С тобой не было такого? - спросил он, задумчиво глядя в пол.

- Нет, - отозвался Костя, понимая, что Шест досрочно вступил в зону разговоров, стало быть, нужно слушать, не мешать.

- Подкатывает что-то такое к горлу, мчишься к ней, а она тебя с дерьмом мешает! Ну вот жена была. Что это за клоп такой, же-

на! Какой-то кровосос! Деньги и деньги, вот все интересы! Да я эмвэдэшником по 450 рублей приносил в месяц! Все ей мало было! Да еще до мужиков охоча была. Один раз прихожу, она уже в халатике, а на кухне бугай сидит. Думала, что я уехал, а я зонт забыл, от метро вернулся, а она уже кликнула соседа. Ну, как с такой было жить! Все друзья с ней перебивали! Со всеми порвал! Ты только и остался!

Косте хотелось возразить, что никакой он не друг, а даже больше - враг! Но промолчал.

- Да мать еще! - продолжал Шест. - Никого нет! Кругом монстры с хлебными карточками! Нахрапом лезут, и я в их круг затесался! Это даже хорошо, что Бубнова напечатали, пусть знают! Да пусть меня даже исключат! Когда-то это все равно произойдет! Надоело прикидываться полудурком, устал я рожу строить и заискивающе в глаза начальства смотреть! Интеллигенции нет, всю белую кость России перебили! Деда шлепнули и обокрали! Батьку сломали в лагерях! А я, дурак, бегал к нему окна бить, когда его реабилитировали! Мать говорила, что он ненормальный, развелась с ним, пока он срок мотал. Мать верила Сталину, а не отцу! Понимаешь ли ты это?! Мальчишка я был, лет четырнадцати, прибегаю в который раз бить его стекла, кирпич поувесистей нашел, подхожу, а отец на лавочке сидит у подъезда, на палку опирается, старенький такой, и так это грустно на меня смотрит. Так грустно, что у меня кирпич вывалился из рук. У дома росло большое дерево. Отец поднял палку и указал на это дерево. Я ничего не мог понять, сел рядом. А он говорит, все еще тыча палкой в дерево: "Удавиться хочется..." И так он это сказал, что я, пацан, заплакал, во мне уж росту тогда было! - за "Динамо" в баскет играл, - а заплакал, и обнял отца, и говорю, давясь слезами: "Ты живи, я не буду стекла больше бить..." С тех пор стал ходить к нему тайно от матери. Он поставит четвертинку, мне нальет и рассказывает, и рассказывает, и рассказывает... Так научил меня с горя лет четырнадцати выпивать... Ни с кем не мог пить, только со мной... Чемодан бумагу оставил, все писал-писал, за что в свое время в первую ходку пошел, а потом писал потому, что кошмары замучили: собаки, конвоиры, нужники, сбруя, в которую сам запрягался, чтоб воду зимой в зону возить, и прочие картинки. Один ему посоветовал: "А ты все напиши - и успокоишься!" Написать - как выговорить-

ся! - Шест мрачно помолчал, затем, оживившись, сказал: - Пошли квас пить!

- Твой напиток! - сказал Костя, когда они наполнили кружки пенистым квасом в бывшей пивной у рынка. - Смотри, захмелеешь!

Через неделю, когда собирались, закончив дела, вновь сходить попить кваску, пришел Бубнов, возбужденный, бледный.

- На вид поставили! - крикнул он с порога. Затем, закуривая, тяжело сел на стул. - Говорят, я из чувства мести написал! До сих пор не могу понять, почему ему не пришла в голову простая мысль, что это вовсе не месть, а обыкновенная дискуссия. Да разве он высунется!

- Кто? - спросил опешивший Шест.

- Козачков!

- Ничего себе, критикуемый наказывает! Ну кино! - усмехнулся Костя.

- Чего они меня-то не ищут, чего не трогают! - воскликнул Шест, берясь за лацканы пиджака и сдвигая его назад.

- Боятся. Не то время, - сказал Бубнов.

- Рассказывай, викинг, о своем виде! - сказал Шест, исчезая в тени на своем кресле.

- Козачков собрал партбюро факультета, - начал рассказ белый Бубнов. - Все под его дуду пляшут. Сам предложил разобрать мое недостойное памяти Плошкина поведение на бюро моей кафедры. Те - ведь неплохие люди, - а сразу собрались, в одночасье! Старики седовласые сгрудились, говорят, мол, ты, Бубнов, утихомирься, они все равно от тебя не отстанут, а ты в ущерб работе будешь склочничать. Давай, мол, как просит Козачков, мы тебе на вид поставим, они, мол, козачковцы, и успокоятся. Я протестовал, но бесполезно! - Бубнову, видно, не хватило дыхания, и последнюю фразу он произнес едва слышно. - Как это на вид? - продолжил он, глубоко вздохнув. - Не пойму, перед институтом, что ли, на постамент поставить, для обозрения!

- Вы не расстраивайтесь, - сказал Костя, глядя на белое лицо, белые волосы, белые брови Бубнова.

- Вот уж, буду я из-за этого расстраиваться! - отмахнулся Бубнов, но, судя по его виду, он был не в себе.

- Да-а, - вздохнул Шест, подумал, глаза его заблестели, и сказал: - Отметить твою постановку на вид нужно, Владимир Иванович, досточтимый ты мой викинг!

- Не-е, я не буду! - тут же взволнованно воскликнул, покрываясь потом, кудрявый, толстый Костя, хотя его еще никто не приглашал. Страх от посещения вырезвителя крепко запал в его душу.

- Я так этого не оставлю, - сказал Бубнов. - Я в райком, в горком пойду... Вплоть до ЦК!

- Ну, тогда доцентство свое можешь забыть! - глумливо усмехаясь, сказал Шест. - Там сейчас таких ходоков знаешь сколько! Жизни не хватит! Так ходоком и помрешь! Ну, тогда и поминки знатные устроим! Глупец! Нужно действовать их методами. В армии старшина научил, говорит, мол, Вихорев, ты не пререкайся, а говори бодро: "Будет сделано!" - а там можешь и не делать! Так и тут - кивай головой, а делай свое. Они ведь так делают...

- Тогда давай еще отклики печатать! - сказал Бубнов, отбрасывая рукой светлые волосы со лба назад, и полез в портфель за бумагами.

- Да ты что! - вскричал Шест. - Хватит! Напечатались! Читай "Муму"! Сколько можно терпение Артемова испытывать. Я хоть и номенклатура райкома, но...

К вечеру у Бубнова Шест бил себя в грудь, плакал и кричал, что он поручик.

На следующий день он на работу не явился, как, впрочем, и в другие дни.

Костя нервничал, не знал, что делать.

Бубнов смущенно заглядывал в редакцию и спрашивал:

Этот, номенклатура в красной рубашончке, не явился.

- Вы же знаете, Владимир Иванович, пить ему никак нельзя, а вы! - воскликнул хмуρο однажды Костя.

- Не понимаю, - возразил Бубнов. - Ну, выпили - и хватит. Я же хожу как ни в чем не бывало на работу!

- То вы! А он где?

- Не знаю, ушел от меня в шинели и в фуражке...

- То-то. Не знаете! И я не знаю! И мать не знает! А в партком уже эндшпиль! Терпению Артемова, кажется, пришел конец. На днях интересовался Шестом! Не сносить ему головы!

“А что я переживаю?” - думал Костя, когда Бубнову на парткоме объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку с формулировкой: “искажение фактов, граничащее с клеветой”. Переживать нужно Шесту, которого собирались просить писать заявление по собственному желанию “за преднамеренное распространение лживой информации”. И хотя Костя знал, что все это подтасовано, что каждый факт, изложенный в публикациях, документально подтверждался (кстати, Бубнов сразу после парткома отправился в райком), - до всего этого теперь Косте не было дела: потому что его, судя по всему, назначат редактором, Артемов обещал принять кандидатом в члены КПСС, оставались лишь формальности. А Шест где-то пропадал, не появлялся, когда хватились его перед парткомом. Костя сказал, как и просил Шест, что он болен. Да еще позвонил его матери, мол, несдобровать сыну.

Артемов, моложавый, полноватый, с тяжелой нижней челюстью, с мясистым носом, коротко стриженный, крутил в руке за тонкую дужку очки с дымчатыми стеклами, смотрел то на лежащую перед ним газету с броским заголовком “Пусть память душу сохранит”, то на Костю и, приятно улыбаясь, негромко говорил о том, что все материалы, содержащие хотя бы мало-мальскую критику, необходимо показывать ему, не самовольничать, как Вихорев, и не доверяться проходимцам типа Бубнова. Так и назвал Бубнова проходимцем. Костя в душе посочувствовал Владимиру Ивановичу, а внешне фальшиво-вежливо поддакивал Артемову, подобострастно улыбаясь и мотая кудрявой головой.

- Вы меня знаете, - убедительно сказал Костя. - Я ничего такого себе не позволю!

Артемов с интересом посмотрел на него, склонив голову и чуть прищурив голубые глаза. Статья “Пусть память душу сохранит” ему понравилась точностью и лаконичностью в изложении фактов, но приходилось придерживаться точки зрения руководящего меньшинства, дабы не испортить отношений с Козачковым.

В этот момент дабы в кабинет и вошел сам Козачков, коренастый, невысокий, с темно-русыми, слегка рыжеватыми волосами и зелеными, как морская вода, глазами, человек в кожаном черном пиджаке, сел на стул и положил свои тяжелые, словно принадлежа-

щие крестьянину, руки на колени. Казалось, что не только пиджак, но и весь Козачков пах хорошей кожей.

Из автоматического почтения к положению Козачкова в институте Костя вытянул руки по швам, явно совершая этот жест на публику, да к тому же одарил Козачкова почти ангельской улыбкой, в живости которой выражалась симпатия ко всем вышестоящим начальникам, и особенно к данному представителю этого начальства. “Вот он, главарь мафии, - пронеслось в голове Кости, - простоватый, а держит всех в институте железной хваткой!”

Козачков скользнул беглым взглядом по Косте, скользнул, как холодной зеленой морской водой окатил, так что у Кости по спине пробежали мурашки, потому что в этом взгляде был металл, воля, огненные стрелы, все, что присуще взгляду людей, умеющих и любящих тайно, но безраздельно властвовать. Затем Козачков басовитым голосом задушевно сказал:

- Это для публикации. - И извлек из внутреннего кармана кожаного пиджака вчетверо сложенные странички. - Ответ, я думаю, надлежащий, как того требует... гласность в пределах партийной линии.

Костя, разумеется, моментально смекнул, принимая из рук Козачкова статью, что это липа, но как ни безжалостна была догадка, он тут же испугался ее и, чтобы никто не заметил, во весь рот улыбнулся, не в силах хотя бы сделать эту улыбку чуть менее радостной.

Когда он вышел, Козачков, вынимая из серебряного портсигара папиросу, со снисходительной иронией сказал, рассеивая все сомнения насчет полной пригодности Кости для роли лакея:

- Ну, этот будет соответствовать!

Артемов крепко сжал рот и подумал о том, что без Козачкова ему ни за что не выйти на докторскую, и эта мысль, очевидно, затмила некоторое смущение, вызванное поддельной услужливостью Кости.

А на другой день к Артемову неожиданно ворвался Шест, свежесбритый, причесанный, даже вислые запорожские усы и те были со следами от расчески, в крахмальной сорочке с пестрым галстуком и в своем почищенном и отутюженном клетчатом пиджаке. В костлявых руках его развевались подписные полосы номеров с материалами дискуссии.

Громко и отрывисто говоря, что он ни в чем не виноват, Шест сунул полосы под нос Артемову.

- Чья подпись, а?! - уже кричал белый Шест, нервно размахивая руками. - А, чья подпись?! Смотрите! Это же подпись Кости.

Пока еще слабо понимая, что происходит, Артемов надел очки, и его голубые глаза скрылись за широкими дымчатыми стеклами. На всякий случай он отодвинул стул и отстранился от чрезмерно разгоряченного Шеста, который уже бил себя кулаком в грудь, хватался за лацканы клетчатого пиджака, сдвигая его на спину, как то делают не на шутку распетушившиеся подвыпившие люди из блатных.

- Чтоб я когда против парткома! Да ни в жисть! Только так!

- Да присядьте вы, успокойтесь! - испуганно проговорил Артемов, ошеломленный напором и прямо-таки пробуравленный взглядом неестественно расширенных зрачков глубоко запавших глаз этого верзилы.

Шест плюхнулся в кресло и закинул ногу на ногу; по всему было видно, что искусством перевоплощения он владеет несколько не хуже Кости.

После некоторых размышлений, вспоминая звонок из райкома о визите Бубнова, Артемов медленно и мягко сказал:

- Тем не менее это не снимает с вас, лично с вас, ответственности, и, - он сделал значительную паузу, - выводы нами сделаны правильные...

- А это! - заорал Шест, вытаскивая голубой больничный лист и хлопая им по столу, как фишкой домино завзятый любитель "козла". - Да Костя просто воспользовался тем, что я на два с половиной месяца слег с туберкулезом! - безудержно врал (пользуясь их тактикой!) Шест, обзаведшийся бюллетенем через подругу матери, которая уже неоднократно таким образом спасала его. - Вы не можете себе представить, что это за тип! Они спелись с Бубновым и за моей спиной (что, в общем, было близко к истине), пока я лежал в больнице, все обделали. Только так!

Артемов встrepенулcя, побледнел и встал.

- После первой статьи вас Караваев видел! - Тень от его фигуры скользнула по паркетному полу с почти зеркальным блеском и запахом желтой восковой мастики.

- Ну и что? Я из больницы приезжал, как узнал о самовольстве Кости, чтобы положить конец безобразию! Думал, что совесть-то

у Кости прорежется! А он - вон какой! Видели, тише воды! Я горяч, покричу, но на подлость никогда не пойду. Да вы меня знаете. Газета отличная, все с вами согласовываю! - Шест вскочил и неожиданно хлопнул Артемова по плечу так, что тот даже присел. - Ни шагу без вашего чувственного руководства!

Шест, разумеется, понимал, что нужно было сказать - "чутко-го", но намеренно вставил "чувственного", дабы Артемов не заметил наглого наигрыша. Артемов же этот наигрыш, конечно, заметил, но виду не подал, поскольку понимал, что подавать вид - значит, ставить в некоторой степени себя под удар, чего он никак не желал, потому что за долгие годы секретарства привык не проклявывать нарыв распрь, а ждать, когда он сам естественным образом рассосется.

Через десять минут вполне хладнокровно Шест курил в своем тенистом кресле и приговаривал:

- Я, кажется, кое-как отмазался. Теперь будем думать, как отмазать тебя.

Костя побелел от волнения, испуганно спросил:

- Как?!

- Молча! - повысил голос Шест и добавил: - Заварил кашу, а мне расхлебывать! Что бы ты тут делал без меня! Читал "Муму"! А я, как бедолага, где только не был. Пошел провожать Малька в отпуск на Рижское взморье, да и уехал с ним без билета. Знаешь, наверху закуток, над дверью, куда чемоданы ставят... там кантовался. Ну, Майори, Булдури, Дзинтари... Опергруппу вызывают, я еле дышу. На какой-то стройке, на лестнице в подвал сижу, рядом две бутылки бальзама рижского... Утром пришли рабочие, а я как труп... Оказался почти дома, в Москве... Еле отмазался, ксива эмвэдэшная помогла! Потом выхожу вечером...

И пошло и пошло!

Костя старался не слушать. Его полное лицо выражало усталость и досаду. Видно было, что он замучился, изнервничался с этим Шестом, и лишь природная кротость не позволяла ему бросить в лицо этому "гостю" редакции что-нибудь резкое. Костя отчетливо понимал, что месть его не удалась, что он обречен работать с Шестом до тех пор, пока не вступит в партию, не закончит институт и не подыщет себе место в какой-нибудь приличной газете. Но это было еще так далеко, так неясно! Между тем, как самое трудное и сложное, - рядом.

МЕСТЬ

- Слушай, смотрю я на тебя и думаю, а есть ли у тебя мысли? - с издевкой начал Шест. - Скажи хоть одну мысль?! А?! Кому чего сказал!

И Костя с покрасневшим от негодования лицом крикнул:

- Ну кино! Твоя так называемая гениальность и твоя шизофрения - это одно и то же: детские штанишки, из которых, судя по всему, ты не вырос и не желаешь вырастать!

Лицо Шеста словно окаменело. Он посмотрел на Костю со сдержанным гневом и встал из-за стола.

- Умно, - тихо проговорил он, понимая, что нарвался на безжалостную откровенность, и прошелся по комнате, заложив руки за спину. - Во всяком случае, эта мысль не банальна и она мне по душе. Что моя жизнь? Что жизнь людей? А?! Одна и та же тема в тысячах вариантах. В тысячах! А из меня хотят вылепить плагиат! Да, меня все хотят загнать в какую-то джинновскую бутылку хороше-сти! Жена все этим занималась! Не пей, не кури, будь вежлив, стирай, готовь! А я не хочу под указкой быть хорошим! Не хочу "Муму" переписывать! Да и кто сказал, что мне нужно быть хорошим?! А? Пока я сам себе это не скажу и не сделаюсь хорошим - все их усилия - блеф! Мне надо, чтобы я сам пожелал и сделал! Хочу быть самим собой. Самоуправления хочу!.. Ладно, пойдем квас пить! - вдруг вскричал он и добавил наигранно-плачущим голосом: - Дедушка, возьми меня отседа, совсем пропадает твой Ванька Жуков!

*В книге "Избушка на елке",
Москва, Издательство "Советский писатель", 1993.*

БЕГЛЕЦЫ

повесть

I

Звенели на морозе троллейбусные провода, сладко похрустывал новогодний снежок под ногами, щипало нос, розовели щеки, и покрывались белой глазурью инея шапка, шарф и воротник. Солнце поджигало снег, за прохожими весело бежали длинные тени, в подворотне с холодными мрачными стенами хрустально крошился ледок и позванивал, как рождественские колокольчики.

Желтый флигель в глубине двора, одноэтажный особнячок с тремя белыми, как свечи, колоннами по фасаду, с крылатым козлом, барельефным под козырьком, светился на солнце и казался пряничным, съедобным. По тропинке в снегу, через три ступеньки вверх, узким, холодным коридорчиком, две ступеньки вниз, дверь налево, скрипит, хлопает, справа дверь с рубчатым стеклом окошка приоткрыта, и оттуда резко тянет хлоркой.

Везувий Лизоблюдов переступает с ноги на ногу, перехватывая из руки в руку тяжелый аккордеон в черном, обшитом дерматином футляре.

- Господи боже мой, и-ых, Везувий Иваныч пожаловал! - всплескивает руками тетя Поля, когда Везувий минует порог кухни.

На плите ворчит большой алюминиевый чайник, подбрасывает крышку, наполняя кухню туманом. Пахнет репчатым луком, крутыми яйцами и вареным мясом.

Дымящаяся картошка, с которой только что сняты "мундиры", рубится на большой доске Верой, высокой девушкой с загадочными темными глазами и густой заплетенной косой до пояса. Вера - двоюродная сестра Везувия, десятиклассница. Ее сестра Лиза,

стриженная под мальчика, копошится у духовки, выдвигает горячий противень с румяными, маленькими пирожками.

У другой плиты молчаливо стоят и лениво что-то помешивают в кастрюлях соседки. Им ничего варить не надо, но они с упорством часовых стоят на часах любопытства.

В углу, на длинной лавке, сидит еще один сосед, старик с белым петушиным хохолком, и починает на деревянной сапожной ноге дырявый ботинок. Глаза старика слезятся от дыма и копоти, но он настырно продолжает работать.

У желтого фанерного шкафа стоят две девочки в коротких байковых платьях и коричневых, сборенных на коленях чулках. Одна девочка сосет длинную полосатую конфету-сосучку, другая грызет сухарь, обсыпанный крупным песком.

В картонной коробке ползает полуторагодовалый малыш, надевает на пухлые пальцы засаленные, обкусанные сушки и улыбается двумя передними резцами.

В довершение ко всему Везувий замечает на шкафу рыжую облезлую кошку, которая сосредоточенно следит за Верой, в руках которой появляется длинная пятнистая осетрина.

Везувий вздыхает празднично и, сопровождаемый тетей Полей, идет по темному коридору в комнату, а войдя, ставит осторожно аккордеон на пол.

Тетя Поля улыбается, разматывает шарф с шеи Везувия, а затем вешает пальто и шапку за занавеску, которая идет от шкафа к косяку двери. От Везувия пахнет морозом, тетя Поля радостно ежится, что-то говорит и бежит на кухню.

За ширмой на высокой никелированной кровати спит дядя Володя, который работал в ночную смену. Чтобы не разбудить его, Везувий садится на грубо сработанный табурет и смотрит в окно.

На стеклах искрящиеся морозные узоры, они сливаются с белыми тюлевыми шторами. В комнате пахнет елкой, старой мебелью, пылью от потертого ковра, которым покрыт большой диван с валиками и высокой спинкой. На этажерке стоит патефон, над ним висит в узорной рамке фотография дяди Володи в шлемофоне со звездой, рядом - другая фотография: тетя Поля с дядей Володи, только головы - большие, склоненные друг к другу словно из тумана. Над одной кроватью - коврик с белыми лебедями, над другой - коврик с пальмами и попугаями, над третьей - ничего нет, засаленные розовые, в некоторых местах порванные обои.

Везувий с волнением смотрит на обои, на коврики, на фотографии, на этажерку с патефоном, на диван, на широкий и длинный, уже раздвинутый стол, накрытый снежно-белой крахмальной скатертью, и думает о предстоящем празднике.

Везувию десять лет, он смугл, плечист, с большим лбом, над которым нависают черные жесткие кудри, с тяжелой выступающей нижней челюстью и прямым волевым носом. Глаза Везувия большие, такие же черные, даже зрачков не видно, как волосы, эти глаза покрыты сейчас блестящей пленкой, отливающей синевой, как маслины, и, кажется, полны глубочайшего смысла...

Через пару часов комнату не узнать: все гудит, гремит, звенит, выбрирует, восклицает. Дядя Володя, просветленный после сна, бритья и умывания холодной водой, что-то доказывает брату, отцу Везувия, чернобровому, крепкому и высокому Ивану Степановичу; третий брат - Николай - чему-то улыбается и высоким голосом пытается затягивать песню о танкистах.

Женщины раскраснелись, вспотели, не перестают оглядывать свои крепдешиновые, креп-жоржетовые, шелковые платья, бьют ласково по затылкам своих вертящихся перед столом детей и беспричинно хохочут.

Лишь Везувий сидит смирно у этажерки, смотрит исподлобья на бесчисленную родню и неторопливо жует огромный ломоть белого хлеба, намазанного по-царски сливочным маслом и толстым слоем красной, влажной и поблескивающей икры. Везувию еще не пора, не настал его час, еще длится сумбур, вхождение, углубление в праздник, но не сам праздник.

Чтобы размять ноги, Везувий встает и ищет глазами лазейку к двери, затем ныряет под стол и ползет. Вот босоножки мамы, вот хромовые сапоги дяди Коли, вот модные лодочки Лизы, вот парусиновые, надраенные зубным порошком полуботинки дяди Володи, вот потертые сапоги отца с маленькой заплаткой у мизинца... На кухне сосед с белым хохолком все еще чинит ботинок, вколачивает конусные гвоздики в подметку. Везувий опускается на колени у подокольника, на котором лежит раскрытый новый альбом для рисования и коробка цветных карандашей - подарок тети Поли к празднику.

За окном фиолетовая темнота, морозные разводы на стекле - голубы.

Везувий извлекает остро отточенный синий карандаш, чешет в раздумье цыганские кудри и начинает рисовать. Штрихует он точно так, как показывала Вера, сверху вниз, продвигаясь по снежному полю листа слева направо. Заштриховав весь лист синим, Везувий достает черный карандаш и выводит в углу чернинку, олицетворяющую, по мысли Везувия, снежинку...

Когда первый лист переворачивается, на кухню вбегает раскрасневшаяся Вера, от нее пахнет цветочным одеколоном и пирогами.

- Везувий, пора, столы сдвигают! - восклицает она, хватая мальчика за руку и бежит с ним по коридору, огибая сундуки, плетеные корзины с картошкой и санки, в комнату.

Форточка приоткрыта, белый морозный пар шевелит тюлевую занавеску и обволакивает небольшую елку, стоящую на табуретке сбоку. Чуть слышно позванивают серебристые колокольчики.

Везувий Торопливо, волнуясь, набрасывает ремни аккордеона на плечи, опускает черную голову, притопывает и громко берет первый аккорд: па-па-па-тата-та!.. В малую паузу он успевает выдать ногами в новых черных лаковых ботинках, в которые переобулся из валенок, изумительную, чеканную дробь и, качнув плечами, пройти с полкруга, при этом руки не забывают звонко хлопнуть по каблукам.

Пальцы проворно, заученно бегают по кнопкам и клавишам, как будто эти пальцы созданы специально для аккордеона.

Черный кудрявый чуб Везувия вскипает над головой, с лица не сходит залихватская улыбка, глаза озорно поблескивают.

Но вот он останавливается, замирает и, переходя на грустную мелодию, отходит назад, а в круг, пожимаясь от смущения первого танца, выходят молодые Вера, Лиза, Тоня, Коля - все дети, все братья и сестры, родные и двоюродные. Теперь Везувий угрюм, задумчив, его смуглая Щека лежит на перламутровой поверхности аккордеона, мехи плавно расходятся, как морские волны за кормой корабля.

Дядя Володя, дядя Коля и отец Везувия блаженно улыбаются и попыхивают "Беломором" в потолок, ноги братьев, как бы опасаясь чего-то, робко отбивают такт...

В первый день после возвращения с фронта, в августе сорок пятого, Иван Степанович брился, густую белую с черным маком

щетины пену обтирал о листки численника, старые, сорванные и наколотые на гвоздь, вбитый в стену возле календаря.

Обтирая большую, острую, правленную на широком армейском ремне опасную бритву в очередной раз, Иван Степанович между прочим вчитался в оборотную сторону листочка, где рассказывалось о Везувии, в память запали строчки о своенравном вулкане, и когда нужно было девять месяцев спустя давать имя родившемуся сыну, Иван Степанович твердо сказал: “Везувий!” - “Почему?” - спрашивали недоуменно отца старшие, довоенные, дети, Коля и Тоня. “Потому что зальет лавой любого врага!”

Везувий поднимает голову и смотрит в одну точку, в глазах его появляются слезы, он сдержанно, сурово и чрезвычайно тоскливо начинает наигрывать какой-то забытый, старинный марш, с какими еще деды и прадеды ходили на турецкую...

Дядя Володя, крепкий, жилистый, возводит глаза к потолку и делает вид, что слезы в его глазах появляются от дыма папиросы.

Дядя Коля, с лохматыми бровями, за которыми и глаз не видно, сопит носом и роняет голову в ладони. Женщины пытаются петь, но сбиваются, потому что слов не знают.

Вызвав чувства скорби и печали, Везувий степенно встает, подходит к столу и залпом выпивает стакан лимонаду. Затем слышится огненный перебор, кудри его вздрагивают, ноги выделяют немислимые кренделя, ладони хлопают по коленям - и пошла крутить музыка, вскипает у родственников пылкая душа, уж и дядя Володя в кругу, и дядя Коля ломит бор сапогами, и отец идет вприсядку!

II

Везувий слышит свой странный и настойчивый голос. Этот голос громче голосов родственников, громче звуков аккордеона, громче...

Этот голос с волнением и придыханием говорил: “А в метро сейчас нет никого, пусто, пойдй посмотри!”

За столом усилился гул голосов, звон рюмок, стук вилок о тарелки. Везувий осторожно поставил аккордеон у кровати и на мгновение закрыл глаза: темно.

А потом – розовая полоска, тонкая, как мандаринная долька, по которой катится зеркальный елочный шар, а вон и сама елка, трепещет ветвями от ветерка со снегом, похожим на пух, который здорово разлетается из подушки, с которой сброшена хрустящая накрахмаленная наволочка, если этой подушкой запустить в сестру Тоню, пятнадцатилетнюю девушку, вечно шикающую на Везувия, когда тому спать не хочется.

А сегодня спать не нужно!

В коридоре, едва освещенном тусклой и печальной лампочкой, такой печальной, что сквозь засиженную мухами стеклянную грушевидную колбу подмигивал слабо-красноватый червячок спирали, в коридоре гуляла облезлая рыжая кошка.

Когда Везувий заметил ее, она поспешно подошла к плетеной корзине, боднулась, как козленок, и потерлась сначала лбом, затем облезлым тигроватым боком и длинным хвостом.

Везувий очень серьезно, как то делают взрослые, вздохнул, как бы говоря этим вздохом: “Ну что с тобой делать, кошка?”, присел и вытянул руку ладонью к полу. Пока кошка смотрела на руку, а потом шла нерешительно к этой руке, Везувий слышал приглушенные голоса из праздничной комнаты, которые сливались в сплошной гул, похожий на далекий шум поезда.

Кошка сделала круг под ладонью, остановилась, села, подвернув хвост к передним лапам, и ткнулась влажным, холодным, розоватым кончиком носа в эту ладонь. Ощущение у Везувия было такое, как будто капля с крыши упала на кожу за шиворот.

И хотя тут была ладонь, а не шиворот, ощущение было точно такое же приятно-раздражительное.

Через минуту Везувий был уже в пальто и в валенках, в одной руке держал шапку, а в другой несколько кружочков колбасы.

– Рэкс, рядом! – приказал Везувий, вытягивая руку с колбасой, и быстро направился к выходу.

Узким, холодным коридорчиком, две ступеньки вверх, дверь скрипнула, стукнула, и воздух, ночной, морозный, вкусный, обнял Везувия, как любящая мама. Он дверь толкнул, увидел кошку, которая нерешительно приподняла, согнув, переднюю лапку. Глаза ее расширились, нежные ноздри зашевелились. Кошка приюхивалась подозрительно к свободе и, по всей вероятности, думала, не дать ли задний ход.

Из черного провала подворотни донеслось: “У-у-у-у...” - и стихло.

Это “у-у” напоминало голос волка, протяжный, призывный вой, который очень здорово изображал папа, когда рассказывал о волке, о том самом волке, который наведывался к ним в деревню.

Везувий осторожно и очень медленно поставил зависшую ногу в снег, почти что без скрипа. Он обернулся на кошку, протянул руку с колбасой. Кошка не шевелилась, сидела как глиняная копилка. Везувий нагнулся, бережно положил темные пахучие кружочки на снег подле своих черных, с белым налетом валенок.

Подумав, Везувий отошел в сторонку, напряженно вслушиваясь в скрипящие шаги. Огромная серая громада дома с подворотней тянулась к черному небу. Окна горели разные: синие, розовые, зеленые... Везувий с наслаждением вспомнил о том, что теперь все люди не спят потому, что играют в праздник. Конечно, посочувствовал Везувий, им тоже хочется поиграть, только они стесняются часто играть, поэтому придумали специальные дни, чтобы играть без опасения, что заиграются и им попадет.

Кошка осторожно подошла к колбасе, принялась есть, пробуя каждый кусочек острыми, как гвозди, клыками.

Из желтого флигеля слабо доносились голоса, гладили слух Везувия, щекотали. Везувий расстегнул верхнюю пуговицу пальто, подошел к кошке, склонился, погладил, поднял и сунул за пазуху, чему кошка не удивилась, а, наоборот, восприняла “посадку” вполне дружелюбно и даже мелодично, басовито заурчала. Теплее сразу стало на груди.

Все так же, как днем, крошился под ногами ледок в подворотне, позванивал.

“У-у-у-у...” - опять донеслось до Везувия. Он поежился от этого волчьего воя, мурашки побежали по спине. Мелькнул в проеме подворотни силуэт троллейбуса. Ах, вон что, оказывается, троллейбусы по-волчьи подвывают!

У метро было светло и из высоких дубовых дверей клубами валил пар, как будто это был не пар, а белесоватые облака, упавшие на землю.

Кошка, ничего себе, тихо сидела за пазухой. Везувий нащупал в кармане книжечку “метровых” талончиков, желтеньких бумажек

с клетчатым контролем. Везувий шагнул в облака, спустившиеся на землю, и исчез.

Поблескивал плиточный пол под ногами, а валенки ступали по нему бесшумно, и был момент, когда сам себя Везувий не слышал.

Потом сердце свое почувствовал, как оно стукнуло, сдвинулось, застучало, как будильник с сорвавшейся пружиной. Это потому, что в длинном, пустом коридоре, еще до поворота на прямую к контролершам, черношинельным женщинам, послышался ритмичный звонкий стук - дук-тиу-дук-тиу, как будто забивали гвозди в тугую пересохшую доску.

Заволновалась кошка на груди, резко толкнулась жилистыми лапами и выпрыгнула из пальтового дупла на кафель, шаркнула когтями и помчалась за поворот.

А сзади - дук-тиу, стук молотка, с оттяжкой, по камню. Везувий попятился к стене. Из-за поворота приближался стук и наконец женщина в черном вышла, и первое, что увидел Везувий, были туфли, черные, с золотистыми бусинками и на очень тонком высоком каблуке. Дук-тиу. И шли эти туфли след в след, как кошка к корзине, чтобы боднуться.

- Кис-кис-кис! - с волнением позвал Везувий, недоверчиво глядя в сторону приближающихся, громко стучащих туфель.

- Зачем ты дразнишься! - с чувством сказала женщина, останавливаясь возле Везувия.

В голосе этом было что-то подозрительно плачевное. Везувий поднял глаза, увидел - женщина заплакана, черные вертявые струйки краски на припудренном лице напоминали робкие ручейки на весеннем снегу.

И вовсе это была не женщина, а девушка, догадался Везувий, вглядываясь в печальное и красивое лицо.

Везувий присел и погладил золотистые бусинки на туфлях девушки.

Из-за угла выглянула кошка. Везувий боковым зрением заметил ее, но виду не подал, лишь осторожно отвел руку от туфель в сторону, ладонью вниз.

- Тихо! - повелительно прошептал он. Девушка видела, как кошка медленно пошла к вытянутой руке мальчика, как сделала круг под ладонью и ткнулась носиком в нее. Девушка присела, доптронувшись коленями в прозрачных чулках до руки Везувия, и бережно погладила кошку.

III

В картонном ящике на кухне, где давеча играл полуторагодовалый соседский ребенок и в который теперь прыгнула кошка, когда ее Везувий выпустил из рук, возле обгрызанной сушки лежала коричневая соска, которую надевали на бутылку.

Везувий машинально взял соску и швырнул в дальний угол кухни.

Кошка бросилась следом, с каким-то диковатым рычанием, тут же, бодаясь, выскочила из угла, держа в полуоткрытом клыкастом рту соску, как собака палку. Трусцой, подбрасывая зад, как лошадь на галопе, кошка приблизилась к ногам Везувия, зычно мяукнула и выронила соску на пол. Везувий застыл, пораженный и растроганный.

- А ну-ка еще разок! - воскликнул он, поднял соску и швырнул в тот же дальний угол.

Проскрипели, пробуксовывая, когти по полу от резвого старта, и через секунду соска вновь покатилась, выпущенная изо рта, к валенкам очарованного кошачьими способностями Везувия.

Для верности повторив упражнение еще несколько раз, Везувий сунул соску в карман, подхватил кошку на руки и помчался в комнату.

Стоял шум.

Взрослые громогласно о чем-то спорили или вспоминали что-то, дети танцевали под патефон. Везувий поднял над головой кошку и не своим голосом заорал:

- Она соску сама носит!

Мама, раскрасневшаяся, потная, полноватая женщина лет тридцати семи, взглянула довольно спокойно на сына и сказала:

- Вася (она называла его так, потому что не нравилась ей отцовская причуда с "Везувием"), от нее лишаи будут.

- Ничего от нее не будет! - крикливо выпалил Везувий. - Она умная! - И, обращаясь к отцу, Ивану Степановичу, который довольно сильно захмелел, сказал: - Пап, ну пойдем, посмотришь! Ну пап! Чего ты все за столом торчишь! Пойдем!

Иван Степанович, здоровый, крутоплечий, положил свои пудовые кулаки на край стола, качнулся, мутные глаза как будто прозрели, и он громогласно вымолвил:

- Не мо-огу отказать, сын зовет! - И неуверенно встал. - Я оф... оф... цияльно за-аявляю... Везувий бу-удет артистом! В Бо-оль-шом тя... тятре... высту-упать будет!

Голос у Ивана Степановича был столь низкий и громкий - недаром говорится: луженая глотка, - что хотелось, когда он говорил, особенно когда был под хмельком, зажать уши.

- Ну, нахлебалси уже! - недовольно проговорила мама и с чувством махнула рукой.

- Да ладноть, Дусь! - успокоила ее жена дяди Коли. - Ноне небось праздник!

Иван Степанович толкнул нечаянно стол, попадали бутылки и рюмки.

Глубоко вздохнув и покачиваясь, Иван Степанович вышел на середину комнаты и прогремел своим иерихонским голосом:

- Хтой-то нахлебалси? И я, что-оль? Не бы-ывать, чтоб Лизоблюдовы пья-аными ва-алялись! - Он топнул ногой, так что красный абажур с кистями закачался.

Брата взял под руку коренастый дядя Коля.

- Вань, не шуми! Чего ты, в гараже, что ль?!

Везувий, успевший скинуть пальто и переобуться, тем не менее, не отпуская от себя кошку, вцепился в руку отца и тащил его в коридор.

- Пап, ну чего ты уперся! Пошли цирковые номера смотреть! - говорил Везувий и видел, что отец слушается его.

В коридоре Иван Степанович качнулся в сторону сына, так что тот сел в соседскую корзину с картошкой.

- Пап, ну что ты допьяна пьешь всю дорогу!

- Ну, я-а не... не... обуду! - склоняясь к самому уху Везувия, прошептал Иван Степанович, обдавая ребенка густым запахом водки.

На кухне отец оперся крутым плечом о косяк, а Везувий занес руку с соской над головой. Кошка замерла, даже шерсть на спине вздыбилась.

- Ого... смотри... ого... Мхмы, - оживился Иван Степанович и заслонился руками, изображая испуг. - Си-ильней кошки зверя не-эт!

Везувий метнул соску в угол. Кошка моментально, с характерным шарканьем когтей по дощатому полу сорвалась с места. Обратно она шла, как показалось Везувию, даже с какой-то показной улыбкой, говорящей, мол, смотрите, какая я способная.

Иван Степанович встряхнул тяжелой головой, чуб упал на глаза.

Непосредственная, прямо-таки детская улыбка озарила его пьяное лицо, и он воскликнул:

- В Бо-ольшом тя... ступать!

Везувий вновь швырнул соску и, когда кошка несла ее назад, сказал, заглядывая в улыбающееся лицо отца:

- Как твой Нолик!

Отец, еще более оживляясь, что-то вспомнив, прогремел:

- Ма-ать ко-ормит его... Ванька не по-одходи... Нолик тут как тут... Бежит к матери... А я уж... по-оджидая! За-а-апрягу в тележку... Не хо-очет ехать... Потом неделю не подходит...

Иван Степанович, придерживаясь за стену коридора, направился в комнату.

Везувию надоело играть с кошкой, да и та, судя по всему, утомилась - легла в картонную коробку.

В комнате по-прежнему шипел патфеон. Везувий чинно подошел к столу, сел на свободный табурет. Тут же мама придвинула ему тарелку с салатом. Подзакусив, Везувий взял аккордеон и принялся исполнять "концерт по заявкам".

- А эту знаешь? - спрашивали и мурлыкали ему на ухо приблизительные мелодии.

Везувий некоторое время молча смотрел в одну точку, как бы прикидывая, как лучше взять эту мелодию, потом растягивал мехи, и все убеждались, что Везувий и эту песню знает.

Он играл и задумчиво смотрел на отца, на его братьев, на их жен, на детей, и Везувию казалось, что все эти люди каким-то таинственным образом отдаляются от него, как будто он и не в этой комнате сидит и играет, а где-то в ином мире, а здесь все происходит не по правде, понарошку, потому что лица теряли конкретные очертания, он не различал уже голосов и реплик, не слышал вообще ничего, был не с ними, был где-то глубоко внутри себя.

Но вдруг что-то странное вывело Везувия из этого состояния погруженности в себя, что-то поначалу показавшееся ему незначительным.

Этим незначительным была нота плача, пронзительно-надрывного плача, который как-то неестественно ворвался в грустную мелодию.

Везувий не мог понять, откуда исходила эта нота, он даже, закрыв на мгновение глаза, выхватил образ девушки в черных туфлях с золотыми бусинками, но нет, там не было столь отчаянного, пронзительного плача.

Везувий сдвинул мехи.

Рыдал отец. И это было страшно видеть, потому что плачущим, а тем более рыдающим, Везувию отца никогда не видел. Везувий сильно побледнел. Да, судя по лицам окружающих, не один он испугался.

Это даже было не рыдание, а какой-то вопль, какая-то смертельная сирена скорби и отчаяния. Этот луженый голос, этот бас умудрялся в плаче достигать тончайших теноровых вершин, превращаясь в сильнейший, берущий в тиски душу стон.

- 0-0-0-а-а-а-у-у-у!

- Что с папкой?! - посиневшими губами вскричал Везувий, сбрасывая на пол инструмент и хватая за руку дядю Володю.

- Пойдем-ки у кухню! - затараторила тетя Поля, вставая между Везувием и дядей Володей.

Другие дети, втянув головы в плечи, уже гуськом выскальзывали за дверь. А у Везувия безумно билось в страхе за отца сердце.

- Что-то с папкой! - истошно кричал он. - Пустите меня к папке! Пустите меня! Я хочу к папке!

И вырвался, и - под стол, к ногам отца, а там вынырнул из-под скатерти к дивану, обвил руками шею отца и горячо и торопливо зашептал на ухо ему:

- Папка, не плачь, папка, не кричи так, папка!

- А-а-а-0-0-0-у-у-у! - еще страшнее полился из глотки отца надрывный стон, так что у Везувия заложило уши и в голове застреляло большими иголками.

Но Везувий шептал на ухо отцу, гладил его по голове, и надо признать, не безуспешно: стон помаленьку стихал.

- Вань, ну чего ты распустился, ну, Вань! - бормотала мама и через стол совала отцу стакан с холодной водой.

Дядя Коля осторожно утер слезы в собственных глазах, откинулся к спинке стула и мечтательно, но с дрожью в голосе сказал:

- Детство вспомянул...

Везувий взгромоздился уже к отцу на колени и сжимал в своих объятьях его голову с казачьим чубом.

- Расскажи лучше, как ты Нолика запрягал...

Вдруг как рукой сняло рыдания Ивана Степановича. Он поднял мокрое от слез лицо, нашел рюмку водки, тяжелой волосатой рукой ухватил ее и опрокинул в рот, как каплю.

- Ну и хорошо, Иван Стяпаныч, и выпей, выпей... Ноне праздник! Она холодцу-то прихвати вилкой... Вась, - обратилась жена дяди Коли к Везувию, - дай папке закусить-то холодцу.

- Холодец-то сутки, чай, уваривала, - поддержала тетя Поля. - Ножки Володя принес, в столовой брал... Да я рази одни ножки уваривала? Туту мяса говьяжьего два кило с лишком...

- И не говори, Поль, - комкая носовой платок толстыми пальцами, сказала мама Везувия, - ем-ем холодец, а все не наемси!

Везувий наколол вилкой кусок мясистого, с жирным налетом холодца и сунул в рот отцу. Тот прожевал и, сглатывая, вымолвил:

- Судьба проклятая...

- Нечо на судьбу-то пенять, - незлобно сказала мама, - хлебать нечо по стольку!

IV

Гирлянда из пузатеньких автомобильных лампочек, прихорошенных разноцветным лаком, вспыхнула на елке, и огоньки задрожали на зеркальных шарах, радужными отливами побежали по серебристым ниткам дождя и отразились в темном, синеватом, с матовыми морозными узорами окне.

Из-за высокой ширмы уже несся дребезжащий, с посвистываниями, храп Ивана Степановича. Его устроили одного на пуховой перине.

- Ишь, родимец, поет-то как! - прошептала тетя Поля, взбивая подушку для Везувия.

А он стоял в трусах и ежился, поникший, даже угрюмый. Сердце его билось часто-часто, он скашивал глаза на левую часть своей груди и через майку видел, как трепещет тело. Хотя Везувию и хотелось спать, но он не желал спать - вернее, не спал бы вовсе, чтобы...

Он не искал в своей голове оправданий этому уже привычному своему состоянию. Он думал не при помощи головы, а душой, поэтому огоньки, отраженные в темно-синем окне, вдохновляли его на бессонницу, а взбиваемая тетей Полей подушка - пугала.

Он тяжело, не по-мальчиковски, вздохнул, повернулся и пошлепал в больших тапочках к двери, обходя лежащих на полу засыпающих родственников.

- Куда-то ты? - шепнула тетя Поля.

Везувий не ответил, ускорил шаг, вышел в коридор. "Ну зачем я такой!" - подумал он, чуть не плача.

Дверь с рубчатым стеклом жалобно пискнула, в нос ударило крепким запахом хлорки, белые, как зубной порошок, кучки которой были рассыпаны вокруг пожелтевшего унитаза.

Везувий закрыл глаза и увидел пестрые, туманные огоньки на стекле, как звездочки в небе.

Он с отчаянием пыжился, даже покраснел, но выдавил из себя лишь каплю.

Морозец пробежал по коже, выступили гусиные беленькие мурашки.

Везувий открыл глаза, дернул висящую на цепочке белую ручку, вода с шумным бульканием из высоко установленного ржавого бака хлынула вниз.

Когда он вернулся в комнату, мама что-то шептала тете Поле и расстилала клеенку на матрасе у батареи, где пристраивали спать Везувию. Он в муках откинул голову и закатил глаза.

- Чтой-то с почками, - тихо сказала мама.

- Ничо, что я, не простирну, что ль, не выглажу?! - проговорила тетя Поля, посапывая носом.

Везувий, ложась в готовую постель, наказал себе вовсе в эту ночь не спать, а лежать и смотреть на елку, которая оказалась совсем над его головой и от которой струился приятный лесной дух.

Заключительный аккорд храпа Ивана Степановича потряс комнату, даже колокольчики на елке зазвенели. Вслед за этим

аккордом слышалось какое-то бормотание, и Иван Степанович затих.

Это мама ударила его в бок локтем, а затем перевернула со спины на бок. На боку Иван Степанович не храпел, но, что поразительно, не терпел спать на боку. На боку он мог спать пять - десять минут, затем откидывался на спину и начинал свой храп.

Сначала он храпел тихо, даже мелодично, но постепенно, увлекаясь, он взводил этот храп до такого мажора, что мама просыпалась и давала тумака в бок, переворачивала на бок... Но через некоторое время все повторялось.

- В хлеву тебе место! - бранилась она. - Храпишь как боров! Детей перепугаешь!

Везувий лежал с широко открытыми глазами и смотрел на елочные огоньки. Но тут подошла тетя Поля и выдернула вилку из розетки. Стало очень темно. Потом слабо завиднелось окно с морозными узорами. Что-то хрустнуло, упало и разбилось. Везувий открыл глаза и увидел папу.

- Ничо, Иван Степаныч, я подберу, - сказала тетя Поля.

В комнате было по-утреннему светло. Родственники шевелились в своих временных постелях, вставали, потягивались. Везувий в страхе закрыл глаза, почувствовав, что лежит в болоте, холодном болоте. Он сделал вид, что спит.

Вот кто-то приближается к нему. Кто же? Конечно, мама. Вот она склоняется над ним, он чувствует теплые струйки ее дыхания, вот она осторожно запускает руку к нему под одеяло.

Лучше б он не родился!

Мама склоняется к самому уху Везувия и шепчет:

- Сними, Вась, трусики, вот тебе сухие...

Везувий нащупывает сухой комок, сжимает зубы и злится на себя, на маму, на праздник, на елку, на все на свете. Он быстро переодевается лежа, незаметно и открывает глаза. Кроме мамы, никого рядом нет. Это уже неплохо. Он облегченно вздыхает, встает, вернее - выскальзывает из постели, не поднимая одеяла, чтобы - не дай бог! - кто-нибудь не увидел мокрую простыню.

Пока он одевается, мама ловко прибирает его постель, как будто ничего и не было. Везувий смотрит на маму любящими глазами. Она склоняется к нему и чмокает в щеку.

На кухне в этот утренний час уже полно народу: соседки что-то сосредоточенно помешивают в кастрюлях, над которыми вита-

ет пар. Старик с белым хохолком продолжает починять дырявый ботинок.

Везувий улыбается всем и громко произносит:

- С Новым годом!

Одна соседка, щекастая, с шестимесячной завивкой, замечает:

- Какой вежливый мальчик!

У раковины, тут же в кухне, по очереди умываются гости. Вера заплетает длинную косу. Лиза говорит весело:

- Пошли с горки после завтрака кататься!

Наступила очередь умываться Везувию.

Он крепко сдвигает ладошки в пригоршню, как учил папа, и в живое ручное корытце набирает доверху ледящей воды. Вода тут только, в этом кране.

Одна раковина на всю квартиру. Везувий умывается с пофыриваниями, трет докрасна лицо и шею...

Резко запахло подгорелой рыбой, которую жарила одна из соседок.

В комнате взрослые сидели за столом. Иван Степанович смущенно смотрел красноватыми глазами по сторонам и приглаживал ладонью черно-смольный чуб.

- Ну что, поправим голову? - спросил дядя Володя.

- Не, я не похмеляюсь, - виновато прогудел Иван Степанович и придвинул к себе большую фарфоровую кружку с крепким чаем. - А вот лимончик прихвачу. - Он бросил засахаренную дольку желтого, остро пахнущего лимона в кружку.

Отпив несколько глотков, Иван Степанович выловил ложечкой эту дольку и сунул в рот, морщась, как от лекарства.

- Везувий Иваныч, полезай-ка к папке! - весело сказала тетя Поля, разрезая длинным столовым ножом огромный пирог.

Везувий привычно нырнул под стол и оказался на диване, покрытом колючим старым ковром, который, говорили, дядя Володя из Германии привез.

Отец обнял сына.

- Пап, видал, кошка прыгала как за соской! - воскликнул Везувий, наверняка зная, что папа запомнил умницу кошку и оценил ее способности.

Но Иван Степанович, шевельнув мохнатыми черными бровями, недоуменно взглянул на сына.

- Какую кошку? - робко и дружелюбно вывел Иван Степанович.
- Ну, вчера, в кухне она соску носила, - нетерпеливо стал пояснять Везувий и добавил: - Ты же сам видел!

- Не помню, - смущенно сказал Иван Степанович и потупил взор, как бы признавая этим свою виноватость перед сыном за то, что напился пьяным.

- А чего ты... - начал Везувий, собираясь спросить отца о вчерашних его рыданиях, но осекся. Не оттого осекся, что понял, что неприлично об этом спрашивать, а потому, что голос какой-то сказал ему тут же, что можно вслух спросить и о том, почему простыня под Везувием была мокрая. Поэтому Везувий после короткой паузы выкрутился: - А чего ты лимоны ешь, они же кислые?

V

Везувий заметил между колоннами сидящего на выступе мальчика в мохнатой шапке и в очках. Мальчик как-то уныло, надув щеки, смотрел в одну точку.

Везувий вскинул голову и увидел над высокой громадой серого дома солнце. На мгновение в глазах стало темно, а потом в них возникла черная дыра, быстро сузившаяся до точки.

В этот момент мальчик в очках успел окинуть Везувия одним быстрым и пронизательным взглядом. Ощувив на себе этот взгляд Везувий смутился, потому что понял, что мальчик старше него. А сначала Везувию показалось, что тот ровесник.

Мальчик прыгнул с уступа и сказал высоким тенорком:

- Снег - это с... - он сделал значительную паузу после "с", - ... нег.

Недоуменно поджавшись, Везувий спросил:

- Ну и что?

- Да нет! - взмахнул рукой мальчик. - Вы меня не поняли!

Это "вы" не на шутку насторожило и встревожило Везувия, потому что так к нему обратились впервые. Было от чего насторожиться.

Какой-то мальчик, пусть и повзрослее, обращается на "вы".

Везувий сразу же почувствовал, что этот мальчик одинок и играть ему не с кем.

Для полной последовательности своих догадок о нежелании мальчика ни с кем играть Везувий пристальнее взгляделся в его лицо, но ничего такого не заметил, кроме разве все той же бледности, которую прежде отметил.

Вообще он был - этот мальчик - какой-то сонный.

- Не просто снег, - продолжил тот довольно невозмутимо, - а упавший с нег! - И спросил: - Знаете, что такое нега?

- Нет! - бодро признался Везувий.

- Да это очень просто: нега - это нежный. А к нежному прилепляем "с" и получаем - снежный!

Везувий сразу же впал в какое-то странное состояние умиленного слабоумия.

Раньше ему казалось, что он неплохо во всем разбирается, даже кошку выдрессировал. Вспомнив о кошке и о соске, Везувий выпалил:

- Нагинаюсь к ящику, хватаю соску и...

- Нагибаюсь, - бесцеремонно поправил мальчик.

Везувий не совсем понял эту поправку и увлечению повторил:

- Нагинаюсь за соской... Не веришь... Хотите докажу!

Мальчик снял кожаную перчатку, подростковую, точно по его маленькой, бледной, прямо-таки голубоватой руке, нежным указательным пальцем придавил мостик оправы очков и сказал:

- Вы говорите неправильно. Нужно говорить: наги-ба-юсь... от "сгибать"... И не "хочете", а "хотите"... В вашем возрасте это пора уже знать!

Легкая краска стыда выступила на лице Везувия, но мальчик в очках успокоил его замечанием:

- Труднее русского языка нет. Я люблю расщеплять его. Произнесу какое-нибудь слово и сижусь-сижусь, думаю над ним. Вы не пробовали?

- Нет, - успокаиваясь, сказал Везувий.

- Вот слово "дом". Что это за слово? Откуда оно, почему "дом", а не "мод", или "дон", или еще что-нибудь? Армагедон!

- Чего?

- Не "чего", а что, - спокойно сказал мальчик и заложил руки за спину.

Лицо его при этом стало чрезвычайно серьезно. - Дом. Мы говорим слово "дом" и видим вот эту серую каменную глыбу, или

этот желтенький домик, или другой какой. А почему? - задал вопрос мальчик и, не мигая, уставился на совсем ошалевшего от напора Везувия.

- Не знаю, - с протяжным вздохом отозвался Везувий.

Он почувствовал, что в этой встрече есть что-то нехорошее для него, что-то постыдное, что поэтому, из соображений самосохранения, нужно бежать скорее отсюда, к с в о и м, с горки кататься, но какая-то властная сила, незримая и необъяснимая, держала его перед этим мальчиком.

- Это неудивительно, - тоже вздохнул мальчик и добавил: - Я сам не знаю...

Улыбка облегчения отобразилась на лице Везувия, и мостик дружелюбия призрачно мелькнул перед его взором.

Мальчик склонил голову и принялся расхаживать из стороны в сторону, как то часто делают взрослые, когда о чем-то напряженно думают.

- Дом, дом, до-ом, дом-дом, дом, до-ом, дом-дом-дом, - бормотал мальчик себе под нос и не останавливаясь ходил взад-вперед.

Не отдавая себе отчета, как-то машинально Везувий тоже забормотал:

- Дом, до-ом, дом-дом, до-ом, дом-дом-дом. - Затем стал делать периоды подлиннее: - Дом-дом-дом-дом, - и покороче: - дом-дом, дом, дом-дом, дом...

- Дом-дом-дом, - вторил ему мальчик в очках, не прекращая своего расхаживания, так что снег утрамбовывался под его ногами.

Везувий в первых тактах "домоговорения" еще различал некий смысл слова, видел, чувствовал еще смысл этого слова, даже дома разновысокие в воображении вставали, но через некоторое, довольно короткое время всякий смысл пропал и оставалась в этом "доме" одна какая-то пустующая долбилка, громыхалка.

- Ну, что мы видим? - вдруг спросил мальчик, останавливаясь.

Везувий задумался, прокрутил про себя еще один цикл "дом-домов" и озаренно воскликнул:

- Вальс!

Прошла минута в молчании.

- Близо, - проговорил мальчик. - Это уже близо. Дом-дом-дом. Я же теперь отчетливо увидел... Что бы вы думали?

БЕГЛЕЦЫ

- Что? - удивленно расширил глаза Везувий.
Мальчик снисходительно улыбнулся и сказал:
- Колокол. "Дом-дом"... Звонит колокол!
- Колокол "дон-дон" звонит! - не согласился Везувий.
- А кто вам, - произнес и сделал паузу мальчик, - сказал о том, что колокол звонит "дон-дон", а не "дом-дом"?
- А дзиль?
- Почему не брымь?
- Не знаю, - вздохнул Везувий и увидел показавшуюся из-за угла особняка двоюродную сестру Лизу, растрепанную, в облепленном снегом пальто, с ярко-красными щеками.
- Везувий, пошли кататься! - выкрикнула она и замахала рукой, чтобы он шел к ней.
- Везувий подбежал. Лиза шепнула ему в лицо:
- Ты что с этим Юриком-дуриком связался! Мамочка его выставила на десять минут протряхнуться... Вечно он тухнет дома. У нас с ним никто и не водится! Пошли на горку!
- Не хочу, - твердо сказал Везувий, и его лицо помрачнело.
- На горке все было яснее ясного, садись на задницу и кати! А тут что-то образовывалось загадочное, новое, неожиданное.
- Идем! - настойчиво произнесла Лиза. Глаза ее были подозрительно бессмысленны.
- Нет. Не хочу. Я же тебе... Вам, - вдруг неожиданно вставилось, - сказал, что не хочу... Мне тут интересно!
- Ну и дурак! - зло бросила Лиза. Везувий вернулся к мальчику.
- Что я слышал! - с намеком на возбуждение сказал мальчик. - Вас как-то необычно зовут?
- Везувий, - сказал Везувий.
- Значит, везете Вия? - с некоторой долей иронии спросил мальчик.
- Кого?
- Внезапно откуда-то сверху раздался голос:
- Юрик, домой!
- Везувий поднял голову и увидел в окне четвертого этажа белый фартук, а выше, в форточке, седовласую голову женщины.
- Так вот, - продолжил мальчик, беря Везувия под руку и направляясь с ним к подъезду, - "дом" - это "колокол", а "колокол" - это "кол" о "кол"... Понимаете ход моих рассужде-

ний? Берем один кол, берем второй кол, бьем друг об друга, возникает звук “дом”! Мы идем в колокол, в котором звонит дом.

VI

Дверь открыла та женщина, которая кричала в форточку.

Она вполголоса что-то спросила, отступая назад и впуская в полутемную большую прихожую мальчиков, продолжавших с завидным упорством бормотать нескончаемое “домдомье”.

Везувий уставился в большое зеркало, вделанное в стену, отражавшее самого Везувия, вяловатого Юрика и женщину в белом фартуке в полный рост, даже поблескивающий и сладко пахнущий восковой мастикой паркетный пол отражался в этом зеркале, расширявшем прихожую до необъятности.

В недрах квартиры, в одной из комнат, Везувий долго не мог сдвинуться с места, потому что как только ступил на бордовый мягкий ковер, застыл от изумления, обнаружив перед взором стеклянную стену, нечто вроде огромной витрины, как в универсаме, от угла до угла и от пола до потолка, прозрачную зеленоватую стену.

А на Везувия смотрели темные, с влажным отблеском немигающие глаза из-под тяжелых, в шероховатых складках, серо-зеленых век.

Едва Везувий шевельнулся, чтобы подойти ближе к стеклянной стене, как веки шевельнулись, хлопнули и вновь эти глаза уставились на него.

Огромная жаба, матово-зеленая, с морщинистой бородавчатой кожей, в золотой короне, сидела на камне и пристально созерцала появление в комнате гостя. Перепончатые передние лапы были широко расставлены, как бы для прыжка. Вдруг возле этих самых лап юркнуло что-то зеленое, шевельнулись листья, и на высоком суку вынырнуло и застыло существо с любопытными запятыми глаз.

Едва Везувий, настороженный и взволнованный, хотел разглядеть это суетливое существо, как оно молнией исчезло в зарослях.

- А куда же ты Вия везешь? - вдруг с какой-то шельмоватой улыбкой спросил Юрик и уставился сквозь линзы своих в тонкой золотистой оправе очков на Везувию.

Очень большими показались эти, скорее всего увеличенные линзами, бледно-голубые глаза Везувию, который воспринял этот вопрос как издевку, насторожился и слегка побледнел. Но тут же заметил в этом вопросе некоторую странность. В чем она заключалась, он сразу не распознал, но что-то в этом вопросе было не так. В следующее мгновение Везувий догадался, что было не так, а именно: не такой была форма обращения: "Что ты..."

- Вы же... меня... на "вы" называли, - нашелся Везувий, чтобы отвлечь внимание Юрика от "везущего Вия".

- Разве не ясно? Для чего - не ясно? - проговорил Юрик и принялся рассуждать: - Это же элементарно. Когда в русском языке люди не знают друг друга и знакомятся, они говорят "вы", а потом переходят на "ты". Мы теперь совершаем переход на "ты". А если сразу незнакомому сказать "ты", он оскорбится и подумает о тебе как о невежде. Конечно, это одна из самых коварных штук в нашем языке. Ну скажи давно знакомому, с которым ты давно на "ты", "вы" - он воспримет это обращение как издевку! - Юрик медленно поводил голубоватым указательным пальцем по кончику носа. - Так всю жизнь мы должны испытывать неудобства от этих штук: "колов", "домов", "тыкавыков", "выкатыков"...

Он замолчал и перевел палец с кончика носа к пухлым губам, что говорило о том, что Юрик задумался.

- Тыкать легче, - сказал Везувий. - Ты да мы да мы с тобою!

- Ты-ква, - задумчиво произнес Юрик и загадочно улыбнулся, словно нащупал в этой "тыкве" мясисто-сладкую мякоть. - Ты ква скажи! - Он обернулся к коронованной (то были золотистые наросты-бородавки на голове) жабе и приказным тоном повторил: - Ты ква скажи!

Жаба лениво хлопнула глазами и медленно поползла с камня к желобку с водой - вернее, пошлепала на своих толстых перепончатых, с коготками, лапах.

Когда шли коридором в комнату Юрика, из приоткрытой белой двери до слуха Везувию долетело:

- Как у нее нет невроза? Когда сын заболевает, она проявляет все признаки бессонницы.

Из этой фразы, говоримой мужским тихим голосом, Везувий ничего не понял, кроме: “Сын заболевает...”

В комнате Юрика, небольшой, но светлой, окнами на улицу, одна стена сплошь была занята книгами. Посмотрев на роскошный переплет какого-то собрания сочинений, Везувий с непосредственностью деревенского парня прошептал:

- Как в библиотеке...

Тем временем Юрик выволакивал из-под кровати какой-то плоский деревянный чемодан.

Посапывая и что-то бормоча себе под нос, Юрик принялся выдвигать ящички этого загадочного, как крышка письменного стола, чемодана, и Везувий с восхищением разглядел лакированные иностранные паровозики, рельсы, какие-то провода, лампочки, домики...

Эти предметы, ласкающие любой детский взор, отбросили все прежние впечатления, Везувий с каким-то восторженным поставиванием упал на колени, а затем и вовсе лег на пол.

За окнами уже было темно, когда дверь отворилась и в комнату заглянула женщина в белом фартуке. Она сказала, что за Везувием пришли.

Он с болью воспринял это сообщение, пошел, чуть не плача, против воли, в прихожую.

У зеркала стояла Лиза и со злостью смотрела на Везувия. Когда спускались по лестнице, она, сощуриив глаза, сказала:

- Предатель!

VII

Иней на окнах трамвая временами становился синим, это когда трамвай, металлически лязгая сцепкой, постукивая колесами и поскрипывая ими со свистом, как острое топора о вращающийся точильный круг, на повороте, проплывал мимо ярких фонарей.

Дома делать было нечего и делать ничего не хотелось. Сестра Тоня стояла на табурете и, прислонясь ухом к черной бумажной воронке радио, слушала какую-то постановку. Слушала она так потому, что отец сразу же по приезде разделся и забрался на высокую кровать с круглыми блестящими шарами на спинках.

В тесной комнате светилась только маленькая настольная лампа с прорванным абажуром.

Она называлась лишь настольной, потому что, кроме обеденного, старого, квадратного стола, стоявшего в центре комнаты, покрытого выцветшей клеенкой, другого стола, а именно письменного, на которых обычно стоят настольные лампы, не было.

В семействе Лизоблюдовых никто никогда не писал, если не считать письмом машинальное, из-под палки, делание школьных уроков детьми. Брату Коле, которому сровнялось шестнадцать лет, уроков уже делать было не нужно, он работал учеником автослесаря на авторемонтном заводе. Тоня тоже нечасто занималась. Она училась в техникуме, который ей, как она выражалась, “осточертел” и который она собиралась бросать.

Оставалось лишь Везувию делать уроки. Но, как правило, он их делал через раз, более надеясь на то, что успешно перекачает их у кого-нибудь прямо на уроках.

Заливистый храп полился по комнате. Затем превратился в грозно рычащий, сотрясающий даже чашки в старом самодельном буфете, который когда-то привезли из маминой деревни и где его сработали местные краснодеревцы, с витыми стойками между верхней и нижней частью, с мелкими дырочками от жучков.

- Васька, да пни его в бок! - раздраженно прошептала Тоня, впиваясь взглядом в черную тарелку радио. - Так же жить невозможно!

- Чего вылупилась! - шикнула на нее мать из-за ситцевой занавески, где был чулан с шаткой тумбочкой и сундуком.

- Ладно тебе, мам, защищать-то его все время! - огрызнулась Тоня. - Храпит как в хлеву!

Полная мама вышла из-за занавески в одной нижней рубашке и прошлепала босыми ногами к кровати, потянулась, подвязала волосы сзади ленточкой и легла возле отца, беззлбно тронув его полным локтем в бок. Иван Степанович как-то весело улюлюкнул во сне, повернулся на бок, лицом к стене с домотканым коврикком с пальмами, и затих.

- Васька, Тонька, лягайте немедля! - погрозила мать пухлым кулаком и закрыла глаза.

Буквально через минуту она уже спала, нежно посвистывая и покрывшись испариной.

Везувий сел на пол у своей высокой раскладушки на деревянных скрещенных ножках и задумался. Затем он заметил жирного бордового клопа, неспешно идущего по рейке раскладушки.

Везувий нацелился и ухватил клопа, еще не зная, что он с ним будет делать.

И так, держа его в вытянутых пальцах, встал с пола, прошел к буфету, придвинул осторожно рыжий, пропитанный морилкой табурет, влез на него, отворил дверцу и вытащил стакан.

Через мгновение клоп уже лежал кверху лапками на дне этого стакана. Табурет покачнулся, Везувий упал, стакан разбился.

- А, что, где?! - вскрикнула мать спросонья, но тут же вновь забылась.

Когда Везувий забрался на свою раскладушку и некоторое время лежал с открытыми глазами в темноте, потому что Тоня уже устроилась на своем узком продавленном диванчике и погасила свет, пришел брат Коля, в потемках пошарил за шкафом, доставая матрац, скрученный в рулон. Коля расстелил свою постель на полу между столом и раскладушкой Везувия.

От Коли сильно пахло водкой, и Везувий, почуяв этот знакомый, веселящий запах, догадался, что Коля ходил еще после гостей к своим ребятам.

Везувий затих.

В комнате было душно, и спать не хотелось. Периодически Иван Степанович начинал храпеть, но чуткая мама вовремя давала ему в бок локтем, и он затихал.

Вдруг Везувий с испугом подумал о том, что Юрик, забыв о нем, оставит его в полном одиночестве.

Везувий лежал не шевелясь.

Неподвижность его была такова, что в паузы храпа отца он различал тиканье будильника, которому вторили удары собственного сердца.

Вкус к новизне впечатлений, под влиянием которого дети, с большей или меньшей искренностью жаждущие приобщения к этой новизне, посещают незнакомые места, где они могут следить за необычным, заставляет их отдавать предпочтение этим новым местам, довели неизвестным, подающим надежды на какой-то более высокий склад жизни, - надежды, находящиеся еще в расцвете, тогда как в отношении собственного места обитания дети утратили всякую свежесть восприятия, потому что это мес-

то обитания поблекло в их воображении и ничего уже не говорит их чутким сердцам, ибо они уже знают сильные стороны друг их мест.

Утром Везувия растолкала Тоня, сонная, с торчащими волосами, с красной полосой на щеке от складки подушки. Она, принявшись, брезгливо сказала: "Зассанец!" - накинула халатик и пошла на кухню умываться. Везувий дрожал, как будто спал на льду.

VIII

Иван Степанович приходил с работы до того усталым, что, наспех поужинав, валился на двуспальную высокую кровать, валился, словно какая-нибудь глыба, и переставал жить вплоть до того момента, когда ему ранним утром, в темноте, пора было проснуться и встать, - поэтому Иван Степанович никогда не мог сделать хоть какие-нибудь мелкие наблюдения в области сна, не говоря уже о больших открытиях, он просто спал, едва зная о том, что спит.

В воскресенье, когда он к обеду выпивал четвертинку, то, улыбаясь и упирая локти в стол, начинал рассказывать о Нолике, о том, почему его так называли: мать сказала, что Герке хватит рожать щенят, а этот родился внеплановым, вот и нарекли его Ноликом...

- А почему ты плакал у дяди Володи? - вдруг спросил Везувий, чем поверг отца в глубокую задумчивость, свойственную ему в трезвые минуты.

В комнату вошла мама, подпоясанная полотенцем. Проходя мимо отца, она пожала плечами и сказала певучим голосом:

- Сходил бы куды с ребенком.

Отец горестно вздохнул и сделал такое жалостное лицо, как будто собирался просить милостыню, хотел что-то ответить, но промолчал.

Глаза его сильно заморгали.

Везувию показалось, что отец сейчас заплачет, поэтому Везувий сам как-то печально притих, едва заметно побледнел.

Отец закурил папиросу.

Пока папироса дымила, он смотрел в потолок и покачивал головой в такт какой-то протяжной песне, которую напевал про себя, и все думал о чем-то. В обычной жизни глаза Ивана Степановича выражали рассеянность и усталость, огнем мысли они зажигались лишь тогда, когда ему приходилось обращать взор в свое детство.

И этот огонь теперь зажегся в его взгляде.

Но отец продолжал молчать.

- Ишь, насупились! - сказала сердито мама. Она вышла из комнаты, но затем вернулась с тарелкой дымящихся щей, поставила перед Везувием.

- Ешь! - сказала она.

- Отца у-убили! - вскричал отец вздрагивающим голосом и закрыл лицо ладонями.

Мама протяжно вздохнула и произнесла:

- Ну, напилси! Поди проветрись!

И пошли, после того как Иван Степанович умылся. У ларька отец взял сто граммов с "прицепом", то есть с кружкой пива, и бутерброд с килькой. Везувию купил шоколадку. Далее в магазине он купил четвертинку и сунул ее в карман. Купил еще жирную селедку и нес ее домой в ржавой бумаге на вытянутой руке.

- А где хлеб-то? - пробурчала мама.

- Я сбегую! - вызвался Везувий и, прихватив авоську, побежал в булочную.

Прозвонил трамвай, взглянув на который Везувию сразу же захотелось ехать в гости. Из трамвая вышел, подпрыгивая на грушевидной деревянной ноге высокий, исхудалый мужик с красным волосатым лицом. Везувий отвернулся, и ехать в гости почему-то расхотелось. У булочной сидела на приступке безглазая старуха, закутанная в черные сальные платки, и держала согнутую руку, в щепоти которой поблескивали медяки.

Вернувшись домой, Везувий обнаружил вполне идиллическую картину: отец храпел на кровати, а мама клевала носом в чулане, сидя на сундуке, держа в руках недоштопанный носок с воткнутой в него иглой.

Примостившись на полу, Везувий рисовал зеленую жабу в золотой короне, но когда пришла Тоня, ему рисовать расхотелось. Чуть позже пришел брат Коля. Он странно держал голову, все время одной стороной к Везувию. Ясно, с другой сторо-

ны был лилово-черный синяк, который чуть позже Везувий заметил.

Тоня, умытая, с полотенцем на плече, села к столу с маленьким зеркальцем и, глядя в полутьме на свое лицо, принялась выщипывать себе брови пинцетиком. Когда Коля увидел этот пинцетик, то сказал:

- Хахаля, что ль, завела?!

Тоня взвилась и ударила Колю кулаком по спине. Во всей ее тонкой фигуре сквозила ненависть.

Утончив брови. Тоня встала на табурет у стены, где висело радио, и принялась что-то слушать. Ее рыжевато-золотистые крашенные волосы, темные глаза с длинными ресницами, смуглые щеки, подкрашенные губы с трудом напоминали Везувию ту Тоню, к которой он привык с детства и которая изменялась теперь с каждым днем, все более удаляясь от привычных представлений о ней.

Везувий сидел на полу и какими-то новыми глазами смотрел на сестру, не мог отвести взора от ее лица, от ее черных глаз, от ее замечательно сложенного тела, от ее высокого стана. Через какую-нибудь секунду Тоня уловила на себе этот неподвижный взгляд Везувия и шепотом выпалила:

- Чего вылупился!

А потом, не двигаясь с места, прилипла ухом к едва слышно бормочущему радио.

Коля уныло прижимал пятак к синяку.

Проснувшись в чулане мать, громко зевнула, разделась и, подходя к кровати, где начинал возвышаться храп отец, перекрестила все еще зевающий рот и легла под одеяло, тут же локтем уgomонив "песню" отца.

- Лягайте! - пробурчала она и тут же заснула.

- Не "лягайте", а ложитесь, - прошептал Везувий, только теперь почувствовав всю "невкусность" слова "лягайте".

- Ты, грамотей! - крикнула Тоня с табурета. - Клеенку не забудь подстелить!

IX

“К кому бы пойти в гости?” - думал Везувий, сидя на уроке, и озирали одноклассников.

Везувию хотелось этим взглядом, полным надежд, отыскать хоть кого-нибудь, у кого бы было столь же интересно дома, как у Юрика, даже пусть не так уж, но все же более интересно, нежели в комнате у самого Везувия.

Подумав, Везувий решил ходить в гости по порядку, с первой парты у окна, где в солнечном свете сидел сутуловатый, скуластый Керимов.

На перемене Керимов втянул голову в плечи и недоуменно посмотрел на Везувию узкими глазами.

- Мне бутылки сдавать мамка велела.

- Я помогу! - воодушевился Везувий. - А потом поиграем у тебя.

- Давай, - как-то равнодушно сказал Керимов. Когда пришли к нему, Везувий сразу же печально вздохнул, обнаружив, что Керимов живет в тесной подвальной комнате рядом с кочегаркой, что в комнате, кроме узкой солдатской койки, тумбочки и раскладушки, ничего не было. Даже вешалки не было, ее заменяли два гвоздя, вбитые в стену...

Рядом с Керимовым в классе сидела Силуанова, довольно красивая беленькая, как снежинка, девочка. Но девчонок Везувий не принимал в расчет. За Керимовым сидел узколицый Шмаров. На другой день Везувий вызвался навестить его.

- А чего, пошли! - согласился тот.

Везувию смутила седая, сморщенная старуха, лежащая на кровати в углу.

Она лежала неподвижно, и мальчики скоро о ней забыли, потому что у Шмарова были оловянные солдатики. Но у Везувию пыл игры быстро пропал, он нет-нет да вскидывал голову и оглядывал комнату, как бы стараясь обнаружить нечто, что бы его увлекло.

- Твой пулеметчик убит! - вскричал Шмаров.

Везувий встал с пола и с сожалением сказал, оглядывая облезлый шкаф, тумбочку, стол с клеенкой и стоящую на ней сковороду с гречневой кашей:

- Я пойду...

- Чего ты?

- Не "чего", а что, - мягко сказал Везувий...

В комнате у Семушкина, рыжего, веснушчатого мальчика, который сидел на третьей парте, Везувий обнаружил какое-то бабье царство со всеми сопутствующими этому царству приметам: везде лежали чистенькие матерчатые и тюлевые салфеточки, на кроватях высились горы подушек под легкими накидками, свисали до самого пола узорчатые подзоры...

Одна пожилая, светлая женщина в платочке в горошек вязала длинными спицами.

Другая, полная, розовощекая, шила на руках.

Третья, в пестром ситцевом халате, в зеленой вязаной шапочке с кисточкой и в мягких байковых тапочках, стояла у стола нагнувшись, что-то раскраивала большими ножницами.

В то время как Везувий мысленно давал оценку этому бабьему царству, рыжеволосый Семушкин извлекал из огромного кованого сундука, из которого сильно пахло нафталином, круглые пальцы, с зажатой в них, как кожа на барабане, тканью, на которой крестиками был вышит попугай.

Женщина, кроившая у стола, отложила ножницы и, как заметно было, в самом гостеприимном расположении духа спросила у Везувия:

- А ты умеешь вышивать?

Что можно было ответить на это? Везувий отрицательно покачал головой и принялся наблюдать за тем, как Семушкин ловко бордовыми крестиками расцветчивал хохолок попугая...

Весной, у отличника Маланчука в семиметровой комнатке в коммуналке, Везувий научился играть в шахматы.

X

Сунув какой-то тугой сверток за шкаф, брат Коля деланно по-тянулся, мельком взглянул на Везувия, который что-то увлеченно колотил молотком на полу, и вышел в коридор. Везувий сплющивал ушко на серебристой отцовской медали "За боевые заслуги", чтобы эта медаль выглядела как битка для игры в расшибалочку.

В полу образовывались вмятины и ушко плохо плющилось. Тогда Везувий решил достать из-за шкафа гирию, с которой иногда упражнялся Коля. Везувий деловито потянул на себя эту запылившуюся гирию, и ему на голову свалился из щели увесистый сверток. Прошелестев бумагой, Везувий изумленно обнаружил отрез плотной ткани, из которой обычно шили мужские костюмы: темно-синий в полосочку.

Через некоторое время, успешно сплющив ушко медали, Везувий вышел в коридор, в уборную. Дверь была закрыта. Везувий, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, подождал некоторое время.

Шумно проорчала вода, и дверь открылась.

- Заходи! - весело сказал Коля.

Сам Коля выходить из уборной не собирался. Он тут же закрыл дверь на крючок, вытащил из кармана спички. достал одну, послюнявил языком кончик ее, потер о стену, где была побелка, затем, быстро чиркнув, выщелкнул горящую спичку в потолок. С шипением спичка прорезала воздух, и, пока Везувий соображал, зачем все это, спичка прилипла послюнявленным с побелкой концом к потолку и прикоптила его.

Везувий увидел множество обугленных, до его прихода сгоревших на потолке спичек и черные круги возле них.

Когда на пороге комнаты появился Иван Степанович, в засаленной телогрейке, подпоясанной фронтальным ремнем, в ватных брюках, кирзовых влажных сапогах и с тяжелым вещевым мешком с картошкой за плечами, Везувий выпалил:

- Колька весь потолок в сортире испортил! Искорки вспыхнули в глазах отца, недобрые искорки, которых прежде не подмечал Везувий, и отец, медленно стащив с себя мешок и привалив его к стене, распоясавшись и неожиданно хлестко и больно стеганул им по заднице Везувия. Тот взвился как пламя и заслонил зад руками.

- За что?! - завопил он истошно. Порывисто втянув в себя воздух, отец крикнул:

- А чтоб не до-окла-ады-ывал! - Это "докладывал" он произнес таким гневно-ироничным тоном, что Везувий почувствовал к этому слову отвращение.

Коля, беспечно сидевший на диване и все это время от нечего делать ковырявший пальцем в носу, вздрогнул, побледнел и боязливо втянул голову в плечи.

Иван Степанович, не раздеваясь, стуча каблуками сапог, с широким ремнем в руках, быстро сходил в уборную и, вернувшись, с лицом мрачным и гневным, схватил Колю за шиворот, так что затрещала рубашка, отбросил ремень и ударил Колю в лицо огромным кулаком.

Клок рубашки остался в руке Ивана Степановича, а Коля, сбив и опрокинув стол, валялся, постанывая, на полу. Кровь сочилась из носа и губ.

Иван Степанович откинул занавеску чулана и, опустив глаза, часто дыша, принялся раздеваться. Когда он снимал сапоги, взгляд его задел оберточную бумагу, высывающуюся из-за шкафа.

Иван Степанович, в одном сапоге, поднялся и вытащил сверток. Развернув его, увидев новую ткань, он недоуменно поднял голову на Колю, который теперь неподвижно стоял в центре комнаты у опрокинутого стола, и отрывисто спросил:

- Откуль?!

Коля сделался блее побелки, задрожал и, отчетливо понимая, что вранье здесь не пройдет, едва слышно вымолвил:

- С ателье...

- С какого такого ателье?! - грозно бросил Иван Степанович и, подойдя к Коле, наотмашь ударил его свертком по лицу. - Ах ты гад паршивый! - взревел отец. - Воровством занялся! Я тебе ж все ноги повыдергиваю! - Отец брезгливо бросил дорогой отрез шевьота на пол и, отойдя к сундуку, сел. - Я всю жизнь ишачу. копейки нигде не взял чужой...

- Может, он купил, - не к месту вставил Везувий, но отец посмотрел на него из-под черных кустистых бровей таким диким взглядом, что Везувий моментально затих.

Отец уже более спокойно, но все еще прерывисто дыша, продолжил:

- Вот будет лежать - не возьму! - махнул он рукой. - Пропади оно пропадом! Ни в жисть никогда ничего не брал! Избави бог! А что я не мог взять? Да вон на пивзавод приезжаю. Бери! Не-эт, Ванька чтобы где чужое взял?! Лучше удавлюся с горя от нищеты, не возьму! - Он стащил с запертых ног мятые портянки и сунул ноги в тапочки, которые робко поднес ему Везувий. - Бери эту тряпку, - отец кивнул на отрез шевьота, - и носи с глаз долгой! И чтобы я больше не видел! - Он

зло постучал оттопыренным указательным пальцем по ребру сундука.

Вошла мама с полными сумками, удивленно спросила:

- Чой-то разоралися, со двора все слышно?

- Вона, - кивнул Иван Степанович на отрез, - специалист при-
волок!

Мать всплеснула руками, заметив вспухшую, кровавую щеку
Коли и опрокинутый стол.

- Вора не потерплю у себя! Убью! - сказал Иван Степанович,
перекинул полотенце через плечо, взял мыльницу и, вздрагивая
спиной, пошел на кухню умываться.

- Ай, Колька, ирод, прости мене, царица небесная, что ты тво-
ришь, на какой позор всю нашу семью ставишь! - жалобно заголо-
сила мать.

Коля вонзил испуганный взгляд на Везувия и шепнул ему:

- Пошли, оттараним тряпку, на шухере постоишь...

- На шухер я не пойду и с тобой водиться больше не буду,- вы-
молвил тоскливо Везувий и, глядя на мать, заплакал.

Коля поспешно, пока отца не было, оделся, подхватил отрез и
поволок его "возвращать" в ателье...

Когда отец сидел за столом и ужинал, в коридоре раздался
женский вопль и в комнату ворвалась и пугливо застыла угловая
соседка в расстегнутом на пышной груди халатике. Увидев Ивана
Степановича, соседка на мгновение затихла, поспешно запахла
халат, а уж затем взмолилась:

- Утихомирь, Иван Степаныч, господом богом прошу! - Лицо со-
седки было красно от слез. - Ногами бьет, сво-олочь!

- Этого мене еще не хватало! - недовольно пробурчал Иван
Степанович и, отложив ложку, встал.

Везувий, напуганный визгом соседки и предшествующими ее
появлению событиями, осторожно пошел за отцом в угловую
комнату. Там лежал у кровати обычно добродушный пьяница-ми-
лицционер дядя Гриша и с каким-то неистовством бился головой
об пол.

- Ну, чево дурака-то валять, - миротворно прогудел Иван Сте-
панович и принялся поднимать дядю Гришу, который был в на-
тельной рубаше, темно-синих с красной жилкой по бокам мили-
цейских штанах-галифе и в хромоых, сильно пахнущих гуталином
сапогах.

Сначала дядя Гриша забрыкался, но, различив мутными глазами соседа Ивана Степановича, утихомирился и не противился положению на кровать.

Только тут выползла из-под кровати бледная, дрожащая девочка лет пяти.

- Он мамку бьет! - сказала та.

Когда вернулись в комнату, жена дяди Гриши сидела на сундуке и о чем-то достаточно беззаботно судачила с мамой.

Доев ужин, отец медленно разделся и лег. Везувий сказал:

- Пап, у твоей медали я ухо сплющил, чтобы в расшибалочку играть. - И опустил повинную голову.

Но к удивлению, отец равнодушно воспринял эту новость, зевнул и сказал:

- И играйси... Только не шали... Играйси!

Через минуту легкий храп полился по комнате. Везувий сидел на полу и о чем-то напряженно думал, чесал затылок и вздыхал...

В воскресенье, ранним утром, отец сосредоточенно водил по густо намыленным щекам опасной бритвой, а Везувий, поглядывая на него из холодящей тело раскладушки, спрашивал:

- Пап, ты куда?

- Собирайси, - сказал отец, оттягивая кверху нос, чтобы тщательнее выбрить под ним, - в гости к дяде Володе...

Везувий возликовал, переоделся в сухие трусы, мокрые с простыней сунул в бак, клеенку повесил на веревке в чулане, сложил раскладушку и сунул ее за шкаф.

Чисто выбритый, свежий, подтянутый Иван Степанович не спеша и с достоинством шел к трамвайной остановке, поддерживаемый чинно под руку мамой, и дымил "Беломором". Впереди, задыхаясь от волнения, вышагивал в выглаженных, бывших Колиных брючках Везувий, чуть склонив корпус, потому что нес тяжелый аккордеон.

Везувий испытывал какое-то неизъяснимое удовольствие от того, что так быстро и дружно собрались все родственники, которые должны были в этот день собраться у дяди Володи, и причем

без особого приглашения, а совершенно самостоятельно, потому что все знали, в какой день у дяди Володи день рождения, поэтому приехали по собственной воле и желанию.

Еще Везувию понравилось, что предложение тети Поли садиться за стол было немедленно приведено в исполнение, а тост во здравие дяди Володи, произнесенный Иваном Степановичем, столь же немедленно и с необычайной готовностью единодушно реализован.

Через некоторое время, когда Везувий заиграл на аккордеоне, Иван Степанович не преминул вставить свое традиционное замечание, что его сын будет выступать в Большом театре, и слова эти доставили Везувию известное удовольствие, и после того, как отзвучало танго, Везувий уже чувствовал себя вольной птицей, тем более что старших детей не было и никто его не просил играть столь долго, как это было в прошлый раз.

Хотя все и так за столом хорошо ели, тем не менее тетя Поля продолжала потчевать гостей, и, потчuya, она так твердо была убеждена в том, что предлагает им самую изысканную пищу, что эта убежденность передавалась гостям и они ели еще аппетитнее, прямо-таки за двоих, хотя на сей раз на столе ничего особенного не было, зато шел оживленный разговор братьев-шоферов о карбюраторах, аккумуляторах, коленвалах; и женщин - о холодце, заливном из трески и о соотношении муки и дрожжей в пирогах...

- погоди! - сказал дядя Коля. - Сначала ты выпей...

Глядя на румяное, возбужденное, доброе лицо дяди Коли, на его пиджак с орденом Красной Звезды на лацкане, Везувий вспомнил о медали "За боевые заслуги", хотел спросить что-то у отца, но промолчал, потому что почувствовал, что настал тот момент, когда можно поставить аккордеон к кровати и выскользнуть из комнаты, ибо гул за столом нарастал и вряд ли бы кому пришло теперь в голову слушать аккордеон в этом шуме.

Везувий вышел во двор, огляделся, заметив в тени у стен дома слежавшийся почерневший снег. Движимый радостным чувством встречи с Юриком, Везувий вздохнул, и этот вздох был знаком благодарности родителям за то, что они вновь приехали в гости к дяде Володе, который по счастливой случайности проживает в одном дворе с Юриком.

Поднявшись к его квартире, унимая расхолодившееся сердце, Везувий позвонил и в страхе подумал о том, что Юрика может и не быть дома.

За дверью, лаково-желтой, послышались шаги, щелкнул замок, прогремела цепочка, на пороге показалась невысокая, худощавая, голубоглазая женщина в темном платье, с золотыми сережками в маленьких ушах.

- Мне к Юрику, - сказал кротко Везувий.

- А вы кто?

Невидимая преграда этого вопроса смутила Везувия, он потупился и, как бы стесняясь своего дрожащего голоса, сказал:

- Везувий.

Женщина пожала острыми плечами и сделала шаг назад.

Сосредоточенный и бледный, поблескивая очками, из своей комнаты показался Юрик, но, увидев Везувия, не проявил особой радости, лишь сунул руки в тесные карманы брюк и как-то сонно произнес:

- А-а, это ты...

Нельзя сказать, что он был неприветлив, однако Везувию стало уже не так весело, как до встречи. Везувий принялся снимать пальто с непосредственностью Иванушки, которому всегда рады, но Юрик остановил его словами:

- Я сейчас занят, не могу принять тебя. Везувий, еще не понимая, что его попросту выставляют, выпростал уже одну руку из рукава, но Юрик медленно подошел к нему, взялся за освобожденный рукав и помог Везувию попасть в него рукой. Везувий не на шутку приуныл, но это, как видно, Юрика ничуть не тронуло.

Юрик, видя, что пришелец мешкает, вторично напомнил ему, что он занят, напомнил на этот раз весьма решительно, но без всякой неприязни к Везувию, а скорее даже с некоторой грустью в голосе и отечески озабоченным тоном.

Теперь Везувий испугался, почувствовав страшную тяжесть на душе.

Но он никак не мог собраться с духом, чтобы спросить о причине столь холодного приема, и у него даже не хватило смелости посмотреть Юрику в глаза, потому что все было так неловко.

Сейчас Везувий - должно быть, впервые в жизни - испытывал тревожное чувство зависимости от этого нового приятеля: вид его

был тягостен Везувию, но и без Юрика ему было тоже не по себе, так как Везувия все время тянуло к нему. Везувию не хотелось оставаться одному, а, кроме того, он надеялся, что, быть может, Юрик через некоторое время согласится выйти во двор погулять, поэтому Везувий спросил:

- Я подожду во дворе? - Как бы воззвав этим вопросом к снисходительности и ожидая встретить доброжелательное отношение к себе.

- Право, мальчик, какой вы непонятливый! - сказала женщина. - Юрик занят. Идите гуляйте! - добавила она с некоторой долей раздражения и потрогала тонкими пальцами с алыми копиями маникюра ухо с золотой сережкой.

Обескураженный Везувий почувствовал холод на спине, растерянно взглянул в зеленоватое зеркало и, пятясь задом, вышел. Дверь за ним захлопнулась. Не в силах ни о чем думать, Везувий отвернулся от закрытой перед носом двери, посмотрел в угол и почувствовал себя несчастным, бесконечно обиженным и попытался побороть в себе это чувство одиночества и покинутости, ледяными волнами разливавшееся у него в груди; с такой остротой и силой, на какую способны лишь люди, прожившие долгую и сложную жизнь. Но все же в этой непроглядной мгле уже мерцала искорка надежды на возможное примирение с Юриком.

Словно пытаясь во что бы то ни стало разуверить себя в том, что Юрик не пустил его к себе, что все это действительно случилось, Везувий неторопливо спустился по лестнице и вышел во двор. Солнце подкрадывалось к черной льдинке у стены, лизало край ее теплым языком луча, как младенец леденец, и робкие разводы струились на уже подсохшем пыльно-сером асфальте.

За столом гремел своим биндюжным басом Иван Степанович. Везувий взял аккордеон и, чтобы отвлечься, заиграл, а Иван Степанович, поводя на сына черными мохнатыми бровями, никак не мог понять, какую он песню играет, бодрую или тоскливую, потому что было то очень грустно, даже плакать хотелось, то становилось смешно.

Дядя Коля, сбросив с плеч пиджак, вдруг вскочил из-за стола и громко затопал на одном месте сапогами. Тетя Поля, с выбившейся из-под заколки серебристой прядкой, прошлась от стола к шкафу, растопырив руки, взвизгнула и стала молотить пол каблуками туфель.

- Что чтой-то приунымши? - ласково спросила тетя Поля, когда Везувий перестал играть.

- Да так, - сказал Везувий и подошел к столу. - Пап, а почему у тебя нет ордена? У дяди Коли вон звезда...

Иван Степанович качнул головой, подумал и очень громко сказал:

- Красномордый майор зато увесь в орденах ходил!

- Да потише ты, орово! - вскричала звонко мать.

- На передовую и снаряды и... и-ых... бочки с бензином! - продолжал Иван Степанович, не уменьшая громкости, не слушая жену, с обидой в голосе. - Сколь-ки разов могли похоронить! Однажды козырек фуражки прострелили! Еду полем, вижу, летит. И поливает, гад! Я из кабины, в ямку. Землей себя присыпаю. А он - разов десять заходил, и все норовит поджечь машину! Все бочки изрешетил. А майор себе ордена выписывает. Сидит, зад от стула не подымает и - вся грудь в орденах! А нашему брату Ваньке - по медали бросили в конце...

- Это правильно! - поддержал дядя Володя и насупился.

- А и что, нет, что ли! - воодушевился Иван Степанович. - Обещали, воюйте, после войны вам все льготы выйдут. И транспорт бесплатно, и жилье дадут... Чего только не обещали! И-ых! Вра-нье!

- Ладно буровить-то! - несурово сделала замечание мать. - Писать-то у Кремль-то! Вас, Ванек-то, столько, что на всех орденов и жилья не напасешься!

- А и что? - глаза Ивана Степановича вспыхнули. - Напишу самому Хрущеву! Мол, так и так, Никита Сергеич, воевал-воевал, а толку - пшик!

XII

- Чевой-то я должна с ним ехать! - вскричала сестра Тоня и покрылась от злости малиновыми пятнами.

- Индо лопнешь, кобыла бесстыжая! - окоротила ее мама и всплеснула руками, затем, прищуривая глаза, добавила: - Как-никак он брат тебе родной! Чо ему шляться по двору, пушай в деревне побегаает!

Тоня держала в руках тарелку и остановившимся взглядом смотрела в ее золотой ободок. Через мгновение она подняла глаза на Везувия, который робко сидел на диване и ждал того момента, когда сестра согласится, чтобы ехать с ним в деревню к бабушке. Везувию очень хотелось отправиться в деревню и спать там на сеновале.

Оглядев Везувия с ног до головы, Тоня взмахнула рукой с тарелкой, побледнела и запустила эту тарелку в Везувия, но тот даже не успел испугаться, потому что тарелка просвистела много выше и с дребезгом разбилась о стену.

Мама побелела, вцепилась дочери в волосы и стала трясти ее голову, взвизгивая:

- Шукура барабанная! Ростила ее, ростила, а она совсем от рук отбиласи!

Вагон был старый, с жесткими, отполированными многими пассажирами за долгие годы поездок сиденьями. На столике у окна Тоня расстелила газету и принялась бить об угол и чистить на эту газету яйца, сваренные вкрутую. Везувий, с радостью перенося все невзгоды поездки, вызванные упрямством сестры, ел даже свои нелюбимые крутые яйца, с черным ободком вокруг желтка, заталкивая их в рот как камни.

Дом бабушки стоял на горе. Дом был старый, с подгнившим нижним венцом, с утонувшим в земле деревянным свайным фундаментом, с посеревшими стенами. Внутри дом был оклеен газетами, пожелтевшими, довоенными.

Справа к бабушкиному дому лепился брошенный, без крыши, домик, заросший крапивой и кустами бузины. Домик бросили в столь давние времена, что сквозь пол проросла береза и ее зелено шумящая крона возвышалась над домиком вместо крыши. Между домами был прогончик метра в полтора шириной. По приезде Везувий там сразу сделал "секрет" из фантиков и бледно-желтых цветочков, все это накрыв кусочком пыльного стекла.

Изредка бабушка украдкой косила траву на задах, потому что эти "зады" ей уже не принадлежали, как когда-то, но нужна была трава, потому что у бабушки была коза. Бабушка скашивала траву, а Везувий охাপками таскал ее к окнам дома, создавая видимость, что траву накосили прямо перед домом.

Еще он ходил с бабушкой за травой в лес с холщовыми мешками. Когда трава, которую ворошили деревянными граблями, под-

сыхала на солнце, ее Везувий перетаскивал на сеновал, который помещался над некогда шумным скотным двором, пристроенным к дому сзади. Теперь же скотный двор был заброшен, доски стен сгнили, сквозил ветер и кое-где росла трава. Но настил сеновала был прочен, как были прочны и деревянные сваи, глубоко осевшие в песчаную почву.

С другой стороны был, не в пример брошенному и даже бабушкиному, ухоженный дом, где жил мальчик, с которым Везувий играл, ходил на рыбалку...

Однажды они пошли за грибами. Плотный туман лежал в низине, вдоль оврага, и с горы казалось, что это река. Золотисто-зеленое поле пшеницы мигало лазоревыми огоньками васильков. Когда мальчики спустились вниз по пыльному проселку, между колеями которого кустилась серебристая пахучая полынь, вихрастые головы их утонули в белой дымке, как в молоке. Под ногами хрустел валежник, поскрипывала влажная трава, пахло гнилью и грибами. Но до грибов было еще далеко - нужно было подняться из оврага, вынырнуть из туманной реки, преодолеть холм и железнодорожную линию за ним. В овраге теснились высокие, раскидистые, со снежными полушариями соцветий трубчатые дягили. Тоскливо, на одной долгой и высокой ноте кричала какая-то птица.

- Это птенец! - наставительно сказал Петя, соседский лобастый мальчик. - Птенец кричит потому, что есть хочет. Сейчас мать его прилетит с длинным червяком - и птенец утихнет.

Действительно, через некоторое время, когда мальчики уже поднимались по освещенному солнцем холму, крик прекратился. Сладко пахло вязолистной таволгой, тут и там вынырывающей из плотной зелени кремовой кипенью метельчатых соцветий. Рябили пунцовые венчики луговых гвоздик. Над самой землей теплый воздух подрагивал и монотонно звенел от разнообразного насекомья. Рубашки и шаровары мальчиков были покрыты туманной изморосью, золотящейся на солнце.

- Наелся, - сказал Везувий, остановился и посмотрел в белый овраг задумчивым взглядом.

- У тебя сколько биток? - спросил Петя, нагибаясь и срывая длинную метелку осота, возвышавшуюся над синью скученных цветов грабельника. Глаза у лобастого Пети были большие и хитроватые, он слыл за менялу.

- Вместе с медалью?

- Да вместе...

- Ну, тогда штук десять будет! - выпалил Везувий, ускоряя шаг.

Когда мальчики дошли до линии и взобрались, громко хрустя щебенкой, на насыпь, Петя, сосредоточенно оглядывая свои прорванные на мизинцах ботинки, сказал:

- Хочешь, я тебе лучшую свинцовую отдам? А ты мне - медаль?

Везувий сел на теплый рельс, почесал в задумчивости черноволосую голову, уставился неопределенно на Петю, но промолчал. Петя деловито ходил около него по линии, переступая широкими шагами через две шпалы.

- Что, не согласен? - спросил он.

- Не-а, - смущенно выдавил Везувий и добавил: - Медаль не могу... Ее отцу на фронте в конце бросили...

- Как это "бросили"? - спросил Петя.

- Как-как! За то, что ишачил всю войну!

- Подумаешь! - небрежно сказал Петя, нагнулся, стал водить рукой над камнями насыпи, словно колдовал, поднял зернистый красный, с черными вкраплениями, кусок гранита и, подбрасывая на ладони, посмотрел на Везувия.

- Не... Сказал - не могу... Мне отец дал поиграть, понял!

- Ха-ха! Отец в медаль дал играть! Ври больше! Стырил, а врет, что дал! Ха-ха! - крикнул Петя, изогнулся и швырнул камень в кусты. Послышался быстрый, скользкий хруст и глухой удар о дерево.

- Чего ты смеешься! - обиженно воскликнул Везувий, ковыряя заплатку на колене шаровар.

- Чего-чего... Да потому что дурачок твой отец, если в медаль разрешил играть! - выпалил Петя.

Лицо Везувия побледнело, рот открылся от неожиданных слов. Ничего не ответив, Везувий поднялся и, быстро сбежав с насыпи, крикнул:

- Не ходи за мной! Я сам знаю, где есть грибы!

Петя пожал плечами, посмотрел вслед обидчивому плечистому мальчику и зашагал уверенно по промасленному шпалам.

Тем временем Везувий, стиснув от обиды зубы, подняв руки, пробирался сквозь заросли высокой крапивы и бордовых, в белом пуху пик голенастого иван-чая. В лесу было сумрачно и сыро. Здесь росли тонкоствольные осины, рябинки, елки.

Вообще лес был невысок, загущен, со множеством сухих деревьев и кустов. Все это было окутано легким туманом, пахло болотом, с папоротников сыпались брызги, ноги быстро намокали.

Некоторые засохшие елки были пламенно-рыжими и издали напоминали костер.

Весь в паутине и в ржавых иголках, Везувий, не зная дороги, выбрался к черному, затянутому болотной ряской озерцу. Мягкий изумрудный мох под ногами прогибался, земля чавкала, в ботинки заливалась вода. По хлипким берегам озерца росли молодые березы, в черную воду врезалась поросшая осокой и камышом коса. Везувий пошел к этой косе, и вдруг под ногами что-то громко захлюпало, деревья прыгнули вверх, тело обожгло холодной, черной водой и резко запахло гнилью.

Везувий не успел даже ойкнуть, как оказался по шейку в густой, болотистой жиже. Он выхватил из этой жижи руки, хотел опереться на мшистую кочку, но она поехала вниз, булькнула и исчезла под водой.

Глаза Везувия расширились, в них промелькнул ужас, лицо стало белым, как у мельника.

Везувий почувствовал, что кто-то грубый и сильный вцепился в его промерзшие ноги и потянул вниз. Чтобы не захлебнуться, Везувий запрокинул голову и заметил за спиной тонкий розовый ствол. В отчаянье он сделал выпрыгивающее движение, развернулся в гнильем воняющей жиже, вскинул руку и ухватился за гибкую березку...

Когда Везувий шел по дороге, бледный, до смерти напуганный, дрожащий, то думал о том, что он мог бы теперь не идти по этой пыльной дороге, а сидеть там, в грязной яме, сидеть мертвым, и никто бы его никогда не нашел...

Увидев бабушкин покосившийся дом, Везувий немного успокоился, дыхание стало выравниваться, и плечи перестали вздрагивать.

У крыльца Тоня стирала простыни и кое-какое белье в цинковом корыте. Мыльная пена вскипала над стенками, как в кружке с пивом, падала на траву. Белые тонкие руки Тони тонули в густой бельевой жиже. Вскинув глаза на Везувия, Тоня застыла, покраснела, отерла руки о фартук, подошла и, ничего не говоря, ударила наотмашь тыльной стороной ладони брата по лицу.

И тут, в короткое мгновение, Везувий увидел свои грязные, мокрые, как трусы после сна, шаровары, прилипшие к ногам, такую же мокрую рубашку, всего себя, тошнотворно грязного, сжался в комок и беззвучно зарыдал от горя и одиночества.

С этого момента медленное детство Везувия сменяется стремительным взрослением. И замелькают, как за окнами поезда, дни и ночи, замелькают, как у всех человекoв, и покажется, что детство - это мираж, возникающий изредка, чтобы тревожить утраченным счастьем черствеющую душу.

XIII

- Ты где летом был? - спрашивали ребята во дворе.

- В деревне, - печально отвечал Везувий и принимался про себя бормотать: "Деревня-деревня-деревня..."

Деревня потому "деревня", приходил к заключению Везувий, что деревня деревянная, а так как там бабушка часто плачет, то понятно, почему "де-ревня", то есть там идет частая "ревня", а то и настоящий рев стоит, какой был, к примеру, на похоронах случайно утонувшей в реке доярки. Этот же "рев" есть и в деревьях. Они тоже ревут, но как дети, когда им страшно в сильный ветер и в дождь...

В получку Иван Степанович отложил в сторону пятидесятирублевую бумажку, задумчиво вздохнул и сказал:

- Вот сходи к Лизавете Васильевне, уплати, да и закругляйся. Чего зря деньги переводить! - И, подумав, добавил: - Уж сам можешь кого-нибудь на музыке учить... Мда...

В тесной комнате Лизаветы Васильевны, где резко пахло пылью от старых ковров, которые висели на стенах и лежали на полу, на диване и на кровати, было сумрачно, и, когда Везувий вошел, лицо Лизаветы Васильевны показалось ему очень бледным и каким-то несчастным.

- Дочь умерла в больнице, - сказала низким, прокуренным голосом Лизавета Васильевна, и ее большие навывкате глаза подернулись слезами.

Когда Везувий возвращался домой, то думал о том, что если люди жили бы в одиночестве в маленьких домах по лесам, то ни-

кто бы никогда не узнал, что они жили там и умирали, а тут все друг другу рассказывают о смертях близких, поэтому становится грустно и вспоминаешь о том, что сам ты когда-нибудь умрешь, конечно, не очень скоро, даже совсем в неизвестные времена, так что думаешь, что жить будешь всегда.

У помойки бумаги несло ветром по асфальту. Вороха бумаг змеиными шлейфами выныривали, казалось, отовсюду, даже из зелени деревьев, взметались, как снежные вихри у домов. Везувий схватил на лету плотный лист, увидел склоненные вправо и влево знамена, золотистые профили Сталина и Ленина. То был чистый бланк грамоты, внизу - печать, гербовая, и подписи фиолетовыми чернилами. Везувий уставился в печать и медленно прочитал: "Общество глухонемых".

Дома Иван Степанович, нахмутив брови, возился с дратвой, подшивал свои рабочие валенки. Рядом, на полу, стояли старые галоши, огромные, как резиновые лодки. Взглянув на эти галоши, Везувий почувствовал тошноту и боль в животе.

Он увидел золотокоронную жабу в белом халате. Жаба долго мяла живот и домыла до того, что болеть стало везде. Дрожащей рукой Везувий заполнил бланк грамоты: "Жабе".

Холодным зеркальным блеском мелькнула огромная лампа.

От колбы шла резиновая коричневая трубочка к его локтю. "Это кровь", - подумал Везувий и заснул.

Утром увидел на животе толстую марлеву повязку, в которой была щель, откуда торчал белый плотный хвостик, как гвоздь из доски. Везувий осторожно прикоснулся к нему и ощутил шевеление в кишках. "В животе дырку оставили!"

- Вона что! - протянула мама. - Это тебя наркозом укачали! То и говорят, смерть как бы одна минута. Ну, заснул... А уж в раю очнулся.

XIV

У дяди Володи стол уже был накрыт, и, взглянув на него, Везувий подумал о том, что здесь всегда какая-то праздничная обстановка, не то что у них. Первую рюмку выпили с большим аппетитом и молча, как бы смущаясь чего-то, принялись закусывать.

Лиза, взрослая, красивая, с тонкой талией, подошла к Везувию и положила ему руку на плечо. Он проглотил ложку салата, почувствовав на языке вкус свежего огурца, и недоуменно поднял на двоюродную сестру свои большие темные глаза.

Когда они танцевали, Везувий чувствовал, как бугорки крепких грудей касаются его - ощущение было столь ново, что казалось одновременно и приятным, и мучительным.

Юрик лениво вышел погулять во двор, жаловался, что от чтения голова разламывается,

- Я ни одной книжки не читал! - необдуманно выпалил Везувий чистую правду: в семействе Лизоблюдовых книг стыдились.

Юрик посмотрел на Везувию с таким выражением тупости, как будто перед ним стоял столб.

- Потрясающе! Надо запомнить твою фамилию. Как фамилия? - спросил он с долей придурковатости.

Ах, это! Везувий улыбнулся, машинально произнося:

- Лизоблюдов!

Юрик в каком-то ошеломлении застыл и стал бледнее, чем был до сих пор. Везувий смутно догадался, что произошло что-то нехорошее, но что именно, он не понял.

- Ты вдумайся, лизоблюд - это тот...

Пока Юрик развивал свои мысли о лизоблюдах, Везувий медленно краснел и покраснел до того, что стало жарко, душно. Впервые Везувий ощутил свою слитность с фамилией, с этой кличкой, с этим оскорбительным словосочетанием: "Лизоблюд!"

Неужели ни отец, ни мать не замечали этого?! Куда же смотрит царица небесная, которую мать упоминает, куда смотрит Бог, которого - знал Везувий - нет (в школе говорили!), но все же - куда смотрит, раз мать на него молится, рот своей зевающий выкрещивает?! А? Скажите!

- Мы еще, бывает, под себя маленько подпускаем... - сказала мама, а старший пионервожатый оглядел Везувию и, словно убедившись в бытии такого, уже достаточно взрослого мальчика, натужно улыбнулся.

За обедом Везувий выловил из супа все "твердое", а жидкое оставил. Когда сумерки опустились на лагерь, зажглись огни и дело шло к отбою, Везувий одиноко сидел на скамье, от которой пахло еловой смолой, и в смутной истоме думал о чем-то неопределенном. В двух шагах от него возник темный силуэт, в котором Ве-

зувий узнал ту самую девушку, которая когда-то стучала своими каблуками в пустом метро - дук-тиу, дук, дук. Тот звук Везувий, взволнованный и бледный, услышал и сейчас.

- Я тебе клеенку положила...

Утром, проснувшись раньше других, до подъема, Везувий долго стоял у кровати, не в силах отвести глаз от белой, сухой простыни.

Однажды, когда шел дождь, Наташа накрыла плащом себя и Везувия. Идти под плащом было неудобно, мешали руки.

- Возьми за талию! - сказала Наташа.

Везувий робко поднял руку, и в нем вдруг возникло то же мучительное и тревожное чувство, которое было в танце с Лизой.

- Ты такой большой! - проговорила Наташа, и голос ее был такой же, как давно в метро.

В родительский день приехали Иван Степанович и мама. Сели на берегу, под кустами, расстелили газету, разложили гостинцы. Иван Степанович откупорил четвертинку. В воду поставили бутылки с лимонадом, охлаждаться. Везувий смотрел на металлические крышки долгим взглядом, наконец, вздохнув, решил испытать себя и к концу встречи с родителями выдул весь лимонад.

Ночью спал тревожно, но простыни были сухи!

- Лизоблюд, на зарядку опаздываешь! - крикнул звеньевой.

У Везувия кровь хлынула к лицу; не понимая, что он делает, размахнулся и ударил звеньевого в нос. Тот упал.

Вечером Наташа хотела отчитать его. Чтобы Везувий не очень сердился и не ушел, Наташа улыбнулась и подожила ему руки на плечи. Затем быстро закрыла глаза и поцеловала его. И он долго, до задыхания, целовал ее, никак не мог оторваться от ее мягких губ, смутно догадываясь, что целоваться неприлично, совестно, но целовал, неуклюже, по-детски, прижавшись к ее губам своими сомкнутыми губами.

Губы для поцелуя!

Словно почувствовав на себе взгляд Везувия, Силуанова обернулась, перехватила этот странный взгляд, и глаза ее удивленно расширились.

После уроков он шел за нею, сохраняя одно и то же, шагов в десять, расстояние, не приближался и не отставал.

Когда комната погрузилась в полумрак и по ней разнесся привычный, вошедший в плоть и кровь храп Ивана Степановича,

Везувий примостился на сундуке в чулане, где горела слабая лампочка без абажура, засиженная мухами, и принялся рисовать в подарок Силуановой первый снег на плотном альбомном листе.

На дне рождения Силуановой были подруги, а из мальчиков - он один. Когда Силуанова показывала ему коллекцию марок за шкапами, Везувий без всякого злого помысла взял ее обеими руками за талию и привлек к себе. Силуанова в каком-то онемении устала на него зелеными глазами с расширенными зрачками, но через мгновение без усилий выскользнула из объятий. Везувий покраснел.

Когда проводили брата Колю в армию, сестра Тоня привела знакомить высокого парня с прыщеватым лицом.

- Червяков, - сказал парень и добавил: - Эдик.

Везувий вздрогнул от этой фамилии и догадался, что не он один удостоился с рождения клички вместо фамилии, а вот и Червяковы есть. Хотя "Червяков" значительно лучше. Червяк и червяк, без облизывания чужой посуды.

Везувий увлеченно принялся рассматривать этого Червякова. В манерах и в лице его что-то было нагловатое, но сглаживал все прекрасный светлый чуб, особым образом собранный надо лбом в огромный пучок, поблескивающий, нависающий над бровями и оттуда плавной волной уходящий вверх и назад.

"Стиляга!" - подумал Везувий и заглянул под стол, чтобы не ошибиться в предположении. На Эдике были желтые добротные полуботинки на очень толстой белой подошве. Брюки были столь узки, что Везувий подозревал, что Эдик намыливает ноги, прежде чем надеть их.

Когда Иван Степанович пошел в туалет, Эдик посмотрел на Везувия с усмешкой и промурлыкал: "Пару-ля бой, кара-лю-мама-папа-чуча!" В такт этому мурлыканью Тоня весело зашевелила плечами и прищелкнула пальцами.

Везувий сбросил с себя форму и сидел в трусах, черных, до колен, и в синей линялой майке и играл на аккордеоне:

Из окон корочкой несет поджаристой,
За занавесками мельканье рук...

В дверь громко постучали, Везувий раздосадованно пошел открывать и, пораженный, увидел Наташу.

Она сбивчиво стала говорить, глядя прямо в большие, темные глаза Везувия, глядя в упор, что думала о нем все время, что не могла с собой справиться, что тогда еще, в лагере, выписала для себя его адрес, что он... он...

Наташа подняла руки к голове и вытащила заколки. Распушенные шелковистые волосы упали на плечи. При скудном свете, который шел в комнату от небольшого окна, Наташа показалась Везувию еще прекраснее, чем прежде, и он вспомнил, как целовал Наташу и какое мучительное чувство тогда испытывал.

Везувий не мог понять, что с ним происходило. Он видел близко-близко ее лицо, слышал ее голос, и новое впечатление, ядро которого находилось за границами видимого, осязаемого, поглотило его, как щепку.

Вечером Иван Степанович, снимая сапоги, сидя на сундуке, вздохнул и сказал:

- Хватит дурака валять, брюки протирать! Да, в школу ходить уже было стыдно такому верзиле,

Как-то, когда Иван Степанович, поужинав, ремонтировал свои сапоги, набивая на каблук резиновые набойки, а мама дремала за вязаньем у стола, пришла Тоня с новым ухажером: довольно высоким, солидным, лысеющим мужчиной лет тридцати.

Выпив бутылку водки, Иван Степанович и Андрей

Васильевич разговорились о жизни. Оказалось, что Андрей Васильевич работает на номерном заводе мастером, на том же заводе, где в лаборатории работает Тоня.

- Я мужик рызанский! - говорил хорошим баритоном Андрей Васильевич и посмеивался. Когда он беседовал с Иваном Степановичем, то все время добродушно посмеивался, отчего в уголках глаз образовывались морщинки.

Иван Степанович делал брови домиком, что значило, что он доволен будущим зятем, человеком простым и понятным.

А Эдик вовсе был не “Эдик”, а Федя!

Везувия брали учеником на авторемонтный завод, где брат Коля работал до армии, но Иван Степанович, подумав, сказал:

- Пропади он пропадом! В грязи утонешь! Никакой там дисциплины.

- А как же ты на коксовых печах мальчишкой работал? - возразил Везувий, переживая неопределенность своей дальнейшей судьбы.

- Судьба играла! - прогудел Иван Степанович, забираясь на кровать после ужина. - Эх, и проклятая жизнь! Вагонетки катал. Спал в землянке. Мордобой, поножовщина, мат-перемат! - И через малое время Иван Степанович захрапел.

Везувий бесцельно ходил по улице, читал объявления, у одного задержался, потом влез в переполненный автобус и через полчаса был в приемной РУ фрезеровщиков перед столом Бетти. Так необычно звали секретаршу с вытянутым, холодноватым лицом и целой башней волос на голове.

- У Бетти ножки! - восклицал рыжеволосый, с заметными веснушками Миша Гусев и причмокивал губами.

Ребята стояли в полутемном коридоре и шептались о Бетти. Облачены ребята были в мрачную черную форму ремесленников: гимнастерки со стоячими воротничками, широкие суконные брюки и тяжелые кирзовые ботинки на плохо сгибающейся подошве из вулканизированной резины.

- Эсэсовцы! - говорил все тот же Гусев. - Айда ножки Бетти смотреть.

Напротив двутумбового стола Бетти стоял длинный деревянный, как на вокзалах, диван. Ребята шумно рассаживались, а кто-то начинал с серьезным видом о чем-нибудь расспрашивать Бетти. Она это принимала за чистую монету, отвечала, а сидящие на диване нагло пялили поблескивающие глаза в тоннель между тумбами стола, где шевелились Беттины ножки в капроновых чулках.

Мастер Сядько Николай Иванович с рябоватым лицом, маленьким морщинистым лбом и постоянно красными глазами, сидел в мастерской на возвышении за столом и грыз в зубах пластмассовый мундштук.

- Лизоблюд! - однажды крикнул он.

Это когда строились идти в столовую.

Везувий, сгруппировавшись, коротким крюком с левой "уронил" мастера к побеленному стволу тополя на затоптанную землю. Мастер вызывал не просто чувство брезгливости, но какого-то отвращения. Что ни слово - то мат!

Сыграли свадьбу Тони. Как-то Андрей Васильевич задумчиво посмотрел на небо, на бледный диск луны, сказал:

- Ну ладно я! Так я в войну ФЗУ от голодухи кончал. Там нас приодели, приобули, пайку дали. А ты куда попер! Ты просто пораскинь мозгами. Отец есть, мать есть. Так. Чего ж тебе было не учиться! Э-э, - протянул он затем и с отчаянием швырнул в сторону недогоревший окурок, который красненьким огоньком прочертил в синем воздухе трассирующую дугу. - Сам потом поймешь. Трудно нам, деревенским беглецам, в городе... Куда ни глянешь, везде деревенские ваньки вкалывают, одни беглецы! Жаль, что у меня образования нет, а то бы... Эх! Но я хоть курсы кончил, сей-час мастерю...

- Матом кроете рабочих?! - резко спросил Везувий.

Напившись в первую получку, Везувий подрался с отцом и поехал, прихватив аккордеон, к Силуановой.

Она, потупив взор, сказала:

- Я иду на свидание!

Он поплелся за ней. Но, постояв немного, поднял аккордеон над перилами и отпустил его в пролет. Аккорд удара внизу эхом разнесся по подъезду.

- Пьяница лизоблюдовская! - донесся голос Силуановой, и хлопнула дверь парадного.

Пришел домой и под храп отца молча лег спать...

XVI

Перед Новым годом Тоню зарезало трамваем в Перово. Ее положили в гроб, красный с белыми рюшечками. Гроб стоял на табуретах перед подъездом. Шел снег, падал на лицо Тони и не таял. Снег был очень тихий и грустный, а красный гроб казался вызывающим, как будто явился с того света, о котором Везувий всерьез

никогда не думал, даже, казалось, не подозревал о его существовании.

Везувий смотрел на лицо сестры и ему было очень страшно. Все плакали и ему хотелось плакать, но слез не было. Глаза его неотрывно смотрели на гроб, примерзли прямо-таки к гробу, как будто кто-то другой, сильный и властный, залез в Везувия и изнутри руководил этим его взглядом, полным остоленения и ужаса.

- Господи Иисусе Христе! - вопила мать, красная от слез, с выбившимися из-под черного платка седыми, как дым, волосами. - За что ты послал мне такое наказание! Чем я перед тобой провинилась!?

Старенькое пальто матери пахло нафталином, серенький меховой воротник, то ли кролика, то ли кошки, от времени вытерся и был в проплешинах.

Тетка Марья, из деревни, с мужичьим грубым лицом, одетая в черную телогрейку, новую, только полученную в колхозе, непрерывно повторяла какую-то молитву. Другая деревенская тетка, в перешитом из солдатской шинели пальто, замерзшими красными руками шевелила, поправляя в гробу, дешевенькие бумажные цветы.

- До-очка! - изредка зывал отец.

Гроб закрыли крышкой и поставили в грузовик.

Везувий вздохнул, страх постепенно проходил. Везувию очень хотелось теперь взглянуть на Христа и спросить, что же он не защитил Тоню? Страстно захотелось увидеть и спросить.

Кладбище было в синем снегу, и кресты, ограды и деревья казались Везувию такими же синими. День был короткий, едва набрав силу к полудню, спустя пару часов стал затихать, преобразуя белизну в синеву. Снег прекратился и кое-где на небе проступили бледные звезды, колючие и холодные, но живые.

На поминках плакали, кричали.

- Помяни, Везувий, помяни! - говорила тетка Марья, придвигая стакан с водкой Везувию.

Он помянул, конечно. И раз, и два...

Потом вышел из-за стола, накинул пальто и шапку, и незаметно покинул поминающих. В душе была смута.

По переулку шел интеллигентный мужчина в очках и в шляпе. По этим очкам и шляпе Везувий определил его интеллигентность. В одной руке человек держал торт, в другой - авоську с шампан-

ским. Шел он красиво и устремленно. Так ходят по сцене актеры, изображающие князей. И это было неприятно Везувию видеть.

Поддавив злобу, Везувий подошел и спросил:

- Можно ли увидеть Христа?

Прохожий испугался и отступил на шаг. В огромной, диковатой фигуре Везувия ему почудился угроза. Ну, если бы этот парень попросил закурить, дело было бы ясное... А тут вопрос из разряда не поддающихся внятному ответу. Но человек нашелся и спокойно сказал:

- Можно.

Просто так взял и сказал.

Везувий качнулся и икнул, так что, казалось, весь переулок наполнился запахом водки.

- Где? - спросил простодушно Везувий.

Прохожий поставил торт на сугроб у края тротуара, снял перчатку, сунул руку в карман, улыбнулся и через секунду Везувий увидел блеснувший никелем кастет на руке, затем почувствовал небывалой силы удар в глаз, из которого брызнули искры, потом на мгновение все погасло. Когда Везувий открыл глаза, то обнаружил себя лежащим на мостовой, а прохожий, этот "интеллигентный человек", стоял преспокойно на тротуаре и с ухмылкой наблюдал за ним.

- Ну как, увидел Христа? - поинтересовался человек мягким голосом. - Или еще показать?

Озлобление в Везувии перелилось через край, он был готов убить этого человека, но удар был до того ловок, что в голове произошло помутнение, легкое сотрясение мозга и к горлу подступила тошнота...

Метро можно назвать подвалом, только отделанным мрамором и прочими полированными материалами. Странно было лишь то, что в этом подвале поезда не ходили, так как не было рельсов. Вообще никаких путей не было. Зато народу была тьма. Все женщины в телогрейках, которые выписали в колхозе, а все мужчины - в шинелях, подпоясанных веревками. Сам Христос был в очках и шляпе.

- Он что, интеллигентный человек? - спросил Везувий у тетки Марьи.

- А то! - воскликнула она, указуя перстом в потолок, где в великолепной нише красовались мозаично золотые Сталин и Ленин.

- Но он же дерется! - запротестовал Везувий.
- Карает, - поправила его тетка Марья и села на лавку мраморную за длинный мраморный стол, за которым сидели все.
- Оболтусы! - воскликнул Христос и поправил очки указательным пальцем, прижав их к переносице.
- Апостолы, - поправила Христа тетка Марья, - а не оболтусы!
- Я и говорю - апостолы, - сказал Везувий, глядя на Христа.
- Вот тут сидит товарищ Везувий Лизоблюдов, - продолжил Христос торжественно, - который ругает меня за то, что я не спас его сестру Тоню от трамвая. Но ведь я через пророков своих явственно сказал, чтобы вы трамваев избегали. А лучше бы вообще их не изобретали. У трамваев очень тяжелые железные колеса. А я вам дал тело очень нежное, хрупкое. Зачем же ты, Везувий Лизоблюдов, изобрел трамвай, спрашиваю?!

Везувий ошалело оглянулся по сторонам, как бы ища защиты и поддержки у апостолов и у всех, кто был в подземельи в телогрейках и шинелях, затем, не найдя поддержки, робко возразил Христу:

- Я не изобретал трамвай...
- Ну, это мы сейчас проверим, - сказал Христос и надел на руку никелированный, с шипами, кастет.
- А-а-а! - завопил в ужасе Везувий.
- Так кто же изобрел трамвай? - спросил Христос, снимая шляпу.

Блик света люстры отразился на его покато́й лысине.

- Господи Иисусе Христе, - запричитала мать, - прости ты его, грешного, ничего он не понимает, не карай его больше, смотри, как у него глаз разнесло. Это он, мой дорогой Везувий, трамвай изобрел...

- Дайте ему похмелиться, - сказал отец. Мать поднесла Везувию стакан водки. Везувий с отвращением выпил и через некоторое время закусил холодцом. Стало полегче.

Он встал с раскладушки и подошел к зеркалу. Опухоль была громадна, фиолетова и водяниста.

Главный вход выставки был освещен прожекторами, сияли золотые колосья, в воздухе пахло конфетами и кофе. В винном автомате Везувий с Мишей Гусевым выпили по сто пятьдесят портвейна "777", по сорок копеек за сто грамм. Настроение у Везувия было великолепное. Еще бы, он шел на танцы. А была весна, середина мая, яблони зацвели в аллеях выставки, били фонтаны, расцвеченные прожекторами.

Девочек на танцевальной веранде - море, и все, даже самые красивые, смотрят на Везувия, на то, как он с рыжеволосым Гусевым в кругу, образованном зеваками, выделяет кренделя твиста. Эстрадный оркестр вдохновенно ведет ритмичную тему, а Везувий подпеваает:

- Твист эгейн!..

И в Сокольниках в выставочном павильоне: твист, твист!

И в парке культуры и горького отдыха: твист, твист! А в будни гудит цех. Фрезеровщик Лизоблюдов вытачивает детали, в обеденный перерыв первым бежит к столу, чтобы колотить в домино. Везувий очень любит играть в домино. "Дуплится" так, что стол подпрыгивает.

Еще Везувий любит с ветерком прокатиться на электрокаре по пролету.

Когда сменная норма им выполнена, он принимается за фрезеровку кастетов, массовое производство которых наладил с Гусевым, который барабанит в первом цеху на участке ширпотреба, рядом с литейкой. Кастеты хорошо идут по червонцу в "горьком парке", в Останкино, на выставке, в Сокольниках, где частенько сходятся кодла на кодлу.

Так же мастерски, как кастеты, Везувий изготавливает выкидные ножи. Но их он пока сделал парочку. Фибровая полированная ручка и кнопочка, нажал и лезвие выкидывается само. Там в рукоятке вделана такая пружина из нержавеющей стали. Сменщику-старика Везувий помогает делать и протаскивать через проходную торшеры...

Каждый раз, когда кто-нибудь называл его по фамилии "Лизоблюдов", Везувий краснел. Кассирша, которая выдавала зарплату, была молоденькая и смазливая. Тягостно было слышать из ее уст эту кличку. Сразу же вспоминался Юрик и его издевки.

Утром на завод идти не хотелось. Со временем завод стал представляться Везувию какой-то тюрьмой. Но, включив станок, Везувий забывался, думал о будущем, неопределенном, но прекрасном. В этом будущем он видел себя в просторной квартире с красавицей женой. Он видел удобную современную мебель, непременно мягкие кресла, телевизор с большим экраном. Видел и книжные шкафы, в которых стоят собрания сочинений с золотыми корешками. В общем, все как у людей.

Так смена незаметно проходила. Крутилась фреза, летела металлическая стружка, а Везувий размышлял о совершенстве своей квартиры, о том, что стены кухни он облицует голубой кафельной плиткой, а ванную комнату - белой.

Изредка он вспоминал сестру Тоню и ему становилось страшно. Неужели и он, Везувий, когда-нибудь умрет. И как же так получается, если есть Бог, что люди умирают. Не должны они умирать, если есть Бог. Ну хорошо, говорят, что есть другая жизнь, за гробом, на небесах, вечная. Как же там устроить свою квартиру, где разместить книжные шкафы с золотыми собраниями сочинений? А совсем другой жизни Везувию не хотелось.

В заводской библиотеке Везувий долго вздыхал, краснел, пока заполняли формуляр, стыдился, что не знал, какую книгу ему взять и какого писателя, потом решил замахнуться на самое грандиозное, как он считал, произведение - "Войну и мир". Взял первую книгу, начал читать по пути на работу и с работы, а там по-французски, ладно, французский текст пропустил, а дальше такая скука, что Везувий бросил, и подержав книгу пару недель, сдал ее, взяв, по совету библиотекаря, книжку из приключенческой серии - Ал. Авдеенко "Над Тиссой", про шпионов.

Другое дело! Этот Авдеенко писал лучше Толстого. Конечно, обьяснял сам себе Везувий, жизнь идет вперед, Толстой устарел, и каждый писатель, родившийся после Толстого, тем более, современный писатель, писал все лучше и лучше.

Но этот вывод каким-то образом развеялся, когда Везувий принялся за Конан Дойля. Значит, и тогда писали интересно?!

Мучительны были возвращения домой.

- Вон, щей похлебай, - говорила, зевая, мать.

Везувий хлебал и сразу же уходил до позднего вечера, чтобы вернуться переночевать.

То у Гусева посидит, пластинки послушает, то на танцы сходит, то в кино, то на свидание.

У метро, под часами, ждет какую-нибудь Веру-Зину-Нину, подцепленную на танцверанде, потискает ее в подъезде, побродит по улице, а тяги к ней как не было, так и нет.

Но Везувий знал, что найдет свою избранную, где-то она даже живет, учится или работает, такая красивая, как Любовь Орлова.

Весна наступала восьмого марта, хотя еще лежал снег, было холодно, но по всему чувствовалось, что наступала весна. Главное, день был солнечным, и на солнце снег подтаивал, кое-где бежали ручейки, цыганки продавали мимозу, и вот в этих-то желтеньких, как цыплята, веточках заключалась для Везувия весна. Он покупал эти веточки, бежал на свидание, поскользнулся, падал, потому что был слегка выпивши, смеялся своему падению, и душу распирала какая-то томительная радость предвкушения чего-то необыкновенного, волнительного, еще небывшего.

Компания была веселая, накануне скидывались по десятке, закупали выпивку и все такое, магнитофон гремел, от девушек пахло ландышами...

Везувий сидел за столом, стеснялся самого себя, краснел, когда к нему обращалась его Оля-Лена-Таня, подозревал друзей в том, что вот-вот они выдадут его сокровенную тайну и ляпнут при всех его фамилию: "Лизоблюдов". Но ребята как бы понимали это и фамилию его не называли.

После нескольких рюмок горькой стеснение проходило, Везувий обнимал свою Оксану-Марину-Светлану, трогал ее грудь, полновесную, иную Везувий не любил, твистовал со свистом вместе со своей подружкой, затем наступала ночь и связанная с ней в сознании Везувия "семейная жизнь" с Катей - Полей - Надеждой, которая была, как правило, лет на десять старше Везувия, но ему никто и не давал его пятнадцати, ибо выглядел он на все двадцать пять, брился как взрослый, одним словом.

А первого мая было еще лучше! Тут уж весна всю буйствовала и Везувий буйствовал, как майский кот.

Отец, Иван Степанович, совсем чокнулся, когда Везувии ужаснулся на входной двери никелированной табличке, как у какого-нибудь профессора, на которой было выгравировано: "Лизоблюдов Иван Степанович". Везувий успокаивал себя тем, что

отец ничего не слышит, не понимает всего издевательства своей фамилии.

Пустой звук, символ.

Чужое, чужое, все чужое кругом.

А хотелось Везувию красоты, хотя бы такой, какую дарила ему сирень. Он упивался этой сиренью, ломал охапки и нес ее, нес куда-то на рассвете, шел куда-то, не разбирая дороги, пьяненький, налюбившийся, вдохновенный, и спать не хотелось с этой сиренью, и обнимал он букет, как свою избранницу, которую пока не нашел, и всею грудью вдыхал рассветную прохладу и впивался взглядом в первые великолепные солнечные лучи, и новостройки радовали его, эти белоснежные дома, в которых и он собирался когда-нибудь поселиться, и там поставить букет сирени в хрустальную вазу...

Нужно было получать паспорт. Везувий долго ходил по улицам и видел себя на четвереньках лижущим блюда, как собака. Мысль вспышкой озарила. Через час он был в загсе. К осени он был "Мионов".

Дверь открыл сам Юрик, повзрослевший и по-прежнему меланхоличный. Задумчиво взглянул на улыбающегося Везувия и нехотя впустил в квартиру. Везувий прошел с ним в террариумную комнату. Зеленоватый свет, лианы за стеклом и жаба, правда, без короны, видимо, другая, на месте.

- А я теперь Мионов! - наконец-то не выдержал Везувий.

Юрик кисло улыбнулся и сказал:

- Что-то ты не очень похож на Миронова... Везущий Вия не может быть мирным... Блюда лизать везущему Вия... - забормотал Юрик, но не договорил, потому что в долю секунды его щуплое тело воспарило над полом - голова вонзилась в стекло террариума - и со звоном и грохотом распласталось на паркете. Из виска торчал острый треугольник стекла, по которому струилась густая кровь.

Трясущийся и белый Везувий тупо наблюдал за тем, как из террариума выпрыгнула в красную лужицу бородавчатая зеленова-то-желтая огромная жаба.

Она посмотрела на Везувия темными, с влажным отблеском, немигающими глазами из-под тяжелых, в шероховатых складках, сероватых век и медленно пошлепала на своих толстых перепончатых лапах к двери, оставляя кровавые следы.

БЕГЛЕЦЫ

- Ты-ква, - пробормотал Везувий, переводя взгляд на бездыханного Юрика, и улыбнулся, словно нащупал в этой "тыкве" мясисто-сладкую мякоть. - Ты ква скажи! - Он обернулся к жабе и приказным тоном повторил: - Ты ква скажи!

"Ква!" - сказала жаба, исчезая в коридоре, из которого уже слышались шаги...

*В книге "Избушка на елке",
Москва, Издательство "Советский писатель", 1993.*

СПЛОШНОЕ БОЛОГОЕ

повесть

И надо мной - бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

Николай Рубцов

I.

Зеленков продолжал косить глазом на Мацера, затем перевел взгляд на бутылку, как бы давая понять, чтобы Мацера в столь ответственный момент не митинговал, а терпеливо ожидал очереди, когда ему дадут слово, точно так же, как и другие умные люди ожидают своего слова.

Пестрая детсадовская беседка, заваленная снегом, в старом дворе. Один пьет, второй ожидает. Но будет ли второй пить? О! Это вопрос вопросов.

Напротив трамвайной остановки стоит еще с XVIII-го века дом (особняк) в три этажа. Это было подворье какого-то богатого купца, с меблированными комнатами, лавками, трактирами - типичный для изрезанной переулками старой Москвы дом-муравейник, в котором богатство хозяина сочеталось с нищетой жильцов-съемщиков. Теперь дом реконструирован и выглядит как новый. В снежные дни он особенно красив, эдакий печатный пряник.

Если пройти под арку во двор, заставленный легковыми машинами, и войти в единственный подъезд, то обнаружится загадочная дверь с "волчком" без табличек и надписей. Но мы-то должны знать, что здесь размещается общество анонимных алкоголиков. Минуту назад охранник в форме омоновца, с подвешенной на

поясе дубинкой, выпустил из этой двери Игоря Васильевича Мацера, полного красивого блондина в очках.

Он уже собирался садиться в машину, но заметил в беседке пьющего из горла человека.

Странное явление! До беседки было не более пяти метров, поэтому Мацера, приглядевшись, узнал в пьющем Славу Зеленкова, которого не видел лет восемь, но узнал бы и через двадцать лет. Никто так не пил из горла, как это делал Слава Зеленков. Рот открыт воронкой, бутылка отставлена на вытянутую руку, струя, звонко напевая: “льбу-для-буль”, как из-под крана винтом, едва касаясь разверстого горла, устремляется в желудок.

На ходу надевая шапку и недоумевая, откуда тут мог взяться Зеленков, Мацера медленно подошел к беседке. Зеленков, тощий, маленький, в истертом драповом пальто, скосил на него глаза, но процесса не прекратил. В тени беседки блеснули белки глаз, кончики рыжих усов заискрились от винных брызг.

- Господин, распивать в общественных местах спиртные напитки запрещается! - голосом сержанта милиции начал Мацера. - Придется пройти в отделение и составить протокол! - закончил Мацера, нарочито мрачно, чтобы не расхохотаться.

Ополовинив посуду, Зеленков так трагически выдохнул, что Мацера от скорби отвернулся.

Сколько раз в жизни Мацера сам таким же образом делал выдох!

- Дружественным жестом Зеленков протянул бутылку Мацере.

- Тащи, Игорек, - срывающимся голосом сказал он и покачал головой, что главным образом означало, что ему плохо, очень плохо, даже слишком плохо.

Бахус долгое время водил их по жизни неразлучно. Выпускники философского факультета МГУ - где они только ни работали! Последнее место - трест “Спецдальконструкция”. Мацера - начальник планового отдела. Зеленков - главный бухгалтер (это с философским-то Дипломом!). Весь трест - какая-то дремучая фикция в подвале с десятью комнатами. Не пили в этом тресте только тараканы. Но пришла новая женщина-директор и по одному стала выщелкивать на улицу алкоголиков. В кабинете Зеленкова она дернула дверь шкафа, из которого со звоном посыпались пустые бутылки. То же обнаружила в кабинете Мацеры, правда, не

в шкафу, а в письменном столе и в сейфе. Первым вылетел Зеленков, при этом с “волчьим билетом”, потому что огрызнулся. Мацера - по собственному желанию, ибо был корректен.

- Тащи! - повторил гостеприимно Зеленков, но рука с бутылкой вяло опустилась к полу беседки.

- Портвейн не употребляю, - отшутился Мацера.

Зеленков оживился, встал, откинул голову, так что свалилась облезлая кроличья шапка, обнажив заметную лысину, поднял бутылку и направил струю в рот. Выпив до дна и выдохнув, он уже не столь трагично, сказал:

- Как рыба об лед!

- Понимаю.

Мацера помнил, что это было излюбленное выражение Зеленкова в период пьянки. Мацера рассматривал Зеленкова как давно ушедшую, и, казалось, никогда не бывшую жизнь. Зеленков стоял перед Мацерой, как призрак пивной “На семи ветрах”, лысоватый, щуплый, едва ли в нем было росту 160 см, на высоких каблуках (эти каблуки, помнится, в редкие дни трезвости набивал сам Зеленков, дабы выглядеть повыше), как укор не желающей сдаваться прошлой жизни на троих.

- Как рыба об лед! - еще раз выдохнул Зеленков. - Та-ак, кажется, приживается. А я-то думал - обратно пойдет. Ничего, переборем и эту контрреволюцию!

Мацера в раздумье вздохнул.

- Ну, ты располнел! - воскликнул Зеленков. - Не узнать сразу. Барин!

Мацера слегка порозовел от смущения за свою полноту. Действительно, сразу после того, как он бросил пить, его стало разносить.

- Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля вдалеке! - пропел Зеленков и резко сказал: - Предлагаю занять у тебя и выпить! Сразу официально заявляю - денег у меня нет. Позвонил с утра Вите Сукочеву на завод. Тот сам с бодуна сидит неопохмеленный. Звоню Михальцову. Тот, знаешь, где теперь?

Глаза Зеленкова оживились, с любопытством рассматривали Мацера.

- Нет, - ответил тот, как будто ему было очень важно знать, где работает этот самый Михальцов.

- Завотделом снабжения! Подъезжай, говорит. Шапку в рукав, как говорил Мандельштам, и я на месте. Сидит Михальцов уже пьяный среди стеллажей с банками "лечо". При галстукe и в шляпе, как положено на складе! Говорит, все деньги в Болгарию за это "лечо" вколотил. Вот только на портвейн и выгреб у него. Михальцов предлагает, иди поторгуй банками у метро. Что наторгуюшь, то пропьем! Я едва на ногах стою, сотрясаюсь, как былинка бедная. В желудке - обстяг, того и гляди желчью вывернет. Пошел от него, зуб на зуб не попадает, вдоль трамвайных путей. Думаю, дойду до первого шалмана, куплю и выпью. Дошел, купил, зашел в этот двор, сел в беседку и выпил!

С улицы послышался резкий металлический звук проезжающего трамвая. Мацера взглянул на часы и подумал, что поездку нужно отложить, вернее, послать вместо себя Розенберга.

- Как ты себя чувствуешь? - спросил Мацера заинтересованно, вглядываясь в глаза Зеленкова, которые начинали смотреть внутрь, как бы в самого себя.

Шел снег и шапка Мацеры, который стоял вне беседки, побелела.

- Такое чувство, что я проглотил кирпич, - сказал Зеленков. - Но все-таки сейчас немножко полегчало. Надо бы еще добавить, а то - ни тебе Санкт-Петербург, ни тебе - Москва, а какое-то сплошное Бологое!

- Пошли! - сказал Мацера, приняв решение, и направился к арке.

Шофер окликнул его:

- Игорь Васильевич, так вы едете?

- Я сейчас вернусь, но поедет, видимо, Розенберг.

Зеленков горделиво - прямая спина, чуть вскинутая голова, с песней:

Горят огни родного агитпункта,
Мы всей страной идем голосовать... -

последовал за Мацерой, который шикнул на него, чтоб не пел, и Зеленков тут же заткнулся, смутно догадываясь (раз шофер из "БМВ" окликает!), что Мацера вышел в люди.

Выйдя на улицу, Мацера сказал:

- Ну что ты разорался?!

- Не митингуй! У меня все права по конституции на свободу самовыражения! - и на всю улицу пропел:

Протрубили трубачи тревогу!
Всем по форме к бою снаряжен.
Собирался в дальнюю дорогу
Комсомольский сводный батальон...

- Заткнись! - дернул его за рукав Мацера.
- Ну вот, Галича не дает попеть!
- Это разве Галич с комсомольцами?
- Галич.
- Да не мог Галич про комсомол писать! - сказал Мацера.
- Мог! - твердо сказал Зеленков и стал чеканить шаг, как солдат, но чуть было не упал, поскользнувшись на обледенелом пятчке перед входом в винный отдел.

Войдя в роскошный коммерческий магазин, торгующий спиртными напитками, отечественными и импортными, на любой вкус, с любым градусом и объемом, без перерывов на обед, и днем, и ночью, Зеленков резко остановился в центре зала, подтянулся, вытянул руки по швам и крикнул:

- К торжественному маршу, первая колонна прямо, остальные - направо!

Продавцы вздрогнули, Мацера расхохотался. А Зеленков уже спрашивал у продавца в черном смокинге и в бабочке:

- Извольте, сударь, пояснить, что у вас сегодня из водок?
- Из отечественных или из импортных? - не теряя самообладания, вежливо спросил продавец. Зеленков обернулся к Мацере.

- Вот, старик, видал, как ныне нас зауважали? Раньше бы послал меня куда подальше... Да я просто бы к прилавку не пробился! Какие там сорта. Ты помнишь, как мы на Сокол ездили за водкой? Очередь - тысяча рыл! Менты за оградой! Елки-моталки, из какого дерьма мы вышли! А теперь? Изящество, стиль! Пустой магазин, вежливые продавцы...

- Слава, кончай ты демагогию, - попросил Мацера.
- Все, старик, завязываю! Что будем пить?
- Бери "смирновскую".

Мацера расплатился, Зеленков привычно опустил бутылку в карман пальто. Но тут же раздался звон битого стекла, полетели водочные брызги, поскольку бутылка свободно проскользнула через дыру кармана и рваную подкладку.

Зеленков в ужасе зажмурился и всплеснул руками. Мацера от злости сплюнул на кафельный пол. Резко запахло водкой. Зеленков, чудака, упал на колени, возвел скорбные глаза к потолку, где медленно вращались лопасти вентилятора, как в каком-нибудь баре в Майами, и возопил:

- Господи, прости мою душу грешную, нет у меня родины, нет мне изгнания!

Мацера дернул его за шиворот и поставил на ноги. Зеленков плакал.

- Перестань ты! - сказал Мацера, извинился перед продавцом и купил другую бутылку.

Зеленков несколько приободрился, шмыгнул носом и поплелся на выход. На улице все как рукой смахнуло. Он заулыбался.

Вернулись во двор и вошли в подъезд.

- И что же за этой дверью помещается? - спросил весело в предчувствии доброй выпивки Зеленков.

II.

Прежде чем дверь с "волчком" открылась, Мацера сказал:

- Все делаем молча. Вопросов не задаем...

- Ну, это я на улице раздухарился, - перебил Зеленков.

- Так вот, я еще могу кое с кем говорить, но ты, Слава, молчишь. Понял?

- Понял! - твердо сказал Зеленков, зная прежнюю заповедь Мацеры, что пить нужно втихаря.

В руках Мацеры звякнули ключи, и он сам открыл дверь. При виде охранника с дубинкой Зеленков подобрался и чуть ли не строевым шагом последовал за Мацерой по лакированному паркету. В креслах сидели какие-то люди. Пока поднимались на третий этаж, попадались красивые женщины, красивые мужчины и все раскланивались с Мацерой. Одна очень красивая женщина остановила его и спросила:

- Представители из Германии к шестнадцати часам?
- Да, в малой гостиной, - сказал Мацера и продолжил движение.

Зеленков, втянув голову в плечи (шапку он держал в руке), испуганно спросил:

- Что это за музейная контора?
- Я же тебе сказал - вопросов не задавать! - прошептал Мацера, не оборачиваясь.

И на третьем этаже сновали мужчины и женщины. От одной, очень молоденькой, Зеленков не мог оторвать взгляда, так что чуть не врезался в открытую Мацерой тяжелую дверь. Вошли в просторную комнату, в которой стоял длинный и широкий полированный стол, возле него дюжина стульев с высокими спинками.

- Располагайся, Слава. Пальто можешь бросить в угол, тут чисто. Я сейчас чего-нибудь соображу. - И вышел, сунув бутылку Зеленкову.

Тот, не думая, открутил пробку и отпил несколько глотков. Затем, забыв о своем полукоротушном состоянии, присвистнул и почесал в недоумении затылок. Вопросы били в висок, как стихи Мандельштама или Бродского - любимых поэтов Зеленкова.

Вернулся Мацера и закрыл за собой дверь на ключ. Из кармана он достал целлофановый пакет с двумя солеными огурцами и несколькими кусочками черного хлеба.

- Все, что удалось найти, - сказал он.
- И как я бутылку разбил?
- Проехали.

Зеленков тряхнул головой, редкая прядь рыжих волос слетела на лоб, сделав лысину светлее.

- О, Игорек! Все отлично. Прекрасно. В едином строю! Помнишь у Бродского:

В молчании я слышу голоса.
Безмолвствуют святые небеса,
над родиной свисая свысока.
Юродствует земля без языка...
Дающего на все один ответ:
молчание и непрерывный свет...

- Ты неисправим! - сказал Мацера, извлекая из другого кармана тонкий стакан.

Мацера был в костюме в полоску, в крахмальной сорочке с галстуком, одним словом, прямо с витрины. Заметив, что в бутылке не хватает уже граммов сто, вздохнул:

- Не мог пять минут подождать?

- Игорь Васильевич, это выше моих сил! - и засмеялся, громко, нервно, суетливо.

- Потихе, я же просил!

- Понял, - сказал тихо Зеленков и сел за стол.

Мацера налил треть стакана, придвинув его по полированной поверхности широкого стола к Зеленкову, затем вытащил из кармана складной нож, нарезал огурец на тонкие дольки, сделал два бутерброда, один из которых сразу стал есть сам.

- Хороший огурец! - сказал он с чувством, и к Зеленкову: - Давай отходную!

Руки у Зеленкова уже не дрожали, и он как бы забыл об утренней дрожи, поднял стакан и пока держал его перед собой, сказал:

- Как это я разбил бутылку?! Ты человек, Игорь. За тебя!

И медленно, очень медленно, оттопырив мизинец, выцедил все до капельки. Затем понюхал смачно хлеб, но есть его не стал, а вот ломтик огурца проглотил. И этот Огурец как-то приободрил его. Он сказал:

- Значит, если бы я не зашел во двор, то мы бы с тобой так никогда в жизни и не повстречались. Я изредка вспоминал о тебе.

Зеленков погладил рыжие усы и задумался.

Во всем его жалком облике была какая-то затравленность, измелченность.

Часто приходилось видеть таких людей в былые времена у магазинов, собирающих мелочь на бутылку, с бегающими, полными испуга глазами, с синяками и ссадинами, с манией преследования на лицах.

С таким видом кружат возле столовых дворовые тощие собаки, и что-то родственное есть между алкашами и дворняжками. Теперь этих людей значительно меньше, благодаря бесперебойной торговле спиртным, благодаря открытости запретного плода и, в какой-то мере, дороговизне. Это не значит, что их стало совсем мало, просто произошло перестроение рядов, разобшение этих рядов, а может быть, и индивидуализация "этого дела".

Между тем Мацера тоже задумался. И вот о чем. Он хотел сегодня показать делегатам из Германии полный процесс работы своей фирмы.

Он не спеша снял очки, протер чистым носовым платком и, возвращая их на место, мягко спросил:

- Сколько ты за день выпиваешь в таком состоянии?

Зеленков отвлекся от своих мыслей, ответил:

- Не менее литра.

- Да-а, - выговорил протяжно Мацера и каким-то тяжелым, застывшим взглядом уставился в глаза Зеленкову.

Тот не выдержал взгляда, глаза забегали, потом остановились на прозрачной бутылке "смирновской".

- И как я ее только разбил?!

- Проехали, - сказал Мацера.

Он, более или менее наметив разумный подход к Зеленкову, встал и заходил из угла в угол, сунув руки в карманы брюк, наклонив голову, глядя себе под ноги.

В Зеленкове, по-видимому, в этот момент произошла какая-то смена внутреннего ритма и он прочитал:

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками...

Мацера выслушал мелодекламацию и сказал:

- Я пять лет не пью. И счастлив. Не пью и все! Больше ничем в жизни не занимаюсь, кроме как не пью. Работа у меня такая - не пить!

От удивления Зеленков хлопнул в ладоши и спросил:

- И хорошо платят за то, что ты работаешь непьющим? - и захохотал так громко, что Мацере пришлось приложить указательный палец к своим губам.

- В том-то и дело! - воскликнул тихо Мацера, воскликнул не голосом, а одной интонацией. - Я имею минимум две тысячи зеленых в месяц!

Зеленков сначала мелко-мелко задрожал, потом вскочил и забегал от возбуждения по комнате.

Тень от его фигурки столь же быстро заскользила по стене. Мацера, не вынимая рук из карманов, ступал мягко, ходил медленно.

Ему удавалось один раз дойти до угла, в то время как Зеленков покрывал это расстояние дважды.

В комнате стоял едва уловимый запах нового дерева и лака.

В окно смотрели заснеженные крыши разновысоких московских домов, на которые изредка, бегло бросал взгляд воспаленных глаз Зеленков и покусывал свои рыжие усы.

Глотку у него заклинило, он сразу хотел спросить у Мацеры о механизме его непьющего дела, но в течение целой минуты, пока бегал, не мог выдать из себя ни слова.

Наконец он пришел в себя от потрясения и хрипло, срывающимся голосом заслуженного алкоголика спросил:

- Кто же тебя содержит такого умного?

- Сам себя содержи, сам все придумал и...

- Скажи еще, что ты с рубля начал! - прервал его Зеленков.

Глаза у него горели, он нервно вскидывал руки, подергивал плечами, подпрыгивал на ходу, чем сильно напоминал воробья, подмигивал, мол, знаем мы вас таких хороших наизусть, всю вашу изнанку видим.

Он был одет в какую-то короткую вязаную кофту с разными пуговицами и узкие потертые джинсы, которые не шли к нему, делали его каким-то мальчишкой.

А большая лысая голова делала его в моменты молодцеватой подпрыгиваемости похожим на пробивного поэта в момент сочинительского экстаза.

- Не верю! - восклицал Зеленков, сдерживая накал голоса, отчего этот голос звучал пронзительным змеиным шипением и брызги с губ летели во все стороны. - Первое, и это факт! - ты хочешь от меня что-то скрыть. Второе, нужно честно смотреть фактам в глаза. Третье, вся твоя жизнь говорит о том, что ты не способен на такие авантюры, потому что был философским хлюпиком со стаканом, все кропал по трезвухе что-то об Иоганне Готлибови-

че Фихте... И вот - четвертое, ты бы мог своего Фихте сейчас опубликовать. Пятое...

Но тут уж Мацера не выдержал и перебил его таким же страстным шепотом:

- Фихте я уже опубликовал!

Зеленков резко, как машина у светофора, остановился.

- Прошу предъявить! - и ладонью вверх протянул руку. - Жду!

Мацера улыбнулся.

Зеленков чувствовал в его присутствии необычайный подъем духа и наплыв мыслей.

Он как бы забыл, что этот подъем с наплывом вызван портвейном и водкой.

- Хорошо, - сказал Мацера, открыл дверь и вышел.

Зеленков тут же сделал смачный глоток из горла. Через пару минут Мацера протянул Зеленкову толстую книгу в переплете с золотым тиснением: "Игорь Мацера. Неизвестные мотивы творчества И. Г. Фихте".

Буря чувств охватила Зеленкова. То он кидался обнимать и целовать Мацера, то отбегал к свету окна и принимался листать книгу, то вновь подбегал к Другу и похлопывал его по плечу. Многие невидимые душевные переживания отражались в мимике Зеленкова, в глазах, в голосе, в движениях, во всем его физическом самочувствии в эту минуту.

Не легко понять человеческую сущность, потому что люди редко распахивают и показывают свою душу такой, какова она на самом деле. В большинстве случаев они скрывают свои переживания, и тогда внешняя личина обманывает собеседника, ему трудно угадать скрываемое чувство.

Итак, Зеленков при виде книги Мацеры радостно затрепетал. А умение радоваться успеху другого - редкость. Можно усилить: большая редкость! Трудно любить других людей, но оттого, что это трудно, нельзя говорить, что этого не стоит добиваться.

Все хорошее - трудно.

- Пиши дарственную! - приказал Зеленков, открыв титульный лист.

Мацера написал: "Предошущающему свою философию - Славе Зеленкову, от нащупавшего свою стезю - Игоря Мацеры".

Книга поблескивала золотом и Зеленкову виделось то имя Фихте, то Мацеры, а то вдруг эти имена сливались в одно непонят-

ное имя, которое Зеленков никак не мог прочитать. Это имя слепило.

Вот-вот, казалось Зеленкову, он прочитает это имя, но оно превращалось в солнце.

Мацера посмотрел на часы. Было начало двенадцатого, а Зеленков все веселел и веселел. Но ничего, можно Зеленкова и притормозить.

- Да, я просто не пью, - сказал Мацера. - Это мой бизнес. На том, что не пью - делаю деньги. Ты врубаешься в ход моих рассуждений?

- Врубаюсь. Но все-таки - это звучит странно. Все равно, что получать приличное вознаграждение за то, что дышишь.

- И до этого додумаются. Я же додумался до самого себя. Пойми, если бы я еще в один штопор вошел, я бы из него уже никогда не выбрался. Просто бы сдох как собака где-нибудь в пивной. Я вот смотрю на тебя и думаю, а что если ты согласишься работать со мной?!

- То есть, не пить?

- Ты меня правильно понял.

Зеленков погрустнел, осунулся и вся его веселость куда-то подевалась.

III.

Холодом цветущие вишни глянули в глаза Зеленкову с заснеженных крыш чудом уцелевших от разлома эпох особняков, церквей и палат, причем стены палат были цвета плодов вишни, а не майского цветения, подобного снегу.

Чудесен заснеженный город, когда смотришь на него из окна теплого помещения, чудесна панорама времени, утекающего вспять, к истокам классицизма с белыми колоннами, львами у подъездов, потому что будущее ничем подобным не может порадовать глаз, ибо будущее - ничто, пустота, которая ничего не построила и не написала.

Сия минута творит гармонию прошлого. Но сия минута может и разрушить это прошлое. До мысли - маленький скачок, но ползает летать не созданный.

- Рожденный ползать - летать не хочет! - сказал Зеленков.

Громыхающий красный трамвай вывел из грусти Зеленкова, нервный тик скользнул по его лицу, он отбежал от окна, остановился возле Мацеры и зашептал страстно:

- Ты не можешь понять, кто я. С кем ты говоришь? С отребьем. Никто так не презирает меня, как презираю я сам. Я, потенциально умный человек, не написал ни строчки в избранной мною профессии философа. Я ни минуты не работал преподавателем философии. Вся жизнь моя состояла из поднятия стакана. Господь определил мой жизненный путь - поднимать стакан! А сколько за этим стаканом я болтал! У меня такое впечатление, что я всю жизнь при стакане с болтовней. Болтливый стакан! Кого только я не обсуждал! Я обсудил всю историю философии, в пьяном угаре какому-то шизофренику доказывая, что Кант писал не так, а Гегель вообще был лишен понимания прекрасного. Слова вылетали воробьями и растворялись в воздухе. Ничего не осталось. Результат равен нулю. Я ноль мировой цивилизации!

- Жестко! - сказал Мацера.

- Будет еще жестче, потому что ты, сволочь, предлагаешь мне - Господину Стаканову - (с большой буквы!) мое призвание замечать на какие-то вшивые миллионы!

- Миллионов я тебе еще не предлагал.

- А мне их и не нужно. Ты понимаешь, рублевая твоя душонка! Не нужны мне купюры. Вот в чем парадокс текущего момента в истории жизни Зеленкова! Что моя жизнь? Сплошной запой! Мне 52 года и жить мне осталось неделю...

- Так мало? - усмехнулся Мацера, понимая, что Зеленков набирал форму бесстрашия, знакомую очень хорошо Мацере по прошлым собственным запоям.

- Если бутылки с водкой бью, то мало!

- Оставь ты эту чертову бутылку! Достал с этой бутылкой!

- В неделю могут уложиться года, - сказал Зеленков, стремительно продолжая: - Вся прошлая жизнь - секунда и я в этой секунде - самый низменный человек изо всех ныне живущих. Катарсис - это галлюцинации, смещающие прошлое до картин Босха. Я ненавижу деньги, потому что эти пестрые бумажки, вернее, отсутствие их, мешают мне сразу же наполнять стакан. Ты предложи мне такую организацию, чтобы стакан брал я сразу, по первому требованию, а лучше - без требования, чтобы, как вот эта бутылка, - он ткнул пальцем в бутылку, - стояла всегда. Вот эта

опустошится только и она же сразу полная на этом же месте. Вот тогда я подумаю, загружаться мне сразу или несколько погодя. Вот кто я такой теперь. Сейчас. Мы путаемся в догадках о будущей жизни, мы вопрошаем, неизвестно к кому обращаясь, что будет после смерти? Но это же бред - спрашивать о том, чего нет, в этом дикое противоречие, и спрашивать об этом нельзя потому, что жизнь и будущее - две вещи взаимоисключающие, ибо жизнь только в настоящем. Это нам только кажется, что жизнь была и будет, - а жизнь только есть сию минуту. Я люблю только себя и свое состояние в сию минуту и от этого - внешний мир окрашивается в приятные для меня тона. Я приемлю этот мир в сию минуту! Я приемлю вишневое цветение заснеженных крыш! Приемлю! Что же тебе еще нужно, Игорек? Повлиять на меня извне? Подавить меня, заставить меня что-то сделать помимо моего желания?

- Пока я тебе поставил бутылку, - в который уж раз усмехнулся Мацера.

- О! Молодец! Ты прав. Чего я выступаю. Ты поставил бутылку. Хорошо! А почему ты не выпьешь со мной?

- Я же тебе сказал, что пять лет не пью.

- Денег не было?

- Денег - мешок, а пить не хочу, - сказал Мацера.

- Так, запомним. Где мешок?

- Я сказал образно.

- Я не об образах, я о мешке. Показывай мешок!

- Теперь деньги такие, что мешок не требуется.

- А мне мешок покажи!

- Я тебе без мешка покажу. Сколько?

- Без мешка смотреть не буду. А то разговорились! Мешки у них! Как будто я не представляю, сколько в мешок влезет.

- Сколько? - спросил Мацера.

- Из-под сахара?

- Что?

- Ну, это... мешок из-под сахара?

- Давай из-под сахара.

Зеленков быстро что-то прикинул в уме и сказал:

- Два миллиарда пятидесятитысячниками. Или 360 банковских упаковок того же достоинства каждая, то есть по пять миллионов в пачке.

- Ты так ловко считаешь, как будто каждый день таскаешь эти мешки! - рассмеялся Мацера.

- Сам не таскал, но в руководимой мною фирме - таскали.

Мацера удивленно вскинул брови, спросил:

- В какой фирме?

- Как пошли новые времена, отец мой с какими-то деятелями из ЦК КПСС создал фирму, - сказал Зеленков. - А я до этого, представляешь, все в партии хотел восстановиться. В райком писал, в горком, потом письмо к съезду отправил!

- Не слабо! - воскликнул Мацера.

- Вот идиот-то был! А она - эта партия - рухнула. Отец поил и кормил. Три месяца бился, как рыба об лед! В трудкнижке статья записана. Пошел в бюро по трудоустройству. Много мест предлагали: и заводы, и фабрики! Но я выбрал речной флот! Вверх по реке, вниз по реке! Матросом. От Киевского вокзала до Новоспасского моста. Солнце светит, я на палубе под музыку лежу, портвешок потягиваю. На остановках канаты бросаю, трап подаю для пассажиров.

Мацера рассмеялся и сказал:

- Не могу себе представить матроса Зеленкова!

- Что ты, старик, не говори! В выходной капитан в дугу, еле оттащили его от штурвала. Вниз по реке я сам прошел. Капитан дрыхнет тут же, под ногами. Ну и я с помощником добавляю. Смотрю - и помощник задремал. А я у горького парка отдыха в пристань как долбану! У меня пассажиры повывлетали прямо к чертову колесу! И на сем моя карьера в речном флоте закончилась. Еще одну запись мне в трудовую книжку вбабахали, такую, что я эту книжку утопил сразу же в реке. Отцу рассказал, он посоветовал сходить в трест и повиниться. Я сходил, а там и треста-то уже нет, ликвидировали его. Так я без трудовой социалистической книжки остался. Но здесь, повторяю, как говорится, пошли иные времена! Назначили меня президентом фирмы, которую отец с этими сколотил. Я чуть от страха не умер. Что мне делать, спрашиваю у отца, а он говорит - представительствовать. Выделили под фирму здание бывшего НИИ. Я сижу в кабинете, а мне на подпись то письма, то договоры, то платежки. Подписываю все подряд, а что подписываю - не знаю. Ничего не понимаю. Чем фирма занимается - одному богу известно. А за мной машина, с работы, на работу. Потом охранников дали. А я все время подда-

тый. Не пьяный, но все время опохмеленный. Возят меня в парикмахерскую бриться, в сауну мыться, женщин привозят на квартиру для свиданий. В общем, я как шейх какой-нибудь. Однажды ведут меня мои охранники на какой-то прием в “Метрополь”, смотрю, в холле ребята перешептываются, до ушей моих долетело: “Вот он, воротила бизнеса!”. Это в мой адрес-то! Я чуть со смеха не упал!

- Ты что, действительно не знал; чем занималась фирма? - спросил Мацера с несколько большим интересом, нежели спрашивал до этого.

- Игорь, вот убей меня - не знал! И сейчас не знаю.

- Ты что и сейчас там работаешь?

- Что ты! - махнул рукой Зеленков. - Как отца похоронил, сразу вышибли. Там такая мафия, опухнуть можно! Они держали меня как китайского болванчика. И вот год уже не работаю. Так кое-какие разовые заработки подворачиваются... То партию компьютеров устроил за десять процентов комиссионных, то вагон обрезной доски толкнул на тех же условиях... А деньги разлетаются, как брызги шампанского!

Мацера осторожно спросил:

- А фирма эта существует?

- Куда она денется. Существует!

- Может быть, они нам что-нибудь будут подкидывать?

- За то, что не пьем?

- Именно! Так сказать, будут спонсировать отрезвление России. Я понимаю, - начал неспешно, мягким голосом развивать мысль Мацера, - что сейчас каждый, как волк, ищет себе спонсора. Но если мы имеет такой уникальный опыт по добыванию даже в самой безвыходной ситуации бутылки, мы уж пустим в ход всю изощренность своего ума, чтобы средства, необходимые нам, выколотить. Не мытьем, так катаньем! Я не пью, но это не значит, что я безгрешен. Есть, разумеется, в этой жизни идеалисты, которые думают, что можно вообще освободиться от грехов, но они глубоко ошибаются. Человек может быть более или менее грешен, но никогда - совершенно безгрешен. Потому что вся жизнь человеческая, как я ее себе представляю, состоит в этом освобождении от грехов. И никто не уходит от наказания за свои грехи. Я наказан тем, что не пью. И у каждого человека будет свое наказание, и не где-то за гробом, а здесь, в этой жизни.

Например, ты наказан тем, что вынужден страдать от головной боли и жуткого похмелья, и чем чаще ты пьешь, тем тебе становится все хуже и хуже. Не кто-то тебя наказывает, а ты сам себя наказываешь через возлияния...

- Постой, - прервал его Зеленков, - за кого ты меня принимаешь? Я что тебе, дядя Вася с автобазы? Что это за тон, и что это за лекция? Я спрашиваю?

- Ну, если мои здравые мысли ты воспринимаешь так, то я могу помолчать, - с некоторой обидой в голосе сказал Мацера и пошел к окну.

Он понял, что не так начал говорить.

Вообще он понимал, что в пропагандистской работе лучше слушать, чем говорить, но часто не сдерживался, был, что называется, одержим идеей трезвости.

Он смотрел в окно на старую Москву.

Это была та ее часть, где в прошлом веке было множество гостиниц и меблированных комнат и великое обилие всевозможных трактиров и кабаков средней и низшей пробы с граммофонами и развеселыми девицами.

И вот теперь минувший век как бы возвращался, но модернизированным.

Какие-то голландцы открыли гостиницу, сияющую золотыми стеклами в переулке напротив, запестрели витрины меняльных контор, баров, банков.

Да и сам Мацера перестроил бывший дом какого-то купца в нечто такое комфортабельное, что душа пела.

Но можно ли перестроить людей?

Можно ли вдохнуть новое содержание в старую форму?

- Эх, я, Тряпичкин! - воскликнул Зеленков с болью в голосе. - Разгрохал такую бутылку! Идет как масло!

- Да ладно тебе... Брал бы пример с меня... Бросил пить, что ли. Я помогу. Ты не бойся, у меня всей тайно... Никаких там фамилий... Никто и не узнает о тебе... А можешь любой фамилией называться: хоть Тряпичкин, хоть Стаканов...

- Не обижайся, - сказал Зеленков и для ободрения Мацеры проскандировал:

СПЛОШНОЕ БОЛОГОЕ

Чувств одичалых и суровых
Гнездилище душа моя:
Я ненавижу всех здоровых,
Счастливых ненавижу я.

В них узнаю свои утраты,
И мне сдается, что они -
Мои лихие супостаты
И разорители мои,

Что под враждебным мне условьем,
С лицом насмешливым и злым,
Они живут моим здоровьем
И счастьем, некогда моим!

- Я не обижаюсь, - сказал Мацера.
- Нет, обижаешься! Я вижу. Вон рожу скривил...
- Не обижаюсь.

Зеленков подошел к Мацере, обнял его и поцеловал.

- Не обижайся на меня, супостата, - сказал Зеленков. - Я не достоин того, чтобы на меня обижались. Еще чего не хватало! Обижаться на меня. Было бы на кого. Все ты говоришь правильно. Я согласен. Надо завязывать. Но только не сейчас, потому что у меня в голове какой-то Хайдеггер образовался. Ты подходишь ко мне с какой-то антропологической точки зрения. А, на мой взгляд, антропология есть такая интерпретация человека, которая в принципе уже знает, что такое человек, и потому никогда не способна задаться вопросом: кто он такой. А у тебя я попал в разряд алкоголиков, да еще безымянных. Одно это убивает во мне меня. Нет, ты признай мою конкретную персоналию со всей вселенной моей души. Может быть, в похмелье, в боли, в жути видений и есть главное, что меня привлекает в пьянстве! Вот как я поворачиваю вопрос. А то эти, чуть-чуть пьющие, хотят только радости. Мол, выпили для веселья. Э-э, брат, это заблуждение. Никакого веселья им не приходится испытывать. Потому что веселье можно понять и почувствовать только после бездны падения. Упади сначала! А потом говори о веселии. Так что антропология и биохимия тут не подходят. Не знают эти науки, кто я такой. С одной меркой ко всем подходят. А меня одной меркой не возьмешь. Был я у одного спе-

ца (не ты один умный, чтоб на трезвости подрабатывать!), гипнозом он меня хотел полечить. Смотрел, смотрел мне в глаза, а я хоть бы хны! Сам смотрю в его глаза и думаю, ну я тебе сейчас сделаю! Короче, он чуть не заснул у меня, нарколог штопанный, а потом и говорит, что я не поддаюсь гипнозу и что я сам обладаю какими-то гипнотическими качествами, взгляд, говорит, у меня тяжелый.

- Когда напьешься, у тебя фишки вываливаются! - связвил Мацера и заглянул в черные глаза Зеленкова.

Эти глаза, казалось, ничего не выражали, какая-то подземная холодность была в этих глазах, как в темных зеркалах, в которых увидел свое микроскопическое изображение Мацера.

- Я стойкий, - сказал Зеленков. - Иногда выпьешь столько, что страшно становится, а домой приходишь, на автопилоте. Идешь и не качаешься. Главное - не качаться!

- Я тоже редко качался, - оживился Мацера.

Зеленков молча подошел к столу и налил себе треть стакана.

- За гостеприимство! - произнес он строго и выпил, для разнообразия после этого поморщившись.

- Эдак ты у меня до 16 часов не дотянешь, - сказал Мацера.

- А зачем мне тянуть до 16? Я еще немножко посижу и поеду домой читать Хайдеггера.

- Ты мне нужен в 16 часов, - сказал Мацера.

- Для чего?

- Как бы тебе сказать, - начал неопределенно Мацера, боясь пережать в вопросе оказания влияния на Зеленкова. - Хорошая выпивка намечается, - упростил он мысль.

- Где?

- В малой гостиной.

- Так вы же здесь все непьющие, как я понял.

- Мы - непьющие, но гостям поставим.

- Странно. Я думал, в этом загадочном доме пьянство в любой форме исключено, - сказал Зеленков.

- Но ты же пьешь?

- Ну, я! Сравнил. Я пью, и вроде бы - не пью. Втихаря же все делаю. В коридор не выбегаю, к женщинам не пристаю, песен не кричу. Хотя в коридор мне бы выйти нужно было. Уже подпирает. Где там у вас уборная?

- Я провожу. Только ходи молча и не дыши ни на кого.

- Не надо повторять одно и то же по тысяче раз.

Уборная очень понравилась Зеленкову своей чистотой и дизайном. Бронзовые ручки на белоснежных дверях, полотенца, мыло, зеркала, как в гримерных великих артистов, запахи хвои и лаванды, все работает, вода звенит и замолкает по мановению никелированных кнопок. Зеленков был подчеркнута подтянут, ртом не дышал, чтобы не пахло, а усердно сопел носом, втягивая в себя воздух со свистом.

Посетители уборной здоровались с Мацерой, обменивались отдельными репликами, но Зеленков молчал, как памятник Зеленкову.

Когда вернулись в комнату, Зеленков открыл рот, чтобы подышать свободно, затем спросил:

- Откуда такие хоромы?
- На похмелку достал, как бутылку! - рассмеялся Мацера.
- Не разобьешь?
- Постараюсь.
- А если серьезно?
- И я серьезно.
- Расколол кого-нибудь?
- Мало ли миллионеров на свете, бывших алкоголиков, - неопределенно сказал Мацера. - Ну, скажу я тебе, что дал какой-нибудь Тряпичкин...
- Ты меня не трожь!
- У нас не принято спрашивать фамилии.
- Понял. Вопрос снимаю. И во мне еще теплится это извечное, назойливое человеческое любопытство.
- Любопытство, как и грехи, неискоренимы из человеческой души.
- Как и пьянство?
- Думаю, что да.
- Так зачем же копы ломать?
- Для меня есть зачем. Я повторяю, что я не пью. Самочувствие отличное, нервы в порядке, колотун не бьет.
- Хорошо. Так что же у тебя будет в 16 часов?
- Очень солидные спонсоры, которые хотят удостовериться в том, что мы действительно работаем, а не дурака валяем.
- А что значит - валять дурака? Это что же, взять человека, повалить его в грязь и валять, катать?
- Брось ты цепляться к словам!

- Человек состоит из слов! - воскликнул Зеленков. - Я русский, потому что говорю русскими словами. Если я начну говорить по-китайски, то я уже буду китайцем...

- Трепло же ты! Короче, будешь со мной работать или нет?!

Зеленков почесал в глубокой задумчивости затылок.

- Главным бухгалтером?

- Главный бухгалтер у меня уже есть.

- Начальником планового отдела?

- Тоже есть.

- Неужели?! Что же ты планируешь? Алкоголиков?

- Именно. В первом квартале - десяток отрезвить, во втором...

- Бред!

- Опять ты уходишь в сторону! - повысил голос Мацера. - А тот, кто уходит в сторону, боится прямого ответа...

- Ладно, давай попробуем, - сказал Зеленков осторожно. Потом добавил: - Запить никогда не поздно будет. Как и умереть. Она ведь уже свыше намечена, смерть-то! Все будущее анонимно. Ничего не известно. Есть ли, нет ли, внятно ли, бессвязно. Полощем друг другу мозги и только. Развлекаем. Ладно, чувствую, аппетит у меня развивается стремительно. Какова программа?

- Программа проста. Мне нужно еще пару человек на сегодня, пару алконавтов с последующим их обращением в трезвость. Есть кандидатуры?

- Набухаться задарма приползет пол-Москвы! - категорично, с некоторым преувеличением высказался Зеленков.

- Хм... Вот столько бы людей сразу бросило пить! Это было бы что-то.

- Бюджет России сразу бы треснул по швам! Ты подумай, прежде чем говорить! Пришлось бы армию и ВПК сразу же упразднить!

- Так есть у тебя два человека, которые бы попили вволю с тобой, а потом превратились бы в чистых трезвенников?

- Мы и спрашивать не будем у них. Скажу, есть шанс хорошенько поддать и все рассуждения. Вот повезет же ребятам. Это я один, как рыба об лед!

- Так позвони им, предупреди, мы за ними заедем, - сказал Мацера, застегивая пуговицу на новом пиджаке.

Тоска на подступах к свободе, неизвестной свободе - для чего и ради чего? - часто одолевала Зеленкова, и вся жизнь ему казалась перепадами от тоски к свободе.

Безысходность сменялась выходами в искрящееся веселье, когда любая мысль была ему по плечу, даже такая коварная как "смысл жизни - в самой жизни".

С легкостью невероятной он проезжал любую мысль, как с легкостью усадил в машину сначала Михальцова, затем Сукочева.

Мацера с некоторой долей испуга поглядывал то на одного, который был похож на свежемороженый баклажан (Михальцов), то на второго, едва воскрешенного предусмотрительно прихваченной "смирновской", очень смахивавшего на персонажа знаменитой картины неизвестного голландского мастера "Положение во гроб".

- Придурок, держи голову повыше, а то вырвет, - сказал Михальцов Сукочеву, после того, как тот с жадностью приложился к бутылке.

- Давай ты сам, - сказал Зеленков, передавая ему "смирновскую".

- "Давай" будешь говорить своей жене! - отчеканил Михальцов и без дополнительного приглашения выпил.

Михальцов сразу поверил в нереальность происходящего, поэтому никаких вопросов не задавал. Зеленков уже просто был в нереальности, поэтому, сам, глотнув, развалился в мягком сиденье и так это, ни к кому не обращаясь, заговорил:

- Вернемся, однако, к проблеме философской веры. Тут ко мне Фихте заходил...

- А-а, мы с ним пили однажды на Каховке, - сказал как ни в чем не бывало Михальцов, поправляя свою широкополую шляпу. - Проснулись, Фихте занял рубль у соседа. Зеленков в универсаме украл соленую скумбрию. И - в пивную...

Зеленков пресек пивную более высокими материями:

- От религиозной веры последняя, отличается тем, - что в качестве своей предпосылки нуждается в некоторой доле скептицизм-

ма, то есть сознания, как говорил Фихте в пивной, что есть такие вопросы, на которые не может быть дан рациональный ответ.

- Ответ может быть дан на все что угодно, - оживился Сукочев, покрываясь приятной испариной опохмеленного.

- Может, - согласился Зеленков. - Но, с другой стороны, она потому и вера, что допускает существование такой реальности, формой знания которой является скептицизм, или, выражаясь иначе, допускает существование реальности, знание о которой может выступать только в форме осознанного незнания, - эта-то реальность и есть предмет философской веры.

Машина промчалась над Яузой, пролетела по трамвайным путям и свернула во двор.

Первым вышел Мацера в своей светло-коричневой дубленке с белым меховым подбоем, затем Зеленков в куце драповом пальтишке, следом Сукочев в какой-то курточке-телогрейке, едва прикрывавшей зад. Михальцов не торопился, щелкал зачем-то замками своего кейса, как будто что-то собирался из, него доставать, хотя в нем лежала лишь пачка сигарет и газета "Труд".

- Давай вылазь, - сказал ему Сукочев.

- "Давай" будешь говорить своей жене, - сказал Михальцов, все же открыв свой кейс. Он извлек газету, нашел в ней программу телепередач, что-то вычитал там, затем уж вышел из машины. - Кино в 22 часа, успею.

Сукочев посмотрел на него долгим осуждающим взглядом, но ничего не сказал.

У Сукочева был ужасно длинный нос, и он напоминал ворону. Особенно когда смотрел вот так на кого-нибудь, смотрел не прямо, а как-то сбоку.

И в этом взоре как бы читалось: и вся-то наша жизнь - сплошная случайность.

Собственно, об этом подумал Мацера, оглядывая поочередно то Зеленкова, то Сукочева, то Михальцова. Жалко ему было этих людей. Очень жалко.

Но они сами повинны в собственной жизненной катастрофе. А катастрофа - это следствие их же вины. Достаточно им раскаяться, то есть доказать чистоту своей жизни, и все станет другим.

В самом деле, к этому нас призывают со времен пророков, но мы не знаем, какими путями, когда и как нравственная чистота нашей жизни приведет к всеобщему благу и к мировой гармонии.

- Ничего себе особнячок! - сказал Михальцов, оглядывая здание.

На Михальцове было длинное, до пят, черное кожаное пальто, как шинель на памятнике Дзержинскому. Шляпу он надвинул на глаза, замаскировался, так сказать, и было не понятно - трезвый ли человек в этом черном пальто и черной шляпе или пьяный?

Михальцов, видимо, помня подпольное прошлое большевиков, понимал, что в этой жизни лучше маскироваться, чтобы никто не увидел твоего лица, тем более такого - фиолетового, как баклажан.

Во двор вкатила другая машина. Это приехал Розенберг, затоваренный выпивкой и едой. Розенберг, как и Зеленков, долгое время пил.

Теперь же он яростно ненавидел алкоголиков. Так бывает часто.

Если ты раньше пил, а теперь бросил, то будешь, ненавидеть тех, кто продолжает пить.

Розенберг, обменявшись с Мацерой несколькими фразами, принялся вместе с шофером доставать из машины коробки.

- Господа, поможем, - сказал Мацера.

- Ну, вот, опять таскать! - недовольно сказал Михальцов. - Я эти коробки видеть не могу! Одних "лечо" перетаскал тысячи!

В этот момент Розенберг проходил с увесистой коробкой мимо Михальцова, который особенно был противен Розенбергу.

Розенберг даже пошел крюком, чтобы натолкнуться на Михальцова, специально, и незаметно врезал носком крепкого ботинка по щиколотке Михальцову, так что тот взвыл от резкой боли и выронил кейс.

- Ну, ты, придурок! - крикнул Михальцов.

- Давай-давай, работай! - зло бросил Розенберг.

- "Давай" будешь говорить своей жене! Розенберг, полыхая ненавистью, исчез в подъезде.

- Что это за придурок? - спросил Михальцов у Мацеры.

- Да так, один непьющий, - неопределенно махнул рукой Мацера, беря коробку.

- Я ему сделаю! - в сердцах проговорил Михальцов. - Он у меня запьет на месяц!

- Этот не запьет, - сказал Мацера.

Михальцов промолчал, поправил шляпу, вернее подогнул поле этой шляпы себе на глаз, взял коробку и молча последовал за Мацерой.

Зеленков по этому поводу заметил:

- Хорошо, видать, поддавал раньше этот...

- Ужас, какие злые трезвенники, - сказал Сукочев.

Спустя полчаса на столе в малой гостиной стояли закуски: сельдь в винном соусе; осетрина заливная; холодное вареное мясо с хреном; курица в студне; салат из огурцов со сметаной; салат из помидоров со сметаной; поросенок заливной; угорь припущенный в вине; пирожки рассыпчатые с мясом; огурчики маринованные; грузди соленые; раковые шейки в голландском соусе; и, конечно, сами раки, отваренные с кореньями!

Слышался приглушенный говор: это гости из Германии на ломаном русском языке объяснялись с Мацерой.

Михальцов, в костюме с галстуком, синяя лицом, вдруг очень громко пропел:

Я люблю тебя, Россия!

Без тебя мне счастья нет!

Зеленков воодушевленно подтянул последнюю строку.

- Мать моя родина, я - большевик! - воскликнул Сукочев, озирая стол.

- А что же за стол-то гости не садятся? - спросил Зеленков у Мацеры, когда тот подошел к ним.

Троица: Зеленков, Михальцов и Сукочев стояли у стола, поблескивая глазами.

Мацера покашлял и как-то смущенно сказал:

- Дело в том, что... Вы должны... как бы втроем выпивать и закусывать...

- Втроем?! - удивился Сукочев, поводя своим длинным носом над столом, как ворона, нацеливающаяся на добычу.

- А они? - кивнул на гостей Михальцов.

- Дело в том, что все это непьющие.

- Первый раз столько непьющих вижу! - воскликнул Сукочев, останавливая свой взгляд на бутылках, которые кустились с двух сторон просторного стола, покрытого белейшей, крахмальнейшей скатертью, отливающей голубизной.

- Завязали что ли? - спросил Михальцов.

- Навсегда, - сказал понимающий Зеленков и нарочито кашлянул, давая этим понять Михальцову и Сукочеву, чтобы они поменьше вопрошали, иначе выпивка может уплыть.

Михальцов потер руки и первым сел за стол, как будто собирався обедать у себя дома в одиночестве. Сукочев тут же плюхнулся рядом, по левую руку, а Зеленков без промедления - по правую.

Сукочев в мгновение ока свинтил голову новой "смирновской" и уравнивал в правах три хрустальных фужера, затем аккуратно опустил опустевшую бутылку к ножке стула, на котором сидел.

Столь же проворно он открыл "пепси" и налил в три рюмки, которые, разумеется, предназначались для водки.

Они подняли фужеры.

- За встречу! - произнес Михальцов. - И чтоб не последняя!

- За вас, ребята! - сказал Сукочев, несколько напряженно глядя на содержимое фужера.

- Поехали! - сказал Зеленков.

Они выпили и символически закусили.

- По второй? - спросил Михальцов.

Зеленкову хотелось спросить у Мацеры о спонсорах, которые собирались выпивать с ними и которые вроде бы были в лице гостей, но дабы не прерывать хода событий пока не спросил, а ловко подцепил вилкой красной икорки и бросил ее на язык.

Аппетит теперь у него был самый настоящий, и он азартно принялся наворачивать все подряд. Особо смачно хрустели панцири горячих раков в его руках.

Сукочев отгонял страхи, хотя после фужера они должны были - и Сукочев знал это наверняка - покинуть его, но пока они собирались покидать его, он несколько раз оглядывался, как бы ища взглядом жену, которая имела особенность всегда появляться в тот момент, когда Сукочев поднимал стакан. Но к счастью, жены здесь не было. И он даже несколько теплых слов мысленно отпустил в ее адрес.

Зеленков поглядывал на Мацеру и видел, что тот был в сильном напряжении.

- Прогресс приводит, конечно, к единству в области знаний, но не к единству человечества, - сказал Зеленков громко, чтобы Мацера слышал, как бы намекая на то, что гости не хотят единения в прогрессе выпивки.

Михальцов шепнул Сукочеву:

- Такая закуска, а есть ничего не хочу. Двое суток ничего не ел и не хочется.

- Захочется, - проговорил Сукочев и осторожно наколол на вилку красный свежий помидор с яйцом, смазанный майонезом. Поднеся помидор ко рту, Сукочев посмотрел на него сначала с одной стороны, потом с другой, затем зажмурился, положил помидор в рот, но не жевал, а как бы думал, жевать ему или нет. После этого на одной силе воли зажевал и еще одним невероятным усилием той же воли - проглотил. Даже искры из глаз посыпались.

- По второй? - спросил Михальцов.

- Да погоди ты нажираться! - сказал, вытирая слезы, Сукочев.

- Киряли, как сейчас помню, мы с Сукочевым, - заговорил Зеленков. - Было солнечное утро. Бутылку через мясника знакомого взяли. И так нам грустно стало, что решили проветриться. Проветрились на пару литров. Смотрим - едем в ночной электричке. Куда едем, неизвестно. Выходим на первой попавшейся станции. Читаем: "Абрамцево"! Ну, на кой ляд нам это Абрамцево! А ведь, куда-то собирались...

- На богомолье в Загорск, - сказал Сукочев. - Ты все кричал: надо помолиться!

Оживился Михальцов, сказал:

- Это что! Вот я весной... Набухались по горлышко. С ребятами. Они в Питер в командировку ехали. Ну, я на вокзал, провожать. Сели в купе. Поддаем. Я и не заметил, как поезд пошел. Потом эти... контролеры... Я - на полку над входной дверью, за чемоданы спрятался... Ну, просыпаюсь, конечно. Смотрю - никого. Слез я с полки, вышел на платформу, читаю: Хельсинки! Мать твою за ногу, думаю! Хули я в этой Финляндии забыл!

- Чего ты выражаешься! - сказал Сукочев.

- Ладно... Ты слушай дальше. Иду в вокзал, захожу в сортир. Сделал свои дела. Выходить собрался. Смотрю - бумажник на полу. Поднимаю. А там бабки, паспорт чай-то, билеты на самолет. А у меня, как водится, ни копейки не было! А голова само-собой разваливается. Вышел в город Хельсинки. Взял бутылку. Выпил. И что вы думаете? В аэропорт. Паспорт какого-то американца был, как две капли на меня похож...

- Такой же алкаш? - спросил Сукочев.

- Сам ты алкаш! Слушай, Вася! Пропускают в самолет. Короче, долетел я до Нью-Йорка... Вышел в город. Взял бутылку, похмелился. И назад, на родину. Хули я забыл в этой Америке?

- А вот выражаться не обязательно, - сказал Зеленков.

- Сдал находку. Ну, наши ребята, летчики, довели меня до Шереметьева, а потом и выпили вместе. Гости расселись вдали, как будто были в зрительном зале, но делали вид, что не замечают пьющих, говорили о чем-то между собой и с Мацерой.

Доев сочного рака, Зеленков вдруг вскочил, выбросил руку вперед, в гостей, и бросил им:

Не то страшит меня, что в полночь,
героя в полночь увезут,
что миром правит сволочь, сволочь.
Но сходит жизнь в неправый суд,
в тоску, в смятение, в ракеты,
в починку маленьких пружин
и оставляет человека
на новой улице чужим!

Спонсоры просияли, а Мацера сказал им:

- Он любит Бродского и Мандельштама.

- О, Бродски нобелевски! - воскликнул белобрысый немец. -
Короши поэт, короши. Мне надо пить хороши поэт!

- Как, вы желаете выпить? - пожал плечами Мацера, полагая,
что спонсоры не пьют.

Михальцов, у которого ушла синева с лица, и оно сияло рубиновыми звездами, моментально налил рюмку, как бы этой рюмкой (ведь, подлец, налил не в фужер!) умаляя роль немцев во всемирном пьянстве, наколол на вилку огурчик поменьше и подбежал к говорившему.

- Я слышу речь знакомой подворотни! - воскликнул Михальцов, передавая рюмку и вилку белобрысому.

Гости податливо заулыбались, а белобрысый так бодро проглотил рюмку и так аппетитно захрустел огурчиком, что все как-то смущенно потянулись к столу. Сели, причем Мацера тоже сел за стол и сразу же налил себе "пепси".

- Я-то думал, вы тоже не пьете! - весело начал он оправдываться, чувствуя все неудобство оттого, что заставил гостей молча наблюдать за выпивающими и закусывающими.

Зеленков с азартом полового бегал вокруг стола, наливал всем и каждому, понимая, что Мацера в своей борьбе за трезвость уж слишком широко шагает, как бы штаны не лопнули, и как бы этим - наливанием быстрым - сглаживая неловкость первых минут.

Розенбергу, который вначале все крутился возле немцев, тоже пришлось сесть за стол, и тоже, как и Мацере, налить себе детский напиток. А Зеленков ему - в фужер под завязку - водки. Розенберг даже перекосялся от злости.

Заминку быстро преодолели и выпили все, кроме, разумеется, непьющих, под завывание Зеленкова:

Из незнакомой подворотни,
прижавшись к цинковой трубе,
смотри на мокрое барокко
и снова думай о себе.

Белобрысый немец сидел рядом с Сукочевым. Когда немец закусил, Сукочев склонился к его уху и шепнул:

- Могу достать стальные трубы.

Немец минуту соображал, затем так же шепотом спросил:

- Много?

- Сколько хочешь, - дал гарантированный ответ Сукочев и прикрыл в знак надежности будущей сделки глаза.

Немец молча извлек из кармана визитную карточку и протянул Сукочеву. Мацера с некоторым внутренним ужасом наблюдал за этим, поражаясь, как быстро Сукочев вошел в контакт.

В углу гостинной появилась корова с огромными рогами и со столь же огромным выменем. Зеленков первым увидел ее и, чтобы гости не всполошились, побежал в угол и быстро вывел корову в коридор. Пока он, стоя в коридоре, наблюдал, как корова уходит за угол, вышел Мацера, с волнением спросил:

- Ты куда?

- Да вот корову вывел.

- Глюки?

- А что же еще! Но такие реальные! - сказал Зеленков. - Ты же сам знаешь. Впрочем, ты так и не рассказал, как ты завязал.

- Вы что-то темп взяли быстрый. Вырубитеcь быстро. Пойдем, немножко передохнешь, - сказал Мацера, открыл ключом дверь напротив, и они оказались в уютной комнате с книжными шкафами. Сели в мягкие массивные кресла.

V.

- После пожара я два месяца не пил ни грамма, - проговорил Мацера тихо.

- После какого пожара? - спросил Зеленков.

- Мы с тобой не виделись восемь лет, Слава. Как мы распрощались с трестом. Работу я себе никак не мог найти. Да еще развелся, жил у матери. Детей жалко. Жил у матери и пил. Ты куда-то пропал.

Зеленков оживленно заметил:

- Отец меня тогда крепко зажал. Я не пил где-то месяцев пять. Но это особый разговор. Продолжай.

- Никак себе не мог найти работу. Вроде бы уже все, договарюсь с кем-нибудь, иду устраиваться, а мать рубль даст, и... в магазин сворачиваю. Выпью на троих - и понеслось! Один раз до такой степени напился, что меня с инфарктом имени Миокарда в Боткинскую отправили. Вообще, ты знаешь, в больнице очень хорошо на завязку становиться. Вколют что-нибудь, спишь себе, успокаиваешься, проснешься, солнышко светит в окно, кашку несут. Молочка дадут. Капельницу поставят. Сосед по палате - главный инженер одного завода. Тоже наш брат - по-черному пил и тоже, как и я, с инфарктом загремел. Когда читать уже не было сил, а книги в больнице щелкаются только так, вели с ним беседы на самые темные темы: по сколько выпивал, сколько длился самый долгий запой, как выходил из штопора и так далее. А я все стеснялся говорить, что я безработный. Ему-то хорошо, на заводе, как он говорил, у него своя атмосфера. Ну, он и сказал, что у него должность пожарника есть и оклад неплохой. Надо заметить, что он и я, пока лежали, слово дали друг дру-

гу больше не пить. Он даже хотел после Боткинской пройти курс антиалкогольного лечения, закодироваться, или еще что-то там сделать, ну, чтобы не пить и точка! Время пролетело. Устроился я пожарником...

- Каску дали? - вклинился Зеленков.

- Дали... Не простым пожарником устроился, а главным. У меня еще два подчиненных. Нормальные люди, не пьют, не курят. Есть такие индивиды, выходцы из деревень. Сидят и все что-то мастерят. Бог с ними. Я рад за себя, месяц не пью, второй не пью. Настроение великолепное, какое-то спортивное. На даче у матери весь участок перекопал. А на работе - обложусь книгами, пишу. О Фихте. А тут еще мать познакомила со своей сослуживицей, разведенной, но хорошей такой, правда, на десять лет меня моложе. И тут! Сижу один раз, пишу о Фихте, дверь со стуком отлетает и вваливается главный инженер с песней: "Широка страна моя родная!". Дальше этот эпизод рассказывать не буду. Короче, понеслось! Пьем с ним каждый день на работе. Причем, нас никто не осуждает. Наоборот, один день с нами директор посидел, второй - начальник производственного отдела, третий - завотделом сбыта и так далее. Я уже и домой перестал ходить, ночью в кабинете. Мать звонит, а я ей говорю, что ночи теперь заставляют дежурить, чтобы чего не случилось. И вот загорелся наш заводик. Бочки с растворителем и красками вместе с готовой продукцией стояли. Взрывы, Пламя до звезд! А у меня все огнетушители декоративные. Шланги рваные. Я только как безумный бегал туда-сюда, а потом и бегать перестал, стою и очумело на пожар смотрю, на эти адские языки. Ни позвонить, ничего не догадался сделать. Как догадаешься, когда полтора месяца кочегарил? Я откровенно скажу - в сам пожар-то не поверил, думаю - это глюки, как твоя корова!

- Корова, корова была! - вставил Зеленков.

- Смотрю на пламя, а сам думаю, как бы похмелиться.

- Да-а! - протяжно посочувствовал Зеленков, трезвея от достаточности выпитого и от рассказа Мацеры.

- Тут настоящие пожарники приезжают на своих сумасшедших красных машинах с выдвигаемыми лестницами, с брандспойтами. Следом - милиция, прокуратура. Меня с собой. Натерпелся я страхов! И в тот же день закосил, лег в Кашенко, через па-

ру месяцев вышел инвалидом второй группы. Прокуратура отстала. Трудовую книжку с завода отдали. Что делать, ума ни приложу! Мать пилит. Ходил, ходил, присел на, бульваре у памятника Грибоедову. "Горе от ума" вспоминаю. Сажу в такой страшной тоске, что белый день не мил! И все кажется, что кто-то сейчас подойдет и заберет меня. Страхи мучают! Смотрю, идут две женщины, в спецовках, кладут на скамейку рядом со мной огромные ножницы. Отдохнуть сели. Я молча взял ножницы и, чтобы отключиться от тоски, стал стричь кусты. "Ровнее!" - кричат, заливаясь от смеха, женщины. Я увлекся. Стригу, и так это ровно у меня получается. А женщины хохочут, у одной только зуб золотой поблескивает. А погода, надо сказать, в тот день замечательная была - тепло, солнечно, весенний дух! Тут и женщины стали постригать кусты. Потом пригласили к себе в подвал в переулке. На столе - батарея портвейну! У меня даже сердце сжалось. А убежать - стыдно. Умом понимаю, что бежать мне из этого чертового подвала нужно, а не могу. Как гвоздями прибили к полу. Наливают. Я поднял стакан, закрыл глаза, мысленно перекрестился и выпил. Здесь я должен заметить, что после длительного перерыва я испытал нечто вроде блаженства, какой-то сладкий флер. Потом - еще стакан, третий, пятый. Потом очнулся: у меня на коленях сидит та, с золотым зубом. Потом она на лавку легла и оголила полные ноги. И вот в этот момент я ясно понял, что если сейчас, сию же минуту не убегу, то я погиб навсегда. Так меня эта мысль обожгла, что я спрыгнул с полных ног, схватил одежду и голым выскочил в переулок... И вот с тех самых пор не пью.

- И не пей! - с горячностью крикнул Зеленков и стукнул себя кулаком по колену.

- Со времени завязки я проповедую философию собственного производства, - сказал Мацера.

- Какую же?

- Практическую философию своего личного поведения, без предикатов, без объектов и субъектов.

- Это интересно!

- Практическая философия кардинально отличается от теоретической. Фантастические теории - для алкоголиков и гениев. Практическая философия - для таких, как я.

- Значит, ты сразу себя вычеркиваешь из гениев?

- Вычеркиваю. Потому что гениями мы называем покойников. У них уже все сложилось, книга захлопнута. Можно подводить итоги. Если по результатам моей практической философии и после моей смерти меня назовут гением, я не обижусь!

- А из алкоголиков ты себя тоже вычеркнул?

- Вычеркнул.

- А если опять запьешь?

- Страшный вопрос ты задаешь, Слава. Я вот сижу с тобой, ты выпиваешь, а мне почему-то страшно, как будто я сам пью. Понимаешь, кто хоть раз испытал в жизни запой, тот поймет меня.

- Игорь, я тебя понимаю!

- Меня все время гложет эта мысль, что вот я сорвусь. Даже в эту минуту, сидя с тобой, меня не покидает эта страшная мысль. Она в той или иной мере всюду преследует меня. Эта навязчивая идея! Завишу от какой-то жидкости! Я же не химический завод! Хотя человек - стопроцентный химический завод, перерабатывает простые и сложные элементы, и генерирует духовность. Какая-то химическая любовь и ненависть. И люди-то смешиваются и сплавляются химическим путем. Природа - человек - идеал. Вот смысл работы химзавода.

Зеленков вздохнул, затем сказал:

- Ну ладно, молодец, пошли в компанию... Что-то выпить захотелось!

- Паразит же ты, Славка! - воскликнул Мацера и вдруг спросил: - Твой этот Сукочев действительно трубы может достать?

- Да он тебе ползавода достанет.

- Да?

Вышли в коридор. Мацера закрыл дверь на ключ.

VI.

А из малой гостиной послышался душераздирающий крик. Мацера с Зеленковым кинулись туда. А там произошло вот что. Когда Зеленков повел корову в коридор, а Мацера вышел следом, Михальцов сосредоточил свое внимание на Розенберге. Следил за ним и следил.

Даже закусывать перестал. Минут через десять тихой сапой подобрался к нему сзади и влил ему в глотку из горла граммов сто водки. Это произошло столь внезапно, что кроме крика, последовавшего за тем, как водка попала уже в желудок, Розенберг ничего поделаться не мог. Побелевшие гости в ужасе смотрели на беднягу. Михальцов, посвистывая, расстегнул пиджак и заложил руки по-ленински за вырезы жилетки. Грассируя, воскликнул:

- Пгавильной догогой идете, товагици!

Затем сел на место и тут же выпил.

Розенберг через минуту более или менее пришел в себя, если можно назвать приходом в себя действие хмеля, потянулся рукой за помидором, чтобы мстительно запустить им в Михальцова, но рука сама, против воли Розенберга ухватила фужер с водкой и использовала его по назначению, к ужасу неверия Мацеры в происходящее. Зеленков удовлетворенно потер руки.

- Куда ты пропал? - спросил у него Сукочев.

- Да Мацера бриллианты показывал, - небрежно сказал Зеленков.

- И много?

- Встань-ка, - попросил его Зеленков.

Сукочев поднялся. Зеленков, смерив его взглядом, сказал:

- Точно. Именно такой высоты у него сейф. И, представляешь, весь набит этими самыми бриллиантами.

- Не может быть!

- Попроси, он покажет, - сказал Зеленков.

Но Сукочев обращаться к Мацере не стал, он лишь обвел стол своим вороньим взглядом и спросил:

- У всех налито?

Выпили. Закусили.

Сукочев, цыкнув зубом, запел:

Хорошо на московском просторе...

С другого конца стола Розенберг подтянул:

Светят звезды Кремля вдалеке...

- Ну, вот, затагнули мою любимую песню, - обиделся Зеленков.

А Мацера, сохраняя спокойствие, подошел к Михальцову, виновнику пения Розенберга, и прошептал:

- Давай отсюда!

- “Давай” будешь говорить своей жене!

Мацера просто ущипнул его за бок от бессилия, и отошел.

Михальцов, сказав: “Ой!”, стал уписывать заливного поросенка.

Причем блюдо он придвинул к себе, чтобы кто еще не покусился на поросенка, и ел руками, крикая и облизывая пальцы. Он так увлекся, что Зеленкову пришлось сделать ему замечание перед тостом:

- Ты что сюда закусывать пришел?!

Михальцов мигом поднял фужер.

Зеленков сказал:

- Выпивка - это движение. Выпивая в течение многих тысячелетий, человечество освоило земную поверхность, кроме полярных снегов. Но и там сидят люди. Так выпьем же за тех, кто сидит на полярных снегах, чтобы им стало теплее оттого, что мы их помним!

Выпили.

Сукочев, заразившись аппетитом Михальцова, придвинул к себе плошку с угрем, припущенным в вине, и, не отвлекаясь по пустякам, съел все ее содержимое.

Зеленков задумчиво нажимал на раков.

Михальцов, ни к кому особо не обращаясь, довольно-таки громко спросил:

- Партию “лечо” никто не купит?

Ответа не последовало.

Тогда Михальцов запел:

Мы за мир! И песню эту
Понесем, друзья, по свету.
Пусть она в сердцах людей звучит:
Смелей, вперед за мир!
Не бывать войне-пожару,
Не пылать земному шару!
Наша воля тверже, чем гранит...

Он не заметил, как сзади к нему подошел, слегка покачиваясь, Розенберг.

Едва закончился куплет, Розенберг обнял Михальцова и принялся целовать его, приговаривая:

- Спасибо, друг! Ты пробудил во мне вторую натуру. Она спала. Вернее, она была мертва. Но ты ее воскресил. Давай споем эту, - и Розенберг затянул:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роят в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

У Розенберга был явный слух и неплохой тенор, чем-то напоминавший голос знаменитого Бунчикова.

VII.

- Более крупные раки лучше, их мясо вкуснее, - сказал Сукочев белобрысому немцу по фамилии Цимке. Фамилию он запомнил по визитной карточке. - Ты, Цимке, не стесняйся, у нас тут по-простому. Бери вон того здорового рака! Я тебе говорю. Ты сам-то ловил когда-нибудь раков?

- Нет, - сказал смеющийся, набирающий форму бизнесмен Цимке и взял того рака, на которого указал ему Сукочев.

- Во, молодец! А то привыкли вы там в своей Германии ничего не есть, не пить. Я тебе вот что еще скажу. Раки наших рек и озер вкуснее, чем ваши раки. У вас там не раки, а блохи!

Цимке хотел что-то возразить, но Сукочев сказал далее:

- Ты сидишь? Сиди! И слушай, что тебе старшие товарищи по партии говорят. Для варки следует брать только живых раков. Если шейка вареного рака согнута, как вот у твоего, то это значит, что он варился живым. Если же она прямая, то он был сварен неживым. Наматывай на ус!

- У меня не имей ус, - возразил Цимке.

- Это - к слову. Живых раков хорошо обмыть холодной водой, чтобы на них не осталось ила. Знаешь, Цимке, в трусах лезешь в воду, дрожишь, но знаешь, сейчас корзинку раков вытащишь. Тащишь на берег, они черные, все в иле! Так вот для начала их нужно помыть бережно, ну, чтобы клешню не сломать или ногу. А костер уже, знаешь, так это в небо рвется. Сине-красное пламя котел шпарит, вода кипит. Вот тут-то их и нужно по одному кидать в бурлящую подсоленную воду, добавить перец, лаврушку, корешки петрушки и укропа. Можно для мягкости морковку бросить. Котел я обычно закрываю крышкой и варю раков минут десять, не больше. Они тут красными уже становятся.

У Цимке от белого вкусного мяса и от рассказа Сукочева текла слюна.

- А то еще во время варки можно добавить стакан красного вина. Да-а, - протяжно вздохнул Сукочев, которому виделась река в деревне, где он каждое лето жил в отпуске в собственной избе, которую купил в 1976 году за двести рублей. Ездил в деревню на своих "Жигулях", которые купила жена, повар ресторана "Отдых".

- Корошо живете, - сказал Цимке. - Раков кушать Германия дорого!

- А у вас все дорого, что самому можно сделать, - твердо сказал Сукочев, который прошлой весной ездил с женой в Германию в туристической группе. - У вас и картошка как деликатес! А у меня в деревне, елки, полон погреб! Вон, на Новый год съездил, четыре мешка привез! Отборная. Бесплатно. Люблю в земле покопаться!

Цимке внимательно посмотрел на длинный нос Сукочева и осторожно, чтобы, видимо, не обидеть, спросил:

- Зачем ты алкаш тогда, если сам картошка и рак делаешь?

Сукочев был поражен этим, как ему показалось, нелепым вопросом. Он откинулся к спинке стула, а рака, который был у него в руке, поднял как готовый к бою фужер.

- Кто тебе сказал, что я алкаш?

Цимке шепнул на ухо:

- Господин Мацера.

Сукочев сразу успокоился и принялся разделять рака: с лапок и шейки удалил скорлупу, затем, бросив в рот белую сочную, пахнущую кореньями, мякоть, сказал:

- Не бери в голову. Он больной человек. Его жалеть нужно. Играется! Пусть себе играется в трезвость... А то, вот я еще как раков приготавливал. Купил литров десять пива. И тоже у реки, на костре. Ты знаешь, Цимке, что такое выпить и закусить раками у реки? Нет, ты не знаешь, что такое раки у реки! Ну, сначала я немножко воды в котел наливаю. Костер шарашит! Вода кипит, я туда корешков для аромата. Потом наливаю литра два пива и жду, когда все это закипит. И уж потом кладу туда раков... Можно и в квасе раков варить.

- О, русски квас! - весело закивал головой Цимке, нетерпеливо глядя на свою пустую рюмку. Ему очень хотелось выпить, а Сукочев все молотил про своих раков.

- А то еще, знаешь, Цимке, - продолжил Сукочев, - положу горячих раков в таз, из котла так это их шумовкой аккуратно вынимаешь и укладываешь в таз, а потом заливаешь светлым сухим вином. О! Это, геноссе Цимке, бывает только в конце мая, у реки, соловьи надрываются, цветет все кругом, травами пахнет...

- Ты короши поэт раков! - воскликнул Цимке и хотел попросить Сукочева напиток, поскольку сам стеснялся Мацеру, который изредка с дальнего угла бросал подозрительные взгляды в их сторону.

Сукочев был польщен этим комплиментом и сказал:

- Да какой я к черту поэт! Я простой русский мужик - люблю лес, люблю реку, люблю покушать как следует, люблю хорошо выпить, люблю повкалывать, чтобы поясница гудела, но... На себя повкалывать! Жизнь я люблю и не унываю. Конечно, плохо сегодня утром было. Вчера с тестем лишку выпили. Но я бы перемутился, а тут Славка прилетает с этим, - Сукочев кивнул на Мацеру и шепотом добавил, - больным человеком. У нас как на Руси? Кто не пьет - тот больной! Вот и все. Может, и я когда заболею, хотя избави бог, а пока здоров. Давай, Цимке, выпьем с тобой за русскую природу!

Сукочев отыскал глазами полную бутылку, скрутил с нее пробку и, прежде чем налить, крикнул:

- Зеленков!

Зеленков же сидел, чуть отодвинувшись от стола, положив ногу на ногу, курил трубку, которую ему предложил сосед-немец, и что-то очень задумчиво, с видом профессора говорил. Сукочев, остановив бутылку над рюмкой геноссе Цимке, но, не наливая, прислушался.

Зеленков говорил:

- От отца мне осталась квартира в сто пятьдесят метров на Фрунзенской набережной. Вы можете себе представить такую квартиру с видом на Нескучный сад?

- Нет, - ответил сосед-немец, заинтересованно слушая.

- Так вот, хожу я один по квартире, по пяти комнатам и думаю о безразличии объекта к субъекту. Хожу-хожу, потом сажусь в машину и еду на дачу. Дача тоже от отца осталась... Машина, впрочем, тоже. Дача в сосновом лесу. Старик-повар там живет. От отца остался. Со времен войны прижился. И вот он мне готовит баранину. Ну, вы, наверное, знаете, что наилучшим является мясо овец в возрасте до двух лет, так как оно достаточно мягкое, а бараний жир растапливается при более низкой температуре, и поэтому человеческий организм лучше его усваивает. Чем жирнее баранина, тем она считается лучшего качества. Корейка и задняя нога используются для жарения. Лопатка, грудинка и пашина - для варки, тушения, для блюд из рубленого мяса, а иногда и для жарения. Шашлык я не люблю.

Сосед-немец с некоторой долей нетерпения поглядывал на свою пустую рюмку, но не перебивал собеседника, ожидая, когда он закончит мысль.

- Шашлык горячий хорошо! - все-таки вставил сосед-немец.

- Повторяю, я не люблю шашлык. Мой повар делает мне баранину так. Обмытую, осушенную баранью грудинку или лопатку он разрезает на куски, посыпает солью, перцем, обваливает в муке и со всех сторон обжаривает на жире. Очищенные и нарезанные морковь, лук, петрушку поджаривает вместе с мясом. Затем все это кладет в большую кастрюлю для тушения, заливает жиром, на котором все жарилось, и бульоном. К концу тушения еще подсаливает и добавляет сметану. Потом из тушеного мяса удаляет кости и режет мясо ломтиками. Затем аккуратно укладывает их на блюдо один на другой и заливает соком, в котором баранина тушилась. Рядом кладет тушеную свеклу, капусту или вареный картофель. Прелесть, а не блюдо! - закончил Зеленков, нашел глазами Сукочева и спросил: - Вызывали?

- На-аливай! - отдал команду Сукочев и налил Цимке и себе.

- Ну, ты, придурок! - обиделся Михальцов, очнувшийся от думы. - А мне?

Сукочев молча налил Михальцову. В торжественном молчании выпили.

- Кто тут все про горячее говорил? - выдохнув после водки, спросил Михальцов.

- Да это я раков на реке вспоминал, - мечтательно сказал Сукочев.

- А я - тушеную баранину на даче, - сказал Зеленков.

- Повар у тебя великолепный! - похвалил Михальцов, оживляясь. - Помню, однажды забурились к тебе на дачу! Неделю пили и закусывали горячей бараниной. Но я, откровенно, баранину не люблю. То ли дело - гусь!

Вдруг Мацера нервно вскочил из-за стола и вскричал:

- Да будет вам горячее, будет! - и выбежал из гостиной.

- Чего это он дергается? - спросил Сукочев, поводя по сторонам длинным носом.

- Чего он нервничает? - спросил Михальцов. - Сам пригласил, а теперь нервничает.

- Обидно ему, - задумчиво проговорил Зеленков. - Вы должны понимать. Все пьют, а он не может. Один трезвый.

- Лучше б он ушел тогда от греха, - сказал Михальцов сочувственно. - Я сам не люблю трезвым с пьяными сидеть.

- Бывает и такое? - шутливо спросил Сукочев.

- Бывает, - сказал Михальцов, - когда жена на садовый участок увозит. Шесть соток у нас под Дмитровом. Канал рядом. Хорошо. А жена у меня - деревенская. Разводит летом кур, уток, гусей. Я траву им кошу. Вообще, надо заметить, я очень люблю косить. Встанешь часиков в пять, солнышко над горизонтом поднимается. Из-за леска. Лесок там у нас замечательный. Умываюсь и иду с косой на опушку. Благодать. А в субботу она гуся готовит. Надо сказать, она прекрасно готовит. Я плиту газovou в кухне на даче поставил, кухню сам пристроил за неделю!

- Мастер! - рассмеялся Зеленков.

- А чего? Хули такого!

- Можно не выражаться? - сказал Зеленков.

- Пардон. Газовые баллоны заправляю в Москве и на своем "Запорожце" на дачу. Так вот она гуся в духовке готовит. Мне - четвертинка как штык. Сам в сельпо бегаю. А ей - красенького... Жена отваривает сначала рассыпчатую перловую кашу, добавляет нарезанные и поджаренные на масле лук и вареные грибы... Грибов я набираю корзинами! Под Талдом ездим. Ну,

кладет еще там петрушку, укроп, все перемешивает и разбавляет грибным отваром. А я в это время уж выпотрошу гуся, обмою, осушу и удалю кости, только кости бедрышек и Крылышек оставляю. Она начиняет гуся, зашивает и - в горячую духовку. Еда, я вам скажу!

- А ты - алкоголик? - спросил сосед-немец, наклоняясь к Михальцову через Зеленкова.

Наступило короткое молчание.

- Какой же я алкоголик! - рассмеялся после паузы Михальцов. - Я простой советский пьяница. Алкоголики - больные люди. Я им сочувствую.

- Закусок - полон стол, а мы все про горячее! - воскликнул Зеленков, сооружая бутерброд из осетрины, кеты, черной икры и балыка. Причем все это он укладывал на тоненький кусочек белого хлеба слоями, смазывая каждый слой сливочным маслом.

- Горячего хотса! - сказал Михальцов и намазал горчицей кружочек свиного филейчика.

- Да, неплохо бы сейчас горячего, - согласился Сукочев. - Русский мужик не может без горячего. Это алкоголики ничего не едят. А тут пока горячего не поешь, полный кайф не поймашь!

- Давайте выпьем! - предложил Зеленков.

Налили, подняли.

- Выпьем за мир! - произнес Зеленков.

- Мир наживы и капитала? - спросил Михальцов.

- Мир равенства в нищете? - спросил Сукочев.

- За мир, который вращается вокруг солнца, - пояснил Зеленков. - Чтобы он не сошел с орбиты!

- Эх, хватил! - воскликнул Михальцов. - Лучше выпьем за нас и за текущий момент!

- Отвечу философски, - сказал Зеленков, притормозив фужер, который было приставил к губам. - Там где я был, меня нет, и где буду, меня тоже нет, я есть только здесь и сейчас, когда работает видеокамера глаз, микрофон слуха, когда идет прямая трансляция жизни, когда работает компьютер мозга, в который вставлена дискета программы собственной жизни, зашифрованная генами. Мне страшно признать, но я признаю, что человек - это всего лишь биологический компьютер, доставленный на Землю для каких-то высших, а может быть, и низших, не доступных человеку целей, поскольку человек - лишь средство в осуществлении какой-то гран-

диозной программы высшего существа, созидającego что-то свое, надмирное, существа, для которого время-вечность равно какой-то доле секунды, а пространство нашей солнечной системы всего лишь атом гигантской ДНК!

- Ну и что? - спросил Михальцов.

- Ну и пусть! - сказал Сукочев.

- Короши, глубоки мысли! - сказал сосредоточенно Цимке.

- Но тупая сила жизни, - продолжил Зеленков, поглядывая то на многоэтажный бутерброд, то на фужер, - не взирая на многодумные сентенции насчет ее бессмысленности, прет упрямо, выпирает самое из себя, омастрившись до бесконечности, и трудно даже в уме представить этот процесс остановленным. Новый матреш, недавно вылезший из матрешки, говорит: "Я буду танкистом!" Он не понимает, что быть танкистом - это значит быть потенциальным убийцей, поскольку армия - это то, что должно убивать, и при этом как можно совершеннее...

- У него отец был генералом-полковником, - сказал Михальцов соседу-немцу.

Зеленков продолжал:

- В ВПК, говорят, умы! Сахаров, Харитон, Курчатов! Да кто это такие? Модернизаторы средств уничтожения матрешей и матрешек? О!

- Так мы выпьем когда-нибудь? - спросил Сукочев.

- За мир! - крикнул Зеленков и опрокинул фужер. Застучали вилки по тарелкам.

- Так кто же такой алкаш?! - вдруг выкрикнул Цимке.

- Как бы тебе сказать, - начал Сукочев задумчиво, и косо, повороньи, уставился на Цимке. - Это тот, на кого ты думаешь, что он алкаш. То есть термин "алкоголик" относится к кому-то другому, но не к самому себе. Это великая загадка. Смотришь, лежит под забором сосед, поднимаешь его, приведешь домой, а утром он идет, пусть и дрожит, но идет трезвый на работу. Кто он? Алкоголик или Гамлет? Так что, друг Цимке, слово "алкоголик" - оскорбительное слово в русском языке. И тот, кто его употребляет, тот маловоспитанный человек. Воспитанный человек никогда не говорит - "алкоголик" кому-то. Воспитанный человек может подшутить над выпившим, потому что знает, что сам таким бывает. Потому что, как вон Славка сказал, все мы компьютеры, то есть - одинаковые.

В разговор вмешался Михальцов:

- Алкоголик сам не может завязать, а мы - можем! Ну, не в любую минуту, но можем. Сами! Всему свое время. Вот тебе, - обратился он к соседу-немцу, - я сейчас скажу: "Завязывай!", так ты обидишься! Обидишься?

- Сейчас выпить корошо! - отозвался тот с улыбкой.

- Я об этом и толкую! - воскликнул Михальцов.

- Правильно, - поддержал Зеленков. - Всему свой черед. Выпиваем и закусуваем все вместе. Превосходно! Ну, кто-то еще денька два-три попьет, кто-то недельку, но завяжет. Потому что мы уж такие люди - не любим однообразия. А ведь постоянная выпивка - это тоже однообразие. Как и постоянная трезвость. Чтобы признать себя биологическим компьютером, нужно напиток до положения риз! Человек должен во что-то верить. Вот некоторые и верят в трезвость, что она им даст что-то такое прекрасное. Но если ты бездарен, что она тебе даст? Ничего, так бездарностью и отойдешь в вечность! Так, спрашиваю, зачем же влачить бездарное существование без эмоционального подъема с фужером в руке? Поэтому, мне кажется, человек живет не верой, а иллюзорным представлением об этой вере. А мы живем не иллюзорно, а полной грудью! И наши иллюзии становятся реальностью!

- У нас Германия алкоголик лечат, они к врачам ходят, - заметил между прочим Цимке.

- А у нас что, нет таких придурков, что ли? - сказал с новым пафосом Михальцов. - Внушают сами себе болезнь - и к врачу. Делать нечего, вот и прислушиваются к себе: ой, сердце! ой, почки! ой, печень! Особенно в этом преуспевают женщины. Да не болезнь, а бюллетень им нужен! Это кто в госсекторе работает. А в частных фирмах теперь, смотрю, перестали болеть! Я, вон, три года в фирме шарашу, и, что вы думаете, пропустил хотя бы один день? Нет, нет и нет! Плохо мне, допустим, а я иду на работу. Похмелью, а иду. И делаю работу, товар принимаю, товар отпускаю, все по накладным. И знаю, где добыть товар, и где сбить его!

- У нас ползавода сейчас бюллетенит, - вставил свое слово Сукочев. - Зарплата такая, что скоро весь завод забюллетенит! А почему? А потому что придурки, как вон Михальцов говорит, заводом управляют. Административный корпус за валюту сдали и в ус не дуют! А товар у нас ходовой есть. Но его надо про-

дать. А они из кабинетов выйти не могут, задница к креслам прилипла. А чего им выходить. Денег - полны карманы. А о ближнем - бог подумает! Ближние же ни черта не умеют и ничего не соображают. Думают, что приватизация им какой-то доход даст. Я им, придуркам, объясняю, что приватизация - это всего лишь прекращение государственного финансирования, а они... Ходят как бараны, да правительство ругают!

Рассмеялись.

- Ну, а ты-то что сам? - вдруг спросил Михальцов.

- Что я? Жду, присматриваюсь. Это тебе не табачный киоск, это - завод! Сразу не сдвинешь. Я уже придумал кое-что. Вон, может, Цимке поможет?

- Помогай, трубы Германия нужна! - категорически подтвердил Цимке.

- Ну, вот видишь! - воскликнул Сукочев. - Язык до Германии доведет! Делом нужно заниматься, делом. У нас этих труб - весь двор завален! А эти, как бараны, повторяю, политику обсуждают!

Зеленков на этот счет заметил:

- Да, наши люди слепо бросились в какой-то политический психоз. Они недовольны своим существованием и обвиняют обстоятельства, в которых ищут единственную причину, вместо того, чтобы искать ее в себе самих. В них действует инстинкт ненависти. А ты сам себе задай вопрос: что ты-то умеешь делать в этой жизни? Что? Когда поймешь, что ты умеешь делать, сделай и продай! Получи деньги и делай дальше...

- Не дадут, - сказал Сукочев.

- Кто? - спросил Зеленков.

- Теоретики чужой казны, - сказал Сукочев. - Задавят налогами...

Здесь поднялось какое-то оживление на противоположном конце стола. Это Розенберг откинул стул, на котором сидел, забрался на стол и, сшибая закуски и бутылки, начал на нем плясать с подвыванием:

Ходили мы походами
В далекие моря,
У берега французского
Бросали якоря.
Бывали мы в Италии,

Где воздух голубой,
И там глаза матросские
Туманились тоской...

Изумленные гости оторопели. Но не оторопели наши люди: Зеленков, Михальцов и Сукочев. Они вместе с Розенбергом, долбившим стол каблуками твердых ботинок, грянули припев:

Помним наши рощи золотые,
Помним степи, горы, берега.
Милый край, Советская Россия, -
Ты морскому сердцу дорога!

Дверь открылась. Мацера остолбенел на пороге. Но его отодвинули от входа красивые женщины-сотрудницы с подносами в руках.

То было горячее: индейка, тушенная с белыми грибами.

VIII.

Удивление перед тайной является само по себе способом познания, поэтому несколько таинственным выглядел разговор Мацеры с Зеленковым, Михальцовым и Сукочевым после того, как немцы откланялись и удалились. Суть этой тайны началась с того, что Мацера отсчитал каждому из присутствующих по двести долларов.

- Благодарю за сотрудничество, - говорил он то Зеленкову, то Михальцову, то Сукочеву, вручая означенную сумму и пожимая им руки.

До этого все трое помогли Мацере отправить в одну из комнат Розенберга, которому стало плохо, после того как он принялся сосать водку прямо из горла, и над которым начал колдовать внезапно появившийся молодой человек в белом халате.

Самую же сердцевину тайны Мацера сформулировал следующим образом:

- Это первая и последняя ваша зарплата за пьянку. За появление в трезвом виде буду для начала платить по пятьсот...

- Долларов! - закончил Зеленков.

- Именно! - подтвердил Мацера, поправляя очки в золотой оправе и оглядывая поочередно то Михальцова, то Сукочева, то в достаточной мере посвященного в деятельность Мацеры Зеленкова.

Михальцов, лицо которого теперь было нормального цвета, вскричал:

- Ну, ты, Игоряха, даешь! Деньги что ли некуда девать?!

Мацера приставил палец к губам и прошептал:

- Тихо.

Помолчали секунду.

- Понял, - сказал Михальцов и оглянулся, не подслушивает ли кто.

Но в гостиной никого не было, и стояла тишина, изредка нарушаемая грохотами проезжающих трамваев, приглушенными грохотами.

- Что за времена! - воскликнул Сукочев.

- Что за нравы! - поддержал Зеленков.

- Есть же люди на свете! - выдохнул Михальцов.

- А я-то с утра бутылку разгрохал! - вспомнил Зеленков.

- Чего? - удивился Михальцов.

- "Смирновскую", - сказал Зеленков. - Прямо в магазине.

- Давно проехали, - сказал Мацера.

Стол по-прежнему был полон яств и выпивки.

- Только я никак не врублюсь, что же от нас требуется? - спросил Сукочев, раздумывая - пропустить ему еще водки или нет.

Роль консультанта взял на себя Зеленков.

- В общем, вы мужики понимающие, - начал он. - Тут дело, конечно, философского звучания. И я этим звучанием проникся. Короче, хотите заниматься настоящим бизнесом?

- Я уже занимаюсь - "лечо" толкаю! - сказал Михальцов.

- Ладно тебе со своими банками! Давай - о деле!

- "Давай" будешь говорить своей жене!

- Слава богу, у меня ее шестой год нету, - сказал Зеленков.

- Ты развелся? - спросил Мацера.

- Развелся! Разве можно с такой дурой жить! Испилила, перепилила всего! - сказал Зеленков и продолжил, обращаясь к Михальцову: - Тебе говорят, что настоящим бизнесом! Настоящим!

- Кто ж этого не хочет, - прошептал Михальцов.

Помолчали.

- А что за бизнес-то? - так же шепотом спросил Сукочев.

Зеленков горящим взглядом посмотрел на друзей и тише прежнего сказал:

- Не пить.

Михальцов от неожиданности вытянул губы, как утенок, а Сукочев недоуменно спросил:

- Как не пить?

- Так, - сказал Зеленков.

- Не пить - это ладно, - вроде согласился Сукочев. - Бывает. А что еще-то?

- Ни-че-го, - сказал Зеленков.

Зависла тягостная пауза.

На лицах Михальцова и Сукочева отобразился явный испуг.

Они как бы погрузились в самих себя, мгновенно прощупали всю свою жизнь.

Каждое переживаемое чувство требует сосредоточенности. Поэтому после выражения испуга на их лицах появилась мина глубокой задумчивости.

Новое условие жизни, обстановка, место действия, время заставляют человека приспосабливаться.

Но как приспособиться к мысли: "Не пить", если ты всю жизнь занимался только тем, что пил? Конечно, ты еще что-то делал в жизни, но это "что-то" было как бы второстепенным, не главным, а в главное выдвигалось, как это ни горько, - питье! Вросло в тебя, вжилось!

Первым из задумчивости вышел Михальцов.

- Проблема, - сказал он.

- Да, еще какая! - сказал Сукочев.

- Жена меня за это не похвалит, - сказал Михальцов.

- В смысле, что поддавать перестанешь? - спросил Зеленков.

- Ну да! - сказал Михальцов. - Куда она будет направлять всю свою энергию?

Он положил руки на стол и опустил на них голову.

Сукочев закурил сигарету.

Какое-то время прошло в молчании. На улице проехал трамвай.

Михальцов поднял голову и спросил у Зеленкова:

- Ну, а ты-то как?
- Думаю, придется этим бизнесом заняться, - быстро ответил он.
- Мацера как бы со стороны наблюдал за происходящим.
- Так это я со скуки подохну! - усмехнулся Сукочев, пуская клубы дыма в потолок. - Не пить, быть трезвым, ничего не делать - это ж удавиться можно.
- Вот и я о том же думаю, - сказал Михальцов и взглянул на часы. - Однако пора и домой, кино смотреть.
- Успеешь ты со своим телевизором! - окоротил его Зеленков.
- Тут такие дела, а он - кино!
- Бернес играет, - сказал Михальцов.
- Ну и что?
- "Два бойца", - сказал Михальцов и запел:
Темная ночь... Только пули свистят по степи...
- Да сколько это можно раз смотреть! - сказал Сукочев.
- Могу смотреть бесконечно, - сказал Михальцов. - Потому что люблю бессодержательное искусство. Мне не надо никакого сюжета. Так это все туманно. Но чтобы в кадре был Кремль. Эдак вид с набережной. Идет красивый офицер, с ним девушка в белом платье. И больше ничего. Но чтобы музыка звучала, типа - "Все стало вокруг голубым и зеленым...".
- Придурок ты какой-то! - сказал Зеленков. - Тут такие дела, а он - "Все стало вокруг голубым и зеленым"! Тут как рыба об лед, а он - кино! Ей богу, придурок!
- Сам ты придурок! - огрызнулся тихо Михальцов.
- Ладно, давай по делу, - сказал Зеленков.
- "Давай" будешь говорить своей жене! - в который уж раз сказал Михальцов.
- Достал этой женой! - возмутился Сукочев. - Мозги пропилил, вот и говоришь штампами!
- Михальцов пропустил это замечание мимо ушей и сказал:
- Я вряд ли сам завяжу.
- Значит, ты алкоголик, - резюмировал Сукочев.
- Михальцов провел растопыренными пальцами по волосам, поднял взгляд на яркую люстру и, приставив ладонь козырьком ко лбу, сказал:
- Сам ты алкоголик! О себе говори. Бери и завязывай сам, - помолчал и добавил: - Тогда посмотрим, кто из нас алкоголик.

- Силы воли нет?

- Последняя сила ушла, когда в пионеры вступал, - сказал Михальцов. - За галстуком часа три в очереди стоял, боялся - не достанется. Вот сила воли-то была. Потом дрожал в строю в музее Ленина на ковровой дорожке. Домой шел, распахнув пальто, чтобы все видели мой красный галстук. "Как наденешь галстук, береги его"!

Мацера снял очки и принялся протирать их носовым платком. Он думал о том, что никто из троих самостоятельно не выйдет из штопора, а если и выйдет, то не надолго, чтобы снова тяжело запить. Мацера не был согласен с теми, кто полагал, что алкоголизм целиком и полностью является проблемой сознательного контроля. Слишком многих пьющих он знал, да и собственный опыт говорил об этом. Стоило только выпить после перерыва, как приходилось пить каждый день, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. Конечно, разные есть типы. Один не желает признавать, что ему пить нельзя, и придумывает разные способы выпивки, меняя сорта спиртного или окружающую обстановку. Другой всегда убежден, что после некоторого периода полного воздержания он смело может пропустить стакан без опасения.

- Алкоголики! - с некоторой злостью воскликнул Зеленков. - Прекратите оскорблять мой слух и друг друга этим отвратительным словом - "алкоголик"! Это особый дом. В нем все - тайна! Никто не будет знать, чем мы тут занимаемся. - И обращаясь к Мацере, спросил: - Правильно я формулирую мысль?

- Правильно, - улыбнулся, выходя из задумчивости, Мацера.

- Так вот, - продолжил Зеленков, - в этом доме помещается тайное общество...

- А где Пестель? - перебил Михальцов.

- Какой Пестель? - удивился не сразу сообразивший Зеленков.

- Ну, из тайного общества, - пояснил Михальцов. - Я вам серьезно говорю, - сказал Зеленков.

Мацера встал и мягко прошел от стола к темному окну. На улице горели фонари, очерчивая, круги на снегу.

- Хорошо, - заговорил Сукочев. - Допустим, я соглашусь. А что я буду делать с родной заводской проходной, что в люди вывела меня?

- Тут по выбору, - отозвался Мацера. - Если сможешь ходить на завод трезвым, то ходи, а если нет, то...

- Что?

- Оформлю к себе, - сказал Мацера.

- Кем? - спросил Сукочев.

- Ловцом алкоголиков! - съязвил Зеленков.

- Ты же сам просил не выражаться, придурок! - сказал Михальцов.

- У меня достаточно подразделений, - неопределенно сказал Мацера.

Все обратились в слух, ожидая дальнейшей информации, но ее не последовало.

Вдруг Михальцов засуетился, еще раз взглянув на часы, встал, схватил свой кейс и сказал:

- Вы как хотите, а я пошел домой. Не хочу, чтобы жена поднимала очередной скандал за ночное появление.

- Да посиди ты еще! - пытался остановить его Сукочев.

- Посиди! - присоединился Зеленков.

- На посошок выпьем! - добавил Сукочев, хватаясь за бутылку.

- Нет, - сказал Михальцов и, не оглядываясь, выбежал из гостиной в холл, где на вешалке висело его черное кожаное пальто.

Одевшись, Михальцов резко направился по коридору к лестнице.

По долгому опыту выпивок он знал, что нужно уходить сразу, быстро, даже не прощаясь. Чтобы не заманили куда-нибудь, не одарили обещаниями. А этих обещаний и заверений он в пьяном виде выслушал за свою жизнь столько, что иному на десять жизней бы хватило.

Но внизу, на выходе, ему преградил путь молодой охранник в форме омовца, с подвешенной на поясе дубинкой.

- Ваш пропуск? - спросил он хмуро.

- Какой еще пропуск, придурок! - машинально огрызнулся Михальцов, но тут же получил за оскорбление удар в ухо.

В глазах потемнело.

- За что, придурок? - вскричал Михальцов.

- А за то! - Охранник отцепил с пояса дубинку и принялся молотить ею Михальцова по широкополой чертой шляпе.

Кейс выпал из рук Михальцова, ударился об пол, раскрылся и из него выкатилась неизвестно как оказавшаяся там бутылка вод-

ки. Сразу вспомнив стиль собственного поведения в данных ситуациях, Михальцов, что называется, схватил ноги в руки и через минуту был уже в гостиной, и закричал:

- Ну, я тебе сделаю!

Это он к Мацере так обратился.

Михальцов увидел, что у Мацеры выросли рога, и лицо покрылось шерстью. Глаза же стали красными от крови.

- Черт! - завопил Михальцов, но его тут же успокоил подбежавший Сукочев.

Видение исчезло. Потирая ушибы на голове, Михальцов сказал:

- Там, внизу - мусор. С дубинкой. Облава. Заманили в вырезатель!

- Какой такой вырезатель? - удивился Зеленков.

Михальцов ткнул пальцем в Мацера и сказал:

- Это - переодетый мент. Сука, вырезатель сделал! То-то я смотрю, плетет все что-то про трезвость. Мол, трезвость - норма нашей жизни!

- Дайте ему выпить, - сказал Мацера. - А то у него галлюцинации начались.

Зеленков спешно разверстал бутылку на три фужера. Мацера вышел в коридор, спустился вниз.

Охранник дремал за столом в кресле. На всякий случай Мацера спросил:

- Никто не подходил сюда сейчас? Увидев начальника, омоневец вскочил, зевнул и сказал:

- Никак нет, Игорь Васильевич! А что такое?

- Да ничего, - сказал Мацера и пошел назад.

На площадке между вторым и третьим этажами за сбитой урной лежал кейс. Мацера поднял его и вернулся с ним в гостиную, где, закусывая, громко чавкали только что выпившие друзья.

IX.

Через несколько минут Михальцов упал лицом в тарелку.

- Чего это он орал? - спросил Сукочев, тоже заметно опьяневший.

- С лестницы упал, урну сбил головой, - сказал Мацера.

- Быва-ает, - зевнул Сукочев и уронил голову на стол между тарелками.

Зеленкова это несколько смутило, хотя он знал по неоднократным пьянкам с ними, что они ломаются быстрее него.

- У тебя есть их домашние телефоны? - спросил Мацера.

- Есть.

Мацера записал, затем сказал:

- Все идет так, как я и думал. Отлично.

- Чего отличного? - вздохнул Зеленков. - Нажрались как поросята!

- Тебе-то, я думаю, никуда не нужно стремиться? - спросил Мацера и добавил: - Ты ведь один как перст в этом мире.

Зеленков молча покивал головой, как бы понимая всю горечь своего одиночества.

- Пойдем, приляжешь, - тихо и по-доброму сказал Мацера.

Он взял под руку Зеленкова и отвел его в небольшую, совершенно домашнюю комнату, обставленную по-домашнему: диван, шкаф с книгами, стол с пишущей машинкой, стулья, на одном из которых дремал, свернувшись клубком рыжий гладкошерстный, кот. Из приемника негромко лилась музыка, оркестр исполнял 6-ю симфонию Чайковского, чарующими звуками поествовавшую о неповторимости и величии жизни.

- Не понимаю, - сказал Зеленков.

- Чего не понимаешь?

- Почему я оказался в своей комнате?

- Так надо, - сказал Мацера.

- Ты не хитри.

- Я не хитрю. Тебе показалось.

- Слушай, мне кажется, Михальцов в точку попал. Ты создал вырезвитель!

- Отчасти, - сказал Мацера.

- Ну!

- А ты вспомни, какими они были в великом Советском Союзе?! С битьем по рожу, с хамами-ментами, всякий раз обворовывавшими меня. А ЛТП? А наркологические больницы? А психиатрички?

- Это ты прав, - согласился Зеленков.

Он сначала сел на диван, потом лег, положив голову на мягкую подушку.

- Вот это сервис! - сказал Зеленков и закрыл глаза.

Мацера некоторое время постоял, слушая музыку, потом вернулся в гостиную, где сотрудники фирмы быстро наводили порядок. Михальцова с Сукочевым препроводили отдыхать.

Мацера прошел в свой кабинет, сел в кресло, включил компьютер и, как бы не доверяя себе, еще раз проверил алгоритм вывода пациента из запойного состояния. На голубом экране замелькали строчки. После этого Мацера по селектору связался с отделом экстренной помощи, где днем и ночью дежурили квалифицированные наркологи, готовые в любую минуту выехать в любой конец города, чтобы за определенную плату оказать помощь страдальцам.

Через некоторое время в кабинет вошел молодой человек в белом халате, тот, который колдовал над Розенбергом.

- Всех троих, - обратился к нему Мацера, - на трое суток, до полного выведения шлаков.

- Хорошо, Игорь Васильевич. Будут еще указания?

- Пока все, - вздохнул Мацера, только теперь понимая, как он за этот день устал. - Идите.

- Слушаюсь, - сказал нарколог и вышел.

Мацера снял трубку телефона и позвонил в номер люкса гостиницы. После долгих гудков трубку сняли, и совершенно пьяный голос что-то закричал по-немецки. Мацера прервал его не менее громко:

- Господин Цимке?

- Я-я, - несколько успокоился голос.

- Говорит Игорь Васильевич Мацера... Вы у меня были сегодня...

- О, я-я!

- Вы слушаете, меня?

- Я-я...

- Завтра я ожидаю вас в 14 часов.

- Я-я...

- Вы слушаете меня?

- Я-я... Мы пил еще ресторан. Очень пьяный. Завтра мы не можем...

- Но мы же договорились! - воскликнул Мацера.

- Я-я...

- Говорю, мы договорились на завтра к 14-ти часам! Необходимо подписать контракт!

- Я-я... Другой день... Мы пьяный ресторан... Пльохо завтра бывай... Нох айн маль... Короший пили, короший ели... Ваш ал-каш короши... Раков ловить Германия буду корзина...

- До свидания! - зло выговорил Мацера и положил трубку.

Он задумался.

Как бы не сорвалось подписание спонсорского договора с этими немцами. Перехватят их какие-нибудь ловкачи типа Сукочева со своими стальными трубами, и поплывут немецкие сокровища “в атласные дырявые карманы”!

После этого Мацера поговорил по телефону с женами Михальцова и Сукочева. Реакция была заранее известной: “Пусть подыхают!”

Мацера вышел в коридор.

В боксе № 1 лежал Михальцов. “Боксами” Мацера называл комнаты, в которых осуществлялись медицинские процедуры. Инъекция ему была уже сделана. Завтра будет поставлена капельница и проведены следующие инъекции. Трое суток спокойного сна, во время которого организм очистится, почувствует тягу к новой жизни. Потом введут препарат, после которого капнут на язык каплю водки. Пациент от отвращения начнет дышать. На него наденут кислородную маску. И так далее...

Смотреть на спиртное не захочет!

Бокс № 2 отвели трубнику Сукочеву.

Мацера приоткрыл дверь в этот бокс. Нарколог держал в руке шприц...

Мацера не хотел упрощать ситуацию с новыми пациентами. Вообще он считал, что упрощение - это насилие, заступающее место утерянной простоты.

А простота для него теперь была образом истинного. Ему казалось, что не пить - очень легко, что быть трезвым - замечательно, но еще замечательнее - искупать ежедневно свои грехи, совершенные в прошлой жизни.

Его лечебно-трудовой профилакторий даст еще не такой эффект! Он подумывал прикупать еще рядом стоящий дом, так сказать расширяться. Ведь трезвый бизнес безграничен! Сукочев начнет трубы продавать, Михальцова можно с “лечо” переключить на продажу компьютеров, а Зеленков потянет и на идеологическую работу по обработке отечественных и иностранных спонсоров.

А в дальнейшем - такие перспективы! Постепенно позакрывать все ликеро-водочные заводы, рестораны, шалманы... Новые поколения уже не будут знать об этом исчадии ада - алкоголе!

Размечтался! Но мечтать - не вредно. И Мацера любил мечтать. По сути, только идеализм отличает человека от животного.

В боксе № 3 спал Зеленков. К нему еще не дошел нарколог. Еще можно было разбудить Зеленкова, растолкать, отвезти без всякого медицинского вмешательства домой, бросить там его одного в огромной генеральской квартире, чтобы он завтра проникся вновь всем ужасом колотуна, бреда, чтобы он бился "как рыба об лед"!

Конечно, можно было бы нанять обычных людей. Но в них, считал Мацера, не было бы такого рвения в работе, как у протрезвевших навсегда алкоголиков.

Мацера еще раз заглянул в малую гостиную, в которой недавно гремело веселье, а теперь все было прибрано, как будто ничего здесь и не происходило. Он подошел к окну. Постоял, подумал о том, что он уже за несколько лет трезвости набрал солидную долю выдержки, спокойно переносит любые застолья, не стыдится своего трезвого образа жизни. Пусть его называют большим, ущербным, но он-то, Мацера, знает, что это не так...

Вдруг из коридора послышался шум и крик. Мацера поспешил туда. По коридору неся Розенберг с песней:

Любимая, знакомая,
Широкая, зеленая
Земля родная. Родина!
Привольное житье!
Эх, сколько мною езжено!
Эх, сколько мною видено!
Эх, сколько мною пройдено!
И все вокруг - мое!

На последнем слове "мое!" Мацера ловко ухватил его под мышку и потащил в бокс № 4. Впрочем, Розенберг не сопротивлялся.

Пришлось сделать ему повторный укол. По-видимому, Розенберг за несколько лет трезвости накопил изрядное количество жизненной энергии, так что и снотворное на него слабо действовало.

СПЛОШНОЕ БОЛОГОЕ

Мацере почему-то пришла в голову мысль, пока он нес Розенберга до кровати, - сколько людей в эту минуту, синхронно, на просторах Родины чудесной, на пространствах России, которую Гитлер не проехал, которую Наполеон не прошел, поскольку отступать можно целую вечность через Сибирь, снега и стакан, через тайгу, по глухим трясинам под бессмертными звездами, через горы, реки и долины, сколько же людей на этом чудовищном континенте под названием Россия находятся в состоянии опьянения?

Но было невозможно, даже мысленно, охватить все это пространство.

“Наша улица”, № 12-2000

НА БАЙКАЛЕ

рассказ

Конечно, море родственно музыке. Как на море рождается шторм, так в великой музыке рождается трагедия. Сутягин знал, что Вагнер сжег за собой все корабли, но лишь со временем увидел масштабы содеянного. Пароход, на котором приехал Сутягин, глухо-вибрирующе загудел и, разворачиваясь, обдавая густым дымом и запахами солянки, заваливаясь на левый бок, пошел дальше. А Сутягин даже не оглянулся на него: так надоело ему за день это грязно-белое суденышко, грохот лебедек на стоянках, грубые голоса грузчиков, гул моторов.

Делаешь новый шаг к развитию своей самостоятельности, когда осмеливаешься высказывать взгляды, которые считаются позорными для того, кто их придерживается. Тогда даже друзья и знакомые, как правило, становятся боязливыми. И через этот огонь должна пройти одаренная натура. После этого она гораздо более принадлежит сама себе.

Чем больше ездил Сутягин по Байкалу, тем привычнее и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать надменность мрачных скал, равнодушие моря и мягкость тайги и монгольских степей, хотя когда-то очень все это любил.

И теперь, раздраженный, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания берега, похожего на отработавший, уткнувшийся в воду бульдозер, а за ним - высокий хвойный лес, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на кондовые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу, в теплой комнате.

На причале было черно от нефтяных пятен, тесно от бревен, бочек, труб, пачками ржавеющих возле серых стен барака-склада. Пахло очень сильно и дурманяще хвоей и послабее - водорослями и рыбой.

Сутягин поморщился, вздохнул, и пошел прямо к дирекции заповедника, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать: последнюю ночь перед поездкой он почти не спал, думая о благородном и пошлом.

Пошлым натурам все благородные, великодушные чувства кажутся нецелесообразными и оттого первым делом заслуживающими недоверия: они хлопают глазами, слыша о подобных чувствах, и как бы желают сказать: "Наверное, здесь кроется какая-то большая выгода, нельзя же всего знать", - они питают подозрение к благородному, как если бы оно окольными путями искало себе выгоды. Если же они воочию убеждаются в отсутствии своекорыстных умыслов и прибылей, то благородный человек кажется им каким-то глупцом: они презирают его в его радости и смеются над блеском его глаз: "Как можно радоваться собственному убытку, как можно с открытыми глазами очутиться в проигрыше!"

Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, вскипятил воду своим кипятивником и побрился. Потом напился из домашней большой чашки, которую всегда возил с собой, крепкого чаю своей заварки.

"С благородными склонностями должна быть связана какая-то болезнь ума", - так думают обыватели, и при этом поглядывают свысока, не скрывая презрения к радости, которую сумасшедший испытывает от своей навязчивой идеи. Пошлая натура тем и отличается, что она незыблемо блюдет собственную выгоду и что эта мысль о цели и выгоде в ней сильнее самых сильных влечений: не соблазниться своими влечениями к нецелесообразным поступкам - такова ее мудрость и ее самолюбие.

Весь этот день и два следующих Сутягин провел в осмотре хребтов, поросших пихтово-кедровыми лесами...

В первый день, часам к четырем, Сутягин подошел к какой-то вершине. Чтобы осмотреться, он решил влезть на дерево. То, что он увидел сверху, сразу рассеяло его сомнения. Куполообразная гора, где он находились в эту минуту, - был тот самый горный узел, который он искал. От него к западу тянулась высокая гряда, падавшая на север крутыми обрывами. По ту сторону водораздела общее направление долин шло к северо-западу. Солнце уже стояло низко над горизонтом, и надо было возвращаться в заповедник. Спуск с куполообразной горы был сначала пологий, но потом

сделался крутым. Пришлось делать длинные зигзаги, что при буреломе, который валялся здесь во множестве, было делом далеко не легким.

За перевалом Сутягин сразу попал в овраги. Местность была чрезвычайно пересеченная. Глубокие распадки, заваленные корчами, водотоки и скалы, обросшие мхом, - все это создавало обстановку, которая живо напоминала Сутягину картину булгаковского бала у сатаны. Трудно представить себе местность более дикую и неприветливую, чем это ущелье.

Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, кажется, и остался бы среди них навсегда. Иногда, наоборот, горы кажутся угрюмыми, дикими. И странное дело! Чувство это не бывает личным, субъективным, оно всегда является общим для всех людей. Сутягин много раз проверял себя и всегда убеждался, что это так. То же было и теперь. В окружающей его обстановке чувствовалась какая-то тоска, было что-то жуткое и неприятное.

Кто не прошел через различные убеждения, а застрял в вере, в сеть которой он с самого начала попался, тот при всяких условиях, именно в силу этой неизменчивости, есть представитель отсталых культур. Благодаря этой недостаточности культуры (которая всегда предполагает способность культивироваться) он жесток, непонятлив, недоступен поучению, лишен кротости, вечно подозрителен, безрассуден и хватается за все средства, чтобы настоять на своем мнении. Он совсем не может понять, что должны существовать и другие мнения. В этом отношении он, быть может, есть источник силы и даже целебен для слишком свободных и вялых культур.

После краткого отдыха Сутягин пошел дальше. Он поднялся на ближайшую сопку, чтобы в последний раз осмотреться во все стороны. Красивая панорама развернулась перед его глазами. Сзади, на востоке, толпились горы; на юге были пологие холмы, поросшие листовым редколесьем; на севере, насколько хватал глаз, расстилось бесконечное низменное пространство, покрытое травой. Сколько он ни напрягал зрение, не мог увидеть конца этой низины. Она уходила вдаль и скрывалась где-то за горизонтом. Порой по ней пробегал ветер. Трава колыхалась и волновалась, как море. Кое-где группами и в одиночку росли чахлые березки и другие какие-то деревья. С горы, на которой стоял Сутя-

гин, можно было проследить какую-то узенькую речку по ольшаникам и ивнякам, растущим по ее берегам в изобилии. Вначале речка сохраняет свое северо-восточное направление, но, не доходя сопок, видневшихся на западе километрах в восьми, поворачивает на север и немного склоняется к востоку. Бесчисленное множество протоков, слепых рукавов, заводей и озерков окаймляет ее с обеих сторон. Низина эта казалась безжизненной и пустынной. Ярко блестящие на солнце в разных местах лужи свидетельствовали о том, что долина этой речки в дождливый период года легко затопляется водой.

Вера в себя (и я имею право!) и презрение к канонам - является лоном, порождающим не только несправедливое, но, скорее, всякое действительное деяние, и ни один художник никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не завоюет свободы, если все они в подобном неисторическом состоянии предварительно не жаждали этой цели и не стремились к ней. Как всякий деятель, всегда бессовестен, так же он и чужд знанию, он забывает все остальное, чтобы достигнуть одного, он несправедлив к тому, что лежит позади него, и знает только одно право - право того, что в данную минуту должно совершиться. Поэтому каждый деятель любит свое деяние в бесконечно большей степени, чем оно этого заслуживает. Лучшие деяния совершаются при таком избытке любви, которого они, во всяком случае, не могут заслуживать, как бы неизмеримо велика ни была вообще их ценность.

На другой день, утром, когда взошло солнце, от ночного тумана не осталось и следа. Сутягин пошел вперед, высматривая затески. Путешествие по тайге всегда довольно однообразно. Сегодня лес, завтра - лес, послезавтра - опять лес. Ручьи, которые приходится переходить вброд, заросшие кустами, заваленные камнями, с чистой прозрачной водой, сухостой, валежник, покрытый мхом, папоротники удивительно похожи друг на друга. Вследствие того, что деревья постоянно приходится видеть близко перед собой, глаз утомляется и ищет простора. Чувствуется какая-то неловкость в зрении, является непреодолимое желание смотреть вдаль.

Иногда среди темного леса вдруг появляется просвет. Неопытный путник стремится туда и попадает в бурелом. Просвет в лесу в большинстве случаев означает болото или место пожарища, ве-

тролома. Если идти по лесу без работы, то путешествие скоро надоедает. Странствовать по тайге можно только при условии, если целый день занят работой. Тогда не замечаешь, как летит время, забываешь невзгоды и мирисься с лишениями...

Потом в управлении Сутягин знакомился с документами, которые в толстых папках носила ему в кабинет женщина лет тридцати пяти, с редким именем - Станислава. Она была невысока, с большой грудью и с полными стройными ногами, со светлыми вьющимися волосами, обрамляющими кругловатое белое лицо с большими голубыми глазами.

“От нее исходит необычайное тепло, сохраняющее род”, - подумал с возбуждением Сутягин.

Самые сильные и самые злые умы до сих пор чаще всего способствовали развитию человечества: они непрестанно воспаляли засыпающие страсти - всякое упорядоченное общество усыпляет страсти, - они непрестанно пробуждали чувство сравнения, противоречия, взыскания нового, рискованного, неизведанного, они принуждали людей выставлять мнения против мнений, образцы против образцов. Это делалось оружием, ниспровержением межевых знаков, чаще всего оскорблением благочестия, - но и новыми религиями и нравовучениями! Каждому учителю и проповеднику нового присуща та же “злость”, которая дискредитирует завоевателя, хотя она и обнаруживается более утонченно, без моментального перехода в мышечные реакции, и именно поэтому не столь дискредитирующим образом. Новое, однако, при всех обстоятельствах есть злое, нечто покоряющее, сияющее ниспровергнуть старые границы и старые формы благочестия, и лишь старое остается добрым! Добрыми людьми во все времена оказываются те, кто поглубже зарывает старые мысли и удобряет ими плодородную ниву, - земледельцы духа. Но каждая земля, в конце концов, осваивается, и все снова и снова должен появляться лемех злого. Нынче существует одно основательное лжеучение морали, особенно чувствуемое верующими: согласно этому учению, понятия “добро” и “зло” являются результатами опытных наблюдений над “целесообразным” и “нецелесообразным”; согласно ему, то, что называется “добрым”, содействует сохранению рода, а то, что называется “злым”, вредит ему. На деле, однако, злые влечения целесообразны, родо-

охранительны и необходимы не в меньшей степени, чем добрые, - лишь функция их различна.

Все в заповеднике ее звали просто - Слава. Когда она улыбалась, щеки ее вспыхивали слабым румянцем. При взгляде на нее Сутягину стало щекотно на душе, захотелось обнять ее, погладить кудрявые волосы, ощутить на шее у себя ее горячее дыхание...

Она ему очень понравилась, и Сутягин попросил разрешения заглянуть к ней, посидеть, послушать радио. Слава поспешно, охотно и, как показалось Сутягину, даже радостно повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай.

Она напевала одну прекрасную тему из "Летучего голландца", хорошо знакомую Сутягину. Пока она доставала чашки, пока расставляла их на столе, позвякивая ложками, сыпала сахар в сахарницу, Сутягин сел, в такт ей напевая ту же тему из любимого Вагнера, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, глазок индикатора, с веерным уголком, засветился изумрудным светом, зазвучала какая-то передача, нечто для трудолюбивых.

Кто нынче вознамерится посвятить себя изучению моральных вопросов, тому откроется неслыханное поприще для работы. Все виды страстей должны быть продуманы в розницу, прослежены в прогоне через эпохи; народы, большие и малые, весь их разум и все их оценки и разъяснения вещей выведены на солнечный свет. До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости? Даже сравнительная история права или хотя бы только наказания полностью отсутствует до сих пор. Делались ли уже предметом исследования различные подразделения дня, следствия правильного распределения труда, празднеств и досуга? Известны ли моральные воздействия продуктов питания? Существует ли философия питания? (Уже постоянно возобновляемый шум за и против вегетарианства доказывает, что таковой философии покуда нет!) Собраны ли уже опытные наблюдения над совместной жизнью, например, наблюдения над монастырями? Описана ли уже диалектика брака и дружбы? Нравы ученых, торговцев, художников, ремесленников - нашли ли они уже своих мыслителей? А думать об этом предстоит так много!

С необыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнату с одним окном, с десятком книг на этажерке, среди которых его привлекли том Ницше и “Братья Карамазовы”. Сутягин перевел взгляд на коврик и узкую, тщательно застеленную и, по-видимому, жесткую кровать. И ему страстно захотелось уложить Славу на эту кровать и почитать ей Ницше под музыку Вагнера.

- Вы любите Ницше? - спросил с некоторым смущением Сутягин, чтобы не поставить в неловкое положение Славу.

- Да! Я все время его читаю. Он так просто пишет... В смысле - не философски. Это сестра на день рождения привезла. Она в Иркутске учится, на философском факультете.

- Надо же, варенье! - воскликнул Сутягин, глядя на вазочку и на Славини руки. - Простите... Знаете, ездись, ездись - и всегда кипятки, черствые булочки, одиночество... В кои веки повезет, как сегодня!

- А! - произнесла Слава, опуская глаза.

- Серьезно! - сказал оживленно Сутягин. - На дворе туман, реву этот проклятый, даже страшно! Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь: давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье - и вот ничего, и мотаешься по свету, отвыкаешь от семьи...

Сутягин вдруг перехватил странный взгляд Славы, спохватился.

- Извините... - пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе. - Вам неинтересно, а меня прорвало: молчал целую неделю, и такой вечер...

- Ничего, пожалуйста! - сказала Слава, наливая Сутягину чай. - Пейте!

Сутягин засмеялся, взял чашку.

Сознательность представляет собою последнюю и позднейшую ступень развития органического и, следовательно, также и наиболее недоделанное и немощное в нем. Из сознательности происходят бесчисленные промахи, вследствие которых зверь, человек гибнет раньше времени - “сверх рока”, как говорит Гоголь. Не будь смирительная рубашка инстинктов гораздо более могущественной, она не служила бы в целом регулятором: человечество должно было бы погибнуть от своих извращенных суждений и бреда наяву, от своей неосновательности и легковерия, короче, от своей сознательности; да, оно погибло бы, или, скорее, его бы

давно уже не существовало! Прежде чем какая-либо функция обрывается и достигает зрелости, она представляет собою опасность для организма: хорошо, если она на время как следует поработает! Так изредка...

Они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь, получает по договору уже двойную ставку, что она скучает, хочет уехать в Иркутск или в Улан-Удэ. Возникали паузы, в которые он призывал себя действовать посмелее, но руки и ноги словно задубели. Потом пошли общие темы о погоде, о том, что человек не знает, чем себя занять, поэтому в выходной берет в руки или дрель, чтобы высверлить тебе всю душу, или стакан, чтобы убить себя. Поговорив о скуке, перебрав известных людей, заговорили о любви и счастье, и оба еще больше оживились.

- Вот вы говорите о сознательной любви, - вдруг сказал Сутягин, хотя Слава вовсе не говорила о сознательной любви. - Все рассуждают о любви, говорят, и решают, и судят, кому кого любить. Газеты пишут о любви, телевидение устраивает шоу, и приглашенные спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, продвинутое, кто более подходит нашему веку. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное - совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь. Да что далеко ходить! Я знаю одного парня - дебиловатого пьяницу, человека без чести и совести. И, представьте, его страшно любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любят, занимает у них деньги, пьет, относится к ним по-скотски, и они плачут от обиды, я сам видел! Почему?

- По всей видимости, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины, - серьезно проговорила Слава.

- Не думаю! Что они в нем замечают! Ум? Талант? Широту души? Так нет же, дебил он, наглый, ленивый! И не лицо даже у него, а заплывшая будка!

За подобным образом мысли и способом оценки, которые по необходимости враждебны искусству, раз они хоть сколько-нибудь подлинны, Сутягин искони ощущал и враждебность к жизни, свирепое мстительное отвращение к ней: ибо всякая жизнь поко-

ится на иллюзии, искусстве, обмане, оптике, необходимости перспективы и заблуждения. А Сутягину казалось, что христианство с самого начала, по существу и в основе, было отвращением к жизни и пресыщением жизнью, которое только маскировалось, только пряталось, только наряжалось верою в “другую” и “лучшую” жизнь. Ненависть к “миру”, проклятие искренних чувств, страх перед красотой, потусторонний мир, изобретенный лишь для того, чтобы лучше оклеветать этот, на деле же стремление к ничто, к концу, к успокоению, к “субботе суббот” - все это всегда казалось Сутягину, вместе с безусловной волей христианства признавать лишь моральные ценности, самой опасной и жуткой из всех возможных форм “воли к гибели” или, по крайней мере, признаком глубочайшей болезни, усталости, угрюмости, истощения, оскудения жизни, - ибо перед моралью (в особенности христианской, т. е. безусловной, моралью) жизнь постоянно и неизбежно должна оставаться неправой...

Выражение лица Славы сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась, оглянулась на темное окно, пристально-серьезно посмотрела на Сутягина и тотчас, покраснев, опустила глаза. А Сутягин, будто не было ему сорока пяти лет, не было позади ни армии, ни института, ни аспирантуры, ни семьи, ни работы, почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту, то есть именно то, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в подъездах около батарей парового отопления.

- И еще тоже счастье... - начал тихо Сутягин, и по тому, как он это сказал, Слава поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее, успокоилась и улыбнулась ему, останавливая на его лице прекрасные, бархатистые глаза.

- Надеются обычно на будущее, - продолжал размеренно говорить Сутягин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и леденящее душу дыхание моря. - Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я... А между тем счастье у нас во всем, везде; счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь и вы знаете, что нравитесь...

Сутягин запнулся, передохнул, усмехнулся как бы сам над собой, а Слава, вся пунцовая, не смела поднять глаз.

- Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше! Человечество всегда юно, но мы-то, мы стареем!.. Мне сейчас сорок пять, вам... - сказал Сутягин, а сам думал о другом.

Погляди на стадо, которое пасется около тебя: оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, тесно привязанное в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения и потому не зная ни грусти, ни радости. Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье - ибо он, подобно животному, желает только одного: жить, не зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй, спросить животное: "Почему ты мне ничего не говоришь о твоём счастье, а только смотришь на меня?" Животное не прочь ответить и сказать: "Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать", - но тут же оно забывает этот ответ, и молчит, что немало удивляет человека.

Но человек удивляется также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому. Как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Не чудо ли, что мгновение, которое столь же быстролетно появляется, как и исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, что это мгновение, тем не менее, возвращается снова, как призрак, и нарушает покой другого, позднейшего мгновения. Непрерывно из книги времени отделяются отдельные листы, выпадают и улетают прочь, чтобы внезапно снова упасть в самого человека. Тогда человек говорит: "Я вспоминаю", - и завидует животному, которое сейчас же забывает, и для которого каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь, и угасая навсегда. Столь неисторически живет животное: оно растворяется в настоящем, как целое число, не оставая по себе никаких странных дробей, оно не умеет притворяться, ничего не скрывает и в каждый данный момент является вполне тем, что оно есть, и потому не может не быть честным. Человек же, напротив, должен всячески упираться против громадной, все увеличивающейся тяжести...

- Тридцать пять, - прошептала Слава, решилась поднять пылающее лицо и прямо взглянула в глаза Сутягину.

- Ну, вот! А через год мне будет сорок шесть, вам тридцать шесть, мы оба и все остальные постареем на год, что-то от нас уйдет, какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда, а там еще и еще из года в год... И главное, будет стареть не только тело, не только мы будем седеть, лысеть, у нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет, но и души будут стареть, понемногу, незаметно, но будут - какое же тут счастье? Нет, счастья в этом никакого нет, и я не понимаю людей, которые все ждут: вот придет лето, и я буду счастлив, а когда приходит лето и он не счастлив, он думает: вот настанет зима, и я буду счастлив... Да что говорить!

- В чем же счастье? - тихо спросила Слава.

- В чем? Я тоже думаю: в чем? Вы вот хотите вырваться с Байкала, ждете чего-то, думаете: пройдет год, два, три - и я буду счастлива! Нет же, вы сейчас именно счастливы, потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас прекрасные глаза, потому что теперь, когда вам тридцать пять, смотреть в ваши глаза - наслаждение, видеть ваш маленький, вздернутый, такой русский носик - счастье, и у вас важная работа, и море, и этот заповедник... Подумайте!

- Легко говорить! - сказала Слава, недоверчиво улыбаясь.

- Да! Конечно, свет велик, прекрасных мест множество. И, в конце концов, почему именно Байкал? Конечно, Иркутск - место куда более интересное, чем этот заповедник. Когда вы думаете, да и я когда сейчас думаю об Иркутске, или Улан-Удэ, или Красноярске, мне представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое... Жизнь, одним словом! Правда? А между тем, когда я там, дома, я ничего этого не замечаю, я начинаю думать обо всем этом только издали, а когда я приезжаю в Иркутск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын, что на работе вечером совещание, что торопят с научным отчетом... И начинаешь крутиться, как шаман в чуме, вовсе не видишь никаких театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле? Нет, нет, вы гораздо счастливее меня: вам тридцать пять, а мне сорок пять!

...отнимается у него способность забвения. Тогда научается он понимать значение слова "было", того рокового слова, которое, знаменуя для человека борьбу, страдание и пресыщение, на-

поминает ему, что его существование, в корне, есть никогда не завершающееся настоящее. Когда же смерть приносит, наконец, желанное забвение, то она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека и этим прикладывает свою печать к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, то есть вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием.

- В этом ли дело! - сказала Слава, поднимая кверху лицо и вздыхая.

- В этом! Рано или поздно вы уедете, конечно, будете жить в Иркутске... Но, поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будут вспоминаться этот заповедный лес, жители его, Байкал, этот запах водорослей, кучевые облака, хребты, солнце, и через много лет вы поймете, что счастливы были именно здесь.

...мыслимо ли жить без возможности забвения вообще? Или, чтобы еще проще: существует ли такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и, в конце концов, приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек, или народ или культура...

- Не знаю, - задумчиво произнесла Слава. - Я об этом как-то не думала...

- Да, почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем: издали лучше видно.

Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой жизнь создается лишь с тем, чтобы исчезнуть вновь с уничтожением этой атмосферы. Правда, только благодаря тому, что человек может ввести в границы этот неисторический элемент при помощи мысли, передумывания, сравнения, отделения и соединения, только благодаря тому, что это обволакивающее, ограничивающее туманное облако прорезывается ярким, молниеносным лучом света, - то есть только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и бывшее вновь превращать в историю, человек делается человеком. Но в избытке истории человек снова перестает быть человеком...

Сутягин заметно волновался и, довольно робко глядя на Славу, думал помимо воли, как было бы хорошо долго-долго жить с ней где-нибудь. Он расстраивался от этих мыслей, понимая их неуме-

стность, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от Славы, хотя было уже поздно.

Сутягин собрался уходить.

Слава вышла с Сутягиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте.

- Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты, - сказала Слава и взяла его за руку. Рука ее была шершава, горяча и дрожала. "Милая!" - мысленно поблагодарил ее Сутягин и тут же с грустью подумал о себе.

Но оставим над-историческим людям их отвращение и их мудрость: давайте лучше радоваться сегодня от всего сердца нашему неразумию и приветствовать в лице себя тех, кто деятельно идет вперед и поклоняется процессу. Пусть наша оценка исторического есть только предрассудок - лишь бы мы в пределах этих предрассудков шли вперед, а не стояли на месте! Если бы только мы могли постоянно делать успехи в одном - именно в изучении истории для целей жизни! Мы охотно будем тогда готовы признать, что над-исторические люди обладают большим запасом мудрости, чем мы, если только мы могли бы быть уверены, что у нас больше жизни...

Туман разошелся, над головой горели маленькие пронзительные звезды, и тек Млечный Путь, разорванный, раздвоенный, но ясный.

Мгновенно освоившись с темнотой, Слава пошла впереди, а Сутягин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошло несколько минут в молчании, потом Слава остановилась, и Сутягин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка.

...в минуты слабости, лишаются всякой почвы. Предположим, что кто-нибудь поверил, что для основательного искоренения вошедшей ныне в моду образованности достаточно сотни продуктивных, воспитанных в новом духе и деятельных людей - как сильно может ободрить тот факт, что революция 17-го года была вынесена на плечах такой же кучкой в сто умов.

- Ну вот... - сказала Слава. - Теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свидания.

- Погодите еще немного, - попросил Сутягин.

Пусть мертвые погребают живых.

- Хорошо, - подумав, ответила Слава, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограды, прислонясь к ней и повернувшись к Сутягину лицом.

...сила. Ее приговоры всегда немилостивы, всегда пристрастны, ибо они никогда не проистекают из чистого источника познания. Но если бы даже приговоры были продиктованы самой справедливостью, то в громадном большинстве случаев они не были бы иными. Ибо все, что возникает, достойно смерти. Поэтому было бы лучше, если бы ничто не возникало. Нужно очень много силы, чтобы быть в состоянии жить и забывать, в какой мере жить и быть несправедливым есть одно и то же.

Внизу мерно и широко шумел прибой, шел прилив, холодило. Ветер нес особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно-черно, как неправильное понимание сна.

В эпохи грубой, первоначальной культуры человек полагал, что во сне он узнаёт другой реальный мир. Здесь лежит начало всей философии. Без сна человек не имел бы никакого повода для деления мира на две половины. Деление на душу и тело также связано с самым древним пониманием сна, равно как и допущение воображаемого душевного тела, то есть происхождение всей веры в духов и, вероятно, также веры в богов. "Мертвый продолжает жить, ибо он является во сне живому", - так умозаключали древние.

Сутягин внезапно заметил, что лицо Славы то бледно-розово возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через три-четыре секунды увидел далекий костер, раздуваемый ветром. Потом огонь опять вспыхнул и утих, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный теплый свет.

Сутягин опять повернулся Славе.

- Костер мигает, - сказал он без выражения. - Нам светит костер.

Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные потрескавшиеся губы, поцеловал с произвольным благородством. Человек ведет себя произвольно благородно, когда он научился ничего не желать от людей и всегда давать им.

Ничего не сказав, Слава отвернулась от него. Сутягин взял ее за полноватые плечи и повел в темноту, в какие-то шуршащие ку-

сты и мелкорослые жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху, сквозь который чувствовался твердый холодный камень. Наконец они остановились, впереди была глухая тьма и гул моря.

- Зачем? - печально сказала она. - Вы меня совсем не знаете! А главное, зачем?

Сутягин опять поцеловал ее. И когда он ее поцеловал, лицо его было скорбно и глаза закрыты, хотя он и думал, что, может быть, это и есть то счастье, о котором они говорили недавно.

- Не надо больше, пойдемте назад, - вполголоса сказала она.

- Не сердитесь, - так же чуть слышно попросил Сутягин и покорно пошел за ней.

У ограды, где они поцеловались в первый раз, Слава остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Сутягина.

- До завтра, - сказала она, наконец, вытирая слезы и вздыхая. - Я теперь не буду спать всю ночь... Зачем, зачем все это?

Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки костра, то на далекий теплый свет в окне Славы. Лицо его горело, в горле першило, и он все кричал и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.

Призвание есть становой хребет жизни.

На другой день до двух часов ночи Сутягин и Слава ходили по заповеднику, говорили о поэзии, музыке, живописи. Потом они пришли к ней, и опять сумрачно, изумрудно светился радиоприемник, играла тихая веселая музыка, бормотали дикторы, опять они пили чай, но мало - больше глядели друг на друга и не могли наглядеться...

- Что это у нас? - спрашивала Слава. - Счастье? Скажите! Я не знаю.

- Ну-ну... - небрежно отвечал Сутягин. - Просто приятный вечер.

- Боже мой! - говорила она. - Как же это вы... Как же вы едете! Вдруг едете! Только появились и уже едете!

Сутягин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, несчастное лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло. Насколько хватал глаз, все застыло, на берегу и на воде было неподвижно, безлюдно и мертво. Он отвернулся от окна и

взглянул на Славу. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты, лицо казалось спокойным, как у спящей. Сутягин осторожно надел плащ.

- Слава... пора, - сказал он шепотом.

- Что, уже? Подождите! Я сейчас... Я вас провожу! - заторопилась Слава.

Сутягин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Слава.

Вместе вышли они на крыльцо, Сутягин вдохнул холодный, резкий воздух, поежился, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами. У причала уже стоял пароход. Тотчас у борта показался матрос в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом.

Сутягин подал ему чемодан. Потом повернулся к Славе. Слава стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слезы на Сутягина. Они поцеловались долго и крепко, до боли, потом Сутягин, задохнувшись, отвернулся и пошел по трапу на борт парохода. Матрос, смотревший на них с серьезным лицом, помог ему.

Заиндевшая палуба покрылась темными следами от сапог, застучал дизель, зазвенела якорная цепь. Поднялся ветерок, стал морщить гладкую воду. У Славы упала на лоб прядь волос, она не поправила ее. Она сидела на быке причала неподвижно.

Капитан дал малый ход. Пароход тронулся, пристань со Славой стала отдаляться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал канат. В глубине были видны зеленоватые камни, темные пятна водорослей. Сутягин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходит берег и пристань. Слава как осталась, так и не шевельнулась больше. Выйдя из опасного места в открытое море, пароход развил ход. Заповедник стал уже тонкой голубоватой полоской. Началась морская крупная зыбь, корпус парохода дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась, кругом была вода - покатые гладкие волны до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.

"Надо же, вот и исчезла! - подумал горестно Сутягин с презрением к самому себе, и сейчас же увидел лицо Славы. - Вот и все! Как странно..."

Юрий КУВАЛДИН

И он стоял на палубе и, скорбно сжав губы, все думал о Славе, все виделись ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли... Лицо его горело то ли от стыда, то ли от ветра.

Солнечный свет стал ярче и вода отразила его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладь моря стала отбрасывать лучи прямо в глаза Сутягину, причиняя ему резкую боль, и он старался не смотреть в эту сторону. Он глядел теперь в темную глубину. Вода звенела за бортом, и звон этот был похож на звук шумной горной реки. Сутягин взглянул в противоположную от света сторону. Облака над горизонтом возвышались, как горная гряда, а море казалось темно-синим, почти фиолетовым.

“Наша улица”, № 11-2002

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

рассказ

Капитан Виталий Гусаров сидел за столом над макетом первого номера районной газеты, которую он зарегистрировал на пару со старшим лейтенантом Сергеем Большаковым. Верхний свет Гусаров не включал, потому что любил яркий свет настольной лампы. Гусаров сидел уже часа два, перебирал страницы материалов и все никак не мог сообразить, какой куда материал ставить. Конечно, трудно начинать новое дело, тем более газету, но отступать Гусаров не любил. В районе никогда не было своей милицейской газеты.

Почесав черные кудри, Гусаров тоскливо посмотрел в темное окно и опять стал вчитываться в страницы. Ну вот хотя бы эта: “Убивают все чаще”. Это заголовок. Его придумал Большаков перед дежурством. Часа через полтора Большаков сменится, придет, а у Гусарова - ни с места! Раньше бегло просматривал газеты, не задумываясь, как их сочиняют и складывают. Казалось дело простым. Итак, под заголовком шел текст, сочиненный самим Гусаровым: “Серия убийств прокатилась по Электромазутному району”. Эта был подзаголовок, который нужно было выделить черным шрифтом.

Гусаров задумался, глядя на коричневый сейф остановившимся взглядом. Для облегчения верстки нужен компьютер, а полковник Дугин ноль внимания. Денег нет, говорит. Бывшую партийную газету делают в райкоме, то есть в администрации района, на компьютере; правда, они три раза в неделю выходят. Гусаров опять усталился в страницу, зашевелил полными губами:

“В городе Черепковске недалеко от собственного дома обнаружен труп 37-летнего Д. Штюбы, который занимал пост ди-

ректора одного из предприятий района. Тело покойного буквально изрешечено пулями. В прошлом году аналогично ушли из жизни с интервалом в полгода Электромазутные предприниматели Л. Протопопов и М. Хасбулатов. Убитый Штюба, как и предыдущие жертвы, в середине 90-х годов занимался операциями с недвижимостью". Тут текст, однако, не заканчивался. Гусаров добавил сюда еще несколько строк: "Еще одно убийство произошло в доме по улице Либкнехта в Электромазутном. В результате нанесения сильных побоев скончался ранее неоднократно судимый мужчина. И, наконец, в доме по улице Тельмана обнаружен труп человека, смерть которого наступила в результате удушения. В квартире все перерыли вверх дном, пропали ценные вещи".

Сначала Гусаров решил поставить эту информацию в самый верх, под название газеты, написанное толстыми буквами: "Пощады не будет!", потом, подумав, наметил место в середине колонки. А то сразу напугает читателей. Те откроют, вернее, возьмут в руки газету и сразу же на первой странице прочитают. Хотя, сейчас принято об убийствах сразу заявлять, без стеснения. А в самый верх что ставить? Гусаров покопался в стопке газет, взял в руки "Независимую газету", увидел заголовок: "Кому служат спецслужбы", на серой подкладке-сеточке, а справа крупную негативную (белую) цифру "3". Значит, эта статья помещена у них на 3-й странице. Сигналят. Подсказывают читателю, что где у них по газете разбросано.

Гусаров расстегнул пуговицы на мундире, ослабил галстук.

Для интереса открыл третью страницу про спецслужбы. Над всей этой страницей черная рубрика "Политика". А сам материал называется: "Необходимо вывести разведку из "пытошных подвалов" в залы переговоров".

"Угу, - подумал Гусаров. - Смело они лепят заголовки. Да еще подзаголовки сажаят: "Неподконтрольность спецслужб может привести к "чрезвычайщине". Здорово у них получается". Гусаров свернул и положил в стопку "Независимую" и склонился над пустым макетным листом собственной газеты. На макетном листе была приклеена лишь плашка с названием "Пощады не будет!". Гусаров любовался работой художника - тени от букв падают назад, как тени от преступников в свете уличного фонаря на снег. Гусаров взял фломастер и над двумя колонками под

самым этим названием написал печатными крупными буквами: “В номере”. И сразу как-то облегченно вздохнул. Номер пошел! Гусаров встал из-за стола, закурил и стал радостно прохаживаться из угла в угол довольно просторной комнаты. Зарешенное окно, сейф, стол, ковровая дорожка, три стула, маленький столик с графином и стаканом. Изредка Гусаров, невысокий, плотный, останавливался, прищуривался на портрет Ельцина под стеклом, улыбался, затыгивался, выпускал дым в сторону, и вновь прохаживался.

- Так, - произнес он вслух.

А далее про себя: “Все-таки газета выйдет к Новому году, поэтому стоит дать что-нибудь типа опроса”. Гусаров загасил сигарету в пепельнице, сел на место и написал под заголовком “В номере”: “Предновогодний опрос”, и рядом цифру “1”. Опрос этот уже был заготовлен Большаковым, но предполагался не как опрос, а просто как интервью. А тут! Творческая жилка бьется в капитане Виталии Гусарове. И умно как придумал: “Опрос”. Как в телевизоре. Гусаров быстро выудил из стопки материалов интервью, сколотые скрепкой. Предполагалось их давать блоком. На черновике Гусаров прикинул шариковой ручкой: “В преддверии Нового года главный редактор газеты “Пощады не будет!” Виталий Гусаров провел опрос известных в Электромазутном районе людей. Всем участникам было задано два одинаковых вопроса: 1. Чем памятен для вас уходящий 1998 год? 2. Что вы ждете от будущего года?” Гусаров положил ручку и удовлетворенно потер руки. Вот что значит творческий подъем. Сразу написал текст для опроса. Гусаров полистал страницы. Опрашивались пять человек - глава администрации, председатель городского суда, председатель потребсоюза, директор техникума, начальник милиции... Гусаров выхватил первые строчки ответа судьи: “Памятен тем, что полностью отсутствовало финансирование на деятельность суда...”

Раздался телефонный звонок. Гусаров с некоторым раздражением снял трубку. Звонил дежурный и сообщил, что только что на улице Комсомольцев обнаружен труп старшего лейтенанта Большакова. Перед глазами Гусарова стал стремительно увеличиваться заголовок-название: “Пощады не будет!”. Положив трубку, первым делом Гусаров восстановил дыхание, для чего встал из-за

стола, лег на пол “в положение упор” и отжался. В дверь заглянул майор Шутов, спросил:

- По стакану будешь?

Гусаров отряхнул колени брюк, сказал:

- Какой тут стакан! Серегу Большакова убили!

- Где? Когда?

- Только что. А ты, разве, не знаешь? - спросил Гусаров.

- Да я только что из магазина, водяры купил...

Надев шинель и шапку, Гусаров взял шофера и оперативника и выехал на место преступления. Большаков лежал в кювете у забора лицом в снег. Когда его выволокли за ноги на дорогу и в свете фар милицейской машины осмотрели, то обнаружили пулевое отверстие во лбу, прямо между глазами чуть выше переносицы. Молча постояли, сняв шапки. Потом погрузили Большакова, в арестантское отделение. Гусаров бросил взгляд на улицу Комсомольцев. Ни одного фонаря не горело, но улица хорошо просматривалась от снега, выпавшего вчера вечером. Покосившиеся заборы, одноэтажные бараки, несколько частных бревенчатых домов под железом.

Гусаров сел рядом с шофером, принялся рассматривать записку, найденную на груди Большакова при осмотре тела и места преступления. В записке говорилось: “Если еще раз напишете в вашей вшивой газетенке про замоченного Штюбу, то вас всех ждет его участь”. У Гусарова выступил пот на лбу. “Откуда они могли, - подумал он в страхе, - узнать о заметке про убийства, когда еще газета не выходила ни разу!”

Проехав под гору, остановились у лабаза районной больницы. Залаляли собаки. Внесли тело Большакова в тесный коридор покойницкой, положили на оцинкованный стол. И тут Гусаров увидел в кармане бушлата Большакова свою невыпущенную газету “Пощады не будет!”. И опять обильный пот выступил на лбу Гусарова. Он достал из брюк мятый платок, протер лоб, снял шапку, и почувствовал, что горячая струя пота течет от затылка по позвоночнику в лошину между ягодицами.

Газета была самая настоящая, формата “Пионерской правды”, отпечатанная офсетным способом на желтой рыхловатой газетной бумаге - в Электромазутной районной типографии тиражом 2 тысячи экземпляров. И что самое главное, справа жирно красовалось: “Главный редактор В.И. Гусаров”. Шумно

выдохнув, Гусаров осмотрелся. Вокруг стола с телом Большакова стояли шофер, опер и врач в грязном халате и с красным лицом. По всему было видно, что врач сильно выпил. Гусаров вскинул глаза на дощатый потолок, с которого свисала паутина, как бы пытаюсь понять, откуда могла возникнуть невыпущенная газета. Постояв некоторое время, помогли врачу и откровенно пьяному санитару затащить тело Большакова в холодильник.

Выходя, у порога, Гусаров спросил у шофера:

- Ты нашу газету читал?

Гусаров надеялся, конечно, получить совершенно точный и отщипательный ответ, но шофер сказал, что читал, потому что всех сотрудников райотдела обязали подписаться на газету. Вот так! Он - читал. А опер?

- Да, Виталий Иванович, читал. Очень газета понравилась нам с женой. Ждем не дождемся второго номера!

Гусаров остановился и взялся рукой за косяк двери, как будто готов был упасть без этой опоры. В управлении он сел за стол над макетным листом. Все было без изменений - и плашка, и "В номере". С опаской взглянув в зарешеченное окно, Гусаров извлек из кармана готовый выпуск и разложил на столе рядом с макетным листом. Так. Что он заверстал под сигналом? На выворотке прочитал: "Региональные новости". Так же послушно шариковой ручкой переписал с газеты на макетный лист: "Региональные новости", и стрелочкой вынес на поле указание: "Дать вывороткой". Под этой рубрикой шла информация: "Созвездие артистов. В РДК местные стражи порядка отпраздновали очередной день милиции. Официальная часть была урезана до минимума, зато перед милиционерами выступили певец Алексей Колотовкин, группы "Романтики", "Наша песня" и "Металлисты". Выступление певца Колотовкина несколько раз прерывалось пьяными выкриками из зала: ""Мурку" давай!". Получили и "Мурку", ведь милиции не откажешь".

Опытной рукой следователя Гусаров извлек из стопки указанной материал, проверил ошибки и заверстал на положенное место. Далее в свежей газете шла информация под броским заголовком: "Огромная очередь". Этот заголовок, помнится, сам Гусаров придумал, хотя Большаков предлагал назвать информацию "Толпа". Гусаров прочитал, шевеля губами, как

школьник, следующий текст: “Праздник пива, который прошел в конце ноября в РДК, собрал полный зал народу. Пускали только по приглашениям. Но кружку пива Бадаевского пивзавода можно было выпить бесплатно без всякого приглашения. Правда, отстояв огромную очередь, поскольку создали всего одну точку разлива. В зале группа РУОП “Романтики” дала большой концерт”.

Поиск информации в стопке подготовленных в номер материалов прервал телефонный звонок. Гусаров снял трубку. Он услышал хриплый голос: “Ну, ты, козел, все еще рисуешь газету? Ты не понял, что ли, что не надо рисовать газету. Большака свалили? И тебя, козел вонючий, свалим! Понял?”. И в трубке запищали короткие гудки. Бледный Гусаров тихо положил трубку и взгляделся в темное зарешеченное окно. Мелькнули какие-то силуэты. Гусаров встал и, дрожа, задернул тяжелые портьеры. По местному вызвал дежурного. Сказал о только что прозвучавшей по телефону угрозе и о тенях за окном. Приказал поставить охрану за окном и тут в комнате, у двери. Пришел рядовой милиционер с “калашниковым”, сел на табурет возле двери. На милиционере был бронжилет и шапка. За окном, подглядел Гусаров, тоже появился пост. После этого Гусаров позвонил полковнику, доложил, как положено. Полковник мягко сказал:

- Не бойсь! - и повесил трубку.

Гусаров зачем-то перевернул газету четвертой полосой и, к ужасу своему, внизу полосы прочитал: “Заявление учредителя. “Пощады не будет!” уполномочена заявить. В последнее время началось беспрецедентное давление на газету “Пощады не будет!” и ее соучредителя Виталия Гусарова. И это после того, как зверски убит второй соучредитель Сергей Большаков. Кому-то нейдет. Идет наглая травля как со стороны бандитских формирований, так и со стороны государственных чиновников. Возможно, эти одновременные действия не случайны...”.

Тут Гусаров прервался, и в голову пришла простая и ясная мысль - позвонить в типографию. Он набрал номер производственного отдела.

- Слушаю, - отозвался женский голос.

- Это говорит Гусаров, главный редактор газеты “Пощады не будет!”...

- Да, слушаю.

- М-м... как бы это вам сказать... начать... Вы наш первый номер уже выпустили?

В трубке возникло некоторое замешательство, потом тот же голос со смехом сказал:

- Бросьте шутить, товарищ... Вам завтра второй номер сдавать...

После того, как положил трубку, Гусаров понял, что ничего не понимает. Он встал, оделся и под охраной на милицейской машине поехал домой. У двухэтажного дома из силикатного кирпича, в котором жил Гусаров, машина остановилась. Еще из машины Гусаров заметил двоих ребят в черных куртках и в черных вязаных шапочках у подъезда. Сильно испугался и приказал шоферу подъехать ближе. Увидев милицейскую машину, ребята побежали вдоль дома. Гусаров послал за ними охранника и сам выскочил из машины, на ходу доставая из кобуры табельное оружие.

- Стой, стрелять буду! - кричал охранник и выпалил вверх очередь из "калашникова". Тьма скрыла убегающих.

- Видал? - спросил запыхавшийся Гусаров охранника. - Поджидали...

- А, может, не они?

- Они, у меня нюх. Сволочи, боятся печатного свободного слова... Пошли со мной в квартиру.

Поднялись на второй этаж, открыла жена, полная, низенькая, с очень большой грудью. За нею стояла дочка, первоклассница. Дочка выкрикнула:

- А тебе, папка, только что угрожали по телефону какие-то дядьки!

У Гусарова ноги стали ватными, и он присел прямо на пороге. Охранник с "калашниковым" попытался его приподнять.

- погоди, Васек, - сказал ему Гусаров, и спросил у дочки: - Какие дядьки?

Вся бледная жена, всплеснув руками, сказала:

- Мне страшно, Витя. Давай все бросим и уедем к маме!

Первым делом Гусаров позвонил полковнику и доложил о ситуации. На что полковник сквозь зубы сказал:

- Не боись! - и повесил трубку.

Потом позвонил в управление и сказал, что охранник останется с ним.

- Полковник не велел, - сказал дежурный.

- Я только что с ним говорил, - сказал Гусаров, глядя на жену, которая все не отходила от него.

- И что?

- Сказал: "Не боись!" - ответил Гусаров.

- Я проверю, - сказал дежурный и положил трубку.

Сделав фальшивую улыбку, Гусаров принялся раздеваться. Охранник сел на стул в прихожей. Жена пошла накрывать на стол. Раздался телефонный звонок. Гусаров снял трубку. Звонил дежурный. Он сказал, что полковник категорически против персонального охранника. Гусаров бросил трубку, но тут же набрал номер полковника.

- Не боись! - сказал тот и положил трубку.

Гусаров, едва подавляя внутри себя страх, с мрачным лицом отпустил охранника. Когда дверь закрылась, Гусаров надел для чего-то шапку и пошел в уборную.

- Зачем шапку-то надел, Витя? - вслед спросила жена.

Гусаров на это не мог ничего ответить. Он спустил воду в бачке и долго смотрел на желтые разводы на его дне. "Что ты тут будешь делать! - про себя воскликнул Гусаров. - Все ополчились против меня. За что? Газета-то еще не вышла". Он шлепнул себя по боковому карману мундира и чуть не заплакал от отчаянья. Из кармана торчала газета. Он вытащил, посмотрел. Его. "Пощады не будет!". Уходя, значит, машинально сунул в карман.

Выйдя из уборной, Гусаров надел шинель и, не снимая шапки, пошел в ванную умываться. Он умывался прямо в шинели и в шапке. Жена подошла сзади и осторожно сняла шапку. Подставила ладонь под струю холодной воды и провела затем влажной ладонью по волосам мужа.

- Разденься, Витя. Успокойся. Пойдем за стол. Она помогла мужу выйти из ванной, помогла снять шинель и повесить ее на вешалку, помогла разуться, усадив его на стул под вешалкой. Надела тапочки.

- Что происходит? - воскликнул Гусаров. - Не понимаю.

Спал он на большой и мягкой груди жены, как расстроенный ребенок, получивший двойку по физкультуре. Он так пригрелся, что жена с трудом разбудила его на рассвете, чуть раньше положенного, чтобы он исполнил свои супружеские обязанности. Свои женские обязанности жена очень любила.

На столе в кабинете по-прежнему лежал макетный лист. Рядом с ним покоилась газета, четвертой страницей вверх. По глазам была черная строчка внизу, где шли выходные данные: "Главный редактор В.И. Гусаров". Гусаров поморщился и посмотрел в темное окно. Там маячила фигура постового с автоматом. С этой стороны тоже сидел на табурете мент в бронежилете, с автоматом, как положено. Гусаров сел к макетному листу. Быстро начал верстать первополосные материалы. Только спустя минут пятнадцать незаметно бросил взгляд на плашку, где проставлялась дата и номер, и обомлел. Дата стояла "23 февраля 1999 года", а номер "5".

- Е-мое! - воскликнул про себя Гусаров. - Когда это я успел на выпускать столько номеров. Еще первый не нарисовал, а уже - "5-й".

Он осторожно потянулся к трубке телефона, чтобы позвонить в типографию, но звонок опередил его. Гусаров снял трубку.

- Ну, ты, козел рогатый! - раздался дикий бас. - Я тебя сегодня точно повалю. Ты чего это, гад, про налоговую принялся писать?! А? Не слышу ответа?!

Гусаров поманил рукой к себе охранника и жестом попросил его послушать трубку. Гусаров поднес ее к маленькому уху охранника. Охранник услышал все тот же бас:

- Ну, козлятина, смотри у mine. Тварь негодная. Будешь nonче кишками плевать в канаве! - И говоривший бросил трубку.

Бледный охранник попятился назад и молча плюхнулся на табурет.

- Слышал? - спросил Гусаров, протирая холодный пот платком.

- Распоясались! - сказал охранник.

Гусаров собрал все материалы, макетные полосы четырех полос и в сопровождении двух охранников на желтом с синей полосой "козле" поехал в типографию. С охранником же поднялся в кабинет начальника производственного отдела. Рыжая начальница со стальными передними зубами хищно улыбнулась и сказала:

- Вовремя, товарищ... как вас тама... забыла?

Гусаров прищелкнул для приличия каблуками ботинок, сказал:

- Капитан Гусаров.

Он положил папку с тесемками, в которую были собраны материалы и несверстанные макетные полосы. Рыжая начальница развязала тесемки, достала согнутые полосы, а в них материалы. Раз-

вернула. Газета была аккуратно сверстана. Начальница проверила железной линейкой-строкомером правильность верстки, по строчкам, одобрила. Затем протянула свежий номер "Пощады не будете". Гусаров сначала хотел удивиться и попятиться к двери, но не удивился, спокойно взял газету, от которой пахло типографской краской, и прочитал возле плашки: "29 апреля 1999 года", а рядом номер - "13". Повертел газету, понюхал. Взглянул на четвертую полосу, там, как и положено, выпирала набранная 14-м кеглем полужирным шрифтом:

"Главный редактор В.И. Гусаров".

"А что там, интересно, на развороте, - подумал Гусаров. - Что-нибудь должно же быть такого, чтобы раздражить этого типа в телефоне с басом?!" Гусаров вышел с охранником на улицу. Падал снег, люди ходили в телогрейках, валенках и шапках. Несмотря на апрельский номер газеты. Гусаров сел в машину. Открыл разворот газеты. На третьей полосе выделялась черная полоска с белыми буквами - выворотка: "Коррупция", а под нею страшный для каждого чиновника заголовок: "Взятка".

Гусаров откинулся к спинке сиденья, закрыл глаза. Машина тронулась. Гусаров открыл глаза. Снег шел такой густой, что дороги не было видно. Гусаров опустил глаза на газету. Под огромным, во всю полосу, материалом стояла его - Гусарова - подпись.

Вдруг разлетелось лобовое стекло в машине. Она резко затормозила и ее юзом понесло к канаве у забора. Раздался треск дерева и скрежет железа. Совсем рядом звучали выстрелы. Гусаров согнулся под щиток приборов. Нащупал пистолет в кобуре. Поднял руку и начал беспорядочную стрельбу. Через несколько минут все стихло. Гусаров приподнял голову и посмотрел сначала на шофера, который без движений застыл на баранке, потом назад: охранник покоился с откинутой и в нескольких местах простреленной головой.

Гусаров попытался открыть дверь, но ее заклинило столбом забора. Машина въехала на чей-то огород, пробив дощатый забор. Тогда Гусаров полез через разбитое стекло на капот. Выбравшись из машины, Гусаров, пригибаясь, пошел на улицу. Огляделся. Справа у своей калитки стояла тетка с козой. Слева на снегу отчетливо виднелся протектор только что уехавшей машины.

"Наверняка поджидали, - подумал Гусаров. - Стреляли из иномарки".

Он вернулся к машине, взял автомат у убитого охранника. Затем по рации связался с управлением.

- Срочно высылайте наряд. На меня совершено покушение. Шофер и охранник - убиты!

- Полковник знает? - спросил сонный голос дежурного.

- Я с ним сейчас свяжусь, - сказал Гусаров.

Выслушав информацию о случившемся, полковник успокоил Гусарова:

- Не бойсь!

Гусаров хотел сказать, что он не боится, но не успел. Полковник положил трубку. Тем временем подъехал белый "форд" с мигалками. Сам майор Шутов прикатил со свитой. Стали измерять, фотографировать, опрашивать свидетелей. Бабка с козой сказала, что стреляли из синей машины.

- "Жипом" называется, - добавила она.

- Почему ты, старая, знаешь?

- У ее, как в бане, трубы спереди блестят, - сказала тетка.

Гусаров снял шапку и почесал затылок. Майор стоял рядом и молча курил. Несколько ворон село поодаль на пробитый "козлом" забор. Подъехала "скорая" - зеленая "буханка" с санитарями. Погрузили убитых.

- Никак не пойму, - пожал плечами Гусаров.

Майор, прищурившись, посмотрел на него, затем поднял полу шинели и достал из кармана брюк сложенную газету. То был тот самый номер со "Взяткой".

- Это они, - вполне определенно сказал майор.

- Ты думаешь?

- Тут и думать не надо. После такого разбomba они на все пойдут. Еще Маркс говорил, что за прибыль они угробят кого угодно, а за двести процентов прибыли - войны начинаются!

На "форде" Гусаров доехал до управления. У выкрашенной краской-серебрянкой памятника Ленину с протянутой рукой стоял уже автобус с омоном. Майор и Гусаров пересели в автобус. Поехали к Электромазутному вокзалу. Остановились сбоку, чтобы не спугнуть крутых барыг из подвала, где располагался бар "Три столба".

Часть омовцев, разбив прикладами автоматов стекла, влезла в окна, остальные вломились с дикими криками и залпами в потолок в дверь. Бритоголовых квадратных духариков уложили на пол

рылами в кафельный пол. Гусаров ходил между рядами и бил каблуком по затылкам со всей силы и приговаривал:

- Это вы - козлы! Козлы! Козлы...

Пьяные бугаи молча сопели, не злились на мусора, потому что скотина не может ни злиться, ни переживать. Тем временем майор налил в баре два стакана водки, а бармен в тельняшке, краснорожий, с бычьими маленькими глазками, услужливо сделал пару бутербродов с лососиной и крендельками паштета.

- Давай, Гусаров, вмажем, - сказал майор Шутов. - Не бери в голову.

Гусаров врезал носком ботинка последнему суке по зубам и, тяжело дыша, взял стакан.

Почти что в полной тишине выпили. Не спеша стали жевать бутерброды. Прожевав, майор спросил:

- Может, Гусаров, расстреляем их тут всех к ебеней матери, а?

- Давай расстреляем! - твердо согласился Гусаров.

Ближний подполз к Гусарову и хрипло заныл:

- Не губите, мусора, гадом буду, больше не будем!

Гусаров молча извлек из кобуры пистолет и, почти что не целясь, выбил глаз у просившего. Брызги полетели в стороны, и круглая бритая башка козла ударилась тупо о кафель. Майор достал свой пистолет, обвел взглядом омовцев в черных чулках на головах с узкими прорезьями для глаз.

- Ну, как, ребята, - обратился он к ним, - одобряете?

Омовцы молча кивнули.

Майор прицелился в жопастого бугая в короткой кожаной курточке и в тесных застиранных джинсах. Раздался сильный залп, и пуля пробила самый затылок этого хмыря.

- И вот смотри, Гусаров, никто друг за друга не заступает!

- Да это же не люди, - сказал Гусаров. - Это - дебилы, дауны! Их на стадии аборта нужно было кончать.

- Вниманье! - крикнул майор.

Омовцы направили дула автоматов в головы лежащих.

- По врагам отечества - огонь! - скомандовал майор.

Грохот множества одновременных выстрелов оглушил Гусарова.

Он харкнул на первый попавшийся труп и по трупам же пошел вон. Когда он поднялся наверх и вдохнул свежего воздуха, голо-

ва чуть-чуть закружилась от сцен на бойне. Сзади послышалось дыхание майора.

- Видал, ни одного с нашего района. Все залетные!

Потянулись гуськом из подвала омоновцы. Когда все вышли, принесли из автобуса несколько канистр с керосином и бензином. Стали, оцепив подвал, лить прямо в окна, на ступени. Потом оцепление сдвинули к самой линии железной дороги и бросили спичку в подвал. Вырвалось пламя. Во мраке послышался шум поезда. Через некоторое время вышедшие из поезда пассажиры столпились у оцепления, спрашивали: "Что произошло?". Глядя мимо них, куда-то очень далеко, омоновцы хладнокровно отвечали: "Газовый баллон взорвался".

Гусаров заглянул в библиотеку, где велись подшивки газет. Разделся, сел к скоросшивателю своей газеты "Пощады не будет!". Да, и последний номер был уже подшит. Гусаров открыл его на развороте, чтобы подробнее ознакомиться со своим материалом. Шевеля толстыми губами, он начал читать со вреза под заголовком "Взятка": "В марте этого года практически все порядочные жители Электромазутного района обсуждали из ряда вон выходящий случай о получении взятки должностным лицом Госналогинспекции по городу Электромазутному Ларисой Переделкиной. Уголовное дело вел следователь по особо важным делам Электромазутной горпрокуратуры юрист 1 класса Александр Вавилкин. Теперь об этом преступлении можно написать. Совсем недавно в деле была поставлена точка. Под председательством председателя Электромазутного городского суда Владимира Жданова состоялся суд...".

"Вот это да! - пронеслось в голове Гусарова. - Ну, ничего я не боюсь. Ведь я же учился вместе с Лариской Переделкиной. Куда же меня понесло?".

Подошла фигуристая с раскосыми глазами библиотекаря, зевнула и от нечего делать спросила:

- На руки брать ничего не будете?

- Нет, - буркнул Гусаров, уходя по уши в материал.

"...Вечером того же дня в квартире Переделкиной директор фирмы "Восток" Букин вместе со своим заместителем Коробовым вручили инспектору конверт с 3000 долларов. Когда предприимчивые бизнесмены выходили из квартиры, вошли сотрудники

МВД, ФСБ, прокураторы, налоговой инспекции, налоговой полиции, администрации, которые застали Ларису с конвертом в руках. На каждой купюре при освещении ультрафиолетовой лампой высвечивалась нужная пометка: “Взятка””.

Гусаров отвлекся от текста, посмотрел на книжные полки, глупо вздохнул и встал. На улице мело. Снег был пушистый и мягкий, его носило ветром кругами, завивало в воронки. Снег налился на провода, на столбы, на заборы.

Гусаров услышал хлопок выстрела. С его головы слетела шапка. Гусаров нагнулся за ней и увидел пулевое отверстие в металлической кокарде. Он в страхе огляделся. Сложилось такое впечатление, что стреляли из библиотеки. Но кто будет оттуда стрелять?

Гусаров шел домой по безлюдной улице 26-ти Бакинских комиссаров, шел один, без охраны. Полковник опять снимал всех. Ветер дул в спину. Кое-где в окнах барачных и избушек горели слабые огни. Крыши сливались с сугробами. Гусаров достал на всякий случай наган. Через три шага молча выстрелил в предполагаемую цель впереди себя. Из-за густого снегопада различить цель не представлялось возможным. Через десять шагов Гусаров увидел труп в джинсах, в короткой кожаной черной куртке и в вязаной черной шапочке. В руке у трупа была граната. Рядом лежал гранатомет.

Какой-то старик в сапогах и в рваном армейском бушлате копался в помойном баке возле дома капитана. Гусаров не заметил его. Дома он сразу же сел за письменный стол и начал писать заметку для следующего номера:

“Резонанс. Газета выступила. Что сделано? Вот уже 2 месяца начальник Налоговой полиции Пушкин И.О. не может ответить на запрос редакции: куда девались деньги, предназначенные для выплаты зарплаты работникам правоохранительных органов. По нашим сведениям, работники Налоговой полиции совместно с работниками ФСБ провели ряд операций по выколачиванию налогов из зарегистрированных в Электромазутном фирм “Оверлок” и “Промстройтрест”, но ни копейки в бюджет от названных силовых структур не поступило. Предлагаем в 3-дневный срок сдать выколоточные средства по следующему адресу: улица Народовольцев, дом 1. Инспекция по надзору за деятельностью прокуратуры, ФСБ, налоговой полиции и налоговой инспекции”.

Гусаров отложил ручку и посмотрел в окно. Ничего не было видно. Сплошное черно-белое месиво.

Подошла жена, прижалась сзади грудями к голове Гусарова. Он прикрыл глаза и улыбнулся. Тут со звоном разбилось стекло в раме, осколки полетели на стол. Жена вскрикнула. Погас экран телевизора, так как со стены упал портрет маршала Жукова и выбил шнур из розетки. Сильный ветер со снегом залетел в комнату. Закачалась люстра. Гусаров выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в ночь. Потом долго с женой заколачивал окно красным ватным одеялом. Дочка прыгала от радостного события и кричала:

- Папка, тебя пристрелят, как собаку!

- Молчи! - огрызнулся Гусаров.

- Сам молчи, мусор вонючий!

Жена схватила дочку за ухо и потащила в ванную.

Утром Гусаров позвонил в управление, чтобы выслали за ним машину. Потом доложил обо всем полковнику. Тот сказал:

- Не бойсь...

В окно кухни Гусаров увидел "козла", подъезжающего к подъезду. Он надел шинель и шапку, врезал подзатыльник дочери и вышел на лестничную площадку. Спустившись по лестнице один пролет, увидел идущего ему навстречу мордворота с автоматом "узи". Мордворот был одет в джинсы, короткую кожаную куртку и вязаную черную шапочку. Гусаров не успел выхватить свой пистолет, как киллер нажал на гашетку. Гусаров даже услышал, как боек ударил по патрону, как пуля пошла в ствол. Только пошла. Но не далее. Автомат заклинило. Гусаров сгруппировался, оттолкнулся, подпрыгнул и двумя ногами полетел вперед, прямо в квадратную морду киллера. Тот упал головой в стену, так что посыпалась штукатурка.

Гусаров вышел из подъезда. Старуха из соседнего подъезда в рваных чулках, в галошах и в байковых трусах поверх юбки, вешала на веревку рваное серое белье. Оглянулась беззубым ртом на Гусарова и прошипела:

- И чтоб вы ироды все перестрелялись!

И плюнула под ноги.

Гусаров этого не видел, как ничего не видит вещь, потому что она вся в себе. Он сел на высокое сиденье. Машина тронулась. Улица была безлюдна. Справа и слева тянулись заборы, за кото-

рыми стояли покосившиеся бараки и хибары. Возле серебряного Ленина “козел” остановился.

На тумбочке дежурного лежал свежий номер газеты. Гусаров этому не удивился. Взял, увидел рубрику “Резонанс”. Под ней заметку, которую писал вечером про полицаев, не желавших делиться. Только вошел в кабинет, как зазвонил телефон. Гусаров снял трубку.

- Это тебя, козел, беспокоит бандформирование. Мы тебя придем гвоздями к крестовине столба на улице Карла Маркса...

Не дослушав, Гусаров положил трубку и тут же перезвонил полковнику. Тот был более многословен.

- Не бойсь, - сказал полковник. - Тут у меня этот сидит... с налоговой полиции... ихний шеф. Он все принес, что нужно...

Гусаров положил трубку и сел за стол. Его ждал макетный лист нового номера. Гусаров положил перед собой ученическую тетрадку в клетку, покусал в задумчивости конец шариковой ручки, затем быстро, крупными буквами стал писать:

“... Мы уже писали о том, что в Совете депутатов Электромазутного района звучали призывы обратиться в прокуратуру в связи с содержанием газеты. Добавим, что там же прозвучало предложение запретить районной типографии №1 печатать газету “Пошады не будет!”. С тех пор появились факты угроз в адрес главного редактора со стороны бандитов и госструктур.

С бандформированиями вопрос будет решен силами спецподразделений РУОП и ФСБ, которые уже проинформированы. И, безусловно, примут серьезные меры.

Госчиновников, которых задевает и дальше будет задевать наша газета, также хотим предупредить: не советуем оказывать нам противодействие в какой-либо форме. Независимую газету “Пошады не будет!” поддерживают очень влиятельные силы и структуры”.

Вдруг дверь со стуком открылась. На пороге стоял полковник в папаше и в распахнутой шинели. Только Гусаров успел посмотреть на квадратное лицо, как полковник выстрелил из пистолета, который держал в перчатке. Гусаров рухнул под стол. Пулевое отверстие пришлось как раз над переносицей. Если учесть, что благодатное состояние посещало Гусарова все реже, да и то, по-видимому, судя по результатам, оказывалось зачастую иллюзией, не подвигавшей его реально ни на шаг, можно представить, в какого

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

урода обратился бы он под старость, подступившую к нему феноменально рано, когда ему не исполнилось и тридцати еще лет, если бы не крайняя мера МВД и ФСБ.

Из-за спины полковника вышел новый главный редактор - капитан Пантюхин. Чтобы узнать его поближе, вначале необходимо рассмеяться. Иначе будет всем страшно.

“Наша улица”, № 1-1999-(пилотный)

ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

рассказ

На земле и на небе было еще темно, только в той стороне, откуда подымались все новые звезды, чувствовалось приближение рассвета. На землю пала обильная роса - верный признак, что завтра будет хорошая погода. Из окон фабричной столовой неслась песня:

Когда б имел златые горы
И реки полные вина,
Все отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.

Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу -
Тогда свободно и счастливо
С молитвой мы пойдем к венцу.

Не раз, Мария, твою руку,
Просил я у отца не раз.
Отец не понял моей муки,
Жестокий сердцу дал отказ...

Юбилейный вечер директора фабрики был в самом разгаре. Уже прокричали первые петухи, а аккордеонист все играл, зал дрожал от дробота ног, ослепительно и жарко горели люстры.

Солидно было выпито и съедено, солидно пролито слез, солидно спето и сплясано.

Но каждый раз на стол ставились еще шампанское, вина, коньяк и водка, подносилась закуска и горячее, аккордеониста сменял

ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

магнитофон с рок-н-роллами и всяким “хэви-металлом”, топот и присядку - шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь в городе и во всех окрестных деревнях знали, что на фабрике гуляют.

Тогда бежать я с ним решилась,
Поверив клятве роковой,
На Божий храм перекрестилась,
В слезах взглянув на дом родной.

Умчались мы в страну чужую,
А через год он изменил,
Забыл он клятву ту святую,
А сам другую полюбил.

А мне сказал, стыдясь измены:
- Ступай обратно в дом отца.
Оставь, Мария, мои стены,
Я провожу тебя с крыльца...

Всем было весело, только Татьяне Губановой было тяжело и тоскливо на душе. Круглый нос ее покраснел от выпитого вина, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что у всех радостно на душе, все в этот вечер ласковы, ухаживают друг за другом, любят, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать. Тем не менее, Губанова старалась на людях казаться веселой, и охотно подпевала дружному хору гуляющих:

За речи, ласки огневые
Я награжу тебя конем,
Уздечку, хлыстик золотые,
Седельце, шито жемчугом.

Не надо мне твоей уздечки,
Не надо мне твоего коня,
Ты пропил горы золотые
И реки полные вина.

Губанова знала, что не отличается красотой, смущалась своей полноты и столько уж раз давала себе клятву не ходить на подобные мероприятия, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в провинцию, ей дали комнату при фабрике. Вечерами она делала работу, с которой не успевала справляться в рабочее время (она была главным бухгалтером фабрики, а требования к балансовым отчетам все усложнялись), готовила себе обильный ужин, хотя всегда зарекалась много не есть, и часами напролет читала Достоевского и о Достоевском. Дело в том, что Губанова родилась рядом с музеем-квартирой Достоевского в Ленинграде, и всю жизнь была верна этому писателю. Даже не так. Она, как заядлый коллекционер, собирала все о Достоевском. Всегда была готова к новым работам о нем, как Достоевский всегда готов был сесть за письменный стол, чтобы писать новый роман. Готов - и не готов. Потому что бесконечные вопросы требовали бесконечного обдумывания. Начало писания для Достоевского всегда было неслыханно трудно. Мысль бесконечная - неизбежно расплывчата. Поэтому Достоевский буквально испытывал отчаяние, принимаясь за новую работу.

Было и другое, едва ли не большее препятствие. Величайший наблюдатель и знаток текущей действительности, Достоевский признавал плодотворными решения бесконечных вопросов, лишь как они преломлялись в современном ему мире, в умах и душах его современников. Грубо говоря, суть дела состояла в сращении вечных проблем с текущей действительностью и с животрепещущими вопросами.

Обычно свои крупнейшие романы Достоевский начинал как произведения на злобу дня. Поглощенный вечными вопросами, он неотступно следил за всем, что происходило в его время. Собираясь в поездку в Западную Европу, он обратился, 8 июня 1865 года, к Каткову с просьбой о деньгах под роман "Пьяненькие". Спустя три месяца, уже из Висбадена, пишет ему снова, опять прося денег, излагает замысел "Преступления и наказания", поглотивший замысел "Пьяненьких". Это была не только перестройка несколько месяцев назад появившегося замысла. Это было обраще-

ние к замыслу, смутно мелькавшему в его душе много лет назад, еще на каторге. Возрождался и конкретизировался этот замысел сразу по возвращении в Россию, что видно из письма к брату, написанного еще из Твери в октябре 1859 года: “Не помнишь ли, я тебе говорил про одну исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедленно... Это будет, во-первых, эффектно, страстно, а во-вторых, все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения... Исповедь окончательно утвердит мое имя”.

Как известно, вначале “Преступление и наказание” Достоевский мыслил именно как роман-исповедь.

“Бесы” были задуманы как тенденциозный политический роман. Рукопись первой редакции, объемом в 15 печатных листов, была, однако, сожжена. На последующих стадиях работы в роман был введен герой из обширного, долгое время складывавшегося замысла - “Житие великого грешника”. Вопросы злободневные слились с вопросами вечными.

Как ни спешил Достоевский, вынуждаемый к этому обстоятельствами, он всегда поспевал, не снижая художественной требовательности, что бы ни говорил на эту тему. Не менее удивительно другое: каких бы переделок ни требовали от него издатели, он почти никогда не отказывался переделывать, но, переделывая оставался верен самому себе. Он не только был переполнен замыслами, но у него, в его сознании, присутствовало как бы неисчислимое количество вариантов замысла одного и того же произведения, как и понимания одного и того же образа. Надо отдать должное Страхову - он точно подметил это. Правильно писал в связи с этим А. С. Долинин “о чрезвычайной его литературной чуткости”. Но, верно отметил важнейшую особенность дарования Достоевского, Страхов сделал из этого неверный и грубый вывод. Он писал Достоевскому по прочтении второй части “Бесов”: “Ловкий француз или немец, имей он десятую долю вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы. И весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен... Мне все кажется, что вы

до сих пор не управляете вашим талантом, не приспособливаете его к наибольшему действию на публику”.

Достоевский согласился со Страховым, благодарил его за меткие слова: “Вы ужасно метко указали главный недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею до сих пор (не научился) совладать с моими средствами”.

Между тем как все это неверно, хотя и сказано самим Достоевским. Не со средствами своими Достоевский не умел справиться, а его средства неизменно вызывали с его стороны недоверие к ним и сомнения в них, потому что всякое художественное решение у него требовало возврата к решаемой проблеме. Литературная чуткость Страхова, вызвавшая похвалу Долинина, оказывается более чем сомнительной...

За два года почти все подружки Губановой вышли замуж, а она за это время все больше погружалась в Достоевского, и полнела, как какая-нибудь купчиха.

На этом вечере ее познакомили с начальником районной ГИБДД, попросту, гаишником, капитаном Алексеем Шумаковым, высоким молодым человеком в черном костюме. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Губанова пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон влюбленной нежности.

Но Шумаков почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, без остановки плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил кока-колу. А после вышел в фойе и больше не вернулся.

Теперь Губанова сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых людей, пьяных, потных, презирала и жалела себя. Недавно она купила новый костюм, с золотой ниткой. Все хвалили его и говорили, что он ей к лицу. И вот костюм не помог, и все осталось, как было...

Часа в три ночи Губанова, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на толстых щеках, вышла в фойе и оттуда - на крыльцо. Дома города стояли черные. Повсюду было тихо, только из открытых окон столовой фабрики, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки аккордеона, крики и топот ног. Свет пятнами падал на деревья, и зелень казалась рыжей.

У Губановой задрожал подбородок. Она закусила губу, но это

не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, туманно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и заплакала. Губановой было стыдно. Плача, она боялась, что ее услышат, и, чтобы не услышали, сорвала ромашку и зажала ее в зубах. Но ее никто не слышал. “Ну, довольно! - говорила себе Губанова, крепко закрывая глаза. - Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!” И она хотела идти, отстраняясь от дерева, а ноги не слушались ее, и тронуться она не могла.

О мучительной трудности выбрать из миллиона возможностей одну, как раз ту, которая единственно необходима, писал и Толстой. У Толстого этот выбор осуществлялся на предварительных стадиях работы. В законченных же его текстах отсутствует, так сказать, вариативность образов и ситуаций. У Достоевского эта вариативность имеется и в каноническом тексте. Даже образы его главных героев как-то дwoятся. Губанова помнила не о том, что у них имеются двойники, но о раздвоении их самих. Раскольников так и не может решить для себя, какая, в конце концов, причина толкнула его на убийство старухи-процентщицы - желание ограбить ее, чтобы воспользоваться ее средствами для добрых дел, или желание проверить, является ли он великим человеком типа Наполеона. В романах Достоевского можно найти немало подобных сцен, как бы повторяющих одна другую, и это не какой-либо их недостаток, а существенная особенность, обусловленная тем, что герои его не могут не возвращаться к одним и тем же мыслям, не могут не испытывать себя схожими поступками, короче - не могут не оказываться в ситуациях, аналогичных уже пережитым.

Этот разнoбой мнений, что ли, в мыслях и поступках человека, как представлял его себе Достоевский, был для него истинным терзанием, но и столь же верным спасением. Видимо, только одному Достоевскому удавалось, угождая издателям, выкидывать из романа одну сцену и заменять ее другой, при этом не ломать образа и не искажать замысла, словом, ничего не терять.

Губанова все время тревожилась о том, какое впечатление может произвесть на читателя ее Достоевский. Да, именно ее! Она решительно всегда называла Достоевского своим, это звучало, как “Мой Достоевский”. Достоевский, конечно, ее, но ей хотелось, чтобы образ Достоевского был таким, каким был в действительности.

Большой художник интересуется всем на свете, а на свете происходит не одно только такое, что украшает людей или радует их. Кто хочет понять человека, тому важно знать и узнавать также и то, почему человек способен совершать непредсказуемые, ужасные, чудовищные поступки. Само по себе ужасное, с чем постоянно приходится сталкиваться людям, далеко не равнозначно и не равноценно. Ужасна смерть. Но и умирают люди по-разному. Одни - естественной смертью, других убивают. Почему человек способен убить другого человека, причинить зло своему ближнему? Делается ли это только с корыстной целью, или возможны другие причины?

Художник - непременно человек, остро критикующий себя. У иных великих художников это качество перерастает и в болезненные формы. Так, например, случилось с Гоголем. Гоголь решил усовершенствовать свою личность до степени святости, надеясь, что того же самого способен достигнуть всякий человек, и когда это совершится, - а, по мнению Гоголя, для этого не требовались продолжительные сроки, - он увидит перед собою не мертвые, но святые души. Моралист, сидевший в Гоголе, и поднял его как художника на невероятную высоту, а когда Гоголь достиг своего апогея, сделал для него невозможным продолжение художественной работы. Святому не до романов, - он занят составлением проповедей и поучений...

- Что с вами? - вдруг громко спросил кто-то сзади, прервав ее размышления.

Губанова затаила дыхание, быстро вынула изо рта цветок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Шумаков. Его качало, чтобы не упасть, он грубо схватил ее за плечо, при этом чуть не упав на колени.

- Златые горы! - пьяно бросил он. - Это вы? А я... с директором... говорил. - Он качнулся и прижался к ней. - На юбилей, сволочь, пригласил! - с усилием выговорил он. - А! Я ему с десяток иномарок за пустык устроил! Теперь все! Хотел товаром откупиться... Дудки, паразит! Меня так просто не купишь!

Шумаков зло присвистнул и смачно выругался, потом пропел:

Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу -

ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

Тогда свободно и счастливо
С молитвой мы пойдем к венцу...

Он оторвался от Губановой и опять едва не упал. Губановой стало его жалко. Она принесла из туалета воды в пластиковой бутылке из-под кока-колы, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

- Вы чего плакали-то? - спросил он, отдуваясь. - Обидел кто?

У Губановой благодарно забилось сердце. Она опустила голову.

- Вероятно, вы ошиблись... Никто меня не обидел...

- А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, черту, ребра переломлю! - Шумаков взял Губанову под руку, они перешли улицу, свернули налево, направились асфальтовой дорожкой мимо спящих домов.

Губановой хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Шумакову на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Шумаков, качнувшись, прижился к ней, она поспешно отстранялась.

- Прошу прощения, Алексей, но вы совсем пьяный! Пьют слесари и сапожники, а вы... Сейчас пить не модно, - с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

- Ну да! - Шумаков тер себе рукою затылок. - Какой там сапожник... пьяный.

Они подошли к дому, где жила Губанова. Ни одно окно не светило. Губанова растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Шумаков обидится, осталась.

Шумаков почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Губанову за руку.

- Ну, однако, расскажите же что-нибудь. Интеллигентные люди должны беседовать, - попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

- Чего там рассказывать?... хрипло пробормотал он, обхватил ее тучное тело, и стал целовать мокрыми губами.

- Извините, но вы действуете слишком прямолинейно! Даже Раскольников себе такого не позволял, - шептала она, вырываясь. - Оставьте меня!

- Тихо! Какой такой Раскольников? - говорил он шепотом, толкая ее в темный подъезд. - Тихо! Я этому Раскольникову по сусалам надаю! Чего ты, ну чего ты, глупая!

На лестничной клетке он прижал ее к стене.

- Не надо, Алексей, умоляю вас, не надо! Это неэтично, - промолвила она внезапно так печально, что Шумаков выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял приглушенно, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

- Ну ладно... - вздохнул он. - Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к стадиону. Придешь?

- Почему к стадиону? Когда? - спросила шепотом Губанова, вся дрожа.

- Часов в семь. У меня там комната есть... Ладно?

- Приду... - вдруг против воли сказала она.

- Вот это по-нашему, по-пролетарски! А то "этично", "неэтично"... - Шумаков несколько раз жадно затянулся, бросил окуроч, долго притоптывал его каблуком. - Ладно, до встречи!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел:

Когда б имел золотые горы
И реки полные вина,
Все отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.

Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу...

Дома Губанова осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое круглое лицо, полные плечи и большую грудь. "Боже мой, какая я бесформенная! - подумала она и вздрогнула. - Надо прекратить питаться! Обязательно бегать по утрам!"

Она умылась холодной водой. Затем стала смазывать лицо ночным кремом. Крем был ей противен своей жирностью, но без косметики она представить свою жизнь не могла. Все это время в ванной она думала об Алексее. Потом она потушила свет, устроилась поудобнее в постели, но заснуть не могла. Постепенно Шума-

кова вытеснил Достоевский. К Достоевскому примкнул Гоголь. Крайности нередко сходятся, оставаясь противоположными одна другой. Святой Гоголь и грешник Достоевский в равной степени преклонялись перед Пушкиным - не святым и не грешником, а гениальным художником и достойнейшим из людей, так хорошо понимавшим, сколь необходима человеку святость и как невозможно ему быть безгрешным. Все решающие темы Достоевского, в том числе и тема подполья, восходят к Пушкину.

Изображать подполье еще не значит любоваться подпольем. Достоевский обращался к изображению подполья, показывая, сколь оно пагубно для человека, но также выясняя, благодаря чему и при каких обстоятельствах может стать для него убежищем, пускай и гибельным в итоге. Психология подпольного человека была ему близка и понятна издавна, большой опыт в этом отношении получил он на каторге.

Говорят, в "Записках из Мертвого дома" налицо идеализация каторжников. Действительно, Достоевский называет своих собратьев по каторге лучшими людьми. Но в каком смысле? Ницше думает, что в каторжнике Достоевский видит своего рода сверхчеловека. Это заблуждение. По Достоевскому, ценнейшее качество в человеке - оставаться человеком и в нечеловеческих условиях. На каторге, чтобы пережить каторгу, от Достоевского требовалось принять свое положение как необходимость, то есть известным образом смириться с каторгой, ненавидя ее. Такое смирение - человеческая гордость перед самыми тяжкими невзгодами. В таком смирении заключена необычайная сила духа: меня ничем не сломить, ибо я есмь человек. Подобным образом смиряясь, смиряющийся не подавляет, а растит в себе гнев против всего, что обрекает его на смирение. Не будет удивительным, если в подобном смиренном человеке скрывается непримиримый бунтарь и пламенный проповедник, - в таких случаях неизбежны душевные надломы.

Французский дипломат и литератор Мельхиор Вогуэ, живший долгое время в Петербурге и хорошо знавший Достоевского, в частности встречавшийся с ним на вечерах графини Ю. Д. Засецкой, в своей книге "Русский роман" оставил наброски к портрету Достоевского, например такой:

"... Когда какая-нибудь мысль приводила его в гнев, то выготы были поклясться, что встречали эту физиономию на скамье

подсудимых или среди бродяг, просящих милостыню у ворот тюрьмы”.

Лицо Достоевского, судя по всему, было неотразимо. Он сам знал это. Однажды из Эмса (1874, 6 июля) писал жене о том, как его разыскивала одна русская княгиня в толпе приехавших на воды только по описанию знакомой с ним женщины: “Всматривайтесь, и чуть найдете человека с самым глубоким взглядом, таким, какого ни у кого нет, то смело подходите, это он”. Между прочим, женщина, давшая такое описание Достоевского, сама виделась с ним один раз.

Знаменитый критик Георг Брандес не был знаком с Достоевским, не встречался с ним, а знал его только по портретам. От изображений Достоевского у него было сильнейшее впечатление. “Вглядитесь в лицо Достоевского, - писал он Ницше, - наполовину лицо русского крестьянина, наполовину - физиономия преступника, плоский нос, маленькие буравящие глаза под веками, дрожащими от нервозности, этот большой пластически вылепленный лоб, выразительный рот, который говорит о бесчисленных муках, о глубокой, как пропасть, скорби, о нездоровых страстях, о бесконечном сожалении и страстной зависти. Эпилептический гений, сама внешность которого уже говорит о потоке кротости, которая переполняет его душу, о приливе почти безумной пронизательности, которая озаряла его голову, наконец, о честолюбии, о величии стремлений, о недоброжелательстве, порождаемом мелочностью души.

Его герои не только бедняки и лица, достойные сожаления, но и простодушные, тонко чувствующие люди, благородные проститутки, часто люди галлюцинирующие, одаренные эпилептики, воодушевленные искатели мученичества, именно те типы, которых мы предполагаем в апостолах и ученых ранней христианской эпохи. Конечно, нет душ более отдаленных от Ренессанса, чем эти”.

Лицо Пушкина или Толстого нас также привлекает соответствием их творениям. Но тут, как правило, дело ограничивается выражением восторга и преклонения.

Лицо Достоевского вызывает не только такие чувства - оно, кроме того, озадачивает своей смятенностью, благолепием и исступленностью, притаившейся тишиной, за которой скрывается буря.

Среди современников Достоевского ходили рассказы о нем как о человеке резком и негостеприимном. В последние годы жизни ему, разумеется, приходилось и отбиваться от праздных корреспондентов и посетителей, как это бывает вообще со всяким знаменитым и популярным человеком. Все-таки и в этом смысле Достоевского как-то выделяли, выставляли в невыгодном свете, как человека неделикатного и неучтливового. Писательница Смирнова-Сазонова сделала такую запись в своем дневнике 5 февраля 1880 года:

“Только что села заниматься с англичанкой, приходит Достоевский. Жалуется на то, что никак не может всем угодить. Праздные и ничтожные люди отнимают у него время, да еще про него распускают слух, будто бы он при виде гостя идет к нему навстречу и спрашивает:

- Вы зачем, собственно, пришли?

Такую сплетню в лицо ему повторил Полонский, который с приездом Тургенева перестает его звать к себе”.

Жалоба Достоевского понятна. С другой стороны, трудно обвинять тех, кто, подобно Полонскому, распространяя слухи о его негостеприимстве, делал это из одного недоброжелательства к нему. Достоевский и в самом деле был угрюм, погружен в себя, в свои мрачные думы - значит, и неприветлив. Все же тут не было и намек на позу высокомерия. Удивительный, так соответствующий его внутренней настроенности, портрет Федора Михайловича оставила нам Анна Григорьевна.

Вот что записала Анна Григорьевна, спустя два года после смерти Федора Михайловича, - 26 мая 1883 года: “Я должна сделать одно замечание: ни один человек в мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович в первое наше свидание. Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу; человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда. Когда я вышла от Федора Михайловича, мое розовое, счастливое настроение разлетелось как дым... Мои радужные мечты разрушились, и я, очень печальная, подавленная чем-то, шла по улицам”.

Такое впечатление от первой встречи с Федором Михайловичем, своим будущим мужем, она пронесла через всю свою совме-

стную с ним жизнь. Это можно объяснить разве только тем, что он существенно ни в чем не менялся, оставаясь все таким же, каким она увидела его в первый раз. Сама обстановка в его доме с первого посещения угнетающе подействовала на нее.

“Служанка просила меня сесть, сказав, что барин сейчас придет. Действительно, минуты через две появился Федор Михайлович, пригласил меня пройти в кабинет, а сам ушел, как оказалось потом, чтобы приказать подать нам чаю.

Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно и безмолвно, чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины”.

Квартира у Достоевского, как и у Раскольникова, была под номером тринадцать.

Анна Григорьевна внимательно вглядывалась в Федора Михайловича. К этому времени он уже был ее любимым писателем.

“С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это глаза: один - карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины не заметно (ранение правого глаза во время припадка). Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно, потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах)”...

- Как, однако, все это странно, и что такое любовь? - спрашивала вслух Губанова и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Губанова ощущала себя какой-то другой, счастливой женщиной. С утра начался было дождь. Рассчитывая показатели баланса фабрики на компьютере, Губанова с испугом смотрела в окно на мокрых ворон и серый забор. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо фабрики автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

Губанова думала, придет Шумаков или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет обнимать и целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашний золотистый костюм, завила немножко волосы, навела макияж и надушилась. Все пышное тело ее сильно потело.

Когда она шла по городу, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только пройдя площадь Розы Люксембург, она вздохнула свободнее. Было тепло, асфальт был сух, солнце опускалось в багровую дымку. У траншеи, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Губанову, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя на аллею, ведущую к стадиону, Губанова не понято почему испугалась, что Шумаков может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдаль показались футбольные ворота. Никого не было возле поля, и Губанова обрадовалась. Она какое-то время передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагретой за день стены спортзала шел жар.

Пришел мальчишка с мячом, стал им жонглировать неподалеку. Губанова, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали машины, шофера посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Наконец мальчишка, наступавшись, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. "Он догадался! - краснея, думала Губанова. - Хорошо, что он не с фабрики!"

Она спряталась за рекламным щитом, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на бадминтонный воланчик. Губанова стала отрывать лепестки! "Придет, не придет..." Вышло - не придет. Хуже всего было, что Губанова не знала, откуда придет Шумаков. Она вставала, выходила к дороге, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда вдруг раздался вой автомобильной сирены и на беговую дорожку стадиона вкатил, переливаясь огнями, белый милицейский

“форд”. Он лихо остановился, из двери показался в форме капитана Шумаков. Подойдя, он с напряженным вниманием оглядел Губанову, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней.

Они обошли здание спортивного зала и сели на теплом бугорке, лицом к реке. Солнце заходило, река отсвечивала серебром.

- Благополучно вчера дошли? - спросила Губанова, быстро взглядывая на Шумакова и сочувственно, понимающе улыбаясь.

- Нормально... - Шумаков зевнул и снял форменную фуражку. - Не выспался только.

- Алексей, вы вчера были нехороший, - мягко заметила Губанова.

- Таня, что ты... Бывает! - Шумаков равнодушно обнял Губанову, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

Он отодвинулся и устроился поудобнее, разбросав ноги в сапогах, положил голову Губановой на колени. Полежав несколько минут с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Таню за аппетитный бок.

- Тань, чего это ты толстая такая?

Губанова перестала на минуту дышать и непроизвольно покраснела.

- Неприлично делать такие замечания... Человек не виноват, что он выглядит так, а не иначе, - насильно улыбаясь, выговорила она.

- Ну, виноват! Наверно, больная чем-нибудь. Сейчас, глупенькая, от ожирения лечат.

Губановой почему-то стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала комок в горле, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

- Алексей, почему вы такой грубый! По-видимому, оттого, что вы совершенно ничего не читаете! - резко воскликнула она. - Или вы думаете, что со мной все можно? - Она резко отвернулась и стала медленно краснеть: - Не смейте так говорить со мной! Слышите! - Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя на реку, шевельнула коленями. - И уходите!

Шумаков смущенно сел.

- Таня, Танюша, ну, ну... - забормотал он. - Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел - честное слово! Это по работе - привыкнешь.

- Нет, прошу прощения, не по работе, - уже спокойно, грустно проговорила Губанова и опустила голову. - А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

- Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Шумаков поднял голову и сплюнул.

- Ох, и любят же женщины воду мутить! - Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его крупной ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, простоватого лица веяло чужуной силой.

Губанова дрожащей рукой стала перебирать волосы Шумакова, жадно глядела на него, все еще стыдясь и краснея.

- Алексей... Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая. Вам только, не обижайтесь, элементарной культуры не хватает, - проговорила она еле слышно.

- Для того чтобы... делать детей, культуры не требуется! - произнес он нагло, но вдруг прислушался. - Обожди! - Он поднял голову и сел, опираясь рукой о ее колени.

Из-за спортзала по асфальтовой дорожке, тихо разговаривая, шли двое.

- Капитан Шумаков?

- Ну... - испуганно сказал Шумаков.

- Мы за вами, - сказал один, быстро подошел и показал удостоверение уголовного розыска.

Шумаков в страхе торопливо встал, отряхнулся и надел фуражку.

Потом, кашлянув, протянул руку Губановой.

- Ну, пока! Еще когда увидимся... - Отвернулся и, прихлопывая себя зачем-то по карманам, пошел за двоими.

Совсем стемнело. Сбоку вылупилась тонкий месяц, от реки к стадиону пополз прозрачный туман...

Странность Достоевского сказывалась буквально во всех мелочах. Он был весьма возбужден - "то садился за свой письменный стол, то расхаживал по комнате и курил, часто гася папиросу и закуривая новую". В разговоре ни на чем не мог сосредоточиться - "то и дело переходил на новую тему". Вообще у него был "разбитый и больной вид. Чуть ли не с первых фраз заявил, что у него эпилепсия и на днях был припадок, и эта откровенность меня

очень удивила”. Началась диктовка - Достоевский хотел проверить, хорошо ли подготовлена Анна Григорьевна как стенографистка. Он торопил ее, говорил, что она слишком медленно пишет. И всем был недоволен. “Просматривая переписанное, Достоевский нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак, и резко мне об этом заметил”.

Потом заявил, что диктовать не в состоянии, - и этим как бы признал, что в неполадках записи виноват он, а не она.

Прощание было уже совсем странное.

“- Я был рад, когда Ольхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?

- Почему же?

- Да потому, что мужчина уж наверно бы запил, а вы, я надеюсь, не запьете”.

Четырнадцать лет прожила Анна Григорьевна с Федором Михайловичем, и он оставался всегда таким, каким увидела она его в утро первой встречи. Хорошо узнав его, она писала, что в характере ее мужа “была странная черта: вставая утром, он был весь как бы под впечатлением ночных грез и кошмаров, которые его иногда мучили, был до крайности молчалив и очень не любил, когда с ним в это время заговаривали. Поэтому у меня возникла привычка ничем по утрам его не тревожить (как бы ни были важны поводы), а выждать, когда он выпьет в столовой две чашки страшно горячего кофе и пойдет в свой кабинет. Тогда я приходила к нему и сообщала все новости, приятные и неприятные”.

Пророчествовать - не обязательно предсказывать, предрекать. Пророчество - прежде всего сила воли, постоянно принуждающая человека отбрасывать меркантильные интересы и служить слову (логосу) и, стало быть, восходить к бессмертию. Ибо слово, логос, литература - бессмертны. Таким свойством в избытке обладал и Достоевский, наряду с Пушкиным, сказавший о человеческом уме, что он “не пророк, а угадчик”. Речь Достоевского о Пушкине действует не столько силой доводов, сколько нервом, непреклонностью и возвышенностью духовных идеалов, в ней сформулированных.

Великолепный портрет Достоевского дан в воспоминаниях Венгерова, слышавшего чтение Достоевского на большом литературном вечере. “Достоевский в полном смысле слова пророчествовал. Тонким, но пронзительно-отчетливым голосом и невырази-

ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

мо захватывающе читал он одну из удивительнейших глав “Братьев Карамазовых” - “Исповедь горячего сердца” - рассказ Мити Карамазова о том, как пришла к нему Катерина Ивановна за деньгами, чтобы выручить отца. И никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека...”

Губанова села на лавку невысоких трибун стадиона, подняв вверх лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, что настроение улучшится, но лучше не становилось. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела, окаменев, лишь где-то внутри ее отдаленно звучало:

Когда б имел златые горы
И реки полные вина,
Все отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна...

“Наша улица”, № 12-2002

Комментарии

Нина Краснова

ПРОЩАНИЕ СО “СЛАВЯНСКИМ БАЗАРОМ”

“Избушка на елке” - это роман не о елке и не об избушке на ней, не о елочной игрушке, которая осталась у главного героя от бабушки, это серьезный роман, с глубокой философией, с глубокими, как старинные подвалы, подтекстами в тексте.

Но все же есть там и елка и избушка на ней. Как поэтический символ, связанный с детством и с историей предков главного героя по фамилии Фелицын (которая ассоциируется с Фелицей Державина). Главный герой родился и “провел свое детство” там же, где и сам автор романа, “в комнате, в которой (когда-то, в XIX веке) квартировал (лакей) Чикильдеев” (литературная фигура, персонаж Чехова), в доме № 17 по улице 25 Октября, “иначе говоря, в бывшем “Славянском базаре”, в Москве.

ЗИМНЯЯ МОСКВА В ПРОЗЕ КУВАЛДИНА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ”

...Я не знаю из писателей никого, кто бы описывал и показывал в своих произведениях зимнюю Москву лучше, чем Кувалдин.

Он делает это так, что даже какой-нибудь папуас, который живет в Новой Зеландии, или африканец из племени нанбу-нунбу, который живет в Африке и никогда не видел зимней Москвы, представит ее себе так, будто он знает, что такое зимняя Москва, и полюбит ее сильнее, чем кто-то любит жаркие круглогодичнолетние страны, где всегда лето и лето, лето и лето... без смены времен года, без смены “кинокадров”, как будто у оператора заело кинокамеру.

Вот всего один кусочек зимней Москвы из романа Кувалдина “Избушка на елке”:

“За окнами виднелись желтые старомосковские особняки, снежные крыши, как будто их укрыли чистыми накрахмаленными простынями. От этого будничным, тоскливым денек казался светлым. Переулки тонули в сугробах. Был виден переплет церков-

ных окон, где стекла запотели от дыханий. А снег все кружился, медля в воздухе, падал, как будто сыпалась из огромного сита мука на мельнице вечности. Прекрасны в такие снежные дни улочки, переулки, площадки, дворы, тупики старой Москвы. Прекрасен их тихий, пряничный вид, навевающий мысли о теплых уютных комнатках с абажурами и этажерками, с приятным гулким перезвоном настенных часов. Беспричинная радость влетает в сердце от этих упоительных картин, дополняемых черной фигурой памятника, виднеющегося за белоколонным домиком в дали бульвара...”.

Когда ты читаешь это, тебе так и хочется войти в этот чистый, мягкий, уютный пейзаж и стать деталью этого пейзажа, оказаться внутри него и идти по зимней Москве, по ее снежным переулкам, улочкам, переулочкам, площадкам, дворам и тупикам, мимо старомосковских особняков, мимо домов, в которых светятся окошки с уютными комнатками, с абажурами и этажерками и с приятным перезвоном настенных часов, и тебе так и хочется заглянуть в эти окошки, из одной реальности в другую... и тихая беспричинная радость охватывает тебя...

И когда герои Кувалдина, Фелицын и его сын Павел, одеваются и идут прогуляться уже не днем, а вечером по улице, тебе тоже хочется прогуляться с ними за компанию, по снегу, который хрустит под ногами, и посмотреть на небо и найти падающую звезду.

“- Здорово, что зима у нас есть, - говорит Павел.

- Почему?

- Надоест одно лето, лето, лето!

- Природа наша меняет виды. Чтобы нам не наскучить. Где-нибудь в Буркина-Фасо - лето, лето...”

Правда, хорошо, что у нас есть зима.

Как не согласиться с героями Кувалдина?

И хорошо, что у нас есть такие художники, которые могут нарисовать ее. Чтобы ты мог любоваться ею и летом, и осенью, и весной, в любое время года. И хорошо, что у нас есть такой художник слова - Юрий Кувалдин, который рисует словами, как художник кистью, так, что все оживает под его пером.

А как он рисует предновогоднюю Москву, с елкой, с шарами и конфетами на ней, с серпантином, с серебряным дождем, с запахом хвои, с предощущением праздника, в котором есть что-то от детства.

“Скоро Новый год, нужно покупать елку. Предчувствуя ясный веселый праздник, Фелицын поехал от накатившей на него сладостной волны...” Сладостная волна накатывает при этом и на читателя.

Новый год должен бы напоминать людям о том, что они становятся старше на один год, как в дни рожденья. Но почему-то в Новый год люди забывают о своем возрасте и чувствуют себя молодыми (даже и старые) и даже чувствуют себя детьми.

И Кувалдин очень точно подметил это и выразил это через своего героя Фелицына.

Фелицын “вдруг вспомнил, что (он) еще молод, что (у него) все еще впереди... Листки календаря мелькали будто не для него. Детство было рядом, стоило лишь протянуть руку”.

Фелицын по роману и правда молод, ему всего 39 лет, но ведь и в 39 лет человек может чувствовать себя немолодым, как и в 20. А перед Новым годом и в Новый год он чувствует себя молодым.

В каждом человеке живет ребенок, даже если ему уже очень много лет.

И в каждом из героев Кувалдина живет ребенок. И вот почему они с такой радостью наряжают елку.

“Елку устанавливали в большой комнате между письменным столом Сережи и диваном. Письменный стол был заставлен радиоаппаратурой...”

- Будем вешать (на елку) только шары! - сказала Ольга, распаковывая коробки с елочными украшениями, извлеченные из пыльных антресолей...”

Ах, как притягательны и загадочны эти пыльные коробки с елочными украшениями, которые пролежали на пыльных антресолях целый год! Так и кажется, что в этих коробках находится что-то такое волшебное, от чего жизнь делается светлее и радостнее. Так и будет, если из коробок достать игрушки и повесить их на елку.

“- А избушку? - спросил Павел.

- Избушку обязательно! - сказал Фелицын. - Ее маленький дедушка вешал на елку еще в конце прошлого века!

Избушка была из картона и ваты. Избушка на курьих ножках...”

Я не знаю почему, но меня слезы прошибают в этом месте романа. Почему? Ведь ничего такого драматичного в этом месте нет. Наоборот - очень веселая картинка...

А почему же тогда у меня от нее слезы на глаза наворачиваются? Я вспоминаю, как я, маленькой девочкой под Новый год приходила из школы-интерната домой, в подвал около площади Ленина, с пакетом гостинцев, который мне дарили в школе на утреннике, с конфетами в разноцветных фантиках, с пастилой, с трехслойными мармеладками, с маленькими мандаринчиками, с печеньями, с фигурными пряниками-жамками (белочками и петухами), не съедала их там же, в школе, как почти все другие дети, а несла домой, своей маме, своим братьям и сестре, и наряжала с ними елку в углу комнаты, около окна, и вешала на нее вместе с шарами - свои гостинцы, конфеты, пастилу, мармеладки, мандаринчики, печенья, пряники, сделав на них петельки из ниток... И ждала Нового года, как ждут счастья, и уже в этом и было само счастье.

“Блестящие большие голубые, бордовые, зеленые шары, посыпанные матовой стеклянной крошкой по “экватору”, с наклеенными перламутровыми цветами-аппликациями, Ольга не доверяла никому, вешала сама. При этом лицо ее было таким серьезно-радостным, что казалось, отними у нее эти шары, - она расплачется, как девочка”.

С каким же удовольствием Кувалдин разглядывает и обрисовывает все эти шары, и какой они посыпаны крошкой, и какие на них наклеены цветы-аппликации... Он разглядывает их как ребенок и с таким же интересом, как ребенок. И показывает их нам, своим читателям, чтобы и они, мы, полюбовались ими. Эти шары так и хочется подержать в руках.

“Павел подвешивал на нижнюю ветку избушку, нечаянно качнул елку, один шар сорвался и разбился. Ольга вскрикнула, открыв рот в испуге, и дала Павлику затрещину. Павлик скривил губы и заплакал.

- Не лезь, куда тебя не просят! - Ольга принялась подбирать осколки. Ей мешал кот Васька, бил лапой по ее руке, думая, что с ним играют”.

Шары бьются к счастью, как и посуда. И осколки шаров у Кувалдина, как ни странно, тоже создают атмосферу предновогоднего праздника, в которой принимает участие и кот Васька, похожий на мою Муську и на моего Барсика, Томаса и Джонсона, которые жили во времена моего детства в моем рязанском подвале, где жила и я.

...Если пройти по всем другим произведениям Кувалдина, то во многих из них мы найдем зимнюю Москву, в том числе и предновогоднюю, и найдем предновогоднюю елку как символ праздника детства и символ предсчастья. Эта тема с разными вариациями звучит у Кувалдина в его произведениях, как какой-нибудь вальс-фантазия Глинки или как музыка Свиридова “Метель”...

ПЕРВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ
В ПРОЗЕ КУВАЛДИНА
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ”

Книга Юрия Кувалдина “Избушка на елке”, состоящая из романа “Избушка на елке” и из двух повестей - “Месть” и “Беглецы”, вышла в 1993 году, тиражом 35 тысяч экземпляров, в издательстве “Советский писатель” (кстати сказать, это была последняя книга этого издательства до того, как оно превратилось в “Современный писатель”, а потом опять в “Советский...”). Я прочитала ее первый раз только в 1999 году, когда сам автор подарил мне ее.

И помню, какое сильное впечатление она тогда произвела на меня. Она потрясла меня, как вулкан Везувий и как предыдущая книга Кувалдина же “Философия печали”, разрушив во мне иерархию имен писателей, эту вавилонскую башню, которая сложилась во мне под влиянием средств советской массовой информации. Я поняла, что наверху этой иерархии находились в большинстве своем не те имена, которые должны были находиться там. И внесла туда имя Кувалдина.

Я читала его книгу запоем, с карандашом в руке, подчеркивала интересные для меня места, слова, строчки, мысли, чтобы закрепить их и чтобы потом легче ориентироваться в книге... но интересным в ней было для меня все, и я исчеркала ее так, что в ней не осталось чистых страниц.

...И вот недавно я перечитала ее... и... читала так, будто читаю первый раз... Потому что все в ней было для меня опять не только интересным, но и как бы новым. “Что за чудеса? - удивилась я. - Я читаю ее так, будто не читала раньше. Я вижу в ней то, чего не видела раньше”. И я поняла вот что. У Кувалдина (как, например, и у Чехова, и у Булгакова, и у Платонова, и как у каждого крупного писателя) в каждой его вещи - не один, а несколько планов, не только первый, но и второй, и третий, и целая система подтекстов. И читателю, чтобы видеть и воспринять все это, надо быть очень развитым, очень продвинутым в литературном и культурном отношении. Если ты развит

не до такой степени, до какой этого требует проза Кувалдина, то ты видишь и воспринимаешь (в лучшем случае, и то не всегда) только один - первый план этой прозы, но не воспринимаешь второй, третий и так далее и не видишь всей ее художественной красоты. А чем ты развiteе, тем больше планов ты в ней видишь и воспринимаешь и тем лучше понимаешь и чувствуешь его прозу и ее художественную красоту.

Наверное, за пять лет я стала в чем-то развiteе, если сейчас, например, в романе "Избушка на елке" мне открывается все, что не открывалось раньше, как файлы на дискете, и философия романа, и вечные темы добра и зла, любви, жизни и смерти, и тема Москвы с ее улицами и с ее историей. И если раньше я читала этот роман как учебник по высшей математике, то теперь читаю почти как букварь. И испытываю новое для себя наслаждение.

В "Избушке на елке" реальная жизнь, которая называется первой реальностью, сосуществует, соседствует и идет рядом с параллельной реальностью (что характерно для всех произведений Кувалдина).

Сотрудник КБ Игорь Фелицын, тридцатидевятилетний инженер отдела турбогенераторов, коренной москвич, который родился в "Славянском базаре", в доме № 17 по улице 25 Октября (до Октября и в наше время - Никольской), и который считает, что тело человека это генератор его духа, отправляется на микроавтобусе, на "рафике", с инженером котельного отдела Кашкиным и шофером Зинэтулой в командировку, в провинциальный город, на ТЭЦ, для внедрения там одной из разработок КБ, останавливается со своими коллегами в гостинице. Кашкин неожиданно умирает там, прямо в номере, в постели. Его везут назад в Москву, хоронить. Командировка срывается. Вот и все, вот, в двух словах, и весь сюжет, его голая конструкция. Нет в романе ни интриг, ни авантюры, ни приключений... Но не ими сильна русская проза и проза Кувалдина, а типами и характерами героев, образами, художественным воплощением вечных тем и проблем, художественной содержательностью, самой своей фактурой, текстами с подтекстами, языком.

Кувалдин показывает первую реальность, в которой живет его главный герой Игорь Фелицын... КБ, куда он ходит на службу, столовую, куда он ходит обедать, людей, которые окружают его, например, начальника Микуло, который "в свои 70 лет... выглядел на пятьдесят, говорил (со всеми своими сотрудниками) на повышенных тонах" и подавлял всех своей властью и который попал в больницу с инсультом, но и оттуда продолжает давать указания своим подчиненным (он из тех начальников, которые будут давать их "даже из могилы")... или, например, инженера Кашкина, который носил не "куртку на синтетическом меху", как Фелицын, а немодное "драповое пальто", "барашковую с проплешинами папаху", "жеваную" рубашку и носки с дырками и который "часто курил, гасил окурки о спичечный коробок" и "говорил что-то не подходящее ни ко времени, ни к обстановке, например: "Мы такие же жалкие, как миллион лет назад"... или, например, шофера Зинэтулу, который говорит о себе, что он когда-то "маленький был, без забот", а теперь "я тоже маленький, если смазчик колес, но с заботами. Дочку замуж выдавать надо. Деньги надо. Свадьба играть надо. Жених (у дочки) хороший. Ваш, русский, а не пьет!"... Показывает автор и дорогу, по которой едут его герои, в сугробах и колдобинах, и "ржавый домкрат у пробитого колеса"

машины... и провинциальную “дыру”, в которую заехали герои, и провинциальную гостиницу, в которой периодически гаснет электрический свет и всем приходится пользоваться керосиновой лампой...

И в то же время автор показывает вторую - параллельную - реальность, в которой пребывает Фелицын, куда он улетает в своих мыслях. - Это подробные и осколочные воспоминания о детстве, о Москве 50-х годов, о том, как он маленьким мальчиком, в два года, сидел на живом удаве, в живом уголке фокусника Аристарха Ивановича, когда попал к нему домой, в подвал, в гости, и как он маленьким мальчиком играл в песок возле Кремлевской стены, в Александровском саду, где еще не было могилы Неизвестного солдата, и как он взбирался на стену Китай-города и бегал по ней, и как он учился в школе № 177 на улице Никольской и ему нравилась его учительница, “брюнетка” со “взбитыми и завитыми” волосами, которая пахла духами, и нравилась девочка Нана, с голубыми глазами и с “золотистыми волосами, заплетенными в две косы”...

Автор рисует картины, которые возникают перед глазами Фелицына: ...Александровский сад... маленький Фелицын в песочнице, с игрушечным грузовиком для песка...

“Славянский базар”, арка подворотни с двойными толстыми колоннами по бокам. Вернее полуколоннами, которые выступали как бы из стены дома”, “двор, парадный подъезд с лепным потолком, широкие лестничные клетки, длинные коридоры...”, “за занавесками... матерчатый абажур с кистями”... на крыльце “венский стул, потертый с облупившимся лаком”, на стуле слепая пожилая женщина в мужском пиджаке... в подвале комната Аристарха Ивановича - “деревянные застекленные ширмы в восточном духе, какие-то причудливые вазы на полу... какие-то золотые с вытянутыми горлами кувшины... огромный, как трон, стул с высокой спинкой, на которой сидел зеленый с красным хохолком попугай”... Аристарх Иванович, “седобородый” старик, в длинном красном халате, подпоясанном золотистым кушаком, в берете и с искривленной трубкой в зубах”...

Лужники.

Трибуны стадиона.

Футболисты ЦСК МО (ЦДКА-ЦСК МО-ЦСКА) в синих трусах и красных футболках...

Специалистка по футболу Машка, “растрепанная женщина с испитым лицом, в детском коротком пальто, с дерматиновой хозяйственной сумкой... на согнутой руке”...

Хулиган и драчун Мореев, он подстерегает Фелицына во дворе и выколачивает из него деньги на мороженое... Сын дворничихи Сережа Лавров, “бледный худой мальчик с вялыми движениями”, у него дома, в комнате, которая была еще меньше, чем у Игоря, и походила на “денник для коня, который Игорь видел в деревне”, ребята смотрели диафильмы... Садово-Кудринская улица, Никольская улица, Охотный ряд... Дедушка Фелицына, в “зеленовато-коричневом френче с большими карманами”, в “светло-сером габардиновом пальто”, в “широкополой фетровой шляпе”... Он брал в руку “трость с медным набалдашником и шел прогуливаться по тихому переулку. Иногда он кормил голубей”...

Детство Фелицына - это детство самого Кувалдина, но в художественном преломлении и вольной интерпретации автора. Он как бы отдал свой биографический мате-

риал своему герою и на этом материале построил роман “Избушка на елке” и говорит в нем не от первого лица (“я”), а от третьего лица (“он”), как бы отстраняя от этого материала и от самого себя и глядя на себя и на свою жизнь и на свое литературное творение с некоей высоты, как Тарковский с Соляриса. Отчего роман получился даже более сильным и более впечатляющим, чем если бы автор говорил в нем не от третьего, а от первого лица.

Я другого такого писателя не знаю, который умел бы так ностальгично нарисовать картины своего детства и картины Москвы времен своего детства... пропустив все это через своих героев как бы для того, чтобы не впасть в сентиментальность и чтобы не разводить слезы в сахаре.

Вторая параллельная реальность, в которой все время пребывает Фелицын, и по дороге в командировку, и в гостинице, и на ТЭЦ, это воспоминания о своей жене, о своем сыне, о своей семье и семейной жизни.

Жена у Фелицына - этакий начальник Микуло в юбке, “деспотичная... особа”, с армейско-казарменными замашками, Ольга, которая старше него и которая до него уже побывала замужем. “Фелицыну (с юных лет) почему-то нравились женщины, которые были старше него. В них он подозревал если не ум, то во всяком случае некую жизненную мудрость”. Теперь же он видел, что жена его “обыкновенная вздорная женщина, с обыкновенными потребностями”, “но не проклинал тот день, когда женился на ней, потому что в Ольге что-то все-таки было”.

Они все время ссорились.

Она упрекала его за его маленькую зарплату, за пассивность и угрюмость, за то, что он не стремится к карьере, подавляла его и помыкала им. “С годами он привык к ее властности и все меньше и меньше реагировал” на нее, как и на ее маленькие ножки, которые он когда-то страстно целовал, а теперь смотрел на них с равнодушием.

Он познакомился с ней студентом 4-го курса МЭИ. “У Ольги была... однокомнатная квартира в Черемушках и... пятилетний (сын) Сережа, который не выговаривал сразу несколько букв”. Фелицын выпил больше нужного, “комната Ольги показалась ему раем”. И он остался у нее ночевать, а потом и жить.

А потом у них родился свой сын, Павел...

Я другого такого писателя не знаю, который умел бы нарисовать семейную идиллию через семейную неидиллию между мужем и женой, показать, что одно не существует без другого, как добро не существует без зла, а хорошее без плохого, что в этом и заключается гармония жизни, и семейной, и любой другой.

В художественной разработке семейно-бытовых тем Юрий Кувалдин чем-то близок своему тезке Юрию Трифонову, но, на мой взгляд, превосходит его по всем параметрам, и по отсутствию тенденциозности, одноплановости и одномерности в изображении своих героев, и по степени психологизма.

Третья параллельная реальность, в которой пребывает Фелицын и которая соприкасается с двумя первыми и с непараллельной реальностью, это мир высоких материй, мир философии... размышления о добре и зле, о любви, о жизни и смерти...

“- ...Через сто лет никого из нас не будет. Черви земляные съедят нас. Что от нас останется? Посочувствуют ли нам потомки? Мы мельтешим, спорим, отравляем друг

другу жизнь, а она так мгновенна - семьдесят оборотов (Земли) вокруг Солнца, а то и меньше, - и (все мы уйдем) в яму. Мы всё (что-то) усовершенствуем, заводы строим, станции, а результат для всех один и тот же - смерть! И никто из живущих никогда серьезно о ней не говорит, как будто это его не касается! ...Почему я родился? Ведь могло же меня не быть! Не было бы (меня), а станции работали (бы). Без меня вращались бы генераторы...” - говорит Фелицын своей жене, которая возится на кухне, и он спрашивает у нее:

“- Ты не задумывалась об этом?

- Заткнись! Иди мясо готовь!” - орет на него жена. Ей не до высоких материй.

Но эти высокие материи все время соприкасаются, пересекаются и совпадают с низкой первой реальностью и лежат прямо под ногами героев, как простыня, на которой умер Кашкин, как одеяло, в которое его завернули и отнесли в автобус, потому что там врач, ни милиция не хотели забирать его из гостиницы...

- Разве вы его не заберете? - спросил Фелицын у врача, которая переписала в свою тетрадь данные Кашкина, и удивленно кивнул в сторону комнаты, где лежал покойник Кашкин.

- А зачем? Нам он теперь не нужен, - сказала врач и взялась за ручку двери.

“Наступила пауза. Слышно было, как капала вода из крана в титане”.

Простая вода в титане становится в этом эпизоде никем не пролитыми слезами по Кашкину, у которого нет ни жены, ни детей, ни родных, ни близких, никого, кто оплакал бы его.

- Э-э-э... Как же нам с ним (быть)? - растерянно спросил Фелицын.

- Звоните в милицию, - сказала вяло врачиха и вышла.

Через некоторое время в гостиницу приехала милиция. Лейтенант написал “нужную в таких случаях бумагу”... и “тоже было собирался удалиться”, но Фелицын спросил у него:

- Что же, он так и будет здесь лежать?

“Лейтенант быстро пробежал взглядом по Фелицыну и проговорил:

- Мы не берем... Кабы вот, к примеру, на дороге какой валяется или какой пьяный где лежит - так мы берем. А этот нам не нужен. Он не местный. Не нужен нам”.

Люди, оказывается, никому не нужны. Ни живые (в том числе и те, которые пьяные на дорогах валяются), ни тем более мертвые.

Трагическая сцена с Кашкиным, с которым заварилась такая каша, здесь превращается как бы в комическую и достигает своей кульминации в эпизоде с одеялом, в которое Фелицын, Зинтула и певец без имени завернули труп и унесли в машину.

- А где одеяло? - спросила дежурная у Фелицына, когда он вернулся в холл.

- Как где? Там (в машине)!

“У дежурной было такое выражение лица, что она хоть и сочувствует (товарищам Кашкина и самому Кашкину), но за сохранность имущества постоит. Она сказала:

- Так оно сорок рублей стоит!”

И потребовала вернуть ей одеяло.

Одеяло (это общественное имущество) стоит сорок рублей, а человек (этот общественный продукт) ничего не стоит, тем более если он уже труп. А одеяло как художе-

ственная деталь в романе Кувалдина дорогого стоит - это ценнейшая художественная находка, как и нога трупя, которая высунулась из-под одеяла, когда товарищи тащили Кашкина в автобус.

Юрий Кувалдин во всех своих книгах много думает и много говорит о смерти, о которой избегают говорить не только простые смертные, но и писатели, как будто их это не касается и не волнует.

Я не знаю другого такого писателя нашего времени, который бы так серьезно думал и говорил о смерти, как Кувалдин, и так много и так мужественно и так небанально.

“...чтобы казаться самим себе счастливыми, мы вовсе не думаем о смерти, мы вычеркиваем ее из (своего) сознания, как будто мы бессмертны”, - думает Фелицын, а через него сам Кувалдин. “И ему... почему-то показалось, что его тоже могут завернуть, как полено, в одеяло и таким же образом, уронив, затолкнуть в автобус”.

Фелицын думает, за что же ухватиться человеку в этой жизни, за какую соломинку, чтобы почувствовать себя не смертным, как если бы приговоренным к смерти, а бессмертным? И хватается за свою семью.

“И вдруг радость окутала душу Фелицына. Он вспомнил сына, жену, Сергея (своего пасынка), (свою) квартиру (свой дом), кота Ваську, прыгающего по утрам (хозяину) на голые ноги, когда идешь умываться, вспомнил свой письменный стол в маленькой комнате, аквариум с рыбками, вспомнил родное и близкое”... и почувствовал себя бессмертным, “потому что только бессмертные могут иметь в квартире котов и рыб (которые, между прочим, тоже смертны, как и люди)”. Фелицын сводит свои размышления о жизни к шутивому концу, потому что “шутливое отношение к жизни - самое верное”, считает он.

Но Фелицын это не двойник и не клон Кувалдина и его нельзя отождествлять с самим Кувалдиным, хотя тот и сделал этого героя во многом по своему образу и подобию и вложил ему в голову свои мысли и выстроил его жизнь из кусков своего биографического материала.

Кувалдин, чтобы стать бессмертным, ухватился не за юбку своей жены и не за хвост своего кота, а за литературное творчество, за Логос, за Слово и пишет свои книги.

И поэтому же он решил издать собрание своих сочинений, благодаря которым и в которых весь он не умрет. Потому что только Логос бессмертен, только Слово.

...Есть в “Избушке на елке” и много других параллельных реальностей... история жизни деда и так далее, история государства Российского и так далее... микро- и макрокосм и так далее... Чтобы написать обо всем, что есть в этом романе, не уложишься и в несколько книг такого объема, как это произведение, в котором всего 200 страниц.

Избушка из картона и ваты, избушка на курьих ножках, елочная игрушка, семейная реликвия, которая досталась Фелицыну от бабушки и которую в конце романа Павел повесил на елку, связывает в романе все реальности в одну и становится эстафетой бессмертной жизни, которая переходит от деда к внуку, от внука к сыну внука... Такой символ не только семейного, а - шире - фамильного, родового счастья, волшеб-

ный теремок, в котором живут и будут всегда, то есть вечно жить и предки Фелицына, и предки предков, и потомки предков, и потомки потомков.

...Кувалдин написал “Избушку на елке” тридцать с лишним лет назад. Когда ему было... 27 лет. Как Лермонтову, который в 27 лет написал “Героя нашего времени”. А Астафьев в этом возрасте еще ничего не написал, кроме рассказа “Сибиряк” в 1951 году.

ЗАПАХИ И АРОМАТЫ В ПРОЗЕ КУВАЛДИНА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ”

В чем состоит секрет прозы Кувалдина? Почему, когда читаешь ее, полностью переносишься в мир этой прозы, в мир его героев, и живешь в этом мире, как в реальном? Я думаю, один из секретов прозы Кувалдина состоит в том, что когда он пишет ее, он подключает к своей работе не только ум и сердце и всю свою душу, но и все пять органов чувств, которыми он наделен, как гомо сапиенс и художник: органы зрения, слуха, осязания, обоняния, вкусовых ощущений, а кроме того и шестое чувство, интуицию, подсознание. И создает свою прозу, пользуясь всеми шестью чувствами. И поэтому его мир на бумаге получается таким же реальным, как в жизни или как в кино. В нем есть цвета, звуки, запахи...

Если рассмотреть прозу Кувалдина на примере романа “Избушка на елке” и отметить для себя только, какие там есть запахи, сразу видишь, какое важное значение придает им автор и какое важное значение они играют в его прозе.

“В столовой пахло хлоркой и кислой капустой”. Только прочитайшь это, и тебе не надо объяснять, в какую столовую ты попал. - Ты даже с закрытыми глазами, по запаху хлорки (которой уборщицы когда-то мыли раковины на кухнях и толчки в туалетах), смешанному с запахом кислой капусты, понимаешь, что ты попал в общепитовскую столовую советского времени, 60-х - 80-х годов, причем в столовую низшей категории. А уж когда ты видишь в тарелке Фелицына - “рыбные щи” из этой капусты, не мясные, а рыбные (особый общепитовский “деликатес” того времени), ты невольно морщишь нос и понимаешь, почему Фелицын отказывается есть эти щи. Их даже собака жрать не стала бы. И даже божж, даже с голодухи. Лучше бы уж эти щи были пустые, “крестьянские”, чем вот такие - рыбные, да еще с запахом не только кислой капусты, но и хлорки, которая отравит любой аппетит.

А в комнате, по которой ходит ребенком маленький Игорь Фелицын, совсем другие запахи. Игорь “слез с табурета и... принялся расхаживать по комнате. Потрогал блестящие шпешечки на кровати, несколько раз останавливался у папиного письменного стола, листал книжки, от которых пахло шоколадными конфетами”. Запах книг у маленького Фелицына ассоциируется с запахом шоколадных конфет, то есть с чем-то очень приятным. И ты понимаешь без всяких комментариев, что книги уже притягивают и всегда будут притягивать к себе Игоря Фелицына, как ребенка шоколадные конфеты. Потому что у него с малого возраста появился на книги положительный условный рефлекс, по сигнальной системе Павлова.

А какие запахи сосредоточились в районе улицы Никольской, на которой вырос наш герой и к которой он идет мимо Третьяковского проезда? “З а п а х л о р о д н ы м д о р о м”. То есть - целым букетом родных запахов, этакой московской икебаной родных запахов, детством.

А “старые широкие паркетины” в квартире у Сережи Зайцева п а х н у т “ж е л т о й м а с т и к о й” (не коричневой, у которой не такой запах, как у желтой), а желтой. Каждый запах у Кувалдина имеет еще и свой цвет, свою стилистическую окраску.

А в подвале, где когда-то жил фокусник, п а х н е т “с ы р о с т ь ю и п о г р е б о м”. То есть полной заброшенностью и чем-то нежилым. И все это навеивает на героя тоску по исчезнувшему прошлому, которого нет ни в подвале, нигде. Оно осталось только в воспоминаниях героя.

А учительница начальных классов, Татьяна Евгеньевна, у которой волосы “взбиты и завиты”, “п а х н е т д у х а м и”. И эти духи потом, когда Фелицын вырастет, будут придавать его воспоминаниям о ней и о школе особый приятный, волнующий аромат.

А духи, которыми, “уходя на работу”, поливала свою комнату Нана, женщина, с которой он целовался, когда она была маленькой девочкой, а он был маленьким мальчиком, и в которой он разочаровался, когда стал мужчиной, наоборот, будут вызывать у Фелицына неприятные воспоминания и ощущения.

А песок, в который он играл в детстве около Кремлевской стены, этот “чистый, речной и чуть-чуть влажный после дождя” песок... от него “п а х л о в о д о р о с л я м и”, чем-то специфически чистым.

А Новый год “для Фелицына... ассоциировался с з а п а х о м х в о и м а н д а р и н о в”. С чем-то особенным, ярко-праздничным, необычным, подарочным.

А в провинциальной гостинице п а х л о “р а з д а в л е н н ы м и к л о п а м и”. И это говорило о том, что представляет собой провинциальная гостиница.

А дома у покойного Кашкина скопились свои запахи, которые говорили о том, что его жизнь не представляла из себя ничего хорошего. Когда Фелицын и Зинэтула “открыли внутренний замок (двери Кашкина) большим ключом, затем английский - маленький” и “распахнули дверь в темную комнату”, им “в н о с ш и б а н у л о г н и л ы м , п р о к у р е н н ы м , к и с л ы м с м р а д о м”.

От филармонического певца, который пришел в гостиницу с улицы, “п а х л о с н е г о м”. И это говорило о том, что на улице много снега, что на улице настоящая, классическая русская зима. А у героини Кувалдина в романе “Так говорил Заратустра” г у б ы п а х л и с н е г о м , то есть чем-то таким целомудренно-свежим.

Запахи в прозе Юрия Кувалдина характеризуют его героев, какие-то их черты и качества, невидимые вооруженным глазом, эпоху и время года, в которое жили или живут эти герои, атмосферу, в которой они пребывали или пребывают, место, в котором они находились или находятся, образ жизни, который они вели или ведут.

Запахи в прозе Кувалдина говорят о его героях и об их внутренней, а не только внешней стороне жизни и об их чувствах порой больше, чем слова, и заменяют собой целые страницы гипотетических комментариев к каким-то сценам и эпизодам.

И придают каждой вещи Кувалдина свой неповторимый аромат и окутывают каждую вещь своей неповторимой аурой.

У Есенина в одном стихотворении, в избе “пахнет рыхлыми драченами”, а в другом - сеном на лугу, а в третьем - хлебом и навозом. А у Кувалдина в “Избушке на елке” и в каждом сочинении, на каждой странице пахнет чем-то своим, в зависимости от того, о чем и о ком идет речь. И если читатель (даже и с плохим нюхом) закроет свои глаза, то он и с закрытыми глазами отличит произведения Кувалдина от произведений других писателей по одному только аромату этой прозы, в которой даже запах “кислой капусты и хлорки” эстетичен и высокохудожественен, как навоз в стихах Есенина.

КАНТИЛЕНА ПРОЗЫ КУВАЛДИНА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ”

Рассуждая о том, можно ли подделаться под стиль писателя и таким образом выдать свои сочинения за сочинения другого писателя или, наоборот, выдать сочинения другого писателя за свои, Юрий Кувалдин в своем эссе “Певец тихого Дона Федор Крюков” (“Наша улица” № 2 2005) написал: “Подделать можно все, что угодно, кроме тональности, кантилены”. Если она есть, добавлю я. Своя тональность, своя мелодия, своя кантилена есть далеко не у всех, даже и у поэтов, а тем более - у прозаиков. У Кувалдина она есть, в каждом его произведении, в том числе и в романе “Избушка на елке”. Причем она у него полифонична, как концерты Баха для двух скрипок с оркестром или симфонии Римского-Корсакова или Шостаковича, где есть и анданте, и аллегро, и аллегretto, и адажио, и скерцо, и лярго, и виваче...

Вот один из мотивов романа, который проходит по всем его страницам. Мотив детства, воспоминания о детстве. Который состоит из нескольких частей.

Одна из них - мотив, связанный со “Славянским базаром”.

В первых строках своего романа Кувалдин пишет о том, что его герой Игорь Фелицын (как и сам Кувалдин) “провел свое детство” в “Славянском базаре”, в комнате, “в которой квартировал Чикильдеев”, лакей, который упал на лестнице около подвала, на первом этаже, там, где когда-то падал и Фелицын, когда играл в казаков-разбойников... Кувалдин пишет о Чикильдееве так, будто этот Чикильдеев такой же реальный человек, как Кувалдин и как все люди, которые жили в “Славянском базаре”... Чикильдеев - такой же реальный человек, как литературный герой Кувалдина Фелицын. И - притом очень значительная фигура, хотя он и лакей, а потому что он литературный персонаж великого писателя Чехова и вошел в историю вместе с ним и с собранием его сочинений (а реальные люди, которые жили в “Славянском базаре”, умерли и не вошли в историю, а нереальный Чикильдеев вошел, вот в чем парадокс). Кувалдин пишет здесь о “Славянском базаре” как бы без патетики, не демонстрирует своей высокой любви к этому дому, скрывает ее за шуткой и улыбкой, как скрывает он за фамилией Фелицына свою фамилию, но при этом он указывает подробный адрес “Славянского базара” и тем самым дает читателям понять, насколько дорог ему этот дом и это место на земле, где рос герой романа “Избушка на елке” и сам автор.

Потом Кувалдин устами Фелицына, который сидит в провинциальной дыре, в провинциальной гостинице, при свете керосиновой лампы, говорит Кашкину и Зинэтуле про свой дом, в котором он провел свое детство:

“- Ведь это не просто дом какой-то, а “Славянский базар”!

- Вы в “Славянском базаре” жили?

- Ну да”.

Какая любовь Фелицына и самого Кувалдина к “Славянскому базару”, к Москве, к ее высоким символам слышится в подтексте этого текста!

И она - с разными вариациями - звучит на протяжении всего романа, в разных его местах, в том числе и там, где он рисует своим пером этот дом с его полуколоннами, лепнинами, аркой подворотни и ободранными дверями подвалов. И это нельзя подделывать.

Или вот еще один мотив. Мотив, связанный с удавом, этим страшным чудищем, на котором Фелицын, он же Кувалдин, сидел, когда был маленьким и когда ему было всего два года и он пришел не в зверинец, а в подвал к фокуснику.

“Однажды Фелицын просидел почти целый час на пятнистой, скользкой бухте удава (как на пуфе), не подозревая об этом”.

Дальше автор рассказывает и показывает читателям, как это произошло.

И в течение всего романа он время от времени возвращается к своим воспоминаниям об этом. Как, например, в той же гостинице, где он сидит с Кашкиным и Зинэтулой.

“- А вы знаете... э-э-э... я в детстве на удаве сидел, - задумчиво произнес Фелицын и увидел “Славянский базар”...

Удав не казался маленькому герою страшным зверем, который проглатывает животных и людей, а казался сначала просто мягким стулом, а потом просто домашним животным, не более удивительным, чем попугай на спинке стула, или даже не живым животным, а игрушкой с “леденцовыми глазами”.

У этого удава были “леденцовые глаза”, пишет Кувалдин. Не какие-то страшные, а вот такие... Через “леденцовый” эпитет автор передал наивный и художественный взгляд ребенка на удава и психологию ребенка, который ничего не боится, потому что он не понимает, в какой страшный и опасный мир он пришел (и это тебе не мир фокусника Аристарха Ивановича, в котором, правда, тоже вон какие сюрпризы тебя поджидают).

Из ребенка, который в детстве сидел на удаве и не испугался его, потому что даже не понял, на чем и на ком он сидит, из этого московского Маугли, должен получиться исключительный человек, который своей смелостью все города возьмет.

Мотив, связанный с удавом, исчезает на какое-то время, но потом опять появляется, через несколько глав:

“После того как не стало удава (с которым Аристарх Иванович выступал перед публикой), Аристарх Иванович придумал номер с собаками. Целая свора этих собак появилась у них с Евгенией Ивановной (женой Аристарха Ивановича)”.

Слава Богу, что удава не стало? Нет, Фелицыну жалко удава, который его не проглотил и даже не пытался это сделать и который стал для него таким милым символом детства, игрушкой с “леденцовыми глазами”.

В воспоминаниях о детстве у Кувалдина-Фелицына слышится мотив, связанный с Ломоносовым.

“Учительница, глядя на учеников блестящими, любящими глазами, спросила:

- Кто знает что-нибудь о Ломоносове?” (который учился в одной школе с ними и с Фелицыным и Кувалдиным, только в другое время, в другом веке).

Ломоносов представлялся школьнику Фелицыну “огромным, сгибающим голову даже под высокими потолками школы, озорным и своевольным, ломающим остальных - маленьким ученикам - носы”. И фамилия Ломоносов казалась Фелицыну поэтому очень грозной.

В праздники Фелицын читал на сцене физкультурного зала стихи Ломоносова о том, что “может собственных Платонов... Российская земля может рождать”.

Была в школе учительница по прозвищу Мырра, которая работала “на уровне ликбеза” и в своей методике и практике применяла к ученикам “телесные наказания”. “Что если бы в классе к Мырре попался Ломоносов, написал бы он тогда, под водительством Мырры, хоть одну парафрастическую оду?” - риторически спрашивал себя Фелицын.

И вот он стоит в коридоре, смотрит на “старинную лестницу с ажурными чугунными перилами” и думает: “Подумать только - по этой лестнице поднимался Ломоносов! Да еще какой-то известный - Третьяковский. Нужно у дедушки спросить - кто таков?”

Здесь кантилена Кувалдина звучит в стиле веселого аллегро, которое временами переходит в торжественный марш школьников московской школы № 177 с запевалой Фелицыным впереди, “первым учеником среди ребят”.

Когда-нибудь новые школьники будут смотреть на эту “старинную лестницу с ажурными чугунными перилами” и думать: “Подумать только - по этой лестнице поднимались Кувалдин и Ломоносов! Да еще какой-то известный - Третьяковский...”

Мотив, связанный с подвалом детства, напоминает “Старый замок” Мусоргского в его “Картинках с выставки”.

Фелицын решил спуститься в этот подвал, в котором люди “ниже покойников жили”, в “чудовищной яме”, на трехметровой глубине, и хочет посмотреть, что там теперь. Там нет ничего. “Какие-то доски, битое стекло, бумажные мешки... валялись на ступеньках вдоль стены. Крутая лестница вниз. Тишина. Фелицын спустился в подвал. ...Фелицын остановился на площадке и со страхом повернул голову в сторону длинного коридора. Холодный цементный пол, отполированный подошвами за многие годы. Высокий, как и прежде, сводчатый потолок, как в подземельях замков, с нависающими выступами арок. Коричневые глухие двери справа и слева. ...Можно было пройти по темному коридору, дернуть ручку двери своей комнаты, но Фелицына словно кто-то держал. Смущение овладело им, он бесшумно покинул подвал. По двору шли... двое... и громко о чем-то говорили... Для них здесь все чужое”.

Не возвращайтесь туда, где вам когда-то было хорошо, говорит Кувалдин. Но его так и тянет туда, где ему было хорошо.

Очень сильно и проникновенно звучит в романе Кувалдина мотив, связанный с московскими улицами, которые - все до одной - ведут его в мир детства и связаны с

воспоминаниями о детстве и приводят его то в “Славянский базар”, где он жил, то в школу № 177, где он учился, то еще куда-нибудь.

“Пойдем же, пойдем же по улице детства!” - говорит он сам себе и своему читателю в главе XXI. И повторяет и повторяет эту фразу через каждый абзац или через несколько абзацев, как строку поэзии, как рефрен, нагнетая и накаляя эмоциональную атмосферу. И идет то по одной, по другой, то по третьей улице, по Никольской улице, по Ильинке и так далее, которые все сливаются в одну длинную улицу детства, и показывает читателю все, что видит или видел когда-то, все, что сохранилось, и все, что не сохранилось.

“Дома с лепниной, узорные карнизы, замысловатые окошки. Каждый дом наособицу.

...Ходи, восхищайся! ...Здесь стоял первый в России печатный двор и была напечатана первая русская книга!..”

“Пойдем же, пойдем же по улице детства! Свернем в подворотню к китайской стене...”

“Пойдем же, пойдем же по улице детства!” Пойдем на Красную площадь, где проходили демонстрации, играл оркестр, “лязгали медные тарелки, базили и сверкали золотом... трубы”, “скрученные, как улитки”, а демонстранты дарили детям “уди-уди”, сплюснутые, обернутые серебристой фольгой мячики на резинках, пестрые бумажные цветы”... Таких мячиков сейчас нет, а во времена моего детства они были в Рязани, как и в Москве, продавались на Молочном рынке...

“Пойдем же, пойдем же по улице детства!”

“Вспомним Николу Старого, греческий монастырь, давший название Никольской улице, в 1935 году переименованной в 25 Октября, дойдем до Лубянки, зажмурим глаза и увидим... высокую красную Владимирскую башню Китай-города, Владимирские ворота, где в 1612 году Минин и Пожарский ворвались в Китай-город, увидим высокий храм, где ныне памятник Ивану Федорову...”

Откроем глаза и обнаружим, что дом страхового общества “Россия” стоит, но сморщит на памятник Дзержинскому, который устанавливали в тот год, когда Игорь прощался со “Славянским базаром”...

В этом месте повествования должен звучать марш “Прощание славянки”. Напойте про себя! “Па-ра, па-пара...”

“Пойдем же, пойдем же по улице детства!”

“Многого (мы) не увидим сейчас на древней Никольской, не увидим Владимирской башни и ворот (теперь там метро “Дзержинская”), не увидим часть красной стены Китай-города, не увидим Николы Старого, не увидим Казанского собора”, где цветут анютины глазки и напротив ГУМа стоят газировочные автоматы... “не увидим Воскресенских ворот с Иверской часовней, не увидим...”

Но все равно - пойдем же, пойдем же по улице детства! И постараемся сохранить то, что осталось...”

Я другого такого писателя не знаю, который бы не только знал Москву, город своего детства, так, как никто ее не знает, но и который бы так писал о ней, и о зимней, и о летней, и о весенней, и об осенней, как Юрий Кувалдин, то есть так, как никто не на-

Прощание со “Славянским базаром”

пишет, так, чтобы этот город стал тебе дороже всех городов, даже если ты не москвич, и так, чтобы у тебя сердце щемило и разрывалось от любви к ней.

Мотивы, связанные с жизнью, смертью и бессмертием, звучат в романе грустнее, чем лярго апассионата у Куприна в “Гранатовом браслете” и “Пассакалия” Генделя, и трагичнее, чем реквием Моцарта и соната си бемоль минор Шопена, сочинение 35. А когда при этом сверкают “блестящие шишечки на кровати” и “электрический свет под красным абажуром” и когда скрипит этажерка с книгами, и когда прыгает на резинке мячик “уди-уди” и качается “избушка на елке” (приметы давно прошедшего времени), даже самый железный человек не удержится от слез.

Мотивы, связанные с футболом, звучат в романе энергично и мажорно, как песни “Эй, товарищ, больше жизни”... Фелицын болеет за команду ЦСКА, которая в пятьдесят восьмом году называлась ЦСК МО и ассоциировалась у мальчишек с эскимо, которое составляло с ЦСК МО авангардную, новаторскую рифму.

- За эскимо болеет! - дразнили они Фелицына.

ЦСК МО и эскимо - два его символа детства, два символа радости.

У Кувалдина - в каждой фразе своя кантилена. Как, например, и вот в этой: “От снега на улице было светлее, чем в помещении”. В ней звучит легкий, плавный танец снежинок и танец игры света.

Нельзя подделывать кантилену Кувалдина. И не только кантилену, но и склад его ума и души, и его натуру, и его психомоторику, и его интеллект, и его культурную базу, и материал его жизни и творчества, и его художественный взгляд на мир.

Станислав Рассадин

О ПОЛЬЗЕ ОТСТАЛОСТИ (Юрий Давыдов и Юрий Кувалдин)

Реализм и его должники

ВСЕ БОЛЬШЕ нравится мне опаздывать. Отставать. Сенсация! - и вот кинулись, столпились, а ты идешь себе вразвалочку, и пока дошел, готово, толпа разочарованно отвалилась, например, от Сорокина да, кажется, и от Пригова. “Новый поэт, - иронизировал Жюль Ренар. - Запомните хорошенько его имя, потому что больше о нем говорить не будут”. Но, спрашиваю лениво, стоит ли запоминать, если не будут? Другое дело, коли новый поэт, “новая волна”, “новое слово” - не фикция, но тогда тем более: зачем спешить, оскорбляя истинное явление жадным любопытством зеваки?

Очень я, скажем, доволен, что не бросился читать лимоновского “Эдичку” в первую пору взбудораженных слухов. Шоковая, говорили, книга! А в чем, извините, шок? В той, повторяя за автором, “заполненности”, что испытала его трагическая попка и что понудило растерявшуюся публику понаприписать книге глубины совсем иного рода? Ну вот, прочел, наконец, будучи уже стоически готовым к восприятию потрясенной народ подробности, и увидел, что проза плоха, неряшлива, безъязыка... Да и проза ли? Скорей производственно-документальный очерк, вся шокость коего в том, что означенную белокожую часть тела подставляет чернокожему бой-френду не выдуманный персонаж, а вполне аутентичный Лимонов-Савенко. Разница - между искусством и сплетней, свободой и бесстыдством. Та роковая точка, в которой встречаются сочинитель, торопящийся первым сказать “новое слово, и толпа, пуще всего боящаяся опоздать к историческому моменту, - эта точка почти гарантированно находится вне области искусства. Отчего жалок человек одаренный (о неодаренных, которых, конечно, больше, не говорю), судорожно обгоняющий свой отсталый дар, достойный обстоятельной разработки; и смешно, когда помянутую точку делают общей точкой отсчета. Вот, извольте, свежий пример. Едва Юрий Давыдов опубликовал повесть “Заговор сионистов” (“Знамя”, № 12, 1993), как кто-то радостно дернулся: ба, маститый прозаик, и тот пошел в постмодернисты! Да и в другой, не в пример серьезной рецензии неотвратимо прозвучало модное “центонность”, так что и сам рецензируемый вынужден был, наконец, полюбопытствовать, а что это, собственно, значит. (Свидетельству, ибо спрашивал он у меня.)

А и в самом деле! Только начни читать “Заговор”, тотчас замелькает: “Цезарь путешествовал... Одной любви музыка уступает... где золото рюет в горах... прот, как правда... Он так ошибся, мы так наказаны” - несть числа и, может быть, даже излишек пестрых и как бы насмешничающих полуцитат, вроде бы пародирующих нечто. Однако именно “как бы”, “вроде” и именно “нечто”: неопределенность, вернее, отсутствие адреса, необходимого для пародии. А пародия - самый несвободный из жанров, так как намертво прикована к тому, что пародирует, от-

чего, как было замечено многократно, соцарт да, в общем, и весь постмодернизм (оговорка: в вялоаморфном отечественном исполнении) неотрывны от “большого стиля”, от соцреализма, на огромном трупе которого копошатся. Мрачноватая эта метафора принадлежит, кстати, не мне, а Геннадию Айги, а я, продолжая в том же духе некрореализма, лишь добавлю, что копошение на манер насекомых, достигает эффекта обратного. Создает иллюзию живого трупа, продолжает фантомную жизнь после заслуженной кончины.

Итак, возвращаясь к Давыдову, пародия? Нет! Игра? Пожалуй, но, понимая ее не как сумму переборчивых приемов, из-за которой сам мир “игровой” нынешней прозы прежде всего скучен, как все предсказуемое. Тут смысл первоначальный, внятный ребенку, свободному от опыта, и художнику, кто этот опыт усвоил, однако преодолел его тяжесть и творит играючи. То есть нового тут ничего нет: фантазия лишь тогда и фантазия, когда вольна, когда не прикована... См., впрочем, выше.

Хорошо. Но повесть-то - историческая, и сам Давыдов - историк, известный приверженностью факту; разве не так? Так, и будьте покойны, он и тут явит скрупулезность и даже ревность к небрежничавшим беллетристам. И если, живописуя трагичную трапезу персонажей, посожалеет, что не может сказать, какое именно пили вино (“счет не сохранился”), то не знаешь, чего здесь больше: истинного ли страдания архивиста, мечтающего, чтоб все на свете было документировано, или игры в это страдание? Вернее же, то и другое вместе: свободу, необходимую для игры, дает не отлет от реальности, а ее твердое знание. Плюс, разумеется, мастерство, нажитое мастером, отнюдь не мовистом.

Новая проза Давыдова, где раскрепощенность доведена, кажется, до предела (но он, предел, что существенно, все же есть), а стиль достиг той концентрации, что сродни поэтической... Нет, оборву себя: поэзия тоже бывает болтливая, а тут, даром, что метафористика густа и ритм сродни стихотворному, - именно проза, доведенная, так сказать, до кипения, выпарившая из себя все, без чего способна обойтись; не раствор, а эссенция, резче явившая типологические черты. Закончим, однако, оборванную фразу. Итак, новая давыдовская проза - это диалог с Историей, иногда буквальный, когда в собеседники автора впрямую берется исторический персонаж, но главное, диалогичность перенята у самой Истории. Как у нее же подхвачен и игровой, каламбурный, если угодно, тот самый “центонный” стиль: она сама, по Давыдову, а точнее сказать, по сути своей, Давыдовым уволненной, есть нескончаемый каламбур, Сплошное ауканье сюжетов и смыслов.

Помнится, доброжелательный критик некогда попрекнул Давыдова тем, что в романе “Глухая пора листопада”, где охранка шантажирует эмигранта Льва Тихомирова нелепо нервными посланиями, он похитил прием у Остапа Бендера, именно таким образом стращающего миллионера Корсике, а Давыдов с видимым удовольствием объяснил, что, напротив, это Ильф и Петров прочли тихомировские записки и пародийно воспроизвели эпистолярный шантаж. Так и тут, в новой повести: история-каламбуристика дает сто очков любой писательской выдумке. Исторический анекдот о некоем Пинхусе Бромберге, чья идея устроить в Санкт-Петербурге 1830-х годов подворье для приезжих евреев была властью пресечена, - пустячная эта история, выуженная в архиве и взятая на пробу как одна из подробностей нескончаемо злободневного “еврейского вопроса”, вызывает из тьмы ве-

ков не одних тех, кто хронологически близок к фабуле повести. Не только Пестеля или Наполеона (возможно, и Бенкендорфа), но аж Кира персидского. Ибо все они каламбурно-парадоксальным образом могут быть уличены в сионизме, все замышляли создание еврейского государства - о, не ради блага народа-изгнанника, но в целях практических, патриотических: дабы переселенные инородцы образовали для тех, кто организовал переселение, "наивыгодный плацдарм".

Да, шутит, гримасничает история. Сочувствующий бедняге Пинхусу, но блюдуший притом интересы империи жандармский чиновник Попов побывал, оказалось, в учителях у неистового Виссариона; другой жандарм, Ракеев, также втянутый в это дело, был тем, кто сопровождал в Святые Горы гроб с пушкинским телом и арестовывал Чернышевского, - мудрено ль, что и самому рассказчику-автору удастся существовать сразу в обеих реальностях, первая из которых - история и архив, вторая - игровая писательская фантазия? Да поди разбери, что тут первой: ведь не нюансы какие-то, а само содержание этой занятнейшей переключки зависит не только и даже не столько от фактов, сколько от их осмысления, фактора субъективного. Да! И - пуще того: быть может, история и есть само это осмысление, так что надежда раз навсегда постичь ее объективность - утопия? Такая же, как существующий якобы ее объективный суд. Подумаем, не ходя далеко: тот же Ракеев, всего лишь исполняющий рутинный жандармский долг, это одно, но он же в зловещей роли пушкинского Харона пересоздан нашим воображением, целиком зависящим от нашего же - пристрастнейшего - отношения к Пушкину. Судьба его и фигура отныне исполнены значительности - полупонятной, почти мистической.

Прав я или не прав (вероятно, нет), но мысль эта рождена чтением давидовской прозы, где - сейчас говорю о повести "Зоровавель" - тюремный товарищ Кюхли крыса Пасюк будто бы понимает английский: прежние узники просветили... Да почему будто бы? Точно так же не воспринимаешь как выдумку сочиненный дневник о непроизошедшем событии, о походе русского войска в Святую землю, принадлежащий будто бы... Тьфу!.. Принадлежащий генералу Ащеулову, герою "Заговора сионистов". Дело, не только в изящном мастерстве стилизации, но - в свободе допущения, в вариантности, в диалогичности русской истории, где "если бы да кабы" никогда не было ни запретно, ни бессмысленно. Бесплодно - да, было и есть, но отсутствие выбора, альтернативы, как выражаемся ныне, - давнее наше несчастье.

ЭТОТ СОВЕРШЕННО антинаучный вопрос: что первой, какая там из реальностей и в каком вообще они отношении? - возникает опять, когда читаю уже первую фразу романа другого прозаика, Юрия Кувалдина. (Имя для многих наверняка новое: то есть пишет-то он давненько, но первая книга - зато с предисловием Искандера - вышла только в 89-м.) Итак: "Фелицын провел свое детство в комнате, в которой квартировал Чикильдеев. А упал лакей в том месте, где пыльная подвальная лестница..." - и т. д., а эпиграф успел предупредить и напомнить, о ком речь. Николай Чикильдеев, лакей при московской гостинице "Славянский Базар", - персонаж чеховских "Мужиков".

Что ни говори - любопытно. Нормально, когда вымышленного героя помещают, натуральности ради, в невымышленную среду, и вот Пьер Безухов едет по Поварской и сидит в сарае у Крымского Брода - а тут, наоборот, существо из второй

реальности, дитя фантазии Чехова должно, кажется, удостоверить реальность не только новорожденного Фелицына, но, выше бери, самого “Славянского Базара”!

Кстати, ведь, если не ошибаюсь, подобное тоже уверенно узурпировано нашим постмодернизмом? Ну да. текст, который произрастает из текста, этаким, что ль, вампиризм, - действительно вроде бы их заявка; и коль речь уж пошла о том, похоже, Кувалдин в своем романе (“Избушка на елке”, “Советский писатель”, 1993) вообще вторгается на чужую и чуждую территорию. Да, хоть и являет демонстративную прикосновенность к Чехову - настолько, что и повесть “Месть”, вошедшую в ту же книгу, озаглавил по-чеховски, опять же снабдив эпиграфом из своего кумира.

Начало романа так издевательски дотошно описывает командировку двух инженеров со всеми аксессуарами производственной прозы, что подозреваешь эксперимент а-ля Владимир Сорокин (меня, признаюсь, не шокирующий - если бы так! - но повергающий в спячку). И сначала не разобрать, отчего возникает раздражение и тоска. На автора злишься? Но почему тогда не бросаешь читать, как я непременно сделал бы в случае, выбранном для аналогии? А может, раздражает действительность, поставляющая тягостные подробности?

“Избушка на елке” - роман-лабиринт: автор словно решил вдохновиться известным образом Борхеса. То, что это - расчет и выбор, подтверждает та же соседствующая “Месть”, написанная с уверенным блеском завязтого профессионала; вещь, где быт редакции, работа, интриги, пьянки запечатлены с фотографической четкостью и с яростью, которая разрешается смехом: вещь, где, говоря упрощенно, социальность предпочтена экзистенции, - ее легко представить в контексте “Нового мира” недавних лет. И в то же время...

Озадачил и резко запомнился эпизод, как будто бесхитростно бытовой да и впрямь обошедший без вмешательства гротесковой экспрессии: не более (но, и не менее), чем на уровне абсурда самой по себе жизни. Идет смачно описанная гульба в мастерской художника, из подвала которой, как обнаружилось, ведет ход... Но обойдемся без пересказа. Короче - компания спяну начинает подпольное путешествие и попадает то ли в окутанное репортерскими байками “правительственное метро”, то ли черт его знает куда: мраморные колонны, дубовые двери, дорожки ковровые. Монте-Кристо! Том Сойер! Сезам! Пещера Лейхтвейса! Ну, в крайнем случае, тайны подземной Москвы! Боже, какой замыкал виток сюжета - если не в сторону авантюриности (мода не та), так в сторону обличения партийных шишек, создавших себе подземное царство. А фигушки! Побродив-поколотив, напоив заодно и подвернувшегося ключаря-вахтера, вагата возвращается допивать и наутро вчерашняя сказка даже не вспоминается. До нее ль? Похмелье, будни... Исхода из них не то чтобы вовсе нет - вот же поманило к себе приключение, - но нету потребности выбираться из тупика того лабиринта, что именуется жизнью. Простите за высокопарность.

До оскомины простенькая история, составляющая фабулу “Избушки на елке” (как сказано, едут двое в командировку, на подмосковную ТЭЦ, один помирает, другой везет его Труп восвояси), эта прямая фабула разбегается вдруг именно лабиринтом, где свои тупики, свои загогулины, своя надежда на выход. Автор блуждает как бы вслепую, отнюдь не скрывая потерянности, да и зачем, если она общая, наша? Вот только ищет он то, что общим никак не является. Ходы лабиринта,

их разветвленная сеть - это причудливые переплетения корней, невидимо ушедшие в почву; их нащупывают, сбиваясь и возвращаясь по многу раз на одно и то же место, оба героя романа, тем паче что воля автора наградила их огромной протяженностью корней, завидной родословной: у одного среди предков - князь, сотрудничавший с Александром II, у другого - диссидент-толстовец. То есть прихотливость сюжета, затрудняющая (упрек!) чтение, все же естественна, ибо в целом оправданна. Если новая проза Юрия Давыдова - архивистский поток сознания с сюрреалистическим уклоном, то у Кувалдина - скорей уж поток подсознания, который выбрасывает на поверхность то или это по незагаданной прихоти (и оба прозаика заняты восстановлением исторической родословной, Давыдов - нашей общей, Кувалдин - индивидуальной, частной). Да так, в общем, и бывает с настоящими, то бишь неуправляемыми воспоминаниями.

Герои "Избушки на елке", и, прежде всего помянутый Фелицын, заметно родственны автору, ведут двойное существование - а правильнее сказать, сдвоенное и оттого мучительное, к тому же осложненное неизлечимыми интеллигентскими комплексами. Ведь то, что сдвоилось, срослось, того не расщепить; не сбежать из остолбеневшей, по словцу Шукшина, современности в прошлое; не преобразить саму ностальгию в подобие утешительного десерта. Нет, оба привязаны, как коза к колышку, к ТЭЦ и к неотпускающей памяти, даже если в ней многое зыбко, полуреально и насмешливо дразнит из неразличимого далека: само странное имя Фелицын - не век ли Екатерины, не Гаврила ли Романыч аукаются с ним?..

Финал романа жёсток. Жесток. Один герой помер. Другой возвращается из воспоминаний в постылый дом к постылой жене - и гримасой судьбы, обидно обманчивой связью времен выглядит картонная елочная игрушка-избушка, та самая, что вошла в заглавие романа: ее "маленький дедушка вешал на елку еще в конце прошлого века!" Безысходность? Пожалуй. Да, мы пока еще в лабиринте, и выхода не видать, но путеводна четкость, с какой безвыходность зафиксирована. Четкость, что не раз заставляет вспомнить о том, кто даже интонационно влияет на романиста: жесткого сочинителя "Скудной истории" и "Мужиков".

Ностальгия, но не в духе воздыхательных говорухинских мифов (если Кувалдин что и восстанавливает с пристальной нежностью, так это свою микровселенную, уходящую - увь, ушедшую - Москву), она как нашатырь, заставляющий вздрогнуть и очнуться. Понять: наша опора, наша надежда. Быть может, и выход наш - так называемая вторая реальность, занявшая место первой. История, которую пробуем восстановить (или создать?), дабы объяснить себе - себя. И наиреальнейший мир, сотворенный, к примеру, Чеховым - он уж, по меньшей мере, куда менее призрачен, чем нынешний наш; в точности как тот же Николай Чикильдеев - реальной... Да, Господи, кого угодно - бери любое из имен, не сходящих с газетных полос.

В искусстве эта могущественная реальность, по сути, и есть то, что условно (каковы, впрочем, все термины) зовем реализмом - несуетным, прекрасно отсталым методом постижения, чьи возможности неисчерпаемы. Настолько, что всякий раз очередное поветрие крадет из его арсенала малую часть боезапаса, объявляя часть - целым, а себя монополистом этого целого. Что ж, на здоровье - пожелание тем уместней, что обычно поветрия быстро проходят, будто корь или насморк; правда, кое-что все-таки носит характер хронический. Например, культ "нового

слова” или наивнейшая уверенность, что в искусстве бывает прогресс. Что искусство им и живет.

Вперед!.. А куда? Кого спешим обогнать? Отставшего Гоголя? Стерна? Рабле? Ладно, это “вперед!” простительно Западу: ему-то прогресс, в самом деле, принес немало хорошего, так что не грех и спутать от благодушия движение духа с развитием техники. Но мы, кому сама обделенность в области материальных благ должна, по крайней мере, не застилать глаза пеленой довольства, отчего мы не извлечем из своей общей беды хоть частную пользу: ясное, безыллюзорное видение на голом, незагроможденном пространстве?

“Литературная газета”, № 20 (5499), 18 мая 1994 года

Ирина Роднянская

ПИСЬМО

(Юрию Александровичу Кувалдину от И. Б. Роднянской)

Дорогой и высокоуважаемый Юрий Александрович!

Решила вместо того, чтобы утомлять Вас телефонным разговором на все темы сразу, лучше написать Вам письмо. Простите, что стучу на машинке; раньше это, кажется, считалось неуважительным, а теперь, наоборот, не принято донимать адресата своим почерком.

Прежде всего, хочу сказать Вам, что прочитала Вашу книгу. Пока только одну - "Избушку на елке", но, конечно, прочту и более раннюю. Надо сказать, что я некоторое время откладывала это чтение - прежде всего из-за ужасной занятости, но из страха тоже: а вдруг меня эта проза оттолкнет? как-никак Вы мой благодетель по части издания книжки, а врать я не умею в таких случаях, пришлось сказать бы правду. Какова же была моя радость от того сильного, яркого впечатления, которое произвела на меня Ваша проза в этой книжке! Притом что я читала придирчиво, не позволяя себе никакой скидки на "внетекстовые" обстоятельства. Я, конечно, вижу и недостатки, несобранность композиции, особенно в романе, порой - небрежность письма, засоренность его ненужными словесными уточнениями, мелкими оговорками. Но все это ничто в сравнении с той подлинностью, с какой жизненное впечатление нерастрченным и неискаженным доносится до листа бумаги. Я давно не читала вещей, где так начисто бы отсутствовала фальшь, где так неподдельны были бы характеры, судьбы, истории семей, так узнаваемы были бы исторические рубежи, так свежа память детства. Это в некотором роде историческая проза, история общества в лицах. Жизнь не замарана и не приукрашена, она такая и есть, и веришь сразу всему, сидению на удае не меньше, чем потухшему электричеству в подмосковной гостиничке. Даже то, что названия Ваших вещей, с моей точки зрения, случайны и невняты (роман - не про елку, повесть - не про месть, а про парадоксальное наше "движение сопротивления" с великолеп-

ным центральным характером обаятельного авантюриста, бескорневая окраина - вряд ли "беглецы"), даже это в моих глазах свидетельствует в Вашу пользу: из Вас прямо-таки "вываливаются" (простите!) куски чутко схваченной жизни, которая безмянна именно потому, что достоверна, и ни одно имя к ней не пристаёт. Особенным достижением я считаю повесть "Беглецы", в которой есть не только правда жизни, но и драматургия, жизни (то есть органический сюжет), а огромные дары, которые... человек получает с рождения и которые потом гибнут (замечательная точность в описании социальной микросреды, но ведь это закон жизни вообще, не правда ли?) - все описано так, что помнить будешь долго. Я обязательно обращу внимание на эту повесть одного новомирского автора, который пишет на тему: "окраина" у Семина и у Лианозовской школы, - а если, даст Бог, возьмусь за статью о возвращении в нашу прозу и поэзию неколебимых художественных аксиом, то напишу об этой вещи и сама. Мне, конечно, интересно, когда она была написана - из нового или из старого? Еще хотелось бы прочитать повесть (или рассказ?) в "Континенте", которую мне хвалил Андрей Василевский (наш новомирский ответственный секретарь). Как я понимаю, Вы, условно говоря, относитесь к формации прежних "сорокалетних". Из них я очень ценю Маканина (только не писал бы он "Квази"!), Курчаткина и Афанасьева считаю кичем, о Проханове не говорю, а что касается умелого и способного Руслана Киреева, то именно рядом с Вашей прозой окончательно обнаруживается, что его - сделана из папье-маше (что, впрочем, я понимала и раньше). А о Киме боюсь говорить: он иногда блистательно талантлив (судьба его не обделила), иногда невыносим и отталкивающ, но сейчас главное чувство, которое он у меня вызывает, - страх (как будто НЛО спустилось в наш М. Путинковский переулок, а контактеры, как известно, долго не живут, сгинем и мы, видно, - но это отдельный разговор).

Теперь - обо всех проблемах, связанных с моей имеющей быть книжкой. Тут меня поджидала одна тревожная неожиданность: на стр. 72, в самой главной для меня статье - о Платонове и Заболоцком, в самом главном месте, где идут выводы, - пропущена целая страница наборной рукописи (это что-то около 1 - 1/2 страниц книжного набора). Если это вина типографии (что легко установить по нумерации страниц наборной рукописи и что вполне возможно, судя по тому, как они в других местах пропускали целые большие абзацы - я эти места восстановила и подклеила), тогда они обязаны исправить свою ошибку. Если же это моя вина (допускаю, что могла в спешке напортчить и не "отксерить" одну страницу оригинала, хотя вроде все тщательно проверяла), тогда я готова и неустойку заплатить (не знаю, правда, будет ли по карману), лишь бы статья появилась в должном виде. Без этого никак нельзя. Так как в любом случае нумерация страниц, хочешь - не хочешь, полетит, я хочу заполнить недостачу до 15 а. л., вставив в середину, перед статьей о Чухонцеве, небольшую статью о книге Кушнера. Я считаю, ее подходящей по теме и не включила сперва только потому, что обсчиталась и думала, что превысила объем. Еще в книге должно быть оглавление, которое прилагаю в конце. И, наконец, я, как и собиралась, написала маленькое

предисловие “От автора”, страничкам которого можно дать римскую нумерацию, если это скажется удобнее.

И еще: меня пугают торжественность и превосходные степени в аннотации, хотя я, конечно, благодарна, за добрые слова. Обычно полагают, что к аннотации в книге приложил руку сам автор, поэтому надо мной непременно будут смеяться. Ввиду этого я прилагаю более скромный вариант аннотации и прошу Вас согласиться использовать его. Кроме того, не смею настаивать, но нельзя ли не делать обложку цвета нашего алого стяга (лиловую, оливковую, черную - какую угодно!), а то уж больно похоже на “Десять дней, которые потрясли мир” - и как-то смутительно...

И последнее: я не знала, что между мной и наборщиками не будет техреда, который унифицировал бы шрифты (разрядки, курсивы, жирность) в соответствии с тем, как принято в данной типографии, - и поэтому сама не сделала такой унификации. Теперь уже не поправишь, так что это я говорю в свое оправдание перед Вами, а не в качестве просьбы. Я уйду с 1-го августа в отпуск, но буду все время дома - ремонт, жуткое дело! Так что, если надо, я почти всегда на телефоне и вообще - к Вашим услугам. Если все обойдется и дело дойдет до чистых листов, я надеюсь, смогу их посмотреть?

Теперь - еще одна тема. Вы мне в прошлом разговоре сказали, что я могла бы Вам посоветовать что-нибудь в Ваш издательский план “Книжного сада”. Теперь я хочу это сделать. Во-первых. Вы оказали бы большую услугу русской поэзии, если б предложили Олегу Чухонцеву издать у Вас книгу стихов. Он обязательно дал бы для такой книжки и новые стихи: те, которые уже написаны, и те, которые он надеется написать этой осенью. Он такой человек, что сам почти ничего не предпринимает для устройства своих дел, а чтобы стихи шли, ему нужно, я ведь его хорошо знаю, не только вдохновение, но и внешний стимул. Вам тоже было бы, неверное, приятно издать лауреата премии России (новой России - как-никак!) Да и Ваш друг Стасик Рассадин ценит стихи Чухонцева ничуть не меньше, чем, скажем, я. Даже если все это почему-либо сорвется, Ваше предложение, подтолкнув его к работе, принесет немалую пользу. О Вас он от меня слышал - разумеется, хорошее.

И второе предложение. У моей близкой приятельницы и нередкого соавтора Ренаты Гальцевой собирается отличная книга философской и исторической публицистики. Условное название “Россия и духи” (по иронической аналогии с фильмом “Джульетта и духи”). Каждое выступление, из тех, которые она включает в эту книгу, имело большой резонанс, возбуждало живейшие споры, ломались копыя. Мне кажется, такая книга привлечет внимание и будет раскуплена. Она будет в Москве в первой половине августа и затем - в первой половине сентября. Как видите, я предлагаю Вашему вниманию книги моих друзей. Но ведь они и

Письмо

друзья мне, в частности, потому, что я ценю их талант и разделяю их мысли. Поэтому и осмеливаюсь рекомендовать.

Еще раз - большое спасибо и за Ваши книги, и за проект моей. Надеюсь получить дальнейшие инструкции.

С уважением, благодарностью и радостью о знакомстве

Ирина Роднянская

P. S. Еще забыла упомянуть одну мелочь касательно моей верстки. В перечислении имен на стр. 3 я вычеркнула Юрия Домбровского, так как не успела написать о нем статью, а в других местах он упомянут слишком вскользь; вставила вместо него подробно разбираемого Курчаткина, а вместо Бородыни - Кушнера. Но последнее - только в том случае, если удастся вмонтировать статейку о нем. А если мои добавления будут приняты, но места не хватит, можно свободно выкинуть предпоследнюю заметку "Сор из избы".

Ирина Роднянская

21 июля 1994 года

Вл. Новиков

КУВАЛДИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(р. 1946)

МОСКОВСКИЙ ХРОНОТОП,
или ВЕЗУВИЙ ПОД НАШИМИ НОГАМИ

Автор романа “Избушка на елке” начинает прямо с того, что поселяет своего героя в комнате, где некогда квартировал лакей московской гостиницы “Славянский базар” Николай Чикильдеев, тот самый, что споткнулся, упал, уехал в деревню и умер (см. Чехов А. П. “Мужики”), да еще вызывающе конкретизирует: дескать, упал лакей около узкой пыльной лестницы: “Там порожек такой был”. Ну, подумал я поначалу, от скромности автор не умрет, а потом рассудил, что скромность или нескромность тут ни при чем: ведь никакого Чикильдеева не было, Чехов его выдумал и поселил в доме семнадцать по Никольской улице в порядке беллетристического произвола, никому, в принципе, не заказано использовать данный объект для новых фантазий, всем нам позволено вписывать в бесконечный текст по имени “Москва” новые фразы и главы. А вообще-то при чтении прозы Юрия Кувалдина - и предыдущей его книги “Философия печали” и в особенности нововышедшей “Избушке на елке” - формула “город - текст” то и дело вертится на языке, поскольку проза эта очень московская - по жизнеощущению и по характерам, в целом и в частности.

Жутковат этот город, несуразен и хаотичен; то сжимается, как воробей (к центру), то растет, как воздушный пирог (к окраинам). В иных местах не бываешь десятилетиями, и если там окажешься, то поневоле проделаешь путь не только в пространстве, но и во времени. Путь, как правило, невеселый, ибо к сегодняшней тоске прибавляется сожаление о поблекшем прошлом. Вот главный персонаж “Избушки на елке”, не без горькой иронии наделенный жизнерадостной фамилией Фелицын, забрел на “малую родину”: “ребенок, росший в центре Москвы, дышавший стоячим воздухом каменного двора, подобен растению, искривленному, бледному, такое можно увидеть, отвалив придорожный камень”. Стоит ли любить эту “курву Москву”? Смирненно принимая беспощадную поэтическую формулу, Ю. Кувалдин довольно любопытно прокомментировал ее в своей первой книге “Улица Мандельштама”; так назвать столицу можно, обращаясь “лишь к очень близкому человеку, который, что бы ты ни сказал, поймет непременно”. Может быть, Москва и не заслуживает любви, но она достойна понимания - как текст сложный, запутанный, внутренне противоречивый, нуждающийся в истолковании.

Разбегающийся вширь сюжет “Избушки на елке” напоминает сетку-паутину на карте московских улиц. Простая, почти точечная фабула: два столичных инженера отправляются в рутинную командировку на подмосковную ТЭЦ, один из них внезапно умирает, и коллега транспортирует бесчувственное тело в дом покойного. По ходу безрадостного путешествия раскручивается ретроспектива, выстраивается занятная родословная двух с виду заурядных москвичей, среди предков которых оказываются и увлеченный толстовством вольнодумец-семинарист, и князь, обсуждающий с Александром II планы реформ. И все они описываются без нафталиновой почтительности, без музейной стилизации, с живым и

заразительным любопытством. Вроде бы уже начинает маячить невыгодное для современности “эр сопоставление”, зависает мотив “деградации” интеллигенции и прочее, но автор вдруг вновь увлекает читателя на улицу детства (своего или персонажа - нам неведомо), все на ту же пронизанную историей Никольскую, а на оси времени выбирает очередной Новый год, чтобы убедить нас: жизнь и сегодня не утратила значительности, не потеряла смысла. Вещественных доказательств у автора немного - по сути ничего, кроме изготовленной из картона и ваты избушки, которую “маленький дедушка вешал на елку еще в конце прошлого века”. Что ж, тоже аргумент.

Убедительности писатель достигает, прежде всего, тем, что умеет наблюдать характеры, умеет рисовать людей (а не стандартные соцартовские карикатурки, столь популярные к современной прозе и изрядно набившие оскомину). И когда он ставит этих живых людей в конфликтные ситуации, они не заданную идею иллюстрируют, а ведут себя сообразно с собственной природой, порою парадоксальной, а потому небезнадежной. Нечасто теперь встретишь психологическую новеллу с неожиданным, не вычисляемым арифметически финалом, а именно такова история под названием “Месть”. Бурное действие происходит, так сказать, в московской провинции, в редакции институтской многотиражки “За инженерные кадры”, сокращенно - “ЗИК”. Не отворачивайтесь! Это все и к нам, к литературно-научной “элите” имеет прямое отношение, ибо нельзя уже не замечать неумолимого процесса провинциализации культуры: безнадежной провинцией жизни становятся сегодня расплодившиеся по Москве академии и университеты, солидные театры, все творческие союзы, издательства, некогда престижные журналы и газеты. В какую редакцию ни заглянешь - сплошной “ЗИК”! Коммуналка, отчаянная борьба за выживание и за иллюзорные, смешные уже теперь регалии...

Описанная Ю. Кувалдиным ситуация ранней перестройки и гласности очень переключается с нынешним ранним неозастоем.

Итак, некий доцент-правдолюб борется с институтской мафией и с всепильным партбюро, пишет гневно-разоблачительное письмо в многотиражку (напомним, в то время подцензурную). Корреспондент Костя это письмо публикует, но не правды ради, а с целью подставить и подсидеть своего начальника Шеста - беспробудного пьяницу со склонностью к юродству. Но коварный расчет не срывается. Шест, улизнув из психушки, вдохновенно разворачивает мощную антимафиозную дискуссию (автор имитирует ее “материалы” на тонкой грани мистификации и пародии), а потом весьма неожиданно выкручивается из рискованной ситуации. И все это с придурью, со своего рода шизоидным артистизмом. В России только такие номера проходят, и новым защитникам свободной мысли еще понадобится техника “придурения”, хитрого протаскивания достоверной информации сквозь “умственные плотины”. А что же расчетливый Костя? Он решает вступить в партию и подыскивает руководящую должность. Дело было в 1987 году, надо полагать, в 91-м юноша из партии гордо вышел, а сейчас, конечно, снова вычисляет, во что выгоднее вступить. Немало мы знаем таких политически активных молодых коллег, тех, что и нос умеют по ветру держать, и локтями энергично работать! И все же в высшем выигрыше, полагаю, оказываются “шизики” вроде Шеста, увлеченные процессом, а не результатами. Какой, собственно, может быть у жизни результат? Смерть.

Под неумолимым знаком смерти развиваются очень многие сюжеты Ю. Кувалдина. Причем смерть чаще всего означает здесь не прощание души с телом, а полное уничтожение - человека, культуры, быть может, всего этого огромного города. В притчеобразной повести “Беглецы”, шлоеще стоящей в самом конце книги, молодой пролетарий по имени Везувий (почему так назвали? Да отец прочитал о вулкане на обороте календарного листка и пожелал новорожденному “залить лавой любого врага”; бывали и такие номинации!), так вот, Везувий этот, выросший в самой замшелой коммунальной московской провинции, где

говорят “нагинаться” и “лягайте”, где книг, кроме романа А. Авдеенко “Над Тиссой”, не читают вовсе, - этак небрежно, почти нечаянно убивает интеллигентного соседа Юрика, неумоимого разгадчика тайн русского языка. Не слишком ли прямолинейное пророчество? Тянет поспорить, но и сам автор, наверное, не так уж жаждет подтверждения своей правоты. Неужели не надменная Северная Пальмира, а наш “раскрытый город” - это уходящий в небытие миф, место коему “быть пусто” после назревающего вулканического извержения вражды всех ко всем? Или бесконечное московское время-пространство все же нас уберезит, охранит?

1993

*“Независимая газета”, 24 ноября 1993, среда, № 225 (649),
а также в книге, изданной Юрием Кувалдиным в 1996 году:
Вл. Новиков “ЗАСКОК”,
и в книге Юрия Кувалдина “КУВАЛДИН-КРИТИК”,
Москва, Издательство “Книжный сад”, 2003.*

Нина Краснова

КОНТИНЕНТ ПОД НАЗВАНИЕМ РОССИЯ

Повесть “Сплошное Бологое” - горький фарс на тему пьянства, которая становится для России, кажется, такой же вечной темой, как жизнь и смерть. Все герои “Сплошного Бологого” - алкоголики и пьяницы, но некоторые пьют и не хотят “завязывать” с этим, некоторые пытаются, но не могут “завязать”, а некоторые, сильные личности, “завязали” и “вышли в люди”. Автор признает “конкретную персоналию” каждого своего героя “со всей вселенной души” и каждому дает высказаться, раскрыть, “распахнуть” свою душу. Один из них говорит: “Вся моя жизнь состояла из поднятия стакана... Что моя жизнь? Сплошной запой!”

А другой герой говорит ему: “Я пять лет не пью. И счастлив. Не пью и все! Больше ничем в жизни не занимаюсь, кроме как не пью. Работа у меня такая - не пить! ...На том, что не пью - делаю деньги... бизнес”. - И советует своему приятелю взять с него пример и заняться таким же “бизнесом” (то есть “не пить!”) и для начала обещает платить ему 500 долларов за трезвость. И утопически мечтает о спонсорах, которые “будут спонсировать отрезвление России”. - Так я написала о повести Юрия Кувалдина “Сплошное Бологое” в “Литературной России”, в 2000 году, в № 52, в своем обзоре 12-го номера журнала “Наша улица”. А теперь я напишу об этой повести поподробнее.

...К пьянству я всегда относилась отрицательно.

Пьяниц и алкоголиков никогда не считала за людей, то есть считала их пропащими людьми. И старалась не водиться с ними, и всегда избегала их компании, потому что мне было неинтересно, скучно и неприятно находиться в их компании и разговаривать с ними, выпившими, пьяными, неадекватными и дурными, и слушать, что они говорят, и смотреть, с каким удовольствием и жадностью они пьют вино или водку, и как они становятся все пьянее и пьянее и все неадекватнее и дурнее... а потом отключаются от мира и падают под стол.

Но были в моей жизни, среди родных и близких мне людей, пьяницы и алкоголики, больные люди, мужского и женского пола, которых я любила и о которых переживала и которых мне всегда хотелось спасти от пьянства и поддержать морально.

И был в моей жизни “горький пропойца”, поэт Сергей Есенин, мой знаменитый земляк, которому я посвящала стихи о том, как я хотела бы спасти его “от вина, от петли”, и который был для меня не только поэтом, которого я любила с детских лет, но и символом, увы, спивающегося и вырождающегося русского народа... Поэтому тема пьянства была для меня очень большой...

И вот я читаю повесть Юрия Кувалдина “Сплошное Бологое”, главный герой которой - не Печорин нашего времени, а алкоголик Игорь Мацера, который уже пять лет не пьет, а его друзья-приятели и коллеги - тоже алкоголики или пьяницы, которые пьют и не могут или не хотят бросить пить, “вот компания какая”.

Мацера “вышел в люди” и организовал фирму анонимных алкоголиков. Около здания этой фирмы, в “детсадовской беседке, заваленной снегом”, он увидел своего “товарища по партии” (товарища по парте) Зеленкова, с которым когда-то учился на философском факультете МГУ, а потом работал в тресте “Спецдальконструкция” и с которым с тех пор не виделся восемь лет, но которого “узнал бы и через двадцать”, потому что никто “так не пил из горла, как это делал Зеленков”.

Кувалдин показывает, как он это делал. Зеленков стоял в беседке, держал в своей руке бутылку водки и пил из горла, открыв рот “воронкой” (см. дальше по тексту). Мацера узнал его, подошел к нему. “Зеленков, тощий, маленький, в истертом драповом пальто, скосил на него глаза, но процесса не прекратил”. Чем совершенно умилит меня как читателя и вызвал у меня улыбку и в то же время жалостливость к нему.

“Распивать в общественных местах спиртные напитки запрещается! - голосом сержанта милиции начал Мацера. - Придется пройти в отделение и составить протокол! - закончил Мацера, нарочито мрачно, чтобы не расхохотаться”. Но читателю в этом месте трудно не расхохотаться.

Так интересно, так живо и так кинокартинно показывает Кувалдин своих героев, что мне, которой в жизни было бы неинтересно смотреть, как один из них пьет водку в детсадовской беседке, а второй делает ему замечание в шуточной форме, и наблюдать за ними и слушать их, как они рассказывают друг другу о себе, что с каждым из них произошло за восемь лет... становится интересно все это...

И мне, которой в жизни было бы неинтересно знать, что они будут делать дальше, и куда пойдут, и уж совсем неинтересно было бы идти за ними в фирму Мацеры (если только в качестве корреспондентки газеты или журнала), становится это все тоже интересно.

И я иду за ними... в эту таинственную фирму... и узнаю о том, что Мацера собирается принимать там немецких гостей, бизнесменов, которые не пьют, устраивать для них застолье, и предлагает Зеленкову и его товарищам, которыми оказываются Михальцов и Сукочев, пьяницы с таким же солидным стажем, как и сам Мацера и сам Зеленков, поучаствовать в этом застолье, чтобы разрядить атмосферу, и обещает заплатить им за это по 200 долларов, а потом предлагает им бросить пить, за что они будут получать от него по 500 долларов в месяц.

И мне, которой в жизни было бы неинтересно и даже стыдно сидеть за столом в такой компании, пусть даже и в присутствии немецких бизнесменов (а в их присутствии даже и еще стыднее), становится все это очень интересно... и сидеть с ними, незримо, виртуально, и не выпивать и не закусывать, а наблюдать за ними, как за аквариумными рыбками или как за инопланетянами, и слушать то, о чем они говорят...

...Есть писатели, которые в своих произведениях любят поучать и воспитывать своих читателей и говорить им, “что такое хорошо, что такое плохо”, и делают

своих героев на положительных, с которых всем надо брать пример, и на отрицательных, с которых никому не надо брать пример. Эти писатели - не художники. И они еще никого ничему не научили своими произведениями и никого не воспитали.

Только выработали у читателей аллергию на положительных героев и у многих отбили охоту читать книги.

Кувалдин никогда не поучает и не воспитывает своих читателей, не говорит им, "что такое хорошо, что такое плохо", и не делит своих героев на положительных и отрицательных, на тех, с которых читателям надо брать пример, и на тех, с которых не надо брать пример.

У него все герои в чем-то положительные, а в чем-то отрицательные, и наоборот... и в каждом из них, как и вообще в каждом человеке, намешано и того и другого, в разных пропорциях, в ком побольше, в ком поменьше. Смотришь на одного - он, с одной стороны - вроде бы отрицательный и несимпатичный тип, а с другой - вроде бы и положительный и ужасно симпатичный...

А как художественный образ - и вообще великолепен! Кувалдин любит всех своих героев, как Бог-отец любит своих детей. И на всех он смотрит с авторской улыбкой и с некоторой снисходительностью, потому что всех видит и понимает изнутри.

И никого не судит, помня библейскую заповедь: не судите, да не судимы будете. И помня слова Христа: кто не грешен, пусть бросит камень в того, кто грешен.

Кувалдин говорит: "Человек может быть более или менее грешен, но никогда - совершенно безгрешен".

И когда читатель читает произведения Кувалдина, он (я говорю о себе и о себе подобных читателях) невольно начинает любить всех его героев. Они все становятся ему симпатичны и дороги. И он всех их понимает и всем им сочувствует и сопереживает и обо всех начинает болеть душой и всем хочет помочь в чем-то.

Потому что Кувалдин так показывает их, что им нельзя не сочувствовать, не сопереживать и нельзя не болеть о них душой, даже если они этого и не очень заслуживают.

...Монтень говорил, что "нашему времени гораздо свойственнее исправлять людей дурными примерами", чем хорошими. Он говорил это о своем времени, но как будто и о нашем. "Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными. Ибо их сколько угодно". Видя слабых людей, человек, чтобы не походить на них, старается быть сильным. Видя резких и грубых, он старается быть мягким и тактичным. Видя неприятных, он старается быть приятным... Видя плачевные результаты, к которым приводят себя пьющие люди, он становится непьющим... и т. д.

Юрий Кувалдин как раз такой писатель, который способен исправить людей дурными примерами, которые он показывает в своих произведениях. Допустим, читатель будет восхищаться его Зеленковым как персонажем, но сам не захочет походить на него в жизни.

Тот же Монтень говорил: "Есть... люди, вроде меня, которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблагоприятных, чем из примеров, достойных подража-

ния, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то". Об этом же говорил и Катон Старший, когда говорил, что "мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца".

...Кувалдин - писатель, который учит своих читателей чему-то, не поучая их, и воспитывает, не воспитывая. В чем и состоит особое искусство художника.

Искусство высшего пилотажа.

...Когда читаешь Кувалдина, то приходишь к выводу, что без каких-то одних - даже и отрицательных - качеств у человека не могли бы лучше проявиться другие его - положительные - качества. Как, например, у героев Кувалдина, у того же Мацеры.

Если бы Мацера не был алкоголиком и не дошел до ручки, ему не надо было бы бросать пить, и он не бросил бы пить и не проявился бы как человек феноменальной силы воли.

Недаром говорится, что недостатки - продолжение наших достоинств. Правда, непьющие люди считают недостатком Мацеры то, что он пил. А пьющие - то, что он не пьет: "Если он не пьет, значит он больной". Вот такой вот юмор.

...Короленко говорил: "От себя автор не должен говорить на жаргоне, а на общелитературном языке".

Кувалдин в своих произведениях сам от себя, от автора, говорит на общелитературном, интеллигентном, культурном языке, и не позволяет себе употреблять слова низкого стиля.

Но его герои говорят не только на общелитературном, а и на разговорном, и на простонародном языке, и на жаргоне, и на сленге. И делают это "не слабо". Они употребляют, например, такие слова, как "раздухарился", "втихаря", "алкаш", "трезвуха", "шарашить" и многие другие.

"З а т к н и с ь!" - говорит Зеленкову Мацера, хотя сам не велит ему выражаться грубыми словами. А Зеленков говорит ему: "Ты помнишь, как мы на Сокол ездили за водкой? Очередь - тысяча р ы л! М е н т ы за оградой! Е л к и - м о т а л к и, из какого дерьма мы вышли! А теперь? Изящество, стиль! Пустой магазин, вежливые продавцы".

Перед продавцом "в черном смокинге и в бабочке" Зеленков соблюдает "изящество и высокий стиль" в поведении и в своей речи: "И з в о л ь т е, с у д а р ь, пояснить, что у вас сегодня из водок?" - спрашивает он у него не без внутреннего ерничания. Знает, где и перед кем какой стиль применить.

"За что, п р и д у р о к?" - вскричал Михальцов, когда охранник ударил его по уху. Тут уж, в этой экстремальной ситуации, герой никак не мог сказать охраннику: "За что, сударь?" Или еще любезнее: "За что, милостивый сударь?"

"Михальцов ткнул пальцем в Мацеру и сказал: "Это - переодетый м е н т. С у к а, вырезвитель открыл! То-то я смотрю, плетет все что-то про трезвость. Мол, трезвость - норма жизни!" От такой речи Михальцова хоть стой, хоть падай, даже если ты ни грамма не пил и усов своих не помазал...

"Н а ж р а л и с ь как поросята!" - сказал Зеленков про себя и своих товарищей. Что ж, он очень точно сказал, так, что из фразы слова не выкинешь.

"Н а б у х а л и с ь (мы) на работе по горлышко. С ребятами. ...Сели в купе. П о д д а е м", - вспоминает Михальцов. Тут герой использует синонимичный ряд

глаголов. И тем самым говорит о том, как богат русский язык не только времен Даля, но и нашего времени.

Иногда герои Кувалдина говорят и на нецензурном языке, и тоже делают это “не слабо”, с большим искусством.

Вот Михальцов рассказывает друзьям, как он приезжает на поезде в Хельсинки: “Слез я с полки, вышел на платформу, читаю: Хельсинки! М а т ь т в о ю з а н о г у, думаю! Х у л и я в этой Финляндии забыл!” - “Чего ты выражаешься!” - одернул его Сукочев.

Потом Михальцов рассказывает друзьям, как он прилетает на самолете в Нью-Йорк: “Короче, долетел я до Нью-Йорка... Вышел в город. Взял бутылку, похмелился. И назад, на родину. Х у л и я забыл в этой Америке?” - “А вот выражаться не обязательно”, - сказал ему Зеленков, восприняв этикетские уроки Мацеры.

Здесь Гоголь мог бы сказать про Михальцова: “Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать?” “Читателям высшего сословия” оно не понравилось бы, “а за ними и всем, причитающим себя к высшему сословию”. Но Гоголь критически относился к высшему обществу, которое свободно изъяснялось на французском языке, а своего родного языка путем не знало. Он полагал, что употребить в речи русское “словцо” с улицы - приличнее, чем русским говорить между собой на французском языке, “в нос и картавя”.

А Монтень сказал бы: “Чтобы блюсти чистоту языка (без засорения его некультурными словами), мне неправильную речь слушать полезнее, чем правильную”.

А я бы повторила афоризм Кувалдина: “Жизнь - это одно, а искусство - это совсем другое”, в том числе и искусство слова (там самые некультурные слова могут выглядеть как украшение речи героев). И кто владеет этим искусством - тот Бог. А Кувалдин со своими героями владеет им в полной мере.

...Чехов писал Горькому из Ялты 3 декабря 1898:

“Вы пластичны, т. е. когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете р-ками. Это настоящее искусство”.

То же самое Чехов мог бы написать и Кувалдину, если бы прочитал его прозу.

Когда Кувалдин изображает вещь, он не только сам видит и ощупывает ее, но ее видят и ощупывают читатели. Это и есть настоящее искусство.

Например, Кувалдин показывает “высокие каблуки” на ботинках Зеленкова, которые тот сам набивал “в редкие дни трезвости”, чтобы казаться повыше при своем дамском росте 160 см. И они почему-то ассоциируются у меня с каблуками Гоголя, которые тот тоже любил набивать на свою обувь, чтобы казаться повыше (заказывал для себя в мастерских обувь с высокими каблуками). И именно они не сгнили в его могиле, когда его перетаскивали оттуда на Новодевичье кладбище.

А вот и сам Зеленков: он “стоял перед Мацерой, как призрак пивной “На семи ветрах”... Это такой живой и материальный призрак, до которого дотронешься, и он не рассыплется.

...Кувалдин любит прибегать в своей прозе к рефренам в речи героев, которые звучат у него как поговорки. В повести "Сплошное Бологое" таким рефреном является фраза Зеленкова: "Я разбил бутылку!" Он повторяет ее в разных вариациях, на разные лады в течение всей повести: "И как я бутылку разбил?" - с отчаянием говорит он. - "Проехали", - говорит ему Мацера, то есть все, закрывая эту тему: разбил бутылку и разбил, что же теперь делать? Но Зеленков через некоторое время опять повторяет: "И как только я ее разбил?" - "Проехали", - опять говорит Мацера. А Зеленков через какое-то время опять: "И как же это я бутылку разбил?" - "Оставь ты эту чертову бутылку! Достал ты меня с этой бутылкой!" - вспыхивает Мацера.

Кувалдин очень ярко и трогательно показывает, как Зеленков разбил ее. Зеленков обещает Мацере бросить пить, как и он, и говорит: "Все, старик, завязываю! Что будем пить?" - Решил выпить напоследок, а потом уже бросить. - "Бери "смирновскую". Мацера расплатился за нее в магазине. "Зеленков привычно опустил бутылку в карман своего пальто. Но тут же раздался звон битого стекла, полетели водочные брызги, поскольку бутылка свободно проскользнула через дыру кармана и рваную подкладку" и упала на кафельный пол.

Какое несчастье!

Самое большое несчастье для пьющего человека - это разбить бутылку с водкой, которую он хотел выпить (особенно если у него нет денег купить новую).

И поэтому Зеленков в течение всей повести никак не может успокоиться и все сокрушается о том, что он разбил бутылку.

Этот его рефрен - выплеск горя из души - смешит читателя.

А потом наводит на мысль: а как же Зеленков бросит пить, если для него такое горе - не выпить бутылку, и такое счастье - выпить ее?

Если он так переживает о том, что он разбил бутылку, если это для него такое горе, то как он должен будет переживать и каким же для него будет горем, когда он вообще должен будет бросить пить и должен будет всю жизнь не пить?

Это значит - он больше никогда не испытает счастья жизни? Как и Мацера, который бросил пить?

"- Ты согласишься работать со мной (в фирме анонимной трезвости)?!" - спрашивает его Мацера.

"- То есть не пить?"

"- Ты меня правильно понял". - Зеленков погрузился, осунулся, и вся его вежливость куда-то подевалась".

"- Не пить, быть трезвым, ничего не делать - это ж удавиться можно", - сказал Зеленков Михальцову.

"- Вот и я о том же думаю, - сказал Михальцов и взглянул на часы".

Люди пьют не только потому, что это доставляет им удовольствие, но еще и потому, что им нечем заполнить свою жизнь.

Другой рефрен, к которому прибегает в своей повести Кувалдин, это фраза Михальцова: "Давай" будешь говорить своей жене". Кто бы что-то ни говорил ему, но как только скажет ему слово "давай" (давай поговорим о деле и т. д.), Михальцов тут же отвечает на это: "Давай" будешь говорить своей жене".

Эта фраза, которая служит Михальцову поговоркой, является одной из черточек его характеристики.

...Когда читаешь Кувалдина, получаешь удовольствие от самого языка его прозы, от игры слов и смыслов в этом языке, от каких-то извивов мысли, от неожиданных сравнений и афоризмов, словосочетаний и фразостыковок, от которых летят искры: “Вопросы бились в висок, как стихи Мандельштама или Бродского”, “Мацера был в костюме в полоску, в крахмальной сорочке с галстуком, одним словом, прямо с витрины”, “заслуженный алкоголик” (как заслуженный артист), “Мацера написал (Зеленкову автограф на своей книге о Фихте): “Предошущающему свою философию - Славе Зеленкову, от нащупавшего свою стезю - Игоря Мацеры”, “Зеленков молчал, как памятник Зеленкову”, “Человек состоит из слов”, Михальцов смахивал “на персонажа знаменитой картины неизвестного голландского мастера “Положение во гроб”, “Я слышу речь знакомой подворотни”, “Богатство хозяина (дома) сочеталось с нищетой жильцов-съемщиков (этого дома)”, “Все хорошее - трудно”...

...Я другого такого писателя не знаю, который показывал бы застолья в своих произведениях лучше, чем Кувалдин.

Он на это мастер.

Не только на это, но и на это.

Он умеет показать и предошущение праздника в сердцах людей перед застольем, и сам праздник с застольем, когда люди начинают пить и есть, расслабляться, заводится, говорить на разные темы, откровенничать друг с другом, распахивать друг другу свои души и петь песни.

Вот как он показывает стол, за который сядут его герои, друзья Мацеры и немецкие гости:

“На столе в малой гостиной стояли закуски: сельдь в винном соусе; осетрина заливная; холодное вареное мясо с хреном; курица в студне; салат из огурцов со сметаной; салат из помидоров со сметаной; поросенок заливной; угорь, припущенный в вине; пирожки рассыпчатые с мясом; огурчики маринованные; грузди соленые; раковые шейки в голландском соусе; и, конечно, сами раки, отваренные с кореньями!”

Если это прочтает и увидит своими читательскими глазами голодный человек, ему захочется съесть все это, до того все это аппетитно на столе Кувалдина. А если это прочтает сытый человек, ему все равно захочется съесть все это, как будто он голодный.

Кроме закусок на столе, естественно, были и напитки - “смирновская” водка, “пепси”, рюмки и фужеры для напитков.

Герои Кувалдина сели за стол и принялись наливать водку в фужеры, пить и есть.

Непьющие немецкие гости стояли в стороне, потом тоже подсели к ним. И тоже стали не только есть, но и пить, не уступая в этом нашим.

Сукочев допился до глюков.

Ему померещилось, будто в гостиную вошла “корова с огромными рогами”, и он, пока гости не увидели ее и не всполошились, вскочил со своего места и побегал прогонять ее в коридор, прогнал и вернулся на место.

Сукочев рассказывал за столом, как варить раков, как кидать их “в бурлящую подсолоненную воду”, потом добавить к ним “перец, лаврушку, корешки петрушки и укропа”...

Зеленков (тот, у которого карман дырявый) рассказывает немцу, как хорошо он живет, говорит (врет), что у него большая квартира, которая досталась ему в наследство от отца вместе с поваром, и машина и дача (“Вот хожу я один по квартире, по пяти комнатам и думаю о безразличии объекта к субъекту”), потом начинает рассказывать, как готовить мясо и какое для каких блюд больше подходит, как будто он каждый день ест из двенадцати блюд... Михальцов рассказывает, как готовить гуся с грибами... Создается впечатление, что за столом собрались шеф-повара или директора каких-то очень престижных ресторанов или домохозяйки, до того они знают все тонкости кулинарного искусства. Это Кувалдин все знает, а от него и его герои, хотя он и не шеф-повар и не директор ресторана и не домохозяйка и не ест из двенадцати блюд.

Какие песни звучат за столом? “По диким степям Забайкалья”, и какие-то такие советские песни, которых никто за столом в жизни вроде бы и не поет, а у Кувалдина герои поют их: “Не бывать войне-пожару, // Не пылать земному шару!” Это песни о мире, специально для немцев, для закрепления дружбы между народами...

Немцы до того напились за столом, что потом еще три дня пили и не могли взяться за работу и подписать с Мацерой договор, ради чего он и пригласил их к себе.

...Кульминацией застолья стал инцидент с непьющим начальником и деловым партнером Мацеры Розенбергом, который когда-то был пьющим, но давно бросил пить, как Мацера. Розенберг “яростно ненавидел алкоголиков. Так бывает часто. Если ты раньше пил, а теперь бросил, то будешь ненавидеть тех, кто продолжает пить”.

Он тоже оказался за столом, но пил только “пепси”. А за час до застолья он стукнул алкоголика Михальцова носком ботинка по щиколотке. И теперь Михальцов решил отомстить ему. “Я ему сделаю! - в сердцах проговорил Михальцов. - Он у меня запьет на месяц!” - “Этот не запьет”, - сказал Мацера...

“Хорошо, видать, раньше поддавал этот товарищ”, - сказал Зеленков про Розенберга.

И вот Михальцов подкрался к нему сзади и “влил ему в глотку из горла (бутылки) граммов сто водки... Это произошло столь внезапно... что Розенберг ничего поделаться не мог”. Он закричал, “все в ужасе смотрели на беднягу”.

Через минуту Розенберг более или менее пришел в себя и хотел запустить в Михальцова помидором, но вместо этого схватил фужер и выпил его и “удовлетворенно потер руки”.

“- Ну вот, теперь будут говорить, что русские еврейский народ спаивают”, - под общий смех ехидно сказал Михальцов (как говорят, что евреи спаивают русский народ).

“Он не заметил, как сзади к нему подошел, слегка покачиваясь, Розенберг... нежно обнял Михальцова и принялся целовать его, приговаривая:

- Спасибо, друг! Ты пробудил во мне вторую натуру. Она спала. Вернее, она была мертва. Но ты ее воскресил. Давай споем эту (песню), - Розенберг затянул:

По диким степям забайкалья...

У Розенберга был явный слух и неплохой тенор, чем-то напоминающий знаменитого Бунчикова”.

Этот эпизод вызывает смех у читателей. Но у меня он вызывает еще и сочувствие к Розенбергу. Как к еврею (пьющему, а значит обрусевшему) и как просто к человеку, страдающему недугом.

Умеет же Кувалдин вызвать у читателей смех и вышибить из них слезу. Мастер, что и говорить. Мне так и хочется поднять за него бокал, под стихи Иосифа Бродского, которые я вычитала у Бродского: “Налить вам этой мерзости?” “Налейте”.

...Кувалдин с таким блеском показывает застолья, выпивки своих героев, что невольно начинаешь понимать Чехова, который писал Н. М. Линтваревой 1 мая 1897 года о том, как он ведет в Мелихове трезвую жизнь:

“По предписанию уважаемых товарищей, веду скучную трезвую, добродетельную жизнь, и если эта история продлится еще месяц-другой, то я обращусь в гуся”.

...Я другого такого писателя не знаю, который показывал бы состояние и психологию пьющего человека - перед выпивкой, перед запоем и перед опохмелкой, и во время выпивки, запоя и опохмелки и после всего этого - лучше, чем это делает Кувалдин, и с такой серьезностью и с таким юмором, как Кувалдин.

А кто лучше, чем он, умеет показывать состояние человека, “завязавшего” со всем этим?

Я другого такого писателя не знаю.

Читатели сами найдут подтверждение всех моих слов, когда прочитают “Сплошное Бологое”. А я приведу всего несколько примеров для их подтверждения.

Когда Зеленков “ополовинил” в беседке бутылку водки, он “так трагически” выдохнул из себя воздух, что “Мацера... отвернулся. Сколько раз в жизни Мацера сам таким же образом делал выдох!”

Голос у Зеленкова стал “срывающимся”, и Мацера понял, что “ему плохо, очень плохо”.

“Как ты себя чувствуешь?” - заинтересованно спросил Зеленкова Мацера, вглядываясь в его “глаза... которые начинали смотреть как бы в самого себя”. Зеленков ответил, что он чувствует себя так, “будто проглотил кирпич, но все-таки ему “немножко полегчало”. И сказал, что “надо бы еще добавить, а то получается “ни тебе Санкт-Петербург, ни тебе Москва, а какое-то сплошное Бологое”, то есть ни два, ни полтора...

А когда Мацера привел Зеленкова к двери фирмы, тот “спросил весело в предчувствии доброй выпивки”: “И что же за этой дверью помещается?”

А когда Зеленков вошел в фирму, то “при виде охранника с дубинкой Зеленков подобрался и чуть ли не строевым шагом последовал за Ма-

церой по лакированному паркету”, чтобы только охранник не выгнал его дубинкой на улицу и не лишил радости новой выпивки.

А когда Мацера дал Зеленкову бутылку и пошел за закуской, “тот, не думая, открутил пробку и отпил несколько глотков. Затем, забыв о своем к о л о т у ш н о м с о с т о я н и и, присвистнул и почесал в недоумении затылок”.

Мацера вернулся с целлофановым пакетом, в котором были “два соленых огурца и несколько кусочков черного хлеба”, заметил, что “в бутылке не хватает уже граммов сто”, вздохнул и сказал Зеленкову: “Не мог пять минут подождать?” - “Игорь Васильевич, это выше моих сил!” - сказал Зеленков (и даже перешел при этом на имя-отчество! - Н. К.) “и засмеялся, громко, нервно, суетливо”.

“Сколько ты за день выпиваешь в таком состоянии?” - спросил его Мацера. - “Не менее литра”. Более литра, конечно. Тут Зеленков соврал. И когда Мацера “установился в глаза Зеленкову тяжелым взглядом”, то у того “глаза забегали”...

Потом в нем “произошла какая-то смена внутреннего ритма”, и он стал читать стихи Бродского про “тоску необъяснимую... сомнамбул, пьяниц”. А потом почувствовал “н е о б ы ч а й н ы й п о д ъ е м д у х а и н а п л ы в м ы с л е й. Он как бы забыл, что этот подъем с наплывом вызван портвейном и водкой”.

Зеленков исповедывается перед Мацерой, как перед святым отцом: “Иногда выпьешь столько, что страшно становится, день с ночью путаешь, а домой приходишь на автопилоте. Идешь и не качаешься. Главное - не качаться!” - “Я тоже редко качался, - оживился Мацера”.

А вот Мацера объясняет Зеленкову, почему он бросил пить: “Пойми, если бы я еще в один ш т о п о р (еще в один запой. - Н. К.) вошел, я бы из него уже никогда не выбрался. Просто бы сдох как собака где-нибудь в пивной”.

Мацера знает и считает, что пьянство - это грех, а за грехи каждый человек чем-нибудь расплачивается: “Никто не уходит от наказания за свои грехи. Я наказан тем, что не пью. И у каждого человека будет свое наказание (за свои грехи), и не где-то за гробом, а здесь, в этой жизни. Например, ты наказан тем, что вынужден страдать от головной боли и жуткого похмелья, и чем чаще пьешь, тем тебе становится все хуже и хуже. Не кто-то тебя наказывает, а ты сам себя наказываешь...”

А вот Мацера исповедывается перед Зеленковым, как на духу: “Меня все время гложет эта мысль, что я сорвусь. Даже в эту минуту, сидя с тобой, меня не покидает эта страшная мысль. Она в той или иной мере всюду преследует меня. Эта навязчивая идея! Завишу от какой-то жидкости!”

Только после этих слов Мацеры понимаешь, как тяжело не пить человеку, который бросил пить, и сколько выдержки у него должно быть, чтобы он снова не запил, и каким сильным и волевым он должен быть... И как он мучается оттого, что не может пить.

Как святой мученик.

Такое откровение Мацеры - стоит откровений всех святых.

И когда Мацера нервничает во время застолья, где все пьют, а он не разрешает себе выпить ни грамма (потому что от грамма он сорвется так же, как от ли-

тра), и Михальцов спрашивает у Зеленкова: “Чего он нервничает?” - сам пригласил всех на праздник, а теперь нервничает, Зеленков задумчиво говорит: “Обидно ему... Вы должны понимать. Все пьют, а он не может. Один трезвый”.

После этих слов совсем другими глазами смотришь на сурового Мацера, и у тебя душа разрывается от жалости к нему. Как и ко всем героям “Сплошного Бологого”, которые после этого застолья должны будут бросить пить, а значит тоже будут мучиться, как Мацера.

...Монтень говорил: “Жизнь сама по себе - ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее”. Кувалдин доказывает это своей прозой, в том числе своей повестью “Сплошное Бологое”.

...Образ Мацеры заслуживает отдельного внимания читателей.

Мацера “...за несколько лет трезвости набрал солидную долю выдержки, спокойно переносит любые застолья, не стыдится своего трезвого образа жизни.

Пусть его называют больным, ущербным, но он-то, Мацера, знает, что это не так”...

Нет, это так.

Мацера - больной человек (у нас в стране все больные, но одни больны одной болезнью, а другие - другими). И ему было и есть трудно не пить во время “застолья”, когда все пьют, а он один - не пьет, только он старается не признаваться в этом самому себе, а тем более другим... И он - в какие-то моменты, в моменты застолий - стыдится своего трезвого образа жизни, хотя стыдиться бы надо всем нетрезвого... Но он сильная личность. Он решил на всю жизнь отказаться от удовольствия, которое доставляет пьющему человеку выпивка, хотя для пьющего человека, да еще алкоголика, нет удовольствия выше, чем это, и - отказался!

Мацера - не только сильная личность, а по-своему героическая, а значит и трагическая. И он вызывает у читателя не только огромную жалость и огромное сострадание, но и огромное уважение и восхищение и даже чувство преклонения перед ним, потому что на такой подвиг, как он, способен далеко не каждый из граждан России. Этот подвиг, если разобраться, - посильнее, чем подвиг солдата, который со связкой гранат - и, как правило, выпив для храбрости, и не боевые “сто грамм”, а минимум стакан водки, - бросается под танк. Чтобы броситься под танк и умереть “за Родину, за Сталина”, нужно перемучиться один миг.

А чтобы не пить всю жизнь - для этого нужно мучиться всю жизнь, как грешному в аду или как жаждущему глотка воды в пустыне. Только тот, кто понимает это, может оценить подвиг Мацеры, который Мацера совершает каждый день тем, что не пьет.

...В русской литературе всегда были и есть герои-пьяницы и алкоголики. Правда, в роли главных героев их не так уж много. У драматурга Вампилова, в его “Провинциальных анекдотах”, у прозаика Вениамина Ерофеева, в его книге “Москва - Петушки”, а из молодых писателей - у Евгения Лесина, в его книге “Записки из похмелья” и в его мини-повести “Где мы, капитан?” (см. “Нашу улицу”, № 6-2005), да и у того же Кувалдина - они есть почти в каждом произведении. Но чтобы в главной роли выступал алкоголик, который пять лет не пьет, как Мацера, и который всех алкоголиков и весь народ “континента под названием Россия”

хочет вылечить от алкоголизма, таких героев до Кувалдина у нас в литературе не было. Мацера - первый такой, и пока единственный.

Это новый тип в литературе, архетип. Волевой идеалист-утопист, который хочет волевым путем (как Горбачев в свое время) искоренить в России такое зло, как пьянство и алкоголизм, и который начал делать это с самого себя, на своем собственном примере.

Я думаю, что Мацера со временем станет таким же нарицательным лицом, как Чацкий, Онегин, Печорин, Чичиков, Обломов, Раскольников и т. д. И не только Мацера, но и другие герои Кувалдина. Например, марксистка-ленинистка Мила из его романа "Родина", если брать не мужские, а женские образы.

...В конце повести "Сплошное Бологое" все приятели Мацеры находятся в отдельных медицинских "боксах", как машины на ремонте.

В боксе № 1 лежит Михальцов, которому (и Кувалдин подробно, как нарколог, говорит об этом) наркологи сделали инъекцию и которому они завтра поставят капельницу. После чего он будет спать трое суток спокойным сном, "во время которого его организм очистится" от алкоголя, от этой отравы, и "почувствует тягу к новой жизни". Потом ему введут в организм препарат, после которого капнут на язык каплю водки. Пациент от отвращения начнет задыхаться. На него наденут кислородную маску. И так далее..." После всего этого ему "смотреть на спиртное" не захочется!

В боксе № 2 лежит Сукочев.

В боксе № 3 лежит Зеленков.

С ними Мацера в будущем мечтает делать большие дела. И со временем "покрывать (в России) все ликеро-водочные заводы, рестораны, шелманы", чтобы новые поколения не советских, а постсоветских людей уже не знали "об этом исчадии ада - алкоголе!" "Размечтался!" - с иронией говорит о нем Кувалдин, но тут же добавляет без всякой иронии: - "Но мечтать - не вредно. И Мацера любит мечтать (он идеалист). По сути только идеализм отличает человека от животного".

Почему именно с ними Мацера собирается делать великие дела, осуществлять свою программу по отрезвлению России? Почему он не хочет нанять обычных людей на эту работу? А потому что у обычных людей "не было бы такого рвения в работе, как у протрезвевших навсегда алкоголиков", поясняет Кувалдин.

В боксе № 4 лежит Розенберг.

Ему ввели в организм снотворное, сделали укол, но Розенберг "за несколько лет трезвости накопил изрядное количество жизненной энергии, так что снотворное на него не подействовало". Он вылез из бокса в коридор и запел песню: "Земля родная, Родина, // Привольное житье! Эх, сколько мною езжено!// Эх, сколько мною видено! // Эх, сколько мною пройдено! // И все вокруг - моё!"

"На последнем слове "моё!" Мацера ловко ухватил его под мышку и потащил в бокс № 4. Впрочем, Розенберг не сопротивлялся".

Розенбергу сделали повторный укол. И Розенберг уснул.

У читателя перед глазами возникает вроде бы смешная, но в то же время очень страшная картина. Все лежат в боксах. Вырубленные из жизни. И то ли они смогут начать новую жизнь, то ли нет. Не все же такие сильные, как Мацера.

Пока он тащил Розенберга в палату, до кровати, он подумал, “сколько людей в эту минуту, синхронно, на просторах Родины чудесной, на пространствах России, которую Гитлер не проехал, которую Наполеон не прошел”, поскольку очень уж она велика... “сколько же людей на этом чудовищном континенте под названием Россия находятся в состоянии опьянения?

...невозможно, даже мысленно, охватить все это пространство”.

А если представить себе, что в эту минуту, синхронно, на просторах Родины чудесной десятки миллионов людей лежат в боксах, под белыми простынями, как в морге?

Не менее жуткая получится картина.

Я другого такого художника не знаю, который бы, как Кувалдин, мог показать трагедию всей (спивающейся, а значит вырождающейся) России через фарс, через каких-то четырех смешных алкоголиков, Мацера пятый... Трагедию, от которой у читателя в душе поднимается плач, как во время разорения Рязани Батыем, когда вся Рязань была порушена и сожжена, а все рязанцы убиты, а оставшиеся в живых живые завидовали мертвым.

Пьяница и алкоголик - тоже человек! - Вот главный лейтмотив всей повести “Сплошное Бологое”. И Юрий Кувалдин - единственный писатель, который не побоялся сказать об этом в полный голос, да так, что с ним нельзя не согласиться.

...“Гениями мы называем покойников, - сказал Мацера Зеленкову. - Если по результатам моей практической философии и после моей смерти меня назовут гением, я не обижусь!”

Кувалдина не грех назвать гением и при его жизни. Он не обидится.

Эмиль Сокольский

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Рассказ “На Байкале” очень “кувалдинский”, он - один из ключевых в творчестве писателя, не устающего вновь и вновь поднимать вечно волнующие его вопросы. Рассказ в высшей степени интеллектуальный, философский и - музыкальный. Да, “На Байкале” - своего рода музыкальное произведение, написанное будто бы по законам сонаты или концерто-гроссо, - так Иосиф Бродский, работая над стихотворениями, учился композиции у Гайд-на и Генделя. Кувалдина же в данном случае вдохновляет Вагнер; а если говорить о “музыкальных словах” - то Ницше. И, конечно, Чехов, который, призывая избегать изысканного языка, замечал: “Язык должен быть прост и изящен”. Такова и манера Кувалдина, вот замечательные примеры его стиля:

“На причале было черно от нефтяных пятен, тесно от бочек, бревен, труб, пачками ржавеющих среди серых стен барака-склада. Пахло очень сильно и дурманяще хвоей и послабее - водорослями и рыбой”. “Вместе они вышли на крыльцо, Сутягин вдохнул холодный резкий, воздух, поежилась, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами. У причала уже стоял пароход. Тотчас у борта показался матрос в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом”.

Сюжет рассказа предельно бесхитростный: сорокапятилетний Сутягин, находясь в очередной командировке на опустылевшем ему Байкале, знакомится с сотрудницей заповедника Станиславой (которая моложе Сутягина на десять лет). Они распивают чай, беседуют, Слава провожает Сутягина. Завязывается легкий роман; он оканчивается грустным расставанием: Сутягин отплывает на пароходе, Станислава с пристани смотрит вслед. Повествование перемежается авторскими рассуждениями о “сильном человеке”; временами рассуждает и сам герой - дельно, толково. Рассуждения и сюжет движутся параллельно и вроде без явной связи друг с другом. Но в том-то и дело, что “вроде”. Взаимосвязь все же есть, и я постараюсь ее проследить.

Автор размышляет на любимые темы: о творческой независимости, о смелости высказывать свои взгляды, которые могли бы шокировать “нормально мыслящих” окружающих людей; далее, в развитие Ницше, он заявляет: “Пошлым натурам все благородные, великодушные чувства кажутся нецелесообразными и оттого первым делом заслуживающими недоверия”. Далее Кувалдин говорит, по сути, о том, что остановка движения - это смерть, и все должно развиваться, обогащаться изменяться, вплоть до собственных убеждений, и лишь вера в себя, презрение к канонам, яростное “возмущение спокойствия” способны разрушать автоматизм восприятия и создавать истинные ценности. Я думаю, что, говоря о блуждании по тайге без дела, писатель подразумевает бесцельное, бессмысленное блуждание по жизни.

Условность, искусственность морали - еще одна ницшевско-кувалдинская тема, своего рода вызов “коллективному бессознательному”. Весьма выразителен абзац о феномене

сна, и, хотя автор не говорит об этом прямо (а может быть, вовсе и не имел в виду ничего подобного), но невольно у меня напрашивается следующая параллель: вся реальность “нормального человека”, незбытого в своих убеждениях, придерживающегося морали, навсегда прикованного к цепи прошлого и способного оценить счастье только по сравнению или воспоминанию, но не в те мгновения, когда оно длится, - итак, вся эта реальность не что иное, как сон, - сон сознания, механистичность существования. “Человек-машина” - так определял “нормального человека” Ламетри, а много позже философ-практик Георгий Гурджиев. “Человек-машина” значит - человек спящий, то есть - спящий сном сознания. Такой человек не достоин счастья, потому что вовсе и не хочет его; он лишь обманывает себя, будто хочет счастья, поскольку хотеть - значит мочь, значит - добиваться, быть сильным, а прочие “хотения” не что иное, как самообман. Такой человек, образно говоря, готов растянуться на диване или поудобнее расстелиться в кресле и ждать абстрактного спасителя, у которого можно спросить: “Ну, расскажите мне, что нужно сделать, чтобы быть счастливым?”, не понимая той истины, которую однажды гениально выразил Виктор Франкл: “Свобода - это не то, что человек имеет, а то, что он есть”. Тому же, у кого спит сознание, не поможет и образованность, поскольку образование человек-машина тоже получает автоматически. Сутягин мудро рассуждает о счастье, но сам далек от счастья хотя бы уже потому, что хождение по тайге, осмотр хребтов для него давно уже рутинное занятие; он утратил способность видеть красоту; а в ком не живет художник, тот вряд ли может быть счастливым. И “дело”, с которым он связал свою жизнь - тоже бесцельно, ибо не вносит в нее смысла. Сутягин лишь исполнитель социальной функции. “Призвание есть становой хребет жизни” - слышен из-за кадра голос Кувалдина, и эти слова - приговор сутягину, блуждающим по лесу (по жизни) ради “дела”, которое они воспринимают как единственную реальность и не подозревают, что их приземленная реальность - ничто.

“Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше!” - сетует Сутягин (сравним слова Беляева к Пожарову из романа Кувалдина “Так говорит Заратустра”: “90% из 100 % людей - стадо баранов. Им нужен пастух! Они даже не знают, что им нужно делать в жизни”).

Сутягин, поначалу могущий показаться оптимистичным, сильным человеком, вдруг оборачивается к нам самой своей, так сказать, пессимистической стороной, - безнадежно пессимистической! - ибо добровольно присваивает себе статус жертвы. Он не в состоянии ничего делать сам, с ним “все случается”: “Давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье, - а вот ничего, и мотаешься по свету, отвыкаешь от семьи”... И встреча со Станиславой ничего не меняет в его жизни; она попросту и не украшает его жизнь. Он неуверен, нерешителен, безволен, как тургеневский Рудин, и в конечном счете неинтересен. Это типичный чеховский “маленький человек”, ум которого - не инструмент для создания, а скорее, продукт механически полученного образования. Такой человек никогда не изменит свою жизнь, ему удобнее находиться в своей скорлупке, не он делает свою судьбу, а судьба влачит его, прикованного к “цепи прошлого”... Он способен беседовать о поэзии, музыке, живописи, но насколько его жизнь становится от этого богаче и просветленней? Пусть все остается как есть, и не нужно никаких перемен, даже если и перемены будут к лучшему, - да и где гарантия, что к лучшему?..

Размышления Кувалдина, возможно, кое-кому могут показаться назидательными. Однако назидание - губительно для художника; рассказ же Кувалдина - крепкое, истинно художественное произведение, маленький шедевр. Значит, назидательность исключается сама собой. Тут иное, а именно - напутствие всем тем, кто жизнь свою понимает как творчество или, по Пришвину, как произведение искусства: будьте свободны, найдите себя, искорените всяческие страхи, и дерзайте, если хотите, чтобы ваша жизнь обрела смысл! Мне хотелось бы в связи с этим привести выдержку из письма Фета к Толстому:

Эмиль Сокольский

“Не помню, писал ли я вам о пословице, слышанной и заученной на всю жизнь от Петра Боткина: “Дай Бог дать, не дай Бог взять”. В этой пословице смысл всего христианства и всей моральной жизни. Дающий принимает роль и чувство божества, берущий - раб, ибо чувствует, что делает долг, поступает в зависимость от дающего”.

Юрий Кувалдин - созидатель, Человек Дающий. Примем же мудрые уроки от писателя - и тем самым не будем ему должны ничего, кроме благодарности.

Нина Краснова

ПОЩАДЫ ОТ КУВАЛДИНА НЕ БУДЕТ

Главный герой этого рассказа “Газета выступила. Что сделано?” капитан Виталий Гусаров на пару со своим товарищем, старшим лейтенантом Сергеем Большаковым решил выпускать свою, милицейскую газету Электромазутного района “Пощады не будет!”, направленную против нарушителей закона и преступников. Он зарегистрировал ее в специальной конторе, чтобы все было по закону. И вот он - при свете настольной лампы - сидит у себя в кабинете, делает макет первого номера, перебирает страницы материалов и думает, куда какой поставить. На самое видное место он хочет поставить материал под заголовком “Убивают все чаще”, с подзаголовком “Серия убийств прокатилась по Электромазутному району”. О серии убийств в этом районе и о об убийстве молодого директора одного из предприятий по фамилии Штюба, который занимался операциями с недвижимостью и труп которого был обнаружен около его дома...

Вдруг дежурный звонит ему по телефону и сообщает о том, что Большакова убили. Гусаров едет на место преступления. И находит своего товарища, соучредителя газеты, в кювете у забора, лицом в снегу, с пулевым отверстием во лбу, “прямо между глазами, чуть выше переносицы”. А в руке у него записка от бандитов, адресованная Гусарову и всей редакции газеты: “Если еще раз напишете в вашей шшивой газетенке про замоченного Штюбу, то вас всех ждет его участь”.

Откуда бандиты узнали о заметке про Штюбу, когда газета еще не вышла? - недоумевает Гусаров. И вдруг находит в кармане бушлата у покойного свою еще невыпущенную газету “Пощады не будет”. Откуда могла возникнуть невыпущенная газета? И тут оказывается, что и шофер Гусарова, и охранники, и все жители Электромазутного района уже читали этот номер. И что там на четвертой полосе уже есть информация об убийстве Большакова. Мистика какая-то, фантазмгория...

Гусаров начинает делать второй номер, с материалом против налоговой инспекции, которая берет взятки и которая дает взятки властям... Хриплый голос говорит ему по телефону: “Ну ты, козел, все еще рисуешь газету? Ты не понял, что ли, что не надо рисовать газету? Большака (мы) свалили? И тебя, козел вонючий, свалим! Понял?”

Гусаров звонит полковнику и обо всем докладывает ему. Тот мягко говорит ему: “Не боись...” - и вешает трубку.

Гусаров приставил сам к себе охранника. За Гусаровым начинают охотиться какие-то ребята в черных куртках и в черных вязаных шапочках, как за каким Рэмбо, сторожат его на улице, около его дома. Гусаров опять звонит полковнику и до-

кладывает о ситуации. Тот опять говорит: "Не бойсь". И отменяет персонального охранника. Второй номер газеты вышел, прежде чем Гусаров сдал его в типографию. Таким же образом выходят все другие номера - пятый, тринадцатый, четырнадцатый, с материалами о взятках, о коррупции в прокуратуре, в администрации района, в госструктурах... И каждый раз ему звонят бандиты и говорят ему: "Козел, ты все еще выпускаешь газету?" И опять охотятся за ним, чтобы он одумался и бросил газету. Один раз они выстрелили в него, когда он ехал в своей машине, и разбили в ней стекло и чудом не попали в самого Гусарова, но попали в шофера и охранника, другой раз - выстрелили Гусарову в голову и попали в фуражку, она слетела у него с головы, они прострелили кокарду. А полковник все время говорит ему: "Не бойсь..." - и не предпринимает ничего, чтобы спасти Гусарова, и удалет от него всех охранников. А под конец рассказа этот полковник приходит в кабинет к Гусарову и убивает его из своего пистолета, стреляет ему в лоб, между глаз, над переносицей.

Жанр этого рассказа - смесь реализма с сюрмом и юмора - с неюмором.

Рассказ напоминает собой остросюжетный фильм-детектив и фильм-боевик и фильм ужасов с трюками. Там кроме капитана Гусарова с пистолетом, с наганом, с "табельным оружием" фигурируют охранники с автоматами "калашникова", менты в бронежилетах и опять же с оружием, и наши отечественные гангстеры в черных куртках и в черных вязаных шапочках, с автоматами "узи", с гранатами и гранатометами, с черными чулками на головах. В баре "Три столба" омовцы под командованием Гусарова открывают огонь "по врагам отечества", по бандитам, по "бритоголовым квадратным" "духарикам", "бугаям" и "хмырям", "мордворотам", "дебилам и даунам"... , завсегдадаям злачного места, а потом обливают бар канистрами с керосином и бензином и взрывают его, и когда жители спрашивают: "Что произошло?" - те отвечают: "Газовый баллон взорвался". И все это происходит на фоне какого-то Электромазутного района (с пародийным названием), на фоне современного российского захолустья, полугорода-полудеревни с покосившимися избами, хибарами, бараками, где раньше люди смотрели детективы и боевики только по телевизору, а еще раньше и по телевизору-то не смотрели, а только читали о них в газетах, что вот, мол, в Америке, на гнилом Западе по телевизору показывают фильмы-боевики про гангстеров... а теперь они смотрят их в жизни и даже становятся их участниками.

По Электромазутному району наряду с отечественными "козликами", ездят иномарки, "форды" и "джиппы"... о которых жители этого района раньше и не слышали. Рассказ весь наполнен приметами нового времени, среди которых не только автоматы "калашникова" и иномарки, но и компьютеры, которые заменили допотопную пишмашинку.

Но самое новое, что появилось в районе из нового, - это не новое оружие, и не иномарки, и даже не компьютеры, и не что-то еще, а (вот главное завоевание нового времени, главное знамение демократии) - новая газета "Пощады не будет!", которая возмутила спокойствие врагов свободного печатного слова.

И все в рассказе крутится вокруг этой новой газеты, которую враги “печатного свободного слова” боятся больше, чем автоматов “калашникова” и “узи”, и больше, чем гранатометов, и больше чем чего еще, и поэтому они борются с нею и с ее главным редактором, как он борется с ними, и хотят убрать его (и в конце концов убирают).

Прототипом Гусарова мне представляется сам Кувалдин, который, кстати, когда-то работал в газете, в многотиражке, и который решил выпускать не газету свою, как Гусаров, а свой журнал художественной литературы “Наша улица”, в пикку всем “толстым” журналам, и который понимает, как трудно ему будет выпускать его даже в чисто техническом плане, и как трудно ему будет бороться за свое место под солнцем, и сколько у него будет врагов, которые будут выступать против него...

“Трудно начинать новое дело, но отступать Гусаров не любил”, - пишет Кувалдин будто сам о себе. И он, как и Гусаров, не отступает от того, что начал.

У Гусарова газета выходит будто сама собой. И у Кувалдина журнал начинает выходить будто сам собой. После первого пилотного номера у него вышел первый непилотный, потом - второй, третий, а теперь уже у него вышло их больше шестидесяти. И все - как будто сами собой.

“Когда это я успел напечатать столько номеров?” - удивляется Гусаров, будто сам Кувалдин. - “Еще первый не нарисовал, а уже - пятый”... а уже шестидесятый, а уже семидесятый, добавлю я...

И когда Гусаров говорит, что у него “нюх” на врагов “печатного слова”, что они, “сволочи, боятся печатного слова”, это будто сам Кувалдин и говорит.

У Гусарова - “черные кудри”, а у Кувалдина их нет. У Гусарова - полные губы”, а у Кувалдина - не такие.

Но Кувалдин-писатель - это актер и режиссер (не зря он когда-то учился в театральной студии Высоцкого).

Он надевает на себя парик с черными кудрями, загримировывает себя под капитана Гусарова, надевает на себя его мундир с погонами, сажает себя за стол с бумагами, включает настольную лампу, а с нею и свою художественную фантазию и свое художественное воображение и начинает ставить фильм-детектив, фильм-боевик, фильм ужасов о капитане Гусарове... то есть писать рассказ... и превращает свои фантазии и свое воображение в художественное произведение, где он в гущенных экзальтированных красках, в художественной форме показывает, как трудно человеку выпускать свой свободный печатный орган и бороться с врагами свободного печатного слова и что может грозить ему в прямом или в переносном смысле, какая участь может ждать его, не конкретно Кувалдина (не дай Бог), а вообще человека такого типа, как он.

У Кувалдина в рассказе есть такой почти незримый, прозрачный юмор, который не бросается в глаза и который читатель может даже и не заметить. Он есть, например, в самом сочетании “капитан Гусаров”, которое на слух звучит как капитан гусаров и придает образу Гусарова, смелого, мужественного человека с бое-

вой старинной фамилией, которой он как нельзя лучше соответствует, дополнительные смелые и мужественные черты, так сказать в квадрате. Как если бы капитан капитанов и гусар гусаров. И оно же говорит о том, что Гусарову эти черты достались как бы в наследство, а звание капитана он приобрел благодаря наличию этих черт, не почивая на лаврах своей фамилии. И оно же несет на себе налет тавтологического юмора, как если бы Лев Зверев.

При всей серьезности своей темы и при всей печальности своей концовки рассказ получился совершенно далеким от занудства, нытья и пессимизма автора по поводу драматизма и трагизма ситуации, в которой приходится работать людям типа Гусарова-Кувалдина.

В рассказе есть нагнетание ужасов нашей реальности, с градацией усиленных средств нагнетания этих ужасов, но оно дается в стиле гротеска и буффонады... и вызывает у читателей не ужас, а смех, то есть сначала - вроде бы ужас, а потом смех, чего и хотел добиться автор.

Как, например, в сценах покушения бандитов на жизнь Гусарова. Сначала они стреляют в него из пистолета... а потом, когда это у них не срабатывает, они пробуют прибегнуть к более тяжелому оружию... Но и это у них не срабатывает. - Гусаров шел поздно вечером по улице 26-ти Бакинских комиссаров домой один, без охраны (которую снимал полковник). И вдруг кто-то выстрелил в него из пистолета и попал в фуражку и пробил пулей кокарду на фуражке.

Тогда Гусаров молча выстрелил из нагана в предполагаемую цель впереди себя, которую нельзя было различить из-за снегопада. Через десять шагов он увидел "труп в джинсах, в короткой черной куртке и в вязаной шапочке". "В руке у трупа была граната. Рядом лежал гранатомет". Эта граната и этот гранатомет (вместе с пистолетом), эта вооруженность бандита до зубов (против одного человека, как против целой роты, против одного человека, который идет без охраны) вызывает у читателя взрыв смеха-насмешки над этим бандитом...

Как и ассоциация черной куртки трупа с черными тужурками 26-ти бакинских комиссаров, на улице имени которых и происходит действие, но до которых этому 27-му "комиссару" далеко.

Имена улиц в рассказе помогают автору создать атмосферу, в которой происходит действие рассказа, и конкретизируют эту атмосферу. Бандиты убивают Большакова на улице Комсомольской, где "не горело ни одного фонаря".

А Гусарова они пытаются убить на улице 26-ти бакинских комиссаров... То есть все, что происходит в рассказе, происходит не где-то в Америке, на Западе, где, по статистике, каждую минуту совершаются преступления, а в бывшей советской стране России, то есть в постсоветской России.

У Кувалдина очень развито чувство слова, как у хорошего поэта. И он умеет играть со словом, как поэт, и ставить его в разные контексты, в разные сочетания с другими словами и извлекать из него разные смыслы, то есть умеет пользоваться многозначностью слова и обыгрывать ее в своей прозе.

Например, он берет слово “козел”. И употребляет его в разных значениях.

1). Первое. В значении обзывательства, ругательства.

Бандиты звонят Гусарову и говорят ему:

- Ну ты, козел, ты все еще выпускаешь свою газету?

А когда Гусаров уложил бандитов в баре “Три столба”, на кафельном полу, он ходит между ними, бьет их каблуком по затылкам и говорит им:

- Это вы - козлы! Козлы! Козлы...

2). Второе. В значении марки машины.

Гусаров разезжает по своему Электромазутному району на “козлик”, на машине отечественной марки, которая смотрится среди иномарок как экспонат из краеведческого музея.

3). И третье. В значении животного, то есть в своем прямом значении.

“У своей калитки стояла тетка с козой”.

Машина Гусарова, которого хотели убить бандиты, пробила забор этой тетки и въехала на ее огород.

И благодаря этому читатель смог увидеть козу в прямом значении этого слова. Вот она, коза не в переносном смысле, не “козел” как ругательство, не “козлик” как машина, а самая настоящая живая коза.

Она невольно вызывает у читателя улыбку.

Потому что автор сумел поставить ее в такой контекст, в котором нейтральная, не смешная коза начинает казаться смешной и обращает на себя внимание читателя, хотя она не главная героиня рассказа, а, так сказать, участница массовки.

Иногда Кувалдин переносит качество одного предмета на другой, и от этого предмет с новыми качествами начинает выглядеть по-новому, в неожиданном ракурсе.

Например, в одном месте рассказа автор говорит о том, что капитан Гусаров в работе над своей газетой “Пощады не будет” берет за образец “Независимую газету”.

Он смотрит, как располагаются там материалы, как они подаются, какие заголовки и подзаголовки там употребляются. И в его сознании газета “Пощады не будет” неожиданно - по своему независимому характеру - сливается с “Независимой газетой”.

И в конце рассказа Гусаров пишет: “Госчиновников, которых задевает и дальше будет задевать наша газета... (мы) хотим предупредить: не советуем (вам) оказывать нам противодействие в какой-либо форме. *Независимую газету* “Пощады не будет!” поддерживают очень влиятельные структуры”.

Чехов говорил: “Если на стене висит ружье, оно должно выстрелить.”

У Кувалдина его ружье всегда стреляет. У него в рассказе стреляют, то есть выполняют предназначенную им роль, не только пистолеты и наганы, но и все другие образы и детали, как фаллосы в его “Юбках”. У него стреляют даже груди жены Гусарова.

В одном месте рассказа автор пишет, что жена у Гусарова “полная, низенькая, с очень большой грудью”.

А через несколько страниц он спит на этой - "большой и мягкой" груди, как на подушке.

А еще через несколько страниц эта "жена прижалась сзади грудями к голове Гусарова". Висели, висели груди на животе у жены и наконец "выстрелили", продемонстрировав новый эротический способ, которого нет даже в "Камасутре".

Кстати сказать, она очень любила исполнять "свои женские обязанности", а его заставляла исполнять свои мужские обязанности, даже когда он был не готов к этому, "чуть раньше положенного".

В рассказе всего несколько эротических моментов, но они очень яркие, нестандартные и впечатляющие.

Как на картинах Романо.

Художественная ткань прозы Кувалдина очень поэтична.

В нее вплетены такие поэтические образы, сравнения, какие и поэтам не снились. Например, такое ситуативное сравнение, которое связано с темой рассказа: "Тени от букв падают назад, как тени от преступников в свете уличного фонаря на снег".

Многие люди и писатели придают значение чему-то как бы главному, и не придают значения деталям. И говорят, например, о чем-то, что они считают для себя главным:

- Это - главное, а остальное - это детали (то есть - как бы не главное).

Но у Кувалдина в рассказе и вообще в его прозе нет ничего не главного. У него все - главное, в том числе и детали. Даже можно сказать, детали - это и есть главное в прозе, потому что без них не может быть хорошей прозы. Она вся состоит из деталей.

Вот какой портрет старухи получился у Кувалдина из этих самых деталей:

Гусаров вышел из своего подъезда и увидел старуху.

"Старуха из соседнего подъезда, в рваных чулках, в галошах и в байковых трусах поверх юбки, вешала на веревку рваное серое белье. Оглянулась беззубым ртом на Гусарова и прошипела:

- И чтоб вы, ироды, все перестрелялись!

И плюнула (себе) под ноги".

Рваные чулки старухи, галоши у нее на ногах (вместо тапок и туфель), байковые трусы поверх юбки, рваное серое белье, которое надо бы уже выбросить или использовать на тряпки, как и рваные чулки, а она стирает его и вешает на веревку, хочет, чтобы оно еще послужило ей, потому что у нее нет денег купить новое белье или потому что она бережет и экономит каждую копейку и собирает деньги себе на черный день, то есть на еще более черный, чем тот, в котором она живет, и, может быть, на свои похороны?

Портрет этой старухи, нарисованный Кувалдиным с помощью деталей, достоин не меньшего восхищения, чем образ "Мадонны Литты" Леонардо да Винчи, а ее "байковые трусы поверх юбки" - в ткани рассказа выглядят ценнее трусов Брижит Бардо, за которыми гонялись ее поклонники. Эти трусы, я думаю, войдут не только в историю, но и в учебники по стилистике. Вот что значат детали.

А “беззубый рот” старухи, которым она “оглянулась” на Гусарова (не глазами оглянулась, а ртом)?

Он не менее выразителен, чем рот иной голливудской дивы, у которой “зубы в три ряда”.

А речь старухи - сколько в ней пренебрежения к иродам, которые довели людей и ее саму до нищеты (для нее все они - уроды, и все - преступники, и она не хочет разбираться, кто есть кто, она и Гусарова приняла за одного из них).

И свое отношение к ним она выразила не только словами, но еще и жестом: плюнула на них на всех себе под ноги, потому что она их за людей не считает.

Кто-то ее за человека не считает и плюет на нее, а она плюет на всех, кого она за людей не считает, а себя она считает человеком, хотя и потеряла обличье человека.

Авторская речь Кувалдина - это речь культурного, интеллигентного человека, а речь его героев и персонажей - это речь людей разных социальных слоев, насыщенная просторечиями, жаргонизмами, а иногда и ненормативной лексикой, и как нельзя лучше характеризует каждого из них.

Охранник говорит про бандитов, которые звонят Гусарову по телефону и угрожают убить его:

- Р а с п о я с а л и с я .

Он говорит только одно это слово, глагол с окончанием “ся”. И благодаря ему возникает образ этого охранника, внешность которого автор не описывает. Этот охранник - человек из народа, из деревни. Притом добрый и добродушный человек.

И образ тетки, то есть “бабки” с козой возникает в основном благодаря ее речи. Эта бабка сказала, что преступники стреляли “из синей машины”.

- “Ж и п о м” называется, - добавила она.

- Почем ты, старая, знаешь?

- У нее, как в бане, трубы спереду блестят, - сказала тетка. (Она же и бабка. Для кого - тетка, а для кого - бабка.)

“Ж и п”, “у е е”, “с п е р е д у”... эта речь бабки гармонирует с ее дощатым забором, с ее огородом и с ее козой. У хозяйки огорода, дощатого забора и козы речь и должна быть вот такая, вся из просторечий.

Майор Шутов в баре предлагает капитану Гусарову выпить, в м а з а т ь с ним “в о д я р ы”, водки.

И предлагает:

- Может, Гусаров, расстреляем их тут всех, к ебеней матери, а?

Гусаров не ругается матом. Даже и про себя. Все, чего он может позволить себе, это сказать “е-мое”:

- Е-мое! - воскликнул про себя Гусаров.

Е-мое! До чего же хорошо говорят герои и персонажи Кувалдина в его прозе! - так и хочется воскликнуть это не про себя, а вслух, когда читаешь прозу Кувалдина.

У Кувалдина в рассказе и вообще в прозе все конкретно, нет ничего абстрактного.

Район, в котором живет Гусаров, - не просто некий абстрактный район, а - Электромазутный (то есть рабочий, пролетарский, в котором, как в любом другом, есть и свои богатые предприниматели, и свои большие чиновники, и свои крутые ребята).

А бар в Электромазутном районе - не просто бар, а "Три столба" (почему "Три столба"? непонятно, но это и неважно, зато - конкретно).

А дом Гусарова - не просто из кирпича, а из "силикатного кирпича".

А подпись "Главный редактор В. И. Гусаров" набрана в газете не просто крупными буквами, а - конкретно - "14-м кеглем, полужирным шрифтом".

А машины, на которых ездит Гусаров, - не просто машины, а конкретно - "козлик" и "форд".

А линейка, с помощью которой начальница типографии проверяет правильность верстки газеты, по строчкам, - не просто линейка, а "железная линейка-строкомер".

А бутерброды, которыми майор закусывает в баре водку, - не просто бутерброды, а "бутерброды с лососиной".

А портрет, который висит в кабинете Гусарова? - это не просто чей-то абстрактный протрет, а - конкретно портрет Ельцина (не Ленина, не Сталина, не Хрущева, не Брежнева, не Горбачева, а Ельцина, который символизирует собой время рыночных реформ, которое описывается в рассказе).

А дома у Гусарова висит портрет маршала Жукова, и это говорит о симпатии героя к маршалу Жукову, который является для него образцом сильной личности и идейным вдохновителем в работе, требующей волевых качеств.

Вся эта конкретика делает рассказ художественно ярким, достоверным, убедительным и правдоподобным, хотя сама по себе она вроде бы и не особо художественна. Сама по себе - нет, а в целом - она выполняет роль художественных деталей, таких же важных, как сравнения и метафоры.

Газета Гусарова "Пощады не будет!" была формата "Пионерской правды". Выдуманная реальность существует у Кувалдина вместе с невыдуманной, как газета "Пощады не будет!" - вместе с "Пионерской правдой" и "Независимой газетой". Как выдуманные литературные герои Гусаров и другие - вместе с невыдуманными "фордами", "джипами", "мерседесами", на которых они катаются.

И все выдуманное кажется у Кувалдина таким же невыдуманным, как и невыдуманное, одно не отличишь от другого.

"Не боись..." - говорил полковник капитану Гусарову, редактору милицеской газеты, когда "бандиты" убили его помощника, старшего лейтенанта Большакова.

"Не боись", - рефреном говорил полковник капитану, каждый раз, когда они угрожали ему расправиться с ним и когда они стреляли в него...

И Гусаров понимал эти слова так: "Не боись. Они убили твоего помощника. Но тебя они не убьют".

А их следовало понимать совсем не так: “Не бойсь. Они убили твоего помощника, и тебя убьют, но ты не бойсь этого, в этом нет ничего страшного и плохого. Зато ты избежишь другой, более страшной участи - ты избежишь “старости”, которая подступила бы к тебе раньше времени, когда тебе не исполнилось бы “и тридцати еще лет”, потому что в таких условиях, в которых ты работаешь, когда “бандиты” и госструктуры (что одно и то же) все равно не дадут тебе работать и делать свое дело так, как ты этого хочешь, и будут все время держать тебя на мушке, ты не сможешь продвинуться вперед по своей линии “реально ни на шаг”, и от отчаяния и от вечных переживаний и депрессий превратишься раньше времени в старика и в “урода”. Так что не бойсь, если тебя убьют... это для тебя самый оптимальный вариант, и убьют тебя не бандиты из бандформирования, как они называют сами себя по телефону, не посторонние люди, которых ты знать не знаешь, а свои же люди из МВД и ФСБ... потому что они входят в это самое бандформирование, они сами и есть нарушители закона, то есть преступники, против которых ты борешься, и поэтому они вынуждены прибегнуть к крайней мере - расстрелять тебя, чтобы ты не лез не в свое дело и не доставал и не подставлял их, а вместо тебя они посадят в твоё кресло своего человека, капитана Пантюхина, который хоть и не умеет делать газету (они будут делать ее за него - ты убедился в том, что они это могут?), зато он и не будет бороться с ними.

Так что “не бойсь”, я сам тебя и убью, и сделаю это профессионально, на высшем уровне, честь по чести, застрелю тебя из своего пистолета, без промаха, всажу тебе пулю между глаз, над переносицей, так что ты и глазом моргнуть не успеешь и ничего понять не успеешь, и мучиться не будешь. Вот как следовало понимать Гусарову слова полковника.

И то, что Кувалдин вставил эту фразу в его уста, такую вроде бы примитивную, с простонародным, простецким оттенком, но такую, оказывается, не простую по своей семантике, говорит о том, что у Кувалдина повышенное чувство слова и он умеет поставить слово в такой контекст и повернуть его там таким боком, с отклонением на один-два градуса от своего нормального, привычного смысла, что даже и примитивное, даже и полуграмотное, оно станет сложным, многозначным, объемным, вместительным, с двойным дном, и из безобидного и смешного превратится в страшное (а в иных случаях - из страшного в безобидное и смешное, но не в этом конкретном случае).

Название рассказа “Газета выступила. Что сделано?” - какое-то странное, какое-то нерассказное для рассказа.

Это скорее не название рассказа, а заголовок или даже подзаголовок статьи по следам выступления газеты, в котором подразумевается отчет о результатах работы, проделанной коллективом редакции за какое-то время.

Или это название рубрики.

Оно какое-то чересчур серьезное, сухое, официально-бюрократическое.

Постоянных читателей газеты такое название может заинтересовать, а читателей журнала или книги - навряд ли.

Оно может не столько заинтересовать, сколько отпугнуть их.

Но, с другой стороны, как раз этим оно может их и привлечь, как странное для рассказа, которое не обещает читателю ничего такого “клубнично-ягодного”, чего он любит и ждет.

Это как женщину иногда может привлечь и заинтересовать мужчина, который не старается ее ничем заинтересовать и который может понравиться ей больше тех, которые стараются ей понравиться.

Это название - в стиле газеты, о которой идет речь в рассказе.

Оно органично для нее и совпадает с содержанием и внутренним пафосом рассказа о ней.

Газета выступила против преступников?

Ну и что?

И что сделано в ответ на это?

Преступники посажены за решетку или на электрический стул?

Наказаны и заклеены позором?

Нет.

А что же сделано?

Ничего.

Главный редактор газеты убит, а преступники гуляют на свободе, живут, как жили, и совершают свои преступления, как совершали. И держат газету, средство массовой информации под своим контролем, в своих руках.

Вот о чем говорит как бы сухое, как бы официально-бюрократическое название рассказа.

Жесткое, как сама жизнь Электромазутного района...

Виктор Боков

ЗА ПРЕДЕЛАМИ

Юрию Кувалдину

Ни разу я не умирал!
Хотя умерших обнимал,
Когда их провожал в свой путь последний,
Как родственник и как наследник.

Я заходил на мавзолей,
Я жалился земному богу:
- Оставь меня! И пожалей,
Мне рано в дальнюю дорогу!

Я слышал голос: - Поживи
Годок-другой, а затоскуешь,
Жить на земле запротестуешь,
Бери ковчег, гребни, пльиви,
И похоронщиков зови!

Звонят печальные шаги,
Передо мной пустыня Гоби,
Вчера я отдал все долги,
Как хорошо-то мне во гробе!
Я умер! Я - земля, я - труп,
Я не трублю и не бряцаю,
Оделся я теперь в тулуп,
Мой мавзолей непроницаем!

Растет великий мой погост,
Мир мертвых тоже очень тесен,
Никто не носит сапогов
И не поет бывалых песен!

Грачи кричат, вороны каркают,
А рядом высится Москва.
И воцаряется над парками
Международная тоска!

14 марта 2001 года,
утром, на даче

"Наша улица", № 5-2001

СОСНОРА ПОПАЛ В ПЕРЕДЕЛ(КУ\КИНО)

Сверчок не пел. Не тикали часы.
Виктор СОСНОРА

Соснора НЕ
Соснора ВРОДЕ БЫ
Соснора ГДЕ-ТО и
Соснора РАДИ
Соснора вдоль судьбы
и городьбы
страстей уставом в "от руки" тетради
в догутенберговской неправоте
писца
посланца
цацы
летописца
изобличая государя
те
пасёт народы
эти
утопиться
влачит к реке
как грозный поводьрь
ума
среди глаголицы и хуже
потом строку
затёртую до дыр
дабы истолковать
отмочит -
в куше со скоморохом
но -
перед царём! -
в чухонской луже крови
но свекольной
прозрачности намёка судьей
трём
вельми избличённым татям
коляя
заточит к исправлению греха библейского
Соснора строг и точен
но справедлив
Соснора - ПОТРОХА
Соснора - ИЕРУСАЛИМ
Соснора ОЧЕНЬ

25 декабря 1959,
Переделкино

СОСНОРА

решил писать в стол

Соснора напирал на необходимость отрицанья советской власти на тридцатом её году рассудка вне

в минувшем 56-ом отправив Лилю бричкой к ляду с её пристрастием к окладу лубянскому - огрел шестом

гиперболу паяс как маяковский Лилю чики-брики в москве ли питере ли риге - соснора рисковал весьма

до переделкина рукой подать старушке корку хлеба считала Лиля долго(м) где бы донское ни лилось рекой

соснора выпить не дурак решительно имел охоту с имажинистами пехоту стравить бурлюк-кручёных драк

и сам умело рифмовал уже израильтян с ядвигой зане в печать асеев двигал стихи что били наповал

он гнал тираж во весь опор крутой имея с детства норов харизматический соснора хлопот кузьминского в упор не видел кубарем возни с американкою мышиною пока гэбэшники машиной не раздавили чёрт возьми -

Соснора Павлом Первым встал в руках увидев табакерку и плюнув в спину Гутенбергу решил писать отныне в стол

14 апреля 1957
Переделкино

СОСНОРА С НОРОВОМ И БЕЗ

...и что ж держа на сердце? -
один расстрел, одну в законе казнь,
наркоз и две клинические смерти.
Виктор СОСНОРА

Сосноре эти Drang und Sturm
что пятая нога собаке
что хрен и редька кулебяке
что макияжу штукатур

отец промазав положил
собаку-друга на охоте
а снайпером служил в пехоте -
в кукушки лез из кожи жил

с убытку
чучело набив
и показав народу спину
животное оставил сыну
поскольку был жизнелюбив

тогда
возненавидев смерть
Соснора навсегда оружие
из дома выбросил -
оружий
на людях выглядел как смерд

но стало враз не до Муму
и чучел -
в купе розмарина
с собой покончила Марина
жена Сосноре самому

в тупик многострадальный он
напропалую с горя запил
да так -
что был разрыв внезапен
нутра животного! -
баллон
в реанимации качался
под капельницей десять дней
пока упрямый диссидент
то умирал
то не кончался

из гроба вытащив себя
за волосы двумя руками
он упирался в дно рогами
оглох но выстоял -
судьба!

в стихе могильный материал
с поэтом смело породнился -
но не увидев парадиза
он
веру в Бога потерял

сплошно в хуторе залёг
эстонском
с лишком на полгода -
стояла дивная погода
бессмертья может быть залог

вернулась жизнь
пошли на лад
дела
последними стихами
себя однако
с потрохами
он выдал:

ЖИТЬ НА СВЕТЕ - АД

14 апреля 2006

ХОЧЕШЬ ЖНИ - А ХОЧЕШЬ КУЙ!

то ли в гаграх
то ли в ялте
развернули кумачи
сталин - молотов - кувалдин
воплощение мощи!

Клио вмещены в анналы
урок -
фруктов -
овощей
что им толстые журналы
что им толстые воще!

что им Маршал Василевский!
что им Крылышки без крыл
ЦСКА продувши Левски
пеплом голову покрыл

дирижёр расправив фалды
медью грянул торжество
сталин - молотов - кувалдин
раздолбали и его

от забора до обеда
яму роют ибо стимул -
нужна одна победа
за ценой не постоим!

и куют по наковальне
счастья молотом ключи
сталин - молотов - кувалдин
молоды и горячи

19 ноября 2005

Приложение

Ролан Барт

СТРУКТУРАЛИЗМ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Что такое структурализм? Это не школа и даже не течение (во всяком случае, пока), поскольку большинство авторов, обычно объединяемых этим термином, совершенно не чувствуют себя связанными между собой ни общностью доктрины, ни общностью борьбы. В лучшем случае дело идет о словоупотреблении: структура является уже старым термином (анатомистского и грамматистского происхождения), сильно истертым к настоящему времени: к нему охотно прибегают все социальные науки, и употребление этого слова не может служить чьим бы то ни было отличительным признаком - разве что в полемике относительно содержания, которое в него вкладывают; выражения функции, формы, знаки и значения также не отличаются специфичностью; сегодня это слова общего применения, от которых требуют и получают все, что пожелают; в частности, они позволяют замаскировать старую детерминистскую причинно-следственную схему. Вероятно, следует обратиться к таким парам, как означающее - означаемое и синхрония - диахрония, для того, чтобы приблизиться к пониманию отличий структурализма от других способов мышления; к первой паре следует обратиться потому, что она отсылает к лингвистической модели соссюрианского происхождения, а также и потому, что при современном состоянии вещей лингвистика, наряду с экономикой, является прямым воплощением науки о структуре; на вторую пару следует обратить внимание еще более решительным образом, ибо она, как кажется, предполагает известный пересмотр понятия истории в той мере, в какой идея синхронии (несмотря на то, что у Соссюра она и выступает сугубо операциональным понятием) оправдывает определенную иммобилизацию времени, а идея диахронии тяготеет к тому, чтобы представить исторический процесс как чистую последовательность форм. По-видимому, речевой знак структурализма, в конечном счете, следует усматривать в систематическом "употреблении терминов, связанных с понятием значения, а отнюдь не в использовании самого слова "структурализм", которое, как это ни парадоксально, совершенно не может служить чьим бы то ни было отличительным признаком; наблюдайте, кто употребляет выражения означающее и означаемое, синхрония и диахрония, и вы поймете, сложилось ли у этих людей структуралистское видение.

То же самое справедливо и по отношению к интеллектуальному метаязыку, который открыто пользуется методологическими понятиями. Поскольку структурализм не является ни школой, ни течением, нет никаких оснований априорно (пусть даже предположительно) сводить его к одному только научному мышлению; гораздо лучше попытаться дать его по возможности наиболее широкое описание (если не дефиницию) на другом уровне, нежели уровень рефлексивного языка. В самом деле, можно предположить, что существуют такие писатели, художники, музыканты, в чьих глазах оперирование структурой (а не только мысль о ней) представляет собой особый тип человеческой практики, и что аналитиков и творцов следует объединить под общим знаком, которому можно было бы дать имя структуральный человек; человек

этот определяется не своими идеями и не языками, которые он использует, а характером своего воображения или, лучше сказать, способностью воображения, иными словами, тем способом, каким он мысленно переживает структуру.

Сразу же отметим, что по отношению ко всем своим пользователям сам структурализм принципиально выступает как деятельность, то есть упорядоченная последовательность определенного числа мыслительных операций: можно, очевидно, говорить о структуралистской деятельности, подобно тому, как в свое время говорили о сюрреалистической деятельности (именно сюрреализм, вероятно, дал первые опыты структурной литературы - к этому вопросу стоит вернуться). Однако прежде чем обратиться к этим операциям, нужно сказать несколько слов об их цели.

Целью любой структуралистской деятельности - безразлично, рефлексивной или поэтической - является воссоздание "объекта" таким образом, чтобы в подобной реконструкции обнаружили правила функционирования ("функции") этого объекта. Таким образом, структура - это, в сущности, отображение предмета, но отображение направленное, заинтересованное, поскольку модель предмета выявляет нечто такое, что оставалось невидимым, или, если угодно, неинтеллигибельным, в самом моделируемом предмете. Структуральный человек берет действительность, расчленяет ее, а затем воссоединяет расчлененное; на первый взгляд, это кажется пустяком (отчего кое-кто и считает структуралистскую деятельность "незначительной, неинтересной, бесполезной" и т. п.). Однако с иной точки зрения оказывается, что этот пустяк имеет решающее значение, ибо в промежутке между этими двумя объектами, или двумя фазами структуралистской деятельности, рождается нечто новое, и это новое есть не что иное, как интеллигибельность в целом. Модель - это интеллект, приплюсованный к предмету, и такой добавок имеет антропологическую значимость в том смысле, что он оказывается самим человеком, его историей, его ситуацией, его свободой и даже тем сопротивлением, которое природа оказывает его разуму.

Мы видим, таким образом, почему следует говорить о структурализме как деятельности: созидание или отражение не являются здесь неким первородным "отпечатком" мира, а самым настоящим строительством такого мира, который походит на первичный, но не копирует его, а делает интеллигибельным. Вот почему можно утверждать, что структурализм по самой своей сути является моделирующей деятельностью, и именно в данном отношении, строго говоря, нет никакой технической разницы между научным структурализмом, с одной стороны, и литературой, а также вообще искусством - с другой: оба имеют отношение к мимесису, основанному не на аналогии между субстанциями (например, в так называемом реалистическом искусстве), а на аналогии функций (которую Леви-Стросс называет гомологией). Когда Трубецкой воссоздает фонетический объект в форме системы вариаций, когда Жорж Дюмезиль разрабатывает функциональную мифологию, когда Пропп конструирует инвариант народной сказки путем структурирования всех славянских сказок, предельно им расчлененных; когда Клод Леви-Стросс обнаруживает гомологическое функционирование тотемистического мышления, а Ж.-Г. Гранже - формальные правила мышления экономического, или Ж.-К. Гарден - дифференцирующие признаки доисторических бронзовых предметов, когда Ж.-П. Ришар разлагает стихотворение Малларме на его характерные звучания - все они, в сущности, делают то же самое, что Мондриан, Булез или Бютор, конструирующие некий объект (как раз и называемый композицией) с помощью упорядоченной манифестации, а затем и соединения определенных единиц. Несуществен тот факт, что подлежащий моделирующей деятельности первичный объект представляется действительностью как бы в уже собранном виде (что имеет место в случае структурного анализа, направленного на уже сложившиеся язык, общество или произведение) либо, наоборот, в неорганизованном виде (таков случай структурной "композиции"). Несущественно и то, что этот

первичный объект берется из социальной или воображаемой действительности, - ведь не природа копируемого объекта определяет искусство (стойкий предрассудок любых разновидностей реализма), а именно то, что вносится человеком при его воссоздании: *исполнение является самой сутью любого творчества*. Следовательно, именно в той мере, в какой цели структуралистской деятельности неразрывно связаны с определенной техникой, структурализм заметно отличается от всех прочих способов анализа или творчества: объект воссоздается для выявления функций, и результатом, если можно так выразиться, оказывается сам проделанный путь; вот почему следует говорить скорее о структуралистской деятельности, нежели о структуралистском творчестве.

Структуралистская деятельность включает в себя две специфических операции - членение и монтаж. Расчленить первичный объект, подвергаемый моделирующей деятельности, значит обнаружить в нем подвижные фрагменты, взаимное расположение которых порождает некоторый смысл; сам по себе подобный фрагмент не имеет смысла, однако он таков, что малейшие изменения, затрагивающие его конфигурацию, вызывают изменение целого; квадрат Мондриана, ряд Пуссера, строфа из "Мобиль" Бютора, "мифема" у Леви-Стросса, фонема у фонологов, "тема" у некоторых литературных критиков - все эти единицы (каковы бы ни были их внутренняя структура и величина, подчас совершенно различные) обретают значимое существование лишь в своих границах - на тех, что отделяют их от других актуальных единиц речи (но это уже проблема монтажа), а также на тех, которые отличают их от других виртуальных единиц, и вместе с которыми они образуют определенный класс (называемый лингвистами парадигмой). Понятие парадигмы является, по-видимому, существенным для уяснения того, что такое структуралистское видение: парадигма - это по возможности минимальное множество объектов (единиц), откуда мы запрашиваем такой объект или единицу, которые хотим наделить актуальным смыслом. Парадигматический объект характеризуется тем, что он связан с другими объектами своего класса отношением сходства или несходства: две единицы одной парадигмы должны иметь некоторое сходство для того, чтобы могло стать совершенно очевидным различие между ними; чтобы во французском языке мы не приписывали один и тот же смысл словам *poisson* и *poison*, необходимо, чтобы *s* и *z* одновременно имели бы как общий (дентальность), так и дифференцирующий (наличие или отсутствие звонкости) признак. Необходимо, чтобы квадраты Мондриана были сходны своей квадратной формой и различны пропорцией и цветом; необходимо, чтобы американские автомобили (в "Мобиль" Бютора) все время рассматривались бы одним и тем же способом, но при этом всякий раз различались бы маркой и цветом; необходимо, чтобы эпизоды мифа об Эдипе (в анализе Леви-Стросса) были бы одинаковы и различны и т. д., для того чтобы все названные типы дискурса и произведения оказались интеллигибельными. Операция членения, таким образом, приводит к первичному, как бы раздробленному состоянию модели, при этом, однако структурные единицы отнюдь не оказываются в хаотическом беспорядке; еще до своего распределения и включения в континуум композиции каждая такая единица входит в виртуальное множество аналогичных единиц, образующих осмысленное целое, подчиненное высшему движущему принципу - принципу наименьшего различия.

Определив единицы, структуральный человек должен выявить или закрепить за ними правила взаимного соединения: с этого момента деятельность по запрашиванию сменяется деятельностью по монтированию. Синтаксис различных искусств и различных типов дискурса, как известно, весьма разнообразен; но что в равной мере обнаруживается во всех произведениях, созданных в соответствии со структурным замыслом, так это их подчиненность некоторым регулярным ограничениям;

причем формальный характер этих ограничений, несправедливо ставившийся структурализму в упрек, имеет гораздо меньшее значение, чем их стабильность, поскольку на этой второй стадии моделирующей деятельности разыгрывается не что иное, как своего рода борьба против случайности. Вот почему критерии рекуррентности приобретают едва ли не демиургическую роль: именно благодаря регулярной повторяемости одних и тех же единиц и их комбинаций, произведение предстает как некое законченное целое, иными словами, как целое, наделенное смыслом; лингвисты называют эти комбинаторные правила формами, и было бы весьма желательно сохранить за этим истрепанным словом его строгое значение: форма, таким образом, это то, что позволяет отношению смежности между единицами не выглядеть результатом чистой случайности; произведение искусства - это то, что человеку удается вырвать из-под власти случая. Сказанное, быть может, позволит понять, с одной стороны, почему так называемые нефигуративные произведения являются все же произведениями в самом точном смысле слова, ибо человеческая мысль подчиняется не аналогической логике копий и образцов, но логике упорядоченных образований, а с другой стороны - почему эти же самые произведения, в глазах тех, кто не различает в них никакой формы, выглядят как хаотические и самые никчемные: стоя перед абстрактным полотном, Хрущев, безусловно, ошибается, не видя в нем ничего, кроме беспорядочных мазков, оставленных ослиным хвостом; и, тем не менее, в принципе он знает, что искусство - это своего рода победа над случайностью (он упускает из виду всего лишь то, что любому правилу - хотим ли мы его применять или понять - научаются).

Построенная таким образом модель возвращает нам мир уже не в том виде, в каком он был ей изначально дан, и именно в этом состоит значение структурализма. Прежде всего, он создает новую категорию объекта, который не принадлежит ни к области реального, ни к области рационального, но к области функционального, и тем самым вписывается в целый комплекс научных исследований, развивающихся в настоящее время на базе информатики. Затем, и это особенно важно, он со всей очевидностью обнаруживает тот сугубо человеческий процесс, в ходе которого люди наделяют вещи смыслом. Есть ли в этом что-либо новое? До некоторой степени, да; разумеется, мир всегда, во все времена стремился обнаружить смысл как во всем, что ему предзадано, так и во всем, что он создает сам; новизна же заключается в факте появления такого мышления (или такой "поэтики"), которое пытается не столько наделять целостными смыслами открываемые им объекты, сколько понять, каким образом возможен смысл как таковой, какой ценой и какими путями он возникает. В пределе можно было бы сказать, что объектом структурализма является не человек-носитель бесконечного множества смыслов, а человек-производитель смыслов, так, словно человечество стремится не к исчерпанию смыслового содержания знаков, но единственно к осуществлению того акта, посредством которого производятся все эти исторически возможные, изменчивые смыслы. *Homo significans*, человек означающий, - таким должен быть новый человек, которого ищет структурализм.

По словам Гегеля, древние греки изумлялись естественности естества; они не престанно вслушивались в него, вопрошая родники, горы, леса, грозы об их смысле; не понимая, о чем именно им говорят все эти вещи, они ощущали в растительном и космическом мире всепроникающий трепет смысла, которому они дали имя одного из своих богов - Пан. С той поры природа изменилась, стала социальной: все, что дано человеку, уже пропитано человеческим началом - вплоть до лесов и рек, по которым мы путешествуем. Однако, находясь перед лицом этой социальной природы (попросту говоря - культуры), структуральный человек, в сущности, ничем не отличается от древнего грека: он тоже вслушивается в естественный голос культуры и все

время слышит в ней не столько звучание устойчивых, законченных, “истинных” смыслов, сколько вибрацию той гигантской машины, каковую являет собой человечество, находящееся в процессе неустанного созидания смысла, без чего оно утратило бы свой человеческий облик. И вот именно потому, что такое производство смысла в его глазах гораздо важнее, нежели сами смыслы, именно потому, что функция экстенсивна по отношению к любым конкретным творениям, структурализм и оказывается не чем иным, как деятельностью, когда отождествляет акт создания произведения с самим произведением: додекафоническая композиция или анализ Леви-Стросса являются объектами именно в той мере, в какой они сделаны: их бытие в настоящем тождественно акту их изготовления в прошлом; они и суть предметы, изготовленные-в-прошлом. Художник или аналитик продельвает путь, ранее пройденный смыслом; им нет надобности указывать на него: их функция, говоря словами Гегеля, - это *manteia*; подобно древним прорицателям, они возвещают о месте смысла, но не называют его. И именно потому, что литература, между прочим, есть тоже своего рода прорицательство, она доступна и рациональному толкованию, и в то же время прощает, она говорит и безмолвствует, проникая в мир по той же самой дороге, которую проделал смысл и которую она заново продельвает вместе с ним, освобождаясь по пути от всех случайных смыслов, выработанных этим миром; для человека, который ее потребляет, она является ответом, по отношению же к природе продолжает оставаться вопросом: литература - это вопрошающий ответ и отвечающий вопрос.

Как же структуральный человек может принять упрек в ирреализме, который ему подчас предъявляют? Разве формы не существуют в самом мире, разве на формах не лежит ответственность? Правда ли, что только марксизму Брехт обязан всем тем революционным, что в нем есть? Не вернее ли сказать, что эта революционность заключалась в том, что свое марксистское видение Брехт воплощал с помощью некоторых сценических приемов, например, особым образом размещая прожекторы или одевая своих актеров в поношенные костюмы. Структурализм не отнимает у мира его историю: он стремится связать с историей не только содержания (это уже тысячу раз продельвалось), но и формы, не только материальное, но и интеллигибельное, не только идеологию, но и эстетику. И именно потому, что любая мысль об исторической интеллигибельности неизбежно оказывается актом приобщения к этой интеллигибельности, структуральный человек весьма мало заинтересован в том, чтобы жить вечно: он знает, что структурализм - это тоже всего лишь одна из форм мира, которая изменится вместе с ним; и как раз потому, что структуральный человек проверяет пригодность (а отнюдь не истинность) своих суждений, мобилизуя способность говорить на уже сложившихся языках мира новым способом, ему ведомо и то, что достаточно будет возникнуть в истории новому языку, который заговорит о нем самом, чтобы его миссия оказалась исчерпанной.

Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время

- Лев Аннинский. "Серебро и чернь". Поэты Серебряного века.
Михаил Арцыбашев. "Ужас".
Антон Антонов-Овсеенко. "Сталин без маски".
Сергей Антонов. "Рельеф Кандинского". Рассказы.
"Азь". Альманах. Два выпуска.
Владлен Бахнов. "Опасные связи". Повести и рассказы.
Евгений Бачурин. "Я ваша тень". Стихи и песни.
Андрей Белый. "Начало века".
Евгений Блажеевский. "Лицом к погоне". Стихи.
Владимир Буйначев. "Новое прочтение "Слова о полку Игореве"".
Михаил Бутов. "Изваяние пана". Рассказы и повесть.
Андрей Бычков. "Черная талантливая музыка для глухонемых".
"Вежи". Сборник статей о русской интеллигенции.
Мария Голованивская. "Двадцать писем Господу Богу". Роман.
Дон-Аминадо. "Парадоксы жизни". Стихи и проза.
Фазиль Искандер. "Детство Чика". Рассказы.
Фазиль Искандер. "Сандро из Чегема". Первая полная редакция.
Геннадий Калашников. "С железной дорогой в окне". Стихи.
Анатолий Капустин. "Куровское-Лобня". Рассказы.
Н. М. Карамзин. "История Государства Российского". В 6-ти книгах.
Эдуард Клыгуль. "Столичная". Повести и рассказы.
Кирилл Ковальджи. "Лирика".
Кирилл Ковальджи. "Невидимый порог".
Кирилл Ковальджи. "Обратный отсчет". Проза и стихи.
Лев Копелев. "Хранить вечно".
Сергей Костырко. "Шлягеры прошлого лета". Повести и рассказы.
"Краеведы Москвы". Выпуск 1.
"Краеведы Москвы". Выпуск 2.
Нина Краснова. "Цветы запоздалые". Проза и стихи.
Юрий Крохин. "Профили на серебре". Поэт Леонид Губанов. и СМОГ.
Юрий Кувалдин. "Так говорил Заратустра". Роман.
Юрий Кувалдин. "Кувалдин-критик". Выступления в периодике.
Юрий Кувалдин. "Родина". Повести и роман.
Юрий Кувалдин. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 10 томах.
Л. Лазарев. "Шестой этаж". Мемуары.
Семен Липкин. "Квадрига". Повесть, мемуары.
Юрий Малецкий. "Убежище". Роман, повести и рассказы.
Всеволод Мальцев. "Парализованная кукла". Повести и рассказы
Мандельштамовский сборник "Сохрани мою речь". Два выпуска.
Игорь Меламед. "В черном раю". Стихотворения, переводы, статьи.
Сергей Михайлин-Плавский. "Гармошка". Рассказы и повести.
А. Н. Михайлов. "Культурология в текстах и комментариях".
Юрий Нагибин. "Дневник".
"Наша улица". Ежемесячный журнал современной русской литературы
(Основан Юрием Кувалдиным в 1999 году. К ноябрю 2006 года -
60-летию Юрия Кувалдина - выпущено 84 номера)

Ольга Новикова. "Женский роман".
Вл. Новиков. "Заскок". Пародии, эссе, размышления критика.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 1. 2003 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 2. 2004 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 3. 2005 год.

Сергей Овчинников. "Танюша". Повести и рассказы.
Димитрий Панин. "Лубянка-Экибастуз: Лагерные записки".
Димитрий Панин. "В человеках благоволение".
Вадим Перельмутер. "Стихо-Творения".
Вадим Перельмутер. "Звезда разрозненной плеяды". О Вяземском.
Петроний Арбитр. "Сатирикон".
Валерий Поздеев. "Наполеон Федя Пряшкин". Повести и рассказы.
Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".
Лев Разгон. "Плен в своем отечестве".
Станислав Рассадин. "Очень простой Манделъштам".
Станислав Рассадин. "Русские, или из дворян в интеллигенты".
Эрнест Ренан. "Жизнь Иисуса".
Ирина Роднянская. "Литературное семилетие". Статьи.
Русские сказки.
Алексей Саладин. "Прогулки по кладбищам Москвы".
Андрей Сахаров. "Конституционные идеи".
Джонатан Свифт. "Путешествия Лемюэля Гулливера".
Павел Сиркес. "Горечь померанца".
Словарь американского сленга.
А. и Б. Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу". Полная редакция.
Ирина Сурат. "Жизнь и лира". О Пушкине.
Игорь Тарасевич. "Сквозь стекло". Повести и рассказы.
Александр Тимофеевский. "Песня скорбных душ".
М. Н. Тихомиров. "Средневековая Москва".

Александр Трифонов. "Художник Александр Трифонов"
(Альбом. Новый русский авангард. Фигуративный экспрессионизм)

Александр Трофимов. "Записки сумасшедшего". Рассказы и повести.
Михаил Холмогоров. "Авелева печать". Роман, повести.
А. В. Храповицкий. "Памятные записки".
В. М. Фридкин. "Чемодан Клода Дантеса". Рассказы.
Л. А. Чарская. "Княжна Джаваха".
Лидия Чуковская. "Процесс исключения".
"Эквинокс" (Равноденствие). Литературно-философский сборник.

ТОМ 3
СОДЕРЖАНИЕ

ИЗБУШКА НА ЕЛКЕ. <i>Роман</i>	3
МЕСТЬ. <i>Повесть</i>	202
БЕГЛЕЦЫ. <i>Повесть</i>	276
СПЛОШНОЕ БОЛОГОЕ. <i>Повесть</i>	334
НА БАЙКАЛЕ. <i>Рассказ</i>	390
ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? <i>Рассказ</i>	407
ЗЛАТЫЕ ГОРЫ <i>Рассказ</i>	424
Комментарии	442
Нина Краснова "Прощание со "Славянским базаром"	442
Станислав Рассадин "О пользе отсталости"	458
Ирина Роднянская "Письмо Ю. А. Кувалдину"	464
Вл. Новиков "Московский хронотоп..."	468
Нина Краснова "Континент под названием Россия"	471
Эмиль Сокольский "Музыкальное произведение"	484
Нина Краснова "Пощады от Кувалдина не будет"	487
Виктор Боков "За пределами"	497
Слава Лён "великий экзистенциал..."	498
Приложение	504
Ролан Барт "Структурализм как деятельность"	504
Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время	509

Юрий Александрович Кувалдин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Том 3

Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов

ЛР № 061544 от 08.09.99.
Сдано в набор 05.02.06. Подписано к печати 17.04.06. Формат 60x88 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура "Newton". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-отт. 32,0. Уч.-изд. л. (авторских листов) 27,23.
Тираж 2000 экз.

Издательство "Книжный сад", Москва, Складочная ул. 1, стр. 5.
Для писем: 125167, Москва, а/я 40.
Отпечатано на Фабрике Печатной Рекламы.